



“Ночью Наталья брала заскоружлую Иванову руку и прикладывала к животу, ею щупала: “Слышишь, шебарчит? Притих. Тебя чувствует”. Лежали затаив дыханье, ждали-гадали, чем забьёт: ручкой, ножкой? Какие там экспедишники со своей сейсморазведкой! Что они знают о залежании? Иван, прижавший ухо к женским недрам, был во сто раз чутче тысячи датчиков. Когда прислушивался, и там ударяло, то голова отказывалась вмещать — как так? Как вообще может быть — то ещё ничего, а то вдруг из этого ничего целая жизнь, судьба, дорога. И почему, когда она зарождаётся, только тихая ночь стоит и туман молочно ползёт из распадка? Почему горы не сотрясаются? Реки не взламываются и не выходят из берегов? Пушки не бьют? Почему, когда ядро судьбы в полёт срывается, не сотрясаются души от отдачи?”

Читайте в следующем номере журнала новую повесть “Поход” нашего постоянного автора Михаила Тарковского, в этом году ставшего лауреатом Патриаршей литературной премии за вклад в развитие русской литературы.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№10 2019

ПРИЗНАНИЕ ОТ СЕРДЦА



19 сентября в “Доме Ростовых”, где прежде находился Союз писателей СССР, а теперь располагается Международный Союз писательских организаций, объединяющий автономные Союзы писателей бывших союзных республик, ныне суверенных государств, состоялось примечательное событие.

Альберт Лиханов, известный писатель, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К.Крупской, лауреат Премии Президента РФ и Правительства РФ в области культуры, по поручению общественности вручил Российскую литературную премию имени Николая Алексеевича Некрасова “СОВРЕМЕННОСТЬ” Станиславу Юрьевичу КУНЯЕВУ, который в сентябре отметил 30-летие своей работы в качестве Главного редактора журнала “Наш современник”. В диплом вмонтирован номер подлинного, некрасовского журнала “Современник” за 1865 год.

Собравшиеся писатели, представители литературной общественности тепло поблагодарили С.Ю.Куняева за его многолетнюю подвижническую деятельность в литературе. Благодарность выразил и глава МСПС И.И.Переверзин.

Важно заметить, что лауреатский диплом подписал старейшина современной русской литературы Юрий Васильевич БОНДАРЕВ.

ЮБИЛЕЙ ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА



В совокупности своей произведения Клыкова представляют не только художественное обозрение судьбы государства Российского, но и воспроизводят особую сущность и неповторимый колорит русского люда. Как и выражают подлинную суть самого автора, которую он проявлял открыто и смело, а отстаивал решительно и бескомпромиссно. На фоне нынешней фальсификации русской жизни, опошления русской культуры и унижения русских народных символов творчество Клыкова — поистине величайший гражданский подвиг. Своими произведениями он образно и полно представил широкую панораму Русского мира, являющегося неотъемлемой частью земной цивилизации, основу которого всегда составляли подвиги выдающихся людей, олицетворяющих нацию. Тем самым художник убедительно продемонстрировал не только свою высокую творческую зрелость и патриотическую целеустремленность, но и показал, что большое искусство — не примитивное отражение банальных реальностей, а осмысленный и укрупнённый синтез наиболее значимых свершений нации, доведенный до общечеловеческого, планетарного масштаба.

Статью Ивана Полозкова о выдающемся скульпторе Вячеславе Клыкове читайте на странице 125.



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Проза

- Отец Ярослав ШИПОВ
Уроки живописи.
Рассказы..... 6
- Андрей УБОГИЙ
Дом 21
- Леонид БЕЖИН
Два рассказа 74

Поэзия

- Андрей КОЗЫРЕВ
Рябиновый надрыв 3
- Игорь КРАВЧЕНКО
Прежний праздник —
он в памяти нашей 16
- Владимир СИЛКИН
Приветное слово 71
- Алексей ИВАНТЕР
Попутных станций имена..... 100

Мир Свиридова

- Александр БЕЛОНЕНКО
Шостакович и Свиридов:
к истории взаимоотношений 103

Очерк и публицистика

- Иван ПОЛОЗКОВ
Кто же он, Вячеслав Клыков? 125
- Разговор с кандидатом в
Президенты России
Интервью Николая Пирогова
с Павлом Грудининым 136
- Валерий БАДОВ
"Сорок водоносов" 143
- Михаил БАРКОВ
Я — последний солдат
Империи... 158
- Геннадий ДМИТРИЕВ
От рабочего до учёного 197

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Я. В. Сафронова —
*редактор по связям
с общественностью* —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Георгий ПАНКРАТОВ
“ВДНХ: сколько стоит
попасть в рай?” 214

Критика

Марк ЛЮБОМУДРОВ
Drang nach Russland 237

Виталий АВЕРЬЯНОВ
“Рок” в овечьей шкуре 254

Память

Евгений НОВИЧИХИН
“Я выбрался в новые слои
воздуха и облаков...” 279

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Оператор: Полякова Н.С. Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 26.09.2019. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2996-2019. Тираж 4300 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ



РЯБИНОВЫЙ НАДРЫВ

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

Мне вверен труд, пока не грянет срок, —
Я промываю время, как песок,

Просеиваю в строчках прах веков,
Взметнувшийся из-под чужих подков,

Ищу, свищу, взыскую, ворожу
И золотой осадок нахожу.

В нём был хрустит, как золотая пыль, —
Погоня, плен, серебряный ковыль,

Хазарский свист, столетий звездопад,
И облаков кочующий Царьград,

И сплётшиеся замертво тела,
И двух людей пронзившая стрела —

Меня с певцом, что в том, былом веку
Гремел струнами “Слово о Полку”...

КОЗЫРЕВ Андрей Вячеславович родился в г. Омске в 1988 году. Автор девяти книг. Стихи печатались в журналах “Сибирские огни” (Новосибирск), “День и ночь” (Красноярск), “Нива” (Астана), “Север” (Петрозаводск), “Кольцо А”, “Пролог”, “Литературный Омск” (Омск), и др. Главный редактор литературно-художественных альманахов “Точка зрения” и “Менестрель”. Лауреат областной литературной премии имени Ф. М. Достоевского.

И, мучаясь, тоскуя и любя,
Из древних стрел я выплавил себя.

Я выплавил из сабель свой напев,
Что лишь окрепнет, в душах отзвенеет.

И пусть течёт сквозь веки и века
Моя строка, как Млечная река,

Как трубы птиц над Сулой и Двиной,
Как лисий порск, как древний волчий вой,

И не найдёт вовек в пути преград
Небесных туч кочующий Царьград!

ПРЕДСКАЗАНИЕ

...Будет всё, как теперь, как сейчас,
Только небо чуть-чуть потемнеет,
И туман в глубине наших глаз
Вдруг последней утратой повеет.

Обагрится небесная даль,
И запрутся дощатые двери,
И увянет цветущий миндаль,
И смешаются люди и звери.

Будут крики, и споры, и злость...
Утро будет глухое, сырое...
Будет ныть сокрушённая кость,
Будоража, будя, беспокоя...

А потом — мир надолго замрёт.
Тишина. Немота. Безучастье...
И предательски быстро уйдёт
Обманувшее странников счастье.

Разомкнутся сухие уста,
Тело рухнет в потёмки глухие,
И ладонь отпадёт от креста,
И народ отпадёт от Мессии.

В синем взоре засветится мрак,
И блудницы станцуют во храме,
И ладони сожмутся в кулак —
Те, что были пробиты гвоздями.

ПРИЗАВОДСКОЕ

Моему отцу

У нас семь пятниц на неделе.
Трудам и музам — свой черёд...
Летает человек с портфелем
Над трубами ПО "Полёт".

Он крепко спит. Во сне — летает.
А значит — всё ещё растёт!

Как крепко он портфель сжимает!
Как ветер в волосах поёт!

Он делал спутники, старался.
Он ползал по цехам в пыли.
Уснул — и в кресле оторвался
От грешной матушки-Земли.

В нём что-то вечное воскресло,
Назло годам, на радость нам,
И вот — летающее кресло
Несёт его к иным мирам!

Ему сейчас, наверно, снится
Его космический прибор,
Летающий, клича, словно птица,
В невероятнейший простор...

Цветёт сирень, сияют дали,
И шум и гам со всех сторон,
И пляшет в майском карнавале
Призаводской микрорайон.

А инженер во сне невинном
Летит, к открытиям влеком,
И книжки с чертежами клином
Летят за ним — за вожаком!

КРАСНОЕ НА ЧЁРНОМ

Памяти Олега Чертова

С утра до самой ночи
Твержу один мотив:
Мне страшное пророчит
Рябиновый надрыв.

Над Родиной моею
В крошечной русской тьме
Рябина пламенеет
На золотом холме.

Окрест неё сияет
Космическая мгла,
И пёс прилудный лает
Из отчего угла.

Лежат на лунной кромке
Под шелестом ветвей
Мальчишки и девчонки
Рябиновых кровей.

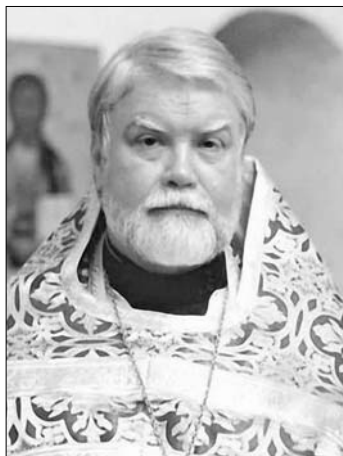
Взахлѐб, в жару и пыли,
Путѐм всяя земли
Мы шли и честь хранили,
Да вот — не сберегли.

В венце опричной славы,
В упрѐк и в доблесть нам,
Медвежья кровь державы
Стекает по холмам.

Легко, огнеупорно,
Сияет на земле
Лишь красное на чѐрном,
Лишь золото во мгле.

Как будто крови мало
Лилось за нас за всех...
И сил смотреть не стало,
И отвернуться — грех.

ОТЕЦ ЯРОСЛАВ ШИПОВ



УРОКИ ЖИВОПИСИ

РАССКАЗЫ

Н. В. Денисову

Дом творчества выехал на этюды. Пятнадцать художников — некоторые с женами — прибыли в автобусе на диковатый, пустынный пляж. Тем летом я устроился в Дом творчества рабочим: поливал цветочные клумбы, разгружал машину с продуктами для столовой, а заодно еще выполнял множество хозяйственных поручений. Вот и на пленэр меня отправили ставить палатки, разжигать примусы, помогать всем, кому нужна помощь.

Наконец, палатки поставлены, и живописцы, наскоро искупавшись и перекусив, расположились кто где со своими этюдниками. Одних привлек морской пейзаж с рыбацким сейнером, другие смотрели на холмистую сушу с виноградниками, а Кириллов пошел к впадающей в море речушке, на берегу которой лежал старый баркас.

Мы с Танечкой Кирилловой долго плавали, вылезаем, и тут ее отец подзывает меня:

- Что самое светлое перед нами?
- “Орел”, — говорю.
- Какой ещё орел? — и пристальным взглядом окидывает небеса.
- Так баркас называется.

ШИПОВ Ярослав Алексеевич родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1979-го по 1981 год работал в журнале “Наш современник”. Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. С 1991 года — священник. Служил на отдаленных сельских приходах. В настоящее время служит и живёт в Москве.

— А-а... Название, хоть и написано белилами, но краска давно померкла, и самое светлое в пейзаже — вон то облако слева, — указывает кисточкой, — видишь?

Я киваю.

— А что самое темное?

— “Орел”, — говорю.

— Опять? Не угнетай!

— Но баркас же черный!

— Он лежит на песке, от песка — рефлекс, отражение, а точнее — цветное взаимодействие... И потому борт не черный, а скорее охристый... И вообще запомни: черного цвета в живописи не бывает.

— А “Черный квадрат”?

— Не угнетай! Я говорю о живописи. Так что учишься отличать темное от светлого, принимая во внимание все отражения и взаимодействия.

“Не угнетай” было чем-то вроде фамильного пароля — этими словами у них в семье легко пресекались всякие укоры, упреки и любое занудство.

Кириллов кладет на холст краску и приговаривает: “здесь пастозно”, “а вот здесь — лессировочки”... Он знает, кого ради я приехал на каникулы из Москвы, он по-мужски уважителен к моему чувству, но по-отчески дочку оберегает и старается не оставлять нас наедине. За этим же — и в Доме творчества, и здесь — неустанно следит его жена, которая теперь вместе с Танечкой готовит обед у палатки.

— Цвета делятся на теплые и холодные, — продолжает Кириллов, — существует еще понятие дополнительных цветов, это, — он делает шаг назад и прищуривается, вглядываясь куда-то перед собой, — это...

И тут от реки доносится всплеск крупной рыбы.

— Это кто? — ошарашенно спрашивает Кириллов.

— Наверное, сазанчик, — говорю.

— Да какой там сазанчик? Настоящий сазанище! И что — такого можно поймать?

— Отчего нельзя?

— И ты бы мог?

Я прикидываю свои возможности:

— Сазанчика — едва ли: насадки не подобрать, а вот судачка...

— Что для этого нужно?

— Нужна мелкая рыбешка.

— Ну, так лови!

— Чтобы ее поймать, нужны черви.

— А мы тут дополнительными цветами занимаемся? Срочно копать червей!

Танечка попросилась в компанию, и ее с неожиданной лёгкостью отпустили, полагая, наверное, что скитание по мусорным свалкам — занятие совсем уж не романтическое.

В тех местах, надо заметить, земля не то что сухая, а прокалённая солнцем, и потому червяка найти трудно. Так что мы с Танечкой обошли немало сельских помоек, прежде чем раздобыли одного: немощного, бледно-розового, длиною со спичку, а толщиной — в половину спички. На этого недомерка удалось поймать пару плотвичек, а на кусочки плотвичек судак клевал с такой резвостью, что живописцы бросились от этюдников к сковородкам. Запах свежеежаренной рыбы поплыл над морским побережьем. Танечка пребывала в самых восторженных чувствах.

А вот Кириллова на месте не оказалось: пока мы шастали по мусорным свалкам, его пригласили для выполнения срочного заказа местного руководства и увезли в поселок.

Только мы с Танечкой собрались в дальний заплыв, как подлетел белый “уазик”, и шофер сказал, что Кириллов ждет меня, потому что, как всякий большой художник, он привык работать с учеником.

Я вспомнил урок живописи про светлое и темное, и поехали. По дороге еще вспоминал нечто пастозное и лессировочное и все жалел, что не успел освоить дополнительные цвета.

В просторном кабинете над столом, укрытым красной материей, возвышался Кириллов, напротив сидели два дядьки, вероятно, местные руководители.

— Так. Что дальше? — спросил Кириллов.

— Дальше: Сёмка Неякий запустил бильярдным шаром в своего брата, вызывали “скорую”...

— Понятно... Представь, что ты кидаешь шар, — обратился ко мне Кириллов, — руку занеси... вот так... А теперь экспрессии, экспрессии побольше!.. Ярости добавь! Ты теперь — Сёмка Неякий.

— А “Неякий”, — спрашиваю, — это что такое?

— Фамилия, — объясняют начальники.

— Надо же, — говорю, — как угораздило.

— Уклонились от главной темы! Не отвлекайся! Динамичнее... глаза сверкают злобой... вот так!.. Готово!

Подхожу поближе, чтоб посмотреть: на листе ватмана уже несколько картинок в карикатурном стиле — похоже, он приехал, чтобы оторваться от жены и расслабиться. Пока начальники восторженно разглядывают новый сюжет, Кириллов со словами: “Уклонились от главной темы” — наливает из графина, стоящего на столе, стакан красного вина, неспешно выпивает:

— Так. Что дальше?..

Я позировал еще в нескольких сюжетах. По завершении трудов, дядьки вручили нам канистру рислинга и вывесили карикатуры на стенде возле конторы. Люди собрались, хохотали.

Вернулись мы только ночью. Перед погружением в палатку Кириллов сказал: “С вином в груди и с жаждой вместе”. Водитель нашего автобуса волновался, не выключал свет в кабине, чтобы видно было издалека. Я поделился с ним своим гонораром сорта “Изабелла”, и мы улеглись: он — на широком заднем сиденье, а я — в спальном мешке на полу.

С утра Кириллов щедро угощал художников рислингом, приговаривая: “Это под судачка — рыба посуху не ходит”. А потом пошел дописывать этюд, и уроки продолжились:

— Вчера ты изучал работу натурщика, а сегодня будем знакомиться с понятием перспективы.

— Перспектива, — говорю, — туманна.

— Где туман? — недоумевает Кириллов.

— В моей жизни.

— А-а, Танька... Да-а, барышни могут нагнать тумана. Тебе по молодости этот вопрос представляется сегодня главнейшим в жизни. Но придут времена, когда ты столкнешься с задачами куда более высокого свойства. Может, тогда и вспомнишь сегодняшний день и наши уроки живописи.

И начинает рассказывать о перспективе, об иконах, в которых перспектива обратная, а сам работает потихонечку. Смотрю, как он смешивает на палитре краски, чтобы получился нужный цвет. Спрашиваю: нельзя ли написать Танечку рядом с баркасом — я бы тогда заработал денег и купил этот этюд?

— С Танькой — совсем другой сюжет, — говорит он, — и запомни: нельзя писать две картины на одном холсте. Это вообще очень важное для жизни правило.

За червяком нас больше не пускают — вчерашнюю рыбу художники еще не съели. Перестарался я. А жаль: путешествие оказалось вполне романтическим.

— Теперь о композиции... Вот на этом этюде композиция в порядке?

Я долго всматриваюсь:

— Простите, но, если можно сказать...

— Прощаю, не угнетай, говори!

— Кажется, правый верхний угол немножко...

— Точно! Ставлю тебе пять баллов! Добавим облачко. Ты уже почти Левитан.

— Почему?

— Он, когда писал “Над вечным покоем”, тоже в какой-то момент

озаботился недогруженностью правой верхней части и вставил туда длинное серое облако. А отчего в окошках церкви свет?

— Служба, наверное.

— Раньше на селе по вечерам не служили: как в крошечной тьме по домам разбредаться — ни метро, ни автобусов, ни освещенных улиц, одни волки? А это вообще кладбищенская церквушка — рядом даже и следов жилья нет. Там сейчас лежит усопший, и всю ночь близкие будут читать псалтырь. А вот душа его, она уже, наверное, над вечным покоем.

Спустя много лет, когда я уехал служить в лесную глушь и надо было построить храм, местные жители выбрали за образец храм на холсте Левитана. Точно такой построить не удалось, но некоторого сходства добились. Вот тут и наступили времена, обещанные Кирилловым.

Душа его давно уже поживает в местах, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания — то есть, может статься, как раз над вечным покоем, а его уроки живописи все живут, но... мы, кажется, уклонились от главной темы. Так. Что дальше?

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

Позвали к тяжкоболящему. Дом на Садовом кольце, дверь открыла маленькая старушка. И пока я снимал пальто, старушка успела скороговоркой сообщить, что она — не какая-нибудь наемная сиделка, а просто — из соседней квартиры, бывшая медсестра. Когда я спросил, где можно вымыть руки, соседка вдруг вдохновилась:

— Замечательно! А то теперь доктора, приходя к больным, руки не моют. Даже детские врачи, ужас!

— Я, — говорю, — из прежних времен.

— Вот и я — тоже. Всю жизнь прожила в этом доме, с малолетства знаю Лизочку — супругу Вани.

Еще успела сказать, что Ваня — велосипедный тренер, мастер спорта, что это она уговорила соседей позвать священника и что Лизочка... Я не дослушал: вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Велосипедный тренер был, действительно, плох: смертельная болезнь довела его до крайнего изнеможения, но поздоровался он отчетливо, что вселяло надежду на возможность исповеди. А исповедовался Иван впервые, и, значит, пришлось задавать ему вопросы и что-то растолковывать... Но справились. Уже после причащения услышал я разговор за дверью:

— Это Лиза, — объяснил Иван, — она с работы, — и негромко позвал ее.

Вошла худоцавая женщина лет пятидесяти: ступни развернуты, спина прямая, волосы собраны на затылке в тугий пучок — хрестоматийная балерина. Я поздоровался и:

— В Большой театр со служебного входа без пропуска.

— Нет, — говорит, — теперь уже не получится.

Так началось наше знакомство. У Вани впереди были мучительные процедуры, и я наведывался к нему еще несколько раз: соборовал, причащал. Лизочка или старушка соседка угощали чаем на кухне и рассуждали о Ванькиной хвори да о запутанностях жизни вообще. Поскольку обе женщины были весьма говорливы, мне оставалось только слушать. Но наступил и мой черед.

Лизочка стала выяснять, какие балеты я видел. Я назвал несколько спектаклей и между ними — “Коппелию”.

— Подождите! — перебила она. — А где вы видели “Коппелию” — у нас ее давно не ставят?

— В Хореографическом училище, — говорю, — полвека назад.

Мы с моим школьным приятелем Юркой однажды посетили это учебное заведение: идем по фойе концертного зала, а встречные ученицы делают книксены. Юрка спрашивает, почему они нам кланяются. Я говорю: “Уважают”. Он тогда: “И что, кроме них, нас никто не уважает?”

— А как вы туда попали? — спросила Лизочка, — Учился кто-то из родственников или знакомых?

— Нет. Мы с товарищем подменяли в зимнем лагере заболевшего концертмейстера. Позвала, кажется, чья-то мамаша. В благодарность нас пригласили на выпускной спектакль.

— Так это вы?! — воскликнула Лизочка. — Я помню! Я все прекрасно помню!

— Вас, — говорю, — тогда еще на свете не было.

— Была! Маленькая, но была: года три или четыре, наверное. Мама преподавала в училище и на зимние каникулы взяла меня в лагерь. Так что я все помню! Вы играли на пианино, а ваш друг — на гитаре!

Пришлось согласиться.

— Сначала девочки танцевали под Шопена, а когда началась гитарная классика, я пустилась в пляс. Все хохотали, а мама сказала, что Испанский танец из “Лебединого” ждет меня. И ведь дождался! Лет через двадцать, наверное. И “Шопениана” дождалась...

...В лагерьной кладовке хранились оркестровые инструменты. Юрке уж очень захотелось попробовать на тромбоне. Я сказал, что не надо, а то нас девчонки побьют, и предложил ему арфу: мол, та же гитара, только вертикальная. Юрке не понравилось: слишком большая. Зря отказался: он бы что-нибудь кое-как освоил, зато потом всю жизнь можно было говорить, что играл на арфе. А насчет “освоил” — это точно: друг мой легко приспособивался к самым разным щипковым и клавишным инструментам. Но более всего любил барабан. К счастью, ударных инструментов на складе не оказалось, зато у кого-то нашлась гитара.

Мы были обыкновенными шалопаями и валяли дурака в свое удовольствие. Толковые люди ухитрялись извлекать из нашего шалопайства практическую пользу, но, конечно же, мы никак не могли предположить, что станем первооткрывателями будущей балерины.

Поскольку этой историей мое участие в большом балете исчерпывалось, на следующем чаепитии я снова стал слушателем. Лизочка рассказывала, как в девятностые, когда развалился театр, она бросилась на поиски работы в Европу. Тогда, по ее словам, в каждом европейском аэропорту можно было встретить наших вокалистов, балерин, музыкантов, — все мотались из города в город, из оркестра в оркестр, из театра в театр:

— Увидишь человека с инструментом — ну, с футляром — в руках, смело подходишь и начинаешь выяснять, откуда прилетел, какие там вакансии, сколько платят. Он то же самое выспрашивает у тебя...

Помаевшись на случайных заработках, Лизочка уехала преподавать в Африку. Когда ситуация стала выправляться, она вернулась в Москву, восстановила прежний репертуар и добавила новые партии: “не великие, но вполне престижные — из тех, что указываются в программах и на афишах”.

О дальнейших событиях мне рассказывали во время предыдущих чаепитий. С Иваном Лизочка познакомилась в больнице: ей оперировали левый мениск, ему — правый. Так и ходили по коридору, подпирая друг дружку. Вот, собственно, и весь роман. “Быть может, это смешно, — говорила Лизочка, — но я впервые ощутила себя нужной, не абстрактно — зрителям, театру, а одному-единственному человеку”. Вообще, по словам балерины, на романтические отношения времени ей всегда не хватало: спектакли заканчиваются поздно, выматываешься до потери сил, а утром опять к станку.

— Как только поступила в училище, детство исчезло: экзамены, концерты, конкурсы и репетиции, репетиции, репетиции — раньше ведь и во взрослых постановках были детские роли, чтобы мы привыкали к серьезной сцене. Потом заневестилась, а женихов нет: в нашей профессии мальчиков мало. Кстати, вас приглашали в зимний лагерь наверняка с тайной надеждой, что вы с кем-то из девочек познакомитесь и подружитесь.

Мы, признаться, познакомились, но у них действительно не было свободного времени, так что никакого продолжения затея не получила. На котором-то чаепитии Лизочка вдруг начала задавать мне вопросы о вере —

я понял, что супруг, который теперь читал Евангелие, занялся ее духовным просвещением. Потом они стали осваивать утренние и вечерние молитвы.

Между тем, смертельная болезнь немного попритихла, и появилась возможность поднять Ваню на ноги. Лизочка, работавшая теперь в частной балетной школе, всё свободное время тренировала супруга, придумывая новые и новые упражнения. Летом они уехали на курорт. Во время прощального чаепития балерина призналась, что “человеческая жизнь” началась у нее только после встречи в больнице.

ЛЮДИ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

Лесничество располагалось на окраине большого села. Директор — Виктор Савельич — был человеком воцерковленным и радовался, когда духовенство собиралось в его конторе. Иеромонаху Авраамиию выпало восстанавливать каменный храм на соседней улице, так что он приходил пешком, а матушку Варвару, которой предстояло поднимать монастырь на другом конце села, привозила на старенькой машинке монахиня Серафима. Иногда навещались священники из ближайших районов, но чаще собирались втроем: отец Авраамий, матушка Варвара и монахиня Серафима. Встречи эти могли случаться только в будние дни, да и то если не было больших церковных праздников.

Последовательность восстановления проста: крыша, окна, двери, пол, потом все остальное. И у отца Авраамия дела вполне продвигались: он оживил приход, стал зарабатывать мелкие деньги, нанял двух мужичков, которые взялись залатать кровлю. Сложнее оказалось с обиталищем самого батюшки: жил он в церковном чулане, устроенном в древние времена для хранения лампадного масла, свечей, муки и просфор. Это был холодный каменный склеп без окон, с тяжелой кованой дверью, которая прижималась к высокому порожку так плотно, что и мышонок не мог пролезть. Отец Авраамий поставил электрокамин, спал в телогрейке и все равно заболел пневмонией. Хотели скинуться и купить еще один обогреватель, но электрики сказали, что сеть не выдержит. Савельич дал досок, укрыли пол, поставили раскладушку на ящики, задвинули под нее камин, и отец Авраамий благополучно дотянул до весны.

В монастыре были свои неурядицы: из множества помещений только одно стоило для ночлега — угловая башня. Круглую комнату разделили на кельи с помощью занавесок, сшитых из простыней, однако тут же и поняли, что тряпичной архитектуры для восстановления разоренных строений недостаточно. У матушки Варвары был старший брат — монах Митрофан, работавший водителем в епархиальном управлении. После обстоятельных переговоров архиерей отпустил его на два месяца. Приехав, брат Митрофан начал колотить из досок Савельича комнатки для монахинь — началась эра деревянного зодчества. Кроме того, он отремонтировал каморку в развалинах другой башни, где и ночевал.

Зато монастырский собор, объявленный некогда памятником, был в порядке. Служить присылали священников из города по особому расписанию.

На Пасху председатель закрывшегося колхоза подарил матушке Варваре корову и стог сена в приданое. Весь скот ему пришлось отплатить на бойню, одну только Фиалку сберег: “Она особенная: умница, аристократка — не переносит матерных слов, а у вас ей будет хорошо, и молоком — залытеть”. Среди сестер нашлась бывшая доярка — ее назначили скотницей. Брат Митрофан обустроил корове стойло, потом прямо на территории монастыря огородил небольшой выгон и шестого мая, в день Георгия Победоносца, вместе с коровой вышел по крестьянской традиции погулять. Общими стараниями они нашли несколько зеленых травянок, пробившихся из еще холодной земли, и Фиалка аккуратно выщипала свежую растительность. После службы батюшка покропил обоих крещенской водой и сказал: “Быть тебе пастырем, отче!”

К середине мая еда в монастыре кончилась: в погребе оставалось четыре тыквы. А двадцать второго, на праздник святителя Николая, надо было бы

как-то батюшку угостить. Собрали совет: перевспоминали все блюда, которые можно приготовить из тыквы, потом стали соображать, у кого можно добыть картошки хотя бы займы — они уже завели свой огород и по осени могли рассчитывать. Тут появляется сестра, которая ходила на двор трести половики, и говорит, что заезжал какой-то дядечка и попросил передать настоятельнице конверт. Раскрывают, а там деньги. Матушка заплакала. Остальные присоединились, и весь синклит некоторое время рыдал. Успокоившись, выяснили, что человек этот — москвич, архитектор, купил в деревне пустующий дом, который будет у него вместо дачи. “А как звать-то его?” — зашумели монахини, возжелавшие немедленно помолиться о благодетеле. “Николай”, — отвечала сестра. Потрясенные этим, явно не случайным, совпадением сестры разом ахнули, глубоко вдохнули, чтобы, вероятно, всплакнуть пуще прежнего, но матушка Варвара поднялась и запела “Хвалебную песнь” Амвросия Медиоланского: “Тебе Бога хвалим...”

Буренка — существо, безусловно, полезное, однако за год съедает несколько тонн кормов. Монахини слегка укоротили подрясники, взяли у того же председателя косы и — на трудовой подвиг. Кто-то умел, кто-то не умел, но все старались. Работали на брошенных колхозных полях, где уже появились прутья кустарника, так что отец Авраамий то и дело правил щербинки на косах тружениц. Справились, заготовили.

Осенью областной депутат начал строить коттедж. Савельич привез его в монастырь, надеясь на хоть какую-нибудь поддержку. Тот оглядел разруху и сказал: “Не вижу смысла помогать — они никогда тут ничего не восстановят”. Савельич дерзнул осадить его:

— Они-то восстановят, и это им зачтется, а вы могли поучаствовать в богоугодном деле, но отказались — и вот это зачтется вам.

Когда вслед за колхозом упразднили лесничество, и работы в селе почти не осталось, народ стал разбегаться. Приход отца Авраамия обезлюдел, и батюшку перевели в город поднимать мужской монастырь. Храм, который он отремонтировал, пришлось закрыть. Благочинный сказал, что по большим праздникам будет присылать кого-то из священников.

А вот брат Митрофан стал иеромонахом, то есть как раз пастырем, и получил назначение в собор к младшей сестре. Савельича взяли в алтарники, начались ежедневные богослужения, возник хор, потом второй, стали прибывать экскурсанты и паломники... В общем, восстановили монастырь, восстановили. Такие люди. Такое время.

ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Сначала в поселке закрыли школу, и безработным стал Виктор, преподававший биологию, потом “оптимизировали” больницу, и не у дел оказалась его жена — акушерка Людмила.

— И при царе были нужны, и при советской власти, а теперь почему-то без надобности, — горестно удивлялась супруга. — Куда же нас занесло?

— В двадцать первый век, Люсенька, — вздыхал супруг, — в двадцать первый.

Их взял к себе Анатолий — директор охотхозяйства, располагавшегося по соседству. Он приглашал их сразу после закрытия школы, но Виктор никогда в жизни не охотился и считал это занятие не своим. Кроме того, они с Людмилой привыкли по воскресеньям ходить в церковь, а у Анатолия воскресенья — самые напряженные дни... Однако и хозяйству пришел конец: его продали, оставив только главную усадьбу с питомником благородных оленей — для воспроизводства и продажи. Вот тогда-то Виктор с Людмилой взяли благословение у батюшки и переехали.

Им предоставили старенькую избу — бывшие хоромы егеря, и транспорт — коня Мармелада, на котором прежде вывозили из леса добытых кабанов и лосей.

У новых работников была и собственная скотина: рыжий кот и собака Пальма. Тут ещё Анатолию кто-то по старой памяти подарил подсадную

крякву, между тем как озеро теперь принадлежало богатому соседу и вместо утятников там базировался гидросамолет. Птицу бы отпустить, но уже пришли холода, замерзли все ближайшие водоемы, а до теплых краёв утке было не долететь. Крякву назвали Маней и до весны поселили в сарае — там, рядом со стойлом коня, был отдельный чулан для лопат, метелок и другого уличного инструмента.

С Мармеладом Виктор легко подружился: конь давно уже все про жизнь понимал и от людей хотел только одного — чтобы и его понимали, а новый хозяин был селянином и общаться с лошадьми умел. Появление Рыжика и вовсе обрадовало коня: он знал, что теперь грызуны не будут тревожить его по ночам, а сено перестанет пахнуть мышами.

В общем, как-то все друг к другу притерлись, и началась повседневность. Изначально олени паслись в просторном загоне, но когда расплодились, пришлось выпустить их на волю, а кормушки установить вокруг усадьбы. Зимой все стадо и дневало, и ночевало бок о бок с новыми работниками, которые явно вызывали у оленей доверие, в то время как любого пришлого человека животные остерегались. Если с вечера начиналась метель, Виктор выходил из дома с пакетом пшеницы и широким жестом сеятеля разбрасывал лакомство по двору — к утру олени выбирали все зёрнышки, утаптывая снег до такой плотности, что можно было гулять хоть в шлёпанцах.

Загоном пользовались теперь только, чтобы отловить животных для переселения. Время от времени к Анатолию приезжали заказчики — директора заповедников, охотхозяйств, тогда Людмила готовила праздничный обед, и гостей принимали в том самом коттедже, где прежде размещали охотников.

Зима прошла, можно сказать, спокойно, хотя происшествие все же случилось: неподалеку от питомника была замечена стая волков. Анатолий срочно собрал команду, волков обложили, четырех удалось добыть, но один ушел из оклада и шатался где-то поблизости. Так как ружья у Виктора отродясь не бывало, Анатолий выдал ему ракетницу. И, надо сказать, очень вовремя, потому что следующим утром Виктор столкнулся со зверем уже в питомнике: волк, не обращая внимания на человека, легкой трусцой бежал по дороге прямо к усадьбе, где гуляли десятки оленей. Зарядив ракетницу, Виктор выстрелил в сторону хищника. Тот развернулся и бросился прочь. Но ракета, скользя по укатанной дороге, обогнала его, и когда волк опять увидел страшный огонь перед собой, он развернулся еще раз и побежал в обратную сторону — к человеку. Виктор даже рассмеялся:

— Ты куда, балбес? — крикнул он.

Волк замер.

— Я что, так и буду теперь стрелять, а ты так и будешь туда-сюда бегать?

Зверь растерянно посмотрел по сторонам и сиганул в чащу. Интересно, что охотники, созданные Анатолием, пытались его добрать, но он снова перехитрил их и исчез в соседнем районе.

В общем, зиму пережили без потерь, а весной, когда на озере появились кряквы, улетела Маня. Выращенная из дикого утенка, она улетела, чтобы, как полагал биолог Виктор, вернуться к природному бытию и приманить селезня не для охотников, а для семейной жизни. Впрочем, вкусив бытия и семейной жизни, утка снова явилась к дверям сарая, но теперь в сопровождении утят.

— Что это значит, Маня? — строго поинтересовался Виктор. — Так не договаривались!

Утка крякнула в ответ что-то невразумительное, и тут из дома выбежала Людмила:

— Да какие хорошенькие, какие красивые! Манечка, дорогая, поздравляю тебя!

Пришлось срочно делать вольер из металлической сетки. А потом еще нанимать тракториста, чтобы под видом противопожарного пруда соорудить уткам купальню.

Когда начались школьные каникулы, Виктора и Людмилу навестил внук-старшеклассник. Ненаглядная красавица дочка — их единственное дитя —

вышла замуж за городского. Поначалу внука привозили на лето “подышать свежим воздухом”, но потом зять, который прежде проектировал электростанции, стал продавать электричество за рубеж:

— Понастроили, хватит, пора торговать, — объяснила дочка.

Они приобрели виллу в Италии, куда уже несколько лет и ездили отдыхать. А тут пожалели родителей, отправили внука. Парень поздоровался, включил компьютер, посидел немного:

— Связь плохая, поеду домой.

— Как “домой”? — изумился Виктор, — Я хотел познакомить тебя с оленями — там есть такие общительные ребята...

— И ты что — их понимаешь?

— Не очень. Просто разговариваю со всеми животными на человеческом языке, а уж они — воображают кто как: одни — похуже, другие — получше, а некоторые — и вообще прекрасно!

— Дедуль, но извини, не могу: надо выходить в интернет, а связь плохая. Пока таксист меняет колесо и не свалил, я, пожалуй... Ты не обижайся! Прими во внимание, что наступил уже двадцать первый век, а ты со своими оленями...

И уехал.

— Не сердись на него, — говорила Людмила, — он ведь блогер, ему надо все время выходить в сеть, ему за это размещают рекламу, и зарабатывает он столько, сколько нам и не снилось.

— С чем он выходит в эту самую сеть?

— Вот сейчас хотел рассказать, что у нас ему предстоит умыться под рукомойником.

— И что?

— А то, что пятьдесят тысяч подписчиков ждут его с новостями.

— Люся! Эти пятьдесят тысяч подписчиков — клинические идиоты?

— Двадцать первый век, Витенька, двадцать первый!

В конце лета донесся слух, что владелец нескольких ресторанов хочет приобрести питомник, чтобы пустить оленей на бифштексы. Анатолий сказал, что преступный приказ выполнять не будет, и собрался уволиться. Виктор с Людмилой ушли бы, конечно, вслед за ним, прихватив Рыжика, Пальму и Маню с ее семейством, но невыносимо жалко было оленей и Мармелада. А потому, прежде чем начинать это скорбное дело, они обратились к духовнику с грандиозным вопросом: “Что противопоставить невзгодам двадцать первого века?”

— Молитесь иконе “Умягчение злых сердец”, — сказал батюшка и добавил: — А в четверг давайте прочтем акафист Николаю чудотворцу: вы — у себя дома, я — у себя.

Скоро подошла весть, что ресторатор распродав заведения и покинул пределы нашего многострадального Отечества. Отслужили благодарственный молебен.

Утята выросли и разлетелись. А Маня осталась.

— Ну что, подруга, год продержались? — спросил ее Виктор.

Она покрякала что-то приветливое в ответ.

— Стало быть, и с двадцать первым веком можно справляться.

ЗАКОН МЕДСЕСТРЫ

Поздний час. Свет погашен. Больница засыпает. Моя кровать у дверей. Слышу, как в коридоре, на посту, дежурная медсестра экзаменует практикантку. Та, похоже, только что из училища: на вопросы отвечает заученно-четко — небось, отличница. Обсудили лечебные процедуры, занялись травматологией — у нас тяжелые переломы, замена суставов, мы делимся на “бедро”, “коленки” и “плечи”. Но и это испытание новенькая преодолела успешно и заслужила похвалу. Девушка в ответ стала щебетать что-то благодарственное, но была прервана:

— А теперь постарайся усвоить закон человеческих отношений, о котором в учебниках не написано. Значит так: мужчины — народ компанейский, и когда в палату поступает новенький, с ним, как правило, сразу хотят познакомиться. Приглядывай за “плечами”: “коленки” и “бедрa” в магазин на костылях не побегут, а вот “плечи” — могут.

Успеваю с удивлением отметить точность закона: к нам в палату вчера поступил футбольный вратарь с разбитой ключицей — он уже дважды бегал.

— Так ведь на входе охрана!

— Охрана — тоже мужчины и, стало быть, тоже народ компанейский, понятно?.. Теперь слушай вторую часть этого закона: когда в женскую палату привозят новенькую, все ополчаются против нее.

— Почему?

— Если молодая — потому что молодая, если старая — потому что старая, если красивая — потому что красивая, если некрасивая — потому что некрасивая, если замужем — потому что замужем, если не замужем — потому что не замужем, если...

— А почему они такие? — восклицает девушка.

— Не они, а мы, — смеется дежурная.

За сим наступает долгая тишина.

Сквозь сон слышу:

— Там, в сестринской, есть кушеточка и одеялко, ты уж, милая, пойдй поспи.

— А вы?

— А я подежурю.

ИГОРЬ КРАВЧЕНКО



ПРЕЖНИЙ ПРАЗДНИК — ОН В ПАМЯТИ НАШЕЙ

СМЕРЧ

По лесам, перелескам, оврагам,
по озёрной воде голубой,
мчался ветер и сумрачным стягом
тучи в небе вздымал над собой.

Рвался ветер сквозь острые сучья,
дуб трещал, пригибалась лоза.
И клубились угрюмые тучи,
и гремела над миром гроза.

И далёкие всполохи плыли,
застилая холмы и поля,
и столбы из спрессованной пыли
исторгала со стоном земля.

Их свивало, качало, крутило,
разводило для новой борьбы,
и с размаха, с неистовой силой,
завихряясь, сшибались столбы.

КРАВЧЕНКО Игорь Георгиевич родился в 1936 году в городе Минеральные Воды. В 1960 году окончил Военно-Морскую Медицинскую академию. 17 лет прослужил в уссурийской тайге и во Владивостоке, на острове Русском и на Камчатке. С 1968 года член Союза писателей СССР. Окончил ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького. Стихи печатались в журналах "Дальний Восток", "Юность", "Смена", "Молодая гвардия", "Советский воин", "Сельская молодежь", "Звезда", "Дон" и др. С 1984 года живет в Санкт-Петербурге.

Шла стихия сквозь сёла, посёлки,
в свисте ветра, без капли дождя,
превращая в щепу и осколки
всё и вся — ничего не щадя.

И когда над поверженным миром
встало солнце в багровой пыли,
ползал в прахе и малым, и сырым
человек — покоритель земли.

* * *

Душа, как степь под солнцем юга, —
иссушена, обожжена.
Ни музыка, ни письма друга
и ни ночная тишина
ей не приносят облегченья,
в ней боль и скорбь моей страны,
зарниц далёкое свечение
и кровь у рухнувшей стены.
В ней ежедневные заботы
бессмысленных и тусклых дней,
и нет желания работы,
и нет порывов прежних в ней,
и время протекает мимо,
и ты ему не господин.
Всё это было б объяснимо,
когда бы так страдал один...
Но вновь кружит воронья стая,
и кто-то корчится в пыли.
И так теперь живёт шестая,
одна шестая часть земли.

* * *

Сколько было в стране нашей
звёзд и талантов,
сколько взлётов и песен, побед и дорог!
Меж страной космонавтов
и страной спекулянтов,
как овраг среди поля, чёрный август пролёт!

Он страну развалил на богатых и нищих —
эти пьют и воруют, те и пашут, и жнут.
А в глубоком овраге ветер западный рыщет,
продувая насквозь обездоленный люд.

Чем живёт он теперь? Что поёт и читает?
Не читает — считает остатки рублей,
что в руках, словно снег в жаркой комнате, тают,
не хватает на хлеб их, с разорённых полей.

В городах разрушаются крыши и стены,
зарастают дороги, выгорают леса.
Нефтепроводов трубы, словно вскрытые вены,
заливают поля, но молчат небеса.

Мельтешат по экранам обрыдлые лица,
среди смеха и воплей обещанья слышны —
слабоумная власть день и ночь веселится,
пропивая остатки великой страны.

МЕЧТА

Оглянитесь, зимою и летом,
не мешая гулять молодым,
осенённые солнечным светом,
мы на старых скамейках сидим.

Это всё, что имеем по праву,
а ведь мы не лопата песка!
Мы создали такую державу,
что легендой пройдет сквозь века!

Годы, как серебристые ели,
вдоль которых гудят провода...
Вот страну уберечь не сумели,
мы доверчивы были всегда.

Дни ложатся на плечи, как гири,
жизнь скрипит, что несмазанный воз.
Мы давно не нужны в этом мире
равнодушия, денег и слёз.

Как-нибудь доживём. Но обидно
за обманутых наших детей —
им не то что Европы не видно,
им бы дома прожить без затей.

А мечта у нас очень простая,
словно дом, где четыре угла,
чтоб Отчизна, от края до края,
вновь единой и сильной была.

Чтоб сложивши усталые руки
под горстями родимой земли,
мы бы знали, что дети и внуки
вновь страну гордиться могли.

* * *

Холодное лето сменяет весну,
в луга заползают туманы.
А деньги, что раньше ложились в казну,
ложатся в тугие карманы.

Богатые были во все времена,
а много ль живущих в достатке?
Зато по количеству нищих страна
находится в первой десятке.

На зеркало нечего ныне пенять,
и время стремительней пули.
Наверно, пора бы народу понять —
его демократы “обули”.

И сколько ни прыгай, и как ни хитри,
а в душах протест не стихает.
За летом приходят всегда сентябри,
а следом октябрь полыхает.

ПРАЗДНИК

Прежний праздник, он в памяти нашей,
вместе с красками осени той,
где мелодии песен и маршей
с бесконечной слились высотой.

Где, казалось, не деньги и сила,
а всеобщее братство труда
все народы соединило
не на день, не на год — навсегда.

Но коварство с предательством тайным —
проявление высшего зла,
оказалось совсем не случайным
на дороге, что к цели вела.

Да и цель объявили химерой,
словно не было яростных лет,
тех, в которых с надеждой и верой
наш народ отпечатал свой след.

Растоптали, ни много ни мало,
всё, чем раньше гордилась страна:
и портреты, и пьедесталы,
даты, праздники, имена.

И теперь, на развалинах дымных
нашей в прошлом великой страны,
на осколках, обломках, руинах
старых праздников шрамы видны.

Только шрам и останется шрамом,
ибо в лексике честных людей
срам всегда называется срамом,
а злодей — он и в праздник злодей.

Дни идут, как волна за волною,
точит камень морская вода.
Прежний праздник остался со мною
не на день, не на год. Навсегда.

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО

Страна погрязла в спорах о причинах
бесчисленных трагедий наших дней —
о гибнущих подростках и мужчинах,
о женщинах, бросающих детей.

Не выданное вовремя лекарство,
сгоревший дом, убитая семья...
Невозмутимо только государство,
в котором проживаем ты и я.

Слова и слёзы — всё проходит мимо
бесчувственных чиновничьих сердец.
И только Время ясно, точно, зримо
нам показало правду, наконец.

А правда в том, что девяносто первый
пора признать ошибкой роковой,
когда сметён был массой алчной, серой
построенный с надеждою и верой
тот справедливый социальный строй.

МЫ

Мы из тех, кто детьми пережили войну,
мы из тех, кто потом защищали страну,
кто разведывал недра и плавил металл,
поднимал целину, первым в космос взлетал.
Мы прошли через время, сквозь бурю годин,
мы из тех, кто не предал страну, ни один,
тех, кто помнит, что было всегда и у всех,
тех, кто жил в СССР. Мы из тех, мы из тех...

АНДРЕЙ УБОГИЙ



ДОМ

I

Первый дом? Уж не этот ли: мне года три, я в постели — и, согнув ноги углом, натягиваю одеяло между коленями и головой? И тотчас внутри, под шатром одеяла, возникает особенный мир: таинственный, сумрачный, тёплый, уютный. Всё непонятное, даже враждебное — всё осталось снаружи; здесь же, в уюте и сумраке, — только ты сам и твоя сокровенная жизнь...

Не в этом ли и состоит смысл жилища: отгородиться от внешнего мира, столь часто чуждого и равнодушного, и создать собственный мир — тот, в котором ты сможешь не просто согреться или отдохнуть, но сможешь стать самим собой? Поэтому, строя дом — создавая границу меж внешним и внутренним, — каждый, в сущности, строит себя.

Но вернёмся под одеяло, в тот первый дом, который был в жизни каждого. Замечаете, как в нём тепло? А ведь единственной печкой, которая обогревает нас, служим мы сами: наши сердце и лёгкие, наша горячая кровь согревают пространство нашего первожилища. И если, бывает, рука или нога нечаянно выпросталась наружу — мы спешим скорей спрятать её, да ещё плотней подоткнуть одеяло, чтоб холод наружного мира не похищал драгоценное внутреннее тепло. И чем холоднее снаружи, тем лучше, уютней бывало внутри. Помните: в том полумраке под складками, что провисали меж лбом и коленями и порой осторожно касались лица, там даже пространство

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала "Наш современник". Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

и время были иными? Точнее сказать, их — пространства и времени — не было вовсе: они словно ещё не возникли и не отделились одно от другого.

Наверное, нечто подобное было в материнской утробе: и сонный покой защищённости, и отсутствие времени и пространства, и бесконечное чувство доверия тому тёплому сумраку, что нас окружал и хранил. По-настоящему, это и был наш первый дом; а все те дома, что нам суждено будет строить и обживать в течение будущей жизни, окажутся лишь его несовершенными и приблизительными подобиями. Но кто помнит свою внутриутробную жизнь? А вот гнёздышко под шатром одеяла памятно и знакомо любому; если же кто-то и подзабыл, как в нём уютно жилось, так ведь нетрудно и снова построить его.

Вот только, скорее всего, долго вы в этом жилище не пролежите: какая-то дрожь беспокойства вас будет выталкивать в мир. И сложно понять, где источник тоски и тревоги, что понуждает нас выбираться из-под одеяла? То ли это томится сама наша жизнь, чей избыток не помещается в тесном и сумрачном коконе? То ли смутная эта тоска и стремленье вовне есть звучащий в душе отголосок приказа, который услышал наш предок Адам, когда он со своей непутёвой подружкой был изгнан из рая? Или безотчётная эта тревога, порой почти страха, что нас заставляет, отбросив покров одеяла, открыть себя миру, вернуться в него, есть предчувствие будущей с этим миром разлуки? И шатёр одеяла, который, с одной стороны, напоминает о самом первом жилище — о материнской утробе, — и он же пророчит о жилище последнем — о домовине?

Дом из песка, наверное, тоже был в жизни у каждого, уж если не в собственном детстве, так в той песочнице, где увлечённо возились дети или внуки, или на морском берегу, где мы наблюдали за играми детворы, возводящей песчаные замки.

Солнце было раскалено добела, море лениво накатывало и отступало от берега, пляжный гомон был сонно-однообразен, его нарушали лишь резкие крики разносчиков пива и пахлавы, и ты всегда удивлялся азарту и живости тех загорелых детей, которые, невзирая на пекло, трудились на узкой полоске меж морем и сушей. Да что дети, если порою и взрослые, неожиданно для самих себя впавшие в детство, могли к ним присоединиться и ползать на четвереньках, и загребать песок, и лепить башенки, ровики, стены, а потом вдруг хватать ведёрко и бежать с ним к воде, чтоб поскорей увлажнить быстро сохнувший замок. Но всё же дети в тех играх обычно играли заглавную роль: они указывали родителям, где копать ров, где ставить башню и где проделывать замковые ворота. Словно именно дети, которые ближе нас к раю и сказке, лучше помнят и знают, какими должны быть сказочные дома.

Но дома из песка — всего лишь дома из песка. Хорошо, если ты ушёл с пляжа раньше строителей замка; если же нет — тебе, скорее всего, предстоит стать свидетелем его гибели. И вовсе не солнце, не ветер, не море разрушат его; нет, всё будет куда прозаичнее и беспощадней. Откуда-нибудь возникает ватага безумных подростков. Поразительно, но они возникают всегда и везде, где есть что-то хрупкое и беззащитное, словно эти подростки и существуют лишь для того, чтоб нести разрушение. Индусы сказали бы, что это слуги Шивы, беспощадного и смертоносного божества.

И вот эти подростки, как смерч, проносятся берегом моря, визжа и кривляясь, и, конечно, не только не обегая хрупких башенок, стен и мостов, но как раз норовя на них наступить. И во мгновение ока всё кончено: не успеваешь ни крикнуть, ни двинуть рукой, как замок, которым ты только что любовался, сровняли с песком...

Смерч из подростков, всё так же визжа и кривляясь, уносится дальше, искать новых целей для разрушения, а ты остаёшься сидеть у песчаных руин с таким чувством горя в душе, как будто вот только что, у тебя на глазах не просто разрушили то, что разрушилось бы и само по себе, под воздействием солнца и ветра, но надругались над чем-то священным. В сущности, ты увидел сейчас в сжатом виде сюжет всей истории человечества: то, как в ней разрушение торжествует над созиданием. Сначала строители с усердием

и прилежанием созидают что-либо, а потом с диким визгом проносятся варвары и оставляют после себя руины. Вся человеческая история говорит, в основном, о бунтах и войнах, восстаниях и революциях, то есть о разрушении домов.

Ещё удивительно, что люди продолжают строить дома, что печальный финал, неизбежный для каждого дома (не придут варвары, так вместо них поработают время и силы природы), не останавливает кропотливой работы строителей.

Первый дом, который я осознал, как именно дом, была хата моего прадеда, Дениса Максимовича Попова. Он стоял на нижнем планте (так, по-местному, называлась улица) деревни Выгорное, что на Курщине.

Главное отличие южнорусских хат от северных изб было в том, что строительного леса на Юге всегда не хватало, и дома собирались из тонких, коротких бревёшек, которые приходилось снаружи обмазывать глиной или кизяком: получался гибрид деревянной избы и глинобитной хижины, отражавший ту сложную смесь Юга, Севера, Запада и Востока, какой и являлась вся русская жизнь.

В хате прадеда имелось всё, чему полагалось быть в классической русской избе. Холодные сени с чуланом — и собственно хата, где главной, разумеется, была печь. Располагалась она против двери, и “женская” половина со всеми ухватами и чугунками располагалась именно там, у печи. “Мужской” же угол находился справа от входа, ближе к окну. По-настоящему, в этом — красном — углу полагалось стоять иконам; но безбожное время их не терпело. Впрочем, по материнским рассказам я знаю, что Богородичная икона в хате всё же имелась, она была поднята на чердак, где и пережидала тяжёлое время гонений на веру.

Что запомнилось мне из того недолгого времени, что я прожил в хате прадеда? Воспоминаний не так уж и много, но зато это самые первые воспоминания, и на них, как на фундамент, легли все позднейшие впечатления жизни. Вот глухая зима, я на лавке возле окна — даже маленький, я понимаю, что окно тоже маленькое, — и вижу сугроб во дворе, по которому топчутся куры. И есть в этом зрелище — двор, сугроб, куры — что-то уютное, но и вместе с тем очень тоскливое. Суетно-мелкое копошение кур словно показывает мне, какой может быть жизнь, целиком погружённая в мелкие бытовые заботы, и тоскливо мне именно оттого, что я не желаю себе такой вот куриной и мелочной жизни...

Ещё помню матицу на потолке: она потемневшая, чуть прогнувшаяся, со вбитым крюком, на котором когда-то висела детская люлька. Точно не знаю, качалась ли в той люльке моя матушка и её сёстры, Галя и Света, но потолочную матицу сёстры Поповы видели точно. И, наверное, тоже испытывали от её созерцания такое же чувство покоя и защищённости, что потом, много после, испытывал я, когда тянул к этой матице руку и не верил, что стану большим и смогу до неё дотянуться.

Вспоминается ножка кровати, за которую я ухватился, когда испугался фотографа. Может, я испугался его как незнакомого человека, а может, опасался процесса фотографирования как такового. Дети, как и животные, чувствуют больше, чем могут выразить; вот и мой давний испуг перед круглым, упорно следящим за мной, немигающим глазом фотообъектива выражал неосознанный детский протест против того, чтоб отторгнуть, отнять у меня мой собственный облик. Как будто фотограф вторгался в то сокровенное, чего он касаться не должен; как будто в тот самый миг, как мой взгляд и лицо останутся в недрах фотографического аппарата, я потеряю какую-то часть самого себя. Нет, всё же даром в исламе, иудаизме и в некоторых первобытных культурах существует запрет на изображение человека; ведь образ, отделённый от первоисточника, может стать двойником — и кто знает, в каких непростых отношениях эта копия будет находиться с оригиналом?

Разумеется, в три младенческих года, когда в меня целился глаз объектива, я об этом не думал, но фотографа всё равно опасался. Я стоял, ухватившись за кроватную ножку, и даже думал, не ускользнуть ли мне под кровать — уж очень заманчив был сумрак, где никакой бы фотограф меня не

достал, — но всё же сдержался и выстоял до конца съёмок. Когда же фотограф ушёл, я залез на кровать и начал отвинчивать металлические шарики с её спинки — те блестящие шарики, в которых смешно отражалось моё приплюснутое и расплывающееся лицо.

Хотя, с другой стороны, что я так уж накинулся на фотографию? Даёт она нам много больше, чем отнимает; а всевозможные искажения, приблизительность и неполнота присущи любому виду искусства. В конце концов, на этих страницах, где я пробую воскресить свои воспоминания о доме прадеда в Выгорном, неточностей и огрехов куда больше, чем в том фотоснимке у ножки кровати. Так что спасибо тебе, деревенский фотограф, за то, что ты честно хотел покрасивее снять того мальчика, который спустя пятьдесят один год будет описывать то, как он, ухватившись за ножку кровати, испуганно и напряжённо смотрел в объектив.

Дом Дениса Максимовича был хоть и хатой, но хатой просторной и в целом небедной. И крыт он был шифером, и полы были в нём набраны из широченных досок, и крыльцо было высоким, как бы парящим и над двором, и над проходившею рядом дорогой.

А всего через два дома по нижнему плану стояла хата Нинки, нашей дальней родственницы, жившей одиноко и трудно. И вот это была уже настоящая мазанка, жилище почти первобытное по затрапезности, бедности и тесноте. Ведь мазанка — это плетень из лозы, обмазанный глиной с навозом. Покрыта она была соломой, самым дешёвым строительным материалом тех мест. Помню, издали Нинкин дом походил на этакий гриб под округлой соломенной шляпкой — гриб, на облезлой от времени ножке которого имелось оконце и низкая дверь. Эта дверь, утеплённая, чем только можно, — одеялом и старой фуфайкой, драной клеёнкой, полосками войлока — была ещё, для надёжности, перехвачена крест-накрест прибитыми брезентовыми вожжами, иначе всё то, что висело на двери, непременно осыпалось бы с неё. Глянешь мельком на эту дверь, — а такие, обитые разнообразным тряпьем, двери были у многих, — и она вдруг покажется спиной ветхой, согбенной старушки, которая сунулась в хату да ненароком застряла в дверном проёме.

Дверь открывалась с кряхтением и жалобным скрипом. В полутёмных сенях стояли вёдра с водой — колодец на низах огородов у речки, из которого их наполняли, так и назывался “Нинкин”, — а затем раздавался скрип ещё одной двери, которая вела в саму хату. В жаркий полдень, — а я заходил туда только летом — так приятно ступать босыми ногами по земляному прохладному полу!

Что было в той хате? Печь, лавка, стол, ворох тряпья на кровати в углу да окошко размером в четыре ладони. Вездесущий картофельный запах исходил и от чугунка, что стоял на загнётке печи, и от ведра возле входа, в котором была всё та же картошка, но только помельче, ждала, когда её потолкут курам или поросёнку. И хоть мебели в этом жилище почти не имелось, но было так тесно, что не повернёшься. И это ещё на дворе стояло лето; а что же творилось зимой, когда всё свободное место возле печи бывало завалено мёрзлой соломой? Ведь больше в тех курских краях топить нечем — дрова или уголь раздобыть трудно, — и только солома спасала людей в холода. Топка печи набивалась её золотистым, шуршащим, ломавшимся ворохом; потом подносился огонь, и этот соломенный ворох сначала наполнялся молочным дымом, потом в дыму промелькивал алый, трепещущий проблеск, а потом вдруг и печь, и вся хата озарялись враз вспыхнувшим пламенем! Какое-то время докрасна раскалённые стержни соломы ещё сохраняли свою хрупкую архитектуру, но скоро рушились, и в топке печи оставался лишь слой невесомого серого пепла.

Не берусь даже сказать, сколько охапок заиндевевшей соломы приходилось Нинке затащить в хату, а после заталкивать в печь, чтобы хоть сколько-нибудь протопить своё занесённое снегом жилище. Но хорошо представляю себе, как гудел жаркий огонь, бросавший алые блики на гору соломы, лежавшую возле печи, как искры летели в трубу, а хозяйка, отворачиваясь от жара, заметала в совок те дымные красные брызги, что вылетали из топки

и падали на пол. Ещё хорошо, что полы в той хате были земляными, а стены — глиняными, а то бы Нинкина хатка не пережила при топке соломой и одну зиму.

На чём только держалась тогдашняя деревенская жизнь! На каких-то курушках-гнилушках, верёвочках, щепочках, на соломе и на коровьем навозе, на ивовой лозе и на глине, на полусопревшем тряпье — на чём-то таком, что уже и само было почти прахом. И сколько стояло таких вот, как Нинкина, хат — с земляными полами и кровлями из соломы, с дверьми, утеплёнными всяким случайным тряпьем, и с одинокими бабами, что коротали в них долгие зимы...

Пожить в хате прадеда мне довелось недолго. Мне ещё не исполнилось пяти лет, как я вместе с родителями переселился в другие места, и вместо привычных стен хаты жизнь продолжилась в стенах кирпичного дома. Я бы, может, и вовсе не вспомнил об этом переселении, — мало ли где, кто, когда и как жил? — если бы ныне, полвека спустя не увидел, насколько всеобщим, охватившим не только страну, но и всю нашу планету, было подобное перемещение. Повсеместный исход в города и разрыв с традиционными формами жизни стал всечеловеческим и глубоко драматичным событием. Всюду, на всех континентах, люди оставляли дома, в которых она появились на свет и в которых жили их предки, чтобы в новых домах и на новых местах искать себе лучшую долю.

Ну, а в нашей стране, в середине XX века — в стране, только-только пришедшей в себя после великой войны, — для молодёжи села казалось и вовсе невыносимым: как это можно остаться жить там, где жили их деды и прадеды? Конечно же, надо как можно скорее уезжать — на комсомольские стройки и на освоение целинных земель, в далёкие и малящие города — туда, где начнётся иная и непременно счастливая жизнь. Вот и мои мать с отцом — к тому времени уже молодые врачи — и думать не думали остаться жить там, где выросли.

И, не успев толком обжиться в хате прадеда в Выгорном, как вместо стен, обмазанных глиной, вместо печи и лавки в красном углу, вместо тёмных прохладных сеней, вместо кур, копошащихся под окном во дворе, вместо гудения пчёл, вместо крыльца и дороги, чьи колеи тянулись по-над огородами и исчезали у речки, в кустах ивняка, — вместо всего этого я оказался в непривычной мне обстановке “городской” квартиры.

Я взял “городская” в кавычки, потому что наш новый дом стоял тоже в селе, но он был новым, построенным для докторов той больницы, куда приняли на работу моих родителей. Обстановки той тесной квартирки, где мы прожили около года, я не запомнил, но думаю, она была точь-в-точь такой, как и обстановка следующей квартиры, куда мы переехали вскоре: тоже двухкомнатной, в панельном и тоже недавно построенном доме, но располагавшейся уже в ближнем пригороде Калуги.

Вообще шестидесятые годы прошлого века (когда и происходили все переезды нашей семьи) питали стойкую неприязнь к укоренённому, основательно-прочному быту. Бескорневая, скользящая жизнь “на колёсах” считалась единственно правильной; поэтому и обстановка жилищ в идеале должна была быть такой, с которой можно расстаться без сожаления и в любую минуту. Старые вещи, те, что сейчас помещают в музеи, — буфеты, трюмо и старинные зеркала, комоды и стулья с гнутыми ножками — решительно выбрасывались на свалки, а их место занимал яркий пластик, тогда только что появившийся в обиходе и пришедший очень по вкусу эпохе. Журнальные скользкие столики, торшеры и кресла-кровати да ещё чемодан и непременно раскладушка в углу — то есть вещи, необходимые для полукочевой жизни, — вот из чего в основном состояли интерьеры квартир шестидесятых годов. Да и сами хрущёвки — дома из бетонных панелей, возводившиеся так же быстро, как быстро сменяли друг друга жилыцы в одинаковых и неуютных квартирах, — казались какими-то одноразовыми: трудно было представить, что в этих безликих серых коробках могло вырастать поколение за поколением и наполнять пространства хрущёб полноценной, весомой и самодостаточной жизнью.

Но нет худа без добра. Не окажись я вдруг ещё в раннем детстве в пустынно-невыразительной обстановке городских квартир, разве смог бы я с такой остротою почувствовать всю красоту и богатство природы, которая окружала новые наши жилища? А природа — и в старинном селе Ахлебинино, где мы поселились сначала, и в пригородной деревне Бушмановка, куда переехали после и где живём по сей день, — природа воистину удивительна. Ахлебинино — это былинный простор окской долины, блеск широкой реки меж крутых берегов, это ветер над соснами около дома, это булыжник старинного тульского тракта, который спускался к Оке, пересекал речку Ужередь и тонул в летних травах и медовых запахах поймы. Возможно, что и во всей Центральной России найдётся немного мест, сравнимых по красоте и приволью с этим участком поймы Оки, который называется Калужско-Алексинский каньон.

У природы Бушмановки тональность иная. Здесь всё камерней, мягче, интимней; но мне, прожившему здесь полвека, созвучней вот именно эта интимность. На восточной калужской окраине город почти незаметно переходит в деревню, а она — в долину бушмановского ручья. И вот эта долина — мы, дети Бушмановки, называли её “овраг” — была совершенно чудесна своей живописностью, обилием укромно-таинственных мест, чистотою журчащего на перекатах ручья, причём в нём водились пескарки, вьюны и карасики, словом, овраг был для детворы, живущей на его берегу, подобием рая. В нём оказалось собрано едва ли не всё то прекрасное, что есть в среднерусской природе: земляника на солнечных склонах, песчаный обрыв над ручьём, тень старой берёзы, которая в ясный ветренный день пятнает траву зыбкой рябью, трясогузка на мокрых камнях переката, гудение пчёл над соцветьями луга, таинственность влажной ольховой урёмы — и всё это было доступным и близким для нас...

И вот именно там, в райских куцах оврага, я приобрёл первый строительный опыт: мы вместе с Юркой Марушкиным начали строить шалаш. Нам было тогда лет по десять; ни знаний, ни навыков у нас, разумеется, не было никаких, но уверенность в том, что шалаш нам необходим и что мы сможем построить его, стояла в нас твёрдо и несокрушимо.

Ведь именно с шалашей, укрытий из веток и листьев, как бы растворённых в природе, сливавшихся с ней, и начиналась строительная история человечества. Конечно, построить шалаш куда легче, чем вырыть землянку или обжить пещеру — недаром донные народы, оставшиеся на первобытной стадии существования, живут в шалашах. И в детстве, пожалуй, любого из нас был свой шалаш — своего рода напоминание о детстве всего человечества.

Природа — она порой благоволит своим детям — сама помогала нам строить. Одна из берёзок, надломившись у самой земли, упала вершиной в развилку соседнего деревца так, что несущая балка кровли уже была нам готова. Оставалось лишь обломать или отогнуть лишние сучья снизу, а поверх упавшей берёзки набросать веток с листьями. Этим мы с Юркой и занимались весь летний день — день, полный шелеста, треска ломаемых веток, гудения мух и шмелей, вспышек солнца в прорехах берёзовых крон и полный чудесного, чуть горьковатого запаха вянущих листьев.

Шалаш на глазах становился пышнее, а лаз, который вёл внутрь, делался всё таинственней и привлекательней. Туда, в этот лиственный сумрак, мы натаскали травы и наломанных веток, так что скоро мы и сами едва могли втиснуться в щель меж подстилкой и кровлей. Но тесно там было, пока мы не умяли подстилку; зато после, когда мы смяли её локтями, коленями, спинами, внутри получилось что-то вроде гнезда. Залезая в пахучую и шелестящую гущу листвы, мы оказывались внутри природы в самом буквальном смысле этого слова: вокруг нас шуршала, гудела, дышала и ползала сама жизнь. В летнем её изобилии намешано столько всего, что твоих юных чувств не хватало уловить и заметить все эти оттенки, детали и мелочи слитно гудящей вокруг тебя жизни; но хорошо помню то состояние восхищённого изумления, которое переполняло мою десятилетнюю душу. Ни до и ни после я не оказывался настолько в природе и не бывал с ней настолько един, как тогда, в шалаше, когда даже моё дыхание передавалось веткам и

листьям, и порой чудилось: шалаш дышит вместе со мной, поэтому весь этот пышный лиственный ворох, пронизанный иглами солнца, есть продолжение меня самого.

Выражение “рай в шалаше” стало с тех пор мне понятно в самом прямом его смысле: именно в том, что в шалаше — рай. И этот рай оказался нам явлен на излёте ангельских лет: мы стояли уже на пороге подросткового, сумрачно-беспокойного возраста. Совсем уже скоро надвинутся гормональные бури, дабы затмить безмятежное небо детства и надолго, чуть ли не на всю жизнь, погрузить нас в мир смутных желаний.

Но в то чудесное лето мы ещё оставались детьми. Затаившись, мы тихо лежали в укромном своём шалаше и даже разговаривали, помнится, шёпотом, чтобы не нарушать равновесия мира. Порой я задрёмывал или, точнее сказать, погружался в то зыбкое состояние между явью и сном, когда не можешь понять: реальности или сонному вымыслу принадлежит то, что тебя окружает? Мир терял разделённость и чёткость и превращался в смутную смесь, в которой ты сам находился везде — и нигде: потому что ты сам был нечёток, размыт и непрерывно перетекал из себя самого в окружающий мир, и обратно.

Вдруг в ту блаженную дрёму, — возможно, она была чем-то сродни индуистской нирване, — врвались грубые и чужеродные звуки. Ты слышал глухой приближавшийся топот и треск — он отчётливо передавался подрагивавшей земле — я слышал тяжкие, как бы страдающие вздохи, а следом — мычание. И ты, даже сквозь сон, понимал: приближается стадо. Не то, чтобы мы боялись коров, — нам, жителям деревенской окраины, они были хорошо знакомы, — но нас пугала та неотвратимая мощь, с которой через трепещущий березняк тяжело двигалось стадо. Душа понимала: так грозно и неотвратимо может двигаться только что-то огромное, превосходящее все наши силы, — например, время или судьба, — поэтому мы лежали, оторопев, ни живы, ни мертвы, и надеялись только на то, что коровы, быть может, обойдут наш шалаш стороной.

Но стадо накатывало на нас, как лавина. Земля дрожала от топота; березняк, сквозь который ломились коровы, трещал; а гул оводов, постоянных спутников летнего стада, нарастал до злобного воя. И вот — как сейчас, помню эту секунду — шалаш затрещал, накренился, и сквозь стену из веток и листьев к нам просунулась шумно сопящая и слонявая морда! Не помня себя, мы выскочили из шалаша прямо сквозь его противоположную стену и понеслись без оглядки, не разбирая дороги и не чувствуя веток, хлеставших нас по лицу.

А ныне, вспоминая тот детский шалаш, так быстро павший под натиском деревенского стада, я думаю: а ведь это и было нашим изгнанием из рая — изгнанием в тот мир, где нам никогда уж не будет так безмятежно и так хорошо...

II

Была у меня, как и у многих, ещё и бездомная юность. Закончив школу, я уехал в Смоленск, поступил там в медицинский институт и шесть лет прожил в общежитии.

Различного рода общаг тогда было множество: можно сказать, вся страна представляла собою громадных размеров общагу. Всюду кипела густая и слитная общая жизнь, раствориться в которой было и страшно, и в то же время желанно. Даже если не брать в расчёт общежития как таковые, ещё были и коммуналки, и гостиницы с шестиместными номерами (“где койка у окна, — как пел поэт, — всего лишь по рублю...”), и пионерские лагеря, где молодёжи страны с малых лет прививали навыки “коммунистического общежития”, и воинские казармы, разом вскидывавшиеся по команде: “Р-рота, подъём!”, и лагеря за колючей проволокой, где едва ли не главное испытание для заключённых — невозможность хотя бы недолго побыть одному.

А поезда — особенно те, что назывались “рабочими”? Сколько раз, вытянувшись на третьей багажной полке, я из-под крыши вагона наблюдал

коловращение лиц, затылков, шапок, рюкзаков, сумок, корзин, той порою, как медленный поезд, запинаясь на каждом столбе, вёз людей в утренний город — на службу, на учёбу и на работу в заводские цеха. По проходам и по отсекам вагона кипела неразделимая общая жизнь; да и сам утренний поезд казался единым живым существом, по сочлененьям которого туго двигалась слитная масса людей.

А автобусы или троллейбусы в час пик, когда втиснуться в их двери представляло почти акробатическую задачу? Внутри, между взмокших от давки и духоты спин и грудей, ты не мог ни свободно вздохнуть, ни подвигнуться, и ты уже был не ты, а частица огромной, кряхтящей и трудно вздымающейся массы, которую тряс, трамбовал и куда-то тащил завывающий от натуги автобус. И, если бы ты сейчас поджал ноги, тебе не дала бы упасть та людская толпа, частью которой ты и сам являлся на время общего, так сплотившего всех путешествия.

Но вернёмся в общагу. Та, где ты жил первые годы учёбы, была огромна и сумрачна, и её хорошо знал весь город. Она возвышалась над его восточной окраиной, словно крепость, хранившая общую жизнь. По сути, общага сама являла собой целый город; порою даже мерещилось, что она превосходит своей глубиной и сложностью тот город, на краю которого она высилась своей сумрачной пятиэтажной громадой. В ней было всё, что необходимо для жизни: не просто комнаты с койками, но ещё и столовая, библиотеки и кухни, читальные и спортивные залы, переговорные телефонные пункты, в подвале даже располагался стрелковый тир, так что можно было бы, в принципе, целые годы прожить, не выходя из общаги наружу.

Но вот если сейчас я спрошу самого же себя: “А была ли общага, по-настоящему, домом?” — мне будет сложно ответить на этот вопрос. Конечно, с одной стороны, это дом, да ещё какой дом: он служил многолетним приютом для сотен, если не тысяч людей. Громаден, могуч — и, казалось бы, несокрушим.

А с другой стороны — нет, всё же, не дом. Потому что понятие “дома”, которое мной впитано с детства — ещё с хаты прадеда, с Нинкиной мазанки, с шалаша и с походных палаток, — включало, прежде всего, ощущение дома как места, где ты можешь быть самим собой: можешь молчать или думать, читать или спать, предаваться радости или печали, не беспокоясь о том, что твоя частная жизнь происходит на чьих-либо глазах и в чьём-либо присутствии, и тебе ежеминутно приходится делать поправку на эту назойливую публичность. Уж какая там частная жизнь, когда, может быть, главной целью общаги и было её подавление, а главное желание — превратить и смешать всё разнообразное множество частных жизней и судеб в едином котле, в нераздельном единстве безликого общего существования?

Мучительная проблема: решить, наконец, что же это такое — “общага” и как нужно к ней относиться? Она дом — или всё же не дом? Благо — или опасность? И кому нужно верить: общаге — или себе самому?

И вот этой мучительной двойственностью отношений с общагой наполнилась вся моя юность. С одной стороны, я боролся с общагой, как только мог, — боролся за право на одиночество и независимость, за право оставаться собой, — а с другой стороны, я любил в ней всё то, чего мне самому так недоставало: любил её мощь, её сумрак, её глубину...

Сейчас, с расстояния в жизнь, я вижу, что в нашей общаге даже пространство и время были особыми. Глубокие сумерки, что обычно царили в общаге, словно превосходили собою объём, который занимало это пятиэтажное здание, и добавляли к трём привычным пространственным координатам ещё и свои, необычные и необъяснимые. Входя внутрь общаги, я нередко испытывал некий озноб погруженья в иное пространство, не имеющее ни чётких границ, ни определений, — пространство, постоянно творящее само себя и само себя превосходящее. Находясь внутри этих сумерек, я не мог точно сказать, где же именно кончается наша общага, но догадывался, что она продолжается чуть ли не бесконечно. Прожив в ней несколько лет, исходяв её вдоль и поперёк, я не только не побывал во всех её комнатах и закоулках,

укомных углах, но я чувствовал, что, по мере погруженья в общагу и изучения её сумрачных недр, область неизведанного и непостижимого лишь расширяется.

Кроме загадок пространства, общага хранила и тайны времени. Если снаружи время двигалось, большей частью, линейно — из прошлого в будущее, вскользь касаясь неуловимого настоящего, — то внутри общаги время двигалось, скорее, по кругу. Дни, недели и даже годы здесь повторяли друг друга, и в этом циклическом круговороте сохранялся такой монотонно-дремотный уют, что само время, казалось, засыпало от собственного коловращения и больше не видело разницы меж настоящим, прошлым иль будущим.

Условным началом суток общаги можно считать шесть утра — время, когда во всех комнатах начинал звучать государственный гимн. Интересно, что радиоточку нельзя было выключить полностью — даже при повёрнутом до упора регуляторе громкости какой-то остаточный звук всё равно был слышен, — и зов гимна, пускай и негромкий, но раздавался во всех без исключения комнатах. И этому зову трудно было противиться: тяга могучего гимна словно выдёргивала из тишины всю сонно вздыхающую общагу. Ещё не смолкали последние такты — “нас к торжеству коммунизма ведёт!” — как гимн заглушался пробуждающимися голосами и скрипом кроватей, стуком дверей, гудением кранов на кухнях и в общих сортирах, топаньем или шарканьем множества ног в гулких утренних коридорах. Всё громадное тело общаги, кряхтя, потягиваясь и зевая, пробуждалось к очередному дню.

Всего оживлённее становилось на кухнях, где шумела вода, выли трубы и звучала всё нарастающая разноголосица. В сумерках кухонь, — а там всегда было сумрачно, даже при тлеющих под потолком тусклых лампах, — синими газовыми цветами мерцали горелки, на которых стояли кастрюли и чайники. И там, на утренних кухнях, где были одни только плиты, обитые цинком столы да синие стены в облупившейся масляной краске, — там ощущался какой-то особый уют неуюта. Да, здесь зябко и голо, здесь некуда присесть, разве что на подоконник или на холодный цинковый стол, но здесь царил совершенно особенный и необъяснимый покой. И если б не нужно было зубрить анатомию, ожидая зачёта по какой-нибудь ненавидимой всеми студентами височной кости, я бы так и оставался на кухне, наблюдая, как сонные (и оттого ещё более милые) девушки спуют здесь меж плит и кастрюль...

После утреннего оживления общага надолго стихала: её обитатели разбегались по клиникам, кафедрам и лабораториям. Лишь к вечеру комнаты и коридоры опять наполнялись студентами, на кухнях опять зажигались горелки, свистели чайники и кипели кастрюли, и жизнь возвращалась в огромный и сумрачный дом. Большинство студентов вечера проводило в читалке институтской библиотеки, расшатавшейся в той же общаге. В гулком зале с колоннами столы были расставлены так просторно, что даже негромкие разговоры почти не мешали соседям, и читалка поэтому становилась местом встреч и знакомств, перераставших порою в студенческие романы. Как было не поинтересоваться у хорошенькой девушки, читающей “Анатомию” под редакцией академика Привеса, о сдаче ею очередного зачёта или о том, что она собирается делать в субботу?

Впрочем, воспоминания о девушках могут нас завести далеко, поэтому лучше вернёмся к тому, как текли сутки в общаге. Вечер оставался здесь главным временем: именно по вечерам всё громадное здание оживало вполне. Студенты сновали из комнаты в комнату, взрывы хохота раздавались то там, то тут, в торцах коридоров скучивались компании и порою звучала гитара, а на многочисленных лестницах — их было восемь — обнимались и целовались влюблённые парочки. Тогда, вечерами, общага почти забывала о том, как она стара, потому что её коридоры и комнаты, кухни и лестницы наполняла юная жизнь. И этой томящейся жизни не хотелось ни сна, ни покоя; даже государственный гимн, что ровно в полночь гудел по всем комнатам из радиоточек, не мог её утомить, и по ночным коридорам и лестницам ещё долго звучали шаги, голоса и гитары...

Существовали в жизни общаги и недельные циклы, апофеозом которых были субботние танцы. Тогда читальный зал преображался: столы и стулья сдвигались к стенам, в углу устанавливался магнитофон с колонками, и в тёмных окнах читалки отражались уже не затылки и спины зубрящих студентов, а содрогаящаяся в общем танце толпа. В зал тогда трудно было войти: из-за тесноты, духоты и ещё из-за того, что ритмичная громкая музыка непрерывно утрамбовывала и так уже плотно сгустившееся пространство. А протиснувшись внутрь, невозможно было не двигаться вместе со всеми, не разделять с толпой её исступлённых конвульсий. В оглушительном грохоте и темноте, озаряемой вспышками беглых огней, больше не существовало отдельных людей — только слитная плазма толпы, которая сокращалась, дышала и двигалась в собственном ритме, — и ни смысл, ни конечная цель этих судорожных движений не интересовали никого из танцующих. Ни одно из событий, происходивших в общаге, так не сближало, не сплавляло и не уравнивало людей, как эти субботние танцы, в которых мистерия коллективного существования достигала предельной, оргазменной точки. По сути, в том завывании, рёве и грохоте, в той темноте, прерываемой вспышками, в той духоте, от которой по стёклам чернеющих окон струилась вода, происходило грандиозное совокупление общаги с самой собой; и толпа в этой оргии общего танца становилась и жертвою, и насильником одновременно.

И ничего, что старые стены общаги дрожали от топота ног и от грохота музыки, угрожающей вышибить стёкла; всё, что происходило сейчас в её недрах, служило лишь к укреплению духа общаги — того, что невидимо жил среди этих сумрачных стен, перекрытий и лестниц и что наполнял не одни только комнаты и коридоры, но и юные души питомцев громадного дома. Даже потом, уже за полночь, когда музыка затихала, разогретые танцами парни и девушки никак не могли разойтись: слишком тесно и долго они танцевали и уже не хотели вернуться в знобящую пустоту одинокого существования.

Из читалки расходились всё больше парами, взявшись за руки или в обнимку, пошатываясь от духоты, от вина, от усталости и ещё от предчувствий того, что их ожидало. Молодёжь разбрелась по комнатам, по укромным углам, по площадкам ночных чёрных лестниц и там отдавалась тому, чего желал через их молодые тела и души невидимый дух общаги...

Как вершиной недельного цикла общаги были субботние танцы, так вершиной годичного круга служило “ношение покойника”, совершавшееся ежегодно, в ночь на четырнадцатое января.

Сейчас даже трудно поверить, что это действительно происходило, а не привиделось в снах. Как, каким образом в недрах огромного здания, погружённого в недра советской эпохи, разворачивалось настоящее карнавальное действие, чьи традиции восходили чуть ли не к карнавалам Средневековья? Может, какую-то роль здесь играла латынь? Ведь язык студизосов средневековой Европы почти непрерывно звучал в этих стенах — студенты зубрили учёные фразы и термины, — и это усердное их бормотание, напоминавшее заклинания на колдовском языке, словно переносило общагу на много столетий назад.

Задолго до полуночи в коридорах, на лестницах, в комнатах общежития уже ощущалась дрожь нетерпения. “А покойника будут сегодня носить?” — случалось, спрашивал неопытный первокурсник, ещё только вживавшийся в мир общаги. “А как же? — отвечал ему кто-нибудь из старожиллов. — Вот погоди, сам всё увидишь...”

Устраивал карнавал выпускной шестой курс, передавая преемникам эстафету традиции, чьё зарождение терялось во мгле прошлого. Ближе к полуночи то нетерпение, что томило питомцев общаги и наполняло их почти электрическим напряжением, превращалось в глухой и невнятный, но с каждой минутой нарастающий гул. Этот гул расширялся и рос, заполнял собой целый этаж, где и разливалось карнавальное действие.

Полуголый “покойник” — студент в простыне, со свечью в руке — плыл над головами, лёжа навзничь на двери, которую сняли с петель; а за ним голосила, кривлялась, плясала толпа бесновавшихся ряженых — “доктор” в халате, надетом на голое тело; толстый “священник” в рясе из одеяла,

с самодельным “кадиллом” в руке; пять-шесть “русалок” в купальниках, извивавшихся соблазнительно и откровенно; даже “смерть” — на костлявой груди её углём были нарисованы рёбра, лицо с помощью краски превращено в подобие черепа, — и этот полускелет-получеловек едва ли не живей всех отплясывал посреди лихорадочной и иступлённой толпы...

Карнавал, распаяясь всё более, перетекал с этажа на этаж. “Покойника” уже пару раз уронили, но вновь уложили на дверь. Вязкая масса толпы протискивалась по лестницам и коридорам, затекала в те комнаты, что оказывались открыты, и переворачивала в них всё кверху дном; потные лица участников карнавала становились всё более ошеломлённо-безумными, движения — всё более взвинченными и непристойными. Время от времени в коридорах гас свет, и тогда только редкие свечи озаряли путь карнавала, бросая на стены громадные зыбкие тени и превращая всё действие в подобие то ли кошмарного сна, то ли грёз воспалённого воображения.

Что это было? Чего так иступлённо желало и куда двигалось всё это множество возбуждённых студентов, от криков которых и топота ног содрогались стены старого здания? Как будто те скрытые силы общаги, которые целый год в ней дремали по тайным углам, сейчас, в эту полубезумную ночь карнавала выходили наружу, вселяясь в людей. И все те, кто впускал в свою душу сакральные силы общаги, становились причастны чему-то настолько глубинному, древнему и первобытно-могучему, что отдельная, частная жизнь человека уже не имела значения перед этой клубящейся общею жизнью. В карнавальную ночь люди переставали быть сами собой, они надевали личины и растворялись в безумии и одержимости общего существования...

Но, что важно, — такое могло происходить лишь внутри дома, под защитой его крепких стен. Как, кстати, и карнавалы средневековой Европы: лишь теснота городов, защищённых стенами, позволяла их жителям так распускаться, безумствовать и расставаться на дни карнавала с самими собой и привычную жизнь, потому что, по сути, всё это было лишь детской игрой внутри крепких стен дома. Свобода — в том числе и карнавальная — рождается лишь изнутри несвободы; чтоб нарушить запрет и границу, прежде всего, нужно эти запрет и границу иметь.

Вот и студенческий тот карнавал мог происходить только в здании старой общаги, в её герметически замкнутом мире.

На время экзаменов в общежитии наступало затишье: только шёпот усердной зубрёжки слышался в комнатах и между колоннами читального зала. А в пору летних каникул общага и вовсе пустела; лишь те бедолаги, что не сумели сдать сессию и ожидали переэкзаменовки, неприкаянно и одиноко бродили по коридорам.

Основная же масса студентов летом разъезжалась по стройотрядам. В самых дальних углах Смоленщины тогда появлялись парни и девушки в куртках защитного цвета, с нашивками на рукавах в виде факела или чаши со змей; и в пустующих избах или сельских школах на два летних месяца возникали как бы филиалы общаги. Молодёжь пока была бледной после сессионной зубрёжки, но уже очень скоро лица, плечи и спины студентов покрывались здоровым рабочим загаром, а учёная медицинская заумь выветривалась из опустевших голов.

Наш стройотрядовский быт, сколько помню, всегда оставался предельно простым: ничего, кроме койки да сортира надворного типа эти летние мини-общаги нам не предлагали. Да и до быта ли нам тогда было, если мы вечерами падали на кровати без чувств, как убитые? После двенадцати-четырнадцати часов, проведённых на стройке, стоило только закрыть глаза, как чуть ли не тут же раздавался трезвон будильника, поднимавший нас к новому трудовому дню. И первое, что я ощущал в миг пробуждения, — это набрякшие кисти собственных рук, словно и ночью, во сне моя левая рука держала кирочку, а правая нажимала на мастерок. Всё-таки переход от студенческой авторучки к серьёзному инструменту оказывался слишком резок, и руки не сразу к нему привыкали: поутру даже просто сжать пальцы в кулак — и то было больно и трудно.

Что мы строили там, в стройотрядах? В основном, дома, иногда — для людей, иногда — для коров и телят. Так что от дома никуда не уйти — даже в дни полубездомной юности. И теперь я к познанию дома приближался так близко, как только возможно, ибо сам теперь строил дома. Я узнавал, как они создаются и чем они держатся — не одним лишь умом, но и всеми чувствами, даже всем телом: руками, ногами, спиной и кожей, всё более смуглой от летнего солнца, палившего наши затылки и плечи.

Песок в кладочный раствор должен идти самый чистый — ведь из-за малейшего камешка в нём кирпич ляжет в стену неровно. Поэтому кладка стены начиналась с того, что мы устанавливали рядом с кучей речного песка, завезённого старым “ЗИКом”-самосвалом, наклонённую панцирную сетку кровати и совковой лопатой бросали песок на неё. Песок с шорохом осыпался по сетке и проваливался сквозь ячеи, а камушки с костяным пощёлкиванием отскакивали от упругого панцирного полотна. Эта работа была бездумной и лёгкой — знай, набрасывай на сетку песок, — и жаль её было прерывать, когда конус просеянного песка поднимался до сетки кровати. Этот конус напоминал в увеличенном виде конус песочных часов; и тебя посещали не то, чтобы мысли о времени, — молодость редко задумывается о нём, — но ощущение времени как вещества: вот такого же рыхлого, мягкого, неудержимо сыпучего и прибавляющегося стремительно и незаметно, как этот песок. А если присесть на корточки к жёлтой куче песка и погрузить в неё руки, горячие от лопатного черенка, тебя вдруг прохватывал краткий озноб: твои кисти тонули в прохладе прошедшего времени...

Когда просеянного песка набиралось достаточно, мы брали молочную сорокалитровую флягу и отправлялись к водоразборной колонке. Это хождение — туда с пустой, громыхающей, гулкой флягой, а оттуда с тяжёлою, мокрою и ледяной — тоже осталось в душе, как одно из важнейших событий, как будто раствором, замешанным нами в огромном железном корыте, скреплялась не только кирпичная кладка, но и вся наша юная жизнь.

Столб чугунной колонки стоял, накренясь, а трава вокруг была много свежее и зеленее, чем в прочих местах. Установив пустую гулкую флягу на два мокрых замшелых кирпича, ты нажимал рычаг — и откуда-то из-под земли доносилось гуденье и дрожь. Эти гул и вибрация передавались колонке, её рычагу и твоей руке, нажимающей на него — так, что и сквозь твоё тело проходила дрожь подземелья. А затем в дно бидона ударялась струя напруги воды. Её напор был так силен, что фляга шаталась, звенела, но с каждой секундою звук понижался, и кирпичи, подпиравшие потяжелевшую флягу, ещё глубже тонули во влажной земле.

Если же вам с напарником хотелось напиться, то приходилось, оттащив флягу в сторону, буквально откусывать воду от жилистой и перевитой в тугую жгут струи. А когда ты решал освежиться и бросался под колонку ничком, то меж напряжённых горячих лопаток словно вонзался ледяной кол.

Потом мы замешивали раствор. Сначала ведрами насыпали в бадью песок и цемент, в пропорции где-то один к четырём, затем перелопачивали эту пыльную смесь, а уж потом подливали воды. Песчано-цементная смесь моментально темнела и тяжелела, и если бы не штыковые лопаты, она так и лежала б на дне, как пласт вязкого серого ила. Но лопаты, на черенки которых мы налегали всем телом, двигались непрерывно, вздымая тяжёлую серую массу. И в том, как лопатные лопасти то всплывали из чавкавшей жижи, то опять погружались в неё, в том, как покачивалась бадья и как стёршийся черенок лопаты ритмично поскрипывал, опираясь о её край, — в этом всё сквозило что-то настолько простое и изначальное, что казалось: ритм этой работы неотделим ни от ритма дыхания, ни от того, как неспешно и благостно движется день...

Но всё это — и просеивание песка, и замешивание раствора, и ещё множество действий, происходивших на стройплощадке, — было приготовлением к главному: кладке стены.

Если сложить все мои стройотряды, то получается, что я отработал строителем целый год, отстояв его большую часть именно на каменной кладке. Конечно, тогда я и думать не думал, что когда-то, уже в следующем веке,

из молодого худого студента сделавшись лысым грузным врачом, я начну сочинять книгу “Дом”, и как раз впечатления стройотрядовской юности позволят мне писать её со знанием дела, будучи не понаслышке знакомым с ремеслом каменщика. Но всё-таки что-то мерещилось даже тогда, когда я стоял на подмостках с кирпичом в левой руке и с мастерком — в правой: брезжило смутное предположение о том, что любое конкретное дело, — скажем, кладка стены — нуждается в дополнении и оправдании словом. И недаром я часто бормотал про себя, ведя кладку, строки шекспировского сонета:

*Пуškai повалит статуи война,
Мятеж разрушит каменщика труд,
Но врезанные в память письма
Грядущие столетья не сотрут...*

Но и помимо глубокого смысла, заключённого в них, эти строки Шекспира помогали работать самим своим ритмом и тягой. Словно бы в ритме строфы твой мастерок нырял в ведро с раствором, зачерпывал вязкую серую массу, швырял её на стену и разравнивал быстрым волнистым движением, а потом левой рукой ты хватал верхний кирпич из заранее приготовленной стопки и опускал его на податливо расплзающийся раствор. И обязательно выполнялись ещё два движения, придававших работе каменщика некую щеголеватость: во-первых, торцом мастерка надо было постучать кирпич, подгоняя его поточнее, а во-вторых, широким шаркающим движением подхватить “сопли” раствора с наружной версты и точно швырнуть их в торец кирпича.

Пальцы левой руки до сих пор помнят то, как шершав и горяч на ощупь кирпич и с каким шелестением он выскальзывает из твоей загрубелой ладони. А мозоль на указательном пальце правой руки, образовавшаяся от постоянного трения кельмы-мастерка, начинала казаться частью строительного инструмента — тем, что принадлежит уж не столько тебе самому, сколько вот этому мастерку, кирпичам, о которые он ударяет, и всей этой стене, медленно прибавляющей один ряд за другим.

Монотонно-ритмичная кладка порой так увлекала, что казалось важно вовремя притормозить, чтобы не “завалить” углы или “маяки”, а точно выставить их по горизонтали и вертикали. Отвесом обычно служила половина кирпича, привязанная к пеньковой верёвке; и вот таким простейшим, но точным прибором мы выверяли положение наших стен и углов по отношению — ни много ни мало — к центру Земли. Поднимешь, бывало, отвес и, прищуривая глаз, смотришь, приближая его к углу кладки то с одной, то с другой стороны: а совпадает ли грань кирпича с крутящейся и всегда чуть взлохмаченной вертикалью пеньковой верёвки? Но, кроме сближающихся кирпича и отвеса, заметишь ещё много всего: и жёлтую кучу песка, из которой торчат лопаты, и перевёрнутые носилки с присевшей на них трысогузкой, и деревенские крыши, и зубчатую линию дальнего леса, и кипенно-белые облака в синем небе. И покажется вдруг, что своим отвесом ты выверяешь не только положение кирпичей в стене, а проверяешь весь летний солнечный мир. И тебя радует то, что всё в мире правильно, что он ни малейшей чертою и гранью не выпал из этой единственной и состоявшейся правоты.

А для определения горизонталей нам служил уровень, в длинной коробке которого бегал туда-сюда пузырёк воздуха и никак не хотел успокоиться возле центральной черты. Но этот прибор мы использовали только на стадии цоколя, а выше ровняли ряды по шнуру. Он натягивался на гвоздях, вдавленных в ещё влажный раствор “маяков”; и было прямо-таки наслаждением видеть, как верхняя грань кирпича, после двух-трёх ударов кельмы, с точностью до миллиметра совпадает с чертою шнура. Казалось, не только ты сам, но и весь мир стал устойчивей в этот момент, потому что в нём стало больше порядка.

Стена росла и росла. И это её упорное стремление вверх — против силы тяжести, основного закона природы, — родило стену с живыми существами, которые тоже растут вопреки тому, что им диктует закон всемирного тяготения. И ещё рост стены напоминал о движении времени: он был незаметен

и неудержим. На первый взгляд могло показаться, что никакого движения во все и нет, что всё увязло в каких-то второстепенных, подготовительных действиях: поднять, скажем, подмости, перебросать на них несколько сотен штук кирпича, передвинуть бадью для раствора или затереть швы наружной версты. И, если следить за стеной неотрывно и пристально, она будет казаться такой же недвижимой, как и часовая стрелка на циферблате. Но стоит чем-то отвлечься или день-два вообще не появляться на стройке, и ты с изумлением увидишь, насколько же выросла наша стена. Так и время: недвижимое с виду, оно незаметно и исподволь совершает громадные и леденящие душу скачки...

Стена уже так высока, что с подмостей, как ни тянись, не достать до наружной версты: хочешь не хочешь, приходится “перемещиваться”, поднимать настил подмостей выше. Но зато вот такая, заметно выросшая стена отчётливо разделяет пространство на внутреннее и внешнее. И это тоже роднит стену с живым существом; ведь самое первое, с чего начинается жизнь в большинстве её форм, — это создание клеточной стенки. И то, что внутри, начинает жить собственной жизнью, иною, чем жизнь снаружи. Внутри — хоть живой клетки, хоть дома — всегда больше порядка; всемирный закон нарастания энтропии даёт сбой внутри ограждающих что-либо стен.

Но едва ли не важнее, чем сама стена со всей её метафизикой, было то, что происходило с тобой, каменщиком той порою, как ты, день за днём, поднимал эту стену. Да, это порою и трудно, и скучно, и часто хотелось, побросав инструменты, пойти искупаться на пруд или лечь подремать в холодке, в тени подмостей, но ты терпел и работал, и чувствовал, как вместе с ростом стены что-то меняется и в тебе самом. Порядка и смысла прибавлялось не только в пространстве внутри поднимавшихся стен, но и в твоей душе, ещё такой зыбкой, такой неуверенной и молодой, что-то росло, укреплялось и зрело. В тебе появлялась опора — и этой опорой служил твой внутренний выбор, сделанный в пользу стены — и работы. Работать едва ли не более необходимо, чем жить: вот та формула, тот символ веры, который ты медленно, но неуклонно выкладывал сам в себе, в то время как твои руки прилаживали кирпич к кирпичу.

Можно сказать, в те знойные дни, когда пот с твоего лица падал на кладку вперемишку с раствором, ты превращался из незрелого юноши в зрелого человека. Это было настоящей инициацией, становлением тебя как мужчины не просто в биологическом смысле (это дело нехитрое и доступное многим), а в том, что ты выбирал мужской образ жизни, который придётся нести до скончания дней. Там, на каменной кладке, ты расставался с юностью как возрастом разрушения и мятежа и переходил в возраст творчества и созидания.

Здесь самое время отметить, что главные из работ, которыми я занимался в течение жизни, стоя у операционного стола или сидя у стола письменного, тоже напоминают терпеливый труд каменщика. Хирург, раздвигаящий ткани, а затем вновь их сводящий, кропотливо завязывающий узлы лигатур, даже сутулится над столом почти так же, как каменщик, что кладёт кирпичи ряд за рядом. Только светит хирургу не солнце, а многоглазая лампа; но пот часто льётся с его лица так же обильно, как если бы он жарким полднем стоял на строительных подмостях.

А сочинение текста? В этой работе есть и длительная подготовка — своего рода возведение лесов, без которых не поднять стену, — обдумывание и составление плана, многочисленные предварительные наброски и черновики; есть тягостные задержки в работе, когда текст не движется, как и стена, остановившаяся в дни затяжного ненастья. И есть в сочинительстве тот же странный “эффект часовой стрелки”, когда текст прибавляется совершенно, казалось бы, ничтожными и незаметными порциями, но вдруг человек, что усердно и долго писал строку за строкой, с изумлением видит: работа близка к завершению...

Где-то к полудню, когда солнце палило нещадней всего, подходило время обеда. Нет нужды говорить, что аппетит у нас, двадцатилетних, — да ещё после тяжёлой, азартной работы — волчий. Помнится, как неудобно держать

почти невесомую ложку огрубевшими пальцами, так привыкшими к мастерку и строительному молотку, и как приходилось подавлять желание припасть к миске ртом, чтобы отхлёбывать суп прямо через её жестяной край.

Навернув пару тарелок густого варева, да ещё с полбуханкою свежего хлеба, ты бывал так оглушён навалившейся сытостью, что боялся заснуть прямо с ложкой в руке. Но спать после обеда нам не полагалось — режим по-армейски жёсткий, — и мы все, ослотившие и отупевшие, поднимались из-за столов и брели снова на стройку. Наверное, со стороны это выглядело забавно: полтора десятка сомнамбул в строительных робах бредут по обочине деревенской дороги, загребая горячую серую пыль грубыми башмаками, а у деревенских собак, валяющихся под заборами с высунутыми языками, нет даже сил, чтоб их облаять.

Единственной поблажкой, что мы себе позволяли, вернувшись на стройку после обеда, — полежать минут двадцать в тенёчке, где-нибудь под стеной или на подмостях, меж кирпичей и носилок с раствором, потому что вставать сразу на кладку выше человеческих сил. И вот эти пятнадцать-двадцать минут послеобеденной дрёмы на подмостях превращались в целое странствие, в которое отправлялась твоя молодая душа той порою, как тело, ничком или навзничь, лежало на грубых досках. Иногда ты вздрагивал: в момент погружения в сон мерещилось, что доски настила кренятся, и ты с них вот-вот соскользнёшь. Но на миг пробудившись, ощутив и щекой, и рукой их надёжную твёрдость, ты вновь, успокоенный, погружался в дремоту. Ты словно скользил мимо вёдер, носилок, корыт из-под раствора, мимо трапов, вагончиков и трансформаторных будок, мимо коровника с провалившейся крышей, в прорехи которой ты видел худые пегие спины коров, мимо ржавого остова трактора, почти незаметного в зарослях непролазной крапивы, мимо крыш и заборов деревни, по-над липами старого парка — их кроны гудели от вьющихся пчёл, — скользил дальше и дальше, туда, где пространство и время, реальность и сон нераздельно сливались...

Что же тебя пробуждало от сладкого сна на скрипучих, раствором забрызганных подмостях? Иногда это был крик бригадира: “Кончай дрыхнуть, кирпич привезли!” — а иногда — гудок поезда, раздававшийся из-за недалёкого перелеска. Сверху звуки железной дороги были слышны хорошо, и перестук приближавшихся, а затем затихавших вдали составов нередко врвался в твой сон.

А ведь поезда — это тоже дома, только не находящие себе места. В них есть всё, что должно быть в доме, — крыша и стены, столы и постели, в них топят печи, в титанах бурлит кипяток, в них едят, отдыхают, спят люди, но нет прочной связи с землёй, и поэтому эти дома на колёсах — бездомны.

Как грустно, что в мире есть столько бездомных домов... Ведь главная из составляющих счастья — покой; а какой же покой может быть на трясущейся полке вагона, летящего в ночь под двойной перестук беспокойных колёс? Но с другой стороны, лишь в поездах к тебе, молодому, и приходило успокоение. Пока ты жил на одном месте — в той же, скажем, общаге — тебя не оставляло тревожное чувство, что самое главное в жизни свершается где-то помимо тебя, что лучшие годы проходят напрасно, что, словом, хорошо там, где нас нет. Но стоило только сесть в поезд, а потом ощутить ногами дрожь застучавшего на рельсовых стыках вагона, стоило только увидеть, как за окном вверх-вниз скользят провода и мелькают столбы, как тревога стихала. Словно именно к той, так манившей тебя, неизвестной дали и мчался сейчас ваш плацкартный вагон: каждый рельсовый стык, каждый столб, промелькнувший в окне, и эта скользнувшая мимо будка обходчика тебя к ней приближали...

Вот поэтому ты и любил поезда. Когда стоял ещё на перроне и чувствовал, как он дрожит от приближающихся вагонов, а лобовой прожектор тепловоза из маленькой звёздочки превращается в слепящее солнце, которое с гулом пронесется над головами, тогда и в тебе начинал нетерпеливо подрагивать каждый сустав. Скрипя, отдуваясь и лязгая, поезд замедлялся, потом останавливался, и ты порой видел, как из его сочленений на шпалы капает

влага — этот словно бы пот разгорячённого и хорошо потрудившегося состава. Распахивалась вагонная дверь, затем откидывалась площадка, закрывающая ступени, и ты торопливо вскакивал в тамбур, навстречу капроновым круглым коленям посторонившейся проводницы. В проходе вагона первое, что встречало тебя, — горячий титан с кипятком и ведёрко угля на полу рядом с ним. Горький запах угля был, конечно, тревожен; но эту тревогу быстро смирял уют дремлющего вагона, углы простынь, свисавших в проход с верхних полок, и сонные вздохи получившихся пассажиров, их вопросы спросонья: “Какая станция? Сколько стоим?” — и остатки их трапез на столиках, — словом, всё то родное, до боли знакомое, что называлось “плацкартный вагон в три часа ночи”.

Конечно, тебе в это время тоже хотелось спать; но мир ночного вагона так интересен и так тобою любим, что ты нарочно оттягивал миг засыпания, зная, что сон от тебя, молодого, всё равно не уйдёт, и, растянувшись на верхней полке, всеми чувствами впитывал то, что тебя окружало. Ты слышал, как под полом вагона что-то зазвякало, а потом зажурчало, — наверное, там проверяли тормозные колодки и наполняли баки водой, — а потом слышал, как стукнули сцепки, и вагон мягко подался сначала в одну сторону, но, спохватившись, качнулся и поплыл в противоположную. Колёса внизу застучали чаще и чаще; полосы света быстрее и быстрее замелькали в проходе и вдруг погасли; поезд словно сорвался с лучей станционных огней в глухую и тёмную ночь. Скорости хода почти не ощущалось, но ты всем телом чувствовал, как вагон напряжённо дрожит, словно он так, застоявшись, озяб, что теперь не мог справиться с этим ознобом. От окна в самом деле тянуло январской стужей, и ты, как мог, подушкой и краем матраца отгораживался от ледяного стекла. Ещё хорошо, что в вагоне щедро топили, и десяткам дремавших людей стужа ночи была нипочём.

А ты представлял себе те ночные снега и пространства, сквозь которые мчится вагон. Что отделяло всех вас, пассажиров, от стужи и тьмы? Только эта дощатая тонкая стенка — по сути, скорлупка, — так отчего же все спали так безмятежно и сладко? Неужели достаточно лишь эфемерной преграды меж нами и миром, чтоб этот чужой, равнодушный и даже враждебный мир оказывался нам не страшен? В этом гудящем, дрожащем, качающемся вагоне, посреди ледяной темноты каждый спал так, словно он находился в своём доме, в привычной постели, в надёжном углу.

Вагон продолжал гудеть и качаться; по окнам порой пробегали короткие светлые блики, — быть может, огни поездов? — и эти гуденье, качанье, мельканье усыпляли тебя, словно зыбка, в которой убаюкивают младенца. Глаза закрывались сами собой, рука сонно свешивалась в проход; а вагон, подвывая, дрожа и качаясь, летел и летел сквозь бездонную ночь...

Итак, ты просыпался на подмостях, разбуженный стуком железнодорожных колёс. Под щечкой у тебя лежал ватник — потёртый, истрёпанный, что называется, выдавший виды. Из прожжённых дыр торчали клоки серой ваты; рукава залоснились; один накладной карман наполовину оторван. Но всё равно ты свой ватник любил и старался с ним не расставаться. Если даже он не играл роль одежды, то служил тебе или подстилкой, или одеялом, или подушкой. Имея ватник, можно заснуть не то, что на подмостях, но и на кирпичной куче: сквозь слой простёганной ваты углы кирпичей не так уж и сильно впивались в рёбра. Запах же ватника сохранял следы той работы, которой ты в нём занимался. Клад кирпичи — сырые рукава пахли цементным раствором; обрезал тёс на пилораме — от ватника, обсыпанного опилками, исходил смолистый запах сосны; крыл рубероидом крышу — на ватнике оставались пахучие липкие пятна гудрона; жёг костёр — ватник пах, естественно, дымом.

И ватник оказывался больше, чем просто одеждой, — он становился, по сути, переносным жилищем, дарившим тепло и защиту. Когда ты замерзал зябким туманным утром или росистым — туманным же — вечером, то стоило только набросить на плечи ватник, как холод и сырость становились тебе нипочём. А если шёл дождь — нудный, холодный и затяжной, — то ватник

опять был незаменим. Промокать-то он, разумеется, промокал, но наружный слой ваты, напитавшись водой, глубже внутрь эту воду не пропускал. И можно целый день проходить в сыром ватнике под дождём, но не промокнуть до нитки и не особо замёрзнуть, потому что даже волглая вата хранила тепло.

Правда, и просушить сырой ватник непросто. Бывало, сгрудимся возле костра, — а на стройке обычным топливом служили обломки лаково-чёрного битума, — и только что не ложимся на алое чадное пламя, которое лижет промокшие наши фуфайки. От ватников валит пар, а вата, торчащая из многочисленных дыр и прорех, смуглеет, трещит, даже тлеет, когда её трогает пламя. Потому-то и были все наши ватники в дырах и смуглых разводах, что мы хотели побыстрее их просушить и нещадно прожаривали на кострах.

По-настоящему, ватник достоин памятника. В чём воевали солдаты Великой войны? В тех же ватниках, перепоясанных солдатским ремнём, за который цеплялась граната, штык-нож да засовывалась сапёрная лопатка. В чём работали зеки на лесоповале в колымские сорокаградусные морозы? Что, матерясь, бросали шофёры на мёрзлую землю, когда залезали под неисправные ЗИСы или полуторки? В чём сельские бабы шли на поля и на фермы? В чём работали миллионы подростков у токарных станков в цехах эвакуированных заводов? Словом, без ватника было не выжить; зато в нём люди переносили невыносимые трудности.

Когда я размышляю о юности как о возрасте расставания с домом, на память приходит картина пожара в смоленской деревне Сяковка — пожара, которому я оказался не только свидетелем, но и невольной причиной.

Стояло сухое жаркое лето. Наш стройотряд возводил кирпичное здание котельной, и работали мы от темна до темна. От такой напряжённой работы даже в нас, загорелых и жилистых двадцатилетних студентах, накапливалась усталость, и, подняв стены до перекрытий, мы решили устроить банный день. Договорились с дояркой по имени Зинка, что воспользуемся её банькой — она, покосившаяся и ветхая, стояла как раз рядом со стройкой.

Меня, как большого любителя париться, назначили истопником. Опыта топить баню по-чёрному (да и по-белому тоже) у меня не было, иначе бы я, поглядев, до чего ветха эта банька, нипочём бы не стал распалить её печь до такой силы. Но молодость тем и опасна, что не знает границ. Печь грозно гудела; брёвна банного сруба, и так пересохшего от многодневной жары, тревожно потрескивали, а я продолжал подсовывать в печь, под самый свод каменки, мгновенно занимавшиеся берёзовые поленья. Плотный белый дым затянул баню; незадумлёнными оставались каких-то полметра над полом — и пробираться к печи приходилось на четвереньках, зажмуривая глаза от едкого дыма и нестерпимого жара. Очередное поленье я сунул в топку поспешно, почти вслепую, и где уж мне было заметить, что один из камней свода упал в полыхавшую печь — и клуб искр взметнулся к горячему потолку?

Задыхаясь и обливаясь потом, я выполз наружу — полуденный зной показался блаженной прохладой, — и какое-то время в ушах у меня раздавался только грозный гул банной печи. Но вдруг я расслышал протяжный и жалобный бабий крик. Он доносился от огородов за баней — и, хоть пока он был тих и далёк, я мало что в жизни слышал страшнее. В том нарастающем и приближавшемся вопле — кричала уже не одна баба, а несколько — столько беды и боли сквозило в их общем крике, что у меня заболело сердце. Мгновенно похолодев, я повернул голову и увидел: истошно кричащие бабы бегут ко мне напрямик, огородами, топча картофельные ряды, а в бледное небо над баней, клубясь, поднимается дым...

Секунд пять я не мог двинуться с места: ужас этой картины — чёрный дым и бегущие с воплями бабы — меня парализовал. Затем, забежав за угол бани, я своими глазами увидел то, о чём уже догадался: задний угол пылал, как свеча. Тяга огня была столь велика, что она срывала с кровли листы рубероида, и они, крутясь, взлетали в столбе чёрно-алого дыма. Потом я ощутил, как жар опалил мне лицо и как затрещали волосы. Я заметался, ища

ведро, нашёл, побежал с ним к водоразборной колонке, а когда возвращался, увидел, что к бане со стройки бегут все наши ребята.

Удивительно, до чего быстро и слаженно все включились в спасательные работы. Видимо, в нашей генной памяти сохранился не только бабий истощённый вопль, но хранится и то, как надо вести себя в общей беде. Быстро выстроили цепочку, передавая ведра с водой от колонки до полыхающей бани. Быстро сообразили, что баню уже не отстоять — и поливали стены и кровли ближайших сараев. Когда же вода в колонке закончилась, взялись за лопаты, и забрасывали землёй те искры, что падали с дымного неба на крыши сараев, поленицы дров и сенные навесы.

Минут через десять всё кончилось. Пожарной машине, приехавшей через полчаса, осталось лишь полить водой пепелище, отчего повалил такой густой пар, что кто-то из нас, засмеявшись, предложил в нём и попариться. Что ж, уже можно было шутить, и громкий, нервический хохот то и дело взрывался в чумазой и потной толпе, окружавшей то место, где находилась Зинкина баня. Сама Зинка тоже оказалась здесь и даже немного повывла, но больше для вида, чтобы исполнить народный обряд под названием “плач погорельцев”. Убытка она не понесла никакого: на следующий день мы собрали складчину двести рублей и отдали Зинке, притом, что сгоревшая баня не стоила и половины. А деревенские жители нас даже благодарили. “Слава Богу — говорили они, — что баня сгорела, когда вы были здесь и не дали огню пойти по деревне. Случись это в другое время, а оно б непременно случилось, от всей нашей Сяковки остались бы одни головешки...”

А вот мы — те, кто видел пожар и пытался его потушить, — ощутили, что мир, казавшийся нам неизменным и вечным, на самом-то деле так хрупок, что достаточно сущего пустяка, чтоб, скажем, дом превратился в руины или пепелище. Построить дом трудно — мы, строители, хорошо это знали, — а разрушается или сгорает он так легко и так быстро, словно во всём, что построили люди, живёт некий дух разрушения и ждёт только удобной минуты, чтоб показать свою силу и власть. Не могу отделаться от ощущения, что пожар, случившийся в Сяковке летом 1983 года, находится в некой таинственной связи со всем тем, что произошло и с общагой, и с нашей страной спустя несколько лет. Тогда, в день пожара, мир для меня как бы треснул — и эта трещина, разорвавшая прежний его монолит, с каждым днём расширялась и углублялась...

Когда мы возвратились в город и из строителей превратились снова в студентов, то оказалось, что наша общага, в которой мы жили так долго, с которой сроднились, закрылась на капитальный ремонт. Нас, старшекурсников, тоже привлекали к ремонтным работам — тем более что строительный опыт у большинства из нас был. Причём в старой общаге затеяли не просто ремонт, а перестройку — с тем, чтобы в корне переменить назначение здания, изгнать из него тот дух общего существования, без которого мы, дети старой общаги, уже и не знали, как жить.

До сих пор не пойму, чем объяснить тот безумный азарт разрушения, с которым мы дружно кидались пробивать перегородки, обрушивать стены, с хрустом вздыбливать и ломать половицы, высаживать оконные рамы, — словом, своими руками сокрушать тот самый мир, в котором мы выросли и который любили? Ведь это наш, родной мир — эти стены, полы, коридоры и комнаты, в каком-то смысле, мы сами, — так отчего же столько радостной злости кипело в нас, когда мы размахивали кувалдами и вонзали острия монтировок меж досками пола, и эти доски стонали от наших ударов, как люди?

Зачем мы своими руками сокрушали наш общий дом? Ведь в глубине души мы все чувствовали, что тот новый мир, куда нас увлекал и наш молодой, оголтело бездумный азарт разрушения, и само вдруг ожившее и стремглав побежавшее время, — что новый мир ещё долго нам будет не мил, ибо тот, кто родился и вырос в общаге, в глубинах и недрах её райских сумерек, тот будет чужд иной жизни.

И всё-таки мы разрушали наш дом... Не оттого ли, что юность по сути своей, по своей изначальной природе не может не разрушать, в том числе и

дома? Недаром же все революции, что происходили и будут происходить, дело, прежде всего, молодых.

Что случилось с общагой? Нет, её не разрушили до основания. В ней, перестроенной до неузнаваемости, поместили администрацию и кафедры института. И это действительно стал иной мир — иной до того, что в нём зазвучала иноземная речь: фразы на хинди или английском в скором времени стали здесь совершенно обычны.

А вскоре после того, как мы сокрушали — и сокрушили-таки! — нашу общагу, слово “перестройка” зазвучало по всей стране и по миру, и за короткое время было нарушено равновесие целой планеты.

III

Мир стал другим. Очень быстро — сейчас кажется, что в одночасье, — страна, в которой мы жили, превратилась из страны общежитий в страну особняков и бомжей.

Особняки 90-х годов прошлого века — “лихих девяностых”, как их потом окрестили, — местами росли так стремительно, что этим безудержным ростом напоминали какие-то опухоли. И возводились они на “нездоровые” — как правило, криминальные — деньги, и нередко прижимали-теснили соседей именно так, как растущая опухоль давит соседние ткани. Правда, и “умирали” эти особняки тоже быстро, и чаще всего — недостроенными: когда иссякали криминальные деньги, питавшие их, — хозяин садился в тюрьму, уезжал из страны или вовсе ложился в могилу, — то рост стен останавливался, решётки на окнах ржавели, а бурьян поднимался выше заборов.

А наряду с быстро растущими особняками характерной приметой тогдашней страны стали бомжи — люди, оставшиеся без дома. По сути, одновременное появление особняков и бомжей было единым процессом. Чтобы в одной стране и в одно время во множестве появились дома-особняки, кто-то должен был свои дома потерять и превратиться в лицо “без определённого места жительства”. Бомжи тогда водились всюду в огромном количестве. Я уж не говорю про рынки, вокзалы, церковные паперти или подземные переходы — места, где удобнее просить милостыню или надеяться на случайный копеечный заработок, — но бомжи появлялись в любом месте города, стоило только остановиться где-либо с пивною бутылкой в руках. Казалось, они возникали от одного хлопка пивной пробки и, стоя поодаль, но при этом внимательно наблюдая за убывью пива, выжидали момент, когда можно будет завладеть опустевшей бутылкой. Иные вели себя деликатно, застенчиво осведомлялись: “Простите, а вы посуду сами сдавать будете?” — и, если ты отрицательно мотал головой, до поры куда-либо скрывались, чтобы не мозолить тебе глаза; другие, напротив, наглово усаживались неподалёку и даже просили: “Командир, оставь пару глотков!”

Понятно, что на деньги, вырученные от сдачи пустых бутылок, бомжам не купить квартиру и даже не получить крышу над головой хотя бы на одну ночь. “Бутылочные” деньги шли на дешёвую выпивку, которой тогда появилось разливанное море. На эту-то выпивку, в сущности, многие и променяли свои дома. Подпоив человека, и так-то любившего выпить, да ещё посулив ему быстрые деньги, было не так уж и трудно выманить у бедолаги жилище — и вот всего через несколько месяцев и через несколько шагов по социальной лестнице вниз многотысячная армия бомжей пополнялась очередным новобранцем. Бутылка дешёвого пойла в руках — вот что имел теперь человек вместо дома. И эта бутылка — точнее, её содержимое — на какое-то время и впрямь создавала иллюзию дома: захмелев, человек уж не чувствовал себя таким бесприютным в том мире, в котором ему довелось доживать свои дни. Жизнь вновь становилась бродяге мила, как и в прошлом, когда он имел и свой угол, и крышу над головой.

А уж когда хмельной бомж засыпал — так он и вовсе словно бы возвращался домой. Возможно, ему дом и снился: тот самый, родительский, из которого он и отправился в этот неласковый мир. Вообще, сон есть приют и убежище — своего рода дом — для всех нас, кто пока ещё жив; как и смерть есть большой общий дом для всех тех, кто уже умер.

Где жили бомжи в ожидание последнего сна, который был должен их всех приютить под табличками номерных безымянных могил? Их домами служили подвалы и чердаки — тогда они ещё не заширлись, — колодцы теплотрасс, где тёплые трубы могли обогреть даже в лютую стужу, шалаши, сгороженные из картонок и досок на городских свалках, или опустевшие на зиму дачи.

Да, опустевшие дачи... То, что происходило в те годы, было настоящей гражданской войной, когда армия обнищавших бездомных людей, пытаясь спасти и продлить свою жизнь, осаждала и грабила те укрепления, которые их сограждане воздвигали для спасения жизни собственной. И в этой гражданской войне, растянувшейся чуть ли не на десятилетие (да и сейчас не вполне стихшей) обе стороны были по-своему правы, что и делало эту войну общенародной трагедией.

Прав ли бомж, замерзающий и голодающий, когда он, в поисках пищи, тепла и хотя бы временного приюта, выставляет окно покинутой на зиму дачи, забирается внутрь и живёт там какое-то время, топя чем придётся печку-буржуйку и подъедая припасы, оставшиеся после хозяев? Замерзающий и голодающий — прав; и никакой высший суд не осудит его за попытку спасения собственной жизни.

А прав ли в своём гневе хозяин дачи, когда он, приехав в очередной выходной, видит свой дом разорённым, загаженным и осквернённым, а то ещё, не дай Бог, видит на месте любимого домика лишь пепелище? Прав, конечно, и он. Тем более, дачники — чаще всего люди небогатые и работающие. Годами и по крупицам они создавали свой маленький рай, не разгибались над грядками, сажали кусты и цветы, обживали игрушечный домик — не для того же, чтоб вдруг увидеть на месте своей воплощённой мечты мерзость разорения? Кроме того, дачи были, в прямом смысле слова, кормилицами страны, а уж тем более они стали ими в те смутные годы, когда всё вокруг рушилось, и надеяться можно было лишь на лопату в руках да на шесть дачных соток земли.

И вот на эту кормилицу, эту мечту и любовь совершалось грубое и незаконное нападение. Понятна и ярость хозяев, и те оборонные меры, что принимались дачниками страны против непрерывно наступающего и всё более многочисленного противника. Запоры, решётки, замки и заборы помогали, конечно же, мало. Вскладчину нанимались охранники, или сами же дачники организовывали дежурства на дачах; кое-кто устанавливал даже капканы, надеясь поймать нарушителей. Доходило и до стрельбы: в больницу, где я работаю, не раз привозили подстреленных и покалеченных обозленными дачниками бомжей. И всё это было сраженьем за дом — за то, чтоб его сохранить или им овладеть.

Я дач, конечно, не грабил и не разорял, но всегда любил их рассматривать, проходя или проезжая на велосипеде улицами какого-нибудь пригородного дачного посёлка. В такие моменты казалось, что ты оказался в игрушечной жизни, конечно, похожей на настоящую, но лишённой её тяжело-весной серьёзности. Здесь, среди маленьких домиков ярких расцветок, среди клумб, цветников и дорожек, скамеек, кустов, я себя чувствовал ребёнком, который мечтал вот как раз о таких “пряничных” домиках, даже рисовал их неумелой детской рукой — и неожиданно наяву очутился в живых декорациях сказки.

Воплотившийся детский рисунок — домик с трубой и крыльцом, с кругом солнца над крышей, с цветами на ярко-зелёной траве — вот чем была почти каждая дача. И люди, которые строили этот сказочный городок, а затем обживали его, стремились, скорее, не столько к практической выгоде — очень уж трудоёмким и неэффективным было дачное сельское хозяйство, — сколько к тому, чтоб исполнить мечту детских лет. И длинный, тернистый, порой занимавший чуть не целую жизнь путь от детских каракулей к этой чистой даче, сиявшей окошками в окружении мальв и пионов, был путем истинно творческим.

Творить в общепринятом смысле — сочинять симфонии или писать картины — дано немногим, но попытаться построить свой дачный маленький рай

мог почти каждый: дачное творчество было одним из самых демократичных. А то, что на это общенародное творчество государством налагались жёсткие ограничения, — это и скромные шесть соток участка, и определённая площадь дома, и даже толщина стен дачных домиков — было, в сущности, только на пользу. Творчество невозможно без ограничений, хотя бы уже потому, что творцу необходимо иметь границы, которые он пытается преодолеть.

Вот и творили строители дач, кто как мог и умел. И хоть дачные домики часто бывали похожи, но среди них, как и среди человеческих лиц, найти близнецов было трудно. Домики строились из кирпича и из брёвен, из дощатых щитов и железнодорожных шпал, а порою роль дачного домика играл строительный вагончик или списанный контейнер для грузоперевозок. Но всё, даже контейнеры или вагончики, хозяева дач старались отделать по-своему, старались придать любимому детищу необщее выражение лица.

Вообще, смысл жилища не сводится к чисто утилитарным вещам — к защите от недругов, холода или дождя. Нет, смысл дома глубже и шире: он в том, чтоб вернуться в утраченный рай. И всегда, когда люди мечтают о доме, они в глубине души хотят не просто удобства, тепла и покоя, но хотят оказаться в ином, лучшем мире, чем тот, где они обитают сегодня. Как-то, помнится, я прочитал фразу, принадлежащую одному английскому кинорежиссёру: “Рай — это постель в библиотеке с окнами в сад”. И подумал: а ведь Грингуэй (так зовут режиссёра) имел в виду именно дом, стоящий в саду. И мне сразу стала понятней и ближе важнейшая из национальных черт англичан: обожествление ими домов.

Конечно, английская жизнь и история развивались иначе, чем русская. Англичане много веков не знали такого повального истребления домов, какое происходило в России. Поэтому для англичанина дом вполне мог казаться чем-то несокрушимым — таким же, как камни, из которых он сложен. В России же, где едва ли не каждое поколение видело, как на месте селений чернеют, дымясь, пепелища, — в России трудней видеть в доме неизбежную опору. Библейское выражение: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где тля тлит, и воры подкапывают и крадут”, — в России вполне дополняется своим, выстраданным: “...и где дома обращаются в пепел...”

Но и в России мечта о доме не умирала. И вот как раз дачное движение, охватившее страну во второй половине XX века, — тому яркий пример. Люди, которым суровое государство (всегда норовившее больше брать, чем давать) неожиданно выделило дармовые шесть соток, — люди как обезумели от привалившего на их долю счастья. И хоть земля этих дач формально оставалась за государством, всё равно миллионы людей, забывая про отдых и сон, кинулись воплощать ту мечту, что всегда жила в их сердцах. Кто помнит, во что превращались пригородные автобусы и электрички по выходным дням, думаю, согласится со мной: это было какое-то общенародное помешательство. Никакими соображениями практической выгоды нельзя объяснить тот порыв, который заставлял людей, в большинстве своём немолодых, взваливать на спины мешки, рюкзаки и корзины, хватать лопаты и тяпки и штурмовать двери переполненного вагона, опасаясь, что очередной поезд в рай отправится — не дай Бог! — без них.

Посмотришь, бывало, на шумный, толкающийся и гомонящий перрон — на все эти вёдра, корзины, на зубья граблей и прутья аккуратно увязанных саженьцев, на сапоги и фуфайки, косынки и кепки, на всё это озабоченно-нетерпеливое копошение дачников — и подумаешь: это же эвакуация! Люди словно бегут из тех мест, где им плохо и где они не могли быть самими собой, туда, где им будет лучше, где они вспомнят и встретят самих же себя. Если верно, что жизнь — это бой (так считал, например, Марк Аврелий), то миллионы дачников, вооружаясь лопатами, можно сказать, с боями выходили из окружения, прорывались к родным райским местам. Недаром так часто можно было услышать, в разговорах на том же перроне: “Ну что ты! У меня на даче — сущий рай...”

Вот к раю-то, к райскому дому они все и стремились. А когда возвращались последними воскресными электричками, то на их лицах вместе с дачным

загаром и двухсуточным изнеможением читалась застенчиво-затаённая радость. Как будто и впрямь эти люди едут из мест, о которых словами не рассказать, но которые ждут нас и ныне, и присно, и от нас самих лишь зависит, когда и какими путями мы возвратимся туда...

Но справедливости ради надо взглянуть и с другой стороны. Нельзя не отметить и трудно оспорить тот факт, что многие из великих учителей человечества — людей, явивших нам образцы мудрости и добродетели, — были бездомны.

Принц Гаутама, который стал Буддой, как ушёл в юности из отцовского дома-дворца, так больше туда и не возвратился. Великий китайский мудрец Лао-Цзы кончил жизнь настоящим божком: он ушёл за границу Китая, на север и канул в безлюдных пространствах пустынь.

Апостолы, ученики Христа, тоже не имели домов. Точнее сказать, их дом был везде, ибо домом стал Дух. А Франциск из Ассизи... Где жил этот святой, едва ль не полнее всех прочих Христовых учеников воплотивший живой образ Учителя? Он бродил по дорогам, проповедуя птицам небесным, называя всех братьями и даже смерть именуя сестрой...

А если даже мудрец имел дом, то это нередко бывало что-нибудь вроде Диогеновой бочки или пастушьей хижины Гераклита: нечто столь примитивное, жалкое, бедное, что назвать это домом как-то и не поворачивается язык.

Так что же, выходит, дом не относится к высшим и безусловным ценностям для человека, и самые лучшие люди обходятся без домов? Разумеется, к высшим ценностям дом не относится; но — как бы это точнее выразить? — хоть дом и не есть сама Истина, но для многих из нас путь к ней лежит через дом. Бродяга, скитающийся по дорогам и не знающий, где преклонить голову, вряд ли открыт красоте и способен к добру: ему лишь бы выжить. Зато, если дом защищает его от невзгод и напастей, если он согревает его, дарит отдых и сон, тогда человек, может быть, постарается сделаться лучше, чем есть, иными словами, он будет пытаться стать человеком.

Бездомные люди, как правило, не создавали ни книг, ни картин и не совершали научных открытий; хотя бы на время, но всякий из тех, кто творит, нуждается в доме. Да что говорить, если даже богам люди строят дома! И так ли уж детски-наивны людские предположения о том, что вот-де, божество самолично является в храме, возведённом в его честь, принимает там жертвы или молитвы, какое-то время там даже живёт — совсем как те люди, что строили храм по образу и подобию собственных, пусть и более скромных жилищ? Но ведь богам никакой дом не нужен — они-то уж как-нибудь обойдутся без крыши над головой! Храм нужен людям, которые его возводили, затем, чтоб не чувствовать своего одиночества и бесприютности в мире. В жизни каждого бывают минуты, когда он ощущает себя потерянным, одиноким, бездомным; но стоит ему войти в храм той религии, к которой он — пусть даже и не по собственной вере, но хотя бы по культурной традиции — принадлежит, как человек, чаще всего, испытает блаженное чувство: наконец-то он дома!

У меня такой опыт связан, естественно, с православными храмами; и, если бы мне не случалось зайти в православный храм где-нибудь на чужбине, думаю, что чувство дома во всей его полноте и отрадности так и осталось бы мне не знакомо. Только в храме, где курятся кадила и потрескивают свечи, где гудит бас диакона и мерцают оклады икон, где взлетают под купол распевы церковного хора, — только там и понимаешь (уже не рассудком, а всем существом), что истинный дом — это вовсе не стены, не кровля, не кухня с плитой и не спальня с кроватью; нет, дом — это чувство, что ты не потерян и не одинок в этом мире, и всё, что с тобой происходит, имеет задачу и смысл. Дом — это чувство причастности к тайне, величию и глубине; или, выражаясь совсем уже коротко, истинный дом — это Дух: который, конечно же, дышит, где хочет, но здесь, в стенах храма, дыхание Его ощутимей всего...

Вернусь к описанию собственной жизни и того, как тема дома продолжала звучать в ней. Дачи, которую в смутные годы нам пришлось бы оборонять

от бомжей, у нашей семьи никогда не бывало, но у нас был дом, в котором мы жили и который тоже испытывал невзгоды и тяготы смутного времени. Этот дом цел доселе, и мы в нём доселе живём. В год, когда пишутся эти строки, исполняется сорок восемь лет нашего пребывания на Бушмановке, в доме номер двадцать четыре. Поэтому я просто обязан подробнее описать главный дом своей жизни. Как в семилетнем возрасте я зашёл в этот подъезд, так до сих пор вхожу-выхожу из него. Мало того, что сын с дочерью выросли здесь, так теперь вот и годовалую внучку Анюту случается подносить к окну, показывая ей зимний двор: “Вон, смотри — дерево... А вон — птица...” А Анюта, знай, смотрит смыслёнными карими глазками и задумчиво произносит: “Ага-а...”

Каков же наш дом? Он двухэтажный, кирпичный, с двускатной крышей, на восемь квартир. Его построили в 1964 году: мы с ним почти ровесники. Возводили его как жильё для сотрудников психиатрической больницы — на её территории дом и расположен, — но теперь в нём живут, в основном, пенсионеры.

Ещё в сравнительно недалёкое время — четверть века назад — это место считалось деревней Бушмановка. И хоть теперь нас приписали к Калуге, черты деревенской жизни сохранились и в доме, и в его окружении. По утрам слышно, как хрипло кричат петухи и как собаки из-за заборов облаивают прохожих; зелень садов окружает дома; а футбольное поле, расположенное рядом, чаще служит не для игры, а для выпаса коз и коней.

А птицы? Да один перечень птиц, прилетающих к нашему дому, кормящихся по окрестным садам и оглашающих их своим свистом и щебетом, занял бы много места и времени. Здесь, по сути, целый орнитологический парк: как-то, взявшись перечислять всех, кто к нам прилетает или хотя бы пролетает над нашим домом, я насчитал тридцать два вида птиц.

Есть и ещё особенность здешней жизни, до сих пор роднящая нас с деревней. Это многочисленные сараи и погреба, которые здесь нагородили жильцы больничных домов. Согласитесь, что обитатель современной городской многоэтажки вряд ли может позволить себе роскошь спуститься в собственный погреб, чтобы поднять оттуда ведро картошки или банку собственоручно засоленных огурцов.

И вот эта рубежность нашего дома, одновременно и городского, и деревенского — сыграла немалую роль в моей жизни. Ощущение себя одновременно и деревенским, и городским жителем позволяет воспринимать ту полноту существования, какую вряд ли способен почувствовать коренной горожанин или пожизненный обитатель села.

Но наш дом стоит ещё на одном рубеже. И если граница деревни и города лежит в плоскости социальных явлений, то граница, о которой я хочу теперь рассказать, лежит много глубже. Дело в том, что наш дом расположен на территории психиатрической больницы, для сотрудников которой его и построили более полувека назад, и поэтому он представляет собой как бы крепость, которую здравый смысл и рассудок возвели против безумия — вечного спутника человека. А то, что в просторечии психиатрическая больница именуется “сумасшедшим домом”, и имя посёлка — Бушмановка, где он расположен, для калужан давным-давно носит иносказательный смысл — это всё открывает для нас в теме “дом” новые грани.

Да, дом бывает и сумасшедшим. Начиная с Бедлама, лондонской тюрьмы для умалишённых (чье имя также давно стало нарицательным), люди строили и особенные дома для безумцев, помещая туда тех несчастных, кого не удерживали рамки обыденной жизни.

Живописать дом безумия на этих страницах вряд ли уместно; хотя я в качестве сначала студента, затем — медбрата, а затем — врача-консультанта провёл немало времени в сумасшедших домах и не понаслышке знаю их жизнь. Скажу лишь одно: прожив на свете достаточно долго, и волей-неволей из года в год сравнивая степень безумия внутри стен психиатрических отделений с безумием нашей обыденной жизни, я вижу, что это сравнение часто не в пользу последней. Порой начинает казаться, что как раз в сумасшедшем доме порядка и здравомыслия больше, чем в том обезумевшем мире,

в котором мы с вами вынуждены существовать. Если так пойдёт дальше, то впору менять местами таблички, потому что мы все будем жить на большой, чуть ли не во весь земной шар, территории сумасшедшего дома.

И не оттого ли я так нежно люблю территорию нашей больницы, где живу уже целых полвека, что это одно из последних здоровых, пригодных для человеческой жизни мест? Когда я возвращаюсь из города, из его суеты-толчеи, из его лихорадки вот на эти аллеи, в их чинный покой и порядок, неизменный вздох облегчения вырывается у меня из груди. Вот только что вокруг были шумные улицы, их бензиновый чад и угар, пестрота и назойливость разнообразных реклам, была масса соблазнов — от мелькающих женских коленей до сладкого запаха сдобы из двери кондитерской, — был поток того шумного и возбуждающего, что тревожило чувства, рассудок и душу и никак не давало услышать себя самого. Тебя непрерывно куда-то тащило, звало, окликало, манило; казалось, весь мир задался одною-единственной целью — заморочить, сбить тебя с толку и не позволить остаться самим собой. И вдруг — слава Богу, что путь от шумного центра до тихой Бушмановки недалёк, — весь этот морок и чад отступает, и ты с облегченьем вступаешь в иное пространство. Здесь тихо и зелено, чисто, здесь никто никуда не летит сломя голову, здесь лица прохожих осмысленны, взгляды — спокойны. “Ну, наконец-то, — думаю я на дорожках больничного парка. — Наконец-то я оказался в нормальном мире!”

С каждым вдохом и выдохом чувствуешь, как чист здешний воздух, — чист не только от городских газов, пыли и шума, но чист и от всякого рода психических отклонений. Ибо всё ненормальное и извращённое, всё искажённо-больное здесь названо собственным именем, отсортировано и обозначено, разделено по палатам и корпусам, внесено в формуляры, истории и картотеки, то есть сам воздух здесь словно бы отфильтрован от невидимых и вездесущих флюидов безумия.

Как же мне не любить это славное место? К тому же, больничный парк чудесен и сам по себе. Когда-то его разбивал и растил настоящий мастер садово-паркового искусства. Каких деревьев здесь только нет! Берёзы и клёны, дубы и акации, лиственницы и тополя перемежаются рябинами, липами, вязами. Аллея лиственниц осенью светится таким нежным золотом хвои, что кажется: стройные эти деревья всегда, даже в пасмурный день, озарены солнцем. А таких пышных белых акаций, возможно, нет в самом Киеве, которому и посвящён знаменитый романс о цветущих акациях, *невозвратимых, как юность моя...*

И этот больничный парк легко и естественно переходит в сады, что разбиты у наших домов, в том числе и в семейный наш сад. Деревья здесь всё больше плодово-ягодные: груши, яблони, вишни и сливы. И здесь, среди юной поросли слив, стоит наша “Муза-русалка”: скульптура, которую как-то, в день моего тридцатилетия, притащили в подарок друзья-приятели. Вот представьте: девушка — нет, скорей даже девочка лет четырнадцати — с рыбьим хвостом и такой удивительно улыбкой, перед которой, на мой взгляд, меркнет даже улыбка Джоконды. В этой детской улыбке видишь доверие к миру и одновременно насмешку над ним, детскую радость и зрелую мудрость, видишь лукавство и простодушие, — словом, видишь так много всего, что это русалочье улыбающееся лицо порой представляется чуть ли не ликом самой природы, тоже наивной и мудрой, доверчивой и насмешливой одновременно.

В смутные годы развала империи и перестройки всей прежней жизни под угрозой оказались и наши дом, двор и сад. Вопрос выживания вставал беспощадно и остро; бывали дни, когда я буквально не знал, чем кормить семью завтра?

Вовремя сообразив, что надеяться в трудные дни можно только на землю и на лопату в руках, мы с отцом раскопали пять соток целины в овраге неподалёку и в первый же год вырастили неплохой урожай картофеля: худо-бедно, перезимовать можно. Но возникла другая проблема: где эту картошку хранить? Первую осень мы ссыпали наш урожай прямо в подъезде, под лестницу; но там слишком тепло, и картошка ещё до весны проросла.

Потом отец вспомнил способ, который использовался на Курщине в послевоенные годы: хранить картофель в земляной яме. И мы выкопали яму в саду, и картофель отлично в ней долежал до весны. Неудобство было в одном: не будешь же ради ведёрка-другого картошки разрывать зимой снег и долбить мёрзлую землю?

Как ни крути, а без погреба нам, выживающим в трудные годы, не обойтись. Выкопать погреб, чтобы в нём сохранить урожай, для нас оказалось почти тем же, что для обороняющегося солдата отрыть окоп полного профиля: то есть найти и защиту, и помощь в той самой земле, на которой мы жили.

Итак, мы договорились с соседом Виталием, что выроем погреб сразу на две семьи, и в середине мая взялись за работу. Мало что в своей жизни я делал с таким наслаждением, как тогда, когда мы с отцом и Виталием копали котлован. Лучше всего то, что эта работа не требовала ни навыка, ни размышлений, — как говорится, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вечера стояли погожие, тёплые; вокруг всё цело; мы работали под сопровождение сочно щёлкавших по садам соловьёв и под нежный гул майских жуков. Отстояв день за операционным столом, я с наслаждением разминал поясницу, сгибаясь и разгибаясь, выбрасывая землю из ямы. Нечасто я окунался в такой же блаженный покой, как тогда, день за днём погружаясь в землю: по колена, по пояс, по грудь. Мне даже мерещилось, что, когда я скроюсь в земле с головой, — покой, которого я так ищу всю свою жизнь, станет полным и необратимым.

Лопат у каждого из нас было две — совковая и штыковая. Штыковой мы рубили плотную глину, крошили её на упругие ломты, то рыжеватые, то синеватые, а совковой выбрасывали грунт из ямы. И хорошо, что лопаты чередовались, потому что менялись наши движения и мышцы, которые мы напрягали. Конечно, сейчас я в четверть тех сил не сумел бы работать. Но тогда, когда мне было тридцать три года, казалось, что я, если нужно, докопаюсь до центра земли. До сих пор помню шарканье, с каким лопата скользит по дну ямы, собирая глиняные комья, и то, как эти комья взлетают на фоне цветущих яблонь и вишен...

Когда котлован оказался выкопан, мы трое оказались чуть ли не разочарованы тем, как быстро вынули грунт, и тем, что теперь предстоит уже не такая простая работа. Но мы справились и с бетонированием основания погреба, и с кладкой кирпичных стен. Тем более, уж с чем-чем, а с каменной кладкой я знаком со студенчества. Мы как раз удачно купили машину красного кирпича — ещё тёплого, только что из печи — и начали кладку. Руки мои быстро вспомнили, как нужно держать кирпич, мастерок и отвес. Опять, как когда-то, я чувствовал левой рукой шероховатые кирпичные грани, а правой ощущал, как мягкая клякса раствора расплзается под языком мастерка. Стена росла быстро — мы клали её в полкирпича — и теперь я не погружался в котлован погреба, а, напротив, всплывал: сначала из ямы показалась моя голова, затем плечи, спина — и вот уже я заканчивал кладку, стоя на краю котлована.

Интересной работой оказалась гидроизоляция стен. Куски битума мы растапливали в ведре; огонь лизал закопчённое днище, а лаково-чёрные, клейкие ломты таяли и оплывали, и всё больше радужных нефтяных пузырей поднималось и лопалось в недрах ведра. Квач — ветошь на палке — наматывал на себя тягучую чёрную массу и пачкал ею красные кирпичи кладки. В потёках битума по кирпичам чудилось что-то зловещее; отчего-то и мысли об адских котлах приходили в голову при виде того, как чадит и бурлит наша битумная жаровня.

Обернув стены снаружи полосами рубероида и ещё раз промазав битумом швы, мы подсыпали и утрамбовали грунт вокруг стен, отчего котлован сразу уменьшился до размеров кирпичной коробки. Непривычно и странно было рассматривать эту прямоугольную нишу в толще земли — практически комнату, в которой, при крайней нужде, можно и жить. Интересно, что ныне такие вот, углублённые в землю жилища — едва ли не тренд, то есть самая модная штука. Их называют “лисьими норами” и на просторах всемирной Сети на все лады расхваливают их оригинальность, удобство и экономичность.

Не знаю уж, каковы на деле преимущества “лисыих нор”, но в самом появлении их среди современных жилищ человека мне чудится некий возврат к первобытности, к тем землянкам, в которых наши далёкие предки обитали тысячи лет назад. И, пожалуй, не одно лишь стремление к оригинальности и дешёвизне загоняет людей в “лисыи норы”, но и нарастающий страх перед будущим, ожидание последних времён, когда лишь в подземельях, возможно, спасутся последние из обитателей нашей планеты.

Но нам при строительстве погреба об Апокалипсисе думалось редко: уж очень дружно и весело двигалась наша работа. А главный опыт, который мы приобрели, — тот, что земля и лопата есть главная наша опора в тяжёлые дни. Пока руки держат лопату — для того ли, чтобы вскапывать целину для посадки картофеля, или для того, чтобы выкопать погреб, где этот же самый картофель будет храниться, — можно вытерпеть многое. Человек с лопатой в руках, как солдат с винтовкой наперевес, не побеждён до тех пор, пока не бросает оружие и стоит на земле, защищая свой дом.

Владимир Даль в своём собрании русских пословиц записал и такую: “Чердачная мышь погребной не сестра”. И сейчас, после того, как мы погружались в погреб, неплохо бы слазить и на чердак.

В детстве нас на чердаки влекло неудержимо. С верхней лестничной площадки нашего дома можно было вскарабкаться к люку, который с хрустом откидывался, осыпая на голову керамзит вперемешку с сухим голубиным помётом; но нам, детям, залезать на чердак запрещалось, и поэтому нас с особенной силой тянуло туда. Уже в момент открывания люка ты ощущал пыльный ветер, от которого часто моргали, слезились глаза, — ветер, тянувший сквозь откинутый люк наверх, в подкровельное пространство, и будто втягивавший тебя в малящие сумерки чердака.

Первое, что изумляло, — то, как чердак огромен. Глядя на нашу двускатную крышу снаружи, никак нельзя было предположить, что под листьями старого, уже мхом покрытого шифера скрывается так много гулкого, ветреного пространства. То ли причиной тому было наше детское восприятие — мы были малы, а мир вокруг — велик, — то ли и впрямь на чердаке отменялись привычные соотношения длин и объёмов? Иначе как объяснить, что из конца в конец чердака ты мог пробираться — и пробирался — чуть ли не час, тогда как внизу, вдоль стены дома, ты такое же расстояние пробежал за стремительные секунды?

И как мог чердак вместить столько предметов, которые поочерёдно встречались тебе, пробиравшемуся на осторожных ногах или даже на четвереньках, по хрустящим окатышам керамзита? Битый шифер, шершавый и колкий, обрывки верёвок и ржавые гвозди, бухты скрученной проволоки, рукава телогреек, подмётки, пустые бутылки и голенища сапог, кирпичи в голубином помёте — всё это словно всплывало перед тобою, пока ты пробирался между подпорок строил, а потом вновь тонуло в холодных и дышащих пылью потёмках. Порою ты видел, как сквозь щели и дыры волнистого шифера кровли пробиваются иглы солнца, будто мохнатые от той пыли, что медленно движется в них. Но так было лишь в ясные дни; в непогоду дневной свет проникал под кровлю через два слуховых окна, служивших входом не только для света, но и для многочисленных облубовавших чердак голубей. Бывало, над твоей головой запыленно захлопают крылья, и тебя обдаст волной мягкого пыльного взрыва! Пара птиц, шумно взбив воздух, затмит на мгновение свет слухового окна — и канет наружу. Да, голуби-сизари всегда жили здесь — чердак представлял собой, можно сказать, голубятню, — их воркованье и хлопанье крыльев, и цоканье лапок по шиферной кровле были едва ли не главными здешними звуками. Сизари и рождались здесь, и умирали: на шуршащем сухом керамзите нам нередко встречались большеглазые и голенастые голубиные мумии. Так что чердак служил своего рода кладбищем птиц — и лёгкий, почти неощутимый на сквозняках дух голубиного тления присутствовал здесь постоянно.

Припоминаются и зимние посещения чердака. Когда там, наверху, что-то случалось с водопроводными трубами, и хмельные сантехники, вызванные

из жилищной конторы, оставляли люки открытыми настежь, мы, пацаны, словно этого только и ждали. Залезешь наверх — и вдруг поразишься тому, до чего ж, по сравнению с летом, чердак зимой мал: словно он, как и любой предмет, съёживается от мороза. То, что летом представлялось огромным и сумрачно-гулким, почти безграничным, теперь, в холода, кажется жалким, маленьким и сиротливым. Или причиной тому глыбы зеленовато-серого льда, нараставшие над кирпичными трубами вентиляции, и такие же, зеленоватого цвета сосульки, свисавшие с ригелей кровли? Из дыр вентиляции непрерывно тянул влажный пар — он-то и создавал ледяные наплывы, а кровля сочилась капелью; и всё это вместе: лёд, пар и капель — вызывало в душе чувство острой тоски. Жизнь всего дома казалась хрупкой и ненадёжной — под воем метели снаружи, под этими глыбами зеленоватого льда и под чмокание непрерывной чердачной капели...

Возле наших жилых двухэтажных домов стоит ряд деревянных сараев — типичного для России “самозастроя”. В русской провинции всюду, где только возможно, рядом с жилыми домами возникают сараи, сарайчики, будки, погребки, курятники и голубятни — строения-спутники, сопровождающие многоквартирные городские дома. Порой кажется, что эти сараи не могут отстать, отвязаться от человека (корнями, как правило, сельского жителя) и сопровождают его, как какая-нибудь собачонка, которая не может бросить хозяина, оставившего свой старый дом и пустившегося на поиски лучшей доли. Так они, эти будки-сараи, и бредут за людьми, довольствуясь самыми негодными и бросовыми местами, притыкаясь там и сям, зарастая травой и ветшая, но сберегая в себе что-то важное и необходимое человеку.

Да и сами обитатели городских домов чувствуют, что их жизнь не вмещается в типовые квартиры и нуждается в чём-то своём, сугубо индивидуальном, пусть это “своё” и выразится всего лишь в щелястом, с дырявой толевой кровлей сарае, в котором хранится всякая рухлядь, от сломанных лыж до покорёженных детских колясок.

И понятно, что наши сараи, — по сути, дома нищеты. Лишь бедность и ожидание худших времён не позволяют нам выбросить отслужившую, старую вещь. А вдруг она снова понадобится? Или, по крайней мере, можно будет использовать те детали, из которых она состоит, — разные там доски-рейки, пластины и гвозди, шурупы или провода? И поэтому часто сарай — своего рода преддверие свалки: генетически-цепкая память революций, пожаров и войн, и порождённого ими глота и мора не позволяет нам сразу избавиться от обветшалого хлама, а создаёт некий буфер между жилищем и мусорным баком.

Вот и наш сарай, что стоит в ряду деревянных собратьев, через дорогу от дома, в непростые для всех девяностые годы прошлого века служил, по сути, домашней свалкой. Мы не просто носили туда всё негодное, что оказывалось в доме, но, случалось, ещё и притаскивали в сарай что-нибудь, найденное на улице. Это мог быть моток проволоки или крепкая обрезная доска, столешница или табурет, топор без топорика или черенок от лопаты. Неудивительно, что при таком отношении к сараю, вполне типичном для русского человека, он превратился в помесь мусорной свалки с музеем старинного быта.

Что пылилось в углах и на полках сарая? Какое-то время, к примеру, здесь обитала старинная прялка. Резные балясины-столбики и большое колесо с деревянными спицами были настолько легки и изящны, что, увидев ту прялку возле мусорных баков, я не мог не притащить в сарай это рукотворное чудо. Много перебивало в сарае и лыж: от деревянных, ещё с ремёнными креплениями (а палки к ним, кто помнит, из суставчатого лакированного бамбука), до современных пластиковых. И часто те лыжи бывали непарными: поломав одну где-нибудь на бушмановской горке, я не решался выбросить вместе с ней и другую и оставлял овдовевшую лыжу пылиться в сарае. Правда, сколько я помню, ни одна из непарных лыж так и не дождалась себе такого же одинокого друга и не составила с ним новой пары.

О разных коробках и старых ботинках, о поломанных детских игрушках, об исписанных школьных тетрадах, остатках обоев, банках с олифой

и старую краской, пакетах шпатлёвки, граблях и лопатах я много распространяться не буду: такого добра хватает в сарае у каждого. Но вот о чём надо сказать обязательно — это о байдарках и велосипедах.

Да, они тоже хранятся в сарае, и с них начинается новая тема, ведущая нас прочь из дома, в ту даль, о которой напоминают нам эти шины и спицы, педали и сёдла, и эти брезентовые тюки, в которых, когда их случайно заденешь, позвякивают шпангоуты, вёсла и стрингеры. Благодаря велосипедам и лодкам наш старый сарай — ещё и хранилище странствий, как прежних, уже совершённых, так и тех, что ещё, может быть, предстоят. Дом без возможности странствий — не вполне дом, а что-то вроде тюрьмы; равно как и путешествие без того места, откуда ты вышел и куда надеешься возвратиться, превращается просто в скитание, в наказание и проклятие для человека.

Вот и мы, оттолкнувшись от стен старого и уже накренившегося сарая, пожалуй, отправимся в странствие.

IV

Тема странствий, блужданий, походов — одна из важных тем моей жизни. Я даже нашёл ей генетическое обоснование. Отец моего отца Василий Афанасьевич Убогий, командовавший стрелковой ротой и погибший под Ленинградом в декабре 1941 года, был кубанский казак. Получается, в моих жилах, помимо крови курских крестьян (с Курцины большинство моих предков), четверть крови — казачья. А казаки, как известно, народ вольный и больше привязанный к бурке, коню и седлу — чем к жене или хате. В прошлом некоторых казаков называли “бродниками” — людьми, не имевшими дома и свободно бродившими по белу свету.

Вот и я — как я сам себя ощущаю и сознаю — примерно на три четверти человек оседлый, привязанный к дому, укладу, порядку, семье; а на четверть — бродяга и странник. В каком-то воображаемом идеале собственной жизни я и хотел бы примерно три четверти года жить дома, а четверть — проводить в путешествиях. Конечно, в реальности странствия занимали куда меньше времени, но, не будь их совсем, я ощущал бы свою жизнь неполноценной.

Всякий, кому довелось путешествовать, знает: для странника дом — ценность едва ли не большая, чем для оседло живущего человека. Тот, кто изо дня в день и из года в год живёт в доме, может совсем перестать его замечать и ценить: так рыбы не замечают воды, в которой они обитают, а большинство людей не замечает воздуха, которым дышит. Но стоит рыбе оказаться выброшенной на берег, а человеку испытать приступ удущья, как им сразу становится ясно, где и в чём заключается жизнь.

Что-то подобное — обновление, освежение и углубление чувства дома — происходит и с тем, кто с домом расстался. Где, как не во время похода, — холодной ли ночью, или под проливными дождями, или в палящий зной, загребая ногами дорожную пыль, — так мечтаешь о доме?

Даже расставаясь с домами и уходя из них, чтобы странствовать, люди порою берут дом с собой. Речь идёт о палатках, этих походных жилищах, которые, с одной стороны, создают лишь иллюзию дома; но, с другой стороны, важнейшие признаки дома всё же присутствуют в них, и человек, в чьём рюкзаке лежит свёрнутая палатка, является домовладельцем. Во-первых, в палатке он будет укрыт от дождя и от ветра, этих главных врагов путешественника (и ещё защищён от мошки, гнуса, слепней, комаров — ото всей той летающей нечисти, что способна превратить поход в сущий ад); и во-вторых, палатка создаёт тот эффект “внутреннего пространства”, который и есть отличительный признак жилища. Попробуйте всего лишь обнести верёвкой участок лесной поляны или приречного луга, и вы сразу поймёте, о чём идёт речь: “внутри” всё сразу станет иным, чем “снаружи”. А уж если вас отгораживает от внешнего мира не просто верёвка, а стены палатки, то внутреннее пространство будет обозначено ещё чётче. Чем-то этот эффект сродни тому детскому залезанию под одеяло, с которого я и начал писать о домах.

Я впервые узнал, что такое палатка, когда мне было семь лет и родители взяли меня с собой на Угру. Та палатка, в которой мы жили, была из брезента — теперь таких не найдёшь! Она тяжёлая и не очень удобная, но для меня она так и осталась незабвенной и идеальной — палаткой как таковой. Все детали её — скаты, верёвки-оттяжки и кольца, кармашки и сетчатые оконца (их было два), шнуровка на входе — всё помнится даже не просто отчётливо-зримо, но с чувством комка, подкатившего к горлу. Палатка было словно дверью в иной, сказочный мир, где горели костры и восходы-закаты, где были купания и земляника на солнечных склонах, был запах хвои, сосновой смолы и брезента, нагретого солнцем, — мир, который доселе, спустя пятьдесят лет, вспоминается, как едва ли не лучшее из того, чем судьба одарила меня.

Памятен ежевечерний обряд выкуривания комаров. Сначала на углях костра разжигались сосновые шишки. Их сухие, невзрачные серые шарики преображались, когда их напитывал огненный жар: лепестки раскалившихся шишек становились розово-полупрозрачны, и вся шишка напоминала светящийся нежный цветок.

С десятков таких вот светящихся шишек зачёрпывался жестяною консервной банкой из-под тушёнки — белый дым начинал вытекать из неё, — и с этим “дымарём” моя мама залезала в палатку. Всё пространство под пологом тотчас оказывалось наполнено густым дымом, который валил и из входа, и из затянутых сеткой окошек, и даже просачивался сквозь брезент. Уже секунд через десять мама, жмурясь и задыхаясь, выбиралась наружу. На неё было жалко смотреть — лицо красное, из глаз слёзы, — но на что не пойдёшь ради сына и мужа? Пока она приходила в себя, отец, торопясь, зашнуровывал вход. Это не так-то просто: приходилось вдевать деревянные шпильки в непослушные петли, всё это путалось в пальцах, отец злился, палатка закрывалась медленно, и выкуренные комары преспокойнейшим образом успевали в неё возвратиться.

Но что комары, когда молодой сон в палатке, после бесконечного дня, проведённого в летнем раю среди сосен, на берегу прекрасной реки, был так крепок, что я как-то умудрился проспать даже грозу, бушевавшую ночью над нашей палаткой. По рассказам родителей — да и по опыту гроз, которые мне довелось пережить после, — я хорошо представляю, как скаты дрожали и прогибались от струй низвергавшейся с неба воды, как гремел гром и как внутренность нашей палатки озарялась нервическим светом сверкающих молний. А мама — сама ни жива, ни мертва — прикрывала меня, крепко спавшего, от летающих над палаткой молний своими ладонями! И ведь прикрыла: я с той поры прожил полвека, и сейчас вспоминаю то лето, когда руки матери оказались самой надёжной и несокрушимой кровлей на свете.

Конечно, после той “брезентухи” бывали в моей жизни и другие палатки, каждая из которых была по-своему хороша. Например, военные шатровые палатки, стоявшие на дощатых помостах, в которых мы, молодые легкоатлеты, жили на летних тренировочных сборах. Проснёшься в ней утром под трель свистка тренера — и, успев натянуть только спортивные трусы, ещё сонный, босиком выбегаешь на утреннюю разминку, а это четырёхкилометровый кросс по песчаной тропе среди сосен, в смолистом воздухе летнего бора и в том ощущении неистощимости собственных сил, какое бывает лишь у пятнадцатилетнего юноши.

А жёлтый чум под названием “Лотос”, который однажды взлетел над обрывом при сильном порыве внезапного ветра, и мы с другом Виталием едва успели схватить его, прежде чем он упал в весеннюю мутную Жиздру.

Или польская трёхместная “Вертикаль”, в которой всё наше семейство — я, жена, сын и дочь — размещались во время семейных байдарочных сплавов, а наш пёс Луи (седой и лохматый, задумчивый шнауцер) с кряхтением укладывался в “предбаннике”. Луи, даже спящий, знал своё дело сторожевого пса — охранять дом — и сквозь дрему сонно порывал на те шорохи, что раздавались в ночи возле нашей палатки.

Но как бы ни были хороши все эти палатки — и лёгкие, и удобные, и современные, — сердце навеки отдано первой любви. Только в ней, в “брезентухе” далёкого детства, возникало домашнее чувство уюта и защищённости. И тем удивительней, что оно возникало под какой-то всего лишь брезентовой тряпкой, подёртой двумя жердями и растянутой на восьми верёвках. Значит, в палатке мы обретали не столько сам дом, сколько его, дома, идею. Мы создавали и ощущали границу меж нами и миром, и это нам помогало почувствовать реальность собственного существования. К декартовой формуле: “*Cogito ergo sum*”, — можно добавить: “Я существую ещё и тогда, когда между мною и миром есть граница, преграда; когда я живу пусть даже в тряпичном, но всё же в доме”.

Возможно, вы спросите: ну, а как же бродяги, у которых дома нет вообще? Они что же, не существуют? Но у любого бродяги есть хотя бы одежда, прикрывающая его наготу, — она и играет роль примитивного дома — и есть, в конце концов, тело, а уж с этим-то домом души одна только смерть может нас разлучить.

Вспоминая палатки собственной жизни, не могу не припомнить и первых походных ночёвок детей. Ведь для них это был тоже важный опыт общения с домом. Заночевать первый раз в жизни вне дома, в палатке — означало, с одной стороны, пережить со своим родным домом разлуку. Но с другой стороны, первая “палаточная” ночёвка была и опытом обретения дома — именно в том смысле, о котором мы только что рассуждали.

Ко времени первых походных ночёвок и Диме, и Даше исполнялось как раз по пять лет; и прошли эти ночёвки там, где сливаются речки Городенка и Калужка. Здесь хорошо различимы следы древнего городища вятичей, и это место слияния двух небольших, милых речек доньше радует глаз своей живописностью. Над приречной долиной ровной террасою из соснового леса выступает то самое городище, на котором мы и разбивали наш лагерь.

Димке, помню, досталась холодная ночь. Туман затянул луговину, по траве было трудно ступить от обильной росы, а по небу, розовеющему на закате, бесшумно носились летучие мыши. И Димка, укутанный нами во что только можно, перед тем, как залезть в палатку, заметил мышинные промельки в небе — и радостно крикнул:

— Здравствуй, летучая мышь!

Не знаю, что думала и что ответила мышь, но мы до сих пор вспоминаем тот Димкин радостный возглас, то ликование ребёнка пред миром, что только лишь начал во всю свою ширь открываться ему.

А Даше досталась, напротив, жара. Уже с утра склон парил, коровы с мычаньем и топотом двигались мимо палатки, и уже по коровьим тоскующим вздохам можно было представить, насколько томительно-знойным окажется день. Мы с Димой рано ушли на рыбалку, а пятилетняя Даша в ожидании завтрака и возвращения брата с отцом принялась собирать землянику. Но ползая по склону в лучах уже знойного солнца ей было непросто; и вот, чтоб себя подбодрить, она сочинила стишок:

*Собираю землянику — просто умираю...
Вспомню, что отцу и брату — сразу оживаю!*

Как же нам не любить это место, где дети так живо и так светло проявили себя? И, может быть, опыт первых ночёвок в палатках сыграл не последнюю роль в становлении их детских душ, в том, чтобы чувствовать одновременно любовь и доверие к дому — и к миру, который наш дом окружает?

А много лет спустя жизнь подарила мне ещё одно впечатление, связанное с палаткой. В нашей семье появилась Анюта, дочь Димы и Сони, и моя жена Лена купила годовалой внучке подарок: игрушечную розовую палатку, в которой могла поместиться лишь только сама Анюта да ещё, разве, наш старший шнауцер Луи, к тому времени достигший возраста собачьего патриарха. И вот наблюдать, как Анюта то залезает в палатку и лукавыми глазами поглядывает оттуда, то вылезает наружу, чтобы прихватить какую-нибудь

игрушку и с ней снова забраться в свой розовый домик, — наблюдать это всё было сущим блаженством для меня, деда. Я видел, что наша семейная палаточная эстафета передана новому поколению — четвёртому, если считать от моих родителей — и теперь уже для Анюты пришло время познавать тайны дома.

Хочется вспомнить о самых северных из домов, в которых мне довелось побывать. Это были зимовья — таёжные охотничьи избышки, стоявшие по берегам архангельских рек. Мы с другом Лёшей сплавлились по ним на байдарке; палатка, конечно, у нас имелась, но, встретив избышку, трудно устоять перед искушением переночевать в ней.

Тайга, что тянулась вдоль северных рек — Кодины, Сиы, Ваймути или Онеги, — была, прямо скажем, не ровня нашим смешанным среднерусским лесам. Из деревьев росли здесь всё больше тёмные ели да лиственницы; следов человека можно было не встретить за два-три дня хода; и отойти от реки в тайгу дальше, чем на пару сотен шагов, я опасался: заблудиться в этих дремучих лесах мне вовсе не улыбалось. В буреломной еловой глуши всегда было сумрачно и жутковато. Ноги здесь не ощущали надёжной опоры: ступать приходилось по ломавшимся сучьям, осклизлым корням и по зыбкому мху, из которого, пенясь и чавкая, выступала вода. А космы лишайников, что свисали с еловых сухих бородавчатых лап? А громадные бурые шляпки грибов, перепрелых и слизистых, словно медузы? Заденешь ногой такой гриб — и он, чмокнув, шлёпнется на подстилку из сломанных сучьев, хвои и мха и тут же исчезнет, просочившись меж веток: тайга словно жадно проглотит его. И уже опасаясь: а ну, как проглотит она и тебя? Тем более что, зацепившись ногою за корни, упав ничком и пытаясь достать до земли, ты испытываешь леденящую оторопь, чувствуя, как рука твоя тонет без всякой опоры в сырой глубине...

Так что общение с дремучей тайгой оставляло тяжёлое чувство. Тем радостней было, скользя по реке вдоль зубчатой стены тёмных елей, увидеть пригорок, просвет — и на этом пригорке бревенчатый сруб под кровлей из грубо отёсанных плах. Знакомиться с каждой новой избышкой всегда интересно. Как и лица людей, они не походили одна на другую: у каждой избышки свой собственный облик, характер и настроение. Но везде печка и нары, и везде можно найти спички, соль и свечу. Очень трогало это приветствие — или послание — от людей, которых мы никогда в жизни не видели и никогда не увидим, но которых мы вполне могли считать своими друзьями.

После ночёвок в палатке всё в избышке казалось верхом комфорта. Тут тебе и обустроенное кострище с надёжной перекладной — вешай зараз хоть три котелка! — и сухие дрова под навесом (обязательно между поленьями всунут рулон берёсты для растопки), и стол со скамьёй из еловых жердей, так что трапезничать можно удобно, и с видом на реку, да ещё на гвоздях, вбитых в стену избышки, висят котелок, сковородка и пара кружек — на тот случай, если мы, например, утопили свою посуду, совершив оверкиль где-нибудь на речной быстрине.

В избышках обычно всё было настолько продумано, что приготовление, скажем, походного ужина превращалось из нудной мороки в чистое удовольствие. Всего и забот: зачерпнуть котелком воды, спустившись к реке по вырубленным в береговом склоне ступеням, от лоскута берёсты запалить костерок из еловых или берёзовых чурок да подождать, пока поспеет уха или каша.

И ещё: стосковавшись по людям за те две недели, что мы обитали в тайге, на все предметы, детали и признаки цивилизации, которые прежде воспринимались как догучливый и раздражающий мусор, теперь мы смотрели иными глазами. Всё привлекало внимание и вызывало живой интерес: и красная гильза охотничьего патрона, обронённая где-нибудь возле порога, и верша, сплетённая из ивовой лозы, и гнутая кочерга возле печки, и даже приколотая к стене фотография голой журнальной красотки, которая явно недоумевала: как и зачем она здесь очутилась? Можно сказать, что таёжная эта избышка возвращали нам интерес и доверие к человеческой цивилизации —

и мы уже были не против снова вернуться в тот мир, где так томилась недавно. Эх, всё же мы дети города, и в глухой чаще тайги чувствуем себя чужаками. А вот избушка — это родной нам мир: он создан людьми для людей и всегда рад их появлению.

Так что наша ночёвка в избушке была своего рода возвращением на родину после недолгого бегства в тайгу. Даже её теснота, горький запах золы из печи, даже мыши, которые неустанно скреблись-копошились под полом, воспринималось не как неудобства, но как проявление внимания этой избушки к нам, людям. Да что говорить: даже блохи (наверное, их натащили собаки, что ночевали здесь вместе с охотниками) — блохи, которые заставляли нас ночью вертеться, кряхтеть и почёсываться, — даже они мне казались почти что друзьями, и я не сердился за столь откровенное проявление их интереса ко мне.

А если вдруг сквозь непрочный сон слышалось, как по кровле сечёт дождь, то как же уютно дремалось в избушке под шум непогоды! Даже хотелось, чтобы ненастье усилилось, чтобы пуще выл ветер, скрипели-шумели деревья, лил дождь, потому что тем драгоценнее был тогда этот подарок: избушка в тайге, приютившая нас в непогоду.

А теперь можно вспомнить и самый южный из тех домов, где мне довелось пожить. Дом Мубиджона-аки в Бухаре, построенный почти триста лет назад предком нынешнего хозяина, водившим караваны по Великому шёлковому пути. Караванное дело было весьма уважаемым и приносящим, при всех его рисках, немалый доход: даже по нынешним меркам, дом Мубиджона-аки казался зажиточным. Планировка, типичная для городских жилищ Азии: дом выстроен вокруг огромного дерева — старой раскидистой шелковицы, защищавшей обитателей от южного солнца. В иных домах, правда, вместо дерева мне случалось видеть бассейн и фонтан; но и зелёное дерево, и журчащий фонтан — это всё атрибуты магометанского рая, о котором как раз и старался напомнить своим обитателям и гостям всякий мало-мальски благоустроенный дом Средней Азии.

Хозяин, поджарый и бодрый старик семидесяти пяти лет, — некогда он был чемпионом Узбекистана по спринту и бежал “сотку” за десять и две — превратил свой дом в небольшую гостиницу. По-русски хозяин говорил прекрасно и, увидев, что я проявляю интерес к старинному дому, охотно показывал мне его. Двор с шелковицей окружала анфилада комнат, каждая из которых поражала своей пустотой: ни окон, ни мебели. Скатанные рулоны постелей лежали у стен на полу; а для хранения разных вещей — посуды, книг, утвари — в стенах сделаны ниши.

— А как же зимой? — спросил я хозяина. — Ведь, наверное, холодно?

— Холодно. — отвечал Мубиджон-ака. — Для обогрева у нас сандали.

И объяснил, что это такое: в углубление глинобитного пола насыпаются горячие угли, сверху ставится столик, накрытый войлочной кошмой, и люди усаживаются вокруг, просовывая под стол ноги. Чем-то это напоминает обогрев возле караванных костров — тех, у которых провёл много ночей самый первый владелец старинного дома. Да и весь дом чем-то напоминал палатку кочевника. Мало того, что он был аскетично-простым (нам, европейцам, дом без мебели даже трудно представить), но он был таким необременённым самим собой, что казалось: собрать и сложить этот дом, чтобы двинуться в путь по ветрам и барханам пустыни, — совершенно пустяшное дело. Вот только выпьем ещё по пиале кок-чая, погреемся у сандали — и тронемся по Великому шёлковому пути...

Показал мне хозяин и то, как устроены стены. На уровне полуподвала, где некогда располагались кухня и кладовые, одну из несущих стен отчищали от штукатурки, и её анатомия выступала наглядно. С удивлением я увидел вертикально стоящие брёвна, промежутки между которыми были не то, что уложены, а засыпаны чуть ли не мусором: обрезками брёвен и сучьями, камнями, хворостом и глиняными черепками. Связующим материалом служил саман — солома, перемешанная с навозом и глиной, — но в целом

впечатление от стен оставалось тревожное: казалось, они вот-вот должны развалиться.

— Конструкция очень надёжная. — Мубиджон-ака улыбнулся, как бы угадав мои мысли. — Эти стены пережили не одно землетрясение.

Тут я догадался, что антисейсмический дом и должен быть вот таким, эластично-подвижным: толчки ходуном заходившей земли не только не разрушают его стен, но, может быть, ещё плотнее их утрясают. И потом, когда я пил чай во дворе, в тени старой шелковицы, я думал о том, что строения, ветхие с виду, нередко как раз и оказываются самыми долговечными. Землетрясение или война скорее разрушат дворец; а ветхая хижина, если с ней даже что-то случится, будет вскоре починена или даже отстроена заново, и поэтому кажется: именно хижины — вечны.

Это же самое чувство — изумление перед неистребимой жизненной силой лачуг — посещало меня и тогда, когда я бродил по окраинам наших русских посёлков и городов. Проспекты с большими домами обычно вгоняют в тоску; а вот созерцание затрапезного быта окраин всегда пробуждает желание жить. Идешь, бывало, в Калуге где-нибудь по Берендяковке или Подзавалью — до недавних пор в этих районах было немало лачуг, кое-как прилепившихся к склонам, — и разглядываешь всё то обветшалое и до боли родное, что тебя окружает. Заборы обычно здесь нагорожены, из чего Бог послал: то из кроватных спинок, то из дырявых полос заводских штамповок, то из листов покорёженной жести. А если увидишь забор деревянный, то он будет стоять, скорее всего, как-нибудь набекрень. Для чего нагорожены эти заборы, даже трудно сказать: ни для человека, ни для пасущихся между заборами коз, ни для бродячих собак они не представляют серьёзной преграды. А уж для бурьяна — лебеды, бальзаминов, крапивы и хмеля — они вообще служат опорой. Вон как высоко взобралась плеть дикого винограда — с забора на старую яблоню, а с неё на ещё более старую, обомшелую крышу, — и кажется, что лишь тёмно-зелёная эта лиана и удерживает на склоне готовые рухнуть забор, дом и дерево.

А крылечки окраинных этих домов? Да, они покосились, осели и держатся, что называется, на честном слове; но зато эти тёплые старые доски, истёртые множеством ног — кто только не ступал на них и босиком, и в сандалиях, и в ботинках, и в валенках, и в солдатской “кирзе”! — эти тёплые доски всегда приглашают не просто ступить, а присесть на них и отдохнуть. А уж если ты сел на такое крыльцо — обязательно, пусть неосознанно, погладишь ладонью его тёплые доски. А какое количество живописных деталей можно увидеть с крыльца! Вон вбит в землю скребок для очистки подошв от грязи. Сейчас-то, в жару, он сух и чист; зато в ноябре железная эта скоба состругивает с сапог ломти глины, которые вяло шлёпаются на влажную землю, на бурые листья, на прелые яблоки, что лежат у крыльца.

А вон ржавая бочка под ржавой трубой водостока. Жизнь этой бочки меняется от сезона к сезону. В дождливое лето она переполнена пенной водой, непрерывно стекающей с крыши; если случается сушь, и воды в бочке мало, она даже подёрнется тиной и ряской; осенью в бочке плавают жёлтые листья яблонь и красные — груш. Зимой бочку переворачивают, и над ней вырастает пухлый сугроб; а в солнечном марте капель стучит в её жестяной гулкой бок, и бочка тогда превращается в праздничный, славящий жизнь и весну барабан.

Что мы видим ещё, озирая заросший сиренью или акацией дворик? Конечно, скамейку — обычно простецкого вида, на двух деревянных столбах. Но хоть она и неказиста, её все любят: и люди, и кошки, и куры, которые норуют себе выкопать пыльную ямку в её тени и лежать там, лениво квохча, в безмятежные жаркие полдни. А уж кому только не довелось посидеть на этой скамейке, от малых детей, чьи загорелые ноги болтались, не доставая травы, до стариков и старух, чьи тяжёлые стопы казались недвижно и мертво вросшими в землю. И ведь скамья поддерживала их всех, для детей служба как бы трамплином для роста и взлёта, а для стариков образуя подпорку, которая им позволяла какое-то время удерживать малый зазор между ними и властно зовущей землёй.

Вспомним ещё и отели, места временного приюта для тех, кто путешествует по миру. То, что отель — это дом ненастоящий, ясно любому. В нём не происходит важнейшего: укоренения человека в том месте, где он живёт. Главные узлы жизни в отелях, как правило, не завязываются: в них не рождаются и не умирают; а если такое и происходит, то это, скорее, случайность. Если отель и служит домом, то одноразовым, как пластиковая посуда.

Прообраз отеля — постоялый двор, то есть дом у дороги, стол и постели в котором сдавались пешим и конным. И он чем-то напоминает продажную женщину, которая тоже стоит у дороги и тоже готова за некую плату предоставить себя проезжающим и проходящим. Недаром, кстати, отели и падшие женщины — это испокон веку неразлучная пара.

Но с другой стороны — разве отели не нужны людям? Разве они не согревают холодный наш мир? А то, что они предназначены в основном для скитальцев и странников, так разве и все мы не странники и не скитальцы, не краткие гости в том мире, где мы появились, поели-поспали и вот-вот должны будем освобождать жилплощадь? Нет, я искренне благодарен тем странноприимным домам, в которых мне доводилось пожить.

Так, в Египте из того небольшого отеля у моря, где мы поселились с женой, мне памятен стол на веранде, стоящий на нём стакан виски “Джонни Уокер” (что означает, кстати, “гулёна Джонни” — отличный выбор для путешественника) и пыльный, горячий ветер хамсин, который раскачивал пальмы над крышей отеля. Чешуйчатые стволы скрипели и гнулись, а ребристые жёсткие листья-ваии так иступлённо мотались под ветром, что было странно, как они не отрываются и отчего не оставляют царапин на синем, сияющем, вечном небе Египта?

Вообще чаще вспоминается даже не сам отель, не его номера и кровати, — это, как правило, одинаково во всех на свете отелях “средней руки”, — а вспоминается окружение отелей. Скажем, в Праге — это “пивница” где-нибудь неподалёку: гул голосов и табачный дым, пивные кружки на грубых столах и прилипшие к мокрым доскам клочки серой бумаги, на которых официантки палочками отмечают количество заказанных кружек. В этих старых, прокуренных пивницах, как и в пражских кафе, и на пражских мостах, и на ночных улицах с красными фонарями, ощущается атмосфера какой-то уютной порочности, той, что не только не разрушает покоя, порядка, уклада налаженной жизни, а, напротив, чуть ли не укрепляет пражскую жизнь.

Что вспомнить из Греции? Ну вот, скажем, Дельфы — те самые, где неподалёку от руин Аполлонова храма журчит знаменитый Кастальский ключ. В отеле на узкой улочке Дельф меня, помнится, разбудил гулкий грохот мусоровоза под окнами; но когда я, зевая, вышел на балкон и глянул сначала влево, на серо-зелёный склон уходившего к тучам Парнаса, а потом вправо, на синеватую дымку, что укрывала долину и море, был забыт грохот мусоровоза, и досада на его жестяной грохот. Мысль: “Я на Парнасе!” — одна овладела душой; мог ли я думать, что судьба приведёт меня в эти места, где живут не одни только люди, но где обитает само вдохновение?

В черногорской Будве наш отель выходил окнами на небольшую площадь, где допоздна меж столиков уличного кафе играли музыканты и выступали танцоры. Но куда привлекательнее и танцев, и музыки были черногорские девушки! Они неспешно прохаживались взад-вперёд, порою присаживались за столики, чтобы выпить вина или кофе, а затем продолжали свой летний ночной променад. Окно отеля, из которого я на них любовался, создавало эффект театральной рампы: я был отгорожен от гуляющих девушек, их жизнь протекала мимо моей и никак с ней не пересекалась, но в то же самое время я как бы бродил по ночным, полным неги улицам Будвы вместе со смуглыми и длинноногими красавицами.

Отели, в которых я жил, были разными, от совсем нищенских до роскошных. Правда, в последние можно было попасть лишь по ошибке, как это случилось в итальянской Ферраре. При заселении нашей туристической группы возникла путаница, и нас с женой и дочерью вместо скромной ночлежки

определили в прямо-таки королевские апартаменты. Уже одна их прихожая была полноценным гостиничным номером, не говоря о громадной ванной комнате, которую вполне можно было сдавать под публичные бани, или огромной спальне, где под высоченными потолками даже летающим птицам нашлось бы достаточно места. И с тех пор в нашей семье прижился речевой оборот, обозначающий крайнюю степень роскоши: “Не хуже, чем в Ферраре”.

Зато в Индии, где мне доводилось спать и просто под небом, среди нищих, коров и бродячих собак, я четыре дня жил в крошечном номере, по скудности обстановки напоминавшем тюремную камеру. В этом номере были деревянные топчан из неструганных досок, табурет со стоящим на нём вентилятором (который, естественно, не работал), и ещё в стены было вбито несколько гвоздей, на которые я повесил рюкзак и одежду. Но, как ни странно, этой мебели — топчана, гвоздей и табурета — мне хватало вполне, и я не испытывал ни малейшего неудобства, когда после купания в Ганге и обеда, состоявшего из грозди бананов, я засыпал на топчане, и ни москиты, ни скорпионы не нарушали мой сладкий сон.

Любимым же местом в отелях для меня всегда были не номера, не рестораны, слишком обременительные для моего кошелька, а холлы, через которые, то затихая, то оживляясь, протекал почти непрерывный поток посетителей. Люди входили и выходили, шагали то налегке, то с поклажей, несли рюкзаки или катили сумки на колёсах, иногда задерживались и что-то сердито выговаривали персоналу или, развалясь, коротали время в удобнейших креслах (почему-то удобнее кресел, чем в холлах отелей, я нигде не встречал), в общем, люди жили своей кочевой жизнью, а я с интересом эту жизнь наблюдал. Где ещё, как не в холле большого отеля, можно увидеть настоящий парад человечества? Тут и непременные толпы японцев, обвешанных фотоаппаратами, и громогласные сытые немцы, и чопорные англичане, и французы с их нежно-картавою речью, и горячо жестикулирующие итальянцы, и испанцы, напоминающие наших brutальных южан, и негры, лоснящиеся, как сапожная вакса, и тяжёлые сербы, и белобрысые шведы, — словом, множество языков и народов пройдут перед тобой за те полчаса, что ты просидишь в холле отеля.

С этой темы — парад человечества в холле отеля — легко перейти к разговору о том, какое великое множество разнообразных домов существует на свете. Вот, например, эскимосское иглу. Восхищает уже одно то, что люди когда-то решили: такое жилище возможно. Сделать снег материалом для дома означало явить и отвагу, и наблюдательность, и волю к жизни. В эскимосском жилище многое необыкновенно. Например, то, что стены из снега пропускают и воздух, и свет, так что дом эскимоса днём не нуждается ни в освещении, ни в вентиляции. А отопление? Трудно поверить, но язычка пламени, что качается над плоской тюленьего жира, хватает, чтоб обогреть иглу до температуры плюс двадцать градусов в то время, когда снаружи лютуют тридцатиградусные морозы. И в такой вот снежной пещере, под завыванье метелей, под призрачным светом полярных сияний шла обычная жизнь эскимосов. Шились одежды из шкур, резались моржовые бивни, рассказывались какие-нибудь предания, зачинались, рождались и росли дети — и всё это в условиях, для человеческой жизни невыслышимых.

По сравнению с эскимосами жизнь кочевых степняков — монголов, казахов, калмыков — может показаться просто курортной. Хотя хорош курорт! Тут и зимние стужи, и летняя сушь, и, главное, ветер — он дует и ночью, и днём, он, кажется, выдувает и душу, и мозг человека, который дерзнул жить в степи. Вот для защиты от этого ветра, безжалостного и вездесущего, в основном-то и служат степные жилища. У нас в Азии это юрта или кибитка — разборный каркас, обтянутый войлоком, — а где-нибудь в Африке, среди барханов Сахары, — это полог из верблюжьих шкур, под которым семья бедуина находит защиту от ветра и солнца.

Такой тип жилища мы называем палаткой. В традиционных культурах их видов немало. Это и уже упомянутые юрта с кибиткой, и чум, и яранга,

и типы индейцев Великой равнины, и вигвамы, знакомые нам по романам Фенимора Купера. В этих жилищах главное — их простота и мобильность. Сегодня такой дом стоит себе где-нибудь в тундре или в прерии, а завтра простыли и угли в его очаге, и сам его след; такое жилище не будешь особо жалеть и оплакивать — ведь при нужде можно быстро построить другое.

Не забудем и о кибитках цыган: телегах с навесом, домах на колёсах. В них можно жить, не просто перекочёвывая с места на место, ведя с собой песни, коней и медведей, но можно существовать в непрерывном движении. Если главное качество дома — его неподвижность, то кибитка цыган есть такое же чудо, каким было бы, скажем, бредущее дерево.

Но есть и иной способ жить. Не идти по стенам за отарами или табунами, не подчиняться порывам степного бездомного ветра, но пускать корни в землю, на которой живёшь. Так возникает землянка, древнейшее из славянских, германских и скандинавских жилищ. Почувствовав власть земли, её тягу и силу, люди стали искать в ней защиту и буквально погружаться в неё.

Живут ли в землянках сейчас? Да, живут, и не только солдаты и бездомные жертвы войны. Так, на севере Африки есть троглодиты-берберы, которые зарываются в рыхлую землю и тем защищают себя от палящего зноя Сахары. Поселение троглодитов являет собою огромную круглую яму, из которой во все стороны прокопаны комнаты-норы. Если хозяйке норы нужна, скажем, полка для утвари, она просто-напросто откапывает ещё одну нишу в стене.

Но как ни спокойно, ни тихо в землянке, как ни спасает она от невзгод, люди всё-таки не подземные жители, и их тянет к свету, воздуху, солнцу. И вот землянка начинает как бы вырастать из земли: сначала на два-три бревенчатых сруба, а затем и во весь человеческий рост. Так появляется то, что мы и привыкли считать полноценным домом.

Традиционная русская рубленая изба — это целый мир из людей и животных, из разного рода припасов, ремесленных приспособлений и обрядовых украшений. Изба — это, можно сказать, Россия в миниатюре, с её языческим прошлым, сменённым на христианство, с её преданиями и песнями, с её способом выживать и строить свои отношения с миром и Богом.

Но чем южнее, тем меньше строевого леса, и на Юге России изба превращается в хату: гибрид северного деревянного и степного саманного дома. Деревянный остов южной хаты набран обычно даже не из полноценных брёвен — где их взять в украинских или южнорусских степях? — а из тонких, коротких бревёшек. Но зато изнутри и снаружи этот деревянный каркас обмазан глиной с навозом, крыт сверху соломой — и в итоге получается дом очень милого вида. А если хата ещё и недавно побелена, и наличники освежены голубой или жёлтой краской, то глаз от неё не оторвать.

Совсем же в степях, где леса нет вообще, ставились мазанки: каркасом стен в них служил плетень из лозы или тростника. Но, конечно, главный строительный материал степей — это саман: рубленая солома, перемешанная с навозом и глиной. Саманное жилище, в сущности, усовершенствованный шалаш, дом из травы. И жизнь в таком доме чем-то напоминает жизнь птицы в гнезде. Приют вроде есть, но он ненадёжен и хрупок; непогода — дожди и ветра — разрушают такое гнездо, и его ежегодно приходится подправлять; но зато из саманного дома легче вылететь и пуститься по белому свету, чтобы искать себе лучшую долю.

Кроме лесов и степей, есть ещё горы — и там, среди камней, живут тоже люди. Понятно, что и жилища они строят из того, что есть под рукой, — из природного камня. Разновидностей каменных традиционных жилищ немало: это и трулло южной Италии, и круглые пальясо горной Испании, и сакли Кавказа. Каково жить в таком доме, не знаю. Но несомненно: жилище влияет на душу живущего в нём человека. Думаю, что жизнь в холодном каменном доме тоже какая-то каменная. Уже одно то, что жестокие обычаи кровной мести зародились именно в горных местностях, среди каменных стен, многое говорит о душе и характере горных жилищ.

Какие ещё есть дома? Вот, к примеру, жилища на сваях — такие дома строят в Полинезии. Конечно, там, где накатывают тропические дожди или

океанские приливы, — там волей-неволей приходится приподнимать дом над землёй. В Индонезии, например, до сих пор строят хижины буквально на деревьях. И дом на сваях — или, тем паче, древесная хижина — со временем сам становится своего рода деревом. Из его свай тянутся корни и молодые побеги; птицы гнездятся на листовенных кровлях; а стены скрипят под порывами ветра точь-в-точь, как древесные стволы.

Но самые знаменитые в мире дома на сваях, — конечно, дома Венеции: целый город шагнул в море и расцвёл на зеленоватой воде лагуны. И когда стоишь где-нибудь на Сан-Марко, прислонясь плечом к одной из розоватых колонн Дворца дождей, и смотришь на яркую, в солнечных бликах, воду лагуны, то кажется: город, качаясь, плывёт в окружении лаковых чёрных гондол, вапоретто и грузовых катеров, плывёт в той мерцающей дымке, которая даже в погожие дни укрывает Венецию...

А теперь поговорим об Аркаиме. Среди множества разных домов, придуманных и построенных человеком, был и такой: дом-город, возведённый ариями в бронзовом веке на просторах южноуральских степей. И размечали, и строили Аркаим с первобытной и гениальной простотой. В землю вбивался кол, вокруг которого, привязав его на длинном сыромятном ремне, гнали коня. Конь скакал, ремень наматывался на кол — и скоро посреди ковыльной степи проявлялась круглая вытоптанная площадка, на которой и возводили дом-город.

Птицам, летящим над степью, Аркаим, должно быть, казался похожим на большое тележное колесо. Его ободом служил бревенчато-земляной вал, а стены домов сходились к центру, наподобие спиц колеса: стена одного дома являлась и стеной соседнего. Местом же общих собраний жильцов (считают, что жителей в Аркаиме было от трёх до пяти тысяч) служила небольшая центральная площадь — как бы колёсная втулка.

Как жилось древним ариям? Наверное, тесно: в одном отсеке круглого дома-города помещалась большая семья, от тридцати до пятидесяти человек. Зато надёжно решался вопрос с обороною Аркаима: жители были обязаны защищать свой собственный сектор наружной стены — что-то около пяти метров, — а уж семья из пятидесяти человек вполне могла выставить для нужд обороны десяток крепких мужчин.

Интересно, что в каждом из аркаимских жилищ было множество разных печей. Были печи варочные и отопительные, сделанные в виде длинных лежанок, были печи для обжига глины — аркаимцы уже освоили лепную керамику, — были печи металлургические, в которых плавил бронзу для наконечников стрел, и, наконец, были печи жертвенно-ритуальные, перед которыми огнепоклонники-арии выясняли свои отношения с высшими силами.

Но сейчас хочется сказать о другом: о том, что понятие “дом” в Аркаиме было неотделимо от понятия “город”, а “город” был неотделим от “государства”. В самом деле: у аркаимов были вожди и законы, язык и предания, религия и независимость, войско, территория, на которой они существовали — то есть в наличии все атрибуты полноценного, самодостаточного и суверенного государства. И все его граждане жили в одном-единственном доме!

Но Аркаим — не единственный пример дома, являвшегося одновременно и городом, и государством. Кто бывал во Флоренции и видел средневековые цеховые дома, тот со мной согласится: средневековый ремесленный цех был своего рода городом в городе и государством внутри государства. Цех, занимавший сумрачный каменный дом, похожий на крепость, имел жёсткую социальную иерархию, свод законов, нарушение которых каралось строго и неотвратно, цех вступал в договорные отношения как с другими цехами, так и с городскими властями, цех имел определённые географические, политические и экономические границы, цех, наконец, должен был выставить ополчение при нападении внешних врагов или в случае внутренних междоусобиц, то есть он имел и свою армию.

Поэтому, стоя на флорентийской улочке где-нибудь недалеко от Дуомо, с его знаменитым куполом Брунеллески (“Дуомо”, кстати, переводится тоже как “дом” — вот как ветвится и множится наша тема!), и окидывая взором

эту сумрачную громаду — цеховой дом Средневековья — мы видим перед собою именно дом-государство.

Так что “дом” всегда много больше, чем просто стены и кровля, да комнаты с мебелью. Дом — ещё и уклад, и традиции быта, и память о тех, кто жил в этом доме до нас. Истинный дом всегда больше себя самого, как и настоящая жизнь человека всегда много больше тех места и времени, что отводятся ей в тесных рамках физического существования.

Когда мы рассуждали о разных домах, существующих в мире, мы ничего не сказали о кораблях, лодках, яхтах — тоже домах, но плывущих по водам. Пусть это и не дома на всю жизнь, такие, где растут дети и старятся их родители и где одно поколение сменяет другое; но даже временный дом — тоже дом: в конце концов, все дома в нашем временном мире не вечны.

О каких-нибудь яхтах или круизных лайнерах мне сказать нечего — я на них не бывал, — а вот с байдарками я знаком хорошо. И сборка байдарки где-нибудь на берегу весенней реки, посреди муравейников или кротовин, под трели жаворонка или щёлканье соловьёв — тоже своего рода строительство дома.

Отчего-то всегда торопясь и волнуясь — хотя никто нас не подгонял, — мы разносили детали лодки по сухой прошлогодней траве, раскладывая кильсоны, стрингеры и шпангоуты, на ходу вспоминая забытые за зиму навыки сборки байдарки. Корма и нос словно тянулись друг к другу, но пока не могли дотянуться — дуги шпангоутов пересекались блестящими трубками стрингеров, — а потом наступал момент, когда каркас лодки нужно было вставлять в чехол оболочки. Этот чехол — или “шкура”, на жаргоне туристов — был пошит из резины с брезентом; он тяжёл и слежался за зиму так, что его складки разминались со скрипом и хрустом.

А сколько заплат пятнало днище заслуженной, не один сезон отходившей байдарки! И едва ли не каждая из этих заплат, словно кнопка, включала воспоминания, связанные именно с ней: как, когда, на каком перекате ваш “Таймень” был пробит корягой или острым камнем, как вода начинала тугою струёй бить сквозь днище и стремительно прибывала меж чёрных, заляпанных глиной и рыбьей слизью бортов, как байдарка кренилась, тонула и как в суете начинались аварийно-спасательные работы. А потом, насквозь мокрые, но возбуждённые неожиданным приключением, мы принимались заклеивать рану байдарки. Труднее всего высушить днище, и если нас угрозило пробить лодку в дождь, то её ремонт становился нелёгкой задачей. Немало израсходовано зажигалок, чьим огоньком мы пытались прогреть, просушить края влажной пробоины; немало резины изрезано и клея изведено, чтобы лодка получила на днище — словно орден на ветеранскую грудь — очередную заплату. Приходилось пускать на заплату даже голенища сапог — а что делать? Лодка была нам важнее, чем обувь: сплавиться, в конце концов, можно и босиком.

И вот в такую заслуженную, пёструю от заплат “шкуру” мы вставляли трубчатые каркасы — и старая, слежавшаяся за зиму оболочка словно делала вдох. Она расправлялась, натягивалась до барабанного звона — и на сухой траве дуга лежала уже не груды дюралевых трубок и смятая “шкура”, а вытягивалось тело стройной и будто летящей байдарки...

О байдарках я могу рассказывать долго, поэтому самое время переложить рули и вернуть разговор в основное русло. То, что лодка есть настоящей дом, я впервые осознал на Соловках, в музее северного мореходства. Перед входом в музей лежала шестиметровая шняга — традиционное судно поморов для рыбного промысла и добычи морского зверя. В шняге поражало многое, начиная с досок бортов, которые были сшиты “вицами”, то есть корнями ели. И ни штормовые волны, ни ледяные торосы ничего не могли сделать с такими, “на живой корень” смётанными, бортами: даже затёртая льдами, шняга выдавливалась поверх льдин.

Но меня восхитило другое: своеобразные кров и очаг, придававшие шняге сходство именно с домом. Ведь промысел длился недели и месяцы,

и четверо мореходов, из которых обычно состоял экипаж, должны были на этой лодке круглосуточно жить — среди всех ветров и дождей, и пучин, и течений, и волн ледяного Белого моря. Так вот, очагом здесь служил ящик с песком, на котором разводился костёр для приготовления пищи — полбы или гречки с варёной треской, — а укрытие от дождя и ветра представляло собой деревянный настил в носовой части шняки, в щель под которым можно забраться от силы троим. Четвёртому места в “спальне” не полагалось: он должен нести вахту.

И вот это судёнышко — поморская шняка, столь утлая с виду, — спасало людей в самых жёстких условиях, какие только можно представить: в дни штормов, налетающих снежных зарядов, посреди стад ревущих моржей или белых медведей, глядящих со льдин на скользящую мимо них шняку. Вот уж воистину, то был ковчег — плавсредство спасения там, где человек непременно был должен погибнуть.

V

Но, как писал Лао-цзы: “Путешествовать не обязательно: лодки и колесницы жаждут покоя”. Вот и мои лодки и колесницы — те, что хранились в сарае у дома, — видимо, жаждали отдыха и покоя. Он для них и наступил, когда я, находившись-наездившись по белому свету, решил, что пора всерьёз и надолго возвращаться домой.

Впрочем, такое мудрое решение я принял не от большого ума, а, скорее, от большой глупости. Нелады с позвоночником у меня случались и раньше: ещё в легкоатлетической юности я сорвал спину, и на всю жизнь позвоночник стал моим большим местом. И хоть с серьёзным спортом я вскоре растался, но и работа хирурга, и многочисленные путешествия здоровья спине, конечно же, не прибавляли. Но долгое время я относился к собственному телу с таким легкомыслием, которое переходило почти в слабоумие: я таскал рюкзаки, чуть ли не превосходившие мой собственный вес, спал на земле в холода и дожди, мог с утра до ночи махать вёслами и вообще изнурял себя так, словно собственный организм был мне не другом-помощником, а соперником или даже врагом. И если рассматривать тело, как дом, в котором живёт душа человека, то домохозяйном я был никудышным: чего только не натерпелся мой дом от меня!

И случилось, в конце концов, то, что и должно было случиться: спина отказала. Очередной одинокий сплав по реке Пополте (я всё больше любил путешествовать в одиночку) и нагрузки, неизбежно с ним связанные, вдруг в одночасье (а точнее сказать, за секунду) превратили меня из активного крепкого мужика почти в инвалида. Не буду подробно описывать, как всё это происходило — дело дошло и до операции, которая, увы, не помогла, — как я сутками лежал на полу, не в силах пошевелиться от боли, и как потом заново, с костылём, учился ходить.

И дальним походам с тех пор было сказано твёрдое “нет”. Наступил новый этап моей жизни: походив и поездив по белому свету, я возвратился домой. Это итоговое возвращение было в то же самое время и возвращением к себе. Уже одно то, что я, наконец, совпал со своей редкой фамилией, сделало меня ближе себе самому. Ведь раньше я как бы обманывал всех: какой там “Убогий”, когда я подвижен, вынослив и крепок? И эта печать неосознанной лжи в отношении с миром, затаившись где-то внутри, заставляла меня чуть ли не презирать себя самого. Зато, когда я действительно стал таким, каким — по фамилии — должен был быть, я почувствовал облегчение: ведь теперь я мог честно смотреть людям и миру в глаза. Уже за одно это — за снятие груза неправды в отношениях между мною и миром — я благодарен недугу, который свалил меня на пол два года назад.

Но и кроме такого, быть может, смешного для окружающих, но для меня очень важного примирения с собою самим, в болезни открылось немало хорошего. Так, поскольку мой мир надолго стал ограничен квартирой и самым ближайшим её окружением, я стал внимательнее к тем вещам, которых раньше почти не замечал. Где уж мне, устремлённому в дальние дали, было

подробно рассматривать то, что находилось на расстоянии вытянутой руки? Быть может, впервые после самого раннего детства (когда я был почти столь же беспомощен), я снова рассматривал комнату, мебель и окна, балкон и весь дом, где я жил, с подробным и вдумчивым интересом первооткрывателя.

Что же я видел в те дни и ночи, когда лежал на полу? Чаще всего — буфет: он стоял у меня в головах — и, когда я поднимал глаза вверх, то надо мной нависал как бы целый готический город. Он казался не просто большим, а огромным, едва ли не превосходившим в размерах квартиру и дом, внутри которых он находился. Вообще, удивительный этот эффект — то, что некая вещь при внимательном взгляде превосходит саму себя, — наблюдался во время болезни нередко. Так, собственное тело, которого прежде я почти не замечал, в дни недуга расширилось и усложнилось, и мне приходилось чуть ли не заново знакомиться с ним, как путешественнику приходится узнавать быт, обычаи, нравы незнакомой страны.

Но вернёмся к буфету. Он достался нам от прежних хозяев. Поначалу, в дни переезда, он казался нам вообще не нужен и использовался лишь как подставка при малярных или обойных работах. Громоздкий, заляпанный краской, он казался дремучей архаикой, доисторическим пережитком, которому место на свалке. И мы — вот ведь глупцы! — его чуть было не выбросили. Но отвёл, как говорится, Господь, и мы догадались отдать буфет на реставрацию. Мастер ничего особенного с ним и не сделал, он лишь почистил его, зашлифовал царапины да покрыл дерево свежим лаком. Но буфет зажегся, ожил, словно проснулся от долгого сна, и теперь глаз было не отвести от его мерцающих стёкол и древесных узоров, от коричневых лаковых граней, от всей его благородной архитектуры.

Именно архитектуры, потому что буфет представлял собой целое здание — сложный, таинственный замок внутри нашей квартиры. Дверцы буфета казались воротами в сказочные пространства. А ведь буфет ещё и отзывался тебе мелодичным, чарующим звоном; этот звон, исходивший от горок посуды, стоявшей за стёклами, означал, что буфет тебе рад и готов тебя встретить. И как только ты распахивал дверцы, сразу чувствовал тонкое благоуханье буфета. Это был целый букет, где были запахи дерева и столярного лака, запах кожи (в чёрном футляре лежал театральный бинокль) и запах крымского можжевельника: подставка под чайник, привезённая из Коктебеля лет двадцать назад, до сих пор дышит летом и зноем.

Буфет всегда так притягателен, что, например, наши дети, Дима и Даша, покада не выросли, очень любили забираться в нижний этаж буфета, где хранились бельё и одежда. Так мы и знали: если вдруг смолкли вопли детей, то они, скорей всего, скрылись в буфете.

А какая отрада хозяйке, когда у неё есть старинный, вместительный и величавый буфет! Кажется, что и сама семейная жизнь становится благодаря ему прочнее. В известном смысле, буфет — центр семьи. Про детей, для которых он своего рода дом внутри дома, я уже написал; но и хозяйка едва ли не самое ценное помещает в буфете. Тут и парадная, на торжественный случай, посуда, и какие-нибудь оставшиеся от предков реликвии — серебряный ли подстаканник или старинная рюмка, лорнет или сломанный веер, красивый флакон от духов или что-то ещё, что рука не поднимается выбросить. Да и настоящие ценности тоже нередко хранятся в буфетах. Где прячут хозяйки — от детей и воров — шкатулки с серёжками, кольцами и ожерельями? Ясное дело, в буфете, где-нибудь в тёмной его глубине, подальше от глаз и от рук; хотя, конечно же, все — и дети, и воровы — прекрасно знают, где эти самые драгоценности нужно искать.

А если в семье есть старик, что согреет его? Возможно, что лучшим временем суток для старика будет тот предобеденный час, когда он (сопровождаемый, может быть, укоризненным взглядом невестки) распахнёт дверцы буфета, достанет оттуда пузатый графинчик и подрагивающей рукой нальёт себе рюмку целебной настойки. Потом он помедлит, вздохнёт, рассеянным взглядом окинет внутренности буфета и, подняв рюмку, негромко скажет:

“Ну, будем...” — словно чокаясь с этим буфетом, как с последним и верным товарищем, потому что все прочие, с кем старик выпивал и закусывал в жизни, ушли от него далеко...

Буфет высился у меня в головах, а в ногах располагалась балконная дверь. Эта дверь и балкон, на который она выводила, тоже были важнейшей частью жилища. И если буфет служил выходом как бы в сказку, то балкон являлся действительным выходом в мир. И когда нужно, скажем, узнать, какова там, в большом мире, погода? — именно на балкон мы выходим, чтобы взглянуть на небо, на его синеву или мглу, и протянуть руку, определяя: не моросит ли дождь?

А уж в дни болезни, когда ты заключён в стенах квартиры, как узник в тюрьме, балкон служит бесценным подарком: возможностью, не покидая жилища, всё-таки выйти из дома. На балконе ты находишься одновременно внутри и вовне, принадлежишь дому — и миру, который его окружает. Скажу больше: посидев на балконе, я чувствую, как я одновременно живу, соучаствую в жизни, но уже нахожусь словно вне её напряжённо-живого потока. На балконе я ещё есть, но меня уже как бы и нет: я присутствую в мире лишь взглядом и мыслью, но уже не активным физическим телом в ряду других тел.

И вот этот эффект балконного созерцания, опыт существования и не-существования одновременно есть один из глубиннейших опытов жизни. Это, по сути, движение в сторону той индуистско-буддийской нирваны, которая также есть странный гибрид бытия и небытия, пребывание в зазоре меж жизнью и смертью.

С каждым годом, теряя энергию жизни, всё острее чувствуешь: жить тяжело, а совсем отказаться от жизни пока ещё стыдно. И выход из этого тупика располагается там же, где и балконная дверь. Нет сил жить? Посиди на балконе, посмотри на деревья, на небо, на крыши домов, на людей, что шагают по тропам двора, на шумливых дроздов, обленивших крону рябины, или, если дело зимой, на синиц, что снуют среди голых ветвей, и тебе станет легче. Ты почувствуешь: мир прекрасно обходится и без тебя, без твоих напряжённых усилий, потуг и стараний; но если так, то не всё ли равно: изводиться, страдать или просто присесть на балконе, тихо радуясь миру, который лежит пред тобой?

Думаю, вряд ли бы я дотянул до теперешних лет, не будь у меня ежедневной возможности выходить на балкон. Тот эффект отстранения и остранения, взгляда извне, который всего очевиднее проявляется именно здесь, — это как для ныряльщика глоток воздуха перед очередным погружением в глубину.

И многие вещи отсюда, с балкона, видишь иначе. Даже самые заурядно-простые и ежедневные, такие, как, например, чашка чая в руках, и те обретают особенный смысл, когда смотришь на них не затравленно-суетным взглядом, а видишь их медленным, вдумчивым “взглядом балкона”.

Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша — ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться — или, наоборот, не случиться, — уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса...

Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых

больных — да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли — в больнице?

Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не заведущился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод — он ровесник мне самому — и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.

Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию: собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться — на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, — но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.

Да ладно здоровье — о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, — а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени, когда неспокоен “когтистый зверь, грызущий сердце — совесть”? А ведь совесть-то, по-настоящему, никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.

Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженно-го чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а, когда оно всё же случается — это и есть настоящее чудо.

Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов, и ещё множество разных людей. А те, кто построили дом и вот этот балкон — разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетика и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры — словом, *вся королевская рать*? Как подумаешь — чуть ли не всё человечество потрудились иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.

И как же не быть благодарным людям за то, что они тебе подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.

Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё, что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд, — это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется “жизнь”.

Чувствую: время спеть оду окну. Но ведь окна, без которых нам трудно представить человеческое жилище, появились не сразу. Самые первые формы жилья — пещера, шалаш и землянка — вполне обходились без окон. И только когда первобытная землянка стала как бы вырастать из земли — сначала всего на два-три венца брёвен, потом в человеческий рост, — тогда-то впервые возникли и окна. Но что это были за окна? Узкие щели в стене, через которые выходил дым очага, через которые подавали милостыню и опрашивали пришедших и которые в холода закрывались (“заволакивались”, отсюда и их название — “волоковые”) или деревянной задвижкой, или бычьей брюшиной, или всего-навсего льдиной. До окон в теперешнем их понимании людям — и их домам — ещё надо было дожить.

Но, может быть, так было только в курных избах России, а в Европе оконный вопрос решался иначе? Ничего подобного. Приходилось мне видеть европейские здания Средневековья — в Сиене, Флоренции, Риме. Их окна напоминали, скорее, бойницы. Через них можно, разве что, выплеснуть на мос-

товую горшок нечистот, но пролезть в эти узкие щели могла бы лишь кошка.

Впервые настоящие окна появились в Венеции, в этом особенном городе, защищённом от внешних врагов водами Адриатики. Там, где люди смогли, наконец-то, широко и беспечно распахнуть окна в мир. Недаром и окна, и стёкла в ту пору — изделия, главным образом, венецианские. Вот и в России широкое окно из трёх стёкол называлось тогда “венецейским”, и мало кто мог себе такую роскошь позволить.

И, конечно же, с появлением настоящих окон жизнь людей переменялась. Можно сказать, их дома наконец-то открыли глаза и взглянули на мир — недаром и слово “окно” происходит от древнеславянского “око”. И как в лице человека самое главное — это глаза, так и главное в комнате — это окно. Конечно, возможна и жизнь без окна (как и без глаз — хоть такое и страшно представить); но вряд ли найдётся тот, кто добровольно согласится жить в безоконном глухом каземате, в подвале, в норе, — жить, по сути, в темнице.

И поэтому всё, что с окнами связано, нам важно и дорого. Ну, вот что бы взять для примера? Оконная рама. Казалось бы, вещь вполне прозаичная: деревянные брусья, соединённые на углах, иногда с крестовиной по центру. Но давайте вспомним школьный букварь, те его первые фразы, с которых мы с вами и начинали своё приобщение к письменной речи. И что ж мы читали едва ль не на первой странице? Да, правильно: “Мама мыла раму”. Но ведь эта простейшая фраза, состоящая из шести, всего-навсего, букв, выражала важнейшее содержание. Если есть мама и рама — значит, есть главное: дом и семья. И значит, в семье царят мир и порядок, ибо вряд ли кто будет заботиться о чистоте рам в семье, раздираемой противоречиями. Так что, произнося по слогам (или нетвёрдой рукой вывода на бумаге) слова: “Мама мыла раму”, — мы озвучивали краткую формулу благополучной человеческой жизни, как бы включали программу счастливого и полноценного существования.

А устройство оконной рамы, особенно рамы с двойными зимними стёклами? Оно ведь вовсе не так примитивно, как это может показаться. Те, кому доводилось ремонтировать дом, вынимая из оконных проёмов деревянные рамы, знают: добротная старая рама — предмет, достойный музея столярного мастера. Особенно восхищают углы — то, как шипы в них входят в пазы, наподобие скрещённых пальцев рук. А если окно не глухое, а открывается? А если в нём есть форточка? Насколько ж сложнее конструкции таких окон, и насколько они уязвимее для различных поломок! То в сырую погоду рама форточки разбухает так, что её не закрыть; то, напротив, в жару рама высохнет, и в её щели проникает не только пыль, но и комары; то после покраски вдруг залипнет задвижка или шпингалет (вот забавное слово!), и приходится молотком отбивать с него белую краску, которая отваливается ломкими глянцевыми чешуями, обнажая блестящий затвор шпингалета, похожий на затвор трёхлинейной винтовки.

А певуче-скрипучие петли окна? А подоконник, на котором так любят сидеть кошки и дети? А межоконное, совершенно особенное, пространство, то есть пространство меж стёкол двойного окна? Оно не принадлежит ни дому, ни улице, но существует в каком-то особом, своём измерении, словно вообще изъят от мира и как бы параллельном ему. Кажется, даже время в том межоконном пространстве течёт по-иному, недаром продукты, которые мы помещали меж пыльными стёклами окон студенческой нашей общаги, так долго не портились — потому что само время как бы забывало о них.

А помните, как было принято ставить меж стёклами плоски с крупнозернистой солью, чтобы стёкла не запотевали? Или — для красоты и для утепления одновременно — меж стёклами настилали слой ваты, на которую сыпали блёстки и новогоднюю мишуру или даже пристраивали ёлочные игрушки, чтоб они тихо мерцали меж стёкол до самой весенней капли?

Да, чуть не забыл: ведь окна на зиму заклеивали! То есть заклеивали, разумеется, не сами окна, а щели меж рамой и оконной коробкой. И эта заклейка окон, приходившаяся, как правило, на “ноябрьские” — праздничные и обычно холодные дни начала ноября — была для городских жителей

такой же привычной сезонной работой, как для крестьян — вспашка зяби или сев озимых. С оклейки окон, по-настоящему, и начиналась городская зима: с подъёмами в школу ещё в темноте, с чёрными языками заледенелых луж на тротуарах и со злым, пыльным ветром вдоль улиц — ветром, от которого щёки немели, а глаза начинали слезиться.

Заклейка окон всегда привлекала. И полоски бумаги, которые надо аккуратно нарезать, соизмеряя их с шириною щели меж рамою и коробкой окна — полоски поэтому выходили то шире, то уже, — и миска тёплого клейстера с серыми слизистыми комками ещё непротёртой муки, и квач из ваты, намотанной на карандаш, и скользкие мокрые пальцы, которыми разглаживались бумажные полосы, — это всё было так интересно, что ты всегда вызывался участвовать в этой уютной домашней работе. В комнате сразу делалось сыро, тепло — даже окна потели! — и вкусно пахло хлебом от миски клейстера. А потом, когда клей просыхал, полосы бумаги натягивались, становясь барабанно-тугими — и было приятно стучать по ним ногтем.

Но всё, про что я написал, — про раму и про шпингалеты, про межконную вату и про заклею оконных щелей — это всё лишь окружение окна. Само-то окно — вот эта прозрачная, гладкая, порой вовсе невидимая поверхность, временами слегка искажающая предметы, которые мы различаем за ним; оно существует, по сути, затем, чтоб его, окна, как бы вовсе и не было. Идеал для окна — быть настолько прозрачным и чистым, чтобы солнечный свет без малейших помех, искажений, потерь проникал сквозь него.

А виды из окон? Ведь они принадлежат дому не в меньшей степени, чем, скажем, стены и кровля. Если дома одинаковы, как две капли воды, но из окон одного видна свалка, а из окон другого — лес или озеро, то и цены, и ценность этих домов будут очень различны.

Прекрасный писатель Олег Базунов как раз в повести, посвящённой окну, точно заметил, что даже из одного-единственного окна, даже в одно время суток и в одинаковую погоду видов бывает множество. С подоконника или из глубины комнаты, с правого или левого края окна, с кресла, в котором сидишь, с дивана или с пола ты увидишь различные сочетания крыш, деревьев и неба. А погода, которая в наших краях всегда разная, и, соответственно, разное освещение, соотношение света и тени, прозрачности воздуха и прозрачности стёкол окна? А времена года, которых у нас много больше, чем четыре календарных сезона? Что общего у конца, скажем, марта, с его проталинами, капелью, жёлтой россыпью мать-и-мачехи на оттаявшем склоне и первыми бабочками-лимонницами, и у середины мая, когда в изобильной зелени сада по утрам слышна флейта иволги, а по вечерам сочно щёлкают соловьи? А ведь то и другое — весна.

Не забудем ещё и о времени суток, когда с каждой минутой меняется положение небесных светил — и освещённость того, что лежит перед нашим окном. То в крошечные ночи не видно ни зги, и в глади стекла отражается только внутренность комнаты и лицо человека, что смотрит в окно. И получается, что окно глухой ночью глядит не наружу, а внутрь... То в солнечный полдень видно так много предметов, оттенков, деталей, что ты поражаешься: до чего же богат и подробен лежащий за окнами мир...

Есть и ещё важный момент, относящийся уже к нам, созерцателям. Ведь от нашего собственного состояния — нашего зрения и самочувствия, нашего настроения, интереса или безразличия к миру, в который мы смотрим, — зависит всё то, что мы в этом мире увидим. А состояние наших чувств и ума едва ли не изменчивее, чем погода.

Вот и выходит, что один и тот же наблюдатель, глядя в одно и то же окно неподвижно стоящего дома, в каждый очередной миг созерцания воспринимает различные виды. Ибо время течёт непрерывно, и в этом потоке меняется и человек, и погода, и время суток вместе со временем года; иными словами, живи хоть тысячу лет, и все эти годы простой у одного-единственного окна, и ты не увидишь и двух одинаковых, до мелочей совпадающих видов. В законные виды, как в Гераклитову реку, нельзя войти дважды,

и уже одно это делает нашу жизнь у окна бесконечно богатой и интересной.

А уж до чего хорош вид, открывающийся из моего окна — того, перед которым пишутся эти строки, — трудно даже и передать. Вот ближний план: двор с деревьями — берёзы и липы, канадские клёны и вязы за полвека так разрослись, что образуют целую рошу; вот заборы, сараи и крыши погребков, вот соседские куры, копающиеся в пыли, вот, словом, черты почти деревенского быта. Слева — кроны садов, которые зимой утопают в снегах, а в пору цветения сплошь бело-розовы и дрожат от пчелиного гула. За садами — больница, её корпуса мне привычны с детства. Возможно, что именно близость больницы — тяжёлого, смутного мира, где маются души безумцев, — заставляет меня так ценить здравый смысл и порядок обыденной жизни.

Средний план законных пространств — это поле, на котором видишь то футболистов, гоняющих мяч, то пасущихся коз и коней, то жителей ближних домов, которые выгуливают на поле собак. Причём мало того, что поле просторно само по себе; но с него открываются очень широкие, вольные виды. Поверх деревенских крыш взгляд уходит к востоку — к тем перелескам, полям и оврагам, что лежат меж Калугой и Тулой. И поэтому к видам, которые открываются из самого окна, я порой мысленно добавляю и те, что открыты с ближнего поля, и это сложение видов делает мой законный обзор ещё шире.

Но это не всё. За полем — бетонный забор, за ним — снова поле, а за этим вторым (и почти мне невидимым) полем — двухэтажные домики недавно построенной заводской слободы. Жизнь пока не наполнила их — по ночам в тех домах горит всего несколько окон, — но хочется думать, что людям, которые там когда-нибудь непременно поселятся, будет так же отрадно смотреть издали на окна нашего старого, утонувшего в зелени дома, как мне ныне приятно рассматривать желтизну этих новых фасадов.

Но и это не всё. За домиками заводской слободы высятся трубы промзоны. По ночам, когда из них валит пар, они представляются великанами, чьи седые косматые гривы растрёпаны, а глаза-фонари воспалённо горят в темноте. Взгляд этих глаз когда-то встречал меня, мальчика, возвращавшегося с поздних легкоатлетических тренировок; сопровождал меня, молодого врача, бредущего к дому после тяжёлого дня, проведённого в операционной; а теперь тот же взгляд провожает меня, хромающего с костылём по дорожкам больничного парка. Почти вся моя жизнь прошла перед этими трубами, под их строгим и неусыпным надзором. Кто знает: не будь этих труб, быть может, и жизнь повернулась бы как-то иначе?

Но слава Богу, что всё было именно так, как оно было. И слава Богу, что из моего окна открывается именно одновременно простой и богатый своим содержанием вид. В нём представлен, по сути, весь человеческий мир: его погребя и сараи, сады и заборы, деревья и птицы, леса и поля, жилые дома, больничные корпуса и строения промзоны. И ещё в этом виде неизменно присутствует небо. То хмурое и беспросветное, то ослепительно синее, то покрытое россыпью перистых облаков, то громоздящее горы облаков кучевых. Без неба всё то, что мы видим из окон, совершенно потеряло бы смысл, как и жизнь человека потеряла бы смысл без того, что её, эту жизнь, превышает. Лишь под небом, в присутствии неба мир становится именно тем, чем он должен быть.

Дом никогда не стоит один, словно перст, среди чистого поля; всегда рядом с ним какой-никакой, а имеется двор. Взять хоть монгольскую юрту — уж на что бы, казалось, кочевому жилищу обзаводиться двором? — но даже и дом степняка окружает обжитое пространство. Там, глядишь, дремлет верблюд; там лежит ворох хвороста; там задирает оглобли телега; в костерке тлеет кизяк или арагал, — словом, вокруг кочевого жилища безбрежная степь обретает иное — как бы очеловеченное — лицо.

А что есть двор, как не очеловеченный мир? И как разнообразны культуры и цивилизации нашей планеты, так же точно разнообразны дворы: от азиатских степей до мегаполисов, от занесённых снегами сибирских зимовий до плоских крыш мусульманского юга — тоже своеобразных дворов.

Одной из вершин дворовой культуры является итальянский двор-патио. Если б не эти чудесные дворики, в теснинах средневекового города вообще нельзя было б жить. Но итальянцы сумели превратить небольшие пространства между домами как бы в уютные комнаты, где вместо потолка видишь счастливое южное небо. Открытой земли там, как правило, нет — двор, как и улицы, вымощен камнем, — зато в кадках стоят апельсиновые или лимонные деревья, наполняющие воздух своим ароматом и дающие тень, в которой так сладко бывает предаться любимому делу Италии — *fare niente* — безделью.

Нашим русским дворам до итальянских патио так же далеко, как и нашей обыденной жизни — до рая. Впрочем, русский двор — понятие очень широкое. Одно дело — двор северный, где хозяйственные постройки сведены в одну связь, то есть крыты единою крышей, и где вокруг дома есть гульбище, по которому можно пройти в непогоду. Другое дело — двор безлесного русского Юга, огороженный вместо забора насыпью-тыном или плетнём, двор, открытый и ветру, и солнцу и так истолчённый скотиной и птицей, что даже травка гусятник не может покрыть его пыльных проплешин.

А двор городской? Ведь это явление даже не столько хозяйственно-бытовое, сколько социальное. Городской двор когда-то представлял собой аналог крестьянского “мира”, той совокупности рядом живущих людей, которых объединяет, помимо пространственной близости, общность мировоззрения, образа жизни, судьбы. Правда, мир городского двора, тем более мир крестьянской общины — уже архаика. При современных многоэтажках дворов нет совсем, есть лишь промежутки, уставленные автомобилями. Тем с большей нежностью я смотрю из окна на наш бушмановский двор. Это двор настоящий, классический, с погребками и сараями, с бельевыми верёвками, с клумбами, с кошками, которых собаки загоняют на стволы клёнов и лип, с петушиными криками на рассвете.

Главную ценность двора возле нашего дома составляют деревья. Ближе всех к дому — его ветви почти ложатся на крышу — старый вяз. Сейчас он по-зимнему гол — только рыжие пятна лишайников покрывают серые ветви и ствол, — но зато ясной осенью, в солнечной бронзе листы, этот вяз кажется памятником самому себе.

Рядом с вязом — берёза. Она тоже старая, часть ветвей высохла, зато на ней, как и положено, висит накренившаяся скворечня. Это, что называется, русская классика: какой же двор без берёзы, скворечни на ней и без жужжащего свиста скворцов где-нибудь в середине апреля, когда снег уже весь сошёл, когда над сараями и погребками порхают лимонницы, а небесная синева так густа, что она, кажется, вот-вот начнет стекать вниз по берёзовым, подширающим эту синь веткам?

Прямо против подъезда — два больших клёна. И самое, может, красивое, чем нас радует осень — это зрелище ярко-багряных, пылающих клёнов. Эти кусты загораются каждую осень и у нас во дворе: только в них отчего-то с годами всё меньше огня, и всё больше жёлтого — тоже, впрочем, прекрасного — цвета. Или деревья, как люди, с возрастом остывают, и им всё трудней вспыхнуть огненно-ярким багрянцем?

Хороши клёны не только осенью, но и в разгар лета. Помню, как я ещё юношей был поражён, когда, встав под клёном и запрокинув голову, увидел над собою шатёр, полый лиственный купол, плотно покрытый узорными листьями, как черепащей. И я впервые подумал тогда, что дерево — тоже своего рода дом. В нём есть и фундамент — система корней, — и опоры — ствол, сучья, ветви, — и кровля из листьев, и даже трубы водоснабжения, — словом, почти то же самое, что есть в человеческом доме. Только дерево куда совершеннее, чем любое наше жилище: оно само себя и кормит, и починая, и строит.

Мы, люди, настолько уверены во всеобщей и безусловной ценности дома, что пытаемся даже для птиц, насекомых, животных тоже строить дома. Посмотрите: скворечни, конуры и ульи испокон веку окружают наши собственные жилища. И, что ещё удивительней, всякая-разная живность, от нас столь отличная, соглашается жить в этих самых домах.

Так, я каждый апрель наблюдаю, как за скворечник, висящий на старой берёзе напротив моего окна, идут настоящие битвы. Вот и нынешней затаяжной, холодной весной вокруг деревянного домика крутились две пары скворцов, и ни одна не хотела уступать жилплощадь. Птицы поочередно, а то и одновременно подшаркивали к скворечнику, толкались на узенькой полочке перед летком, хлопали крыльями, отгоняя друг друга, а уж что там, внутри, делали сразу четыре скворца, я не могу даже вообразить. Потом один из скворцов отступился, но напарник его (или, может, напарница — я их не различаю) продолжал тяжбу за дом. И мне даже стало казаться, что сложилась семья из трёх птиц — интересно, бывает такое? — но, в конце концов, третий всё же почувствовал, что он лишний.

Отвоевав, наконец, жилплощадь, новосёлы — совсем, как мы, люди — занялись генеральной уборкой квартиры. Это выглядело забавно. Скворцы вытаскивали из своего домика пучки старой прошлогодней травы, садились на толстую ветку и начинали, тряся жёлтыми клювами, выколачивать траву о дерево. Было видно, как от травы летит пыль — точь-в-точь, как от наших половиков. Выколотив травяной пучок, птицы затаскивали его обратно в скворечник — и появлялись наружу с новой порцией пыльной травы. Мне хотелось им посоветовать: “Ребята, да бросьте вы это старьё! Вон, сухой травы вокруг сколько угодно!” — но скворцы, как порою и люди, жалели расстаться со старою и хорошо послужившею вещью.

Немного спустя возник новый повод переживать за моих пернатых друзей. Видимо, к этому времени состоялась кладка яиц, потому что вороны и галки то и дело подсаживались к летку и пытались просунуться внутрь. Но, к счастью, скворечник был сделан грамотно, и леток пропускал только скворцов, так что охотники до их яиц оставались, что называется, с носом. Но всё равно было тревожно смотреть на эти попытки разбойных вторжений и представлять, каково же скворчихе, греющей кладку, видеть щёлкающие над её головой клювы жадных врановых птиц?

В конце концов, галки с воронами отступились, но на скворцов навалились новые хлопоты: надо было кормить детвору. Вот они и шныряли из скворечника в сад и обратно, таская в клювах гусениц и червяков. А голодный, нетерпеливый щебет скворчат уже был слышен и мне, и наполнял меня сложной смесью сочувствия и восхищения этой юной, пока что невидимой, но такой ощутимо-напористой жизнью. Бывало, я даже представлял себя на их, скворчат, месте — в тесно-пыльном уюте и сумраке шевелящегося гнезда, в нетерпеливом ожидании того, как в конусе света вверху вдруг появится материнский или отцовский клюв с очередной порцией корма — и думал: а как, интересно, птенцы воспринимают скворечник, в котором они родились? Есть ли у птиц то чувство дома, которое есть у меня?

Наверное, есть. Иначе не стремились бы перелётные птицы на родину, к своим старым гнёздам и старым скворечням, и не одолевали б на этом пути тысячи километров и сотни невзгод. Значит, и копошащиеся в скворечне птенцы как-то чувствуют, что весь этот сумрак и теснота, и шершавые стены из досок, и подстилка из шелестящей травы — это есть их родимый, единственный дом. Должно быть, они ощущают, что вот есть они, скворчата, есть некий мир вне скворечни — тот мир, где завывает ветер, шумят деревья, льёт дождь, мир, откуда их мать и отец приносят им пищу — а между птенцами и внешним миром есть некий посредник — их дом. Это уже не они, не скворчата, но ещё не вполне внешний мир: скворечник гораздо теплее и ближе, понятнее и безопасней, нежели то, что бушует и воет снаружи.

Но ведь именно так воспринимаем дом и мы, люди. Для нас это тоже посредник меж нами и миром; это то, что, при всей объективности и предметной реальности, несёт на себе отпечаток неуловимого и эфемерного — нашей души. Можно сказать, как весь видимый мир есть эманация Бога-Творца, его приблизительный и незавершённый портрет, так и дом человека, обжитый или построенный им самим, есть ступень его воплощения в мире.

Но если скворечни сравнить с человеческим домом можно только с большою натяжкой, то собачья конура для такого сравнения гораздо уместнее.

Недаром и люди про своё жилище порой говорят: “Моя конура”. Да и окрестности конуры — эта пыльная вытоптанная площадка у входа, эта миска с обедками, эти старые тряпки и кости, валяющиеся там и сям, порою напоминают двор затрапезного дома.

Конечно, конура — это карикатура на человеческое жилище; и залезть в неё способен разве юродивый. Но с другой стороны, кто из нас в детстве не заглядывал в конуру, к тому Тузику, который, ворча и волнуясь, переживал наше вторжение? И кому не хотелось залезть в конуру — в её густопсовый, пахучий, таинственный сумрак?

Сам я, хоть целиком в конуре не бывал, но внутри-то, конечно, заглядывал, особенно если надеялся разглядеть там щенков. Вот тоже чудо — щенки. Какою облезлою, страшной, изношенной выглядит сука, родившая их, и до чего же милы, уморительны и жизнерадостны эти создания! На их потасовки и игры, на то, как они, жадно чавкая, ищут соски измученно рухнувшей рядом с будкой матери, — на всё это, кажется, можно смотреть бесконечно. Им, щенкам, так счастливо и самозабвенно катающимся в пыли или грызущим старый мосол, им бессмысленно объяснять, что их-де конура и ветха, и грязна, что она полна блох и тяжёлого запаха псины. Для щенков конура всегда — рай. Это место уюта, тепла и защиты: здесь их и накормят, и обогреют. А если враг подойдёт слишком близко, то, кроме стен конуры, защитой будет служить угрожающий рык их матери — рык, перед которым спасует любой, будь он ростом хоть с тигра.

Жаль, что щенки — как и дети — слишком быстро растут, что судьба отвела им так мало блаженного времени детства. Каких-то всего лишь от силы полгода — и прощай, конура! Прощай, тёплый сумрак и сытая дрема, прощайте, братья и сёстры, прощай, беззаботность — и здравствуй, собачья жизнь... Ещё хорошо, если подросший щенок будет жить при хозяевах — и у него, может статься, со временем даже появится собственная конура. А если ему на роду написано быть бродячей, бездомной собакой? Да, горек хлеб изгнанника, как написал Данте, — тоже бродяга, которого, как бездомного старого пса, судьба выгнала из любимой Флоренции и заставила умереть на чужбине.

Впрочем, мы все изгнанники — если вспомнить о грехопадении и об изгнании наших предков из рая. Мы все скитаемся в мире и в собственной жизни, как бродяги и чужеземцы; и все мы лишь грезим о том, что когда-нибудь сможем вернуться домой...

А ульи — эти дома-общезития пчёл, которые человек построил по образу диких дупел, но придал им черты именно человеческого жилища? Улей — как и скворечник, и конура, — это настоящий маленький дом со стенами, с крышей, со входом-летком — дом, в котором клубится густая пчелиная жизнь.

Пчелиные ульи и всё, что связано с ними, составляют мои изначальные — во всех смыслах медовые — воспоминания. Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пчелы: запах холодного дыма, вошины и рамок — тех самых, что косо висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив: таким и должен быть глубокий старик, тем более, пасечник. И я его, помню, любил, хотя откуда мне, пятилетнему, знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака, и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.

Прадед в неё, вечность, скоро и ушёл; я же остался жить в мире временном и несовершенном. Но пчелы, о которой я нет-нет, да и вспоминаю, — синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, — создают для меня как бы мост между жизнью и райской вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое

или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня?

Порой думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город, со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей жизнью. Я выну тяжёлую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. “Ну, помру так помру, — как-то очень обыденно, просто подумаю я. — Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взяток нынче хороший — в такое-то славное лето не жаль и уйти...”

Ну, а последний дом? Он называется так удивительно ласково — именно, что по-домашнему — домовина...

А ведь в смерти есть и своя ласка. Иначе не написал бы поэт Баратынский о ней: “Ласкаешь тою же рукою ты властелина и раба...” И Франциск из Ассизи не обращался бы к ней: “Сестра моя смерть...” Если уходить вовремя, да ещё без особых телесных или душевных мучений, — а такое бывает! — то нельзя, я уверен, не испытывать чувства снятия долга и гнёта, того долгожданного облегчения, что выражают слова псалма: “Ныне отпускаеши...” Путь пройден, урок жизни исполнен, сил не осталось, так что же можно испытывать, кроме радости и облегчения, оказавшись именно там, куда шёл с колыбели?

При разговоре о последнем пристанище человека слово “гроб” как-то даже и не ложится в строку: уж очень оно режет ухо. “Домовина” — куда как приятнее. “Гроб” — это для атеистов и циников, которые думают, что смерть заколачивает последний гвоздь в их существование, потому-то и слово так грубо и кратко, а вот “домовина” уже своим мягко дрящимся звуком обещает какую-то даль впереди.

И посмотрите, как странно относятся люди к последним прибежищам тел. Казалось бы, уж такой уравнитель и демократ, как *сестра наша смерть*, мог бы сравнить и последние наши дома. Ан нет! Как различны людские жилища, так различны и ящики, в которых покоятся мёртвые наши тела. Бомжей — тех, кого складывают в безымянные номерные могилы, — вообще хоронят в пластиковых пакетах; но и самый простой гроб бедняка весьма отличается от погребального саркофага какого-нибудь египетского фараона.

Да что саркофаг! Разве роскошные лаковые гробы чуть ли не с освещением, холодильником и телевизором, в которых хоронят богатых людей, — разве они не являют собой трагикомическую попытку передать туда, где всё будет иным, нашу земную глупость и жадность? Впрочем, сам-то мертвец ни при чём; это его богатые родственники пытаются таким образом успокоить самих себя — пытаются даже перед лицом смерти сохранить те иллюзии и тех кумиров, которым они поклонялись всю жизнь. Ведь похоронить богача, как последнего нищего, — это значило бы признать, что и он, собирая богатства, жил зря, и те, кто сменили его, живут тоже напрасно и будут полностью разорены, когда смерть постучится в их двери.

Насколько честней и достойней, к примеру, индусы — от них после кончины остаётся лишь пепел, который незачем и хоронить: достаточно бросить его в воды Ганга. Или те правоверные мусульмане, которые носят саван-тюрбан на своей голове, чтобы после кончины успокоиться в нём, как уставший кочевник в палатке.

Воистину, сколько на свете разных культур и народов, едва ли не столько же и погребальных жилищ. Многие, кто бездомными жили, так бездомными и отбывают *ad patres*; бедняки, проводившие дни своей жизни в лачугах, в лачугах-гробах и уходят под землю; люди гор, укрывавшиеся в каменных саклях, получают подобные склепы и после смерти. Солдаты, которые жили

общеею жизнью и пали общеею смертью, находят последний приют в братских могилах. Усыпальницы и саркофаги, склепы, саваны, погребальные урны, египетские бальзамические бинты, костры древних славян или современных индусов, корабельные “койки” с подвязанными к мёртвым лодыжкам колосниками, пещеры-костницы горных монастырей, башни молчания зороастрийцев — всё это разные виды смертных жилищ.

Но коль уж мы русские и православные, нам не уйти от родной домовины. Оно и хорошо: куда и прийти в гости к мёртвому, как не на кладбище, не на погост под рябинами или сиренью? Мёртвым-то, ясное дело, уже всё равно, где, в каком виде и как будут ждать Суда их тела; а вот тем, кто пока ещё жив, важно чувствовать: смерть не лишает нас дома — напротив, она-то, быть может, приводит к нему.

И вот именно тихое сельское кладбище позволяет почувствовать смерть как пристанище, как последний приют. То, чего в жизни так не хватало, — покой, тишина и свобода от тяжкого груза долженствования — изобильно и щедро наполняет собою здесь всё: ограды и плиты, кресты и дорожки, венки, фотографии, надписи, даже стаканы на маленьких столиках возле могил. Душа чувствует: именно здесь её встретит желанный и долгожданный покой. Потому-то всегда так и тянет на кладбище — побродить меж могил и неспешно подумать о жизни, — что ощущение дома вот именно здесь обострится с особенной силой. Этот дом всегда ждёт, он всегда рядом с нами — и слава Богу за то, что никто из нас не останется без последнего, милосердного, всех ожидающего приюта...

ВЛАДИМИР СИЛКИН



ПРИВЕТНОЕ СЛОВО

ОТДЫХ

Кроме неба — пустота
И с кулак на небе звёзды.
В эти рыбные места
Помолчать меня завёз ты.

Сел тихонько у костра
И уставился на воду.
Так и слушал до утра
Одичавшую природу.

Щебетал июньский лес,
Шёл подлещик на перловку,
И поскрипывал протез,
Подсекающий неловко.

СИЛКИН Владимир Александрович родился 14 октября 1954 года в г. Ряжске Рязанской области. Окончил Военно-политическую академию. 32 года прослужил в Вооружённых Силах СССР и России, полковник запаса. Автор шестидесяти книг разных жанров. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии России, почётный гражданин города Ряжска, почётный гражданин Рязанской области. Секретарь правления Союза писателей России, председатель Совета по военно-художественной литературе Союза писателей России, заместитель председателя — статс-секретарь Московской городской организации Союза писателей России. Кандидат педагогических наук. Главный редактор военного литературного альманаха “Рать”, ответственный редактор журнала “Московский вестник”.

Я глядел на полавки
И не мог представить даже,
Как страдало полруки
У тебя под камуфляжем.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЬВОВЕ

В Стрыйском парке, на Краковском рынке
Говором сводят с ума украинки.
Сводят с ума неземной красотой.
Было давно это. Было со мной.
Было давно это, было во Львове...
И спотыкаюсь я на полуслове.
Было давно. Улыбался рассвету,
Как и положено в жизни поэту.
И проглядел и страну, и майданы,
Что затевали в стране шарлатаны.
Мелкие личности, жалкие бесы,
В мутной воде разглядев интересы.
Как далеко мне сегодня до Львова,
Где обесценилось русское слово!
И не понять мне, где правда, где кривда...
В общем, упали и рубль, и гривна.
Вот и задумался пан-то Мицкевич...
Каждый сегодня король-королевич...
Что за дымы там над Краковским рынком
Застят глаза молодым украинкам?
Это уходит по улицам Львова
Русское слово, приветное слово!

ТАКИЕ ДНИ

Летят снаряды в сторону Ростова,
Ещё минуют чью-то жизнь они.
В запрете не чужое — наше слово!
Такие дни, такие дни, такие дни...

Такие дни, что сердце лихорадит...
И светлое у тёмного в тени.
Опять у нас стреляют, слышишь, прадед?
Такие дни, такие дни, такие дни...

Что я скажу теперь на это внуку,
Что срок терпенья вовсе не истёк?
Что не усвоил я твою науку —
Не подставлять врагу бездумно щёк?

А жизнь идёт, и время правду пишет,
Но не горят сигнальные огни.
Я говорю, а мир меня не слышит.
Такие дни, такие дни, такие дни...

НА БЛОКПОСТУ

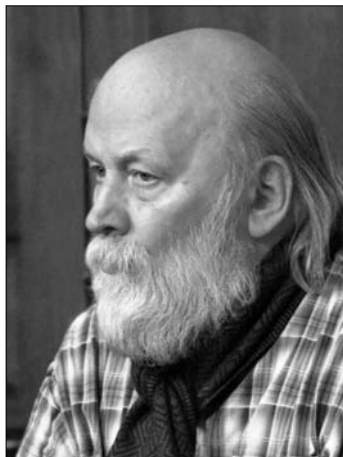
Смешной щенок, как и хозяин, курский...
Приученный к единственным рукам,
Он даже не облаял нас по-русски,
А ткнулся в ноги русским мужикам.

И на привет ответить не умея,
На привязи уставший до тоски,
Он проскулил, что рядом ходят змеи,
Вы тут поосторожней, мужики.

И снова в будку от жары палящей,
От нашей ласки и от наших ног,
Такой родимый, русский, настоящий,
Ещё на зло не лаявший щенок.

.....
Редакция сердечно поздравляет нашего друга и автора с боевым юбилеем!

ЛЕОНИД БЕЖИН



ДВА РАССКАЗА

ДЖАН БАКУ

1

Снова затишье, оглушающее, почти неправдоподобное после сплошной канонады. Даже звенит в ушах, и во рту — привкус крови. Кажется, что слышно, как гложет виноградную лозу древесный червь и шмель басовито гудит в дупле старой чинары.

С вашей стороны работают только снайперы, зелёные, как саранча, в своей маскировке. И такие же прозорливые. Долго выжидают, высматривают цель и — стреляют. Не щадят даже ополоумевших бродячих собак. Но у них винтовки с глушителями, и поэтому выстрела почти не слышно — только слабый хлопок, похожий на свист плётки, рассекающей воздух.

После каждого такого хлопка на снятой с огородного чучела, старой бараньей шапке дяди Вартана, которую тот выставляет над окопом, появляется новая сквозная дырочка и белые шерстинки выются в воздухе, как комары. Шапка исчезла, но вскоре дядя Вартан снова выставит её на стволе автомата, чтобы подразнить снайпера, сукиного сына, змеёныша, бессильного достать его своим жалом.

На время дядя Вартан даже забыл о ненависти, так ему нравится эта забава. И он, пунцовый от пьянства, как мякоть чёрного винограда, с седой тигриной бородкой, смотрит на меня, ожидая, что и я оценю её, подмигну, прищокну языком, одобрительно кивну и благосклонно прикрою глаза.

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ и аспирантуру при нём. Прозаик, автор романов, повестей, рассказов. Лауреат нескольких литературных премий. В данное время является ректором Московского института журналистики и литературного творчества.

Хоть я моложе годами, но старше по званию, а дядя Вартан любит ласку своего начальства.

Но мне не до этого. У меня есть занятие куда более важное. Я мысленно пишу тебе письмо — туда, в стан врагов. Ты прячешься там в таком же глубоком окопе, нами вырытом и вами захваченном. Только зря вы считаете себя победителями: мы ещё повоюем. Только беженцев жалко, и ваших и наших стариков и старух с их узлами, чемоданами и детскими колясками, нагруженными домашним скарбом. Собрали всё, что успели, только дома у них теперь нет...

Это ты когда-то придумал писать друг другу мысленные письма, а затем при встрече зачитывать, стараясь не сбиться и ничего не упустить, не забыть. Не знаю, пишешь ли ты мне такое письмо или давно покончил с этими глупостями, но я пишу. Пишу, хотя обменяться письмами при встрече нам уже не удастся — встреча будет недоброй.

Слишком много всего накопилось, слишком тугой узелок завязался — не распутать, а лишь разрубить...

2

В нашем бакинском дворе, овальном, словно след от дыни, долго млевшей на горячем песке, и не таком уж большом, чтобы имена его обитателей повторялись, тем не менее было две Лейлы, два Самвела и целых три Вагифа. Это считалось уже избытком, перебором, поскольку создавало путаницу и подчас вызывало нелепые недоразумения — хоть смейся, хоть плачь.

Скажем, из соседнего двора к нам подсылали Рыжего Басмача — наголо бритого великана, дурня и уroda со зверским оскалом, вселявшим ужас из-за выдвинутой вперёд нижней челюсти, — бить Вагифа. А какого именно — уточнить не удосуживались или попросту забывали. И от зверских рож, а также пудовых кулаков страдал не тот Вагиф.

Страдал невинный и непорочный, тот же прятался за помойкой и затыкал уши, чтобы не слышать истошные вопли своего несчастного тёзки.

Словом, путаница, неразбериха...

Но когда я звал в окно: “Вагиф!” — то никакой путаницы не случалось и откликнулся именно ты, поскольку ни с Длинным Вагифом, ни с Коротышкой Вагифом мы не дружили. Да и какая могла быть дружба, если Длинный Вагиф, носивший турецкую феску, покрывал ногти лаком, словно коготка, и подкрашивал губы, а Коротышка Вагиф подавал шары в бильярдной, побирался на рынке и ел всякую дрянь, отчего пискляво икал, ходил с раздувшимся животом и его постоянно пучило.

Ты же для меня — и это все знали, — был Вагиф Джан, Душа Вагиф, милый, дорогой, любезный сердцу. Иными словами, друг.

Дружба при всей её стихийности подчиняется строгой закономерности теоремы Пифагора: она квадрат гипотенузы, равный сумме квадратов двух катетов. Такие мысли приходили мне в голову, когда мы валялись на широком, плоском, покрытом ковром турецком диване, среди твоих разбросанных в беспорядке, забрызганных фиолетовыми чернилами учебников, отщипывали виноград от вызревшей до золотистой патины грозди, и я натаскивал тебя по геометрии, которую ты особенно запустил (тебя даже хотели оставить на второй год и оставили бы, если бы не я).

И вот помню, как ты твердил эту теорему, ничего толком не понимая и лишь стараясь вызубрить её наизусть, а я, лежа на спине и глядя в белёный до синевы потолок, думал о том, что дружба — это гипотенуза, а катеты — это любовь и ненависть. И весь фокус Пифагора в том, что вместе они образуют неразделимое целое.

Иными словами, дружба невозможна без любви, к любви же всегда пришивается хотя бы частичка ненависти. Это было моё открытие, возносившее меня на один пьедестал с великим Пифагором (я даже представил, как украсил бы мой скромный мраморный бюст кабинет нашего директора Мустафы Альбертовича, тайно посещавшего мечеть потомка одного из двадцати шести бакинских комиссаров).

Конечно, я не мог (ведь у нас же всё поровну) не поделиться моим открытием с тобой. Я взял с тебя клятву молчать и выложил тебе всё. Я ждал, что ты в ответ умилишься и прослезिшься. Но ты меня выслушал, вежливо покивал, зевнул и ничего не понял — так же, как и в голололке Пифагора. Ты всегда мыслил конкретно и не любил отвлечённостей.

Между тем у меня был пример, подтверждающий мою правоту. Наша с тобой дружба началась с того, что мы друг друга возненавидели.

3

Возненавидели после того, как тетя Гюля, твоя мать, хворающая, с одышкой и больными, распухшими ногами, выпирающая из платьев, как тесто из кадушки, заподозрила мою матушку в том, что она вознамерилась увести её мужа Джамиля, статного красавца и румяного усача. Увести, окрутить и на себе женить, поскольку сама была брошенная и разведённая. Ради этого она якобы даже продала мой аккордеон, чтобы вырученные деньги отнести бабушке Захре, гадалке и колдунье со слезящимися глазами и пиратской серьгой в ухе, и упрямить её навести порчу на всю вашу семью (у тебя ещё были младшие сестры — мамзели, как ты их звал, и старший брат).

Это была чудовищная клевета. Аккордеон мать действительно продала, но деньги никому не носила, поскольку нам и так было не на что жить. Отец, уходя, нам ничего не оставил, кроме дырявых башмаков, сама же мать продавала газированную воду на бульваре (с сиропом — четыре копейки, без сиропа — копейка) и зарабатывала шестьдесят рублей в месяц. Ещё она вечерами мыла пузырьки в аптеке, и руки у неё покраснели и покрылись пятнами от ядовитых, разъедающих кожу смесей.

Покупая мне на последние сбережения трофейный немецкий аккордеон, мать рассчитывала, что не прогадает. Меня будут приглашать на свадьбы, именины, юбилеи и прочие празднества тех советских времён, и аккордеон вдесятеро окупится. Во всяком случае, она на это надеялась. Ей казалось, что с ним-то уж я смогу хорошо заработать. И у нас, наконец, заведутся денюжки на дне старой кондукторской сумки (мать когда-то продавала билеты в трамвае), предназначенной для того, чтобы откладывать, хотя откладывать было нечего, и сумка пылилась где-то за диваном.

Ради этого я нарочно садился у открытого окна и играл так пронзительно, истошно, громко, чтобы слышно было не только в нашем овальном, дынном дворе, но и на улице. И всё равно никто меня не приглашал, поскольку у нас уже был аккордеонист — одноглазый, в заношенном френче, купленном на толкучке, с серебряным портсигаром, выглядывавшим из нагрудного кармана, — дядя Валид по прозвищу Фараон.

Он играл хуже меня, и аккордеон у него был по сравнению с моим — дрянный и старёный. Его негнущиеся, корявые пальцы не выигрывали всех нот, и он стучал ногтями по клавишам, поскольку забронзовевшие, цвета старой зелёнки ногти никогда не стриг (никакие ножницы их не брали). К тому же басы у него шипели, а в верхах не хватало клавиш, поэтому некоторые ноты он отбивал ладонью по колёнке и при этом притопывал, чтобы ничего не пропадало (раз уж ему за всё заплачено).

И всё равно приглашали его, поскольку у нас считалось, что какая же свадьба без дяди Валида. С его репутацией мне было не поспорить, не совладать. Да и если бы паче чаяния пригласили меня, он своей властью Фараона сделал бы всё, чтобы уничтожить соперника. Размазал бы меня по стене, не позволил даже раскнопить ремешки моего аккордеона.

Для этого у него, Фараона, была армия и слуги — все, кто сидел за нардами, резался в очко или стучал в домино. Он их всех угощал папиросами из своего портсигара. Поэтому, желая ему услужить, они бы высмеяли, выругали, освистали меня и заулюлюкали вслед, стоило бы мне только показаться во дворе с моим трофейным красавцем.

И ещё обвинили бы меня в том, что я втайне сочувствую побеждённой Германии. А если бы Фараон даже мне и позволил разок принять приглашение,

то наложил бы свою лапу на мой заработок. И отнял бы почти всё, вывернув мне карманы и оставив лишь смятые рубли и жалкие копейки.

4

Словом, надежды моей матери не оправдались, и аккордеон стал не нужен. Я мог бы играть на нём для собственного развлечения, но счёл это детской забавой, недостойной мужчины (лишённый отца, я чувствовал себя мужчиной в доме). Да и стыдно было развлекать себя за такие деньги, вложенные матерью в аккордеон.

Правда, эти денежки всё равно ушлыли, и тогда я пожалел, что расстался с аккордеоном. Мы продали его вдвое дешевле, чем купили. Продали директору магазина — Самвелу из нашего двора, скупавшему всё ценное и ненужное: ковры, хрусталь, бронзу, нужное же себе иметь не позволял, чтобы просить (клянчить) у других, плакаться и жаловаться на нищую жизнь.

Вот и аккордеон был ему не нужен, поскольку в доме никто не умел на нём играть и никогда не стал бы учиться. Это как бы умаляло достоинства аккордеона, чем Самвел и воспользовался, чтобы бессовестно сбить цену. “Он же у вас подержанный”, — сказал он с кислым, словно кизил, и лишь немного присахаренным недоумением, хотя аккордеон выглядел, как новый, блестел чёрным лаком, отливал перламутром и звучал превосходно.

С горя мы попросили бабушку Захру нам погадать — в утешение и с надеждой на то, что, может, когда-нибудь нам выпадет счастье. Бабушка Захра закурила самокрутку, свёрнутую из газеты “Бакинский рабочий” (лучше всего раскуривались передовицы), надела круглые очки, разложила на столе засаленные карты и накрыла платком клетку с попугаем (чтоб не слезил и не подгадил). Попугай не подвёл, и она нагадала матери жениха, чем немало её рассмешила. Бабушка Захра её строго, ворчливо и недовольно одёрнула: “Карты не врут. Ты на себя-то посмотри — красавица. Будет тебе женишок. Жди”. И отвела руку матери с зажатым в кулаке рублём: “Заплатишь, когда сбудется”.

И сбылось. Карты матери отомстили: за её непочтительный смех они над ней тоже посмеялись. Когда статный усач и красавец Джамиль, муж тётки Гюли, подошёл к ней на бульваре, чтобы выпить газированной воды (с двойным сиропом), он спросил, бросая ей в тарелку звенящую мелочь:

— Как поживаешь, Каринэ? Муж из бегов не вернулся?

— Всё бегаёт. Хотя зачем мне теперь муж! Жду жениха. Мне жених обещан, — ответила мать с шутливым вызовом, наливая на дно стакана малиновый сироп и разбавляя шипящей струей газированной воды.

— Это кто ж тебе обещал?

— Карты. Бабушка Захра нагадала.

— Раз так, чего ждать. Лучше меня всё равно не найдёшь, — так же в шутку прихвастнул Джамиль.

— Да ты ж женатый... — Мать бросила на него быстрый, оценивающий, всё примечающий взгляд.

Джамиль сделал загадочно-упреждающий жест ладонью, как требовала шутка.

— А всем остальным-то хорошо? — Он показал в улыбке крепкие зубы (один был с золотой коронкой).

— Хорошо, да не про меня...

— А ты жди... — Он поставил стакан и вытер ладонью усы: шутка удалась.

Шутка была дошучена.

5

Вот отсюда и понеслось, что моя мать собиралась увести у тётки Гюли её мужа Джамиля. Разговор моей матери с Джамилём слышала нянька начальника буровой Якуба, гулявшая с его детьми на бульваре. Она была татарка, из Барнаула, и обладала удивительной способностью всё перевернуть

и переиначивать, искренне веря в то, что говорит чистую правду. Она и поведала тётё Гюле о бульварном разговоре, истолковав этот разговор по-своему и употребив для этого всю силу своей неукротимой, изощрённой фантазии. Тётя Гюля была поражена. Лицо её раскраснелось, пошло пятнами и от нервного зуда покрылось крапивницей с волдырями. Припадая на больную ногу и охая, она выбежала из дома. Вся заколыхалась, заклохотала, закудахтала, запричитала, повторяя: “Горе мне, горе! Пропала, я пропала! Ой, помогите!”

Её окружили; из всех окон разом высунулись головы. Стиравшие бельё молодые мамыши зачарованно выпрямились над корытами и стряхнули с рук пену. Чинившие матрас старики отложили молотки и вынули изо рта мелкие гвозди. Мальчишки, собиравшие вызревший тутовник, вытерли о майки красные от ягод руки и рядом уселись на нижний сук. Уселись, глаза сверху на цирковую потеху.

Кто-то из дворовых пацанов свистнул в два пальца, гикнул и крикнул: “Тётю Гюлю обшмонали!” — а там уж подхватили и понесло. Весь двор заглатывал и смаковал сладкую дынную мякоть будоражащих слухов. Весь двор возмущался, негодовал, осуждал мою мать, замолкая при её появлении, а затем всё больше распалаясь, осыпая её ругательствами и угрозами.

Мать, зажав ладонями уши, вбежала в комнату, закрывала на засов дверь и, прислонясь к ней спиной и затылком, так и стояла, словно неживая, не решалась пошевелиться. Я, забившись в угол, со страхом на неё смотрел. Мать тоже смотрела с ужасом, но не на меня, а на вещи, лихорадочно соображая, как быть, если ворвутся и начнут громить, что наскоро засовывать под диван, что выносить через чёрный ход, что прятать в подвале.

Наконец, она не выдержала, набралась решимости и вышла, так крепко держа меня за руку, что я весь извивался, дёргался и корчился от боли (откуда-то у матери взялась такая сила). Все снова замолкли, и только чей-то голос в гробовой тишине произнёс:

— Зачем вы, армяне, к нам приехали?..

Эту фразу я надолго запомнил. Раньше я таких фраз не слышал, да и не было в нашем дворе армян — точно так же, как не было азербайджанцев. Были все мы, живущие вместе, рядом, одной семьёй. И никто из нас ниоткуда не приезжал, а все здесь родились. Вместе — всем двором — справляли ноябрьские и майские (праздники), гуляли и веселились на свадьбах, поминали после похорон. Вместе танцевали под патефон и, когда показывали футбол, выносили во двор телевизор с самым большим экраном и линзой. Если подолгу не спадала жара и ночью было нестерпимо душно, спали во дворе на топчанах и раскладушках.

И вот теперь они появились — вместе со всем тем, что их разделяло. Разделяло на два лагеря, два враждебных стана, готовых двинуться друг на друга. И ты, прячась за тётю Гюлю, свою ревнивую и заполошную мать, смотрел на меня волчком, с ненавистью — как на врага. И я, твой враг, ощерившийся, затаивший злобу волчонок, отвечал тебе такой же ненавистью.

6

Скоро вас поднимут в атаку, и вы перебежками... пригибаясь к земле... прячась за бронетранспортёры, уцелевшие стены домов, наполовину сгоревшие, обугленные деревья... будете приближаться к нашему окопу. Сжимать нас в кольцо. Затягивать на шею верёвку, словно у щенков — тех, кого отловили, кому не спастись от живодёрни.

Ах, как бы тебе хотелось ворваться в наш окоп первым! И ты ворвёшься, поскольку всегда был ловок, гибок, как вьюн, увёртлив и проворен. И уж если с кем-нибудь сцепишься, то уж точно — повалишь, заломишь за спину руки и сядешь на него верхом.

Вот и меня ты наверняка прикончишь, ведь я всегда уступал тебе в смелости, ловкости и силе. Возможно, ты меня не узнаешь в моём камуфляже или постарайся сделать вид, будто не узнаешь. Я для тебя — как все.

Враг! Так тебе будет легче простить меня очередью или с размаху — разом — отсечь мне дурную башку сапёрной лопаткой.

Отсечь, насадить на штык и с гордостью победителя поднять над головой, потрясая ею в воздухе, гордясь и красуясь перед всеми. И при этом вся твоя орава будет в восторге, ты услышишь одобрительные возгласы, гул ликования. Вот ещё одна армянская собака подохла!

В бою вы жестоки и беспощадны, какими бывают заматерелые вояки и необстрелянные дохляки новобранцы. Эти — от бесстрашия, презрения к жизни и смерти, те — от страха и дрожи в коленях. И что самое грустное, так же жестоки и мы, и в состоянии окопного бешенства, страсти и восторга я бы мог поступить с тобой точно так же: отсечь и насадить. Вот до чего мы дошли, в кого мы превратились. Хотя чему удивляться, ведь на дворе девяносто первый год, война...

7

Вскоре недоразумение разрешилось, глупую няньку выругали и отчитали, все успокоились, и мы с тобой вспомнили, что живём в одном дворе, и снова подружились. При этом нам сначала было неловко и стыдно за нашу — пусть даже ненадолго вспыхнувшую (попыхнувшую, словно нефтяной факел) — вражду. Мы оба недоумевали, как могло случиться, что мы, словно по чьей-то злой воле, поддались ужасному наваждению. Нам хотелось смыть это постыдное пятно, друг перед другом оправдаться, но как?

Просто забыть и не вспоминать? Этого было мало, да и не получилось бы у нас — забыть. Чем больше бы мы старались, тем навязчивее нам всё напоминало, что мы именно стараемся, пыхтим, тужимся, и из этого ничего не выходит. Мы же стремились во что бы то ни стало избавиться от своего стыда, и из-за этого стремления наша дружба превратилась... в любовь.

Вот тогда-то я не мог провести и дня, чтобы не позвать тебя: “Вагиф!” — и ты, единственный из трёх Вагифов, безошибочно откликался на мой зов.

Началась чудесная, безоблачная пора нашей дружбы. Теперь нас сближал не двор, хранивший хмурую память о недавнем недоразумении, а весь наш дивный, сказочно прекрасный город, Джан Баку, как мы его называли, и, прежде всего, конечно, море.

Лиловое в утренней дымке, апельсинно-красное на закате, иссиня-чёрное ночью, когда нет луны и лишь светят — остро мерцают — звёзды, при лунном же свете — магниевое-фосфорическое, гелиотроповое, оно влекло и манило нас, очаровывало и завораживало.

Мы часами сидели на днище перевернутого баркаса, глядя вдаль. Мы были отличные пловцы и бесстрашные ныряльщики. С разбега мы подныривали под накатывающую тяжёлую волну с пенными гребешками, чтобы вынырнуть уже тогда, когда она окажется за спиной. И тут же, набрав воздуха, ныряли под следующую...

Накупавшись до тошноты и озноба, грелись у костерка, разведённого из сухих колочек, и смотрели на белевшие — сиявшие белизной у причала — большие пароходы. На берегу у нас было четыре места (не хочу называть их пляжами): Шихово, Бузовны, Пиршаги, Мардакяны. Там мы валялись на песке до самого вечера, до мерцавших в темноте огоньков медуз — волшебного зрелища, которым мы не уставали любоваться.

И, конечно, мы обожали нашу шикарную набережную, где жарили каптаны и шашлыки, где суетился фотограф со своей треногой, гуляли нарядные дамы и веяло какой-то далёкой, неведомой, несбыточной жизнью.

Отблеском, отсветом, призраком этой жизни был блиставший вечерними огнями кинотеатр “Низами”, куда мы старались прошмыгнуть без билета, но нас чаще всего хватало за шкурку, выкручивали ухо и пинком вышибали на улицу. Но иногда удавалось и прошмыгнуть, и выпить на двоих кружку пива (если в кармане брэнчала мелочь). Удавалось даже отыскать свободное место — крайнее в заднем ряду: его никто не занимал, поскольку из-за колонны было плохо видно. Мы же ухитрялись увидеть всё и сидели на нём

по очереди, а когда уставали стоять, то и вместе, разом, на коленях друг у друга.

Но ещё больше любили мы цирк, где твой старший брат Джафар играл в оркестре на контрабасе, поэтому мы там были свои люди, всеми признанные, фартовые пацаны. Стоило тебе небрежно бросить билетёру: “Я брат Джафара” (ты к тому же был на него похож), — и нас почтительно пропустили. Мы замирали от восторга, смеялись и тайком вытирали слёзы, когда всадники показывали чудеса джигитовки, фокусник распиливал в ящике свою преданную и доверчивую ассистентку, не издававшую ни единого стога, косматый лев с раскатистым рыком прыгал через огненное кольцо и клоуны дубасили друг друга по голове чугунными гирями. Мы же были счастливы, и от этого головокружительного счастья нам хотелось клятв и признаний.

Тогда я шептал тебе в ухо, что никогда тебя не предаю, и ты мне в ответ клялся, что, если будет война, ты будешь воевать за меня. Какая война, мы толком не знали, но нам смутно мерещилось что-то такое же, как в телевизоре или на экране кинотеатра “Низами”. Там вечно рубились, строчили из пулемёта, при гробовом молчании, без единого выстрела шли в психическую атаку (эта сцена сводила нас с ума). И твоя клятва означала, что ты будешь за меня даже в том случае, если я, по примеру Рыжего Басмача, подамся к белым, а ты — к красным.

Не сдержал ты клятву, Вагиф, как и я своё обещание. Всё в мире оказалось изменчивым, зыбким, непрочным. Только война нам не изменила, явилась, как призрак, и осталась с нами навсегда...

8

Но пока ещё никакой войны нет — нет ни Сумгаита, ни Степанакерта, ни призывных митингов, ни погромов, ни разбитых стёкол, ни выпотрошенных перин, а есть девочка по имени Софа, красавица с чёрными косами, гордячка и зазнайка. Она носит белую панаму, защищающую от солнца, и связанные бабушкой наколенники (берёжет колени). У неё в кармане — зеркальце, а на правой руке — маленькие часики, хоть и детские, но настоящие, показывающие время (купленные явно не у нас, не в магазине Самвела, а откуда-то привезённые).

Софа Амбарцумян — мы оба в неё влюблены... Она жила в соседнем дворе, и мы её долго не замечали. Выходила во двор редко и только с няней, высохшей старухой, носившей шаровары и тюбетейку, и играла под своими окнами. Ближе к обеду окно открывалось, в нём мелькала чья-то тень, и её звали домой: “Софочка!” — и няня её тотчас уводила.

“Софочка, фочка, фифочка!” — передразнивали мы с ломанием и кривлянием, чтобы тотчас забыть и эту дразнилку, и ту, кому она была адресована. Вскоре Софа вообще перестала выходить во двор, поскольку ей неудачно удалили гланды и врачи боялись осложнений. Она сидела на балконе с перевязанным горлом и благостно, томно ела мороженое, которое ей покупали в больших количествах, поскольку так велели врачи. Она брала мороженое маленькой серебряной ложечкой, зачем-то дула на него, долго держала во рту и зачарованно проглатывала. При этом вытирала губы платочком с кружевной каймой, хотя алые следы от клубничного мороженого всё равно оставались у неё в уголках губ, на щеках и подбородке, что придавало ей выражение удивлённой беспомощности и подкупающей наивности.

Вот тогда-то мы её, наконец, заметили. Более того, мы смотрели на неё с восторгом и немым обожанием. И это обернулось катастрофой, поскольку ни я, ни ты не знали, как совместить море, набережную, кинотеатр “Низами”, нашу восторженную дружбу с внезапно охватившей нас любовью к этой противной девчонке. Девчонке с удалёнными гландами, перемазанной мороженым, нашей будущей насмешнице и повелительнице.

— Дай попробовать, — попросили мы, вставая на выброшенный кем-то стул со сломанной спинкой, чтобы дотянуться до её балкона (балкон был низкий, каменный, с большим выносом).

— Не дам. Это мне купили.

- Что тебе — жалко?
- Говорю, не дам. Не приставайте.
- Ну, хотя бы чуть-чуть. Не жидись.
- Уйдите, я сказала. Вы оба грязные.

Так закончилась наша первая попытка с ней познакомиться, и мы не только послушно стерпели насмешку, но, что было совсем уже глупо, бросились отмываться под дворничским шлангом, тереть колени, плечи, бока и спину, словно на них налипли тонны грязи. Она же, глядя на нас, покатывалась со смеху, откидываясь на спинку стула и закрывая рот пунцовой ладошкой.

Тогда ты не выдержал, обозлился, решил отомстить и сказал:

- А ты зато вовсе не Софа.
- Кто же я? — Она ещё не знала, какой ответ её ждет.
- Ты не Софа, а софа, и все на тебе будут лежать.

Как тут её перекосило! На секунду она застыла в немом изумлении, округлила свои прекрасные, чёрные, с гранатовым отливом глаза. А затем черты её исказились, рот скривился, нижнюю губу оттянуло, из глаз брызнули слёзы, и наша Софа (она же софа) с презрением выкрикнула:

— Дураки! Придурки! Дряни! Вы мне омерзительны! Я на вас пожалуюсь папе! Тогда узнаете!

— Что мы узнаем? — спросил я на всякий случай, хотя не очень-то испугался.

- Где раки зимуют — вот что!

9

Софа исполнила угрозу — пожаловалась отцу. После этого она стала смотреть на нас с мстительным торжеством и притворным сочувствием, как на приговорённых к самой страшной казни. Однако дни шли, а обещанная казнь не свершалась, что давало нам повод каждый раз с невинным любопытством спрашивать, проходя мимо её балкона:

— Ну, и что твой папа? Где же он? Папа! Папа! — Мы рупором складывали у рта ладони. — Испугался?

Это было дерзостью, на которую Софа, тем не менее, отвечала удовлетворённо, с приятной, многообещающей улыбкой:

— Ага, испугался, весь дрожит... Подождите, мальчики. Потерпите до выходного.

В воскресенье её отец велел нас привести. Софа сказала нам об этом с обречённым, жалостным вздохом, словно спасти нас уже ничто не могло:

— Велено вас привести. Только не забудьте вытереть ноги, мальчики: у нас дорогой паркет. Да и не мешало бы вам, мальчики, ботинки почистить. — Она намеренно отвернулась, чтобы не смотреть на наши пыльные ботинки.

Мы не решились послушаться, поскольку знали, что отец Софы — важный чин, носит фетровую шляпу, шьёт костюмы у дорогого портного, приглашает парикмахера на дом. К тому же его возят в автомобиле с кремовыми занавесками на окнах. Поэтому мы затянули потуже ремни (это казалось нам признаком респектабельности) и, сорвав лопух, покорно смахнули им вековую пыль с ботинок.

И вот Софа нас привела, словно арестованных под конвоем. В полутёмной прихожей тускло мерцало зеркало. Она велела нам причесаться, поступалась в кабинет отца и доложила с безучастным высокомерием:

— Они здесь.

А когда он вышел, добавила:

— Отругай их как следует и задай им по первое число.

Добавила так, словно первое число упоминалось в доме часто, привычно и по самым разным поводам.

— Сейчас, сейчас, — пообещал он, и нам стало ясно, кто в этой семье приказывает, а кто — выполняет приказы.

Отец Софы изучающе посмотрел на нас сверху вниз. Посмотрел и сделал кое-какие выводы. Затем он присел на корточки, поставил нас перед собой,

как болванчиков, поднёс к нашим носам большой кулак с белесыми волосинками на сгибах пальцев и спросил (для порядка):

— Чем пахнет?

Спросил и сам себе ответил (отстранённо возвестил куда-то в пространство):

— Смертью пахнет.

Помнишь, мы с тобой изрядно струхнули? Колени у нас ослабли, и ноги сделались ватными. По спине холодной струйкой пробежал пот. Сейчас это кажется смешным, но тогда от испуга мы чуть не наложили в штаны, уверенные, что это конец и нам придётся расстаться с жизнью. Но к нашему облегчению выяснилось, что он большой шутник, её драгоценный папа, к тому же любит ребячиться и показывать, что способен говорить с детьми на их языке. Вот он и решил нас немного попугать. Хотя на самом деле был добрый и тотчас же принялся мирить нас, уговаривать, чтобы мы не ссорились с дочерью, а были рыцарями и защищали её во дворе.

После этого усадил нас всех за стол, налил чаю, принёс коробку белорозовой пастилы, сдвоенное печенье с кремом посередине, какое не продавали в магазине, обсыпанный сахарной пудрой рахат-лукум и произнёс:

— Ну, набрасывайтесь. Сметайте.

Затем проводил в детскую комнату, чтобы мы там поиграли, только при этом не слишком шумели, потому что он работает. И тихонько закрыл за нами дверь.

10

Мы остались одни с Софой, нашей дамой сердца (если мы рыцари, то она — дама), и это показалось страшнее, чем любые кулаки, пахнущие смертью. Мы растерялись, смутились, не знали, что сказать, только отчаянно улыбались, словно без улыбки могли вообще провалиться в тартарары. Видя, что от нас толку не добиться, Софа сама взялась нами руководить.

— Ну, мальчики, во что будем играть? — спросила она так наигранно и зловеще, что стало ясно: чувство мести в ней ещё не удовлетворено. — Может быть, в тахту или софу? — Она посмотрела на нас невинно, но с неким затаённым умыслом. — Хотите?

И тут ты задал глупый вопрос, оказавшийся для нас же ловушкой:

— А как это?

— Что — как? Играть в софу? Очень просто. Неужели вы не знаете! Сейчас я вам покажу. — Она легла на ковёр, поправила на коленях юбку и вытянула ноги. — А теперь вы на меня ложитесь. Смелее, ведь я же софа. Вы меня так называли, помните? Вот у меня валики, вот — подушки, вот — ножки с колесиками, а внутри — пружины. Слышите, как они скрипят? Ну, кто первый?

Никто из нас не решился лечь на софу. Тогда ты предложил:

— Лучше будем играть не в софу, а в тахту. Пусть этот ковёр будет тахтой.

— Нет, мальчики, в тахту неинтересно. Вот в софу — это настоящая игра. Ну? Я вам велю лечь на софу. Я вам приказываю.

Мы молчали, мечтая лишь о том, чтобы поскорее сбежать и при этом не осрамиться, не опозориться окончательно.

— Что же вы? Не хотите? Ах вы, дряни! Придурки! Дураки! Уходите вон! Вон отсюда!

И мы опрометью, стуча ботинками по дорожному паркету, бросились вон. Из комнаты — коридор, из коридора — в полутёмную прихожую и из прихожей — за дверь.

На этом кончилась наша любовь, наше немое обожание и к нам вернулась прежняя дружба, чему мы, конечно, обрадовались, хотя при этом оба почувствовали, что нам стало скучнее дружить. Почему? Наверное, потому, что мы сбежали (а значит, всё-таки опозорились) и никто из нас не решился лечь на софу.

Хотя мы жили в Баку, моя истинная родина — место, где я появился на свет, — Нагорный Карабах (по-армянски — Арцах). А если точнее — село Завадых Мартунинского района, дом Сурена Григоряна, моего отца, который в жизни всё тщательно обдумывал, но при этом совершал безрассудные поступки (он умер вскоре после того, как от нас ушёл).

Я часто рассказывал тебе, что туда, в этот запущенный, полуразрушенный дом с прохудившейся крышей, затянутыми рыжей паутиной углами, репейником и чертополохом, проросшим между досками пола, он привёз мою мать незадолго до родов. Сам понимаешь, что никаких условий для того, чтобы рожать, там не было; повитуху — и ту днём с огнём не найдёшь после того, как умерла бабушка Нина, всем помогавшая при родах.

Ты меня не раз спрашивал: зачем отцу понадобилось совершить это долгое — восьмичасовое — путешествие по скверным дорогам, изрытым адскими ямами, хотя матери уже было трудно передвигаться, и она ждала начала схваток? Не знаю. Я об этом отца никогда не спрашивал, да он и вряд ли мне ответил бы, поскольку, молчаливый и даже суровый, не любил рассуждать на такие темы. Для него привычнее было разнести стаканы с чаем по купе, подсыпать угля в печурку, разбудить пассажира перед ночной остановкой поезда (отец работал проводником поезда “Баку — Москва”).

Но у меня есть одна догадка. Я её не то чтобы от тебя скрывал, но не было повода высказать. Поэтому сейчас высказываю — без всякого повода, хотя и с особым умыслом, который можно принять за повод.

Конечно, я мог бы сказать, что это — один из многих безрассудных поступков отца. Может, и так, но я бы ещё добавил, что отец за всю жизнь прочёл лишь одну книгу — Евангелие, оставленное кем-то в поезде. И у него перед глазами был пример — праведный Иосиф, совершивший вместе с беременной Марией долгое (трёхдневное) путешествие из Назарета в Вифлеем. Я не исключаю, что отец таил в душе робкую и стыдливую мечту — хотя бы чуть-чуть уподобиться праведному Иосифу.

Но ещё вероятнее всё же другое. Отцу хотелось, чтобы я появился на свет в краю, благословенном Богом, как земной рай, цветущем, благоухающем, отмеченном несказанной красотой и изобилием плодов земных, где, как говорят армяне, всего море. Да, армянское название моего села — Цоватех — так и переводится: “Место, где всего море”. Конечно, бездарные власти довели этот край до бедности, до крайней нищеты и дикости, и всё-таки море изобилия витало над ним, словно призрак, угадывалось во всём, что могло бы цвести и благоухать, если приложить к нему руки.

Я давно уговаривал, звал, приглашал тебя поехать туда вместе со мной и, наконец, уговорил. Когда нам исполнилось по пятнадцать лет, мы взяли билеты на междугородный автобус “Баку — Красный Базар”, прокопченный, запylённый, расшатанный тряской по ухабам и рытвинам.

По негласному, но неукоснительно соблюдаемому правилу водителями были армянин и азербайджанец, Армен и Султан, — я их хорошо знал. Их всегда бесплатно кормили в придорожной столовой, поскольку они приводили с собой толпу голодных пассажиров. Знал я также и кондуктора Маргушу, маленькую, как девочка, сухенькую, улыбчивую, писклявую, с тоненьким, дрожащим голоском.

Стояла чудесная весна, дрожала в воздухе голубая дымка, ветром носило белые лепестки, всё цело, изумительно пахло, дышало влагой местами дотаивавшего на горных склонах снега. И мы впадали в то восторженное умиление, которое охватывает всех, кому удаётся вырваться этой порой из города.

На Лачинском перевале ударило из-за облаков солнце. Неправдоподобно оранжевое, с лиловым обручем, оно ослепило, ожгло, расплылось сахарной патокой на оконном стекле, а затем снова обрело форму инопланетного диска и сузилось до слепящей точки. Распахнулись дали, вынесенные куда-то фантастической проекцией, как выносятся за окно отражение...

В доме пахло сыростью, плесенью, мышами, и надо было долго топить печь, чтобы, наконец, исчез этот запах. Ты немного заскучал, и, чтобы развлечь бакинского гостя, я пожарил на особой сковородке лук и приготовил лобио из красной фасоли, как готовят только здесь, у нас в Карабахе. Я накормил тебя, а затем повёл к дяде Самсону, балагуру и насмешнику, жившему по соседству.

Его не оказалось дома: как мне сказали, он охотился в горах. Но дядя Самсон держал ослика в стойле. Мы вывели ослика во двор, ты ловко взобрался к нему на спину, ухватился за гриву и стал кататься — сначала по двору, затем ослик вынес тебя на улицу, и я уже не мог вас догнать. Ты смеялся от удовольствия, что-то напевал, свистел, вытянув трубочкой губы, и я радовался за тебя как за лучшего друга, которому выпало счастье испытать, что это такое — кататься на ослике дяди Самсона.

Тогда ничего ещё не предвещало беды. Правда, в горах иногда слышались выстрелы, но это были охотники, а охотников мы не боялись...

12

Нас тут осталось трое — я и дядя Вартан, третий же не в счёт, поскольку это — Азраил, Ангел Смерти. Я здесь впервые его увидел, и меня это так поразило, что я долго тёр глаза, как бывает, если внезапно ударит в глаза и ослепит яркий, сияющий свет. Собственно, он невидим, этот Ангел, но иногда веки смегаются, и меж ресниц возникает мерцание, в котором угадывается зыбкий, двоящийся контур его головы, вьющихся золотистых волос, белых крыльев за спиной, узких ладоней и слегка удлинённых ступней.

И некоей частью сознания я понимаю, что передо мной Ангел, существо эфирное, сверхреальное, хотя другой частью вынужден удерживать предметы этой реальности — обожжённые деревья, развалины дома, слоистые облака над головой, — удерживать, чтобы не тронуться умом, не потерять рассудок, не лишиться здравого смысла.

И всё же это так странно! Азраил сидит на бруствере окопа, обняв колени, и ждёт, чтобы забрать мою душу. Дядя Вартан пьяница, озорник и безбожник — его душа, наверное, на небо не попадёт. Я же научился молиться и верить в бессмертие души после того, как началась эта бойня, стали калечить и уродовать тела, и мне отчаянно не хотелось смириться с тем, что вместе с телом можно уничтожить душу.

Ну вот, с вашей стороны что-то зашевелилось, над окопами показались зелёные каски, обтянутые сеткой, взревели моторы, и вся эта смертоносная лава поползла в нашу сторону. Глядя в бинокль и стараясь навести его на лица наступавших, я всех узнал. Узнал статного усача Джамиля, мужа тётки Гюли, узнал отца Софы, живущей в соседнем дворе, аккордеониста дядю Валида по прозвищу Фараон, директора школы Мустафу Альбертовича, великана Рыжего Басмача, Длинного Вагифа и Коротышку Вагифа, твоего старшего брата Джафара, игравшего на контрабасе, и тебя самого, моего друга, которого я звал Джан Вагифом, а вместе с тобой и весь Джан Баку...

Все вы перебежками... пригибаясь к земле... прячась за бронетранспортерами... приближаетесь, берёте в клещи наш окоп, не подозревая, что нас всего трое. Сейчас ты ворвёшься, чтобы с размаху отсечь мне голову. Нельзя, чтобы море изобилия принадлежало нам, здесь родившимся и пожелавшим, отделившись от вас, жить на особицу, своей свободной жизнью. Такое не прощают. За это полагается жестокая расплата. Поэтому я прерываю или, скорее всего, заканчиваю моё мысленное письмо.

Сейчас... сейчас... До встречи, дорогой Вагиф.

Дядю Вартана убило первым — осколком разорвавшейся мины, меня следующим — разорвавшейся вблизи связкой гранат. Остался лишь один защитник нашего окопа — ангел Азраил с его сверкающим, обоюдоострым мечом. Напрасно я сказал, что он не в счёт.

В счёт!

КОРОТКИЙ СПИСОК

(сцены из дачной жизни)

Об этом случае на дачах много говорили, особенно поначалу; потом он быстро забылся. Поначалу же у колодца с растрескавшимся воротом и замшелым срубом, изнутри обросшим жёлтыми грибами, на волейбольной площадке, красной от кирпичной крошки, в пристанционном магазине, где покупали сахарный песок для варенья (больше там ничего не продавали), не проходило дня, чтобы кто-нибудь не вспомнил: “На сороковой-то даче... хозяин... недавно похоронили... совсем молодой”. “Не молодой, а пятьдесят-то было, да ещё с гаком, — возражал кто-нибудь в очереди. — И не на сороковой, а аккурат на сорок четвёртой”. “Да, да, на сорок четвёртой, — подтверждали другие. — Он ещё всем книжки свои дарил с надписью. Фамилия-то совсем простая — Сидоров, а учёный человек”.

Из-за книжек Евгения Фёдоровича Сидорова и знали соседи — и ближние, и дальние, жившие в заболоченной низинке за железнодорожным переездом. Очень уж он любил их дарить. Причём книжечки маленькие, иные — со спичечный коробок, и носил он их почему-то за обшлагом резинового сапога, хотя ему трудно было нагибаться (сердце стучало). Нагнётся, достанет из-за обшлага книжечку, выпрямится и скажет с напускным пренебрежением: “Ну, это так, ерунда, переводы... А вот скоро я подарю вам большую книгу, в тысячу страниц, настоящую”.

Но вот так и не подарил.

Был он коренастый, приземистый, с лицом цвета забродившей винной ягоды, ухоженной бородкой, которую любил по-всякому стричь и придавать ей разную форму — от профессорской, слегка заострённой книзу, до шкиперской, курчавившейся по скулам. Носил какую-то французскую капитанскую фуражку (где он её достал?), из-под которой выбивалась пышная, красивая седина.

Впрочем, всё это мелочи, и вряд ли они имеют теперь значение. Человека-то нет, а уж какая у него была шевелюра, какая бородка — всё это стало чёрточкой, прочерком между двумя датами на могильном камне.

I

Портниху Матильду Бубликову, востроносую и шепелявую (потеряла передний зуб) Сидоровы пригласили — это надо особо подчеркнуть — на дачу. Обычно ездили к ней на Соколиную гору, где она кроила и строчила в комнатухе под самой крышей, раскалённой от солнца. Или вызывали Матильду с её баулами к себе в Печатники.

А тут — на дачу, и не вызов, а приглашение: “Извольте... пожалуйста”. На это, конечно же, были причины: выпускной вечер у Насти и забрезжившая возможность попасть в Короткий список у Артура. Поэтому обим надо заручиться, что им сошьют вовремя. И не просто сошьют, а *сошьют*, чтобы это смотрелось, чтобы оборачивались, ахали, обсуждали, судачили.

Ну, и по мелочи — на лето — тоже никуда не денешься: надо... К тому же у них гостила дальняя родственница с Сахалина, Лариса Фоминична, амбициозная дама, с претензиями, да и многие родственники и знакомые наезжали на день-на два.

Словом, всем хочется, всем надо...

Дачный сезон у них начался немного раньше обычного — в конце мая, как раз, девственно млея, зацвела сирень и зашлась душистым дурманом черёмуха. За неделю они успели обжиться, перемыть все кастрюли, высушить на солнце подушки и матрасы. Несколько раз даже топили, чтобы хорошенько прогреть отсыревший за зиму дом. От печного тепла янтарная смола в трещинах сосновых брёвен оттаяла, стала подтекать, ожила и заблестела. С зеркала на террасе сошла последняя изморозь. Цветные ромбовые стеклышки в дверцах буфета заискрились и заиграли.

Словом, обосновались на всё лето, и совершать исход обратно в Москву — даже по такому важному поводу, как примерка, — никак не хотелось.

Вот Евгений Фёдорович (жена прозвала его Мой Месье) и позвонил Матильде. Ради этого вломился с мобильником в сырой, заглохший малинник (мобильник — малинник: он, переводивший трубадуров, любил, когда рифмы сами выскакивали), где лучше всего *соединялось* и *брало*. Забрался и по неуклюжести своей наступил ногой во что-то проржавевшее, наполненное талой водой и скверно пахнувшее, а потом долго не мог сбросить — струсить — с ноги эту гадость.

Струсить-то, наконец, струсил, но пришлось доставать из дивана сухие ботинки, переобуться и вторично звонить уже с террасы, там тоже брало, но только хуже. За спиной же стояла Альбертина Ивановна и, пользуясь тем, что зеркало отражало их обоих (у неё покраснело веко из-за какой-то инфекции, и выгоревшие на солнце волосы повело в лимонную желтизну), дирижировала разговором.

Скупыми жестами она, как опытный дирижёр, давала нужные указания, следя за тем, чтобы муж зря не любезничал и не увязал в излишних подробностях: “Скажи о главном. О главном не забудь”, — настойчиво и методично твердила она, учитывая, что Евгений Фёдорович одновременно слышит два голоса — её и Матильды, — и поэтому, скорее всего, не слышит ни одного.

Главное же заключалось в том, что Сидоровы приглашали Матильду не ради одной примерки, а с целью устроить ей отдых, оставить у себя на весь день, накормить обедом, налить ей стаканчик (из рюмки она не пила) и, главное, угостить *зефи-и-и-ром*, как заливался соловьём, произнося это слово, Евгений Фёдорович. Это была, разумеется, шутка, рассчитанная на то, что Матильда знала лишь один зефир — в шоколаде (могла за чаем съесть целую коробку). А они намеревались приобщить её к другому, ей неведомому (дни напролёт горбилась над швейной машинкой), поскольку воздух у них на даче — истинный зефир.

Вот пусть она этим *зефиром* и подышит, раскачиваясь в гамаке; погуляет по дачным просекам, сплетёт на голову венок из ромашек. Может быть, даже искупается, хотя сами они ещё не решались, лишь боязливо опускали термометр в речную воду. Термометр сохранился с тех времён, когда дочь Настю купали в ванночке, и до сих пор точно показывал: плюс восемнадцать-девятнадцать.

Всё-таки холодно, чего доброго, ангину схватишь.

II

С примеркой же успеется — куда она денется. Да и, признаться, надобности особой в ней не было, в примерке, поскольку Матильда шла для Сидоровых уже не первый год. Приноровилась, приспособилась. Мигом схватывала, кто раздобрел, раздался в поясище и плечах, а кому, наоборот, заузить талию. Сейчас особенно усердно обшивала Настю. Та вошла в возраст, когда нужны наряды. И Матильда старалась, вникала, чуть ли не обнюхивала её сверху донизу — знала каждый выступ, изгиб, впадинку на цыплячем тельце.

Настя была некрасивая (одно утешение, что при этом добрая, хотя утешение ли?), нескладная, длиннорукая, с неразвитыми бугорками на груди, словно у семилетней. И к тому же — вся в отца, чьи черты придавали ей что-то мужское и тем её особенно портили. Но Матильда умела там убавить, там прибавить, там открыть, там задрапировать и все недостатки фигуры сгладить, обратить в достоинства. Настя одевалась у нее, как краля с Крещатика (Матильда до Москвы жила на Украине), умела держать фасон, среди одноклассников считалась модницей и франтихой.

Правда, мальчиков у Насти всё равно не было, но, во всяком случае, она не выглядела кулемой со спущенным чулком, не вызывала к себе жалости и насмешливого презрения. Поэтому Сидоровы Матильду восхваляли, ублажали, на руках носили. При ней даже Украину не особо ругали, старались сдерживаться, отмалчиваться. Всегда платили Матильде вдвое больше, чем

она из скромности просила, и ко дню рождения делали подарки. Однажды даже подарили круиз по Волге.

На этот раз — помимо платья для выпускного — Альбертина Ивановна заказала для Насти ещё лёгкий сарафан и юбку на лето. С юбкой у неё был связан особый умысел, стратегический расчёт, среди родственников — дачного общества — не разглашаемый. Но Матильде она доверительно шепнула: “Голубушка, умоляю, — покороче”. Всё-таки дочери уже семнадцать — возраст, когда надо себя и показать, пусть даже с вызовом, с риском. Она уже предвидела, что консервативный лагерь, возглавляемый мужем, заартачится, даже ужаснётся, станет наверняка протестовать. Но она решила выдержать осаду. Её дачные протестанты ещё спасибо ей скажут, когда вдруг выяснится, что мальчигов не было-не было — и вот они есть, звонят по десять раз на дню, маячат под окнами и провожают до дома.

Отчасти из суеверия, чтобы не спугнуть в себе эту надежду, Альбертина Ивановна к семнадцатилетию надела Насте на палец серебряное кольцо с бирюзой и украсила запястье золотыми часиками, семейной реликвией, наследством умершей бабушки. Дочь обмерла, даже присела (коленки подогнулись) от восхищения. Долго красовалась с полученными дарами у зеркала. Озирала себя из-за выгнутого плеча. А Альбертина Ивановна, довольная, горделивая, на неё исподволь любовалась, за ней оценивающе следила.

Пусть носит: вещи старинные, авось, принесут ей счастье.

III

Матильде дали три дачных поезда, так чаще именовали теперь электрички, какими удобно ехать, поскольку они были дальними и шли почти без остановок. Забывчивую ротозейку Матильду попросили точно записать время и предупредили, чтобы на последний из перечисленных поездов она ни в коем случае не опаздывала: “Уж вы, пожалуйста, голубушка”.

Не опаздывала, поскольку затем — глухой перерыв (“Обрыв”, как у Гончарова?” — шутил Евгений Фёдорович). Придётся ждать, томиться и скучать больше часа. Таким образом, Матильде предоставлялась свобода выбора (у нас всюду теперь свобода), а с себя Сидоровы снимали пусть и не слишком обременительную, но всё-таки и не самую приятную обязанность — её встречать.

Альбертина Ивановна по опыту знала, что никого на этот подвиг Матросова (она успела побыть несколько лет в комсомоле) не вдохновишь. Каждый станет отказываться, отбодряваться, картинно изображать и расписывать, как он, видите ли, занят, бедняжка, хотя у всех одно занятие — валяться на диване, качаться в скрипучем гамаке и лежать в выцветшем от солнца, полосатом шезлонге.

При этом у Сидоровых было одно оправдание (хотя они не из тех, кто оправдывается). Матильда уже бывала у них на даче лет пять назад, когда шли строгий академический костюм для Евгения Фёдоровича: он защищал докторскую по Вольтеру. Бывала и дорогу наверняка запомнила. Поэтому авось не заблудится, хотя за пять лет тут многое изменилось, старые курятники снесли, а новые коровники (ха-ха) понастроили.

Ну, не коровники, конечно (это шутка), но какая разница, как называть: суть-то одна. Да и от коровников больше пользы, чем от навороченных особняков, опоясанных открытой верандой, с красными крышами (под черепицу) и окнами во всю стену. Во всяком случае, так считал Евгений Фёдорович, Альбертина Ивановна же от трёхэтажного коровника, пожалуй, и не отказалась бы, хотя вслух об этом не высказывалась. Благоразумно помалкивала, чтобы не раздражать и без того вечно раздражённого в последнее время, хмурого и вспылчивого, при всех его шутках-прибаутках, мужа. Ко всем цеплялся, всех стремился ухватить, как рак клешней. Своего же первенца Артура просто замучил колкостями и вечными издёвками над его творчеством, а заодно и над нынешними литературными поветриями и премияльным ажиотажем.

IV

Матильда всё-таки умудрилась либо опоздать на поезд, либо безнадёжно заблудиться уже здесь, среди старых и пугающе новых дач. Могла, конечно, и остановку проспять — с неё станется, готова спать на любом торчке. Впрочем, о причинах оставалось только гадать, налицо же была удручающая картина. Последний до перерыва дачный поезд давно отсвистал, покидая их станцию, а Матильда так и не появилась во всей своей красе, с рюкзаком и баулами — переносной пошивочный цех.

А тут ещё за лесом потемнело, стало погромыхивать. Яблони замерли в безветрии, и потянуло холодком. Совсем нехорошо. Всей дачей отправились её разыскивать. Выкликали, аукали, как в лесу, пока, наконец, не обнаружилось, что Матильда заплыла сомнамбулой на участок профессора Сухого, бывшего заведующего кафедрой, грозы соискателей, Зевса-громовержца, оппонента Евгения Фёдоровича (его гроза миновала), а ныне — дачного сидельца, собирателя грибов и ягод. И там её обласкали, приютили и даже стаканчик налили, отчего она раскраснелась, разомлела и поплыла — стала выступать за правду и даже пыталась по-украински запеть.

— Отыскалась, мерзавка! Наконец-то! Ну, слава Богу! — Евгений Фёдорович обладал способностью так добродушно улыбаться, что в его устах любые бранные слова не воспринимались как ругательства, а приобретали шутиливый, совсем необидный, даже ласковый оттенок.

Он первым углядел Матильду (при его появлении та сразу присмирела) и победоносным жестом руки оповестил об этом остальную компанию, отставшую от него на изрядное расстояние; отстали все, кроме жены.

— Ну, слава Богу! — с легкомысленной беспечностью повторила Альбертина Ивановна, придавая этим словам светский оттенок и освобождая их от клерикального налёта. — Голубушка, мы вас повсюду разыскиваем. Где вы запропастились? Забыли к нам дорогу?

— Тут всё так поменялось — я сдуру и сплеховала, — стала обидчиво и вызывающе оправдываться Матильда, тем самым склоняя Сидоровых к мысли, что виноваты всё же они.

“Водку пить ты не сплеховала”, — подумала Альбертина Ивановна, но не позволила себе сказать об этом вслух.

— Надо было вас встретить, конечно. Но уж всем у нас недосуг. — Альбертина Ивановна бросила косвенный упрёк любителям качаться в гамаке и валяться на диване. — А вас здесь, гляжу, хорошо принимают. — Независимо от этой реплики, таившей в себе замаскированный упрёк, она взглядом приветливо поздоровалась с хозяевами.

Те сидели за садовым столом под орешником — сидели вместе с Матильдой (начатую бутылку сразу убрали в траву) и вместе с ней почтительно встали при появлении гостей.

— А мне и невдомёк, что это к вам. “Где дача Сидоровых?” — спросила она. А у нас тут трое Сидоровых, — напевно запричитала хозяйка Марфа Даниловна и преданно посмотрела на мужа, словно в его присутствии ей легче было оправдываться.

Альбертина Ивановна любезно улыбнулась, скрывая раздражение: им указали на то, что они Сидоровы, и еще третьи по счёту в посёлке.

— Трое-то трое, а такие, как мы, — одни.

Она тронула мизинцем покрасневшее веко, как будто и оно свидетельствовало об их уникальности.

— Те-то, прочие, небось, доценты, а мы зато — профессора, — вмешалась Лариса Жемчужная, дальняя родственница, гостившая у Сидоровых и считавшая нужным им постоянно льстить — так, что было непонятно, льстит она или тайне издевается.

— Ну, хватит! — гневно полыхнул Евгений Фёдорович: у него вдруг испортилось настроение — испортилось настолько, что в устах дальней родственницы он бы предпочёл издевку лести. — Ещё не хватало титулами меряться. Наградами брэнчать. Перед наукой все равны, как перед Богом.

Это прозвучало настолько некстати, что всем стало неловко.

— Ты последнее время слишком суров. — Альбертина Ивановна досадливо тронула веко и вновь озаботилась тем, чтобы освободить высказывание мужа от клерикального налёта. — Всё-таки всем надо воздавать по заслугам. Награды просто так не даются. Кто у нас знает французов так, как ты. И я благодарна Дмитрию Дмитриевичу за то, что он, выступая на защите, твоих заслуг не скрывал и голосовал, конечно же, за тебя. — Было похоже, что, если бы перед ней сейчас оказалась наполненная до краев рюмка, она бы, не раздумывая, выпила за Дмитрия Дмитриевича.

— Ну, что вы, что вы! Мне теперь только грибы собирать. — Хозяин дачи заскромничал и смутился, покраснев, как девушка.

— Да лучше бы ты мне чёрный шар вкатил, — буркнул (бухнул) Евгений Фёдорович, — Ей-богу, брат, лучше бы! Провалился бы с треском, бросил всё к чертовой бабушке, стал бы брёвна пилить или мостить дороги!

— Знаем мы твои дороги, мостовик ты наш. — Альбертина Ивановна одной рукой обняла мужа, чтобы он не слишком разбушевался, а жестом другой (при поддержке взглядом, устремлённым поверх голов) умудрилась через стол задать немой вопрос Матильде, на который та торопливо ответила:

— Будет, будет примерка. Всё готово. Привезла. — Матильда попробовала на вес стоявшие рядом баулы. — Прощайте. Спасибо за угощение и не поминайте лихом, — с поклоном обратилась она к хозяевам, посчитав, что пора с ними попрощаться.

— А глаза мне не выцарапаете? — Дмитрий Дмитриевич улыбнулся половиной рта и счёл нужным объяснить прибывшим: — Я тут по неосторожности высказался об Украине — так в ответ мне чуть лицо не расцарапали.

Украиной он называл Украину.

— Простите, не сдержалась. — Матильда виновато опустила глаза.

— Ладно, ладно. Я не в обиде.

— У нас Украину... гм... Украину трогать нельзя — при таких защитниках. Так что вы рисковали. — Альбертина Ивановна искала ноту, на которой можно было бы расстаться с хозяевами.

— У нас только Россию можно, — добавил Евгений Фёдорович как бы от имени жены, хотя она с недоумением показывала, что никогда бы ничего подобного не сказала.

V

Поскольку Матильда растранижирила столько времени на даче у Сухих и так припозднилась, программу дня решили перекроить.

Перекроить и всё-таки начать не с обещанного ей отдыха, а с примерки, а там уж как сложится. Если не будет дождя (край неба затягивала лиловая хмарь, и вдалеке посверкивало), то можно успеть и с гамаком, и с венком из ромашек, и с прочими мильми глупостями.

Обедать же хорошо и в дождь, при открытых дверях, под клубящуюся изморось, теньканье капель по дну перевёрнутого ведёрка, под сполохи молний и глухое ворчание грома.

Таким образом, примерка прежде всего. Переносить её теперь нельзя, иначе после обеда все размякнут, раскиснут и будет совсем не то настроение. Поэтому Альбертина Ивановна, дабы Матильда слегка отдохнула с дороги, лишь провела её по участку. Показала (не без гордости) рядами посаженную смородину, красную и чёрную (намёк на один из любимых романов Ивана Францевича, своего отца), белёные яблони, клубничные гряды, где щепками и прутиками, воткнутыми в землю, были обозначены обещавшие скоро созреть ягоды. Показать-то показала, но — ещё не созрели, угощать нечем — пригласила её в дом, тем более что стало накрапывать. Пригласила с озорным намёком, лукавым предуведомлением, призванным заинтриговать: там, мол, кое-что припасено, есть чем угостить, попотчевать с дороги.

В доме она открыла дверцы с ромбовыми стёклашками, достала графин, налила стаканчик и протянула Матильде с видом праведницы, нарушающей священную заповедь не спаивать ближнего.

— Хлебни-ка, раз уж ты уже начала... там, у Сухих...

Матильда умилилась, расчувствовалась, чуть не всплакнула из благодарности.

— Ой, спасибо, спасибочки, хоть горло промочу... — зашепелявила она, прикрывая ладонью рот, и отважно выпила — разом опрокинула стаканчик, оставив по краям следы дешёвой помады. В это время сурово и осуждающе громыхнул гром. Матильда не на шутку перепугалась, вздрогнула, перекрестилась. — Ой, Илья-пророк на меня осерчал.

— Не говори глупостей. Испепелит тебя сейчас твой Илья-пророк. Превратит в обугленную картошку. Лучше скажи, как же это ты хотела Дмитрию Дмитриевичу глаза выцарапать?

— Ой, мама, да я сама не знаю. — В особые моменты, и только наедине, Матильда называла Альбертину Ивановну мамой, что было очень трогательно и не вызывало у неё протеста. — Он мне про Украину да про майдан всё бу-бу-бу. А мне до того обидно...

— Что ж тебе обидно?

— Да по его выходит, что все у нас там трёхнутые или, как он гутарит, майданутые. Вот я и не стерпела.

— Да вы и, правда, все там перебесились, дурыю маетесь. Ладно, ладно, не горячись... — Альбертина Ивановна слегка подула в сторону Матильды, словно бы остужая её горячую голову. — А Дмитрий Дмитриевич, чтоб ты знала, очень умный человек и необыкновенно добрый. — Альбертине Ивановне вспомнилось недавнее желание выпить за профессора Сухого, и она, снова наполнив стаканчик, чуть-чуть пригубила его. — Ведь, если честно, диссертация Евгения Фёдоровича была так себе, совсем слабая, плохонькая, и без Дмитрия Дмитриевича он бы никогда не защитился. Поэтому я сомневаюсь, чтобы Дмитрий Дмитриевич кого-то назвал тронутым или, как ты говоришь, трёхнутым.

— Да лопни мои глаза... Я сама слышала. — Матильда округлила глаза, словно помогая им лопнуть.

— Не кипятись. Снова ты!.. Если и назвал, то, значит, вложил в это свой смысл, твоему разумению недоступный.

— Что ж, я, по-вашему, дурочка?

— Не без этого. Только не сердись, но не без этого.

— Я и не сержусь. — Матильде хотелось ещё о чём-то поговорить, чтобы у неё был повод дойти то, что осталось в стаканчике. — А почему диссертация Евгения Фёдоровича плохонькая?

— Не хотелось ему писать. Душа не лежала. Он ведь выбрал эту тему под влиянием моего отца, любившего Францию больше всего на свете. Помню, расхаживал по кабинету, оттягивал на себе помочи, затем спускал, как тетиву лука, чтобы непременно был громкий хлопок, и повторял: “А ведь в отрезанной голове Жюльена Сореля, которую возила с собой Матильда, — весь Достоевский”.

— Матильда? Какая ещё Матильда?

— А ты мнила себя единственной Матильдой? Нет, моя милая, придётся смириться с тем, что у тебя были предшественницы.

— Я смиряюсь.

— Тогда слушай дальше. Евгений Фёдорович моего отца боготворил. К тому же перед смертью Иван Францевич дал ему для диссертации очень ценные материалы, чтоб они не пропали. И Евгению Фёдоровичу пришлось за всё это братья, писать, рассылать авторефераты, — словом, защищаться, хотя особой любви к Франции, Стендалю, Вольтеру у него не было. Я не знаю, что он вообще любил. Боюсь, что я тебя заговорила, — сказала она, заметив, что Матильда стала клевать носом.

— Нет, нет, я слушаю...

— Между прочим, отец назвал меня Альбертиной из-за любви к Прусту. — Альбертина Ивановна вспомнила, что Матильда может и не знать (даже наверняка не знает), кто такой Пруст, и добавила: — Писатель такой был во Франции. Впрочем, тебе неинтересно...

— Он уже умер? — спросила Матильда, показывая, что её кое-что всё же интересует.

— Умер, умер, — успокоила её Альбертина Ивановна так, словно её это интересовало меньше всего.

VI

Для примерки выбрали комнату Артура (там в это время дня было больше всего света), и его самого вежливо оттуда попросили: “Дружок, погуляй немного. Мы скоро. Много времени это не займёт”. Он не возражал с таким видом, словно заранее знал, что, если бы и возразил, его всё равно бы обступили, заговорили и выпроводили.

За окнами сначала заморосил, а затем полил дождь — слитно застучал по крышам. Стал наполняться старый, облупленный таз, поставленный под водосточную трубу, мелкими брызгами покрылись стёклышки в переплётах террасы, на кирпичных дорожках ожили, заплясали фонтанчики. Стало ясно, что погулять даже при всём желании не удастся, и Артур определил себе задачу (испытание) — заглянуть к отцу. Последнее время они если и разговаривали, то всё как-то не так, нехорошо, в разных тональностях, и он надеялся исправить это и избавиться от дурного осадка, оставшегося после неудачных разговоров.

Евгений Фёдорович встретил сына так, будто только его и поджидал, но поджидал не для того, чтобы что-то исправить, сгладить, смягчить, уравновесить. Нет, словно нарочно он стал тыкать в больное место и заговорил о самом неприятном для сына:

— А скажи, милый, что это ты вздумал романы писать? Или все сейчас пишут? — Он откинулся в разлапистом, завалившемся набор кресле с широкими подлокотниками, застеленном лосиной шкуркой.

— Ты уже спрашивал. — Артур опустил глаза, на скулах у него дрогнул узелок.

— Спрашивал, но ты мне толком не ответил. — Евгений Фёдорович старался говорить резонно, с убедительными, непроверяемыми доводами. — Ты же, прости меня, не писатель. У тебя другая специальность, ничуть не хуже. Ты — врач “скорой помощи”. Вот и ездил бы по вызовам...

— Я не девушка, чтобы ездить по вызовам, — отшутился сын со скучающим и безразличным видом.

— Ба! Что я слышу? — Евгений Фёдорович, наоборот, возликовал и возвеселился: очень уж его занимало высказывание сына. — Оказывается, ты не девушка. Поздравляю. Это достижение.

— А что я слышу? — Артур поднял глаза и посмотрел прямо на отца.

— Ты? Я полагаю, ты слышишь то, что я тебе говорю. Или я ошибаюсь?

— Ошибаешься. Я слышу, что ты снова хочешь меня оскорбить и унижить, как в детстве.

— За что же в детстве я тебя унижал?

— За то, что я считался маминим сыном, а не твоим.

— Вы с ней даже болели одинаковыми болезнями. Кстати, вон у тебя тоже покраснело веко.

Артур жестом Альбертины Ивановны тронул веко.

— Последнее время это повторяется постоянно.

— Что именно?

— Унижения и оскорбления.

— Возможно, но, боюсь, “Униженных и оскорблённых” тебе не создать, — сказал Евгений Фёдорович и неожиданно как-то скривился, что-то промычал, закрыв лицо руками. — Прости, прости. Сам чувствую, что говорю не то, порю чепуховину, но остановиться не могу. Накипело, наверное.

— Что у тебя накипело? — с вкрадчивой любезностью осведомился Артур. — Давай разберёмся.

— Да хотя бы то, что в каждом твоём романе больше трупов, чем во всех драмах Шекспира.

— Меня сравнивают с Шекспиром? Уже хорошо. А насчёт трупов... Когда на твоих глазах умирают люди, когда ты слышишь стоны, хрипы, удушливый кашель, видишь кровь, гной, мокроту...

— Согласен, согласен. Как врач “скорой помощи” ты прав. И издательства тебя в этом поддерживают. Ты для них выгодная находка. — Он разгладил ладонями подлокотники кресла и посмотрел на ладони, словно после этого они приобрели некое новое свойство. — Но всё-таки позволю себе заметить, что задача литературы не совать нам под нос гной и мокроту, а описывать нашу жизнь и человеческие отношения... Или не так?

— Когда-то, может, было и так, а сейчас... не знаю... — Сын отвернулся.

— Знаешь. Всё ты прекрасно знаешь. И пользуешься моментом, пока не поздно.

— Каким же это? — не поворачиваясь, спросил он. — Любопытно...

— А таким, что все ослепли. Все забыли, перестали понимать, что такое литература, талант, призвание. Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов, Бунин, Горький, Шолохов — они где-то есть, но далеко, в густом тумане. Зато здесь, близко — мы. Наконец-то всё оказалось в наших руках — редакции, издательства, премии — всё. Как же этим не воспользоваться! Нельзя упускать свой шанс. Не упускать и не подпускать других и, прежде всего, одряхлевших, одиноких, голодающих стариков — тех самых, из бывших, которым тоже хочется. Хочется, а мы их не подпустим. А лучше всего съедим с потрохами, как молодые людоеды съедают тех, кто неспособен охотиться на бизонов и ловить крокодилов.

— Отец, мне кажется, ты снова впадаешь... Какие-то людоеды... Где ты их нашёл?

— Не буду, не буду. — Евгений Фёдорович вспомнил о намерении больше не пороть чепуху. — Но давай возьмём хотя бы премии, все эти короткие списки. Или для тебя это святое? Касаться нельзя?

— Почему же? Нет, давай возьмём... — со скучающим интересом согласился Артур.

VII

Евгений Фёдорович снова погладил ладонями подлокотники кресла, словно это доставляло ему такое же удовольствие, как и мысль, которую он собирался высказать.

— По-моему, если бы кто-то вознамерился уничтожить нашу литературу, то для этого не нашлось бы лучшего средства, чем премии. — Он откинулся на спинку кресла с таким облегчением, словно можно было ничего не добавлять к сказанному, но всё-таки добавил по лекторской привычке всё разъяснять до конца: — В этом смысле любая премия, извини меня, — проект, а проект — это вброс денег и технология, позволяющая добиться поставленной цели. Благородный старик Нобель ужаснулся бы, если б ему сказали, что такое будет возможно. Иными словами, премии подчиняются всем законам информационного общества или, если угодно, стада, каковым мы теперь являемся, да иначе и быть не может.

— Что-то слишком мудрёно, отец. — Артур любил называть мудрёными самые простые вещи, не столько недоступные, сколько противные его пониманию. — И какая цель у этого проекта?

— Я же сказал: уничтожить ту настоящую, подлинную литературу, которой мы так гордились. — Евгений Фёдорович смолк, но затем всё-таки поддался искушению продолжить: — И заменить её подделкой, китчем, суррогатом — называй, как тебе нравится.

— Забавно. Вообще-то принято считать, что премии способствуют развитию, подъёму, расцвету литературы.

— Да, так принято считать, и многие считают. Тем легче подsunуть под это определение совсем другую...

— А-а-а!! Не хочу! Не хочу! — вдруг визгливым, истошным голосом закричал кто-то внизу, возле террасы, закричал, разрыдался и закашлялся.

Евгений Фёдорович и Артур, переглянувшись, разом бросились к окну, но оттуда ничего не было видно, и они распахнули дверь на балкон.

— Что там случилось?

— Ничего, ничего. Это Настя. Юбка ей не понравилась. Истерику заката. Сейчас пройдёт, — ответили им снизу.

— Юбка не понравилась. — Евгений Фёдорович и Артур вернулись на прежние места в комнате. — Так о чём мы?

— О коротком списке, отец.

— Да, мой милый, сокращается... — Евгений Фёдорович не мог отвлечься от наплыва своих мыслей. — ...сокращается и без того короткий список прожитых дней. И за каждый из них придётся держать ответ перед Богом.

— Я в Бога не верю, — не слушая отца, сказал Артур.

— Ах, извини, — спохватился Евгений Фёдорович. — Ты же ещё молод, ждёшь короткого списка, а я пустился в рассуждения. Я искренне желаю тебе успеха. Если пришла твоя очередь, тебе, конечно, дадут.

— Значит, всё решает очередь?

— Очерёдность, — поправился Евгений Фёдорович. — Если уровень художественности у всех один — ниже среднего, уж ты прости, то всё решает принадлежность и очерёдность. — Он снова подошёл к окну. — Что она так раскричалась? Почему ей не понравилась юбка?

— Принадлежность к кому? — Артуру было досадно, что отец обращает такое внимание на Настю, а не на него, хотя его писательство и расчёты на премию гораздо важнее, чем какая-то юбка.

— Ну, к определённом клану, определённой группе или, как сейчас говорят, тусовке. Ты к ней принадлежишь, насколько я понимаю, вот и жди своей очереди.

— А если не принадлежу?

— Принадлежишь, иначе бы ты не названивал в жюри, не осведомлялся, не заводил эти бесконечные разговоры.

— Но я же волнуюсь, переживаю... Это естественно. На моём месте бы каждый... Ты тоже переживал перед защитой твоей докторской.

— Кто ж тебя упрекает! — воскликнул Евгений Фёдорович и поймал себя на мысли, что упрекает, прежде всего, он сам. — Ради премии надо хорошо поработать. Хорошо бы, к примеру, посидеть годик-другой в жюри. Затем можно дать скандальное интервью... Крым вспомнить...

— Ах, боже мой, да этих интервью я уже дал с десяток!

— Отлично! — воскликнул Евгений Фёдорович с озабоченным выражением лица, которое никак не соответствовало этому возгласу. — Что-то у меня лампа на столе не горит... — Он подёргал за шнурок выключателя.

— Зачем тебе лампа?

— Смотри, как потемнело из-за дождя. Сейчас снова польёт, и ещё сильнее. Это знак.

— Какой знак? От Ильи-пророка?

— А такой, что не видать тебе премии.

— Почему это?

— А потому, что по твоим писаниям должно чувствоваться: Россия — это дрянь, свалка, помой, никудышная страна без истории и без будущего.

— А разве у меня не чувствуется?

— Вот ты и попался! — рассмеялся Евгений Фёдорович после того, как, испытывая сына, выдержал недолгую паузу. — Ловко я тебя подловил? Для тебя, значит, Россия — помой?

— Ну, не совсем, конечно... — Артур смутился, вынужденный признать, что попал в подстроенную ему ловушку. — А ты у нас, значит, славянофил?

— Никогда об этом не думал.

— Как же, как же! "...Богом хранимая и берегаемая... берегаемая для какого-то неведомого будущего".

— Кого это ты цитируешь?

— Тебя.

— Неужели? — произнёс Евгений Фёдорович и вдруг просиял: — Свето-ка, лампа-то зажглась.

VIII

После ухода Артура Евгений Фёдорович, постукивая карандашом по столу, в отрешённой задумчивости произнёс: “Обжалованию не подлежит... не подлежит... обжалованию не...” Затем озадачился тем, какой смысл он вкладывает в эту фразу, и с удивлением обнаружил, что — никакого. “Никакого смысла... никакого смысла”. Хотел встать и тоже выйти, но в это время над головой так оглушительно — адски — треснуло, что он снова оторопело сел. Посмотрел, что у него в руке. Карандаш. Евгений Фёдорович сразу срифмовал: “Карандаш, карандаш — вот какой он, мальчик наш”. Громко рассмеялся, хотя повода для смеха не было. Спросил себя (глубокомысленный вопрос): “А я что бы ответил по короткому списку?” Засопел. Решил всё же встать и, опершись о подлокотники, тяжело приподнялся с кресла. Оказалось, что отсидел ногу. Неуверенно шагнул. Зашатался. И вот вам сюрприз: в дверях кабинета столкнулся с женой.

— Ты слышал, как она кричала? — спросила Альбертина Ивановна так, словно она не признала бы никакого ответа, кроме утвердительного.

С Евгения Фёдоровича мигом слетела его отрешённость.

— Настя-то? Ну, слышал, слышал. Из-за юбки?

Жена стала обстоятельно докладывать:

— Я просила Матильду сшить ей покороче, выше колен, но оказалось, что этого мало, что ей надо под самую задницу.

— Насте-то?

— Ну, что ты заладил одно и то же! Насте, Насте! Кому же ещё!

— Зачем? У неё не такие уж стройные ноги.

— Ты задал хороший вопрос. Я тебе на него отвечу — только держись за стену. Держись?

— Ну, допустим.

— Настя мечтает стать путаной. — Альбертина Ивановна изобразила на лице улыбку (улыбочку), всем своим видом показывая, что хорош был бы тот, кто ей не поверил бы или попытался обратить её слова во что-то иное.

— Проституткой? — спросил Евгений Фёдорович и невольно подумал, что не хватало бы ещё икнуть на этом слове, как актёру комедийного фильма.

Жена снисходительно пояснила (“Товарищ не понимает!”):

— У них в моде другое слово, более благозвучное, — путана.

— Что за дурь?

— Дурь или не дурь, а твоя дочь этим всерьёз озабочена.

— Мне такая дочь не нужна.

— Ну вот, начинается лирика.

— Мне такая дочь не нужна, — повторил Евгений Фёдорович с упрямством, показывающим, что он готов повторить это ещё и ещё раз.

— Ага, тебе не нужна, а я опять должна со всем этим разбираться. Спасибо. Удружил.

— Вызови её ко мне.

— Не вызову, потому что ты умеешь только браниться, а тут надо с умом и лаской. — Альбертина Ивановна вдруг вспомнила о том, что, по её мнению, неплохо было бы присовокупить к уже сказанному: — Между прочим...

— Что “между прочим”? — Он насторожился, зная, что жена умеет не придавать значения самым важным вещам.

— Между прочим, наша Лариса ей шепнула: “Милочка, приезжай ко мне. Я тебя возьму”. Оказывается, у неё там, на Сахалине, заведение.

— Ах, какая дрянь! И мы её принимаем! Гнать её к чёртовой матери!

— Пойди — прогони, а она наплетёт с три короба, что она не так сказала, её не так поняли, что её заведение — пансион благородных девиц.

— Да я с ней теперь за стол не сяду.

— Хорошо, мы будем приносить завтрак тебе в кабинет. Так и тебе, и нам будет только лучше.

— Ладно, зови Настю.

Евгений Фёдорович вдруг почувствовал, что устал, что ему всё равно и он не настаивает на своей просьбе. Именно поэтому жена её выполнила так, словно это была не просьба, а приказ.

IX

Настя поднялась к отцу, показывая, какая она послушная, примерного поведения. Встала в дверях с улыбочкой. Улыбочка — будто приклеенная, и — во весь рот, словно Настя подражала кому-то, умеющему изображать из себя клоуна. Кому-то из её класса (в каждом классе есть такие), кто ей явно нравился и казался героем, грозой молоденьких училок. Наверное, она даже жалела, что он сейчас её не видит, а то — в отличие от отца — оценил бы. Но — ничего, она ему потом расскажет, и они вместе посмеются.

— Ну, что там с юбкой? — спросил он хмуро и озабоченно, словно его вынуждала к этому необходимость (дочь к нему пожаловала для разговора), а не желание от неё что-то услышать и узнать.

— Мне не нравится. — Капризный ответ Насти был продолжением клоунады.

Теперь Евгению Фёдоровичу следовало набраться терпения и спросить:

— Почему?

— Очень короткая, а я хочу ниже колен. А ещё лучше — до щиколоток. Он попытался осторожно выяснить её намерения.

— Ты смеёшься?

— Плачу, — дрожащим голосом пролепетала она и для большего юмористического эффекта часто-часто заморгала.

— Отчего же ты плачешь? — спросил Евгений Фёдорович и сам же предложил ей ответ: — Родители у тебя такие глупые, тебя не понимают?

— Наоборот, очень умные, — отпартовала Настя. — Какое же тут понимание? Глупые бы поняли.

— Вот как ты рассуждаешь... Где ты всего *этого*, — он выделил голосом слово, придавая ему известное значение, — набралась?

— А *это* у нас что? — Настя прикинулась незнающей, наивной, неосведомлённой.

— А *это* у нас *то*, — в тон ей ответил Евгений Фёдорович. — И не надо изображать, будто ты не знаешь.

— Ах, значит, *то*!

— То самое.

— А у нас все девочки мечтают: либо модель, либо путана. Чем я хуже?

Евгений Фёдорович попытался сдержать в себе обличающий пафос и произнести как можно равнодушнее:

— Но ведь это гадость — собою торговать, продавать своё тело любому желающему.

— Почему? Сейчас всё продаётся, так почему бы не продавать тело? Тем более такое, как моё...

— А, по-твоему, какое оно у тебя?

— Цыплячье. За него много не дадут. Так, копейки...

Евгений Фёдорович хотел возразить, но не стал, посчитав, что Настя в общем-то права. Он зашёл с другой стороны.

— Ну, хорошо, допустим, что ты не красавица. Но ведь можно найти себя в чём-то ещё.

И вот тут-то его ожидал жестокий удар. Настя сказала тихим, вкрадчивым голосом, глядя ему прямо в глаза:

— И стать, как ты с твоей диссертацией... Уж лучше быть поваром и готовить десерты.

— Что ты несёшь!

— Все знают, что твоя диссертация провальная, что тебя за уши вытянули. Ты лишь жалкий эпигон Ивана Францевича.

— Замолчи! И не употребляй слов, значения которых ты не понимаешь.
— Не замолчу. Я давно это знала и ждала случая, чтобы всё тебе высказать. Я не папина дочка, и ты меня так больше не называй.
— Чья же ты тогда?
— Ничья.
— Прекрасно. Вот и уезжай на Сахалин с твоей Ларисой. Она тебя там пристроит, — произнёс Евгений Фёдорович, как произносят то, о чём потом жалеют.
— А может, я уеду на Украину с Матильдой и вступлю там в ряды.
— На какую Украину?
— На Украину.
— Тогда уж говори, что в Украину. Они так любят.
— Главное не то, что они любят, а то, что я люблю, — сказала Настя так, как будто у неё были все основания убедиться том, что, несмотря на желание, на все старания и потуги отца ей возразить, её слово окажется последним.

Х

Евгений Фёдорович никогда не чувствовал себя главой своего семейства. Не то чтобы он любил власть и мечтал о привилегии на всё взирать с высоты своего положения. Нет, власть сама по себе была ему чужда так же, как и слишком скрупулёзный анализ мелких фактов (терпеть не мог копаться в мелочах). Но речь шла о другом — о достоинстве, которым ему приходилось жертвовать и поступаться.

С ним не всегда считались. Он не мог утверждать, что к нему с уважением прислушиваются, его мнением дорожат, ценят даваемые им советы. Увы, не ценили, не дорожили и не прислушивались, даже подчас демонстративно затыкали уши, в чём особенно преуспела строптивая дочь Настя. Ладно бы он по слабоумию бормотал нечто невразумительное и невнятное, говорил откровенные глупости, но, что самое обидное, пренебрегали им даже тогда, когда он высказывал умные и полезные вещи.

Евгений Фёдорович объяснял это тем, что они слишком долго жили не отдельно, не своим домом, а вместе с тестем Иваном Францевичем (между собой его звали Жан-Жак). Иван Францевич похоронил жену, бабушку Артура и Насти, и ему было одиноко в большой квартире на Ленинском проспекте (он обрел её, вернувшись из лагеря и получив назад все свои звания и награды). Вот он и переманил, зазвал к себе дочь с мужем и сыном (Настя тогда ещё не родилась). И они зажили вместе, чему Евгений Фёдорович, благоговевший перед тестем, остроумцем, скабресником, говоруном, учёным зубром, был только рад, тем более что сам он застольным говоруном не был, если и острил, то втихомолку, а уж скабресничать и вовсе не умел.

Но постепенно он стал чувствовать, что это благоговение не просто лишило его главенствующей роли в собственной семье (с этим он бы, в конце концов, смирился), но наносило урон его достоинству и репутации в глазах близких. Жан-Жак заслонял его своим могучим авторитетом так, что Евгения Фёдоровича было и не видать, настолько он умалился и стушевывался.

С немалыми издержками для своего самолюбия приходилось признать, что Ивану Францевичу-то в семье все и подчинялось, хотя — надо отдать ему должное — по деликатности и особой (старорежимной) воспитанности он никому не навязывал своей воли и, упаси бог, не вмешивался в чужую жизнь. Наоборот, он всячески подчёркивал, что ему достаточно своего кабинета, книг до потолка и огромного немецкого письменного стола, кем-то откуда-то привезённого, и просил уволить его от всяких прочих дел: “Вы уж тут как-нибудь сами, без меня”.

Но стоило ему надолго устраниваться, не появляться перед всеми, перестать участвовать в их делах, выслушивать жалобы, исповеди и признания, как все чувствовали, что им его не хватает. Правдами и неправдами они проникали — просачивались — в кабинет Жан-Жака. Прежде всего, конечно, Альбертина Ивановна: “Папочка, ты к нам не выходишь, и я соскучилась”.

Но, кроме жены, и дети, вернее, старший из них, Артур, поскольку Настя родилась за три года до его смерти, но и то, едва научившись ходить, — сенила шажочками к любимому деду. И ни одно решение без него не принималось. Одобрение Жан-Жака называлось у них санкцией (знали бы они, какое значение это слово приобретёт в дальнейшем!).

Он дал санкцию, — значит, можно.

Евгений Фёдорович, конечно, ревновал, но и он подчинялся влиянию Жан-Жака. Слушал его, раскрыв рот, когда тот своим скрипучим, повизгивающим голосом, морща покатый лоб, рассказывал о лагерном прошлом. По его словам, в бараке, где он жил, собралось изысканное общество академиков и профессоров, подлинный цвет науки, и они вдохновенно спорили, пророчествовали, — словом, устраивали платоновские пиры. “Как это ни парадоксально, там была наука. Вот бы и тебе посидеть, но сейчас уже, увы, не сажают. Не дёргают, как овощи с грядки”, — говорил он Евгению Фёдоровичу, и по этим словам чувствовалось, что тот в его мнении немного недобирает и как ученик, последователь, продолжатель числится в середнячках или даже отстающих.

Евгений Фёдорович и сам это чувствовал, из-за этого страдал и был несчастен. Его мучило противоречие: живя бок о бок с Жан-Жаком, он не мог и помыслить, чтобы заниматься чем-то иным, кроме Франции, и в то же время он страдал и был несчастен, сознавая, что Франция ему не даётся, ускользает от него, и ему делаются смешны собственные жалкие старания и потуги к ней приблизиться.

Он любил трубадуров, восхищался Вольтером, но, к примеру, продрагаться сквозь разросшийся, колючий кустарник Марсея Пруста не мог — на это его не хватало, а для Ивана Францевича Пруст-то и был критерием, мерилом оценки. Недаром он часто с одобрением повторял про кого-то из своих знакомых: “С ним можно поговорить о Прусте. Уж он не спутает доктора Котара и барона де Шарлю”. А Евгений Фёдорович путал — безбожно путал Альбертину с Жильбертой, семью Вердюренов с семейством Говожо. И поэтому с ним поговорить о Прусте было никак нельзя.

Даже жена внушала ему, когда он пытался в очередной раз объяснить ей в любви: “Знаю, знаю. Тебе всё во мне нравится, кроме моего имени. Но будь уверен, что я просто наречена Альбертиной и её грехов на мне нет. — И всё-таки лучше бы ты была хотя бы Матильдой. — Ага, я замечала твоё пристрастие. Матильду бы ты стерпел”.

С женой они всё сводили на шутки, но дети воспринимали его неудачи более чем серьёзно и даже болезненно. Сын Артур, сидя в кресле и вытянув худые ноги, демонстративно читал при нём Пруста и шумно восхищался им (хотя это не означало, что он усваивал его уроки). Всё-то ему хотелось укорить им отца; если же Евгения Фёдоровича не было дома, Артур и не прикасался к книгам и штудировал свою медицину.

Дочь Настя, чуткая к разговорам взрослых и стремившаяся показать себя ещё взрослее, стыдилась за отца — при нём краснела и опускала глаза. Евгений Фёдорович ничего не мог с этим поделать. И подлаживаться под дочь, заискивать перед ней и отворачиваться от неё было одинаково плохо. Нужен был другой язык, на котором он мог бы объяснить ей, что тоже кое-что значит, но на свою беду такого языка он не находил. Да особо и не искал, если признаться. Не искал, чтобы после всех обольщений и разочарований не испытать ещё одно, может, последнее, после которого обольщаться и разочаровываться будет уже не в чем.

XI

Кто-то робко постучался к Евгению Фёдоровичу — постучал так, что он мог и не услышать, погружённый в свои мысли. К тому же и дождь шумел, заливая пенистыми каскадами стёкла. Но он услышал: слух был чуткий. Услышал и посчитал, что это дочь вернулась, пожалел о сказанном. Приготовился к продолжению разговора, выслушиванию извинений и оправданий. Подождал немного: не откроют ли *оттуда* дверь. Нет, не открывали — только

по-прежнему робко постукивали, скреблись. Тогда он сам встал и настезь распахнул: “Пожалуйста. Извольте. Прошу”.

Перед ним стояла Матильда, зачем-то вытиравшая ноги о газетный лист, заляпанный побелкой и валявшийся здесь с прошлого лета, когда делали ремонт на втором этаже.

— Можно я нарушу ваше одиночество? — прошепелявила она с жеманной улыбкой, показывая дырку от зуба.

— Кто это тебя научил так сказать?

— Я слышала, что в таких случаях так говорят. А что — нельзя?

— Да можно. Валяй. А что за случай-то? Небось, опять со своей Украиной, то бишь Украиной?

— Почему вы её не любите?

— Да любим мы её. Очень любим. Она же нам мать родная... — Он криво усмехнулся, удивляясь тому, что Украину, как некогда Киевскую Русь, можно (“А ведь действительно можно!”) в известном смысле и с множественством оговорок назвать матерью.

— Неправда.

— Что неправда, милая?

— Не мать она вам.

— Ну, мачеха... — произнёс он с досадливым вздохом, словно ему менее всего хотелось разбираться, кто — мать, а кто — мачеха. — Мне сейчас дочь такого наговорила...

— Она сама, наверное, мучается... С такими девочками-тихонями так бывает: наговорят всякого, а потом сами страдают, — зачастила Матильда и той же скороговоркой, без всякой паузы (словно так ей было легче) выпалила: — Отпустите Настю со мной, пусть поживёт у меня немного.

— Куда это? — Евгений Фёдорович слегка опешил (оторопел).

— В Киев.

— Она же на Сахалин собиралась.

— Нет, я уговорила. Она теперь хочет в Киев.

— В Киев они хотят, — Евгений Фёдорович не удержался, чтобы не подстроить под желание Матильды и дочери свой нарочито исковерканный, вывернутый наизнанку выговор, — туда, где чуден *Днипр при тихой погоде*. Но погода там теперь, увы, не тихая, не такая, как при Николае Васильевиче, — вы учли?

— А ничего... как-нибудь...

— Или охота повоевать, вступить в ряды, так сказать? Москалям кулачишком погрозить, а то и кровь пустить?

— Не бабье это дело. Мы на бережку посидим, ноги в воде пополощем. Днепро́вская вода освежает.

Евгению Фёдоровичу вдруг надоели словесные пересуды, и он, понизив голос, снарядил Матильду на серьёзное дело:

— Знаешь-ка, принеси-ка там, в шкафчике...

— Вам же нельзя.

— Принеси, принеси... Иначе нам не разобраться.

— Ту, что в шкафчике, мы уже... того...

— Оприходовали, — подсказал он слово, которое она сама не нашла бы. — Тогда за зеркалом. Принеси.

Матильда спустилась вниз, пошарила за зеркалом и принесла. Разлили по стаканчикам из-под карандашей (другой посуды не было). Выпили. Почему-то об Украине говорить расхотелось.

— А что вы сейчас пишете?

— Что пишу-то? Большую книгу. Такую, что о-го-го! Вот только на семнадцатой главе что-то немного застрял.

— Книгу о ваших французах?

— Нет, моя милая. — Евгений Фёдорович вдруг почувствовал, что сейчас, при такой обстановке (дождь за окнами), в такой компании, после всего пережитого за этот день скажет то, чего никогда и никому не высказывал. Может, потом и пожалеет, но скажет. — Я уж тебе признаюсь, открою один секрет... Величайший парадокс моей жизни состоит в том, что я всю

жизнь писал о французах, но при этом любил всё русское. Вот дуралей-то! Любил до слёз и не решался об этом сказать. Ты спросишь, почему? Причины, знаешь ли, разные. Надо мной, как глыба, как замшелый валун, нависал Жан-Жак со всем своим громадным авторитетом, признанием, заслугами перед наукой. Жена всю жизнь наседала, мечтала пожить или хотя бы побывать во Франции. Да и вообще закрадывались мыслишки, что, чего доброго, не так поймут, неверно истолкуют, обвинят во всех смертных грехах. Знаешь, как у нас... течения, направления, лагеря, группировки. Поэтому я всё не решался, медлил, откладывал. А теперь чувствую, что откладывать больше нельзя, — пора, дорогуша. Пора! Тем более что и мыслишки кое-какие появились. Надо высказаться по большому счёту. Конечно, на меня набросятся: я, мол, не специалист. В чужой огород залез. Ударился в славянофильство. Сейчас он этак начнёт гвоздить направо и налево, всюду искать врагов и заговорщиков. А я просто люблю. Икона ли, церковная служба, “Свете тихий”, Киевская Лавра, заметь, роман Толстого, Чайковский, Левитан — люблю до слёз, до одышки, до сердечных перебоев. И мне так хорошо, когда я всё это вижу, слышу, с этим соприкасаюсь, живу...

Ещё налили по половинке стаканчика (Матильда отмеряла ногтем). Перед тем, как выпить, она с вороватой надеждой посмотрела на Евгения Фёдоровича и тихонько спросила — спросила так, словно всё сказанное им, вся его запальчивая исповедь была лишь подготовкой к ответу на её вопрос:

— Так вы Настю со мной отпустите?

— Что?.. Настю?.. — Евгений Фёдорович не сразу сообразил (взял в толк), о чём его спрашивают.

— Да, да, со мной в Киев. Пожить.

— Чего вам здесь-то не живётся?.. Отпущу...

— Вот спасибочки. Я русское тоже люблю. Вернее, любила когда-то. А сейчас вспомнила и вновь полюбила.

— А... вот оно как... вновь...

Евгений Фёдорович внезапно запнулся и не договорил — лишь попытался ослабить воротник рубашки и вдохнуть поглубже. Но поглубже не получалось. Он взялся за сердце, а другой рукой пошарил вокруг себя.

— Вам плохо? — спросила перепуганная Матильда.

— Лекарство... там...

Он стал дёргать ящик стола, но ящик не выдвигался из-за наваленных в него книг.

ХП

У Евгения Фёдоровича остановилось сердце.

Вбежавший по крику Матильды (она сразу протрезвела) Артур бережно уложил отца, померил пульс, рывком снял с него рубашку, стал делать искусственное дыхание, сердечный массаж — ничего не помогало. Матильда (когда-то окончила курсы медсестёр) стояла на подхвате, пыталась что-то подать, взять и дрожала как в лихорадке.

Вызвали “неотложку”, приехавшую быстро, за двадцать минут (вернее, за двадцать две минуты: Артур следил по часам). Но было уже поздно. Врачи молча вышли из дома. Их никто не провожал — все собрались в кабинете. Матильда первой стала всхлипывать, причитать и завывала. Такой у неё вышел отдых...

АЛЕКСЕЙ ИВАНТЕР



ПОПУТНЫХ СТАНЦИЙ ИМЕНА

* * *

Проехав Славянск-на-Кубани,
Купив, но не выпив вина,
Шепчу, как чужими губами,
Попутных станций имена.

В краю, населённом негусто,
Изученном в вечном пути,
Растут виноград и капуста,
И всё, что умеет расти.

Тут, пыль поднимая с обочин,
Заводит убитый мопед,
Презрев понедельник рабочий,
По суетной жизни сосед.

Хозяйская жизнь растакая
Его не отпустит никак,
И выпить зовёт Каневская,
И в небо стреляет глушак.

ИВАНТЕР Алексей Ильич родился в 1961 году в Москве. Учился в МГПИ им. В. И. Ленина. Работал в геологических экспедициях на Дальнем Востоке. Во второй половине 1980-х и первой половине 1990-х — директор издательства "Постскриптум". Дальнейшая судьба долгое время была связана с самолётостроением. Постоянный автор и член редколлегии журнала "Сибирские огни".

Он едет в Лиман чигирями,
По русской от века земле,
И руки его с якорями
Лежат на китайском руле.

Во власти рыбачьего зова
Седым и вспотевшим виском
Он чувствует ветер Азова
С полынью и мелким песком.

Там жизни и рыбы владетель,
Опять ожививший мопед,
Над ним, как последний свидетель,
Из красного облака свет.

* * *

Где в каждой щели жило по умельцу,
Легко чинить любую дребедень,
Ходили по парадным погорельцы
И нищенки из дальних деревень.
В обуви сбитой, вида никакого,
Как беженцы в минувшую войну.
Но из такого люда городского
Я с детства помню нищенку одну.
Она ходила, денег не просила,
Как божьи люди ходят по Руси.
Когда еду ей мама выносила,
Она шептала: “Господи, спаси”.
И посреди ночного Ленинграда,
Спустя полвека, зримо вижу сам —
Всё пять детей, погибшие в блокаду,
За ней идут по русским небесам.

* * *

Пурга на станции Лихая
Зимой в семнадцатом году.
А я запомнил: степь сухая,
Вокзал прокуренный в чаду.

В угасшей памяти осталась,
Застряла в раненом глазу
Земная пыль, мирская малость,
Большие тыквы на возу.

Вдруг возникают эти связи,
И возмущается душа,
И дончаки у коновязи
Жуют из торбы не спеша,

И снова, как не исчезало,
Глаза сощурь и будь готов:
Сухая пыль и жар вокзала,
И скорый поезд на Ростов.

И за упавшей пеленою
Дорога долгая домой...
И эта женщина со мною
Дороже памяти самой.

* * *

А жизнь кончается, кончается,
Ну, ничего, ну, ничего...
Диванчик вдавленный качается —
Батутик детства моего.
И тихо комнатка вращается,
И давит память на виски,
И мама каждый раз прощается,
Как могут только старики.
Как будто раз последний виделись,
Листали в клеточку тетрадь...
В альбоме дед в парадном кителе
Даёт приказ не умирать.
А мама плохо защищается,
Уже трещат и фронт, и тыл.
А мама так со мной прощается,
Что отвечать ни слов, ни сил.
И что-то в воздухе давнишнее,
Как ноты речи дорогой,
Как в том саду под старой вишнею
Из жизни прошлой и другой,
Где каждый вечер возвращаешься,
Как гардеробный номерок...
А тут прощаешься, прощаешься,
Никак не выйдешь за порог.

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО

директор Свиридовского института

ШОСТАКОВИЧ И СВИРИДОВ: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В трактате “Установления гармонии” (*Le istituzioni armoniche*, 1558) у выдающегося итальянского теоретика музыки XVI века Дж. Царлино есть термин – совершенная гармония (*harmonia perfetta*). К лету 1958 года голоса советской политики и музыки слились в стройном аккорде *harmonia perfetta*. Череда событий не успевала освещаться в советской прессе. Газеты буквально захлёбывались от потока новостей с культурного фронта, гармонично согласовываясь с непрерывной политической информацией. 30 апреля в Москву прибывает Президент ОАР Гамаль Абдель Насер для важных переговоров¹. В это время балетная труппа Большого театра гастролирует в Египте². В это же время А. Микоян находится в Германии, сначала в ФРГ, где подписывает торгово-экономическое соглашение, потом заезжает в Восточный Берлин. В июле в Германии будет выступать балетная труппа Большого театра³.

Как порой причудливо культура переплеталась с политикой, говорит один пример. В начале июня балет Большого покорил Париж. “Правда” сообщает об этом 3 июня⁴. И в этом же номере газеты публикуется сводка событий во Франции, приход генерала де Голля к власти после внутривнутриполитического кризиса в мае, первые законопроекты его правительства, подавление мятежа генерала Жака Сустанья в Алжире, который ещё мае поддерживал генерала де Голля, и тут же заметка о приёме министром иностранных дел А. А. Громыко французского посла. “Во время состоявшейся беседы обсуждались вопросы, связанные с созывом совещания на высоком уровне (ТАСС)”. И всё на одной странице...

Шостакович оказался в эпицентре всех политических и культурных событий того года. Так, в начале мая в СССР прибывает Президент Финляндии Урхо Кекконен, ему устраивают приём на самом высоком уровне, он посещает несколько городов Советского Союза, Московский университет вручает ему диплом доктора юридических наук *honoris causa*. Перед отъездом 31 мая Кекконен подписывает совместное коммюнике, в котором зафиксированы результаты переговоров, положительных для советской стороны⁵. В конце мая на две недели в Москву приезжает видный финский музыковед Эрик Тавастерна, встречается с Д. Шостаковичем, делится своим впечатлением от встречи в газете “Советская культура”. “Шостакович принял меня у себя, и я сразу же почувствовал магическое воздействие его личности. Мы легко разговорились. Я рассказал, что во время моей последней встречи с Сибелиусом он высоко

Продолжение. Начало в №1,5,6 за 2016 год, №6,8 за 2017 год, №2 за 2018 год и №1,5,6,7 за 2019 год.

оценил Десятую симфонию Шостаковича и вообще с большим интересом следил за его творчеством. Шостакович ответил на это: “Я рад, что великий композитор Финляндии, которым я восхищаюсь, так оценил мою музыку”, – и далее даёт оценку 11-й симфонии: “Хочу сразу же сказать, что Одиннадцатая симфония – выдающееся произведение. Композитора вдохновила программа симфонии, но он не сломал симфонической формы и не превратил произведение в гигантскую симфоническую поэму. Напротив, форма здесь едина и монолитна. Ни один современный композитор не достигает в своей музыке такого колоссального симфонического напряжения, как Шостакович. Вступительный музыкальный образ симфонии – одно из наиболее значительных вдохновений Шостаковича: в нём пространство и глубина, оно открывает широкие перспективы. Подобно тому как Мусоргский в конце сцены под Кромами в “Борисе Годунове” выражает в музыке судьбу России, Шостакович во введении к Одиннадцатой симфонии выражает предгрозовую атмосферу, ожидание Россией грядущих грозных событий”⁶. В октябре Шостакович – автор Сюиты на финские темы, написанной в самом конце 1939 года (по заказу Политуправления ЛВО)⁷ едет в Финляндию, 9 октября в Хельсинки ему вручена почётная награда – Международная премия им. Я. Сибелиуса⁸.

После Президента Финляндии Москву в июле посетил Федеральный канцлер Австрии Юлиус Рааб. С ним тоже состоялись переговоры. Рааб признаёт плодотворными усилия СССР по разрядке напряжённости в мире, находит необходимым и полезным четырёхстороннее совещание в верхах по германскому вопросу. В конце 1958 года президент общества советско-австрийской дружбы Шостакович посетил Австрию. Без концертов⁹.

Налаживание нормальных отношений с Европой и США после венгерских событий остаётся одной из основных целей советской внешней политики. К тому же оставалось открытым предложение Советского Союза о разоружении, запрещении испытания атомного и водородного оружия. Одно за другим идут соответствующие послания, письма главам крупнейших государств от руководства СССР. В это время проходит Всемирная выставка в Брюсселе. Успешно запущен третий спутник, что ещё больше подогрело интерес к советскому опыту освоения космоса. Европейское направление было одним из важнейших стратегических направлений советской политики. И культура становится одним из активных инструментов её продвижения. Брюссель делается основным центром притяжения, но и по пути туда артисты посещают соседние страны. 6 мая газета “Советская культура” “рапортует” об успешном выступлении в Брюсселе ансамбля Советской армии под управлением Б. Александрова. И потом из Брюсселя в течение всего лета идут репортажи, очерки, сообщения о выступлениях наших артистов, музыкантов.

1958 год отнюдь не был безоблачным и не сопровождался только концертами и успешными выступлениями советских артистов. Не говоря уже о постоянных очагах напряжённости вроде Ближнего Востока, возникали спонтанно разного масштаба кризисы: тайваньский кризис, берлинский. То американские самолёты-разведчики приближаются слишком близко к нашим границам, а порой и пересекают их. Более чувствительными оказались кризисы внутри лагеря социалистических стран. В этот год возникли осложнения в отношениях с Югославией. Югославы решили пойти своим путём, приняв на VII съезде коммунистов Югославии новую программу, в основу которой легла идея Э. Карделя о вращении капитализма в социализм, о рабочем самоуправлении. Ещё хуже обстояло дело с Китаем. Китай твёрдо стоял на своих ортодоксально-коммунистических позициях, Мао Цзедун считал, что Хрущёв совершил непростительную ошибку с разоблачением Сталина. Советский Союз оказался меж двух огней.

VII съезд Союза коммунистов Югославии проходил с 22 по 26 апреля. И весь май в центральных газетах шло обсуждение итогов съезда, критика И. Тито, Э. Карделя¹⁰, А. Ранковича. Югославов обвиняли в отступлении от марксизма-ленинизма. Искали союзников в противостоянии с югославами. 14 мая в “Правде” была опубликована перепечатка статьи из “Нейес Дойчланд” с критикой идей съезда югославских коммунистов¹¹. Затем перепечатка большой статьи из газеты румынских коммунистов “Скынтейя”¹². Потом последовало сообщение о том, что на второй сессии VIII съезда КПК китайские коммунисты осудили югославов за ревизионизм¹³.

Этот популярный у марксистов пейоративный термин, который никогда не забывался советскими коммунистами, после событий в Венгрии вновь обрёл актуальность и опять пошёл в ход. В ревизионизме стали обвинять не только политические течения, конкретных политиков и экономистов, но и деятелей культуры. Венгерского философа-марксиста Дьёрдя Лукача обвинили в эстетическом ревизионизме¹⁴, не забывая напомнить о его участии в правительстве Имре Надя, над которым шёл суд и которого, в конце концов, как известно, повесили 16 июня 1958 года¹⁵. Как утверждал член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП Дьюла Каллаи, “старый либерально-буржуазный лозунг о свободе культуры и искусства ревизионисты преподнесли в украшении марксистских фраз, нападали на ленинский принцип партийности культуры, отрицали необходимость партийного и государственного руководства. Провозглашая “демократию для всех”, ревизионисты отрицали классовую борьбу и диктатуру пролетариата, в культурной жизни страны открыли путь реакционным традициям национальной культуры и современному декаданству буржуазного Запада”¹⁶. В ревизионизме наши философы и эстетики обвиняли всех, и отечественных, и зарубежных писателей, художников, которые высказывали сомнение в незыблемости соцреализма¹⁷. Мы вернёмся к этому термину в связи с ещё одним важным событием лета 1958 года.

В конце мая Н. Хрущёв организует и проводит крупную политическую акцию. В Москве проходит совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В итоге этого совещания принимается Декларация государств-участников Варшавского Договора и Пакт о ненападении между государствами – участниками Варшавского Договора и государствами – участниками Североатлантического Пакта. Смысл Пакта заключался в предложении Западу прекращения гонки вооружения, ликвидации “холодной войны”. В заключении Пакта подписавшие его видели “реальный шаг в деле укрепления мира”. Пакт сразу был доведён до сведения всего мира, всех ведущих государств. И конечно, в первую очередь, он был адресован руководству США, Великобритании, Франции. Казалось бы, эти чисто внешнеполитические акции далеко отстоят от искусства. На самом деле это совсем не так. Искусство использовалось как дополнение к политике, как её составная часть, как инструмент. На Западе культурные акции в эпоху “холодной войны” получили название “культурной дипломатии” или “мягкой силы”. Сегодня сложилась огромная литература по этой “мягкой силе”.

У нас этой темой всерьёз занялись сравнительно недавно. Так, в коллективной монографии “Советская культурная дипломатия в условиях “холодной войны”. 1945–1989”¹⁸ весьма обстоятельно рассматривается организация советской культурной дипломатии, научный и образовательный обмен, фестивали молодёжи и студентов, спортивные состязания, международные выставки, выставки достижений народного хозяйства СССР, международные Сталинские и Ленинские премии мира, туристические связи СССР, праздничные коммеморации и пр. К сожалению, в книге не нашлось места для освещения участия музыки в культурной дипломатии СССР. Между тем, на Западе музыка как инструменту внешней политики уделяется серьёзное внимание. Как пишет канадская исследовательница Эмили Ансари в своём труде “Звук сверхдержавы: музыкальный американизм и “холодная война”: “Госдепартамент США обратился к музыке в начале 1950-х годов, чтобы помочь решить проблему репутации, которая в условиях “холодной войны” стала проблемой международных отношений. Советы энергично пропагандировали достижения своего народа в области высокого искусства в рамках своей глобальной пропагандистской кампании, направленной на демонстрацию общественных преимуществ коммунизма”¹⁹. Это верное в основе наблюдение следует уточнить. Дело в том, что советские музыканты действительно демонстрировали достижения советской исполнительской школы, но вот что касается советской музыки, то она должна была, по мысли партийных идеологов, содержать в себе самой, в самом музыкальном языке коммунистическую идеологию. Партийность должна была быть инкорпорирована в само тело музыки, вплоть до её тональной организации. Некоторые ретивые музыковеды – члены партии – находили даже советский интонационный строй, почему-то похожий на интонации песен Исаака Дунаевского... Но об этом чуть позже.

Вернёмся к хронике событий. 26 мая в газете “Правда” публикуется материал под названием “Искусство сближает народы. Вчера на аэродромах и вокзалах Москвы, Парижа, Киева и Вильнюса”. Это была серия коротких репортажных заметок о вылете из Москвы в Париж большой группы артистов балета Большого театра, вылете Государственного заслуженного ансамбля народного танца Грузинской ССР в Италию, выезде на гастроли в Румынскую Народную Республику Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Литовской ССР. Одновременно в Москву из Парижа в тот же день 25 мая прибыла балетная труппа французского национального театра “Гранд-опера”, а в Киев днём ранее прибыл дирижёр Леопольд Стоковский.

Конечно, самый большой интерес для Хрущёва представляла Америка. Тема Америки не сходит со страниц советских газет. 30 мая газета “Правда” публикует сообщение об обмене нотами между Посольством СССР в США и Государственным департаментом США относительно совместных мероприятий в области здравоохранения в соответствии с принятым ранее Соглашением о сотрудничестве. 3 июня “Правда” печатает сообщение об обмене письмами между Государственным департаментом США и Посольством СССР в США по вопросу об Антарктике. Весь год Хрущёв обращался к Президенту США Дуайту Эйзенхауэру по различным поводам и очень стремился встретиться с ним. Поэтому аппарат внешнеполитических отношений в ЦК КПСС, МИД СССР в течение года усиленно занимались американским направлением. И культура, прежде всего, музыка тоже была подключена к этой кампании.

Повышенное внимание уделялось приезду в СССР видных американских дирижёров Л. Стоковского и Ю. Орманди, Филадельфийского оркестра. Концерты американцев неоднократно рецензировались²⁰, в печати освещались их встречи, пребывание в разных городах²¹. Газета “Советская культура” опубликовала беседу с Леопольдом Стоковским. В интервью тот сказал следующее: “Я приехал в Россию один, для того чтобы дирижировать русскими оркестрами, исполнять русскую и американскую музыку. Для изучения русской музыки и русской культуры я приезжал в вашу страну ещё до войны. Я привёз тогда с собой в Америку симфонии Шостаковича, которые там были не известны. Я был единственным, кто исполнил в США музыку Шостаковича до тех пор, когда во время войны все стали исполнять его Седьмую симфонию. Теперь я руковожу чудесным оркестром в Хьюстоне, штат Техас, и несколько недель назад мне прислали самолётом из Советского Союза партитуру Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Мы её исполнили в США и сделали грамзаписи. Сейчас хочу вместе с советскими оркестрами исполнить эту симфонию в Киеве, Москве и Ленинграде. Думаю, что это величайшая симфония Шостаковича и что она написана в традициях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и других великих писателей и музыкантов России. Шостакович – это дальнейшее развитие великой русской культуры. Мне бы также хотелось познакомиться советскую аудиторию с американской музыкой, в частности, с творчеством молодых композиторов Крестона, Барбера, Хованесса. Я – энтузиаст обмена между русской и американской культурами. Уверен, что, если бы русские и американцы могли чаще встречаться, они бы стали друзьями, ибо между ними много общего”²².

Так уж получилось, что в необыкновенно насыщенных политических событиях того года дипломатическая миссия выпала на долю Вана Клиберна.

Конкурс им. П. И. Чайковского оставил после себя шлейф приятных воспоминаний и долгое время не сходил со страниц газет и журналов как в СССР, так и в США. В мае 1958 года была решена его судьба. 6 мая газета “Советская культура” опубликовала информационное сообщение от имени Совета Министров СССР, в котором было объявлено, что “Совет Министров СССР принял предложение Министерства культуры СССР о систематическом проведении Международного конкурса имени П. И. Чайковского один раз в четыре года” и что “очередной Международный конкурс имени П. И. Чайковского будет проведён в 1962 г”. Советом Министров СССР было поручено Министерству культуры СССР “разработать и утвердить условия и порядок проведения конкурса”.

Одновременно в том же номере газеты “Советская культура” на четвёртой странице ТАСС разместила небольшой обзор американской печати о конкурсе, процитировав статью из газеты “Нью-Йорк таймс” о победе Вана Клиберна.

Как пишет американский рецензент, “игра этого юноши выдержана в великих романтических традициях. К этому нужно добавить утонченность стиля и великолепную технику”, и с возмущением отвергает досужее мнение, что “русские в жюри присудили Вану Клиберну первую премию в качестве широкого пропагандистского жеста”, считая это оскорбительным и для мистера Клиберна, и для русских. И добавляет: “Это всё равно, что утверждать, будто американцы толпами устремились на концерты Гилельса, Ойстраха, Ростроповича и Когана и сейчас каждый вечер сходят с ума из-за выступлений ансамбля Моисеева только потому, что Государственный департамент декретировал эру хороших отношений на культурном фронте”. Последняя фраза содержит в себе косвенное признание взятого Госдепартаментом курса на хорошие отношения к СССР в области культуры.

17 мая газета “Известия” информирует читателей о том, что Министерство культуры СССР приступило к подготовительной работе по организации будущего конкурса в 1962 году по трём специальностям: фортепиано, скрипка и виолончель. Председателем Оргкомитета вновь был утверждён Д. Д. Шостакович. Далее сообщалось, что “пианисты, скрипачи, виолончелисты Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии проведут свой конкурс в декабре 1958 года, а “в апреле 1959 года состоится конкурс, в котором примут участие пианисты и скрипачи Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении”, “в декабре 1959 года проведут конкурс пианисты, скрипачи, виолончелисты Грузии, Армении и Азербайджана”. Кроме того, планировалось, что “в 1959 году состоятся конкурсы молодых музыкантов в РСФСР и УССР”, а “конкурсу 1962 года будет предшествовать Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей, который состоится в 1960 году в г. Москве”.

22 мая в газете “Советская культура” появилась статья музыковеда Завена Вартаняна. Автор статьи достаточно трезво оценивает состояние исполнительских факультетов в консерваториях вне Москвы и Ленинграда. Это, впрочем, не помешало ему отметить недостатки воспитания артистической молодёжи и в столичных вузах, и в национальных республиках. Он предлагает конкретные меры по улучшению работы исполнительских факультетов, считает необходимым проводить региональные конкурсы, а также конкурсы в республиках. Перейдя к оценке иностранных победителей конкурса, З. Вартанян, конечно же, не мог пройти мимо главного героя. Как он пишет, “особо надо отметить успех молодого американского пианиста Вана Клиберна. Яркая творческая индивидуальность, разностороннее исполнительское мастерство этого пианиста позволило ему во многом превзойти своих соперников в борьбе за первенство на конкурсе. Нет сомнения, что Ван Клиберн – выдающееся дарование, и мы рады, что свою артистическую “путёвку” в жизнь он получил в нашей стране, на международном соревновании имени великого русского композитора Петра Ильича Чайковского”.

Ниже, под большим материалом З. Вартаняна и вслед за сообщением о будущем приезде в СССР Л. Стоковского и Ю. Орманди с Филадельфийским оркестром, помещена краткая, но насыщенная информация корреспондента газеты в США Н. Курдюмова “Нью-Йорк чествует Вана Клиберна”.

“Несколько недель назад, когда Ван Клиберн отправился в Москву на Международный конкурс пианистов и скрипачей имени П. И. Чайковского, он был мало известен за пределами музыкальных кругов своей страны, – пишет собкор “Советской культуры” из Нью-Йорка. – Ныне, возвратившись домой с высшей наградой и многочисленными подарками от советских почитателей его таланта, замечательный пианист стал поистине национальным героем, а его имя повторяет вся Америка. Портреты высокого юноши с густой шапкой волос мелькают в эти дни на страницах газет и журналов, его атакуют журналисты. На первый концерт, состоявшийся вечером 19 мая в “Карнеги-холл”, невозможно было достать билеты – их распродали ещё во время пребывания Клиберна в Советском Союзе.

Концерт прошёл с огромным успехом. Почти трёхтысячная аудитория, взволнованная его проникновенной игрой, устроила пианисту восторженный приём. Как и в Москве, Клиберну дирижировал советский музыкант Кирилл Кондрашин. Вместе они выступили в Филадельфии и Вашингтоне. Центральные нью-йоркские газеты дали высокую оценку выступлению своего соотечественника. Под заголовком “Герой в своей стране” газета “Нью-Йорк таймс” отмечает: “Как те, кто поддержал его на родине, так и русские правы.

Он – огромный талант”. А в полдень следующего дня многочисленные жители города, которые не могли попасть на концерт, аплодировали музыканту на улицах, во время необычного парада, устроенного в его честь. Под восторженные крики “браво!” тысячи нью-йоркцев, выстроившихся вдоль тротуаров, приветствовали музыканта, когда он проезжал на машине по Бродвею к Сити-холл (ратуше), где его встретил и поздравил с успехом в Москве мэром города Роберт Вагнер”.

Всё лето Ван Клиберн буквально сводил Америку с ума. В Чикаго в *Grand Park* он собрал аудиторию свыше 70 000 человек, в основном, тинэйджеров, поклонников, между прочим, Элвиса Пресли, и исполнил 18 июля Третий концерт С. Рахманинова и Первый Чайковского²³. В Лос-Анджелесе 30 и 31 июля он собрал аудиторию в 20 000 человек в *Hollywood Bowl*²⁴. Первый концерт Чайковского стал на какое-то время музыкальным хитом № 1 в США.

Выступления с Кириллом Кондрашиным Клиберн завершил ещё в мае. С оркестром “Симфония воздуха” (*Symphony of air*) он провёл концерты в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Как информировало ТАСС, “представители музыкальной общественности Нью-Йорка дали обед в честь советского дирижёра. Перед отъездом на Родину Кондрашин вместе с Клиберном побывал на могиле великого русского композитора Сергея Рахманинова”²⁵. 1 июня дирижёр вылетел из США на родину.

А 7 июня 1958 года на имя Хрущёва из Нью-Йорка поступила следующая телеграмма:

“Позвольте мне поблагодарить Вас и других государственных деятелей за то, что Вы сделали моё пребывание в Советском Союзе таким приятным и незабываемым. Разрешите мне также обратиться с особой просьбой, чтобы маэстро Кондрашин приехал в Лондон для того, чтобы дирижировать оркестром Лондонской филармонии в Альберт-Холле, вмещающем 8 тысяч человек, 15 июня с. г. Я хорошо сознаю, что маэстро Кондрашин очень занят в СССР в это время, но я чувствую, что если бы Вы могли разрешить ему прибыть в Лондон только на три дня, с 16-го по 18-е, на мой лондонский дебют, то это не только придало бы мне уверенность, но имело бы гораздо большее значение. Лучшие пожелания Вам и Вашей семье. Искренне Ваш Клиберн”.

Как пишет опубликовавший эту телеграмму Л. Максименков, “сегодня трудно представить, что значило тогда попросить 7 июня советского премьер-министра, чтобы кто-то из его граждан уже 16-го дирижировал оркестром в лондонском Альберт-Холле”.

Отсылаю читателя к этой почти детективной истории, красочно описанной известным историком, позволю только процитировать ответ, лично написанный Хрущёвым пианисту 13 июня, буквально за четыре дня до концерта в Альберт-холле: “Г-ну Ван Клиберну. Ваша телеграмма ещё раз напомнила мне о большом удовольствии, которое доставило нам Ваше выступление в Москве. Ваша просьба в отношении дирижёра К. П. Кондрашина удовлетворена, и он уже вылетел в Лондон, чтобы принять там участие в ваших концертах. Прошу принять мои самые наилучшие пожелания Вам и Вашей семье. От всего сердца желаю Вам успехов в Вашей замечательной творческой деятельности. С уважением к Вам, Н. Хрущёв. 13 июня 1958 г.”²⁶.

Что подвигло Хрущёва отступить от принятых в советской дипломатии в таких случаях правил составления и посылки таких писем, сейчас уже трудно установить. Был ли это чисто бессознательный, эмоциональный *aufschwung*²⁷ или расчётливый шаг со стороны Хрущёва – Бог весть. Конечно, прав Максименков, акцентируя политическую составляющую этого непредсказуемого поступка Хрущёва. Как известно, советский премьер отличался импульсивным поведением. Вполне возможно, что в данном случае было и то, и другое. Клиберн явно был симпатичен Хрущёву. И старые фотографии, и кадры кинохроники конкурса им. Чайковского наглядно свидетельствуют об этом. На закрытии конкурса Клиберн сымпровизировал “Подмосковные вечера”, что Хрущёву должно было быть особенно приятно – песни Соловьёва-Седого он любил. С другой стороны, глава Правительства СССР был крайне заинтересован в том, чтобы расположить к себе Президента США, с которым в апреле обменялся посланиями, не очень обнадеживающими на взаимопонимание²⁸. Всё сошлось и получилось как нельзя лучше. Ван Клиберн стал не только кумиром в СССР и США, но и в своём роде героем политической жизни. Сравнительно недавно в США вышла книга под названием “Московские

ночи: история Ван Клиберна — Как один человек и его фортепиано преобразовали “холодную войну”²⁹. Под Московскими ночами, конечно, имелась в виду песня “Подмосковные вечера”³⁰.

И в Америке хорошо понимали, какой политический эффект имела победа Вана Клиберна на конкурсе им. П. И. Чайковского. В одном из номеров журнала *Musical America* в 1958 году появляется редакционная статья “Посол от музыки”. Попеняв федеральному правительству за то, что поездку Клиберна профинансировал частный, а не правительственный фонд, автор статьи замечает: “Не оставляет сомнений тот факт, что теперь нашим законодателям из Вашингтона было бы приятно читать о победе молодого американского пианиста, который для поездки был снабжён правительственной субсидией, тем более, что они убедились, как много такой музыкант может сделать. Они, конечно, не могли не заметить слов: “Здесь мы и без круглого стола имеем идеальный пример мирного сосуществования”, — сказанных русским премьером Никитой Хрущёвым. Они также не могли бы прочесть поздравление Первого заместителя премьера Анастаса Микояна, где тот говорит Клиберну: “Вы — прекрасный политик для своей страны: Вы сделали больше, чем другие политики”.

И дальше автор статьи раздражается тирадой, при чтении которой возникает впечатление, что она была написана под диктовку Отдела пропаганды ЦК КПСС. Как он пишет, “история неоднократно доказывала, что вдохновенная игра художника играет не менее, а, пожалуй, даже более важную роль в деле поддержания мира, чем различные хитроумные соглашения и тонко завуалированные угрозы, из которых состоит игра политиков. Как русские люди, так и русские лидеры отнеслись к этому музыкальному конкурсу с большим энтузиазмом, а молодого американского победителя принимали в высшей степени тепло и сердечно.

Некоторые скептически настроенные политики недостаточно оценивают глубокое значение такого энтузиазма, так же, как и некоторые скептики-художники недопонимают, чего добились музыканты благодаря тому, что Клиберн привлёк к себе мировое внимание. <...> Его победа вышла далеко за пределы музыкального конкурса, в свете чего важно отметить, что музыка принесла Вану Клиберну триумф не менее значительный, чем триумф героя, выигравшего битву на поле брани. А победа Клиберна именно в России лишний раз подтверждает мысль о том, что искусство, став над политикой, сближает людей, как ничто другое в мире”.

Безусловно, американцы вполне осознавали пропагандистский эффект конкурса. Как писал автор другой статьи в журнале *Musical America*, “конечно, русские не могли не внести элемента пропаганды в победу Вана Клиберна. Так, например, Дмитрий Шостакович писал в газете “Правда”: “Мы особенно рады, что Ван Клиберн получил широкое признание именно у нас в Советском Союзе”³¹.

В одном из номеров другого американского журнала — *Musical Courier* — за 1958 год появилась заметка “Ван Клиберн выполняет миссию”. Привожу цитату из этой заметки по переводу, который хранится в архиве ССК СССР. “Тёплый и отзывчивый человек, к тому же прекрасный музыкант, Ван Клиберн привлёк к себе симпатии не только музыкальных кругов. Огромную важность его миссии — миссии человека, профессия которого может способствовать возникновению дружбы между народами, — признают многие политические деятели. Так, например, один из активных деятелей Организации Объединённых Наций Филлис в беседе сказал в шутку, что, пожалуй, основное, в чём сейчас нуждаются объединённые нации — это в хорошем пианисте”³².

Так музыка в 1958 году тесно сплелась с политикой в единой *harmonia perfecta*. В эту “совершенную гармонию” стройно вписался и голос главы Оргкомитета конкурса им. П. И. Чайковского Д. Д. Шостаковича.

В тот день, когда Клиберн обратился с письмом к Хрущёву, в газете “Советская культура” была напечатана большая рецензия о выступлении Леопольда Стоковского в Киеве. Как писал критик А. Медведев, “. . . Но, конечно, в центре внимания и дирижёра, и слушателей оказалась Одиннадцатая симфония (“1905 год”) Шостаковича. Завидная судьба выпала этому величественному произведению: многие дирижёры в нашей стране и за рубежом стремятся сыграть симфонию, дать музыке своё интересное и оригинальное толкование. Вот и Л. Стоковский включился в это незримое “соревнование” музыкантов.

Американский дирижёр дал интересную, своеобразную трактовку произведения. Особенно удалась дирижёру третья часть, в которой он выделил ряд метких деталей (например, мажорно-громкое, острое пиччикато струнных в начале). А как твёрдо, “завоеванно” прозвучала ре-мажорная кульминация — поистине выстраданный перелом действия, зарождение образов волевых, мужественных, которые в полную силу поднимаются в финале симфонии! Слушатели горячо приветствовали замечательного американского дирижёра”³³.

Летом 1958 года началось триумфальное шествие Шостаковича по Европе. 9 мая он едет в Италию по приглашению итальянской музыкальной академии “Санта-Чечилия”. Д. Д. Шостакович был избран почётным членом академии ещё в 1956 году, но из-за венгерских событий он смог появиться в Риме только спустя два года. В сообщении ТАСС, опубликованном в газете “Советская культура”, указывалось, что Д. Д. Шостаковичу будет вручён почётный диплом академии “Санта-Чечилия” и что из Италии Д. Д. Шостакович поедет во Францию, где он примет участие в репетициях и первом исполнении его Одиннадцатой симфонии “1905 год”³⁴ (ТАСС).

“Советская культура” поместила сообщение ТАСС с описанием церемонии вручения композитору диплома почётного члена академии. “На торжественной церемонии присутствовали видные деятели искусств, представители обществности, журналисты, — читаем в номере газеты от 13 мая. — Среди присутствующих находился также посол СССР в Италии С. П. Козырев. Президент академии “Санта-Чечилия” Бустини, вручая Д. Шостаковичу диплом и знак почётного члена академии, произнёс краткую речь, в которой охарактеризовал композитора как выдающегося музыканта нашего времени. С ответной речью выступил встреченный горячими аплодисментами Д. Шостакович, который поблагодарил за избрание его почётным членом академии и выразил пожелание, чтобы дружба и плодотворные связи между советскими и итальянскими деятелями культуры, так же как и между советским и итальянским народами, постоянно укреплялись. Он передал в дар президенту академии партитуру своего последнего произведения — 11-й симфонии. Затем были оглашены приветственные телеграммы в адрес Шостаковича. В заключение был исполнен Четвёртый квартет Шостаковича. После этого состоялся приём в честь советского композитора”³⁵.

15 мая был насыщенный музыкальными событиями день. Ван Клиберн перед вылетом на родину дал прощальный концерт в Москве. Газета “Советская культура” сообщила об открытии фестиваля “Закавказская музыкальная весна” и анонсировала предстоящее в ближайшее время гастрольное турне балета Большого театра. “Его маршрут пройдёт по городам Франции, Бельгии и Федеративной республики Германии”. Одновременно газета сообщила о концертах Госхора СССР в Бельгии и о том, что в Льеж для концертов памяти Эжена Изаи “приглашены виртуозы Д. Ойстрах и Л. Коган”.

Между тем в Союзе советских композиторов продолжалась своя жизнь и кипели свои внутрикорпоративные страсти. В том же номере 58 газеты “Советская культура” от 15 мая сообщалось, что Министерство культуры СССР совместно с ССК СССР организовало Всесоюзное совещание музыковедов и критиков. Открывал совещание Хренников. Основной доклад делал Ю. Келдыш и в очередной раз подверг публичному остракизму бывшего главного редактора журнала “Советская музыка” Г. Хубова: “За последние годы в ряде статей по вопросам музыки чувствовалась недооценка и неправильное понимание роли народности и партийности в искусстве, имели место случаи примиренческого отношения к чуждым социалистическому реализму модернистским течениям, встречались отдельные попытки ревизии руководящих партийных документов в области искусства. Одним из проводников этих ошибочных тенденций в 1956–1957 годах был журнал “Советская музыка”.

В этом же номере газеты была помещена информация ТАСС, что в Праге открылся XIII Международный музыкальный фестиваль “Пражская весна 1958 года”, проводимый под шефством президента республики и посвящённый преимущественно творчеству великого чешского композитора Леоша Яначека.

21 мая в пражском Концертном зале имени Сметаны выступил симфонический оркестр чешской филармонии под управлением дирижёра Карела Шейны. Были исполнены баллада для оркестра “Дитя бродячего музыканта” Яначека и Одиннадцатая симфония Шостаковича. Об этом сообщила газета “Советская культура” от 22 мая³⁶.

В следующем номере этой газеты от 23 мая была помещена реплика ТАСС о вручении Д. Шостаковичу французского ордена. «ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС). Сегодня в Париже состоялась торжественная церемония провозглашения советского композитора Д. Шостаковича командором Французского ордена искусств и литературы. Д. Шостакович является первым иностранцем, удостоенным этого звания. Вручая Шостаковичу орден и почётный диплом, начальник культурно-технического отдела МИД Франции Роже Сейду выразил глубокое удовлетворение в связи с приездом во Францию одного из крупнейших советских композиторов. На торжественной церемонии присутствовали посол СССР во Франции С. А. Виноградов, директор Парижской оперы Ирш, известная Французская пианистка Маргарита Лонг, композиторы Дариус Мило, Жорж Орик и другие деятели культуры и искусства, которые горячо поздравили советского композитора с наградой».

28 мая во дворце Шайе Симфоническим оркестром радио и телевидения Франции под управлением А. Клюитанса была исполнена 11-я симфония. Об этом сообщила «Советская культура» в номере от 31 мая³⁷.

11-ю симфонию упомянул в своём докладе министр культуры СССР Н. А. Михайлов на Втором Всесоюзном съезде работников культуры. С текстом доклада можно ознакомиться на 2-й и 3-й страницах газеты «Советская культура» от 24 мая 1958 года. С неё он начал раздел своего доклада, посвящённого «крупным удачам деятелей искусства» в музыкальном искусстве. «Прежде всего, следует вспомнить чудесную Одиннадцатую симфонию Д. Шостаковича. Это яркое произведение языком музыки рассказывает о величественной эпохе, о революционной борьбе в 1905 году, как бы перелистывает страницу за страницей бурные и незабываемые события тех дней, которые подготовили победу Великого Октября». Не забыл министр оценить достоинства опер «Мать» Т. Хренникова, «Милана» Г. Майбороды и А. Бабаева «Орлиное гнездо». Отметил и балеты «Тропою грома», «Отелло» и «Спартак», над которым закончил работу Большой театр.

Столь громкий выход Шостаковича на международную арену, его мировое признание, теперь выраженное в публичной форме награждения различными почётными званиями, вероятно, сыграли свою роль в истории Постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». В условиях, когда Советский Союз всячески стремился продемонстрировать своё намерение освободиться от недавнего прошлого, от порядков и норм сталинского режима, показаться всему миру не только миротворцем, но и покровителем искусств, политически выглядело бы неадекватным, чтобы признанный в мире композитор у себя на родине оставался преданным поруганию, с несмываемым клеймом «формалиста». Это тем более было заметно в сравнении с представителями других видов художественного творчества. Такого признания, как Шостакович в первой половине 1958 года, не имел ни один деятель советской культуры того времени, ни литератор, ни художник, ни режиссёр театра, ни актёр кино.

Конечно, выход Постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 года имел много разных причин, но совершенно очевидно, что музыка в тот момент имела большее предпочтение в глазах партийной верхушки и самого Хрущёва, нежели другие виды искусства и литература.

Для композиторского сообщества в СССР это постановление имело чисто внешнее, политическое значение, творческий процесс шёл своим путём и развивался по своим собственным законам. Молодых композиторов оно практически никак не затронуло. Для них старое Постановление 1948 года было уже давно забытым анахронизмом. Тем более, что в заглавии нового постановления были указаны оперы, давно уже сошедшие со сцены (кроме, быть может, «Богдана Хмельницкого», которого, кажется, пытались ещё ставить на Украине).

На Постановление отреагировали, главным образом, композиторы старшего и среднего поколения и, в первую очередь, те, кто упоминался в Постановлении 1948 года или кто был так или иначе причастен к событиям того года. Для композиторов «формалистического направления» это было знаком перемен в стиле руководства музыкой, подающим надежды на ослабление давления Агитпропа на композиторское творчество. Правда, в хрущёвский период идеологический пресс партийной доктрины всё ещё – по инерции

и чисто формально — оставался в некоторой силе. И лишь после его ухода, при Брежневе постепенно давление слабело, а в конце советского периода оно фактически сошло на нет.

Впрочем, не всё так просто было с этим Постановлением. Прежде всего, в тексте его содержалась некая двусмысленность. С одной стороны, в этом документе отнюдь не дезавуировались основные положения прежнего, десятилетней давности Постановления от 10 февраля 1948 года. И принцип партийности, и доктрина соцреализма оставались незыблемыми. Лишь наиболее одиозные, слишком грубые обвинения, которые, кстати сказать, вполне логично вытекали из установок Постановления 1948 года, были списаны на “субъективный подход И. В. Сталина”. Того Сталина, который продолжал и после выхода Постановления по-царски награждать композиторов-формалистов премиями своего имени! Который заказывал им музыку для своих важных кинофильмов! Справедливости ради стоит напомнить, что отнюдь не Хренников, композитор “реалистического направления”, а “формалист” Шостакович писал музыку к кинофильму “Падение Берлина”...

Постановление от 28 мая 1958 года “Об исправлении ошибок...” было опубликовано в центральном органе партии — газете “Правда” — вместе с большой статьёй “Путь советской музыки — путь народности и реализма”. Эта статья была перепечатана в разных СМИ, а к осени вышла отдельной брошюрой. И по своей функции она является своего рода подзаконным актом. И вот из этой статьи читатель мог понять, что все постановления по литературе и искусству, принятые в 1946–1948 годах, имели “большое значение для развития духовной культуры советского общества”, “отстаивали идейную чистоту нашего искусства, которое призвано быть глашатаем передовой советской идеологии и морали”.

При этом признавалось, что опере “Дружба народов” были присущи “некоторые недостатки”, но “что не было оснований объявлять её примером формализма в музыке”.

Конечно, это очень ценное признание не могло не вызвать улыбку у настоящих “формалистов”. И оно бы прошло незамеченным, если бы после этого не шёл следующий важный пассаж: “Необоснованной была также огульная характеристика талантливых композиторов, товарищей Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, В. Шебалина, Г. Попова, Н. Мяскового, как представителей антинародного формалистического направления в музыке. Эти неверные оценки отражали субъективный подход к отдельным произведениям наших художников со стороны И. В. Сталина”.

Заодно было решено возложить вину плохого влияния на... нет-нет, не на А. Жданова, идейного вдохновителя Постановления 1948 года, а... на Маленкова, Молотова и Берия. Это уже ни в какие ворота не лезло, наверняка Жданов в гробу перевернулся — чуть ли не соавторами его детища объявляли его противников. Но замечательна концовка этого пассажа. “Субъективные оценки, нашедшие своё отражение и в постановлении ЦК от 10 февраля 1948 года, безусловно, противоречили духу и основным принципам этого документа”³⁸. Тут уж никакого сомнения у читателя не могло быть, что само Постановление 1948 года если и не возникло вопреки воле Сталина, отразившийся в нём субъективизм вождя и его приспешников, тем не менее, не сломил дух и основные принципы этого важнейшего партийного документа³⁹.

Противоречивое содержание Постановления 1958 года было сразу отмечено как в кругах советской интеллигенции, так и за рубежом. Показателен в этом смысле один документ, хранящийся в Государственном архиве Великобритании. Уже на следующий день после публикации в газете “Правда” Постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 года “Об исправлении ошибок...” из британского посольства в Москве 9 июня пошло следующее письмо в Северный департамент Министерства иностранных дел Великобритании:

“Британское посольство Москва 9 июня 1958 (1754/9/6)

Дорогой департамент,

1. “Правда” от 8 июня опубликовала постановление ЦК от 28 мая “Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца”. Первая из них, опера Мурадели, была главным предметом так называемого “ждановского” постановления о музыке от 10 февраля 1948 года. Две других, за что были обвинены украинский писатель Корнейчук

и композитор Жуковский, впервые попали под обстрел в редакции “Правды” в 1951 году.

2. Новое постановление продолжает оправдывать общие принципы постановления 1948 года, утверждая, что оно должным образом осудило формалистические и модернистские тенденции и способствовало правильной развитию советской музыки. С другой стороны, говорится, что в нём несправедливо критиковались отдельные композиторы, в частности Мурадели, Шостакович, Прокофьев и Хачатурян, которые были ошибочно названы представителями “антинародного формалистического направления”. Правда, они допустили несколько ошибок. Кроме того, постановление 1948 года ложно ссылается на антагонизмы между народами Северного Кавказа (это замечание предназначено для оправдания ссылки на Берия, которая появляется позже, и возвращается к одному из выдвинутых против него обвинений).

3. Часть вины за ошибки возлагается на Сталина⁴⁰ и его “субъективный подход” к музыке. Говорят, что он находился под вредным влиянием Молотова, Маленкова и Берии.

4. В постановлении официально отмечаются ошибки 1948 года, признаётся, что передовица “Правды” 1951 года была односторонняя, оно требует от “Правды” опубликовать редакционную статью о развитии советской музыки и предлагает партийным организациям и министерству культуры, чтобы они разъяснили новую линию широко с целью повышения идейно-художественного уровня советской музыки и укрепления её связей с народом.

5. Постановление имеет несколько последствий для советской культуры. Во-первых, оно даёт официальную санкцию на компромисс между “ждановскими” сторожевыми собаками, такими как Хренников, и несколькими действительно хорошими композиторами, чья реабилитация началась очень скоро после смерти Сталина. Этот компромисс был очевиден уже прошлой весной на втором съезде композиторов и знаменует собой кульминацию постепенной тенденции в постсталинские годы. (Интересно отметить, например, что, в отличие от соответствующих постановлений по литературе и театру, данное постановление, очевидно, свидетельствует о некотором ослаблении идеологических оков в музыке, которые были вновь ужесточены в прошлом году в результате событий в Венгрии. Оно может также означать некоторое ослабление в других отраслях культуры).

6. Политические последствия Постановления более интересны, хотя и менее понятны. Совершенно очевидно, что постановление возникло из окружения Хрущёва, хотя не обязательно было инициировано им лично. Эта точка зрения подтверждается гипотезой о том, что Корнейчук, вероятно, находился под покровительством Хрущёва и что нападение на него в 1951 году могло быть частью кампании по подрыву влияния последнего. Редакционная статья “Правды”, занимающая шесть колонок в том же номере, отождествляет новое постановление не только с Хрущёвым, но и со взглядами Ленина на искусство.

7. Изменение некоторых пунктов указа 1948 года представляет собой удар, хотя и незначительный, по так называемой “ждановщине”. Тем не менее, некоторые наблюдатели утверждают, что вульгаризация⁴¹ русской культуры, последовавшая за постановлениями 1946–1948 годов, исходила не столько лично от Жданова, сколько от тех, кто был ответственен за их практическое исполнение. Здесь уместно напомнить, что именно Сулов был главой АГИТПРОПА в 1947–1948 годах, и он должен был контролировать выполнение⁴² постановлений о кино и музыке. Если мнение будет принято – хотя пока ещё никоим образом не доказано, – что Сулов недавно был отодвинут, было бы логично сделать вывод, что он отсрочил действия Центрального комитета по исправлению ошибок 1948 года, за которые он, возможно, был частично ответственен.

8. Вина, которую новое Постановление возлагает на Сталина, вряд ли способна переломить нынешнюю тенденцию восстановления его авторитета. Это легко может быть списано на “трагедию” культа личности. Связь Молотова и Маленкова с Берией в их плохом влиянии на Сталина – это совсем другой вопрос, и он может быть направлен на оправдание дальнейших действий против первых двух имён; интересно, что Молотов упоминается первым. Мы считаем, что Берия имел непосредственную связь с культурой в течение короткого

периода в начале пятидесятых; на самом деле, мы не видим оснований для обвинений Молотова и Маленкова.

9. Эти мысли очень умозрительны. Здесь нам не хватает контекста записей и гипотез, которые могли бы позволить нам представить их более убедительно, и мы будем приветствовать мнения исследовательского отдела по этому вопросу.

Мы отправим перевод постановления следующей посылкой⁴³.

Этот документ свидетельствует о том, что англичане имели точное представление о двоякой сути Постановления 1958 года, о том, что оно “продолжает оправдывать общие принципы постановления 1948 года”. В этом документе для нас сегодня наибольший интерес представляет предположение представителя английского посольства в Москве о том, что Постановление 1958 года “даёт официальную санкцию” на “компромисс” между противоборствующими группами советских композиторов – “реалистами” и “формалистами”. Распри между композиторами вряд ли были нужны партийному руководству, единомыслие и консолидация всей творческой интеллигенции, её верность партии и социалистическому реализму – это было необходимо в тот момент Хрущёву. Об опасности групповщины говорилось на Втором съезде советских композиторов в 1957 году. Под флагом единения и солидарности пройдёт Третий писательский съезд в 1958 году.

Мнение о двуликости Постановления стало общим местом в западной литературе о советской музыке. Вот, к примеру, мнение Б. Шварца: “В то время как в постановлении 1958 признавались перегибы прошлого, оно всё же оставалось далеко от отмены постановления 1948 года. Напротив, большое внимание было уделено тому, что решения 1948 года “играли в целом положительную роль в дальнейшем развитии советской музыки”. Была вновь подчеркнута “неприкосновенность основополагающих принципов, выраженных в постановлениях партии по идеологическим вопросам”⁴⁴.

Однако, как показали дальнейшие события в жизни композиторских организаций, именно двусмысленность Постановления 1958 года не только не способствовала компромиссу и консолидации, а наоборот, стимулировала очередной виток противостояния.

Это стало очевидным сразу же после публикации нового Постановления в печати. Консервативная музыкальная партия обратила внимание на то, что Постановление 1948 года осталось в силе и что редакционная статья в газете “Правда” говорила о том, что необходимо “помнить, что опасность нездоровых, чуждых нам явлений в музыке, против которых направлены были эти Постановления, не снята ещё и сегодня”. И что “в творчестве отдельных композиторов порой ещё проявляются неправильные тенденции, препятствующие полноценному реалистическому воплощению значительных тем, мужественных и героических образов, правдивому изображению современной жизни народа”⁴⁵.

Композиторы, пострадавшие в 1948 году, наверняка чувствовали моральное удовлетворение оттого, что с них была снята партийная анафема, что теперь жупел антинародного формалистического направления не довлел над ними. Более того, статья в “Правде” с упоминанием выступления Шостаковича на приёме у Хрущёва 8 февраля придавала композитору уверенности в том, что его положение оставалось не просто высоким, а обретало новый, далеко идущий смысл, некий посыл, которым композитор не преминул воспользоваться в дальнейшем.

О том, как композиторы старшего поколения по-разному отреагировали на Постановление, красноречиво говорят их выступления.

Первые отклики не замедлили появиться сразу после его публикации. В “Правде” они появились уже на следующий день, 9 июня. На третьей странице были помещены отзывы Ю. Шапорина, А. Штогаренко и Караева.

Опытнейший Шапорин в своём отклике сумел дипломатично высказать свою якобы нелицеприятную точку зрения: “Опубликованное вчера Постановление ЦК КПСС “Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца” с присущей прямоотой и принципиальностью вскрыло те неверные субъективные оценки явлений музыкального творчества, которые сложились в условиях культа личности. Этим самым проведена резкая черта между субъективным подходом в оценке художественных явлений и ленинскими принципами руководства художественным творчеством.

Партия зовёт нас к смелому, яркому, вдохновенному и мастерскому воплощению героической темы современности. Советские композиторы, отвечая на новое проявление заботы о расцвете музыкального искусства, с верой в нужное для нашего великого народа дело будут стремиться к вершинам мирового художественного творчества”.

А. Штогаренко не забыл упомянуть добрым словом творение А. Жданова: “Новый важный партийный документ справедливо отмечает, что Постановление ЦК КПСС от 10 февраля 1948 года в целом сыграло положительную роль в развитии реалистического музыкального творчества”.

Кара Караев прямо начал со здравницы композиторам–“формалистам”: “Советский народ по праву гордится успехами нашего музыкального искусства. В его развитии есть немалая роль выдающихся композиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мяковского, А. Хачатуряна и многих других”. И лишь после этого он отметил, что “азербайджанские композиторы с большим удовлетворением встретили Постановление ЦК КПСС “Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца”. И, конечно, дежурная, по-восточному чрезмерная хвала: “Это Постановление – новое свидетельство силы и мудрости Коммунистической партии”.

10 июня первыми откликами “виновника” Постановления 1948 года Вану Мурадели и приверженца этого постановления, автора оперы “Тихий Дон”, поделилась газета “Советская культура”. Иван Дзержинский вспоминал, как ему “довелось участвовать в совещании деятелей советской музыки, которое состоялось в ЦК партии в 1948 году. Тогда в течение трёх дней вёлся большой дискуссионный спор о формализме в музыке в самом глубоком и разностороннем смысле слова. Этот разговор, несомненно, принёс пользу всем его участникам. Но в оценке некоторых композиторов и произведений были допущены ошибки. Сейчас ЦК КПСС исправил их. И это справедливо. Глубоко радуется, что опубликованные документы с новой силой утверждают неизбежность реалистического пути развития советской музыки, неизбежность основ народности в искусстве”.

В этом же номере газеты сообщается о том, что состоялось партийное собрание московских композиторов. Открыл собрание секретарь парторганизации В. Фере, выступали Вану Мурадели, А. Иконников, Д. Кабалевский, А. Новиков, Д. Рабинович, А. Хачатурян, Л. Данилевич.

“Советская культура” 12 июня поместила на первой странице редакционную статью “Полнее и ярче отражать нашу советскую действительность”, а также сообщения о двух акциях, прошедших в Ленинграде и Москве по случаю выхода Постановления от 28 мая 1958 года. В Ленинграде прошло партийное собрание композиторов. Доклад делал заместитель Председателя ЛОСК М. Глух. Выступали И. Гусин, Л. Энтелис, Е. Сироткин, О. Чижко, В. Сорокин, Ф. Рубцов и др. Была принята резолюция об огромном значении Постановления от 28 мая 1958 года. Судя по составу выступавших, можно понять, что для собравшихся новое Постановление было подтверждением правильности курса 1948 года.

Одновременно газета сообщала, что в Коллегии Министерства культуры СССР состоялось заседание по поводу Постановления. “Открыл заседание коллегии сообщением министр культуры СССР Н. А. Михайлов. Он обратил внимание на необходимость ещё более внимательного, ещё более бережного отношения к художникам. Замечательные слова великого Ленина о том, что талант – редкость, что его нужно систематически и осторожно поддерживать, должны неизменно быть основой в оценке результатов творческого труда писателей, художников, композиторов, деятелей театра и кинематографии. Но всё это отнюдь не означает, что вопросы борьбы за идейную чистоту нашего искусства утратили свою остроту. Сейчас, в дни повсеместно развернувшейся борьбы со всеми и всяческими проявлениями ревизионизма, нам нужно быть, как никогда, последовательными и принципиальными в отстаивании, утверждении высокой идейности, больших целей и идеалов советского искусства. Затем выступали Д. Кабалевский, А. Новиков, И. Мартынов, А. Свешников, А. Хачатурян. О тёплой человеческой заботе партии, вдохновляющей композиторов на новые большие творческие порывы и дерзания, взволнованно говорил композитор Д. Шостакович”. По поводу проведённой коллегии министр культуры отчитывался перед Президиумом ЦК КПСС. Партийная верхушка

внимательно следила за тем, как отреагирует музыкальная и – шире – культурная общественность на новое Постановление.

В этом же номере на второй странице помещены отзывы на Постановление Г. Эрнесакса, Н. Пейко, Г. Жуковского, Ф. Амирова.

Потом газеты сообщали об общих собраниях композиторов и музыковедов в Москве, Ленинграде, Киеве, в Алма-Ате и далее – во всех национальных республиках.

Конечно, наиболее значимым и весьма показательным было собрание в Москве. Здесь выступали основные “герои” обоих Постановлений. И именно здесь наиболее наглядно выявились противоположные позиции композиторов двух лагерей.

Первой о собрании композиторов и музыковедов в Москве по случаю выхода нового Постановления ЦК КПСС отрапортовала газета “Правда” от 13 июня (№ 164). Сам номер этой газеты по-своему знаменателен подборкой материалов. На первой странице под заголовком “Зарубежный зритель рукоплещет советскому искусству” даётся подробный отчёт о выступлениях советских артистов за рубежом, о гастролях МХАТ в Лондоне, об успехах балета Большого театра, ансамбля танца И. Моисеева, Государственного ансамбля танца УССР, Омского народного хора, симфонического оркестра Ленфилармонии (в Японии), о выступлениях танцоров и певцов, хоровых коллективов и народных ансамблей Грузии, Прибалтики, республик Средней Азии. Автор передовицы не забыл упомянуть в списке триумфаторов советского искусства и композиторов: “Широко известен выдающийся успех, сопровождающий выступления в зарубежных странах замечательных советских артистов Г. Улановой, Э. Гилельса, Д. Ойстраха, Л. Когана, М. Ростроповича, композиторов Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и многих других деятелей советского искусства”.

В этом же номере газеты дана подробная информация о приёме в посольстве Великобритании в Москве по случаю дня рождения Её Величества Елизаветы II, королевы Великобритании. Отмечается, что на приёме присутствовали Кириченко, Козлов, Фурцева, Микоян, Хрущёв, министры Громыко, Бещев, Михайлов, Зверев, высшие военачальники, учёные, деятели искусства и пр. Хрущёв настойчиво продолжает искать возможность достичь взаимопонимания с великими державами и их руководителями.

Не забыт и третий искусственный спутник. Его полёт ежедневно упоминают не только “Правда”, но и другие центральные газеты. И, наконец, разворот третьей страницы полностью отведён событию в композиторском сообществе. Заголовок говорит сам за себя: “Великая забота партии о расцвете советской музыки”.

Этот же материал перепечатала газета “Советская культура” 14 июня в номере 71, предварив его сообщениями о партийном собрании ССК Украины и общегородском собрании композиторов, музыковедов и музыкальной общественности в Алма-Ате, а также об открытии в Ленинграде музыкального фестиваля “Белые ночи”. И на развороте 2-й и 3-й страниц дала перепечатку текстов выступлений композиторов и музыковедов.

Открыл собрание глава Союза композиторов Т. Хренников. Его выступление в газете озаглавлено “Вместе с партией, вместе с народом”. И без заглавия можно себе представить, какое слово мог, точнее, должен был произнести генеральный секретарь ССК СССР. Конечно, это был чистейший официоз. Впрочем, в той или иной степени практически все выступавшие придерживались “дорожной карты” Постановления и сопровождающей его статьи в газете “Правда”, и всё же в выступлении каждого был свой “маршрут”, своё “вождение”.

Конечно, Хренников не мог обойтись без благодарности партии. Собственно, все начинали с этого реверанса. Но в благодарности генерального секретаря был слышан наигранный чиновничий пафос. В Постановлении для него главное – “незыблемость эстетических принципов народности и социалистического реализма”. И тут же Хренников упоминает Постановление от 10 февраля 1948 года. Оно сыграло, как он громогласно заявил, “большую положительную роль в развитии советской музыки”. И далее он уже не мог остановиться, его буквально понесло: “Это Постановление направило творческие искания советских композиторов на путь искусства, сильного своей идейностью, жизненной правдивостью и красотой. Постановление ЦК партии от 10 февраля 1948 года помогло немалому числу композиторов освободиться

от пагубных иллюзий модернистической (так!) эстетики, преодолеть черты индивидуализма, которые были свойственны некоторым произведениям послевоенного периода”.

Как-то эти вдохновенно произнесённые слова не вяжутся с позднейшим утверждением Хренникова, что он убеждал Хрущёва годом ранее, на премьере его оперы “Мать”, отменить постановление 1948 года. Да и при всём желании Хренников не мог критиковать Постановление 1948 года – оно было его козырной картой, джокером, который он вытаскивал по мере надобности и бил любую карту, то бишь любое произведение, которое ему не нравилось, в котором он находил “модернистическую” ересь. Поэтому он как-то мельком упомянул об “ошибочности и несправедливости некоторых оценок”, содержащихся в старом Постановлении ЦК партии. Буквально, проскочил, прошмыгнул мимо этих ошибок для того, что подчеркнуть “глубокий смысл настоящего Постановления – в продолжении и развитии ленинских методов работы с художественной интеллигенцией”, сочетающих принципиальность в проведении линии партии с чутким, внимательным отношением к художникам, с глубокой верой в их творческую инициативу”.

И затем Хренников счёл необходимым посетить самого себя в порядке самокритики. “В жизни Союза композиторов должны быть навсегда исключены такие методы критики, к сожалению, имевшие место в прошлом, когда догматически затёркивались те или иные произведения, требовавшие внимательного разбора, анализа их сильных и слабых сторон, всесторонней оценки. Эти ошибки допускались в некоторых случаях и секретариатом Союза композиторов, и о них полезно ещё раз вспомнить для того, чтобы впредь их не повторять”. Это было сказано вовремя, дабы не дать возможность следующему ораторам напомнить ему о его собственных разгромных выступлениях, особенно тем, кого в 1948 году Хренников поносил последними словами в полном соответствии с догматами ждановского Постановления. И так как кое-кто из присутствовавших в зале мог кое-что припомнить, то тут же пообещал исправиться. “Мы должны построить работу нашей организации так, чтобы животрепещущие творческие вопросы решались в принципиальных дискуссиях, в открытых спорах, при искреннем намерении спорящих сделать нашу музыку ещё более жизненной, близкой советским людям”.

И завершил со свойственным ему оптимизмом, отметив завязавшиеся уже “плодотворные дискуссии” на республиканских пленумах и объявив о предстоящих пленумах правления союза. Всё время своего выступления Хренников был “вместе с партией”. И лишь в самом конце вновь, не забыв партию, он вспомнил о народе единственной фразой: “В своём творчестве, во всей своей деятельности мы будем активно проводить политику партии, стремиться к ещё большему сближению музыкального творчества с жизнью народа”.

Д. Д. Шостакович тоже вынужден был соблюсти этикет и выразить своё отношение к партийному документу. Но он нашёл свой ход рассуждений, выбрал спокойный тон речи уверенного в себе человека, сумевшего в трудных обстоятельствах сохранить своё лицо. Никаких жалоб, упреков, сетований. Ни разу не упомянул о кампании против него самого в 1948 году, вообще ни слова не произнёс о Постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года, избежал дежурных слов о “партийности” и “народности”. Главное достоинство нового Постановления он увидел в том, что оно снимает “несправедливые, беспартийные оценки ряда советских композиторов и открывает прекрасную перспективу дальнейшего движения советской музыки по реалистическому пути. Необычайно высокий идейный и морально-этический уровень этого Постановления восхищает нас, советских музыкантов, и всех многочисленных почитателей советской музыки”⁴⁶.

И далее Шостакович произнёс слова, которые смущают некоторых наиболее радикально настроенных советологов. Коснувшись зарубежных связей, он заметил, что в музыкальных кругах зарубежных стран “нашу точку зрения по вопросам новаторства, реализма, народности искренне поддерживают многие передовые музыканты западноевропейских стран”. И поделился своими свежими впечатлениями о встречах с крупными французскими композиторами, которые, по его мнению, “глубоко обеспокоены дальнейшей судьбой музыкального творчества на Западе”. Как передаёт газета слова Шостаковича, “их тревожит распространение среди молодёжи фальшивых

“авангардистских” течений вроде пресловутой додекафонии или “конкретной музыки”.

Вопрос об отношении Шостаковича к музыкальному авангарду в 1950-е годы отнюдь не такой простой. Начнём с того, что в эти годы не один Шостакович был убеждённым противником додекафонии и электронной музыки. В 1950-е годы, когда международный музыкальный авангард победно шествовал по западному миру, далеко не везде и не всеми композиторами он воспринимался “на ура”. Достаточно вспомнить Пауля Хиндемита или Карла Орфа в Германии, венгра Золтана Кодая или чеха Богуслава Мартину. В Соединённых Штатах в начале 1950-х годов американские композиторы-симфонисты старшего поколения, творцы “музыкального американизма”, такие как А. Копланд или С. Барбер, Р. Сешнс или Э. Сигмейстер, отнюдь не были в восторге от А. Шенберга и его молодых американских учеников и последователей. С. Барбер охарактеризовал энергичное наступление американского сериализма, как “победу тоталитарного модернизма”⁴⁷, а Георг Рочберг, прошедший школу Принстона, назвал его “своего рода нацизмом в музыке”⁴⁸. И во Франции с её богатыми традициями, с обострённым чувством национального достоинства (особенно после Второй мировой войны) такие композиторы как Пуленк, Орик, Оннегер, Соге, Лесюр, Дютийе и Жоливе действительно противились усиленному насаждению эстетики безнациональной и безмелодичной музыки.

Обычно подобного рода высказывания Шостаковича рассматриваются как дань композитора официозу, как некие вынужденные и не присущие ему самому мысли. Но это не совсем так, а скорее всего, совсем не так. Положение у Шостаковича в чисто творческом плане, да и в музыкальном мире в это время было довольно сложное. Шостакович, один из первых советских композиторов его поколения, столкнулся с явным неприятием его не только общественной, но и художественной позиции. В скором времени представители музыкального авангарда начнут его уже в открытую критиковать. И, кстати говоря, эта критика начнётся именно с Одиннадцатой симфонии. Поэтому в нелестных словах Шостаковича в адрес музыкального авангарда не было ничего фальшивого, бесчестного. И апелляция к иностранным композиторам, которые сочувствовали Шостаковичу, – это способ самозащиты, способ борьбы за выживание, за своё присутствие на мировой музыкальной арене.

Завершил своё выступление Шостакович обращенной не столько к музыкальной общественности, а к властям предержащим просьбой, “чтобы советская музыка шире и систематичнее исполнялась в наших концертных залах и оперных театрах”.

Не забыл композитор обратиться и к музыкальным критикам. И вот тут он не обошёлся без словесных штампов, без официоза. Он выразил надежду, что после исправления ошибок, указанных в Постановлении от 28 мая, “музыковеды и критики должны расправить свои крылья, отточить своё перо с тем, чтобы более требовательно, принципиально, с высокоидейных партийных позиций оценивать всё, что создаётся нашими композиторами”. Предложил музыковедам “изучить исторический путь, пройденный советской музыкой, воскресить многие ценные произведения, которые были незаслуженно забыты. Это относится к операм, к симфонической и камерной музыке, к романсам и песням”. Последние слова имели отношение и к самому Шостаковичу, у которого в портфеле лежали в своё время забракованные опера и балеты, Четвёртая симфония и другие сочинения. Композитор ожидал переоценки этих фактически арестованных сочинений, и так как в своё время они были осуждены Агитпропом и газетой “Правда”, то теперь он ожидал реабилитации их, конечно, прекрасно понимая, что принципиальный пересмотр отношения к ним может быть только “с высоких партийных позиций”.

В самом конце Шостакович затронул, как он сам определил, “задачу первостепенной важности – воспитание хорошего эстетического вкуса у нашей молодёжи”. Сказанные тогда слова Шостаковича не потеряли своей актуальности и по сей день: “Пропаганду хорошей музыки нужно начинать со школьной скамьи, с первого класса, чтобы ребята изучали музыкальную грамоту, народные песни и лучшие произведения мировой и русской, советской музыки. Это позволит приобщить миллионы граждан нашей страны к богатствам музыкальной культуры”.

Несколько иной тональности придерживался в своём выступлении Г. В. Свиридов на этом собрании. Уже в самом начале своей речи он сразу резко развернул дежурную благодарность партии в критическом направлении. Как он заявил, «партия вновь сказала, что музыка не есть частное дело отдельных композиторов, что советское музыкальное искусство рассматривается у нас как часть общегосударственного, общенародного дела, как одна из важных отраслей духовной жизни советского народа»⁴⁹. Тут же не преминул упомянуть, что при таком отношении на всех деятелей советской музыки возлагается большая ответственность. И сразу же предложил свою версию прочтения Постановления от 28 мая 1958 года. Как можно судить по газетному изложению его слов, в этом Постановлении его «глубоко взволновало то, что субъективные и безапелляционные суждения по поводу творчества наших крупнейших мастеров сняты и самый термин – «антинародное направление» – к нашей музыке не применим».

И затем воздал должное своим старшим коллегам, попавшим под огонь ждановской критики, заметив, что новое Постановление «пронизано чувством глубокого уважения к деятельности выдающихся советских музыкантов. Некоторые из них, например, Н. Мясковский, В. Шебалин, А. Хачатурян, Д. Шостакович, являются не только композиторами, но и крупными педагогами, воспитателями нескольких поколений советских музыкантов. Многие из нас являются их учениками, поэтому нас особенно радует тон глубокого уважения к этим замечательным музыкантам».

А затем Свиридов не удержался от прямой критики руководства Союза композиторов СССР, выразив озабоченность состоянием дел в Союзе. По газетному изложению его слов можно только понять, какие темы затронул Свиридов в своём выступлении: «Новый партийный документ заставляет нас серьёзно позаботиться о состоянии в композиторской организации. Всё время откладывается создание Московского союза композиторов. Мало у нас интересных творческих собраний, дискуссий. После Второго съезда композиторов жизнь союза не только не активизировалась, а стала более вялой, пассивной. Нам нужно чаще собираться для обсуждения новых сочинений, лучше знать друг друга. Нужно, чтобы в союзе звучало больше музыки, чтобы мы могли критиковать друг друга, помогая овладеть высоким мастерством, нужно работать не покладая рук, ибо этого ждёт от нас народ, а перспективы для творчества у нас необычайно увлекательны и интересны».

Скромный старейший композитор В. Крюков, один из пионеров киномузыки, упомянул оба Постановления, тем не менее, не обошёл без упрека: «Нельзя было зачеркнуть всё, что было создано нашими композиторами до 1948 года в области симфонической, камерной, оперной музыки». И нашёл справедливые, добрые слова в адрес практически всех композиторов-формалистов. Отметил первым своего учителя – Н. Я. Мясковского: «Особенно несправедливой была критика композитора Н. Я. Мясковского. Это был не только выдающийся симфонист, но и замечательный общественный деятель, чуткий педагог, воспитавший целую плеяду советских музыкантов».

В выступлениях композиторов В. Фере, Д. Кабалевского трудно выделить какую-либо оригинальную мысль. Как и многие другие, они отделались дежурными признаниями в приверженности социалистическому реализму, благодарили партию за внимание к композиторскому творчеству. Даже авторитетный и в общем-то прогрессистски настроенный Арам Хачатурян не нашёл какого-то убедительного слова если не в свою собственную защиту, то хотя бы в поддержку всей группы композиторов, обвинённых в 1948 году в формализме (к которой он сам был причислен). Увы, заметив в начале своего выступления, что новое Постановление свидетельствует о том, что «наша партия внимательно следит за развитием советской музыки, проявляет большую заботу о композиторах» и что Постановление «содержит в себе глубокие мысли, намечает дальнейшие пути развития советской музыки», тем не менее, он не забыл упомянуть, что «принципы реализма, идейности, борьбы с чуждыми влияниями десять лет назад были провозглашены нашей партией в известном Постановлении от 10 февраля 1948 года». Правда, после этого он сразу перешёл к современному состоянию композиторского творчества. «Советская музыка за десять лет шагнула далеко вперёд. За это время появился ряд ярких музыкальных произведений, выдвинулось много молодых талантливых мастеров, необычайно расцвело национальное искусство союзных и автономных

республик”. При этом он счёл возможным упомянуть только успехи композиторов Азербайджана и Татарстана, назвав имена Кара Караева и Назиба Жиганова.

Двойственность текста Постановления ЦК КПСС 1958 года порождала двусмысленность некоторых высказываний, известную “гибкость” в позиции некоторых участников собрания. Это наиболее ярко проявилось в выступлении музыковеда И. В. Нестьева. Воздав в начале выступления должное новому партийному документу как логическому продолжению линии, намеченной XX съездом КПСС, он тут же отвешивает глубокий поклон в сторону Постановления 1948 года: “Мы вновь и вновь ощущаем великую роль Постановления от 10 февраля 1948 года, основные идеи которого остаются священными и незыблемыми”. Затем он приводит имена и сочинения композиторов, чьему росту помогли “мудрые идейно-эстетические принципы, изложенные в этом важнейшем документе”. Первым упомянул Д. Д. Шостаковича, назвав “две интереснейшие симфонии – 10-ю и 11-ю, составившие украшение современного симфонического репертуара”. Отметил “интенсивную работу” В. Шебалина, “показательный путь” Н. Пейко “к его интересному балету “Жанна д’Арк”, Г. Свиридова, “который проделал плодотворный путь от недостаточно зрелых и подражательных сочинений 40-х годов к нынешним ярким, талантливым вокально-симфоническим полотнам”. И тут же воспользовался этим “важнейшим документом” как розгами и посёк им молодых композиторов. “Особенно плохо обстоит дело с оценкой творчества молодых композиторов. А ведь разговоры, ведущиеся об ошибочных тенденциях отдельных молодых композиторов – об усложнённости языка, субъективизме, отрыве от современности, – эти разговоры не беспочвенны. И нужно проявить большую требовательность, твёрдость и в то же время чуткость для того, чтобы помочь молодым товарищам выправить творческую линию”.

Послевоенная поросль композиторской молодёжи, её выход на музыкальную сцену, отношение к ней в ССК СССР – это чистой воды *terra incognita* в нашем историческом музыкознании. Между тем, появление молодого поколения в союзе композиторов, история взаимоотношений молодых со старшими коллегами, с руководством ССК СССР и СК РСФСР, их постепенное возвышение и, наконец, захват командных высот как за счёт естественной убыли старших поколений, так и путём борьбы с ними – драматичная и необычайно важная страница истории отечественной музыки, без знания которой очень трудно понять, что в ней происходило и происходит вплоть до наших дней. Эта история непосредственно связана с героями нашего повествования, поэтому в дальнейшем мы обязательно остановимся на этой теме.

Затронул Нестьев в своём выступлении и проблему массовых жанров.

“Вызывает беспокойство положение в области массовых жанров советской музыки. За последние два-три года в песенном жанре, в киномузыке, радио- и телепередачах порой творится что-то неладное. В музыке некоторых песен зачастую появляется неприятный гибрид джазовых ритмов и надрывной мелодии в духе Лещенко. А ведь эти жанры в какой-то мере формируют вкусы молодёжи”. В 1958 году тема массовых жанров вновь обрела не просто актуальность. Она воспринималась как государственная проблема. Но и об этом позже.

Закончил своё выступление Нестьев – как выяснилось позднее, убеждённый поклонник и знаток современного западного искусства – вполне боевито, на бодрой ноте: “Новый партийный документ будет стимулировать дальнейшие крупные успехи нашего творчества, нашей критики и активизировать жизнь нашего союза, который имеет все возможности стать подлинным штабом реалистического музыкального творчества”.

В научной литературе не существует взвешенной объективной оценки исторической роли Постановления ЦК КПСС 1958 года. Не претендуя на полностью моей точки зрения, поделюсь некоторыми наблюдениями.

Постановление ЦК КПСС имело чисто пропагандистское значение и родилось в конкретной политической ситуации, когда партия и государство были крайне заинтересованы в разрядке напряжённости и в налаживании мирного диалога с Западом. Постановление ЦК КПСС – это один из тех документов, которые говорят о намерении советского государства создать положительный образ своей страны за рубежом. Хрущёв хотел доказать, что он отказывается от сталинских методов руководства искусством. Причём для “исправления

ошибок” было выбрано именно Постановление ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1948 года, поэтому предметом нового Постановления ЦК КПСС от 25 мая 1958 года стали не литература, не кино, не искусство вообще, а конкретно композиторское творчество. Списав на Сталина и представителей антипартийной группы (Молотов, Маленков и Каганович) наиболее грубые оценки композиторов, объявленных формалистами, творцы нового Постановления всё же были заинтересованы в сохранении эстетической доктрины социалистического реализма в качестве руководящей идеи творчества советских деятелей искусства и одновременно в сплочении на этой основе и консолидации советской творческой интеллигенции. Только теперь социалистический реализм трактовался не как детище Сталина, а как ленинское эстетическое учение. Реабилитация композиторов-“формалистов” была необходима Хрущёву в 1958 году, так как музыка была главным репрезентантом советской культуры в том году за рубежом.

Безусловно, Постановление 1958 года в известной степени сработало и на имидж самих композиторов, обвинявшихся в формализме в 1948 году. Оно сыграло свою роль и в судьбе Д. Д. Шостаковича, образ которого как “мученика” сталинского режима надолго упрочился в западной пропаганде и остаётся таковым до сих пор.

Что касается собственно музыкального процесса, могу с уверенностью сказать, что новое Постановление не оказало на него никакого влияния. Композиторы старшего и среднего поколения как шли своим путём, так и продолжали им идти. Молодёжь находилась в стадии обретения своего индивидуального стиля и почерка, жадно впитывая всё то новое, что было доступно им. В том числе и ту музыку, те композиционные техники и звуковые системы, на которые были наложены санкции со стороны партийного руководства.

Как показало время, ход дальнейших событий, Постановление 1958 года не оказало какого-либо влияния на политику, идеологию и пропаганду Запада в отношении Советского Союза, и одновременно оно не помогло достичь целей, которые ставились творцами Постановления в отношении внутренней политики, влияния на культурную жизнь и художественное творчество в стране Советов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Советско-арабская дружба крепнет и развивается. Прибытие в Москву Президента ОАР Гамаль Абдель Насера. // “Правда”. – 1958. – 30 апреля. – № 120. – С. 1.

² Выступление советских артистов в Александрии. // “Советская культура”. – 1958. – 4 мая. – № 53. – С. 4; Каирские встречи. // “Советская культура”. – 1958. – 6 мая. – № 54. – С. 4.

³ См. рец.: “Браво, Уланова!”, “Браво, русские!”. Советский балет в ФРГ. // “Советская культура”. – 1958. – 19 июля. – № 86. – С. 4.

⁴ Триумф Большого театра в Париже. // “Правда”. – 1958. – 3 июня. – № 154. – С. 6.

⁵ Советско-финляндское коммюнике. // “Правда”. – 1958. – 31 мая. – № 151. – С. 1.

⁶ Тавастшерна Эрик. Музыкальные впечатления. // “Советская культура”. – 1958. – 12 июня. – № 70. – С. 4.

⁷ Ковнацкая Л. “Финская сюита” Шостаковича в ленинградском контексте: из истории рукописи. // *Opera musicologica*. 2017. – № 4 [34]. – С. 21. Шостакович завершил работу над сюитой 3 декабря 1939 года, на четвёртый день “незнаменитой” финской кампании, “зимней войны” 1939-1940 годов. Об этом скромном, не отмеченном номером самим автором сочинении сложилась целая литература. См.: Нилова В. Семь обработок финских народных песен (Сюита на финские темы) Шостаковича и карельские песенные источники. В кн.: Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 4. / Отв. ред. О. Дигонская, Л. Ковнацкая. – М., DSCH. – 2012. – С. 195–207.

⁸ Справедливости ради следует отметить, что в то самое время, когда президент Финляндии Урхо Кекконен собирался в Москву, в стране Суоми гастролировала большая группа советских артистов. Как писал директор ЦДРИ Б. Филиппов,

- “недавно у наших финских соседей по приглашению общества “Финляндия – Советский Союз” побывала группа советских артистов. В группу входили солисты Большого театра СССР Ирина Архипова и Ф. Пархоменко, пианистка Белла Давидович, скрипач М. Комиссаров, солисты грузинского балета Этери Чабукиани и Вахтанг Гунашвили, исполнители русских народных танцев, артисты Ленинградского Малого оперного театра В. Князев, А. Мирецкий и Н. Петров, аккомпаниатор Д. Ашкенazi”. (Ф и л и п п о в Б. В гостях у народа Финляндии. // “Советская культура”. – 1958. – 22 мая. – № 61. – С. 4).
- ⁹ Прибытие в Вену делегации Советско-австрийского общества. // “Правда”. – 1958. – 29 ноября. – № 333. – С. 6. “ВЕНА, 28 ноября. (ТАСС). Сегодня в Вену для участия в пятом конгрессе Австро-советского общества прибыла делегация Советско-австрийского общества во главе с председателем правления этого общества композитором Д. Д. Шостаковичем”. По всей видимости, целью визита делегации было участие в работе комиссии по подготовке программы VIII Международного фестиваля молодёжи в Вене, который планировался в 1959 году. См.: Соколова В. Международные связи молодёжи в СССР в годы хрущёвской “оттепели”. // Вестник Саратовского гос. соц. экон. ун-та. // Серия История. Исторические науки. – 2008. – № 4 (23). – С. 186–188.
- ¹⁰ Э. Кардель был на премьере 11-й симфонии в Москве 30 октября 1957 года.
- ¹¹ Несовместимо с марксизмом-ленинизмом. Статья в “Нейес Дейчланд” о VII съезде Союза коммунистов Югославии. // “Правда”. – 1958. – 14 мая. – № 134. – С. 5.
- ¹² О проекте программы Союза коммунистов Югославии. Статья газеты “Скынтейя”. // “Правда”. – 1958. – 25 мая. – № 145. – С. 3–5.
- ¹³ Руководящие круги Союза коммунистов Югославии заодно с реакционерами всех стран и правыми элементами китайской буржуазии злобно клеветают на диктатуру пролетариата. // “Правда”. – 1958. – 6 мая. – № 126. – С. 3 (“Современный ревизионизм должен быть осуждён”. Пекин. 5 мая. Передовая под таким заголовком опубликована в “Женьминьжибао”).
- ¹⁴ Сигети И. о. замминистра культуры ВНР. Неверный путь. // “Советская культура”. – 1958. – 21 августа. – № 100. – С. 3–4. (Критика книги Дьёрдя Лукача “Особенное как эстетическая категория”); Ил ку П ал. Достижения культурной революции в Венгрии. // “Советская культура”. – 1958. – 3 апреля. – № 40. – С. 4.
- ¹⁵ См.: Сообщение Министерства юстиции ВНР о судебном процессе Имре Надя и его сообщников. // “Правда”. – 1958. – 17 июня. – № 163. – С. 5.
- ¹⁶ Каллаи Дьюла, член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП. Лекция “Политика ВСРП в области культуры”. // “Советская культура”. – 1958. – 10 мая. – № 56. – С. 4.
- ¹⁷ См., напр.: Баскин М. Ревизионизм – враг передового искусства. // “Советская культура”. – 1958. – 28 июня. – № 77. – С. 3.
- ¹⁸ Советская культурная дипломатия в условиях “холодной войны”. 1945–1989: коллективная монография / [науч. ред., рук. авт. коллектива О. С. Нагорная]. – М., Политическая энциклопедия. – 2018.
- ¹⁹ Ansari E. A. *The sound of a superpower: Musical Americanism and the Cold War*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 21.
- ²⁰ См., напр.: Крюков Вл. На концертах Филадельфийского оркестра. // “Правда”. – 1958. – 6 июня. – № 157. – С. 6; Мартынов И. Москва слушает Филадельфийский оркестр. // “Известия”. – 1958. – 29 мая. – № 128. – С. 3; Власов Вл., композитор. Концерт Леопольда Стоковского. // “Известия”. – 1958. – 18 июня. – № 145. – С. 6.
- ²¹ Л. Стоковский в доме-музее П. И. Чайковского в Клину. // “Правда”. – 1958. – 3 июня. – № 154. – С. 6.
- ²² В беседе с нашим корреспондентом... Леопольд Стоковский “Я – энтузиаст обмена между русской и американской культурами”. // “Советская культура”. – 1958. – 24 мая. – № 63. – С. 4.
- ²³ *Van Cliburn Draws Crowd Of 70 000 At Grand Park // Musical America, 1958, August, p. 3.*
- ²⁴ *Cliburn Draws 40,000 As Hollywood Bowl Soloist // Ibid., p. 24* (Клиберн привлекает 40 000 человек в качестве солиста Холливуд Боул). *Hollywood Bowl* – амфитеатр, расположенный на Голливудских холмах близ Лос-Анжелеса. Одна из десяти лучших концертных площадок в США.

- ²⁵ Отъезд К. Кондрашина из США на родину. // “Советская культура”. — 1958. — 3 июня. — № 67. — С. 1.
- ²⁶ Максименков Л. Совершенно концертно. // “Огонёк”. — 2015. — 8 июня. — № 22. — С. 33, 34.
- ²⁷ *Aufschwung* (нем.) — порыв. Название пьесы из Фантастических танцев для фортепиано Р. Шумана.
- ²⁸ См.: Обмен посланиями между председателем Совета министров СССР тов. Н. С. Хрущёвым и Президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. // “Правда”. — 1958. — 24 апреля. — № 114. — С. 2. В ответ на письмо Хрущёва от 4 апреля Эйзенхауэр ответил 8 апреля, выразив сомнение в искренности намерений СССР прекратить испытания атомного оружия: “Кажется несколько странным, что Советский Союз, который только что закончил серию испытаний небывалой интенсивности, теперь в заголовках, набранных крупным шрифтом, заявляет, что он не будет проводить новые испытания, но добавляет, маленькими буквами, что он может снова начать испытания, если Соединённые Штаты будут осуществлять уже давно объявленную и подлежащую теперь осуществлению серию испытаний. Время, выбранное для опубликования советской декларации, её формулировки и способ её опубликования не могут не поставить вопрос в отношении её подлинного значения”. 22 апреля Хрущёв в ответном послании возразил Эйзенхауэру, но в конце письма примирительно заметил: “Возможно, г-н президент, Вы не все изложенные мною соображения разделяете, но всё же я хотел бы выразить пожелание — нельзя ли положить конец полемике по этому вопросу, подвести черту под прошлым и договориться о том, чтобы США и Великобритания так же, как и Советский Союз, прекратили испытания атомного и водородного оружия. <...> Мы глубоко надеемся, господин президент, что Вы используете весь свой авторитет и влияние в этих благородных целях. С искренним уважением, Н. ХРУЩЁВ”.
- ²⁹ *Cliff Nigeli. Moscow Nights: The Van Cliburn Story – How One Man and His Piano Transformed the Cold War.* — N-Y.: Harper, 2016.
- ³⁰ В 2017 году издательство ЭКСМО, исправив ошибку названия в американском издании, всё же выпустило русский перевод этой книги с несколько видоизменённым названием: Клифф Найджел. Подмосковные вечера. История Вана Клиберна. Как человек и его музыка (вместо “рояль” — piano как в американском издании) остановили (вместо “изменили” — *transformed*) “холодную войну”. — М., ЭКСМО. — 2017.
- ³¹ РГАЛИ, ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1593. Иностранная комиссия. Обзор зарубежной музыкальной прессы за апрель–июнь 1958 года. Начато: апрель 1958 года. Окончено: июнь 1958 года. На 137 листах. Л. 19–21, л. 24.
- ³² РГАЛИ, ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1595. Обзор зарубежной музыкальной прессы за июль–сентябрь 1958 года. Том IV. Начато: июль 1958. Окончено: сентябрь 1958 года. На 98 листах. — Л. 19.
- ³³ Медведев А. За пультом — Леопольд Стоковский... // “Советская культура”. — 1958. — 7 июня. — № 68. — С. 4.
- ³⁴ Отъезд Д. Д. Шостаковича в Италию. // “Советская культура”. — 1958. — 10 мая. — № 56. — С. 2.
- ³⁵ Вручение Д. Шостаковичу диплома почётного члена итальянской музыкальной академии. // “Советская культура”. — 1958. — 13 мая. — № 57. — С. 4.
- ³⁶ Критик Ин. Попов отметил это исполнение в своей обзорной статье о фестивале: “Ещё ярче раскрылось высокое мастерство дирижёра и оркестра Чешской филармонии во время исполнения Одиннадцатой симфонии Д. Шостаковича “1905 год”, прозвучавшей с огромной выразительной силой” (Попов Ин. Один день “Пражской весны”. // “Советская культура”. — 1958. — 24 мая. — № 63. — С. 3).
- ³⁷ Концерты Д. Шостаковича в Париже. // “Советская культура”. — 1958. — 31 мая. — № 66. — С. 4. “ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Во дворце Шайо в Париже состоялись два концерта из произведений известного советского композитора Дмитрия Шостаковича, находящегося сейчас в Париже. Партию фортепиано в обоих концертах исполнял автор. Наряду с другими произведениями композитора была исполнена его Одиннадцатая симфония. Помимо двух живых исполнений, А. Клюитанс записал симфонию на пластинку. (См.: Хентова С. М. Шостакович. Жизнь и творчество. — Т. 2. — Л., Советский композитор, Ленинградское отделение. 1986. — С. 337).
- ³⁸ Б. п. “Путь советской музыки — путь народности и реализма”. // “Правда”. — 1958. — 8 июля. — № 159. — С. 3, 4.

- ³⁹ Борис Шварц не без иронии заметил, что “Жданов, истинный злодей чистки 1948 года, был исключён из этого списка козлов отпущения” (*Schwarz B. Music and musical life in Soviet Russia. Enlarged Ed., 1917–1981. – Bloomington: Indiana university press, [1983]. – P. 309*).
- ⁴⁰ Буквально лежит “у дверей Сталина” (*at the door of Stalin*).
- ⁴¹ Букв. – оболванивание, отстранение (*the stultification*).
- ⁴² Букв. – он должен был быть тесно связан с указом о кино и музыке (*he is bound to have been associated closely with the decree on the cinema and music*).
- ⁴³ *National Archives, FO 371 135391*.
- ⁴⁴ *Schwarz B. Music and musical life in Soviet Russia. Enlarged Ed., 1917–1981. – Bloomington: Indiana university press, [1983]. – P. 309-310*.
- ⁴⁵ Б. п. “Путь советской музыки – путь народности и реализма”. // “Правда”. – 1958. – 8 июня. – № 159. – С. 5.
- ⁴⁶ Шостакович Д. Д. Мировой авторитет советского искусства. // “Советская культура”. – 1958. – 14 июня. – № 71. – С. 2.
- ⁴⁷ *Ansari E. A. The sound of a superpower: Musical Americanism and the Cold War – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 3*.
- ⁴⁸ *Ibid.*
- ⁴⁹ Свиридов Г. В. Высокая общественная роль музыки. // “Советская культура”. – 1958. – 14 июня. – № 71. – с. 2.

ИВАН ПОЛОЗКОВ

КТО ЖЕ ОН, ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ?

(К 80-летию могучего сына России)

*...Он как набат на храме стольном
Будил всех нас от блудных снов,
Почуяв в звоне колокольном
Силищу больше тысяч слов.*

И. Полозков. "Памяти Клыкова".

С той поры, как Вячеслав Клыков покинул этот мир, каждую третью субботу октября в Курске, а теперь и на Белгородчине, проходят *Клыковские чтения*. Сценарий их один и тот же. Напоминание о дне рождения великого гражданина России, тематическая выставка наиболее значимых его творений, три-четыре сообщения по избранной к данному дню теме из его многообразного художественного и общественно-политического наследия, демонстрация фильмов с участием именинника, а затем живые воспоминания о встречах с ним, стихотворения и песни, посвящённые ему, и рассказы о забавных случаях, которые почему-то всегда приключались там, где он появлялся. И, как повелось на Руси, поминальная трапеза с весёлыми тостами в духе именинника и благими пожеланиями нашему Отечеству, народу и всем присутствующим.

Оглядывая собравшихся, невольно задумываешься над тем, кто же на самом деле был Вячеслав Клыков, коли почтить память и прикоснуться к творчеству его из разных уголков не только России, но и многих славянских общин мира, иногда даже из далёкой Австралии, собирается такая разноликая публика? Какой внушительной личностью, каким огромным талантом надо было предьявить себя нашему взбалмошному времени, чтобы каждый возраст из любого социального слоя мог узреть в нём свою грань притягательности, согревающей душу и роднящей всех нас, казалось бы, таких разных и взъерошено непримирымых!?

Ответы на подобного рода сущностные вопросы в народе нашем, да и в русской классической литературе принято искать в природно-родовых истоках. И это верно. Все мы вышли из своего прошлого, дети какого-то конкретного уголка природы, породнённые временем, а потом уже "*продукты обстоятельств*". Но и в этом контексте Вячеслав Клыков представляется замечным и наиболее выдающимся созданием. Он родился и вырос в самом центре Среднерусской возвышенности, которая изобилует в тех местах неисчислимым множеством чистых родников и ключей, питающих многочисленные реки, растекающиеся из этих мест на все четыре стороны света. Мало таких уголков на земле. Поля с метровым русским чернозёмом, поименованным

аграрными корифеями “Царём почв”, крутые косогоры с уютными рощами, наполненными разнообразным растительным миром и всякой живностью, делают этот уголок Руси поистине живописным. Бисером рассыпанные вдоль извилистых лент рек и речушек белые незатейливые мазанки жилищ в густых яблоневых садах со знаменитой курской антоновкой, многочисленные стаи серых гусей и неповторимые трели курского соловья придают этому краю особый уют и одухотворённость.

Есть в этих местах и ещё одно уникальное свойство. Зовётся оно Курской магнитной аномалией. Компас отказывается здесь выполнять своё предназначение, так как под слоем могучего чернозёма совсем на малой глубине кроются несметные запасы богатой чистым железом руды, которой для всего индустриального мира хватит на многие века. Зима тут снежная и бодрящая. Сменяется она бурным и быстротечным половодьем, знойным и щедрым летом, переходящим в затяжную, дождливую до непролазности осень.

Все эти прелести природы извечно привлекали сюда людей со всех краёв света. В результате сложилась тут особая людская порода курян, заметно выделяющаяся не только среди финно-угров, кавказцев, но в среде всех своих ближайших сородичей, составивших коренную основу генезиса русского этноса. Лингвисты, например, утверждают, что курский говор явился основой современного русского языка. Археологи предьявляют изготвленные здесь изделия, которые радовали красавиц Арабского Востока и Византии за тысячи лет до нас. А самые древние наши письмена доносят, что “... мои куряне ратники бывалые, под трубами повиты, под шеломами всхолены, с конца копыя вскормлены, пути им ведомы...”. Открытость и доброта, трудолюбие и упорство сквозят в этих краях в большом и малом. Иначе здесь не выжить.

Не было, кажется, ни одного из неисчислимых вторжений в российские просторы полчищ инородцев, чтобы хоть одно из них миновало курские края. Но покорить курян никому не удавалось. Потому что сама жизнь здесь задаёт чрезмерно жёсткие природные и нравственные параметры, как и предельно высокую планку устремлений, которые побуждают людей собираться воедино, незримыми нитями скрепляться в устойчивую общность и заряжаться духом необоримости. Труд и честь тут мерило всему, так как земля здесь основа жизни. Она кормилица и благодетельница, радость и надежда. Других источников существования всего живого природа в этих местах не предусмотрела. А земля, как известно, существо жизнотворное и одухотворённое, отзывчивое благами своими только праведным и благочестивым в помыслах и в быту.

Род Клыковых в этих местах древний и узнаваемый. Судьба этого рода как нельзя лучше представляет непростую участь всего русского люда, многие века предопределяемую не его только желаниями и волей. Прадед Вячеслава Клыкова слыл в округе хозяином знатным и состоятельным. В самом начале века минувшего он, уверовав в основательность складывающейся русской действительности, существенно окрепшей при могучем царе Александре Третьем, вложился в землепашество. Затем за счёт брошенных “столыпинских отрубков” существенно прирастил свои угодья и всерьёз вознамерился на долгую трудовую поступь хлебороба. Но не тут-то было!

Губительные вихри буржуазно-либеральных устремлений не миновали не только крупные города доверчивой Руси, они и просквозили все её дальние деревеньки. Основательно зашатала они и округу, где укоренился род Клыковых. Уже к началу Первой мировой войны эта крепкая трудовая ячейка от всевозможных потрясений, поборов либеральных мытарей, ростовщиков и прочих мздоимцев и властолюбцев зашаталась. В русской истории этот период назван бурным “развитием капитализма в России”. Точнее было бы именовать то время тотальным нашествием на Россию вызревших на Западе своеобразных и не самых лучших социально-политических устоев, прорвавшихся в русский мир и учинивших в нём коренную ломку всего устоявшегося, напроць порушив не только наши добротные коллективистские ячейки общества, но и разбросав отцов и братьев по разные стороны баррикад, столкнув их между собою в кровавых бойнях и родовых неприятях.

Родной дедушка Вячеслава Клыкова Константин, унаследовавший родовое имя, пытался продолжить благородную крестьянскую долю. Однако вскоре его хозяйство было пушено в распыл. В накате всеохватной империалистической войны, а затем классовых столкновений фронту, белым и красным необходимы были продовольствие, тягловая сила, фураж и всё остальное.

А тогдашние шустики – приватизаторы и мародёры в кожанках с наганами наперевес, тоже были дюже очочи до чужого добра.

Кровный брат Константина Клыкова Семён веяниями грядущих перемен становится активным большевиком. Его избирают первым секретарём Старо-Оскольского уездного комитета коммунистов, куда входило и их родное село Мармыжи. Он активно организует экспроприацию и обобществление собственности покинувших эти места помещиков, а затем проводит сплошную коллективизацию трудовых крестьянских хозяйств. Семён зачисляет в кулаки даже родного брата Константина. Правда, без высылки с обжитых мест.

Их младший брат Иван Клыков, видя безудержную суматоху происходящего в родных местах, предпочёл удалиться в Киево-Печерскую обитель. То ли за усердие в замаливании грехов сбившихся с пути истинного, то ли за неусыпные проклятия всякого рода сатанистов, невесть откуда облепивших тогда русские пространства, а может быть, за повседневные прошения для всех грешников милости Всевышнего да реальной благодати земной для них, в конце жизни причислен был к лику святых.

На судьбу следующего поколения рода Клыковых те революционные перетряски наложили уже свою печать. Сын Семёна Клыкова Алексей стал известным в Курской губернии чекистом, многие годы возглавлял отделы ОГПУ и НКВД в Шебекинском (ныне Белгородская область) и Фатежском районах Курской области, руководил областным управлением КГБ. Его сын Октябрь Алексеевич, выпускник МГИМО, служил дипломатом, избирался первым секретарём Курского обкома ВЛКСМ и членом бюро обкома КПСС, многие годы трудился прокурором области и оставил о себе память убеждённого и страстного идеолога коммунизма.

Отец Вячеслава Михаил Константинович судьбою, начертанною сыну кулака, был отстранён от заметной общественной жизни и до конца своих дней неприятно трудился бухгалтером на местной нефтебазе. Мать Вячеслава Лидия Тимофеевна бессменно заведовала сельским магазином и пользовалась уважением односельчан. Их старший сын Юрий стал крупным инженером и авторитетным коммунистом, выросшим по службе до одного из первых руководителей объединения «Харьковэнерго».

Таким образом, ещё совсем недавно крепкий типичный русский род землепашцев, которые в совокупности своей формировали сельские общины, составлявшие многие века основу Руси, истоки её могущества и благоденствия, как реки в тех местах, расплылся в разные стороны. Основательно добила эту уникальную русскую общность Великая Отечественная война 1941–1945 гг. После огненных пожаров, погромов и зверств фашистских захватчиков в селе Мармыжи из более девяти сот крестьянских подворий, объединённых в набирающие силы колхозы, осталось менее двух сот. Каждый второй его житель, призванный на фронт, не вернулся. Военная разруха и голодное послевоенное лихолетье выдавили из села почти всю молодую поросль.

Окончательный удар по *«русскому общинному коммунизму»* злостно и целенаправленно нанесли ельцинисты. Они безвозвратно ликвидировали не только колхозы с их подлинным коллективистским укладом русской жизни, они варварски уничтожили крестьян как национальную общность, изгнав их с земли предков, превратив в бродячую наёмную рабочую силу, и, таким образом, похабно растоптали истоки русского социума, питающего народными соками его культуру, ликвидировали хранителей национальных традиций, убрав с исторической арены один из судьбоносных политических классов... В бывшем огромном селе Мармыжи после ельцинского погрома колхозов осталось всего лишь три двора, где доживают свой век безродные ветераны. А на земле и в округе господствуют заезжие и в основном чужеродные латифундисты, от которых нынешние власти напрасно ждут какого-то благодеяния.

Вячеславу Клыкову с раннего детства судьба предредила своё назначение. Ещё не умея читать и писать, он лепил из глины бабочек, птичек, домашних животных и местных зверюшек. Затем на картоне от ящиков, которые мать ему приносила из магазина, набрасывал углём, мелом или карандашами портреты односельчан. Да так точно, что они часто заглядывали к нему домой посмотреть на себя и своих близких, умело отображённых шустрим дошкёлком. Но больше увлекала его всё же лепка.

На одной из встреч с молодыми курянами, ныне живущими в Москве и в Подмосковье, на вопрос, как он стал скульптором, Вячеслав Михайлович

ответил: “Глины в наших местах особые. Такие податливые, вязкие и, к тому же, разноцветные. Возьмёшь в руки комочек, помнёшь его, и само собою что-то получается. И люди в наших краях такие привлекательные и непременно со своею неповторимой изюминкой. Во взгляде, в улыбке, в стати... Так и хочется запечатлеть эту неповторимость...” Вот они, истоки художественного мастерства, ориентирующие природную одарённость точно улавливать особые черты у обычной, казалось бы, ничем не примечательной личности и вдохновенно возводить их в прекрасное, поднимая обычное до изящества.

После школы Вячеслав учится в курском техническом училище на газо-электросварщика, а затем в строительном-монтажном техникуме. Там впервые он выставляет свои скульптурные работы, которые высоко оценили местные художники и настояли на продолжении его учёбы на художественно-графическом факультете Курского пединститута. По воспоминаниям однокурсников, скульптором-затворником он в те годы не значился. Круг его интересов был широк и разнообразен. Живо увлекался историей, особенно событиями своего века, серьёзно изучал теории русской религиозно-философской мысли. Стал чемпионом области по лыжным гонкам и мастером спорта по классической борьбе. Его привлекательные внешние данные, тонкий природный юмор и отзывчивый характер заметно выделяют его среди сверстников. В зачётной книжке, хранящейся ныне в Курском педагогическом университете, по всем дисциплинам у него пятёрки.

После представления нескольких его работ на выставке в институте им. В. И. Сурикова Вячеслава Клыкова приглашают на учёбу в Москву. Здесь его произведения “Торс” и “Мальчик с жеребёнком” были приобретены Министерством культуры СССР для Третьяковской галереи. Более высокой оценки для студента третьего курса быть не могло. В эти годы он много работает по реставрации православных храмов Москвы и Подмосковья, оформлению детских центров столицы, неоднократно участвует в студенческих выставках, где высоко отмечается дипломами и премиями. Уже тогда его уникальные дарования признаются в кругах скульптурного сообщества Москвы. Институт им. Сурикова Вячеслав закончил в 1968 году уже вполне состоявшимся ваятелем, который целиком и полностью погружён не только в созидание, но и в общественную жизнь. Каждая минута у него была заполнена определённым смыслом. Он ни разу не был на рыбалке или на охоте, не шлялся по тусовкам и пивнушкам с “шестидесятниками”, не ездил в туристические экскурсии и не отдыхал в санаториях.

На вышеупомянутой встрече с юными земляками, проходившей в апреле 2005 года, академика Академии художеств России Клыкова попросили назвать самое благоприятное для творчества время в его жизни. Ответ последовал незамедлительно: “Брежневский период. Страна отошла от военной разрухи и хрущёвских перетрясок. Активно оживали и отстраивались города и сёла. Творческие работники были востребованы везде. К тому же, обозначился поворот не только к традициям национальной культуры, но и сделан был заметный сдвиг навстречу православной вере, какой наша страна уже переживала в начале 1930-х годов, когда воинствующая идеология космополитов-либералов, обрядившихся в коммунисты, была подвинута на обочину жизни. При Хрущёве эта антирусская идеология попыталась взять реванш за поражение в сталинский период, а когда Хрущёва отстранили от власти, воскрешение русской национальной мысли повторилось на новой, более осмысленной основе. И это воодушевляло думающую художественную поросль из стана патриотов. Не верьте, что тогда сплошь существовали “железобетонные” ограничения на свободу творчества и свирепствовала непреодолимая цензура, сковывающая творческие порывы. В мои замыслы и способы их реализации никто не вмешивался. Я вставал с рассветом, часто работал сутками, не уходя из мастерской... Разговоры о цензуре, запретах ведутся потому, что заказы нам делали в основном государственные органы. Они же создавали нам условия для работы и хорошо оплачивали её. Не хочешь, не принимай заказ, если он тебе не интересен. Говорят об этом сегодня, как правило, злобные политиканы или невостребованные тогда бездарности. Чтобы заявить о себе, они лепили всякую безвкусицу и бессмыслицу, при этом заявляли, что люди наши не доросли до понимания их “творений”...”

Отвечал на острый и замусоленный злобными антисоветчиками вопрос Народный художник и Заслуженный деятель искусств Клыков искренне

и убеждённо. Нам, его сверстникам и свидетелям той поры, находившимся в зале, в ответе его виделось иное: верно подмечено мудрецами, что честность и порядочность — близнецы родовой одарённости и трудолюбия, из которых произрастают гении.

Как художник Вячеслав Клыков создал более двухсот крупных скульптурных композиций. Каждая из них несёт собою огромную смысловую и эстетическую нагрузку. Ни в одной из его работ не повторяются элементы предыдущей, кроме, пожалуй, одной весьма существенной для русского чувства детали. Во всех его произведениях непременно присутствует православный крест. У Георгия Жукова он в орденах царского времени, у Александра Невского в наконечнике копья, у некрещёного Святослава в ограде... Все его скульптуры документальны, в них каждая чёрточка проявляет свою специфическую пластику, свой масштаб и подчёркивает неотъемлемый элемент времени. Они зримо увековечивают особую значимость места, где водружены, воскрешают причастность их к героическим подвигам своего времени. Это не абстракции и не нагромождения каких-либо случайных, замысловатых конструкций, кои мы наблюдаем у современных ваятелей, навязывающих свою моду в творчестве. Памятники Клыкова — это национальные символы с известными всем именами, участвовавшими в конкретных исторических событиях и внёсшими заметный вклад в свою историческую эпоху.

Неповторимой особенностью творчества скульптора Клыкова является то, что создавал он произведения, казалось бы, сугубо избирательно, выборочно выхватывая из прошлого наиболее значимые имена. Памятник Святославу Храброму создан им уже в конце жизни. К слову будет сказано, дался он ему очень мучительно. Лидеры иудейской диаспоры современной России приложили немалые усилия, чтобы помешать увековечению памяти о «нашем Александре Македонском», как называли историки Святослава Игоревича, в прах разгромившего грабительский иудейский Хазарский каганат. Два раза после больших материальных, духовных и физических затрат он вынужден был менять места его установления. Не раз пришлось ему доказывать в судебно-следственных органах, что этим памятником он не извращает историческую правду и не провоцирует межнациональную напряжённость. Для многих помогавших тогда Клыкову то был наглядный урок твёрдости и воинственности в отстаивании правоты своего дела, как и его всесторонней образованности, вселяющей в творца не только творческий порыв, но и неукротимость воли в стремлении к истине. Значительно раньше Святослава Храброго был увековечен Владимир Святой. Николай Рубцов изготовлен задолго до Пушкина, а Георгий Жуков до Ильи Муромца... Но сейчас его произведения сами собою выстраиваются в стройный хронологический ряд, который последовательно воспроизводит основные, наиболее значимые исторические события и героические эпизоды нашего прошлого. Таким образом, автор воссоздал русскую историю в камне и в бронзе. Для скульпторов — это явление уникальное.

Георгий Победоносец, Святослав Храбрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков представляют плеяду самых выдающихся защитников Отечества. Первозрешённая на Руси Ольга, Креститель Владимир, Николай Чудотворец, Сергей Радонежский, Серафим Саровский и иные кумиры русской духовности — это вторая не менее значимая ипостась истории. Кирилл и Мефодий, Константин Батюшков, Михаил Щепкин, Фёдор Достоевский, Надежда Плевицкая, Георгий Свиридов, Василий Шукшин... — ярчайшие творцы национальной культуры, без которых общая история блекнет. Некоторые из перечисленных выше вошли в наше прошлое и как государственники. И если в их ряд добавить памятники Николаю Второму, Петру Столыпину, адмиралу Колчаку, то выстраивается ещё одна грань нашей очень извилистой и противоречивой летописи.

И ещё об одной особенности произведений Клыкова. В совокупности своей они представляют не только художественное обозрение судьбы государства Российского, но и воспроизводят особую сущность и неповторимый колорит русского люда. Как и выражают подлинную суть самого автора, которую он проявлял открыто и смело, а отстаивал решительно и бескомпромиссно. На фоне нынешней фальсификации русской жизни, ополчения русской культуры и унижения русских народных символов творчество Клыкова — поистине величайший гражданский подвиг. Своими произведениями он образно и полно представил широкую панораму Русского мира, являющегося неотъемлемой

частью земной цивилизации, основу которого всегда составляли подвиги выдающихся людей, олицетворяющих нацию. Тем самым художник убедительно продемонстрировал не только свою высокую творческую зрелость и патриотическую целеустремлённость, но и показал, что большое искусство — не примитивное отражение банальных реальностей, а осмысленный и укрупнённый синтез наиболее значимых свершений нации, доведенный до общечеловеческого, планетарного масштаба.

Не станем лукавить: не все современники понимали и принимали Вячеслава. Даже в близком его окружении порой недоумевали, как может в просвещённом, хорошо разбирающемся в тонкостях мирового общественного прогресса человеке, живущем в согласии со временем, уместиться, например, приверженность монархизму? Не просто было понять общественника, деятельно пребывающего в сугубо материализованном миропредставлении и в то же время верующего в Бога. И уж совсем кажется невероятным, когда искренне православный на Всероссийском соборе в храме Христа Спасителя принародно вступает в спор Высшим церковным иерархом! Алексей Второй тогда изрёк, что “эта власть нам дана от Бога” (имея в виду избрание в 1996 году Ельцина). Вячеслав Михайлович в своём выступлении показал, как эта власть осознанно и целенаправленно разрушает страну, сдаёт её нашим извечным недругам, уничтожает свой народ, и уверенно возразил: “Нет, Ваше Преосвященство, эта власть не от Бога, эта власть от сатаны!”

Не менее категоричным он был в спорах с марксистами. Не отрицая неизбежность ликвидации либерально-буржуазного уклада жизни как исчадия зла и источника несправедливости, он верил, что на смену капитализма люди непременно создадут новое, более совершенное и достойное для своего времени социальное жизнеустройство, что система, в которой нам довелось жить, лишь начальный этап создания праведного мира, а трудности не в общих его пороках и закономерностях, а в примитивизме воплощения формул, навязанных догматиками-материалистами, пренебрегающими духовной сущностью природы и человека. В подтверждение Вячеслав Михайлович нередко цитировал В. В. Розанова: “Он (Маркс. — И. П.) был гениален экономически, но культурно глуп...” Новая цивилизация виделась Клыкову в социализме, обновлённом и неизбежно воссоединённом с верой. И здесь мы узнаём в нём влияние Константина Леонтьева, других русских религиозных мыслителей, как и духовное согласие с заметными партийными деятелями его времени. С Председателями правительств РСФСР и СССР В. И. Воротниковым и Н. И. Рыжковым у него были тёплые и плодотворные отношения. С Первым секретарём Калужского обкома КПСС Г. И. Улановым Вячеслав Михайлович многие годы поддерживал добрые связи, а после того как Геннадий Иванович в предместьях Оптиной пустыни организовал Всесоюзный семинар по творчеству К. Н. Леонтьева, их отношения переросли в крепкую дружбу. С Белгородским губернатором Е. С. Савченко до последних дней жизни его связывали чистые, братские и плодотворные отношения. Автору этих строк тоже довелось в продолжении двух десятилетий поддерживать постоянные связи и тесно сотрудничать с Вячеславом Клыковым, а напоминать нынешней молодёжи, что при создании КПРФ он один из первых из среды русской интеллигенции открыто предложил свою поддержку в становлении этой единственной в те годы патриотической силы, как и последней надежды нашего народа на лучшее, и вовсе более чем приятно.

Цель своего творчества и неукротимой гражданской позиции В. М. Клыков видел “в стремлении к истине”. Вячеслав Михайлович являл собою прекрасный образец современного русского интеллигента-новатора, своими мыслями и делами запускавшего в сознание людей обновлённую духовно-патриотическую волну. Это он более трех десятилетий назад не просто заговорил о необходимости воскрешения Русского мира, сплочения славян и защиты от посягательств на них извечных недругов, а начал действовать в этом направлении целеустремлённо и неудержимо. В публичных выступлениях он убедительно разоблачал нелепую теорию идеологов глобализации и наших доморощенных перестройщиков о строительстве “общечеловеческого дома”, где балом должен стать так называемый Западный мир, который наши либералы выдают за эталон. “Создание это искусственное, нелепое и бесперспективное уже потому, — подчёркивал Вячеслав Михайлович, — что, будучи просвещённым, а живёт без идей, без религии, не имеет своей государственности

и правительства, не имеет своего языка и своего искусства и всецело погружено в культ денег”. “Страна без здорового и крепкого национального организма, — напомнил он, — не имеет права навязывать свои ценности другим народам и поучать их праведной жизни”.

Представления о нации у него тоже были своеобразными: “...нация это не раса, не территория, не религия и даже не язык сами по себе. Это явление исторически сложившееся, вбирающее в себя общность святынь и единения вокруг них духа народа с приемлемыми ему правами и нормами поведения. Добровольное и искреннее принятие этих норм и правил, в том числе и определённых запретов, и есть подлинная свобода. Хочешь быть русским — принимай русскую культуру, не принимаешь — живи своим миром, довольствуйся своими представлениями, но не навязывай их русским, не порочь ничего общепринятого русского”. “Решительное пресечение всего чуждого не есть ущемление чьих-то прав, это не национализм и не расизм, а тем более не экстремизм, это безусловная реальность, наследственное право и святая обязанность любого уважающего себя народа беречь свой дом и традиции предков, защищать и держать себя в чистоте и святости”.

И ещё на одну немаловажную деталь не раз обращал внимание Вячеслав Клыков: “Национальность — это не вопрос происхождения, а вопрос поведения, не крови, а культуры. Полное принятие этих устоявшихся ценностей любым инородцем, в среде которых он оказался, органичное слияние его с этой средой, готовность разделить общую судьбу делают любого инородца и иноверца русским, китайцем, немцем... Не принимаешь всего этого — не претендуй ни на что особое, в том числе и на лидерство в обществе. Так было, так должно быть, если народ, открывающий двери для пришлых, хочет оставаться самим собою, не впасть в искушение и не кануть в вечность...”

Друзья его молодости вспоминали, что ещё в студенческие годы у Вячеслава Клыкова сложилось критическое отношение ко многому из того, что нами, с умыслом или бездумно, заимствовалось на Западе и неуклюже подгонялось под конъюнктуру просвещения или революционной ситуации. С годами его взоры всё пристальнее сосредотачивались на уникальной сущности нашего Отечества, на глубинах природно-родовых истоков наших национальных традиций, осмысливались силы, расшатывающие наше наследие. Он, например, никогда не верил тиражируемой и поныне байке о том, что “наши предки ильменские словене, кривичи, а с ними и чудь, весь и меря...” вдруг решили: “поищем себе князя, который владел бы нами и судил по праву”. Пошли к варягам и стали просить их: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами...” Чушь, и не более того. Причём очень маловероятная, явно придуманная кем-то из недоброжелателей. Норманскую теорию Вячеслав Клыков отрицал однозначно и бескомпромиссно.

Когда доводилось обсуждать с ним подобные исторические коллизии, он брал молча с книжной полки томик профессора Оттавского университета Сергея Лесного “Русь, откуда ты?” и зачитывал страницы, где бесстрашный историк утверждает обратное. И варяги были не скандинавами, и Рюрик с братьями были внуками великого славянского князя Гостомысла и по уложению того времени на престол они взошли “по порядку”, а не потому, что у ладожцев “не было порядка”. Приводил и другие доказательства того, что российская государственность была крепкой и могучей и во втором, и в пятом веке нашей эры. О чём знали наши предки из многих источников, забываемых или игнорируемых по чьему-то желанию ныне.

Вячеслав Михайлович при этом часто ссылался на труды Л. Н. Гумилёва, с которым он поддерживал связи в последние годы их жизни. Но чаще всего цитировал того же Сергея Лесного, обращая внимание на то место, где он утверждает, что редактор изданий Н. М. Карамзина Д. С. Лихачёв при переводе “Повести временных лет” “злонамеренно искажал смысл древней рукописи”. И медленно, с расстановкой читал, как преподносит нам этот эпизод автор “Повести временных лет” и как его передаёт “злонамеренный переводчик”. Всё с точностью до наоборот. “Таких примеров фальсификации русской истории масса, — подчёркивал Вячеслав Клыков. — Они приводили в негодование светлые умы от А. С. Пушкина до Ф. М. Достоевского, ими возмущались Георгий Свиридов и Сергей Бондарчук...” Не мог быть равнодушным к этому и истинный патриот Клыков. По своему генетическому коду, по своим глубоким и разносторонним познаниям, по горячей любви к своему народу.

Поколение Вячеслава Клыкова по жизни оказалось в паутине противоречий. Росло оно в своей исконно национальной среде, а воспитывалось на чужеродной методологии познания мира. Европейская философия как основа познания, ставшая у нас официальной, как известно, под давлением ряда и объективных, и субъективных обстоятельств распалась на две школы: идеализма и материализма. И ту и другую, в силу недостаточного уровня познания глубин мироздания, обнажили и выхолостили так, что они стали непримиримыми и взаимоисключающими. В наших учебных заведениях основой познания стала материалистическая диалектика, в неоправданно догматизированном и воинствующем виде. Как вершина знания, как истина в последней инстанции. Духовность и вера оказались примитивизированы и отстранены на задворки реальности. В то же время церковь со своими догматами жила и действовала. И верующие оставались. Любопытные самородки в этих условиях с ещё большим устремлением обращали свои взоры за рамки жёстких и сомнительно категоричных идеологических установок. Тем более, что была возможность сверить свои сомнения с богатым наследием русской национальной мысли, которая по глубине своей и всеохватности не менее основательна, нежели предельно выхолощенное материалистическое миропредставление, привнесённое к нам от западноевропейских мыслителей.

Не случайно на основе русской философской мысли вызрела русская национальная Идея, многие десятилетия служившая надёжным скрепляющим стержнем многочисленных народов и конструктивно проявляющая себя до сих пор. И зародилась русская мысль, когда только что восходили на творческий олимп основоположники немецкой классической философии. А в некотором роде даже раньше. М. В. Ломоносов ушёл в мир иной за пять лет до рождения Гегеля. Н. М. Карамзин старше Шеллинга на девять лет, а Ф. М. Достоевский с Ф. Энгельсом почти одногодки... Резкое разграничение мировосприятия на идеальное и материальное оказало не лучшую услугу для духовно-нравственного настроения человеческих сообществ. Негатив до сих пор сбивает общественную мысль и народную практику во взаимоисключающие мировоззренческие постулаты, а вещизм и потребительство, воплощённые в “меновую стоймость”, т. е. в деньги и рынок, и вовсе *пленили Человека*, заглушив в нём всё живое, чувственное и благоразумное, безудержно сбивая его в деградацию.

Вячеслав Клыков был всесторонне образованным и глубоко мыслящим творцом. Он естественно выглядел своим и среди простых деревенских жителей, и глубоко верующих прихожан, и в казачьей среде, и в кругу партийных боссов и жил в полном согласии с прогрессом времени. Реальная очевидность мира и непосредственное знание были для него стимулом для повседневного совершенства и активной созидательной – как художественной, так и общественной деятельности. А “ещё непознанная галактика” Константина Леонтьева, “которая чем дальше отодвигается от непосредственных участников, тем яснее и чётче обрисовывает своё общее направление и план”, как и “Откровение” Иоанна, где: “. . . Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. . . И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се творю всё новое. . .” – были сутью его идейного состояния.

Такую диалектику осознанно или подспудно исповедовали и ныне исповедуют многие высокообразованные и думающие русские люди, которых мы видим либо среди уже воцерквлённых, либо среди тихо сочувствующих церкви. Их мировосприятие внешне, кажется, базируется на идеализме, но на самом деле оно не противоречит реальному и всеохватному ходу жизни с её противоположностями и представляется не борьбой, а тождественностью, обращенной и к индивидууму, и к обществу, причём исключительно в сугубо положительном (идеальном) и рациональном (прогрессивном) смысле. В таком понимании представлялось и Клыкову сугубо эволюционное, последовательное и согласованное развитие мира.

В. М. Клыков иногда цитировал Иммануила Канта, который предрекал мирный политический союз народов, не поражённый бациллой насилия, грабежа, наживы. Весь вопрос художник видел в том, на какой основе быть этому объединению. Либо это будет диктатура пенкоснимателей из когорты нынешних финансовых мошенников-ростовщиков, которых Иисус Христос изгонял из храмов, либо мировое господство расистов из клана “богоизбранных” со звездой Давида. . . Либо чистая, свободная самоорганизация

трудового народов со своими справедливыми традициями и исторически сложившимися укладами жизни; её и желал Клыков для русского народа и всего славянства таковою, особой, исторически выстраданной системой самоорганизации и ради её утверждения призывал патриотов, как и всех славян, объединяться.

От общавшихся с Вячеславом Михайловичем не раз доводилось слышать, что понимание и трактовка им сути составляющих известную триаду русской национальной Идеи существенно отличаются от бытующих представлений. *Соборность* как явление сугубо русское (термин этот не переводится ни на один язык мира) в его понимании сердцевина Идеи, представляющая прежде всего образ мысли и образ жизни народа, отражающая его этнический архетип всеединства, согласованности и сплав помыслов, на котором уживаются противодействующие системы: абсолютного коллективизма и абсолютного индивидуализма, состоящие в тождестве и двигающие ход общественного развития по восходящей, разрешая насущные проблемы времени. И *Самодержавие* ему представлялось несколько по-иному, чем его трактует обыватель. В нём он видел вершину единения народа, крепкую, чистую, национально-державную власть, ограждённую от внешних воздействий народными полномочиями, законом и национальной совестью. Власть, народным правом ограждающую свою страну и своих сограждан от любых посягательств со стороны кого бы то ни было. Как искренне верующий он, естественно, во многом уповал на Бога, но его вера, как и некоторых русских религиозных мыслителей, не исключала «союз самодержавия с коммунизмом на основе христианских принципов православия». В своих убеждениях он был последователен и бескомпромиссен. И это делало ему честь, возвышало в глазах окружающих, в том числе тех, кто представлял наше мироустройство по-другому.

Автору этих строк доводилось доверительно спорить с Вячеславом Клыковым по многим проблемам нашего бытия и исторической практики. Нередко в принципиальных схватках возразить друг другу каждому из нас было нечего, так как аргументы, приводимые тем и другим, были не очень убедительны из-за недостатка познаний глубинных сущностей природных явлений и сути человека в частности. Что нам, например, сегодня известно о жизни каждого из нас после физической смерти организма? Законы физики о сохранении вещества и энергии и их взаимопревращений со времён М. В. Ломоносова углублены наукой до невероятности, а здесь от истины мы ещё очень далеки. Или исследователями доказано, что люди перед смертью видят одни и те же сны, а что это есть по сути, никто пока объяснить не может. А сколько таких загадочных таинств встречается каждому из нас? Вот и упирались мы нередко в спорах как бараны в новые ворота. Ему было проще — он убеждённо настаивал: «На всё Божья воля!» Мои материалистические послы в неизведанное выглядели для присутствующих менее убедительными.

Наиболее частые встречи и наиболее острые дискуссии наши происходили в страшные девятые годы, когда совершенно чуждые нашему народу силы рушили, разворовывали и оскверняли всё подряд, даже самое непреходяще ценное и святое, а народ безмолвствовал. Отечество наше, люди наши без всяких на то оснований и причин были сдвинуты в пропасть. Не до теоретизирования было тогда очень многим честным и порядочным людям, когда сплошь свирепствовали вандализм и мародёрство, когда растапывалась честь предков и пачкалась наша национальная совесть. Абсолютное большинство людей было пришиблено напором наглости, хамства, бесчеловечности либералов-рыночников. Православный патриот России и монархист Клыков почувствовал это удушающее нашествие раньше многих других. И действовать он начал один из первых активно, воинственно и наступательно всеми возможными для него средствами.

Как президент Международного фонда славянской письменности и культуры Клыков повёл активную работу по объединению славян для защиты их от нашествия либерально-рыночной чумы, несущей катастрофу всему человечеству. Видя варварские погромы в Югославии мирных, ни в чём не повинных сербов, бомбёжку американскими заправилами их православных храмов и древнейших памятников культуры, Вячеслав Михайлович первым из русских выехал туда, встретился с руководством страны и внёс свою лепту в организацию отпора современным вандалам. Немало он приложил усилий, чтобы поднять голос честных людей для защиты чести и жизни Слободана Милошевича.

К великому сожалению, тогдашние правители России предали своих братьев сербов, отдав их на растерзание натовским варварам.

В целях объединения усилий патриотов он учреждает газету “Русский Вестник”, журнал “Держава”, часто публикуется в “Нашем современнике”, в “Советской России”, в других честных и чистых патриотических изданиях, несущих людям разум и совесть. Много ездит по России и везде четко говорит о нашествии на нас инородцев, о необходимости сплочения всех патриотических сил, независимо от их политических убеждений, о преодолении в среде русского народа “теплохладности” и мелочной суетности.

До сих пор друзья его вспоминают такой забавный случай. В Краснодаре открывать поместный собор русского народа Вячеслав Михайлович пригласил пишущего эти строки. Более чем двухтысячная аудитория встретила нас с явным недоумением. Он мгновенно уловил настроение зала и, положив на моё плечо свою натруженную руку, нарочито громко спросил:

– Иван Кузьмич, вы русский?

Я, полагаясь на находчивость друга, ответил:

– Да, Вячеслав Михайлович, я русский!

– А вы крещёный? – ещё громче задал он второй вопрос.

– Конечно! – ответил я не ему, а залу. Он сделал паузу, она показала мне слитком долгой, и ещё более внятно изрёк:

– Значит вы православный!

Зал дружно зааплодировал.

Меня в этот миг прострелил вопрос, как достойно выйти из такого пикантного положения на людях, которые знали меня как секретаря крайкома КПСС по идеологии, а затем и многолетнего первого руководителя более чем трёхсоттысячного отряда коммунистов края. И вдруг осенило. Я тоже обнял Клыкова и не менее громко спросил:

– Вячеслав Михайлович, вы русский?

В зале засмеялись. Он ответил:

– Конечно, мы же с вами земляки!

– А вы искренне православный верующий? – уже с напором задал ему я заведомо провокационный вопрос. Он, не задумываясь и с особым подъёмом ответил:

– Да, я убеждённо верующий в православие человек!

Я тоже намеренно затянул паузу и не ему, а залу громко бросил:

– Значит вы, Вячеслав Михайлович, настоящий коммунист!

Зал, к моему радостному удивлению, возликовал, многие встали и долго-долго аплодировали. Собор мы тот провели весьма успешно, а наши товарищи долго потом напоминали:

– *Вот оно ныне единственное средство спасения России!*

Вячеслав Клыков понял это значительно раньше и поэтому принимал активное участие во всех протестных акциях патриотов и шёл всегда рядом с Геннадием Зюгановым под красными знамёнами. Это Клыков вместе с Зюгановым явились соучредителями Народно-патриотического союза и Фронта национального спасения России. Это он, вместе с автором этих строк, создал Союз русского народа, выступил активным собирателем курян, живущих в Москве, и инициатором возрождения земляческого движения в столице. И везде выступал страстно и убедительно, гневно клеймя грабителей народного добра, разрушителей России, обидчиков русского народа и страстно призывал к сопотривлению, напоминая людям о героических подвигах наших славных предков.

Душевное беспокойство, чувство глубинной тревоги и воинственная гражданская позиция для *гениев русской культуры* с давних-давних пор не новы. Когда над Отечеством нависала смертельная угроза, лучшие умы нашего народа обращались своим творчеством и авторитетом к сущностным и потаённым чувствам нации, пробуждая силы живущих, их разум и совесть для спасения Отчизны и чести своего народа. Вспомним Ломоносова и Державина, Пушкина и Некрасова, Достоевского и Глинку, Есенина и Шолохова, Твардовского и Симонова... Когда в 1941 году фашисты подступили к Москве, И. В. Сталин обратился к славным именам Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова... То был шаг последовательного продолжения сдвига идеологии “русского коммунизма” навстречу национальным историческим символам и православной вере, обозначившегося ещё в начале 1930-х годов, когда был

“выправлен Энгельс”, отменены троцкистские постановления о священстве и богоборчестве, началось восстановление роли Церкви в обществе, стали возвращаться в литературу и искусство соответствующие образы и символы, появились ссылки на известных религиозных мыслителей и т. д. А в 1952 году статьёй П. Николаева (по утверждению Л. Ф. Ильичёва, это псевдоним Сталина) в газете “Правда” были расставлены взвешенные оценки роли иудаизма в разложении могучего Хазарского каганата и последующего за этим влияния его на жизнь России. Появились тогда другие публикации, ориентирующие общественность на беспристрастные оценки негативных фактов, возникавших у нас на межрелигиозной и межнациональной основе.

В восьмидесятые годы большие творцы настоящего искусства, узрев своим гениальным чутьём угрозу для СССР и русского народа, который являлся и является основным хранителем не только Отечества, но и почти двухсот малых разнородных этносов, немедленно отозвались своими лучшими произведениями, пробуждающими народное сознание и зовущими на решительный бой с современными грабителями и завоевателями, варварами и вандалами. Не лишним будет вспомнить сегодня в связи с этим произведения и поступки таких великих мастеров культуры, как Юрий Бондарев и Георгий Свиридов, Станислав Куняев и Илья Глазунов, Валентин Распутин и Валентин Чикин, Валерий Ганичев и Василий Белов... Вячеслав Клыков был рядом с ними.

Ещё в 1987 году, в самом начале злонамеренной перестройки, Клыков обращается к образу и подвигу самого почитаемого на Руси святого Сергия Радонежского. Многие помнят, с какими невероятными потугами и трудностями, вопреки вероломной воле наших продажных перерожденцев, прорвавшихся во власть, и армады буржуазно-либеральных наймитов с помощью единомышленников этот уникальный символ духовности был водружён. Затем были воскрешены им образ и дела Георгия Жукова, Александра Невского, Константина Рокоссовского, Святослава Храброго... и приложены титанические усилия по воссозданию Третьего ратного поля Руси под Прохоровкой, достойно символизирующего один из самых славных этапов героической победы над фашизмом. Всё это не только обращение к народной памяти, славной героике нашего народа, но и напоминание о его воле и необоримости, как и зов всех, кому дороги целостность страны, судьба своего народа и благополучие его будущих поколений.

Клыков не ставил под сомнение необходимость неуклонного роста благополучия каждой семьи и каждого члена нашего общества, и сам он всегда выглядел во всём модным и современным. Но он презрительно относился к тем, кто всё сводит к пресловутой экономике, кому затмила память и совесть нажива, кто всё меряет деньгам и роскошью. Всё овеществлённое, по его убеждению, необходимо человеку лишь для возвышения духовно-нравственного состояния и самосовершенствования, для свершения благих дел для своих ближних и общества, а потому вторично по отношению к человеческой чувственности, людской душевности, благой цели, всему тому, что отличает человека от остального мира животных.

Смыслом жизни Вячеслава Клыкова было “помочь русским отрешиться от “теплохладности”, “сделать решительный прорыв к правде”, “добиться единения славян и дружно противостоять инородцам и иноверцам, идейно и духовно теснящим их”, “покончить с делением русских на “наших и не наших”, “вывести Россию на предназначенное ей Богом место в мировом восхождении”. Все эти призывы он неустанно нёс в массы, страстно и убедительно, как может делать это верный сын Отечества, патриот пламенный, гражданин разумный, а борец мыслящий и неукротимый.

Вячеслав Михайлович прожил всего лишь шестьдесят восемь лет. С его уходом из земной жизни заметно потускнел небосвод русской культуры, наглядно поблекла палитра русской патриотической жизни, существенно ослабли правдивые ноты русского голоса. Но память о нём будет вечна, к творениям его будут тянуться новые и новые поколения, а страстные призывы его колокольным звоном будут пробуждать силы правды и справедливости, чистоты и света, добра и благоденствия, испокон веков присущие нашей неуязвимо национальной совести.

РАЗГОВОР С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ

Мои избиратели — это честные, порядочные люди, патриоты России, которым не безразлична судьба нашей страны.

Павел ГРУДИНИН

Беседу ведет доктор экономических наук Николай ПИРОГОВ

Николай ПИРОГОВ: Павел Николаевич, после того, как Вы баллотировались на пост президента России, Вы стали популярной, узнаваемой личностью. Вы набрали 11,77 процента голосов, за Вас проголосовало 8,66 млн человек. И это при том, что Ваша избирательная кампания продолжалась всего три месяца. По-хорошему, для успеха этого дела нужно уж никак не меньше года. Ваша программа “20 шагов”, Ваша личность интересны людям.

Руководство журнала “Наш современник” — С. Ю. Куняев и А. И. Казинцев поручили мне побеседовать с Вами. Нам бы хотелось полнее раскрыть Ваше понимание современных проблем России в области экономики и управления. Первый вопрос: “Как бы вы оценили итоги развития России за последние 20 лет, то есть время правления Путина, плюсы и минусы?”

Павел ГРУДИНИН: Это задача сложная, и дать короткий ответ трудно. Несомненный плюс в том, что была сохранена целостность страны. Успешно реорганизована армия — это также несомненный плюс, но при этом нельзя забывать и о пятилетнем периоде сердюковщины, ведь министром обороны Сердюкова назначил Путин. На международной арене тоже не всё однозначно. Суверенитет страны окреп, однако Украину мы потеряли. Крым стал наш, но Донбасс, русские люди, живущие там, постоянно находятся под обстрелами и в условиях экономической блокады, для них война продолжается уже шестой год.

По сравнению с девяностыми годами благосостояние народа в целом улучшилось, но последние шесть лет оно снижается. При этом нужно учитывать необычайно благоприятную экономическую ситуацию в нулевые годы. Вспомним: в середине 90-х баррель нефти на международном рынке стоил 8–10 долларов. Ельцин как-то высказался, что экономическая ситуация в стране изменилась бы кардинально к лучшему, если бы за баррель давали хотя бы 12 долларов. И вдруг нефть стала стоить далеко за 100 долларов. На Россию буквально полился золотой дождь.

Пенсионная реформа народом воспринята отрицательно. Следует напомнить еще о неудавшейся попытке монетизации льгот, вызвавшей массовые протесты населения. Исполнителем ее был министр труда Зурабов, но благословляло его на эти действия, конечно же, высшее руководство страны. За последние 20 лет резко усилилась поляризация населения по доходам. Подсчитано, что соотношение доходов 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных, что социологи называют децильным коэффициентом, доходит до 17:1. Это официальная точка зрения. Ученые заверяют, что 10:1 уже должно вызывать тревогу у руководства страны, но при этом независимые эксперты утверждают, что децильный коэффициент фактически доходит до 50:1. А это уже не тревога, а реальные предпосылки социального взрыва.

Н.П.: Да, Вы правы, это так. Но ситуация усугубляется еще и тем, что богачи кичатся богатством, фактически обостряя и так напряженную ситуацию. Личные самолеты, яхты непомерной длины, дворцы – все это владельцы, не стесняясь, демонстрируют публике. На предприятиях и в организациях нередки случаи, когда зарплата начальства в сотни, а то и в тысячу раз превышает среднюю. Газеты сообщили, что Сечину, руководителю Роснефти, фактически государственной корпорации, за год выплатили вознаграждение, эквивалентное 50 млн долларов США, то есть каждый час он зарабатывал 370 тыс. рублей. И одновременно в газетах же публикуют обращения матерей с просьбой помочь собрать 150–200 тыс. рублей, для них неподъемную сумму, на неотложную операцию ребенку. Комментировать это трудно. В. Путину на одной из его “прямых линий” задали конкретный вопрос о правомерности выплаты Сечину такой зарплаты. Президент разъяснил, что все обосновано: в Роснефти работают и иностранные специалисты, их “западная” зарплата небольшая, а Сечин – начальник, он должен зарабатывать больше них, и кроме того – зарплата руководителя – ориентир для установления оплаты труда подчиненных. Такая вот логика.

Журнал “Форбс” сообщает, что у нас в стране сейчас более ста долларовых миллиардеров, а в 1999 году их было всего 6 человек. Опора сегодняшней управленческой элиты – сверхбогатые граждане. Наглядная иллюстрация – закон Ротенберга, как его называли в народе. Вы знакомы с его содержанием?

П.Г.: Знаком, суть его в том, что он предусматривает компенсацию из бюджета Российской Федерации гражданам России за изъятие у них по американским санкциям заграничную собственность. Поводом послужил арест собственности Ротенберга в Италии. В 2014 году закон приняли в Думе в первом чтении голосами “Единой России”. А дальше дело застопорилось, слишком много было протестов. Но власть нашла продолжение: в 2017 году Государственная Дума также голосами “Единой России” приняла поправку в Налоговый кодекс, которую в прессе называли “новым законом Ротенберга”. Следуя этой поправке, физические лица, попавшие под международные санкции, могут добровольно объявить себя нерезидентами РФ и, таким образом, не платить налоги в российский бюджет с доходов, полученных за рубежом. Поправка принята практически без обсуждения спустя всего лишь несколько дней после её внесения.

Н.П.: Спасибо за разъяснения. Давайте перейдем непосредственно к оценке достижений в экономике.

П.Г.: Давайте. В части экономики характеристика прошедшего двадцатилетия – безусловный минус. Хозяйство практически не развивается. Годовой прирост ВВП, главного обобщающего экономического показателя, за последние шесть лет едва дотягивает до одного процента.

Н.П.: Вы правы, развития нет. На этом фоне особенно неприятно слышать утверждение руководителей правительства, что, дескать, и в советское время бывали такие периоды застоя. Это неправда. Экономика в СССР росла высокими темпами, но в пятилетку 1981–1985 годов они снизились до годовых 3,1%, что воспринималось как чрезвычайная ситуация, из которой нужно было энергично искать выход. А в наше время о таком росте ВВП правительство может только мечтать. Есть целый комплекс причин стагнации в экономике. На Ваш взгляд, имеется ли главная причина такого положения?

П.Г.: Да, такая причина есть, но она, пожалуй, не главная, а результирующая. Это – низкая доля инвестиций в основные фонды, не обеспечивающая расширенное производство, говоря проще – рост экономики. Я знакомился с мнением ведущих ученых-экономистов. Например, академик РАН А. Аганбегян считает, что инвестиции в основной капитал 30–35% от ВВП обеспечили бы его прирост в 4–6% в год. По данным Росстата, в 2014 году эта доля составила 17%, в 2017-м – 21,4%, в 2018-м – 20,6%. Для сравнения: у Китая норма накопления – 44%, у Индии – 32%. Вывод, по-моему, очевиден.

Н.П.: Экономика – тема необъятная. Для граждан страны на данном этапе она конкретно сконцентрировалась в задачах, обозначенных в Указе президента, изданном в мае 2018 года. У Вас, вероятно, сформировалось мнение в части содержания этого Указа и реальности его выполнения?

П.Г.: Конечно, такое мнение у меня есть. В Указе дано поручение Правительству РФ, дословно: “Утвердить до 1 октября 2018 года Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и прогноз

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение национальных целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа». Этот документ Правительством разработан и утвержден. Сразу обнаруживается налет необязательности задач, отраженных в этом документе. На самом деле, первая часть его названия – что будет стараться делать Правительство, а вторая часть – прогноз того, что получится в результате этих стараний. Таким образом, этот документ не имеет обязательного характера, он носит характер предположительный.

Н.П.: Знаете, Павел Николаевич, а Вы верно это подметили. Я даже больше сказал бы: авторы этого документа, по всей вероятности, больше заботились об отчете (ведь придется же когда-то отчитываться!), а не о фактическом выполнении. Хотите пример?

П.Г.: Хочу!

Н.П.: В части инновационной направленности российской экономики, что должно явиться главным двигателем ее развития, сделана, на мой взгляд, невнятная запись-задание: повесить удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации до 50% (против 7,3% в 2016 г.). Хорошо бы понять, что значит в количественном и качественном измерении “осуществление” таких инноваций. Практически создан простор для изготовления нужных отчетов Росстата по этой позиции. Вряд ли такая постановка вопроса окажет существенное влияние на экономику. Что скажете?

П.Г.: Скажу, что при такой записи можно отчитаться о выполнении этого пункта хоть сейчас. А вообще-то этот документ правительства выглядит сырым и непроработанным, содержащим массу нестыковок. К тому, что вы сказали, могу добавить: в одном месте записано, что должно быть построено 125 млн квадратных метров жилой площади, в другом – что нужно обеспечить квартирами 5 млн семей. Делим 125 на 5 и получаем 25 квадратных метров на семью. Есть и другие несуразности. По этому поводу не вредно вспомнить, что в советское время проект Основных направлений развития народного хозяйства СССР на пятилетний период публиковался в центральных газетах и обсуждался всем народом. Присылались тысячи замечаний, которые систематизировались и учитывались. Подобные ляпы там были просто невозможны. Ну, а наша российская власть таких обсуждений просто боится. Ее задача напустить тумана сейчас, а потом – хоть потоп, как-нибудь выкрутимся. И ведь, действительно, все сходит с рук. Спроса за невыполнение обнародованных задач что-то незаметно.

Н.П.: Павел Николаевич, я, как гражданин России, особенно болезненно воспринимаю наличие в нашей стране бедных людей. Как Вы относитесь к самому факту существования такого явления, как бедность, в потенциально самой богатой стране в мире?

П.Г.: Могу относиться только отрицательно, больше того, с возмущением. Известны такие показатели: число бедных, то есть людей, имеющих душевой доход ниже прожиточного минимума, в 2008 г. составляло 19 млн человек, в 2012 г. их количество снизилось до 15,4 млн человек, а в конце 2018 г. поднялось до прежнего уровня – 18,9 млн. Это так называемая монетарная бедность, характеризуемая уровнем прожиточного минимума. Фактически бедных в стране значительно больше. Недавно Росстат опубликовал данные о детской бедности. Они просто удручают: 26% несовершеннолетних проживают в семьях, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. В Указе Президента РФ и, соответственно, в Основных направлениях поставлена задача сократить бедность на 50%. При этом в Указе особо отмечалось, что предусмотренные в нем меры должны создать условия и возможности “для самореализации и раскрытия таланта каждого человека”. По отношению к бедным это чистой воды фарисейство: какое уж там раскрытие талантов, когда денег не хватает даже на еду. Для такой богатой, обеспеченной всеми необходимыми ресурсами страны факт существования бедности нужно считать позором. И за 6 лет (срок немалый) следовало бы ставить задачу полной ликвидации бедности. Вспомним, например, как советская власть энергично и быстро ликвидировала в стране беспризорничество.

Что еще возмущает, так это пути решения проблемы ликвидации бедности: не подъемом общего благосостояния народа, не установлением законодательно минимального уровня оплаты труда, обеспечивающего достойное существование, а так называемой точечной помощью бедным. На практике

это означает, что люди должны собирать справки, что они малообеспеченные. А в школах, например, предусмотрено освобождение детей из бедных семей от оплаты за завтраки. Все это унижает достоинство людей, и так уже униженных своим положением.

Н.П.: Интересно, а как в Вашей организации решается эта проблема?

П.Г.: Я принял решение в нашей школе кормить всех детей: и хорошо-, и малообеспеченных родителей бесплатно и одинаково. Считаю, что это правильно.

Н.П.: Павел Николаевич, маршал Г. К. Жуков утверждал, что высшие командные должности могут занимать только те офицеры, которые имеют как минимум опыт командования полком. И это правильно, ведь полк – это уменьшенная копия крупного воинского подразделения, имеющая все атрибуты самостоятельной боевой единицы. По аналогии, в мирной жизни именно опыт руководства предприятием, на мой взгляд, дает основание занимать высокие посты в государственных структурах, особенно в сфере экономики. Если Вы со мной согласны, то вот Вам вопрос: что дает Вам, многолетнему успешному руководителю хозяйства, приобретенный опыт?

П.Г.: Да, я согласен, опыт управления предприятием дает основание для руководства хозяйством на самом высоком уровне. Кстати, замечу, что в нашем правительстве таким опытом не обладают ни министры, ни сам премьер, ни его заместители. И это, конечно, плохо. А для того чтобы сказать, что конкретно можно использовать из моего опыта на государственном уровне, считаю нужным кратко охарактеризовать наше предприятие – ЗАО “Совхоз имени В. И. Ленина”. Общая площадь земель – 1950 га, прямо скажем, это немного для сельскохозяйственного предприятия. Выращиваем землянику, малину, облепиху, черноплодную рябину, крыжовник, картофель, овощи, семечковые культуры, производим молоко, мед. Причем, главная культура – садовая земляника, по ней мы держим 20% рынка страны. В 2018 году выручка составила 1680,4 млн руб., а прибыль от основной деятельности – 340,6 млн. Не хочу отвлекаться на детали, но в целом можно сказать, что и урожайность сельхозкультур, и продуктивность в животноводстве, и производительность труда работников достаточно высоки, что позволяет иметь среднемесячный доход около 90 тыс. рублей на человека. Коллектив у нас сравнительно молодой – средний возраст 42 года.

Н.П.: Я ходил по территории вашего поселка, видел и производственные объекты, и вашу социалку. Мое впечатление: это какой-то сказочный мир. Везде красиво, ухожено, чисто, целесообразно. У вас ведь пребывало множество делегаций, и впечатления у всех одинаковые – восхищение.

П.Г.: Нас называют островком социализма. Для людей мы сделали и продолжаем делать много. Собственно говоря, это – цель нашей деятельности. С самого рождения предприятия его акционеры приняли решение не начислять дивиденды, а всю прибыль направлять на повышение благосостояния людей и на совершенствование производства. За последние 10 лет мы очень много построили. Только жилых домов общей площадью 180 тыс. квадратных метров, а сколько производственных и культурно-бытовых объектов!

Н.П.: Знаете, Павел Николаевич, я бы Вас немного поправил в части “островок социализма”. Предприятий на селе, подобных Вашему, в советское время было не так и много. Вот их я бы и назвал “островками социализма”. Их руководителями были Героями Социалистического Труда, их знала вся страна.

П.Г.: (смеется) Давайте тогда нас называть “врагами капитализма”.

Н.П.: А что, может быть, и правильно!

П.Г.: Первый и главный вывод из моего директорского опыта: таких сельскохозяйственных предприятий, как наше, можно и нужно иметь в стране тысячи. Высокорентабельно в сельском хозяйстве могут работать только крупные предприятия. И только у таких предприятий имеются основы для решения насущных социальных проблем: обеспечения жильем, детскими садами, устройством современного досуга и т. д. Ставка на развитие фермерства как преобладающей организационной производственной формы на селе себя не оправдала. Я как руководитель предприятия, “вживую” сталкиваясь с финансовыми вопросами, налогообложением, государственной отчетностью, подбором кадров, трудовыми спорами и подобными повседневными задачами, конечно, не только их хорошо знаю, но и имею предложения по их решению на законодательном уровне.

Н.П.: Остановимся на одном из вопросов: налогообложение доходов физических лиц. Есть ли у Вас предложения по его совершенствованию?

П.Г.: Да, есть. Я считаю, что лиц, получающих зарплату до 20 тыс. рублей в месяц, — хотя бы их! — следует полностью освободить от налога, что было бы равносильно соответственному увеличению их зарплаты. Для остальных — прогрессивная шкала налогообложения. Действующая сейчас плоская шкала в корне несправедлива. Во всех крупных экономиках мира применяется именно прогрессивная шкала. В своих предложениях я опираюсь на исследования ученых, которые доказывают и экономическую, и социальную обоснованность использования прогрессивной шкалы. Но представители управленческой элиты, в том числе и сам президент В. Путин, заявляют, что прогрессивная шкала приведет к снижению собираемости налогов. Дескать, крупные налогоплательщики уйдут в тень. Это вздор! В таком случае, где же роль государства? За границей что-то этот номер не проходит, а кого ловят на налоговых преступлениях, сурово наказывают.

Н.П.: Павел Николаевич, как Вы относитесь к проведенной в стране приватизации государственной собственности? Конкретизирую вопрос: В. Путин буквально в первые дни своего президентства заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет. Затем был принят закон о сроке давности преступлений, связанных с приватизацией. Установили его в три года. Таким образом, власть как бы официально заявила, что вопрос о приватизации закрыт и обсуждать его она больше не намерена. Однако в народе приватизация остается постоянной болевой точкой, многие считают именно ее источником бед, постигнувших страну при переходе к рынку. Какие Ваши соображения на этот счет?

П.Г.: Что приватизация проведена, во-первых, несправедливо и, во-вторых, с многочисленными нарушениями действовавших в тот период законов — это доказанный факт. Счетная палата в 2004 году по итогам приватизации представила доклад на эту тему. В нем отмечено, что количество нарушений исчисляется тысячами. Однако, при этом мое твердое убеждение, что пересматривать итоги проведенной приватизации нецелесообразно и даже вредно. Если проводить сплошную национализацию (приватизацию наоборот), то, поверьте, чиновники наворуют при этом не меньше, чем при приватизации. Дело осложняется еще и тем, что приватизированная собственность уже не один раз меняла хозяев. А вот что нужно делать в этой ситуации — на этот счет существуют обоснованные предложения крупных ученых-экономистов — академиков С. Глазьева, уже покойных Д. Львова, Н. Петракова и многих других. Их суть — обязать собственников выплатить часть необоснованно полученной ими прибыли.

Н.П.: Но определить эту “часть” совсем непросто.

П.Г.: Да, непросто. Но чтобы попытаться это сделать, следует вначале в масштабах страны провести учет-перепись наличия основных фондов и установить их собственников. Как можно управлять экономикой без таких сведений? Помните, после террористического акта в аэропорту «Домодедово» полгода не могли определить, кому же принадлежит этот порт?

Н.П.: Помню, конечно. Но знаете еще что интересно: сами крупные собственники также считают, что они должны расплатиться с государством частью прибыли за неправомерно приобретенные предприятия. Они этим самым получили бы уверенность в неприкосновенности полученной ими собственности. Ведь случаи, когда власть, если нужно, легко доказывает “халаянность” их приобретений, не единичны.

П.Г.: Упорядочить итоги приватизации — я так бы назвал эту работу — очень сложная задача, но ее нужно решать, в этом я уверен. Есть еще одно условие при проведении этой работы. Я имею в виду национализацию стратегических отраслей промышленности. И вообще, следует принять закон о национализации и использовать его в случаях, когда создаются для этого экономические предпосылки.

Н.П.: Павел Николаевич, в обществе постоянно будируется вопрос о направлении нашего развития. Если по-простому, то правильный ли путь мы выбрали, двигаясь по истоптанной дороге капитализма еще Марковского периода? Выдвигаются лозунги совершить левый поворот, понимаемый как возврат к социализму. Ваше мнение на этот счет?

П.Г.: То, что мы, наше общество, развиваемся не в нужном направлении, у меня сомнений нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно проанализировать итоги пройденного пути за последние 20 лет. Мы об этом уже говорили.

Поворот нужен, но я бы назвал его не левым, а поворотом к здравому смыслу. Нельзя бездумно бросаться из стороны в сторону, от социализма к капитализму и обратно. И этот здравый смысл мне видится в опыте Китайской Народной Республики, где добились выдающихся успехов в экономике, используя сочетание преимуществ как социализма, так и капитализма.

Н.П.: Как Вы относитесь к проблеме гармоничного развития регионов России? Понимаю, что Вы ответите: “положительно”. Но конкретно меня интересует развитие Сибири и Дальнего Востока. Ведь оттуда народ продолжает уезжать, несмотря на некоторые меры, принимаемые правительством. Интерес мой к этой теме не случаен, я в молодые годы много лет проработал в Якутии.

П.Г.: Вы знаете, Николай Леонидович, наша огромная страна представляется мне живым организмом, если хотите – человеком с огромной головой, это – европейская часть, а вот туловище, руки, ноги явно недоразвиты, это – вся остальная наша территория. Но человек в таком состоянии жить хорошо не смог бы. И страна в таком состоянии жить не должна. В Европейской части у нас плотность населения 30 человек на один квадратный километр, а за Уральским хребтом – 2 человека. Развитие страны идет таким образом, что эта диспропорция не уменьшается, а увеличивается. Посудите сами: подготовка зимней олимпиады в Сочи в 2014 году потребовала выполнения огромного объема работ, для чего было задействовано 300 тыс. работников – это официальные данные. Откуда они прибыли? Естественно, из тех мест, где условия жизни хуже, чем в Сочи. А по окончании стройки часть из них, наверняка, осталась там жить. Чемпионат мира по футболу, универсиады, расширение территории Москвы – все это приводит к оттоку кадров из слабо развитых регионов. Такую практику надо менять, иначе потеряем территории, на которые зарятся многие страны.

Н.П.: Павел Николаевич, хоть мы с Вами и договорились беседовать только на экономические и управленческие темы, все же хотел бы затронуть идеологические и социальные проблемы. Вы не против?

П.Г.: Согласен, спрашивайте.

Н.П.: Как Вы относитесь к религии, к церкви? У Вас в поселке стоит красивая церковь. Она построена, вероятно, уже в период Вашего директорства?

П.Г.: Да, она построена сравнительно недавно, в 2013 году. А к религии, к вере отношусь терпимо, желания людей надо уважать. Вопрос моей веры я не обсуждаю, это дело личное, и напоказ свое отношение к православной вере не демонстрирую, как это делают многие, в недавнем прошлом воинствующие атеисты, стоящие в храмах в церковные праздники со свечами.

Н.П.: Очень серьезная идеологическая проблема – формулировка национальной российской идеи. Ведь, в конце концов, она определяет направление нашего развития и должна объединять народ. Напомню: активный поиск национальной идеи ведется с 1996 года. За это время внесены многие десятки предложений, но общепринятую идею так и не сочинили. Кто только не высказывался на эту тему! Например, председатель правительства Д. Медведев заявил, что национальную идею искать бессмысленно, это пустая трата времени. В. Путин в разные годы предлагал варианты формулы национальной идеи: высокие темпы развития экономики, борьба с бедностью, укрепление армии, и, наконец, патриотизм как наша российская национальная идея. После этого предложения многие представители управленческой элиты очень обрадовались и заявили, что это именно то, что нужно, что национальная идея найдена, и обсуждать эту тему больше не требуется. Какое Ваше мнение по этой проблеме?

П.Г.: Я не согласен, что патриотизм – это наша российская национальная идея. Патриотизм есть у каждого народа и говорить, что он у нас какой-то особенный, более ярко выраженный, чем у других, – неправильно. И, кроме того, согласитесь, патриотизм российских граждан, имеющих собственность за рубежом, если он вообще у них есть, совсем не тот, который присущ людям, у которых их семьи и все их имущество находятся в России. Мне представляется, что национальной идеей должно быть повышение благосостояния наших граждан, особенно детей и стариков.

Н.П.: Согласиться с Вами не могу. Ведь национальная идея по определению это то, за что люди будут бороться, идти в бой, а если случится – и умирать за нее. Вряд ли за повышение благосостояния стоит умирать. Это может и должно быть задачей каждого человека и правящей элиты и не больше.

П.Г.: Да, вероятно, Вы правы.

Н.П.: Вспомним, что во времена СССР официально провозглашенная национальная идея — это построение коммунистического общества, самого справедливого общества на Земле. А наполнение этой идеи было весьма содержательным. Это создание равных для всех условий для развития, работа так называемых социальных лифтов, торжество принципов социальной справедливости и т. д. Именно за это люди были готовы биться, что не раз и доказывали, защищая Родину. В руководимом Вами предприятии такие условия созданы. Задача прогрессивно мыслящих людей сделать так, чтобы такое положение было во всей стране.

П.Г.: Это так, но что касается поиска объединяющей народ идеи, если подходить к этому делу принципиально, то следует согласиться, что в обществе, разделенном не по принципу социальной справедливости, такой идеи не может быть. Однако, как известно, без идеологии общество жить не может. Идеология, насаждаемая нашей властью, — это идеология наживы, которая разъединяет людей, делает их противниками и даже врагами. Такое общество не может иметь будущего, тем более у нас в России, народ которой генетически предрасположен к коллективизму, взаимопомощи. Интересно, что еще известный капиталист Г. Форд больше ста лет назад утверждал, что если предприниматель во главу угла поставит прибыль, это приведет к неудаче. Он говорил, что нужно стремиться решать конкретные социальные задачи и именно это и должно быть основой прибыльности. Вот эту аксиому не желают знать наши хозяева жизни.

Н.П.: У Вас есть обоснованные продуманные предложения по ускорению экономического развития страны, повышению благосостояния народа, то есть то, что называется экономической программой? Представим, что вдруг у Вас появилась возможность руководить экономикой. Вы готовы к этому? Поясню, почему задаю такой вопрос. В одну из президентских избирательных кампаний кандидат в президенты, известный человек, на подобный вопрос ответил примерно так: “Когда я получу власть, то соберу всех лучших специалистов и мы выработаем экономическую программу”. Это вызывало улыбку, этот кандидат успеха не имел.

П.Г.: Да, у меня есть такая обоснованная программа, она базируется на разработках, сделанных КПРФ, с учетом разумных предложений других партий и ученого сообщества.

Н.П.: А есть ли у Вас команда исполнителей?

П.Г.: Такие люди есть, и их вполне достаточно.

Н.П.: И Вы можете их назвать?

П.Г.: (смеется) Могу, но не хочу. Опыт показывает, что обнародование конкретных фамилий в настоящей политической ситуации может серьезно осложнить жизнь этим людям. Так что я от этого, извините меня, воздержусь.

Н.П.: Мы с Вами, практически, не касались темы совершенствования государственного управления. У Вас ведь есть такие предложения?

П.Г.: Конечно, есть, и их немало.

Н.П.: Если их немало, то моя просьба: выделите из них, с Вашей точки зрения, одно главное.

П.Г.: Вопрос сложный. Но мне представляется, что в данной ситуации, когда отношения между властью и гражданами обострились, нужно сделать так, чтобы нарушения во время выборов, а если по-простому — фальсификации результатов выборов, наказывались бы как самые тяжкие уголовные преступления. Пока все это сходило преступникам с рук. Вот если это предложение будет реализовано, то выборы станут действительно отражать мнение народа, а не власти.

Н.П.: И, наконец, последний вопрос. Павел Николаевич, Вы участвовали в избирательной кампании в качестве кандидата в президенты России, принимали участие в выборах в местные органы власти, скажите, на чью поддержку Вы рассчитываете, то есть кто Ваш электорат: рабочие, труженики села, интеллигенция, чиновники, люди в погонах?

П.Г.: Мои избиратели — это честные, порядочные люди, патриоты России, которым не безразлична судьба нашей страны.

Н.П.: Павел Николаевич, спасибо. С Вами было очень интересно беседовать.

ВАЛЕРИЙ БАДОВ

“СОРОК ВОДОНОСОВ”

“Перед социальными вопросами сравниваются все незнания. Подача голосов сорока академиков оказывается не лучше подачи голосов сорока водоносов”, — с едким сарказмом заметил Гюстав Лебон в исследовании “Психология масс”.

Мы у себя в отечестве пережили похожее помрачение умов на излете горбачевской перестройки в кромешном августе 1991 года. “Властители дум” — многомудрый Гавриил Попов и еще целый сонм академиков-демократов, дельцы “теневики”, почуявшие неслыханную поживу, толпы “прозревших” образованцев на “концертах” экономистов — все вместе горой стояли за вольный “рынок” вместо “тирании” директивной экономики. Решительное, срочное “разгосударствление” плановой экономики, “обвальную” приватизацию основных фондов. Вместо сизифова труда на потребу “Молоха” советского ВПК прорыв в райские кущи “общества потребления”. В отместку “сказочным” привилегиям партноменклатуры.

Неужто и впрямь нас всех провели на такой мякине?

Воинствующие “либералы” горячо приветствовали и “царистскую” конституцию 1993 года. В ней все свободы прописаны с красной строки. Провозглашено, что новая Россия — социальное государство. Сделано это было как бы сгоряча. По ходу прояснилось, что для олигархов — новых работодателей социальное государство слишком накладно.

Социальное государство на Западе наши “робеспьеры” взхлеб нахваливали. Но когда дорвались до власти и прибрали к рукам банки, нефтепромыслы и винокурни, быстренько одумались и переметнулись к Фридриху фон Хайеку. “Гуру” либерального учения никакой потачки “социалистам” — даже самому Альберту Эйнштейну на орехи досталось — не допускал. Прямо-таки по Салтыкову-Щедрину: “. . . Какой кусок у кого есть, тот кусок пусть при нем и остается. Не имеющий же куска да потщится на свой собственный кошт приобрести таковой”. Золотые слова! Годятся, чтобы “отлить в граните”. А не то куда ни кинь, кругом полным-полно нахлебников, моложавых пенсионеров, настырных льготников. Казна от натуги трещит. Неровен час, в “банкруты” угодим. Ведь еще Рикардо наставлял государственных мужей: бережливость — источник национального богатства, а расточительство пагубно.

Вон, на наших же глазах, греки владыку пережили взаимы у немецких банков. Ныне вся Греция в долговой яме. Пенсии урезали, пришлось затянуть пояса. . .

Все равно что кот вокруг горячей каши, последыши Алексея Кудрина в Минфине кругами ходили вокруг “чрезмерных”, якобы, социальных обязательств, изнуряющих казну. И вот под шумок торжеств открытия в Лужниках

футбольного Мундиаля премьер-министр г-н Медведев, с постным выражением лица, уведомил соотечественников о дерзком покушении на прописанные в Основном законе пенсионные права старшего поколения.

Целый сонм “ученых дьяков” Экспертного совета при правительстве, кудринского Центра стратегических разработок и впрямь будто умом сравнялись с “сорока водоносами” Гюстава Лебона. До того оказался неказист, печатью Кривды помечен новейший перл “либерального” реформаторства. Эту повадку за отечественными либералами подметил еще Салтыков-Щедрин: “... У них есть фантастическая способность обращать мир в пустыню и совершенное непонимание последствий, к которым могут привести их начинания”.

Глава правительства ни разу не колебался в своей скорбной решимости наломать дров. На этот раз Дмитрий Медведев взял на себя труд превратить Россию в сущий рабочий дом, в котором явочным порядком упразднено последнее, чудом уцелевшее завоевание Октябрьской революции 1917 года – безусловное право трудящихся на пенсионное обеспечение по старости. Отныне этот обременительный реликт социализма подлежит рациональному “упорядочению”.

СРЫТИЕ СТОЛПОВ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Отчаянный замах закопёрщиков пенсионного переворота таков, что дух захватывает. Думская обычно смиренная оппозиция встала на дыбы. На токшоу Соловьева жаркие дебаты оппонентов. Даже Жириновский не стал заводить карася за камень и весь предстал как “божия гроза”. Лишь предводитель куда-то запропастившейся Партии пенсионеров высказался, с робкими оговорками, в поддержку воли высокого начальства.

Кто эти молодцы, заварившие кашу на Краснопресненской? Со времен жульнических залоговых аукционов, дефолта 1998 года, с четырехкратным обрушением курса рубля, этих архаровцев все еще величают правоверными “монетаристами”. С натуральными монетаристами там, на Западе, которые тоже еще какие бедовые, они не знают. В наших палестинах “монетаризм” туземного образца, поплосе... Попросту поддельный, карикатурный. На Ильинке, в Минфине, таких затрапезных “монетаристов” не перечсть. Люди они идейные, хоть и нечисты, случается, на руку. Зато есть что за душой: шальная беззаветная идея разрушения или, как в старину говаривали, *срытия* основ социального государства в России.

И на какой же, спросят, ляд? Ответ простой как медный пятак: социальное государство патерналистское, отеческое, по-русски говоря, – постылый пережиток “советизма”! Преграда, вериги свободному предпринимательству. Расточительные расходы “собеса” понижают норму прибыли олигархов. Да и не по чину “сырьевой” экономике влечь издержки социального государства. Чай, мы не какая-нибудь Швеция.

“ПРЕИМУЩЕСТВО НАГЛОСТИ ПЕРЕД МУДРОСТЬЮ”

“... Какие артикулы пушкой выделяет!” – дивились обыватели проделкам взбалмошного щедринского градоначальника. Не столько даже пальба “реформаторов” прямой наводкой с Краснопресненской набережной, сколь шквальный рикошет по городам и весям порушил тишь да благодать, наступившие после выборов президента. Туземные “монетаристы” сподобились нанести удар под дых самому преданному, отборному электорату Владимира Путина. Старшему поколению прописали лошадиную дозу живительного, по словам, Д. Медведева, “горького лекарства”. Под раздачу враз угодило непомерное, десятки миллионов душ, весьма накладное для казны государства избыточное народонаселение. Эдак, толкуют, скоро на каждого работающего придется по пенсионеру! Демографическая бездна разверзнется – пиши пропало!

В готовности резать по живому идейные “реформаторы” с Краснопресненской и Ильинки переплюнули самых ярых поборников либертарианского учения на благословенном Западе. А кто такие либертарианцы? Попросту говоря, они считают самое государство воплощением зла. Налоговую и пенсионную систему – злосчастным изобретением социалистов – ненавистников свободного предпринимательства. Они даже Барака Обаму причислили

к “чертовым социалистам”. Хваленое понапрасну социальное государство обличают как рай земной для лодырей, байбаков и лежебок.

Доморощенные “либертарианцы” давно косились на казну Пенсионного фонда. Идея-фикс, что затраты государства на выплату пенсий “чрезмерны”, крепко засела в ученых головах. Вдобавок стихийных, неученых либертарианцев в толпе думских “медведей” хоть отбавляй. И вот не отягощенные глубокими познаниями в демографии думцы, сговорившись с продвинутыми “сорока водоносами”, с открытым забралом пошли на приступ. И на полном серьезе решились искоренить последние пережитки социализма. Гордецы пуще некрасовских “князей Утятиных холопов” давно присмотрели для великой России доходное и нехлопотное место пристяжной “глобальной” экономики, принятой почти как равная в престижный круг “семерки”, в который даже домовитых китайцев на порог не пускают.

Они и мыслят себя баскаками от Фининтерна в землях “московитов”. Кротки только в гостях на вашингтонском подворье. У себя дома, на воеводстве, держатся наставления легендарного своего предтечи: “Больше наглости!”

“Никогда еще наглость не имела такого преимущества перед мудростью, как в наше время”, – сокрушался автор пережившей века “Похвалы глупости” Эразм Роттердамский. И впрямь, пенсионная реформа – образчик настырности, скудоумия и ловкачества. “Толкачи” пенсионного законопроекта, ушлые “монетаристы” Ильинки и их поделчики в Охотном ряду словно одержимы стремлением низвергнуть российское общество напрямую в канувший в Лету кромешный “манчестерский капитализм”.

Паровая машина Уатта и мускульная сила английских рабочих создавали богатства “сильных мира сего”. Новоявленные последователи алчного “манчестерского капитализма” бойко лопочут о “трендах” цифровой экономики, искусственном интеллекте и прочих благостях. В их пылком воображении образ “Америки в Тетюшках” – Сколково, где они зарыли золотые бюджетные дукаты, словно на сказочном Поле чудес. Напротив, к индустриальному базису отношение “сорока водоносов” ярое. Ни дать ни взять, как у булгаковского Шарикова к дворовым котам. Промышленники, земледельцы, мастеровые, предприниматели, вообще люди дела, профессионалы в узком кругу карьерных удачников, выбившихся из столоначальников, силуановых и орешкиных, не в чести. Дай им волю-вольную, расточат, распродадут за сущие гроши оставшиеся у государства после растащивки 90-х годов активы, вплоть до пожарной каланчи. На этот раз “либералы” на воеводстве, “не корысти ради”, а из апостольского завета фон Хайека, взялись извести под корешок последние уцелевшие после крушения СССР пережитки клятого “собеса”.

За четверть века “либеральных” реформ они немало преуспели. Но все им, торопыгам, мнилось, что решающий натиск сильно запаздывает.

“КОГДА КОРОЛИ СТРОЯТ, У ВОЗЧИКОВ ЕСТЬ РАБОТА”

... Пришла беда – отворяй ворота! Нашлось ли кому вступить за старшее поколение, которое грабят средь бела дня?

“Народ привык к мнению о бессилии и никчемности Думы. Ограниченность моральных ресурсов общества... Презрение (либеральной публики. – Авт.) к “невежественной” стране и, с другой стороны, неуважение к государству и даже просто непонимание его смысла”. Кто высказал столь суровые обвинения правящему классу? Незаурядный мыслитель, идеолог русского зарубежья Георгий Федотов. С той поры целый век миновал. “Возвращается ветер на круги своя”... Не потому ли всё, ни прибавить, ни убавить, узнаваемо! Как будто в зеркало глядим. Свидетельства Георгия Федотова в книге “Судьба и грехи России” невольно вызывают тягостное ощущение дежавю: “Под пышной порфирой Александра III гниение России сделало такие успехи, что надежды на мирный исход кризиса были невелики”. Другое, но столь же “сомнительное”, исполненное тревог и опасностей время на дворе. Общество, экономика, институты власти переживают острый кризис, раздор, безвременье, отсутствие большой путеводной цели на историческую перспективу.

Китай счастливо избежал морока “западнизации”. На основе незыблемых конфуцианских ценностей Чайна инкорпорейтед совершает долгий переход в конкурентный мирохозяйственный уклад XXI века. Китайскому геополитическому, инвестиционному и логистическому мега-проекту “Один пояс, один

путь” Западу нечего противопоставить. Китайцы оптом скупают стратегические морские порты Апеннин-Триест и Геную — для взаимовыгодной перевалки экспортных товаров Поднебесной, а Еврокомиссия тщетно пытается ухватить за фалды премьер-министра Италии Конти...

Плановая экономика КНР создала 100 миллионов новых рабочих мест в мегаполисах южной провинции Гуандун и рядом с Гонконгом. А мы в России, с двадцатью миллионами неприкаянных “самозанятых”, которых фискалы кинулись выслеживать, скатились к “экономике брезентовых рукавиц”, валовой продаже за кордон сырой нефти и природного газа. И всё празднуем, тратимся на игрища-Олимпиады, расточаем добро, обираем неимущих да складываем прибыль нефтедолларов в кубышку. Говорят, на черный день...

Народ, особенно люди пожившие, простым наитием распознали неладное. На грош не верят клятвенным заверениям “рачительного” эконома вице-преьера Силуанова и всей честной компании. Того и глади, объегают, как уже не раз случилось.

...Пенсионная афера — это несмылаемая каинова печать на “имидже” власти и через десяток лет.

СТАРЫЕ КЛЯЧИ НА ПЕРЕПРАВЕ

Президент России коней на переправе не меняет. И тому, уверяют аллилуйщики, есть веское основание. Экономический рост в стране едва только возобновился. Гибридная война “коллективного Запада” против нас ужесточается день ото дня. Вашингтонский проскрипционный “кремлевский список” не шутка. Крепко, наотмашь ударили янки по карману Дерипаску, Вексельберга и иже с ними. Олигархи в замешательстве вымаливают денежную подмогу из закровов Ильинки.

И все новые, день ото дня, каверзы Запада — геополитические, финансовые, квази-юридические. “Дипломатия канонеров” образца XIX века у крымского побережья. Лондонский Шемякин суд встал на сторону украинского Нафтогаза в тяжбе с Газпромом. Злословие, приступы клинической русофобии захлестывают западные масс-медиа. Некогда чопорная респектабельная “Таймс” опростилась до ранжира “Блокнота агитатора” Политиздата 1952 года.

Тем временем Барвиха и Москва-Сити строят воздушные замки чудесного возвращения России в лоно Запада. Разве не добрый знак, курлыкают кулики Болотной, что в правительстве и Центробанке ключевые позиции занимают персоны твердых либеральных убеждений? Коли так, почему бы не дать им полнейший карт-бланш?

Про “сильную социальную политику” уже нет толка. Уездные Дуньки-чиновницы, уловив новые веяния, наказывают “смердам”, что, если на то пошло, государство им “ничего не должно”. А велеречивые посулы грошовых прибавок к пенсиям? На слух тетушки Прасковьи, перебивающейся с хлеба на квас, это все равно что “пирожок с ничем”.

Раскроем Советский энциклопедический словарь на странице 974: “Пауперизм (от лат. pauper — бедный), нищета трудящихся, свойственная эксплуататорским формациям”. Есть ли хоть толика сомнения, что именно в такую “формацию” бывшая сверхдержава угодила? После “тучных”, “гульливых” “нулевых” пауперизм — новая реальность. Уже треть российских домохозяйств канули в застойную бедность, как в полынью. Стыдные реалии замалчиваются, затушевываются ворожкой со статистикой душевых доходов подневольного Росстата. Не голь на выдумки горазда, а чиновники-фарисеи.

Однако косвенное признание, что пауперизм — нетерпимая угроза российскому обществу и власти, содержится в стратегических майских указах президента. В. В. Путин поставил перед правительством амбициозную задачу за счет прироста производства во всех отраслях понизить уровень бедности вдвое. Как на грех, впрягаться и тянуть воз поручено безруким “либералам” чистых кровей. “...Есть всего две ухватки у записных “монетаристов” на воеводстве, как чет-нечет, — изъятие и раздача, — на острый взгляд бывшего старшего вице-президента корпорации “Итера” независимого публициста В. Д. Попова (книга “Угледородный Третий Рим”). — Такое впечатление, что ничего, кроме меморандумов Всемирного банка и популярных изложений Вашингтонского консенсуса, публика эта не читывала. Плакали наши денежки в казне!”

ПРЕДОСТЕЖЕНИЕ РАЛЬФА ДАРЕНДОРФА!..

... Обратимся теперь к страницам “Заветных мыслей” Дмитрия Менделеева, который был не только великим ученым, но и выдающимся экономистом и умелым предпринимателем. Поборник взвешенного протекционизма для набиравшей силу отечественной промышленности, Менделеев досадовал: “В умах чиновничьих и вообще потребительских классов фритредерство считается признаком либерализма”. Не потомственная ли, закоренелая слабина российской космополитической властной бюрократии? “Во все времена она льнет к Западу, – подмечал В. Д. Попов, – и окормляется его сомнительными политическими и экономическими учениями”.

“Начфин” Силуанов с торжеством возвестил о возобновлении действия пресловутого “бюджетного правила”. Скупают напропалую доллары в резервы. Напротив, ретиво урезают бюджетные ассигнования реальному сектору экономики. Ильинка и Неглинная играют в четыре руки. Вот разгадка, почему “...такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет, но и служит как бы запустению” (Салтыков-Щедрин). К слову, в незапамятном 1990 году известный социолог либерального толка Ральф Дарендорф предостерегал наших неофиотов-“рыночников”, которые рвали постромки, одержимые идеей “открытой” настезь экономики: “...Запад – далеко не такое безоблачное место, как вам представляется... Деньги делают деньги, но при этом реальное богатство страны не увеличивается. Рост, который имеет место, происходит за счет увеличения государственных долгов”.

И впрямь, монетарная политика “количественного смягчения”, круто проводившаяся американским Федрезервом и Европейским Центробанком, позволила возобновить рост мирового ВВП после мирового финансового кризиса 2008 года. Увы, нашим “сорока водоносам”, которые слепо следуют жесткой догматике фон Хайека, нет никакого дела, куда идет остальной мир. Наше “либеральное” правительство и единоверцы в Центробанке по старинке ограничивают денежное предложение и кредит и, напротив, поощряют вольное трансграничное движение капитала. По взвешенной оценке независимого экономиста Валентина Касатонова на основе публичных ежеквартальных отчетов Центробанка РФ, средняя утечка капитала за границу около 100 (!) миллиардов долларов в год. Глава ведомства, которое, по недоразумению, именуется Минэкономразвития, так прямо и лепит, что вкладывать свободные средства государства в инвестиции отечественной экономики выгоды и расчета нет. Переток в биржевой спекулятивный оборот и заграничные офшоры оскудевшего рабочего капитала отечественной экономики идет как по маслу.

Вместо запуска экономического роста по реалистической кейнсианской модели академика Сергея Глазьева, глава правительства разразился сокрушительным тройным сюрпризом. Ударом обухом по столпам, на которых зиждется здоровая экономика, “социалка”, попросту материальные основы людского общежития. Неловкими, на самом деле нарочитыми манипуляциями с вывозной пошлиной на нефть, “топтыгинским” бюджетным маневром ради корысти экспортеров правительство подстегнуло резкий рост оптовых и розничных цен на горючее. Правда, под конец хватились и умерили маржу оптовых поставщиков горючего на внутренний рынок. Второй кряду “почин”: повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% – подножка всем производителям и потребителям товаров и услуг. Фискальная затея повлекла рост издержек, повышение оптовых цен, транспортных тарифов и далее, колесом, по всем переделам, отраслям хозяйства. Расплачиваться приходится конечному потребителю из своих “кровных”.

Поползли слухи, что Центробанк спроворит еще одну “мягкую” девальвацию рубля. Биржевые спекулянты уж запасаются долларами. А домохозяйства – крупой и подсолнечным маслом.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ – НЕ В “ТРЕНДЕ”...

“Править против общественного мнения нельзя”. Но что за дело “главбуху” Силуанову до предостережений какого-то Ортеги-и-Гассета? Коли сама госпожа Лагард настаивает, что еще как можно и должно?

Правительство очутилось в полнейшей моральной изоляции. В классическом трактате “Государь” Макиавелли дает дельные советы, что власть имущим

предпринять, если положение станет “хуже губернаторского”. “Сорока водоносам”, которые и сами с усами, не пристало советоваться с Макиавелли. И вовсе не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не лезть на рожон и прибегнуть к обходной “загогулине” на ельцинский лад. И сговорившись с “кукловодами” в Администрации президента, разыграть эпические дебаты думского большинства и фракций оппозиции вокруг изначально “сырого” законопроекта. Пока суд да дело, подоспело бы соломоново решение отложить дело до лучших времен. Либо – и того проще – самому правительству молчком отозвать документ из Охотного на “доработку” и спрятать под сукно до самых морковкиных заговений. При “бархатном” профиците бюджета в 1,8 триллиона рублей мнимая срочность пенсионного переворота и вовсе бы отпала.

Не тут-то было! “Сорок водоносов”, “фабрики мысли” под патронатом Алексея Кудрина, из-за кулис, подвигли-таки Краснопресненскую пойти на пролом. Потатчики в Охотном, из верноподданнических чувств, тоже в лепешку разбили. Злосчастный законопроект “медведи” протащили сразу в двух чтениях.

“Вот и конец бузе!” – возликовали “премудрые пескари” гильдии политологов. В Охотном приключилось “торжество политехнологий”. Как бы не так! Призрак бесследно сгинувшей НДР – черномырдинской ручной “партии власти” – предшественницы “медведей” – с той поры витает в Охотном ряду.

Чистая иллюзия, что президент Путин всех усосветил, помирил и благословил. Такого глухого отчуждения власти и подданных не бывало с недоброй памяти 90-х годов. Про гражданское общество даже заговаривать напрасно. Постсоветское общество окончательно расщепилось на чуждые друг другу классы, сословия, страты, группы интересов, приходы и секты. Даже семейные ячейки едва целы.

НЕБОЖИТЕЛИ ОСТРОВА ЛАПУТУ

“...Социальное расслоение возрастает, люди распадаются на изолированные друг от друга группы, и каждый станет чужим в собственной стране” (Лоуренс Дж. Питер). Не прибавить, ни убавить, таково ныне житье в сегодняшней России. Имущественное расслоение дикое. “Дворцы и хижины” – напоказ. И даже с вызовом, словно в назидание тем, кто не одарен хваткой прятать добычу за пазуху, когда так и просится в руки.

Между тем “гроздь гнева”, по Стейнбеку, созревают, горькие как плоды терна, от которых оскомина.

Каков на самом деле настрой в обществе под славословия “певунов” (М. Булгаков) “соборности” со всех идеологических амвонов? И, якобы, чудесно заново обретенное “чувство страны единой” перед лицом Запада, который идет на нас войной. На самом деле налицо “сочетание алчного индивидуализма и новых форм отверженности” (У. Хаттон). По британским социальным стандартам девять из десяти наших соотечественников – в категории отверженных. Однако министрам, премьеру правительства, зажиточным думцам решительно нет никакого дела до стремительно разрастающегося бедствия – повальной бедности работающих по найму. Как если бы затеявшие пенсионную реформу обитали не на грешной земле, а в далеком поднебесье, на воображаемом острове Лапуту.

“Нужда гнет железо” – фарисейская притча протестантского пастора. Те, кто в охотку крушит пенсионную систему, всерьез приняли на веру откровения уже упомянутого спесивца Фридриха фон Хайека: “...Я не считаю, что получившее широкое хождение понятие “социальной справедливости” описывает какое-то возможное положение дел или хотя бы имеет смысл”.

“Ни заботушки мне, ни горюшка!..” – фарисейски причитал Иудушка Голловел, стригущий купоны. Духовное родство наших “монетаристов” с известным персонажем русской словесности бросается в глаза. Миллионы “самозанятых”, которые зарабатывают на хлеб насущный в “тени”, не отягощают своим существованием скудный бюджет государства. Нет у них счета и в Пенсионном фонде. Между тем Росстат оценивает теневой рынок труда более чем в 10 триллионов рублей. Выпадающие доходы только Пенсионного фонда по этой причине – 2,5 триллиона рублей. Плохо умеют считать “бухгалтера” Ильинки.

ПОД ЗНАКОМ АПОКАЛИПСИСА

Теперь взглянем на расклады макроэкономики. Валовой продукт страны – 80 триллионов рублей. Фонд оплаты труда – четверть ВВП. В развитых странах, не в пример, 50% ВВП и выше. В 90-е годы академик Д. С. Львов выговаривал власть имущим, что наш работник на единицу произведенной продукции получает плату вдвое-втрое меньшую, чем работник такой же квалификации в странах Запада. Ровно ничего не стоят уверения Дмитрия Медведева, что зарплаты и пенсии у нас малы потому, что низка производительность труда. Ловкая подмена понятий!

Правительство скаречно только по части назначения и выплат социальных пособий и пенсий. Напротив, одни лишь налоговые льготы корпоративному частному бизнесу и квази-госкорпорациям составили в последние годы немалые 10 триллионов рублей. И это еще не вся правда о том, как “монетаристы” во власти потрафляют нуворишам – “верхним десяти тысячам” и безбожно обирают неимущих. Творится это непотребство при свете дня. Но кое-что в подноготной “нефтегосударства” скрыто в потемках. Посудите сами...

В Германии, самой развитой стране ЕС, ведущем экспортере, более 90% величины ВВП – добавленная стоимость, созданная трудом, умелым менеджментом, высокими технологиями. Доля заработной платы у немцев далеко за 60% ВВП. Соответственно, пенсионное обеспечение, в Германии – на целый порядок выше, чем в России.

Российская экономика – сырьевая, экспорт углеводородов – основа национального дохода. В цене барреля нефти на мировом рынке до двух третей даровая природная рента. На устье скважины нефть стоит считанные доллары. Все другие издержки нефтяных компаний экспорт покрывает с лихвой. При цене барреля в 100 долларов рост российского ВВП подскочил до 6 с лишком процентов. Кубышка Минфина заполнилась с верхом. Потребительский бум схлынул, как только нефть кратно подешевела. Весь “дискурс” Краснопресненской по-прежнему вертится вокруг колеблющейся цены барреля.

Какое отношение вся эта углеводородная мистерия имеет к Пенсионному фонду и величине пенсий в России? Самое прямое. Уж коли у нас преимущественно рентная экономика, то и национальный доход должен распределяться соответственно. Достояние нации, а не кучки самозваных “утробистых господ” – нуворишей сибирские сокровищницы Уренгой, Саяны, Ямал... А еще грандиозная континентальная инфраструктура транспортировки и переработки нефти и газа. Все это национальное богатство создано самоотверженным трудом поколений граждан СССР. Главным образом, нынешним старшим поколением. Почему же его ввергли в юдоль нищеты?

В Норвегии нефтяная рента национализирована. В большинстве нефтедобывающих стран все граждане, домохозяйства – своего рода рантье. Им причитается доля от рентных доходов. Созданы накопительные национальные фонды, которые зарабатывают вторичный доход на финансовых рынках. И только у нас, будто обитаем в какой-то Тьмутаракани, требования участия граждан в рентных доходах нефтегосударства выдается за никчемный, вздорный “популизм”.

Вопрос ребром: 43 миллиона пенсионеров, почти треть населения, имеют право на справедливую долю углеводородной ренты. В самом прямом смысле слова они *обездолены*. Стенания “монетаристов”, что казна Пенсионного фонда наполовину пуста, нищенские пенсии нет уже никакой мочи платить, напрочь игнорируют рентное, в основном, происхождение национального дохода.

Словом, старшее поколение, создававшее в трудах и мытарствах советскую “Мангазею златокипящую”, попросту бессовестно обобрано. Кто этого не знает? Плетью обуха не перешибешь? Речевка в телерекламе про “национальное достояние – Газпром” воспринимается как патетическая издевка.

Если хорошенько приглядеться, архаровский замысел скандальных пенсионных новаций прозрачен. Сдвинуть черту, которая пока еще отделяет пристойную бедность в старости, к нищете. Чтобы казну не разорить, старики должны затянуть пояса. Поистине “сыновняя” забота силуановых, будто сами они без роду, без племени.

Припомнилась, невзначай, забавная байка. Писатель Юрий Олеша в компании дружков-одесситов будто на полном серьезе заявил, что игра в шахматы несовершенна. На доске явно недостает одной важной фигуры – Дракона, который волен делать ходы не по правилам, а как ему вздумается.

Наш Дракон обитает на Ильинке, в чертогах Минфина!

Доказательства? Вот красноречивый образчик вульгарно-либертарианского, без экивоков, подхода: "...Кому-то надо переобучиться... Этому человеку может быть и 80 лет, а в это время его 50-летние дети постоянно работают. Почему бы им не скинуться на переобучение 80-летнего отца?" Кто этот, ума палата, доброхот? Ведущий идеолог пенсионной реформы, из молодых да ранних, сподвижник первого вице-премьера Силуанова. Некто Владимир Назаров – питомец Института Гайдара, прошел еще и американскую бурсу. Ныне этот вундеркинд возглавляет "фабрику мысли" при российском Минфине. Свой "футуристический" доклад про грядущее неминуемое упразднение таких безнадежно "устаревших" ценностей, как суверенитет государства, семья – ячейка общества, социальное обеспечение, ученый малый величаво предварил цитатой из... Апокалипсиса.

"Пенсионная система изменится, либо вообще исчезнет", – не моргнув глазом, утверждает В. Назаров. Таков, негласно, отправной пункт задуманного на Ильинке либертарианского переворота, прописанный между строк законопроекта как бы симпатическими чернилами, чтобы попусту не пугать "сермяжных" депутатов губернских законодательных собраний.

ШЕЙЛОКОВСКИЙ "ФУНТ ЖИВОЙ ПЛОТИ"

... Депутат Думы от "Справедливой России" Олег Шеин напомнил избирателям, что не так давно в распоряжении газеты "Ведомости" оказался "инсайдерский" правительственный документ. Там уже содержалась задумка всего того, что стало основой злосчастной пенсионной реформы. Авторы изуверского плана, рассчитанного до 2035 года, хладнокровно предрекали долгосрочный эффект решительной ломки основ пенсионной системы. По конечному результату ее "коррекция" позволит избавиться от выплаты пенсий для двенадцати с лишним миллионов человек. За счет высвободившихся финансовых средств – воистину шейлоковского "фунта живой плоти" – удастся создать 1 миллион новых рабочих мест. Остальные, "лишние" сограждане, очевидно, призваны сами озаботиться накоплениями на старость.

По всему видно, что смягченный вариант "концепта" ультралибералов и был взят за основу разработчиками "реформы". Жесткие ее параметры прописаны в инструктивных документах и типовых методиках МВФ. Они не делают разницы между экономикой России и какой-нибудь захолустной Республики Буркина-Фасо. Эмиссары МВФ в российском Минфине все равно что папские нунции.

"Либертарианцам" на воеводстве нейдет! Мало им острейших классовых, по Марксу, противоречий в расколоте российского обществе. Так прямо-таки черти расхватывают сеять рознь, отчуждение между поколениями отцов и детей.

После назначения Силуанова первым вице-премьером, блюстителем казны и "творцом" финансовой стратегии, Алексея Кудрина главой Счетной палаты, притом, что Эльвира Набиуллина на старый лад верховодит в Центробанке, образовался, ни дать ни взять, зловещий "Бермудский треугольник". Замкнутый непроницаемый контур, в котором туземные "монетаристы" налегают на весла, следуя ультралиберальным курсом. В кормчих у них Алексей Кудрин, который сменил по ходу личину, набивается чуть ли не в народные заступники. Публично попрекает Силуанова и присных в чрезмерной ретивости.

"Бермудский треугольник" – пространство, где российская юрисдикция ограничена. И такая конфигурация, синклит "слуг двух господ" на властном олимпе нам еще не раз аукнется.

Обретаться на задворках мирохозяйственного уклада насельникам Краснопресненской нисколько не зазорно. "Для того чтобы остаться в числе передовых экономик мира, России придется примкнуть к одной из крупнейших экономик мира", внятно, без всякой утайки заявил Алексей Кудрин на конференции "Евразийская экономическая интеграция". Вторая посылка тезиса

“гуру” прямо противоречит первоначальной. Дальше – еще занятней: “Чтобы быть конкурентоспособными (?), нам нужно развивать сырьевой экспорт”, – заключил Кудрин. Аплодисменты, занавес!..

Кто в лес, кто по дрова... В правительстве не нарадуются, что наконец-то доля сырья в экспортной выручке снизилась, а товаров с добавленной стоимостью возросла. А тут Кудрин, невпопад, ратует и дальше валом продавать сырье. И как тогда “остаться в числе передовых экономик мира”? С думкой по-легкому пробиться в калашный ряд расстаться никак не хочется. По паритету покупательной способности валют мы, дескать, и сегодня не такие уж бедняки. Расхожий “индекс “Биг Мака” в “Макдональдсе” на Тверской и Пикадилли – в пользу российского потребителя.

Баловство с “индексами” – обычное очковтирательство. Тем часом “время “тощих коров” вновь подступило совсем близко. И где, спрашивается, упреждающие меры правительства, чтобы не допустить накала докрасна социального напряжения, глухой непримиримой вражды верхов и низов?

Даже в Древнем Египте в неурожайные годы фараоны открывали казенные житницы для гольтыбы... Правительство Д. Медведева держится сторонкой, в стихию “рынка” продовольствия не вторгается. Благо, что инфляция, свежо предание, укрощена. Тем временем продукты питания в супермаркетах дорожают. Латифундисты и ритейлеры жируют. Робкие поползновения унять наглую маржу торговых сетей встречают улюлюканье “либеральных” масс-медиа.

Все они там, на Краснопресненской и Ильинке, взяли такую повадку, словно нелегкая подхватила их под локотки. Нет, не таковы эти канцелярские выкормыши, чтобы сгоряча лезть на рожон, рискуя карьерой. Почему же они прут напролом? Раскачивают лодку, выворачивают наизнанку суть майских указов президента. Подрубают под корешок едва наметившийся хозяйственный подъём в стране.

Политический маятник пришел в движение.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ В УСАДЬБЕ БОБРИНСКИХ-ДОЛГОРУКИХ

...Что кроется за действиями авантюристов, спроворивших пагубную, мальтузианскую пенсионную реформу, хитроумный “бюджетный маневр”, фискальную проделку с прибавкой к НДС? Все вкуче – не что иное, как происки прозападного компрадорского крыла “либерального” истеблишмента, сановного чиновничества и олигархата против внешнеполитического курса президента России. В двух словах его смысл и пафос – Россия – крепость в жесткой осаде извечного неприятеля – англосаксов. Нет никакого вероятия, что Запад смилостивится и снимет осаду... “Боярам” и толстосумам не житье. “Посадские” и “воеводы” вооружились и крепость не сдадут. Но “перебежцы” за стенами крепости стремятся раболепно “поладить” с недругом. Знатный “боярин” Алексей Леонидович на людях вызвался стать посредником в переговорах с “тевтонами”... Этот иносказательный архетипический сюжет Смутного времени, по Костомарову и Ключевскому, прямо разворачивается на наших глазах. И все мы, сограждане, так или иначе вовлечены. И это только первый акт исторической драмы...

...Социолог Борис Кагарлицкий делится раздумьями: “Протест против пенсионной реформы является, скорее, поводом, чем причиной. Это та самая капля, что переполняет чашу терпения. Вместе с тем протест ради протеста отвергается обществом и системной оппозицией”. Далее кое-что погорячее: “Страх российского общества перед переменами будет преодолен самой же властью, которая рано или поздно иницирует... волну перемен к худшему”.

В самом деле, слабость протестной энергии “улицы”, покладистость системной оппозиции провоцирует безудержность антисоциальной политики власти. Однако сплоченная праволиберальная группировка (“Бермудский треугольник”) рано уверовала: еще немного попущений Кремля, ужесточения нажима “коллективного Запада”, как грядет подходящий момент совершить реверс политики России к “прекрасным и мучительным” девяностым годам.

“...Поддерживать и дальше нынешний уровень потребления невозможно, – замечает Б. Кагарлицкий. – Сложившийся образ жизни под угрозой. Удар по статус-кво наносит именно правительство”. Да, и впрямь подталкивает, по-гапоновски, своими безрассудными решениями “молчаливое большинство” в протестную политику.

Катастрофическая по последствиям, эпатажная, бессмысленная пенсионная реформа встретила отвержение всего российского общества. И накал страстей не только не спадает, а возрастает. Сокрушительный провал “Единой России” на ряде губернаторских выборов делает очевидным, что эта бесподобная непутевая “партия власти” изжила себя.

Стратегия умиротворения в обществе, которую в начале двухтысячных прозвали “медовым термидором”, исчерпала свой заряд. Еще совсем недавно на ней худо-бедно держался зыбкий гражданский мир. Вернее сказать, перемирие в расколоте по стратам, дворцам и хижинам российском обществе. Разлад, интриги, замешательство в мире российской политики идут по нарастающей, и надо зорко следить за происходящим в потемках “Бермудского треугольника”.

...На Малой Никитской, в старинной усадьбе Бобринских-Долгоруких, дым коромыслом! Одни только стены фасада и уцелели. Памятник архитектуры перестраивается под “модерновый” столичный филиал Центра Б. Ельцина в Екатеринбурге. Знаковая “перестройка” в бывшей барской усадьбе — не символ ли того, что ельцинисты возмечтали исподволь, обманом и злыми чарами масс-медиа, вернуть все на старое, изжитое и проклятое народом, обратиться историческое время вспять?

“Храбрые портняжки”, косноязыкие, уклончивые, себе на уме, похожи на грибоведовского Молчалина. Только в узком своем кругу прорезаются у них дар речи. Помпезный и вызывающий Гайдаровский форум — манифестация “либералов” во власти. “Граду и миру” громко дали знать, что ветхий Вашингтонский консенсус, “папские буллы” от МВФ, пусть и без публичной огласки, остаются незыблемой основой экономической политики Краснопресненской и Ильинки.

“КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЫТОСТЬ – ХИТРОСТЬ ЗМИЯ, ИЗВОРОТЛИВОСТЬ ДИПЛОМАТА...”

...“Сорок водоносов” — менторов и “креативщиков” туземного монетаризма — никак не дают нам скучать. “Шутовская либеральная суматоха” разразилась бесподобным “колбасным” законопроектом. Полагаю, “генезис” его — в “Мелочах жизни” Салтыкова-Щедрина: “...Как обеспечить сытость? О! это целая наука... Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата... Почему? — Потому что налеп мужику коровьего масла, он вдвое больше каши съест... Каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается до пресыщения... Главная забота о том, чтобы этот рабочий улей как можно умереннее употреблял еды”.

“Сорок водоносов” переняли целиком уловки “хитрого змия”, но “дипломатией” пренебрегли. И попытались в легкую подбить думских “медведей” с их Большой Ложкой, крохоборов-калькуляторов и без того тощей “продовольственной корзины” обложить 30-процентным дополнительным побором покупку в лавках докторской, краковской и прочих колбас, продуктов переработки свинины и говядины. Грех заподозрить фискальный умысел в “колбасном” чрезвычайном налоге. “Сорок водоносов” прониклись сердечной заботой о здоровье населения. Кто же не знает, какого теперь качества недорогая колбаса, если даже кошки ею брезгуют. Технология начинки даже элитных сортов колбас сомнительная. Какими только эрзацами и “улучшителями вкуса” их не сдабривают! Морковные котлеты куда натуральнее и полезней.

Задумка в том, чтобы покупатель среднего достатка покупал, здоровья собственного ради, скажем, полфунта свежей убоинки на Дорогомилловском рынке вместо килограмма всякой бяки с прилавка супермаркета. Если плохая колбаса станет еще и на треть дороже, то покупатель волей-неволей одумается. Безымянные сочинители смурного законопроекта, похоже, уподобили нашего брата знаменитому чревоугоднику денщику Балоуну — дружку закадычному бравого солдата Швейка. Бедолага Балоун каялся: “Однажды обожрался ливерной колбасой, краковской колбасой и бужениной. И все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору все равно как корову, которую раздуло от клевера”. Вот и затейников “колбасного” налога нещадно бичевали в Интернете разгневанные граждане со всей страны великой. Даже дельца — воротилам мясного рынка, “медвежья” услуга не ко двору оказалась... К чему делиться барышом с продаж с налоговым ведомством?

“Сорок водоносов”-креативщиков опростоволосились. Затея с 30-процентным мясным побором с потребителей не прокатила. Все открестились, будто от подметного письма. Что же это было? Умопомрачение угодников Минфина в кругу Экспертного совета при правительстве? Неуклюжая фарисейская уловка на треть увеличить траты на скудный белковый рацион миллионов семей, выброшенных за черту бедности?

БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ-ЦСР

... Статусный идеолог холопства перед всеблагим “коллективным Западом – кудринский Центр стратегических разработок (ЦСР). Своего рода ареопаг влиятельной секты туземных “монетаристов”. Пусть и седьмая вода на киселе, но ЦСР – отпрыск известной калифорнийской “фабрики мысли” “Рэнд корпорейшн”. С той разницей, что “яйцеголовые” аналитики “Рэнд” не красуются, не точат лясы в прайм-тайм на Эй-Би-Си, не входят в “кухонный кабинет” Дональда Трампа. Однако истеблишмент Соединенных Штатов так, в глубине и клановости, устроен, что не арканзасская деревенщина в Белом при Клинтоних и не новички-назначенцы госдепа, а теньевые “Рэнд корпорейшн”, “Фонд наследия” и еще полдюжины “фабрик мысли”, вернее, их работодатели-заправилы измышляют загодя геополитические стратегии и “сценарии” для сменяющих друг друга президентов.

Последний из относительно самостоятельных президентов “имперского” склада Ричард Никсон оказался ошельмован, изгнан из Белого дома. В похожий крутой переплет угодил и Дональд Трамп, дерзнувший еще разок ступить на тропу “имперского” президентства на манер Франклина Делано Рузвельта. Через головы магнатов Уолл-стрита Рузвельт в урочный час обращался по радио к соотечественникам, населяющим “одноэтажную Америку”. А Трамп посылает им весточки через “Твиттер”.

Во вселенной мировых менял, Фининтерне, всяк должен знать свой шесток. А в наших пенатах скромное заведение под названием ЦСР вроде башни из слоновой кости. От властной вертикали держится особняком, затворнически. Будто она ему и не указ. Алексей Кудрин в интервью любезной ведущей Первого канала обмолвился, словно нечаянно, что Кремль без “рекомендаций” ЦСР и шагу не ступит. И впрямь долгосрочные экономические стратегии, к слову, неизменно провальные, разрабатываются в недрах ЦСР. С привлечение тьмы тьмущей экспертов – “чего изволите?” – Высшей школы экономики и других миссионерских заведений “коллективного Запада” в землях Московии.

Не очень-то и скрывается, скорее, подразумевается, что надвластный ЦСР – инстанция второго порядка. Потому что Алексей Кудрин – местный блюститель краеугольного Вашингтонского консенсуса. Ровно так же и восхваляемая по новой гайдариномика, на поверку, лишь подражание “шоковой” реформе позабытого Лешека Бальцеровича. Да и поляк – калиф на час – рушил польский социализм по “святцам” МВФ. Безработные польские водопроводчики – притча во языцех – нахлынули на Запад...

... В романе “Похождения бравого солдата Швейка” ученая голова – профессор в желтом доме всем уши прожужжал, что внутри земного шара имеется еще один шар. Размерами гораздо больше наружного. Адепты гайдариномики живо напоминают этого спятившего профессора. Они возносят притворную хвалу и преклоняют колени перед Нечто, чего нет в яви и никогда не было даже в золотые деньки вознесения в пророки расстриги и путаника из синекуры журнала “Коммунист”. Интеллектуальная и прикладная ценность гайдариномики – сугубо мошеннические. Несколько удрученных западных нобелевских лауреатов по экономике в Открытом письме в 90-е годы предостерегали россиян не принимать за чистую монету ересь и надувательство гайдариномики под завлекательным ярмарочным слоганом “Адам Смит шагает по Москве”.

ОБОРОТЕНЬ-АНАРХО-ЛИБЕРАЛИЗМ...

... И как же тут не вспомнить: Карл Маркс подобным же образом, но совсем “неполиткорректно”, с бурным негодованием и ядовитым сарказмом развенчал учение популярного апостола европейского анархизма: “... Эти нелепые татарские фантазии он (Михаил Бакунин. – Ред.) выдает за социализм!”

Автор “Капитала” прозорливо предостерег поборников коммунизма против химеры бакунинщины. И, быть может, с тяжелым чувством задумался, какие злодейства когда-нибудь в будущем могут совершиться под черными знаменами Анархии.

Некто под псевдонимом Пол Пот вдохновился главным трудом Бакунина “Государство и анархия” в студенческие годы в Париже. И с фанатичным неистовством, изуверской жестокостью претворил, во всех подробностях, сумасбродный проект “политикана из кафе” Бакунина в несчастной Камбодже.

“Красные кхмеры” и наши бедовые “младореформаторы” – чужаки напроць... Но, глядишь, одним миром мазаны. Если мысленно убрать идеологические знаки различия, то найдется много поразительных сходжений...

Злонамеренная, головотяпская гайдаровская “шокотерапия” повалила навзничь экономику преданной, обреченной на заклятие сверхдержавы. Крестьянская отсталая Камбоджа как раз подходила под насаждение бакунинской беспощадной Утопии. Пыточные коммуну “красных кхмеров”, где мотыга – орудие труда на рисовых полях и скорой расправы, заставили мир содрогнуться. Нашим “младореформаторам”-революционерам Запад аплодировал, умилялся их пылу. Равнодушие к несчастьям миллионов жертв (“не вписались в рынок”), гордыня, окаянство “революционеров” – настоящих оборотней и леваческого, и крайне правого толка, слишком бросаются в глаза.

Политэконом-теоретик некейнсианского направления Солтан Сафарбиевич Дзарасов дал меткое и содержательное определение гайдариномики – анархо-либерализм. В лекциях в Кембридже, дискуссиях с коллегами-экономистами в Академии наук ученый убедительно обосновал этот тезис, нелицеприятный для властей предрежущих.

Апокалиптическая программа “образцового” переустройства общества, по Бакунину, предусматривала единовременную и полную отмену денежного и товарного обращения. Поголовную расправу над представителями сословий и духовенством. Гайдары и чубайсы под погудки “невидимой руки рынка” убили советский рубль нарочно развязанной гиперинфляцией. Превратили в пыль оборотные средства предприятий и сбережения домохозяйств. Поручили товарное обращение и разделение труда на внутреннем рынке. Смели отлаженный механизм планового хозяйства. Политическая практика гайдариномики – сугубо карательная... Стрельба из танков по непокорному парламенту – крещендо погрома государственных институтов под восторги глупой толпы обывателей-“ельциноидов”.

ЗНАТНЫХ “БЕНЕФИЦЕАРОВ” РАЗЖАЛОВАЛИ В МАЗУРИКИ

...Уж не осталось, наверное, “фраеров ушастых”, на жаргоне вора Ручникова, кто без притворства и корысти все еще верует в гайдариномику. Профессора Высшей школы экономики ваньку валяют и кадят, а школяры-подростки малюют на заборах вдоль железной дороги граффити “Гайдариномика – отстой!”.

Кумирни ельцинизма благоденствуют, морочат головы юным чадам “новых русских”. Миллионам телезрителей на все лады внушают, дескать, как бы ни пытались опорочить наследие гайдариномики “лузеры” – политэкономы старого закала, ничего у них не выйдет. Да и “...что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна?” (М. Жванецкий). Запад тоже хорошо! Будто нарочно подыгрывает настроениям в обществе – за пересмотр итогов залоговых аукционов “святых” девяностых. “Столпов” общества, бенефициаров “обвальной” приватизации вероломный Дядя Сэм разжаловал чуть ли не в мазурики.

ЧУБАЙС ВТОРИТ ОРУЭЛЛУ

...Горе великое, сумерки “либерализма” в Эрэфии. Поругание святынь... Номинантам “списка Форбса” скоро негде будет голову приклонить в Майами и княжестве Монако. Чтобы единоверцы не вешали носа, непоколебимый Анатолий Чубайс призывает не заморачиваться “алармистскими” видимостями. Нечего посыпать голову пеллом, господда! Никакой облавы на либералов нет и не замышляется. Великодержавная риторика, анафемы “западничеству” на провластных телеканалах, нечего сказать, режут слух. Но протрите глаза: кто

на самом деле держит банк в большом политическом покере? Кто тасует мастерски колоду, раздаёт тузы и ставит на трюфогового короля, строит пасьянсы непубличной политике для посвященных?

На этот раз Чубайс обошелся без обычного беспардонного вранья: "...Гайдар из правительства ушел в январе 1994 года. Сегодня в Думе "проклятых" либералов нет. А что же вы, ребята (противники "либерализма". — **Ред.**), с таким-то пафосом, с такой энергетикой, напором?..." Слабо? И впрямь заднескамеечников-"либералов" в Госдуме и Совфеде давным-давно и след простыл. Но вот ведь какая напасть: все давешние и самые последние законодательные акты насквозь пронизаны ультралиберальным духом.

Избиратели вновь, словно лукавый нашептал, дружно отдали голоса за "Единую Россию", которая им все равно что злая, скупая, постылая мачеха. Рейтинг новой Думы падает день ото дня. Похоже, беспутное "медвежье" большинство в Охотном уже и для Кремля — обуза. Как в байке про цыганскую супружескую чету в раздумье: "То ли этих, чумазых, отмыть? То ли новых детишек завести?"...

По недомолвкам, слухам из-за красной Стены к следующим выборам в Думу "новых", "медведям" на смену, заведут. И всё повторится по третьему кругу... Мистерия прямо по Оруэллу: "Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично... Правящая группа до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначить наследников... Кто облечен властью — неважно, лишь бы иерархический строй сохранялся неизменным".

Вот и циничная политграмма от Чубайса гласит: идеология "основоположника" Егора Гайдара "неуничтожима и неустраима". И это не пустая похвальба. Как ни мелок пошиб адептов гайдариномики на всех этажах властной вертикали, они гнут свое без особой оглядки на Кремль... Безликий Антон Силуанов — наследник Кудрина в заведении на Ильинке — вылитая реинкарнация и. о. премьера Егора Гайдара 1992 года. Не кто иной, как Силуанов, пусть и не горазд философствовать про "дихотомию", полномочный распорядитель казны, налогового тягла, заначки Фонда благосостояния, вождельных трансфертов губерниям... И даже выверка финансирования оборонного заказа без визы Силуанова не обходится. И куда уже выше — в деликатной непрозрачной сфере взаимоотношений с Фининтерном, "кураторами" из МВФ "бухгалтер" Силуанов опять — за главного.

Не многовато ли чести выдвигенцу третьей волны "либералов" во власти? Послушать экспромты врио "канцлера" на полях Финансового форума, в прямом эфире, так от скуки скулы сводит. Эту неловкость пиарщики отыграют. Потому как скромнейший Антон Силуанов — фигура символическая. Олицетворение "золотой акции", которой с 1992 года владеют в святая святых власти "либералы". По праву первородства и бессрочному контракту с олигархией "сырьевиков".

В противном случае давным-давно бы ветром сдуло виновников экономических катастроф 1998-го и 2008 годов... Однако "либералов" не вышибить, даже если спроворот еще один дефолт.

Мало им, "западникам" без страха и упрека, кручины из-за немилости западных "партнеров". Так, хоть святых выноси, заявила о себе "крамола" в собственных рядах. Эскапада влиятельного финансиста, главы ВТБ Андрея Костина, сказавшего напрямик, без околичностей, дескать, уж коли "коллективный Запад" устроил российскому бизнесу "темную" на финансовых рынках, на кой ляд нам и дальше держаться политесов с МВФ, Мировым банком? Ведь не горемычные нищие 90-е на дворе. Россия давно уж не должница МВФ, не данница... Секрет Полишинеля, но из чьих уст!.. Вот так удружил!

...Советник президента Сергей Глазьев из года в год обличает, веско и красноречиво, наш "независимый", не подступись, Центробанк в покорстве, пособничестве Федеральной резервной системе США. А все как горохом о каменную стену.

Карфаген на Неглинной остается непоколебим.

"ФОМА ОПИСКИН" НА ФОРУМЕ "ЛИБЕРАЛОВ"

На Объединенном Гражданском форуме неугомонный Чубайс с пылом праведника Фомы Опискина обличал народец, "смердов", в черной неблагодарности, непочтении олигархам, которые будто бы страну заново "отстроили", дают им работу и прокорм.

Настырный контрафактный “либерализм” все равно что возвратный тиф. Чем жестче клинч Кремля с Западом, санкции американского Конгресса, развертывание натовских дивизий по штатам военного времени, едкий запах пороха у наших границ, тем явственней, как на грех, попятный идеологический крен в российском политическом истеблишменте и прозападных медиа.

Полноте, господа, “либеральные ценности” — неужто оберег власти и собственности? Демократии никогда не обнажают меч друг против друга? Свежо предание!.. Купчие, трасты, офшорные зачатки баловней гайдариномики проходят ныне строгий аудит на Капитолийском холме. На предмет последующей манипуляции, которую политэкономы, хоть слева, хоть справа, трактуют на один лад — “прямое изъятие”.

Еще один щелчок по носу российскому “либеральному” бомонду от распорядителей швейцарского Давоса. “Московитам” без лишних политесов дали понять, на этот раз на тайную вечерю “глобалистов” съезжается исключительно “чистая публика”. Потом, правда, “княгиня Марья Алексевна” смилостивилась, не отказала от дома смиренным и хлебосольным завсегдатаям давосских посиделок. Но, как говорится, “осадочек остался”...

Покуда в Давосе в Русском доме шел по-купецки пир горой, с паусной икрой и расстегаями, в Пошехонье простой люд вовсе приуныл и озлобился, заглянув в новейшую калькуляцию “потребительской корзины” от шедрот думских “медведей”. Она схожа с нищенской сумой. Пенсионная каверза “партии власти” и вдогонку нещадные фискальные поборы породили не ропот, а настоящий девятый вал негодования во всех слоях общества. Сравнимый разве что с ошеломительной вероломной конфискацией сбережений домохозяйств в незапамятном 1992 году. “Начфин” Силуанов, святая простота, сознался, что, ну, никак не ожидал, что проделки — “урезания” Минфина своевольный электорат встретит в штыки.

Покуда думские “дьяки”-законники мешкали, ума не могли приложить, как отыскать сильное средство пресечь “превратные” толкования, многомудрый сенатор Клишас придумал-таки способ опровергнуть русскую поговорку — на всякий роток не накинешь платок! Клишас и несколько примкнувших думцев наскоро сочинили законопроект, в котором, черным по белому, прописана граница между инакомыслием дозволенным и злоязычием примерно наказуемым. Точь-в-точь по Салтыкову-Щедрину: “...Появились личности, которые открыто присваивают себе право говорить так называемые “справедливые слова”... Не только у нас в Пошехонье, но и в прочих странах образованного мира слова этой категории всегда находились и находятся в ведении надлежащих ведомств и особо препоставленных на сей счет учреждений”. Не иначе, под “препоставленными учреждениями” закон Клишаса подразумевает органы юстиции, прокуратуры, суды, которые поначалу холодно отнеслись к мороке возбуждения дел по “фактам” криминального злоязычия в адрес властей предержавших. Повинность гражданина беспрекословно уважать начальствующим, какие бы грехи за ними ни водились, нигде в Конституции и Гражданском кодексе не прописана.

“Управа благочиния” — пятое колесо, да и только! И все-таки Дума на рысках протасила закон Клишаса.

...Сказывают, есть законы, а есть еще “сумрак законов”. Согласно второму, “...изъятие “справедливых слов” из общего обращения должно восприниматься обывателями не в качестве стеснения в выражении ими благородных чувств, но лишь в смысле предостережения”. Стало быть, не околотчным надзирателям поручат пригляд за вольностями, крамольными высказываниями в бездонном Интернете, а ученым малым — авторам заковыристых лингвистических экспертиз.

“...И ВДРУГ УПАЛ СО СТЕНОЧКИ КАРЛМАРКСОВЫЙ ПОРТРЕТ!..”

...Как уже сказано выше, одна неутешная кручина для всего “либерального” гнездовья во власти — “брутальные”, настырные, досадные антироссийские санкции Конгресса США и громовые раскаты торговых войн, протекционистское неистовство Дональда Трампа. Американский рынок алюминия и стали ошетинился высокими ввозными пошлинами. Идеология “открытых” рынков, которой присягали орешкины и набиуллины, рушится. Еще немного, списана будет в утиль.

Твердь уходит из-под ног секты “сорока водоносов”. Чтобы отбиться от “глазьевской”, а теперь еще и “костинской”, отступнической, крамолы, они, сердечные, кинулись заручиться моральной поддержкой “мирового сообщества” глобалистов. После российских президентских выборов приключилось памятное знаковое событие – вояж главы российского Центробанка в штаб-квартиру МВФ.

Эльвира Набиуллина удостоилась лестных слов высокой наставницы г-жи Лагард за якобы искусное “таргетирование” плавающего курса рубля. Ну да, скажет Фома неверующий из простых, на поживу биржевых спекулянтов – домашних и залетных? Пусть себе судачат, брань на восточном венте не виснет. Гостя в подтверждение своей номинации от МВФ образцового руководителя Центробанка во всей Европе прочитала зубрам МВФ... лекцию. Не доклад, рапорт о проделанной работе, но типа академическую лекцию. Про “магию финансов”?

Сказать бы по-простецки: яйцо курицу учит! Уж больно смахивали показушные “штудии” в чертогах Международного валютного фонда на некую фантазмагорию. Все это действо живо напомнило строки озорной песенки годов шестидесятых прошлого века. В те незапамятные времена, когда экономическую науку в вузах преподавали по первоисточнику – “Капиталу”, а не плоской “псалтыри” для недорослей Барвихи – “Экономиксу”. Вот, на память, старый, неувядаемый напев:

“...И входит в тую залу докладчик во френче, /И делает докладу на тему вообще. /Докладчик докладает, а за окном рассвет... /И вдруг упал со стеночки Карлмарксовый портрет!..”

МИХАИЛ БАРКОВ

Я — ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ...

* * *

Вернёмся, однако, в Мещерские леса. Встретился я с генералом Соколовым на КНП ещё раз месяц спустя после поисков пилота. Можно сказать, почти по героическому случаю. Похвастаюсь.

Вообще-то была у меня давняя идея описать ту замечательную страничку моей жизни, удивительный букет из юности и полётов, чистых и не очень, сложных человеческих взаимоотношений, первой любви и первой разлуки. Не получилось, да и конспекты из училища сгорели. Может, Бог даст, сподоблюсь, всё-таки память ещё многое держит, как будто это было вчера.

Так вот, сначала о “Перине”. Не позывной это был, точнее, и позывной и девушка. Работала она у нас на приводной радиостанции. Ну, Маша-Маша: высокая, фигуристая, глазёнки голубые, да ещё светло-русая коса. Конечно, все от неё млели, особенно комэск второй эскадрильи. Лётчики от лейтенанта и выше, они так считают: все более-менее красивые женщины — их огород. А Маша комэску дала отлуп, причём, как просочилось в народ, — фигурально.

Обиделся комэск, а в те поры стали менять (его меняют периодически) позывной у КНП и радиостанции. Как один из руководителей, предложил он позывной “Перина”. А что, весело! Генерал не вник и утвердил: с юмором, мол, и враг не догадается. И стала бедная девчонка для всех Периной, ведь она отвечала на этот позывной, и сама себя так называла в эфире. Ушла эта кличка даже за пределы аэродрома, в посёлок Шувое, где она жила и куда мы шлялись в самоволки.

Мы с Женькой Морозовым, другом моим лучшим в училище, как-то вечером комэску и сказали: баба вы, товарищ майор. Взвился он, но смекнул, не побежал жаловаться генералу, а нас возненавидел.

Мы, мужчины, если мы, конечно, таковые не только по половому признаку, когда влёткую хамим женщинам, называя их бабами, подумали бы, как им, более слабым, более уязвимым от природы, живётся в нашем мужском, созданном мужчинами и под интересы мужчин мире. И если быть честными, то баб среди нас, мужиков, гораздо больше.

То лето было жарким, а ночи ближе к сентябрю становились прохладными. В топливных танках на аэродроме появился конденсат, который стал попадать в топливо, и машины “чихали”. Особенно отличались 18-я

и 30-я вертушки. Она чихнёт и летит вниз на 10–20 метров, ощущение не из радостных.

Я в тот день работал на 18-й машине в учебной зоне 1А, деревня Ботогово, на всю жизнь запомнил. Высота работы в зоне – полторы тысячи метров, отработывал виражи с креном в 30 и 45 градусов. Неприятными были виражи в 45 градусов, машину трясёт, обороты высокие, чтобы высоту удержать, земля сбоку, кажется, что сваливаешься на хвост. В общем – ужастик.

Слава Богу, что случилось у меня это после выхода из виража. Машину тряхнуло, к чему уже более-менее привыкли, и вдруг... тишина. Точнее, тишины в вертолётe никогда не бывает – движок затих.

Мы посадку на авторотации многократно тренировали, спасибо тебе, Гена Колесников, я автоматом тут же сбросил шаг-газ до упора и триммерами стал пытаться тянуть сваливающуюся в сторону рукоять циклического шага. Ору в эфир: “Перина, я 26-й, 5-й, отказ двигателя!”

Состояние – практически восторженное. Представляю, как на КНП все офицеры забегали, засуетились, как тараканы на дневном свете. По радиции слышу злой окрик:

– В эфире – тишина! Работаем только с 26-м, 5-м!

Вот она, слава!

– 26-й, 5-й, шаг-газ сбросил?

– А как же! (будто я без них не знал...).

Слышу в эфире:

– Имя, как имя, да не фамилию, мать вашу!

И – голос генерала:

– Мишенька (а так меня только мама называла), ты не волнуйся, всё будет хорошо. Давай, сынок, включай воздух, запускай помаленьку.

– Уже нащупал, товарищ генерал!

Нащупал я слева внизу от чашки сиденья насос запуска двигателя ПН-1. Сделать это было непросто. Триммера не помогают, рукоять циклического шага и, соответственно, вертолёт заваливает, я её сдерживаю уже не только рукой, но и ногой, и грудью. Лопаста винта с нулевым углом атаки с жутким шелестом молотят воздух, всё то, что из-за шума двигателя не было раньше слышно, скрипит, дребезжит и стонет. Внутри всё подхватило, как при прыжке с парашютом.

Но не зря нас кормили настоящим мясом, маслом и молоком с окрестных колхозных ферм пять раз в день! Открываю кран ПН-1, добавляю немного газ. Генерал меня словно видит:

– Мишатка, ты газ полный давай, движок-то у тебя горячий.

Совет запоздал, отключаю насос, движок прокрутился вхолостую и – не завёлся. Надо беречь воздух. У меня между жизнью и смертью три маленьких баллона со сжатым воздухом. Слава Богу и технарям: они в тот день были заряжены полностью, хотя бывало и иначе. И аккумулятор работал.

– Сейчас, товарищ генерал, повторю.

Пот залил глаза, ничего не вижу, смахнуть его нечем.

Генерал Соколов никогда не летал на вертолётaх. Просто на наши МИ-1 ставили тогда самолётные поршневые движки, на которых – или на таких же – и дрался в войну старый генерал.

Выворачиваю газ на полную и перехватываю единственной свободной рукой рукоять ПН-1. Свист воздуха, чихание и – рёв ожившего движка!

– Аааа... сука! Прости, родной! Товарищ генерал, завёлся, завёлся!

– Мишаня, ты газ сбрось, а потом тихо добавляй, выравнивай машину. Высота какая?

– Двести метров...

– Вот так потихоньку и иди. Тут тебе пешком до нашего полюшка минут десять. Давай, родимый...

Вспоминая те минуты, с уверенностью скажу: страха не было, был бешеный адреналин, был восторг, упоение от борьбы и нахождения в центре какого-то грандиозного события. Страх не было, была юношеская отчаянность и глупость. Это проходит.

А на КНП было счастье! Сам генерал, Герой Советского Союза меня обнял. Следом Гена Колесников и другие офицеры. Даже комэск второй эскадрильи попытался, но я избежал. Гена Колесников мне потом сказал, что я так счастливо орал в эфире, что у меня отказ двигателя, будто мне Перина свидание назначила.

Генерал, уже на земле, около КНП, пошептавшись с замполитом, взял меня под руку:

– Вот что, Миш, давай не будем афишировать, комиссии всякие понаедут...

– Товарищ генерал, понял, уже всё забыл...

– Молодец! Даю тебе десять суток, поезжай, маму проведай, девчонок потискай...

– Служу Советскому Союзу!

Чуть позже подошёл ко мне мой комэск, первой эскадрильи:

– Какие, на хрен, десять суток, полёты идут. Ты летать хочешь?

– Хочу.

– Тогда сутки тебе неплановые, завтра вечером возвращайся.

– Спасибо, товарищ майор.

Не поехал я в это увольнение. Всё равно нам в выходной давали увольнение, если не проштрафился. Я хотел летать. Я полюбил вертушки. Были они тогда ещё неказистые, маломощные, без особого дизайнера, но наши, родимые.

После того случая подошёл ко мне техник нашего экипажа, мужик смурной, но технику знавший. Ему, как и нескольким другим, включая начальника парка ГСМ, генерал навтыкал по самое некуда.

Сказал мне: “Дурак ты, Мишка. Тебе надо было у генерала медаль требовать, в крайнем случае, часы именные от министра обороны”...

Послал я его вежливо, хотя и был он существенно постарше. Уже тогда понимал, что если Господь погладил тебя, не проси у него на радостях чего-то ещё. Не дёргай за хвост судьбу, даже если она тебе улыбнулась. Жив ведь остался, а это уже такое счастье!

Понимание этого случая пришло позже. Да и Гена Колесников честно сказал в егорьевском ресторане “Цна” после выпуска из училища: не посадил бы ты машину на авторотации, земли бы наелся. Конечно, наелся бы. В воздухе-то ещё удерживал машину, а тут, перед землёй, надо было её выровнять, в 25–30 метрах от земли создать инерцией винта воздушную подушку, перевести вертолёт в планирующий режим и садиться по-самолётному. Конечно, наелся бы земли.

* * *

Страха, животного страха, тогда, действительно, не было. Были молодость и глупость, точнее, глупая неопытность.

Шестнадцать лет спустя я с другом Толей лежал в неглубоком грязном кювете за прошитым очередью “Фиатом” у границы между Южным и Северным Йеменом. Кто нас прихватил – непонятно. На гражданской войне, тем более чужой, не разберёшь, да и не разбираются.

Поначалу было просто страшно: вот так закончить жизнь в маленькой грязной канаве... А потом подступил ужас: из пробитого бензобака “Фиата” стал вытекать бензин и тёк под нас, я уже ощутил вонючую, как смерть, прохладную жидкость у себя под животом. Попытались чуть приподняться и отползть вперёд. Канавка такая, что только-только умещает тело человека. А Толя ещё, мягко говоря, упитанный. Я-то тогда весил 69 кг, сказался “фитнес”: тропики, пустыня и война. А в Союзе было 90 кг мускулов.

Зашевелились мы и – опять очередь. Одна из пуль отрикошетила передо мной о диск переднего колеса, выбила искры, но до бензина они не долетели.

Толя бухтит, что из ПК, судя по звуку, стреляют, очень ценная информация. А меня охватил совершенно животный ужас. Иной раз задумаешься и представляешь варианты своей смерти, но вот так сгореть заживо бензиновым факелом... Я был уже взрослый, состоявшийся мужик, у меня было двое сыновей, и я уже понимал и ценил жизнь.

Нас накрыли из этого ПК ещё раза три, но не зажгли. Мы вжались и не шевелились. Любая новая очередь превратила бы нас в факелы. А бензин вытекал, бак был почти полный. Толя потом сказал, что мы так лежали около часа, а мне показалось – вечность. Это был Бог. Кто-то должен был выжить.

В сумерках подошёл броник правительственных войск, и стрелявшие куда-то пропали. Вылезли мы из кювета и, первым делом, до без трусов, содрали мокрую одежду.

Документы только вытащили – целые остались. Мы их всегда от пота носили в пластиковых пакетиках.

Дали нам арабы какие-то тряпки, только-только прикрыть основные места, и в этом виде ночью мы добрались до Адена, до нашего домика на берегу океана.

Были у Толи стейки из настрелянных ранее в океане кальмаров: если их правильно нарезать, то они на сковородке – как жареная картошка. Нашинковали на тёрке незрелую зелёную папайю – она получается, как капуста. Ни того, ни другого мы там в оригинале не видели. И – напились до взвизгивания. Потом пошли на четвереньках купаться в Индийский океан, благо он от нас во время прилива был метрах в 30-ти. Ночь, луница и два голых мужика вползают в полосу прибоя. Было это мероприятие ненамного безопаснее лежания в бензине, но пронесло: утром лежали уже в домике. Как-то по жизни судьба таких вот милует. Но не всегда.

Инструктор когда-то говорил нам, молодым парням: “Мы, ребята, ничего не боимся, мы опасаемся”. Ещё иногда добавлял: “Смерти и глупости”. Правильно говорил: страх – чувство животное, опасение – чувство сознания. Поэтому, когда он сказал мне как-то: “Ты опасливый, Барков, молодец”, я расцвёл. Безбашенной, оторванной смелости, как у Славы Пескаря или у Васи Федоркина, у меня никогда не было. Думаю, поэтому и жив.

* * *

Я никогда не носил голубой берет и тельняшку и никогда не был в Афганистане, но авторитетные люди из десантуры и ветераны-афганцы считали и считают меня своим.

С ВДВ я связан десятилетиями совместной жизни, службы, мужской дружбы и даже родственно. Дорогие моему сердцу мой командующий Шаманов Владимир Анатольевич и мой наставник, советчик, учитель Данильченко Владимир Ананьевич – крёстные моего младшего сына – Володьки. Вовка получился в них: дерзкий, неуступчивый, харизматичный и – душевный до слёз. А главный батюшка ВДВ, отец Михаил, – мой духовник и друг по жизни, дружим своими большими семьями.

Уж коли начал упоминать, вспомню и ещё одного своего наставника – генерала Милованова Виктора Георгиевича. Вспомню Васю Федоркина, Диму Савельева, Андрюшу Соколова, Толю Андропова, Романа Кутузова, Олега Тудрия, Мишу Осипенко, Андрея Горобца, Пашу Волкова, Игоря Сушко и многих других, в том числе и тех, назвать кого не могу. Они, кто полковники, кто генералы, кто рядовые, а название у них одно: десантура.

Хранящиеся у меня памятные медали и знаки от организаций ветеранов Афганистана, строго говоря, не имеют ко мне прямого отношения, но не я их себе выдавал. Ачалов, Гусев, Соколов и другие знали, где я был неподалёку и чем занимался.

Инструктор в подмосковном Центре, куда я попал всё с тем же словом “надо”, был тоже офицер ВДВ – рязанец. И не он один. Но носили мы общевойсковые красные петлицы и погоны, включая инструкторов, о чём они втихую переживали.

Я попал в Центр с опозданием, не к началу потока. Пока оформлялся, ходил по прапорщикам, присматривался, увидел инструктора. Он мне сразу глянул, и парни его реально уважали. У замкомандира Центра, когда определялись с учебной группой, попросился к нему. К удивлению своему, попал, хотя к просьбе моей отнеслись никак.

Где-то через неделю работаем в спортгородке, жара, пот, жажда. А до этого слушали лекцию о психологии внезапного нападения и защиты от него. В спарринге у меня уже неплохо получалось, доволен был, как слон. Подходит инструктор.

– Ну, как, Барков, дела, вижу, получаются...

Не успел я договорить, как я счастлив, мне короткий, но плотный удар в солнечное... Кто знает, тот знает. Слёзы, сопли, спазм дыхания. Чуть опомнившись, хриплю: “За что, товарищ капитан?”...

— А ты что стоишь? Вот он я, что ты стоишь! Чему я тебя и вас учил!

Начинаю соображать, но понимаю, что это уже будет поздно и глупо.

— Виноват, товарищ капитан.

— Запомни: сначала мгновенная реакция, потом размышления. Сначала, как рефлекс, потом уже включаешь мозг.

— Запомни: подходит полковник, благодарит за службу, а рука у него в кобуру полезла. Ты ему сначала руку выверни да мордой в землю, а потом спроси, чего он, такой добрый, в кобуру полез.

— С приятелем разлили по второй, взял он нож — колбасу порезать, но взял неправильно, не для колбаски, а для удара. Руку ему выверни, мордой в колбасу, а потом спроси, почему он нож неправильно держит.

— С девушкой расслабились в постельке, она сумочку достаёт, а из сумочки — бритву. Ручку ей выверни, а уж потом спроси, зачем ей в постельке бритва...

— На задании кокон вокруг вас должен быть, запомнили, кокон. Кто в него проникает — сразу ответ!

Обиделся я тогда на него, но он на следующем занятии подошёл и извинился. Я растаял, ничего, мол, наука, но сам опорную ногу назад отставил и доворачиваю корпус чуть боком. Он увидел, рассмеялся: “Вижу, что понял”. Ещё он любил говорить: “Пусть они думают, что они — охотники, а мы — дичь. Пусть так думают”.

Я, как и другие ребята, был бесконечно благодарен этому умному, жёсткому, справедливому офицеру-рязанцу за школу жизни. Она не раз мне спасла здоровье, а может, и жизнь. Назвать я его не могу. Позднее он попал в элиту элит, подразделение по работе с НЯУ. Кто знает, тот знает. А про Анголу я уже упоминал.

Уже много позже, в Штатах, наблюдал я представителей спецподразделений армии США, здоровых, упитанных, накачанных, и мысленно сравнивал их с инструктором. Такие, как они, на марш-бросках загибались первыми. А он был невысокий, и под формой только опытный взгляд мог разглядеть сталь тренированных мышц. На марш-броске он ближе к финишу собирал у наших качков и вешал на себя автоматы, иной раз по 5–7, чтобы группа пришла ровно. А потом в спортгородке “отдыхал”, подтягиваясь раз 30–40 на перекладине, но не к подбородку, а к закривку.

Назвать его Рембо — оскорбить. Стероидная дешёвка Сталлоне укладывал штабелями в соответствующей голливудской хренотени наших солдат в Афгане, а в жизни был неоднократно бит первой женой и в пике популярности ходил с 20-тью телохранителями. В кино они такие: мужественный профиль на фоне заката, а как попали в плен в Ираке, показали их по TV, поднялся визг: не показывайте, не портите картинку!

Шапкозакидательством, конечно, заниматься не надо, ни в коем случае, но думаю и знаю: не с точки зрения матчасти, а с точки зрения солдатского духа — их счастье, что они с нами не сталкивались в открытом бою. Впрочем, нет, как же, в гражданскую в Архангельске, где они, “освободители”, уничтожили в концлагерях около 10 тысяч гражданских лиц, а потом драпанули от плохо вооружённых, плохо одетых и не очень сытых красноармейцев.

Не хотелось бы, чтобы бойцы нашей армии, наших спецподразделений превращались в качков и оковалков.

Серёга и Толя в моём стихотворении “Засобиралась, Богом попросилась...” в прошлом были тоже офицеры-десантники — рязанцы. Серёга — профессор, умница, несколько языков, я с ним был в Ираке, а Толя — пьяница, бретёр и бабник, его я встретил в Йемене. Я их свёл вместе, хотя они друг с другом не встречались. А там, кто знает, неисповедимы пути нашего брата за рубежом.

Лучший друг мой по работе в Штатах, Кожурин Саша, тоже из десантуры. Всех не перечислю, да и не могу, да и не нужно уже.

Поэтому, когда командующий ВДВ, Герой России Шаманов вручал мне ветеранское удостоверение и кортик офицера ВДВ, я не застенялся. Да и больше сотни прыжков тоже что-то значат, представление имею. По моему мнению, и не только моему, ВДВ в России — не только род войск, но это и орден воинского духа, веры, любви к Родине. Я горжусь принадлежностью к нему.

В начале 1980-х, уже взрослым 30-летним мужиком нагрянул я по осени в Андреевское, и пошли мы с дедом на охоту.

Присели на опушке у лесочка Ерденёвка на холме, солнышко греет, хорошо! Дед Кузьма показывает мне на отдельно стоящую на опушке берёзу и спрашивает: “Ну-ка, Мишка, а скажи мне, это что?” Приглядываюсь.

– Ну, – говорю, – дед, берёза как берёза.

– Дурак ты, Мишка, это приполь. А какие ты, учёный, ещё берёзы знаешь? Слегка обиделся, молчу, соображаю.

– Ни хрена ты не знаешь. Давай считай. – И началось: суполь, приполь, борова и т. д., насчитал я 15 сортов.

– А зачем так много, дед?

– Так они же все на разные нужды. Какая на приклад для ружья, какая на берёсту, какая для скипидара, какая на дрова, какая на колесо, а какая на икону...

К чему я это вспомнил...

Все мы, мужчины в особенности, худо-бедно разбираемся в автомобилях. Когда-то мы не хуже (а, наверное, лучше, жизнь заставляла, и станций ТО не было) разбирались в конской упряжи. Только основных её элементов штук двадцать, а каждый ещё состоит из многих, до десятка наименований.

Дед Кузьма знал упряжь досконально. Отец мой мог запрягать, но дедовых знаний, он сам признавал, у него не было. Я, конечно, никакую лошадь не запрягу. Дети мои, особенно младшие, не знают об этом ничего.

Дело не о том, чтобы в нашем, и так перенасыщенном информацией мире вспоминать, что такое хомут, шлея, супонь. А в том, что предки наши не знали планшетоу, не знали многое такое, что нам уже не известно и не доступно. Будем просто уважать их не менее интересные и впечатляющие знания.

Последняя охота деда Кузьмы состоялась, когда ему было уже за 80.

Есть под Андреевским, рядом с селом, знатный лесок Язовка. Кругом все леса выкорчевали, распахали уже сотни лет назад, а этот удержался. Лесок этот особенный, растёт он по склонам крутой ложбины, по дну которой протекает заболоченный ручей. Там, особенно в низине, двух-трёхъярусный лес с подлеском и с болотными кустами и травами по грудь. Летом – просто не проредёшься. Жили там в пору моего детства ласки, куницы, хорьки, енотовидные собаки, а лисы и зайцы и теперь живут. Есть ещё среди леса внушительный заброшенный карьер, где добывали раньше чистейший мелкий песок и белую глину.

В общем, непростой лесок. Уверен, что за две тысячи лет окрестные жители в смутные времена не раз прятались там, да и прятали в нём что-то наверняка. Ближе к Андреевскому погосту лес оголяет крутые овражистые склоны. Вот на этом склоне в феврале месяце дед скатывался на лыжах за зайцем-подранком. Не удержался, упал и – один из самых тяжёлых для пожилых людей – оскольчатый перелом шейки бедренной кости.

Уже вечерело, и его рыжая Моська, покрутившись и поскулив вокруг покаленного деда, рванула домой в Андреевское. Село недалеко, а дом на Украинке – так в Андреевском называют нижнюю часть села у реки. Не потому, что там жили украинцы, а потому, что у края села. Туда было больше двух километров.

Дома были бабка и дядя мой Василий. Моська прибежала и стала царапать в дверь терраски, скулить и лаять. Вася дверь открыл, а Моська через сени в горницу и ну крутиться по бабкиным чистым коврикам. Василий за ухват, материться, а бабка сразу поняла. Никогда дедовы собаки в дом не заходили, жили под домом, в лучшем случае, заглядывали на терраску, порядок был строгий.

– Вась, – говорит, – с дедом беда, собирайся.

Ленив был мой дядя Вася, но сразу тулупчик накинуд и – в валенки.

– Санки, санки возьми!

– На... санки?! – но взял, послушался, бабка как в воду глядела.

Нашли они с Моськой деда по следам уже не на склоне, а метрах в пятистах ниже по руслу замёрзшего ручья. Была уже ночь, и февраль нагуливал последние морозы. Дед выбился из сил, замерзал, но боролся. Так они цугом и дотащили его до дома, где бабка не находила себе места. Василий, дед на санках и Моська позади.

Выкарабкался дед, болел долго, но больше на охоту уже не ходил. Умер он в марте 1986-го, хоронили всем селом и из Лукерьи, Лысцева, Морозовки, Проводника пришли. Знали деда.

Солнышко было, наступила весна. Приехал и я, и брат Василий из Коломны, и много каких-то не известных мне мужиков и женщин. Для меня с дедом Кузьмой, как и с дедом Николаем, ушла эпоха. Эпоха фронтовиков.

Мне думалось, что, не будь Моськи, дед всё равно бы добрался, дополз до дома. Железное было поколение.

А Моська в тот же год в начале зимы погибла, попав под тракторные сани. Сани-то эти с трактором проезжали раз в день, как она умудрилась? Старая уже была.

Мой дядя Вася, сельский циник и охальник, сказал, что она нарочно бросилась: "На... нужна такая жизнь..." Кто знает...

Лет десять спустя был у нас в Вене похожий случай, который мы, сотрудники торгпредства и посольства, воспринимали как комический.

У замторгпреда жил сибирский кот, привезённый из дома, звали его Фриц.

Котяра был ещё тот, дисциплину не уважал, сбегал то и дело со двора торгпредства через въездные ворота и в соседнем сквере, напротив Австрийского телевидения, устраивал загулы с местной котобратией. Австрийские кошки, которых там же выгуливали, рвали шлейки, чтобы пообщаться с Фрицем, а коты прятались за спинами хозяев.

Вполне естественно и законно, что пошли жалобы. Фрица отлавливали, запирали в квартире, а он через какое-то время опять уже шлялся по двору и следил, когда откроются ворота.

Торгпред Фильпин был либерал и демократ, но и его это достало, приказал он после предупреждений кота усыпить. После переговоров с плачем членов семьи, добрый Геннадий Иннокентьевич согласился на вариант кастрации.

Дня два-три после этого Фриц лежал дома, никого к себе не подпускал. Потом всё-таки удрал через окно во двор.

Со слов дежурного по торгпредству, наблюдавшего ситуацию по мониторам, Фриц дождался открытия ворот для въезжавшей машины и выбежал на улицу, Аргентиниерштрассе. Там он пропустил мимо себя несколько легковых автомобилей и бросился под грузовик.

Мужское население представительств смеялось: ну, на фига, действительно, такая жизнь?!

Я много лет спустя, вспомнив, рассказал об этом своей жене Ксюше как юморную историю. А она прослезилась: Фрица жалко.

Ближе они к Богу, женщины. По своей душевной, да и не только, организации мы примитивнее их.

Давайте не будем попадаться на удочку евроменов и евроумен по части примитивного "равенства" женщин. Не в нашей это культуре и традиции. Невозможно уравнивать то, что Богом создано различно. Мы, мужчины, не равняем их себе, мы ставим их выше, мы будем открывать им двери, пропускать вперёд, нести за них вещи, становиться перед ними на колени, беречь, охранять, боготворить. Женщина родила Бога и всех нас. Так считал мой дед Николай.

А на редкие исключения из такого подхода, вы, наши дорогие, не обращайтесь внимания, в семье не без урода.

* * *

Кто-то, думаю, отметил моё частое и почтительное обращение к Богу: не иначе, верующий?

Вопросу, как и ответу на него, тысячи лет, он может быть и очень простой, и бесконечно сложный.

Я — мирской человек. Грешный. Стараюсь по жизни быть лучше. Верую ли я? Да, я человек верующий, верую в Бога, православный.

Меня окрестили в 5 лет в Москве, на Арбате, в церкви Спаса Преображения на Песках. Крёстными моими стали тётя Мила, которая по приезду в Москву к родне забрала меня на время у родителей. И дядя Коля, наш московский родственник, живший неподалёку от храма. Родители мои жили тогда в Реутове, снимали угол.

Вот ведь судьба — кружевница! Спустя годы скитаний по арабским странам и многолетней бездомности я случайно попал на жительство в Реутов. И прожил там до переезда в Москву около 15 лет. В Реутове мой отец учился и окончил школу рабочей молодёжи. Потом в этом здании была спортшкола, куда ходил мой сын Никита, самый спортивный из моих сыновей. В Реутове судьба подарила нам бабушкиного любимчика Витюшку. В Реутове я познакомился с одним из своих ближайших друзей Сашей Ходыревым.

Мы с ним были очень схожи по сельскому происхождению, по неуёмной жажде увидеть большой мир, утвердиться в нём, улучшить его. Саша в 1990-е на пустом месте и, казалось, без денег построил первый в Реутове храм. Я сбоку тоже принёс свои три копейки. Город сейчас не узнать: из серого панельного малоэтажного новодела он превратился в один из лучших городов-спутников Москвы. Мир тебе, славный город Реутов!

* * *

Думаю, что вера в Бога есть у каждого, в том числе и у атеиста, и у каждого она в чём-то своя. Я к своей осознанной вере пришёл довольно рано, и в стихотворении “Душа” этот эпизод не выдуман. Как, впрочем, и всё остальное в моих стихах. Ночь на звоннице колокольни Андреевской церкви дала мне первые отправные точки в понимании моей веры. Они с возрастом почти не изменились.

Не повлияла на них масса атеистической литературы, которую я читал и по обязанности в своих многочисленных учебных заведениях, и из собственного интереса. Одна из последних — книга “Бог как иллюзия”, где господин Докинз, умнейший дядя, принимает за Бога историю восприятия Бога человечеством. Бог ему судья. Не он первый.

Очень упрощённо, не навязывая никому ничего, порассуждаю на эту вечную тему.

Я верую в Бога потому, что не считаю ни себя, любимого, ни других, возможно, более достойных людей, ни человечество в целом, при всём к ним искреннем уважении, венцом, вершиной Мироздания,

Мне не по душе собственная и человеческая гордыня, эгоизм, всезнайство. Я не верю в сверхчеловека.

С уважением отношусь ко всем религиям, но не принимаю чью-либо монополию на Бога.

Почитаю, но не возвеличиваю Православие как одну из самых гуманных религиозных идеологий и практик. Чту его, как тысячелетнюю традицию моего народа. Когда я осеняю себя крестным знаменем, я ощущаю, что многие поколения моих предков делали то же самое в горе и в радости, в счастье новорождения, в любви и скорби, и в свой смертный час.

Убери эту традицию, что останется? Водка, игра на ложах, баня?

Почитаю Церковь, но понимаю, что она состоит из людей и она — не Бог. Понимаю и приемлю роль Православия и Церкви как не только духовной, но и политической скрепы в истории моего народа.

Сейчас у русского Православия наступили трудные времена. После двух десятилетий возрождения и внешнего благоденствия оно несёт тяжёлые утраты и становится гонимым. Но в этом и проявление внимания Божия, Его любви. Верю, оно станет прочнее, чище. Я же воспитан в аксиоме: мы своих не бросаем.

Особая тема — о служителях Церкви. Они разные. Но для меня существуют только те, кто искренне служит и верит.

Это батюшка Леонид, священник Андреевской церкви, по крохам собирающий и порушенные людские души своего бедного прихода, и порушенный храм.

Это батюшка Михаил, священник ВДВ, прыгающий с парашютом, по кирпичикам, молитвой и непреклонной волей собиравший храм для крылатых солдат. Живший в окопах и блиндажах, рисковавший вместе с солдатами, которых поддерживал, врачевал, отпевал. Скрывающий от многочисленной, многодетной семьи тайны своих непростых командировок.

Это соловецкая и валаамская монашеские братии, где на островах мне посчастливилось многократно бывать и внести свою малую толику в возрождение этих святых мест.

Низкий поклон трудоголикам и украшателям земли Валаамской, дорогим мне отцу Ефрему, игумену Мефодию, владыке Панкратию. То, что они с братией сделали на порушенном, опустошённом, поруганном острове, каким я застал его впервые тридцать лет назад, это – чудо.

Отдельно помяну ныне покойного владыку Алексея, настоятеля Ново-Спасского монастыря в Москве.

Вскоре после возвращения из Штатов звонит мне старинный мой друг Манжосин Александр Леонидович, начальник Управления Президента по внешней политике, человек, чрезвычайно много сделавший на этом поприще и трудоголик, каких я больше не видывал. Всех работавших у него я бы сразу записал в мученики письменного стола.

– Заходи, – говорит, – не по телефону.

Пошёл, благо от нас до Кремля было пешком минут 15. Захожу в 14-й корпус, которого уже нет, снесли. К нему, к этому корпусу я ещё вернусь, жаль мне его немного, много там работало друзей, много я туда хаживал. Как обычно, у Манжосина аврал, но переключается на меня:

– Есть такой генерал Решетников...

– Как же, знаю Леонида Петровича, уважаю...

– Тем лучше. Так вот, он ещё и председатель попечительского совета Ново-Спасского монастыря, слышал о таком?

Я не москвич, по Москву люблю и знаю, особенно историю.

– Конечно, это где первые Романовы...

– И это хорошо. Так вот, настоятелем там милейший человек, владыка Алексей. Но вот есть у него такая странность – привередливый больно. Денег от жертвователей не берёт, не подходят они ему, а где нам ему безгрешных взять? Вот Решетников и говорит мне через тебя поговорить на эту тему с Токаревым. Шапочно он его знает, но не так, как ты. А ты у него зам. А то ремонт башни стоит, дыр в бюджете монастыря архисрочных полно... В общем, сделай.

– Попробую, – говорю, – но у нас только название красивое: “Зарубежнефть”, а с финансами не густо.

Действительно, не густо тогда у нас было, и когда я называл свою зарплату коллегам по нефтяному цеху, то или не верили, или хихикали. Это мы потом уже из “Зарубежки” конфетку сделали.

– И ещё, – говорит Манжосин, – к Алексею съездить надо, он на вас взглянуть должен.

– Хорошо, – говорю, а про себя, грешным делом, думаю: может, и станцевать?

Вернулся, пошёл к Токареву, так и так, мол, пересказываю. Николай Петрович Манжосина уважал, Администрацию Президента тоже.

– Ладно, – говорит, – тысяч сто наскребём, но в этом году уже больше никому не поможем. Готовь материалы по переводу.

– Да нет, – говорю, – только переводом не получится, к нему съездить надо...

Посмотрел на меня Токарев – есть у него такой особый взгляд поверх очков, видимо ему та же мысль пришла в голову, что и мне у Манжосина, но согласился.

Созвонился я с монастырём, договорились, приехали. Провели нас монахи к Алексею: невысокий старичок, даже какой-то невзрачный, но взгляд лучистый, умный.

Налили нам простенький чай, дали сушечки постные и потекла беседа. Были мы у него час, хотя Токарев планировал минут десять. Передать эту беседу невозможно: о людях, о жизни, о стране нашей, о мирском и вышнем.

Были бы дольше, но сам же Алексей эту беседу прервал, поблагодарили мы друг друга, едем в машине обратно. Николай Петрович, человек непростой, побывавший везде и повидавший всего, мало что берущий на веру,

сидит рядом и рассуждает вслух сам с собой: денег у нас, конечно, нет, но я достану ему миллион. Займу, но достану. . .

Самое интересное, что во время беседы владыка Алексей ни вполслова, ни намёком не сказал нам, что монастырю нужны деньги.

Достали мы им миллион, перевели, принял монастырь. Я вошёл в состав попечительского совета, и ещё не раз, в меру наших возможностей, мы помогали монастырю. А я, к сожалению, не часто, но имел возможность общаться с этим удивительным человеком, владыкой Алексием, а также и с интересными, одухотворёнными людьми из состава совета, которых свело воедино притяжение владыки. Там же судьба свела меня с близким моим другом и коллегой Симоненко Сергеем Юрьевичем.

Смерть владыки потрясла нас. Пришли другие люди. Ничего не буду о них говорить, просто другие. Мы с Решетниковым тоже оказались привередливыми и через некоторое время покинули состав совета. Тем более что дела со спонсорской помощью пошли там гораздо лучше.

Ни записывать, ни, тем более, писать на диктофон Алексея было невозможно. Что-то запомнилось, что-то по следам бесед пометил. Это от него я в стихотворении о “последнем солдате” вставил потом строчку, что храмы пустыми стояли.

Что-то воспроизведу по памяти, может, и до него это кто-то сказал, может, и не вполне точно, не обессудьте: “Ложь – это грибок, плесень. Идеи, даже самые хорошие, обрастают ложью.

Мы любим и глупости за то, что они с нами были.

Есть в нас черта: назло хорошему.

Господь награждает и наказывает не тех, кто заслужил, а тех, кого нужно Его промыслу, не ведомому нам.

Не они сильны, а мы слабы.

Я всего боюсь, но я должен утомиться собой.

Господи, избавь меня от меня.

При разномыслии – самое главное – не должна теряться любовь.

Разве волос не упадёт с головы без Бога?

Есть коренное отличие США от Европы и России: они не страдали.

Малая толика зла в короткий период может разрушить создаваемое веками.

Они будут выдавать акт разрушения за акт созидания, равноценный созиданию”.

И напоследок – анекдот от владыки.

Встретились на меже между двумя деревнями две бабки. Одна говорит другой:

– Наш-то батюшка холёный да красивый, не то, что ваш – смурной.

Другая бабка не отвечает.

– У нашего-то батюшки дом под медью сделали – загляденье, а ваш-то шифер новый никак не купит!

Другая бабка насупилась, но молчит. А первая опять:

– Нашему-то батюшке спонсоры машину подарили, “Аудю”, а у твоего, небось, и кобылы-то нет. . .

Тут вторая бабка и заговорила:

– Зато наш батюшка в Бога верует!

Завершая неисчерпаемую религиозную тему, я, грешный, высказал бы ещё две мысли, дерзкие и, наверное, крамольные, за которые кто-то из вас меня может осудить. Простите.

Первое. Размышляя над историей социальных экспериментов в чужих странах и в своей стране, побродяжив по миру и насмотревшись всего, глядя на ныне живущих, в частности, на то, что сотворили с чудесной, благоухающей страной Сирией, где я бывал когда-то, я бы, ничтоже сумняшеся, покайся и перекрестившись многократно, предложил бы, вслед за попытками многих великих, не чета мне, грешному, ещё одну заповедь: “Не разрушай”.

Или, в менее широком, уточняющем смысле: “Не разрушай созданного человеком”.

Второе, не столь дерзновенное, более приземлённое предложение о снесённом 14-м корпусе Кремля. Разное говорят, что сделать на месте теперь уже парка, чаще – о восстановлении порушенных монастырей. Разумно, но. . . разрушали-то их мы. Сами разрушали. Я бы предложил другое, и не обязательно на этом месте, хотя других в Кремле почти нет, а в принципе.

Прости меня, Господи за все и, прежде всего, за гордыню.

1970-е годы, лучшие, на мой взгляд, годы Союза, совпали у меня и с лучшим периодом в жизни — годами учёбы. В начале 1970-х, будучи слушателем военно-учебного заведения, я довольно часто в увольнениях ходил по московским театрам. Нас, ребят в форме, курсантов, слушателей, пускали по контрамарке постоять в проходе практически во все основные театры, даже иногда на “Таганку”. Ну, разумеется, кроме Большого, Малого и ещё нескольких, куда за валюту ходили иностранцы.

Ломились тогда на “Таганку” по-страшному: попасть туда можно было или за большие деньги, или по блату. Народным по публике он никогда не был. Несмотря на флёр диссидентства, он был театром элиты и для элиты. Основными зрителями были номенклатура, торгаши и хорошо оплачиваемая интеллигенция. Думаю, что в большинстве своём — члены партии.

У меня было сложное отношение к этому театру и его публике. С одной стороны, я видел сумасшедшее, на разрыв, исполнение Высоцким роли Хлопуши в “Пугачёве” и талантливое неистовство Хмельницкого. С другой — видел интерес многих не к игре актёров, а к “изюминкам”, на чём зачастую и играл с публикой Любимов. И на чём ему, вхожому в “инстанции”, позволяли играть.

В “Пугачёве” этой изюминкой была строчка об Екатерине II: “...чтоб с престола какая-то б... могла управлять государством”. Сначала это слово давали вживую, потом было запрещено, и вместо этого “б...” звучал удар колокола. Как сейчас, к примеру, “запикивают” мат в кино и на TV. И до, и после в антракте, в фойе, в коридорах в публике перешёптывались: “Вот, вот, будет”; — а потом: “Вы слышали?.. Это же...” — и самые смелые делали намёк, закатывая глаза вверх. Как-то жалко весь этот цирк смотрелся, особенно в исполнении номенклатурных чиновников с партбилетами в карманах.

Моим походам в театр на Таганке я и посвятил одноимённое стихотворение.

Тогда же околбогемные приятели, зная о моей любви к Есенину, познакомили меня со стареньким неухоженным художником дядей Лёшей. Был он, наверное, и не очень старенький, но спивался безнадежно, отчего вскоре и умер. В двадцатые-тридцатые годы, будучи молодым и повернутым на запрещённом тогда Есенине, он собирал песни и романсы на стихи Есенина. Недурно играл на семиструнной гитаре и не так хорошо, но с душой пел.

У него я услышал около трёх десятков таких романсов и песен, не слышанных мною никогда ни ранее, ни позднее. Десятилетиями позже набренчал, напел их Лёше Верному, он загорелся, многое ему понравилось, думали сделать диск, но вскоре он и сам умер. Уйду я, и они уйдут со мной. Немного жаль.

В университетскую вольницу я сделал несколько песен для студенческого театра МГУ, в сборнике я их помечаяю. Пору студенчества, незабвенную, с предельной энергетикой жизни, с пренебрежением к каким-либо запретам и авторитетам, бурлившую идеями и сумасбродством, я надеюсь, опишу как-нибудь отдельно. Эту пору оболгали, завесили от ныне живущих молодых всякой хренью — дескать, ходили мы по струнке, сверяли каждый чих с парткомом, дарили любимым кусок сыра и туалетную бумагу...

Я считаю 1970-е годы в молодёжной среде более раскованными, светящимися интеллектом, счастьем жить в великой стране и готовиться вершить великие дела, чем нынешние. В 1970-е в Союзе практически не было политзаключённых, и это было реально. Потом их число только увеличивалось.

Простите за нудность, но упомяну мою студенческую братию, хотелось бы всех, но, без обиды, всех, конечно, не смогу.

Нет уже моего мудрого и верного Сан Саныча, дорогого мне Вити Хадеева, ушли красавчик-атлет Коля Афанасьев, харизматичный Володя Комиссаров, наш “ботаник” Сережа Бекедов, умница Толя Рябко, добрый Саша Алдусев...

Слава Богу, живы мой лучший университетский друг, лабух Слава Егоров (как тебе, Славка, в Швейцарии, я там, не обижайся, скажу честно, помер бы от тоски), самый честный мент Союза, генерал Володя Климов, лобастый

крепыш Володя Ильичёв, наш Штирлиц Боря Сенцов, красавчик, умница и пьяница Серега Забарин (прости, Серый, я тоже не ангел), прожженный циник и скептик Володя Кизяковский, красивые, хулиганистые оторвы Танюша Шубина и Валюта Ширяева, умница, красавица Олечка Левина, чопорная, надменная и ранимая Наташа Кузнецова, девочка-статуэтка Наташенька Субеева, застенчивая и хрупкая Танюша Синицина, снежно-красивая и недоступная Иришка Дорохова, комсомолка, спортсменка, красавица Наташа Чистякова (сколько, однако, Наташ у нас было!), грустный, не от мира сего Володя Мельник, дерзкий и независимый Володя Бойко, мудрый и степенный Магомед Каратаев, упрямый и жёсткий Стас Смирнов, земляк и друг мой по жизни Саша Федин...

И это они-то были дрожащими винтиками тоталитарного режима, ходили по ниточке, протянутой парткомом?! Да ладно!

* * *

Так уж сложилось, что мне довелось общаться и работать со всеми четырьмя советско-российскими президентами. Скажет кто-то, что, мол, эх, хвастанул, дескать, я и Пушкин. Думаю, уверен, любому человеку можно и нужно говорить и судить о лидерах – это признак здорового общества. Главное, чтобы без заведомой лжи и хамства. Но и стесняться я тоже не буду.

В начале 1980-х мотался я в служебных командировках по Союзу, как самый молодой в главке, в основном по Заполярью, Сибири, Дальнему Востоку. А также по центральному нашему Невезенью. Потом допустили уже и на Украину, в Прибалтику, на юга. Что могу сказать? Лучше всего жили на Украине, в Прибалтике и Грузии. Хуже всего – в центральных областях России, кроме Московской. Судил по магазинам, домам, дорогам, наличию машин, земельных участков, дач, объектов культуры.

Был навсегда очарован природой страны, особенно, величием планеты Сибирь, Байкалом, Ороном, плато Путорана, Венчальным уловом, Парамским порогом – всего и не перечислишь. Не умеем мы до сих пор подать эту красоту, это величие, этот размах. Смотрим в кино и ахаем на американские столбы с разных ракурсов или новозеландскую долину с разных склонов. У нас есть места куда как покруче...

Когда умер Брежнев, я был в Москве, направили на усиление. В последний день прощания нам, обеспечивавшим втихую порядок в Колонном зале Дома Союзов, оказали честь уже ночью перед похоронами постоять в почётном карауле у гроба. Не всем, правда, но мне повезло. Постоял три минуты около Леонида Ильича, подумал, что если бы он не пересидел, то не было бы к нему никаких серьёзных претензий. В политике, как и в спорте, уходить надо вовремя. На следующий день, в день похорон, я шёл по Ленинскому проспекту. В 12 дня машины остановились, загудели, останавливались и люди, кто-то крестился, отовсюду неслись гудки заводов, ревуны кораблей с Москвы-реки. Народ переживал реально. Чувствовалось, что накатывается новая эпоха, смутная, непонятная.

Вскоре после прихода в генсеки Андропова началась работа по созданию блока законов, которые ещё до их принятия уже называли “андроповскими” и которые в большинстве своём так и остались проектами или идеями.

Меня откомандировали в аппарат Комиссии законодательных предположений, которую возглавлял Горбачёв и где я его многократно наблюдал. Видел несколько раз и Андропова, присутствовал при его избрании в 1983-м Председателем Президиума ВС СССР, храню как реликвию приглашение – пропуск в зал.

Горбачёв уже был популярен. В основе его популярности была всеобщая надежда на изменения к лучшему, но лучшее это всем рисовалось по-разному. Под обаяние этой надежды попал и я.

Было два-три заметных эпизода моего тогдашнего наблюдения за Горбачёвым. Был он косноязычен, но это ему прощали: как же, без бумажки! Я из любопытства и для истории стал за ним записывать. Это заметил невзрачный человек, прогуливавшийся вдоль стены, и после заседания я получил отеческий втык от начальника аппарата.

В другой раз как-то на заседании один из членов комиссии усомнился в необходимости частого упоминания в законопроектах социалистических мантр о законности, правопорядке, сознании и т. д. Разумно, зачем отягочать текст, сказал один раз — и хватит.

Тут вдруг Горбачёв как заорал... Именно заорал, а не закричал:

— Вы что, сомневаетесь в устоях социализма?! Может, и роль партии вам уже не по душе?!..

Несколько минут так и орал в самом ортодоксальном духе. Все опешили, а он, выпустив пар, ушёл. Ничего себе, думаю, либерал.

Но мужику этому, попавшему под паровоз, ничего не сделали, как работал, так и продолжал работать.

А следующий эпизод был для меня, можно сказать, лично историческим, сыграли гены деревенского хулигана. Денёк был солнечным, настроение хорошее. Вошел Горбачёв в зал заседаний, пошёл мимо нас, экспертов, все встали к стеночке прижались. Горбачёв привычно кивал, но лично он здоровался только с теми, кто сидел с ним рядом во главе стола.

Подходит ко мне, улыбается, я подаюсь чуть вперёд, спрашиваю:

— Михаил Сергеевич, можно пожать вам руку?

И протягиваю свою.

Горбачёв чуть замешкался, а два мужика, что всё время за ним ходили, сразу взяли нас в полукольцо. Невзрачные, но жилистые и резкие, как и положено в “девятке”, это потом Раиса стала утверждать мужу фактурных и презентабельных.

Поздоровался Горбачёв. Хорошо помню его руку: тёплая, вялая и чуть влажная.

“Девятчники” зыркнули на меня зло, но это не могло помешать моему счастью. Как же, с Горбачёвым за руку..

Вечером был разбор полётов у начальника управления. Не злой, но с матерком. Всё понял, нельзя молодому коммунисту руку протягивать аж члену Политбюро, надежде партии. Никак на мне это не сказалося, а через несколько месяцев, когда Андропов был уже совсем плох, работы по его законопроектам фактически свернули. Горбачёв не появлялся, а меня вызвали в первый отдел.

— Ознакомься, тебе благодарность от Горбачёва. Секретно, так как подпись члена Политбюро. Ознакомься — и уйдёт в твоё дело.

* * *

В конце марта 1985-го, после избрания Горбачёва генсеком, заявился я в Андреевское. Молодой, довольный собой, перспективный функционер. Как же, наша взяла, наконец-то молодой у руля появился.

— Вот, — говорю, — бабуль, Горбачёв теперь у нас.

А бабушка взяла, да и заплакала:

— Не к добру это, — говорит.

— Да ты что, бабуль! — удивляюсь я. — Нормальный он мужик, наш человек, смотри, вон, нос картошкой...

А бабуля тихо сказала:

— Меченый он. Дьяволом. Беда будет.

Потешал я её, а в душе посмеялся. Поехал к деду Кузьме, он тогда в Федосьино в больнице лежал. Плох уже был дед.

— Слыхал, дед?.. — и так далее.

— Пошли они все на... — сказал дед Кузьма и отвернулся.

Не переубедили они меня, уехал я в Москву по-прежнему в радужных надеждах.

Все мы тогда или почти все понимали необходимость перемен и рисовали зарю на холсте. Суть же происходившего, на мой взгляд, была в следующем.

Есть у вас большой, крепкий дом, большая семья, много лет вы живёте вместе. Время идёт, пора бы сделать ремонт: там двери перевесить, там стропила заменить, а там — и стенку переложить по-новому, удобнее сделать. Не косметический, а капитальный.

Приглашаете вы прораба с бригадой, аванс ему даёте, он вам под этот аванс сказки рассказывает. Ну, и началось: шум, грохот, пыль, понятное дело, ремонт, потерпим.

Только в один не очень прекрасный день, вы видите, что вместо ремонта вам стены завалили, крышу обрушили, да ещё и ребёнка вашего придавили. Вместо вашего дома – развалины, да их ещё и подожгли. А “добрые соседи” днём ручкой вам машут, сочувствуют, а по ночам с керосинчиком по развалинам бегают, подливают, чтоб посильнее разгоралось.

Долдон-прораб и сам за забор перебежал, к соседям. И оттуда руки разводит, точнее, одну руку, другую в кармане держит, на бабках, что от “добрых соседей” получил, я, мол, чо, я, мол, ничо. Хотел, как лучше.

Хорош ремонт? Хорош прораб?

Коммунисты во многом ошибались, не они одни, но одна из ключевых ошибок – взгляды на роль личности в истории. Кивали на всепобеждающее учение, на партию, на массы, на рабочий класс (где он?) и отвергали роль предателя и дурака. А зря. Уверен, другой лидер, как тот же Путин, не допустил бы крушения Союза, а сказки о “неизбежном крахе”, “тупиковой ветви” – для слабоумных. Есть много красивых и глупых фраз: “рукописи не горят” (одна только Александрийская библиотека во что обошлась человечеству!), “народ победить нельзя” (а вся история – это победа одних народов над другими, и многие, в том числе великие, народы просто исчезли) и т. д. Так же про “тупиковую ветвь”... Что, Древние Рим и Греция тоже были “тупиковыми”? Просвещённый Запад их наследием живёт до сих пор и их наследием разговаривает, поскольку в основе большинства их языков – латынь. И наследием Союза мы до сих пор живём, и не одни мы будем жить ещё десятилетия, а то и больше.

Говорят, вот пыль уляжется, время пройдёт, Горбачёва оценят. Как же хорошо, что он в выборах поучаствовал, оценили. Менее 1 процента – на уровне статистической погрешности...

А ещё, уверен, оценят, и не только у нас, роль ушедшей в историю великой страны. И этой оценкой будет восхищение и сожаление.

Могло быть иначе? Могло. Сделали мы выводы? Думаю, сделали. Надеюсь.

* * *

Везло мне в жизни на талантливых людей. Не тех, кто в свете юпитеров, хотя их тоже уважаю, а тех, кто под этот свет по разным причинам не попали, но которые не менее талантливы и живут рядом, среди нас, порою не замечаемые и не оцененные.

Упомяну только двоих, и так расписался. Саша Сурков и Лёша Верный. Да, уже упоминал и чуть уже затронул брата Василия Каштанова

Саша Сурков (Санчо) так же, как и я, босоногим белобрысым мальчуганом ловил корзинкой пескарей и плотву в четырёх километрах от моего Андреевского, ниже по течению Коломенки в селе Лысцево.

Вот как сельский парнишка на первых (и, наверное, последних) действительно народных выборах 1990 года стал народным депутатом Верховного совета РСФСР от такого крупного промышленного центра, как Коломна?

Его знали, его уважали, его любили. Без продажной прессы, без административного ресурса и высоких указаний. Пересказывать его биографию не буду, захотите – ткните в поисковик.

Это друг. Детства, юности, по жизни. Умная, тонкая, ранимая, застенчивая душа поэта с четвёртым даном по карате. Мятушная, ищущая, обречённо русская. Бог знает, кто из нас раньше уйдёт, но для меня часть моей жизни, меня самого обрушится... Живи, Саш.

Летом 1986-го, в начале, привёз ему в Лысцево показать посвящённое ему, думаю, лучшее моё стихотворение “Андреевское” 1986 года. Чувствовал, что удалось, так мне хотелось им поделиться, уже тогда решил, что, если ему понравится, ему и посвящу. Привёз, конечно, не только стихотворение. Расположились мы под вишнями, благо его Галочка, не всегда одобрявшая мои визиты, изволила где-то отсутствовать. О стихотворении пока помалкиваю, прием сначала... Вдруг – стук в калитку; торчит голова местного деда Щукаря,

которые есть, наверное, в каждом русском селе. Как звали, уже точно не помню, по-моему, Захарыч. Был у него к таланту побалагурить ещё удивительный талант почувствовать, где будут выпивать. Мы старость уважали, наливали ему, когда у самих было. А тут – машу ему: потом, мол, заняты, дай с другом поговорить.

Санчо, добрая душа, приглядывается.

– Знаешь, – говорит, – что-то случилось у Захарыча, давай его пустим...

– Случилось, – говорю, – выпить хочет. Я же к тебе приехал, не к Захарычу, дело у меня...

– Нет, – гнёт Санчо, – извини, брат, но не в себе Захарыч, обидим старика, а помрёт вдруг, не по-божески как-то...

Махнул я рукой – испортили праздник:

– Запускай, Лёша Карамазов...

Видим, на Захарыче, действительно, лица нет.

– Вот, – говорит, – погиб Полкаша-то мой. Теперь уж, чувствую, и мой черёд подходит. Единственный был, кто меня по правде уважал.

Был у него здоровенный лохматый кобель-дворник по имени Полкан, такой же неустроенный шатун, как и его хозяин.

– Да, как же так, Захарыч, давай садись, рассказывай. Будешь по маленькой?

Захарыч реально чуть не плачет.

– Так ведь на нашей ферме (мать её), наш ханурик-электрик (мать его) провода оголённые (мать их) оставил. Столб бетонный (мать его), роса по утрам. Полкаша-то не знал, подошёл к столбу пописать. А там – промышленное напряжение (мать его) и – рвануло...

У Захарыча слёзы.

– И сильно?

– Вдребезги! Яйца на проводах висят, хрен метров на пять отлетел. Нет Полкаши...

Санчо наливает Захарычу первому, он сентиментальный, доверчивый, но даже я купился. С одной стороны, жалко старика, с другой – смехом давимся.

– Да, жисть, помянем друга человека, – говорит просветлённый Захарыч.

Наливаем по второй, забегают Полкан, нарезает вокруг нас круги и пристраивается к стволу вишни...

– Захарыч! Смотри!

– Полкаша, друг! Не зря ж люди говорят, что как на собаке заживает!

Налили Захарычу и по третьей – за талант.

Я и сейчас улыбаюсь, через годы. А был бы ты, Саш, чёрствый, не отзвучивый, скупой – и не улыбался бы.

* * *

Есть боль невозвратности жизни. Подстерегает она нас всегда, но, слава Богу, не каждый день.

Мы все всё понимаем: да, живём, да, умрём – все там будем. Но на каком-то повороте своей или чужой судьбы берёт она нас за горло, прижимает к стенке, и выть хочется. Только плачь, не плачь, всё равно ничего не вернуть.

Лёша Верный. Для меня это имя – безнадёга потери и бесполезного раскаяния. Трепетала рядом ранимая, бесконечно чистая и влюблённая в этот мир, в нашу землю, в нас с вами душа. Недоедала, недосыпала, замерзала, сводила себя с ума от красоты и вопиющей несправедливости этого чудесного мира. И нет её.

А ведь я мог, мог что-то ещё сделать. Не семья, не друзья, его деревенские или коломенские, мягко говоря, не шиковавшие по нынешней жизни. А именно я, тогда вице-президент одной из крупнейших российских компаний, – мог. Делал, да не доделал.

Сейчас посмотришь в интернете, как у Лёши все сладко и складно. Нет, никого не виню. Но себе – не прощаю.

Меня познакомил с ним Санчо, знавший всех и вся. Слышать-то я о Лёше слышал, наезжал изредка в Константиново на родину Есенина, купил там

диск. В машине поставил, начало не понравилось. Голос хороший, но малость слащавый, исполнение псевдонародное, лубочное, да и псевдоним с претензией, как газета “Правда”, не по жизни. Переключил на радио и – забыл.

Осенью 2011 года стал готовиться к юбилею. Решил – только в Коломне. А поскольку гости почти все предполагались из Москвы, надо их было чем-то удивлять. Коломенским. Брат Каштан и Санчо помогли. Тут и всплыл через Санчо Лёша Верный, он его и предложил.

– Мужик, – рекомендует Санчо, – что надо, Голосище – во! И душа, брат, душа у него... Наш человек. Он ко мне недавно на мой день рождения из психушки сбежал. Звонит, говорит, ничего, что я к тебе в халате и тапочках приеду, одежду изверги спрятали.

– Саш, – говорю, – а почему он в психушке? У него что, проблемы?

– Да нормальный он мужик! Он туда отдыхать иногда ложится. Подкормиться, посочинять. Пообщаться с нормальными-то людьми. А потом – опять к нам...

– А это что, больница? Почему ты её психушкой называешь?

– Психушка и есть. Шестая больница, психдиспансер. Весь город знает. Много великих людей там лежало. Хочешь частушку про больницу?

– Давай.

— *В Колычёво есть больница —
Не пойду туда лечиться:
Там лежит один калека —
Убил ...ем человека!*

– А? Как?

– Годится. Ты мне встречу организуешь в следующий выходной?

– Всенепременно. Если что, и из психушки сбежим. Я его там подмену.

Встречаемся через неделю в ресторанчике в Коломенском кремле. Лёша опрятно, по-скромному одет, лицо, как бы сказали, очень русское, у ирландцев, кстати, такие типажи часто встречаются. Блондинистый, глаза умные, доверчивые. Выпить отказался, мы с Санчо тоже не стали.

С собой у Лёши гитара и гармошка.

– На чём будем пробовать?

– Конечно, гармошка. Я гармошку со времён деда Кузьмы не слышал.

Заиграл Лёша и запел. И забрался он тогда мне в душу и поселился там навсегда.

Однозначно, непременно приглашаю его спеть в декабре. Соглашается, но... “Если не подохну к тому времени”.

– Что так? Молодой, здоровый.

– А у меня, – говорит, – колонка газовая в доме накрылась, и дров нет. И не предвидится.

– Так, – говорю, – новую купи.

– Было б на что – купил бы.

– Ну, ты же с кем-то живёшь?..

– Один живу, нет у меня никого. Жена бросила – и правильно сделала.

Зачем я ей такой нужен?

Спрашиваю:

– Сколько стоит колонка?

Называет примерно. Достаю деньги. Не берёт.

– С какой стати?

– Так это аванс. За выступление.

– Нет, – говорит, – мои выступления столько не стоят.

Ну, я переговорщик хороший, доказывал это на разных континентах.

– Нет, – говорю, – любезнейший, не вмешивайся в мою компетенцию.

Я – заказчик, ты – исполнитель. Я определяю цену, я и рынок. Я московскую рыночную цену твоего голоса знаю. Послушал и – знаю. И вы меня вашими коломенскими фенечками не давите, я из Москвы приехал. Я, между прочим, у вас гость, у меня юбилей на носу, а ты мне его сорвать собираешься... .

Берёт Лёша растерянно деньги, задавил я его. Не считая, а там больше было. Но поезд уже ушёл.

Он, конечно, на моем юбилее был лучший. Некоторые мои московские друзья с того вечера, узнав через три года о его смерти, поехали на его похороны в Черкизово – не ближний свет.

Общались мы с ним урывками ровно три года. И я бывал у него, и в Андреевское мы были (он у меня там даже и пожил немного, понравилось ему Андреевское), и у Санчо, и в Константинове, и ко мне в Москву он приезжал. Помогал я ему, как мог, хотя мог бы и больше. С его характером и принципами это было непросто, приходилось придумывать какие-то схемы, уловки, чтобы его не обидеть. К сожалению, не знал о его проблемах со здоровьем, он не говорил.

При мне он вновь сошёлся с Ларисой и был счастлив. Дочурку свою, Танюшку, боготворил.

Оказалось, что Лёша, действительно, по жизни – Верный. Он был крепкий, симпатичный мужик, а когда начинал петь, в него невозможно было не влюбиться. Я и Санчо его подкалывали, бывало, по поводу женского пола, видели женские взгляды, обращённые к нему, комментировали, а он обижался. Хотя он мне и говорил об этом, а я, честно сказать, не верил, что он любит только свою жену, однолюб. Не сразу, но я понял и поверил уже сам. Действительно – Верный.

Подвозил я его несколько раз в Коломне на какие-то музыкальные халтуры, ему – работа, а мне интересно. Как-то спел он на загородной свадьбе несколько песен, возвращается ко мне в машину довольный – хорошо пелось. Спрашиваю его из любопытства:

– И почём нынче искусство?

Хлопает себя по карманам – нет ничего. Смеётся:

– Сегодня нипочем.

Я удивляюсь:

– А как же ты договаривался?

– Не договариваюсь я никогда. И не прошу. Что мне в карман сунут – потом нахожу. Мне в радость людей веселить. Может, это я им за это приплачивать должен. Были бы у меня деньги – я бы так и делал.

В другой раз возвращается к машине, а был я на 570-м “Лексусе”, весёлый, смеётся:

– Знаешь, что мне сказали?

– Ну?

– Ты, говорят, на такой машине с водителем приехал, ты бы сам нам помог деньгами-то...

Не опишешь всего, да и нет уже ни времени, ни места.

Как-то зашёл разговор о моих стихах и песнях, Санчо три копейки вставил. Дал я Лёхе посмотреть, что было. Хорошо отозвался, а лукавить, тем более льстить, он от природы не мог. Взял он кусок из “Андреевского” 1986 года и написал на него песню. Здорово получилось, гораздо лучше, чем у меня. Он говорил мне потом, что исполнял эту вещь неоднократно, и она людям нравилась. Поэтому я её, эту песню, отдельно в сборнике и выделил. Ещё он классно исполнял “Первоснежье”.

После этого успеха задумал он сделать диск с моими песнями в его исполнении. Закупили для этого необходимое оборудование, но не успели. После Лёшиной смерти, когда печаль поутихла, вспомнилась эта идея (его идея). Подумал я обратиться к кому-то из друзей-музыкантов, скорее всего, к Диме Маликову – соорудить такой диск. А потом пришла в голову умная мысль: зачем мне, седому, это надо? Что прошло, то прошло.

Утешением для меня стали слова Ларисы на вечере памяти Алексея Верного, что он ценил нашу с ним дружбу. Как же расточительно мало ценим мы удивительных людей, живущих рядом, и только с их уходом понимаем это.

* * *

В арабских странах я не был только в Марокко и Тунисе. В Европе не был только в Норвегии и Дании, в Азии и Африке побывал в большинстве заметных стран, с Америкой похуже, был только в Штатах и в Венесуэле, а до Австралии так и не добрался.

Спросят меня: кого бы ты выделил, кто тебе больше понравился? Отвечу: не знаю. Никого бы не стал выделять. Похожего у нас больше, гораздо больше. Потом, ещё подумав, сказал бы, что по коренным, стержневым чертам – все мы одинаковые, все мы люди. А потом, ещё подумав, назвал бы всё-та-

ки арабов горного Йемена и чукчей. И пусть выдающиеся титульные нации не обижаются.

К горным йеменцам я первый раз попал по случаю. Несчастному. Водитель нашего тягача на дороге через горную деревушку задавил арабского мужика. Ничего он не мог сделать, выскочил тот сбоку прямо перед ним. То ли ката нажевался (есть у них такой слабый наркотик, типа бетеля), то ли замечтался, то ли судьба такая.

Вызывает меня начальник, так, мол, и так, на тебе две тысячи бакинских, говорят, достаточно. Езжай в семью к усопшему, извинись, ну, это, ты сможешь, язык у тебя подвешенный. И – поторгуйся. Сможешь дать меньше – молодец.

– Есть, – говорю, – поторгуюсь.

Всем известно, что арабы – торгаши.

Я в быту-то торговаться не люблю и не умею, натура такая, а когда за интересы Отчества – торговался за милую душу, за горло брал.

Звоню своему арабскому другу Али, прокурору района:

“Салам на вас, поможешь, не был там ни разу”.

Али с кем-то согласовывает, перезванивает, едем. Часа через три от Адена начинаются фантастические, то ли марсианские, то ли лунные пейзажи. Красивая страна Йемен и несчастная. Как вьетнамцы тысячу лет воюют, так и эти примерно так же. Во Вьетнам сейчас, слава Богу, турист потянулся, природа там уникальная. Очень надеюсь, что когда-нибудь туристы поедут и в Йемен.

Приехали, чудные глинобитные дома в несколько этажей. Слышал, что у них эти мазанки даже в 10 этажей бывают. Живут там несколько семей, всем родом.

Я заранее разложил деньги в два конверта. Начну с тысячи, может и уболтаю. Нет, буду из другого конверта докладывать.

Заходим во двор, Али просит подождать, надо старейшине доложить, что незваный гость. Ушёл Али, и тут же во дворе началось движение: тётки в чёрном забегали, малышня высыпала, окружили, но не подходят. Я с детьми всегда легко контакт находил, не зря Господь мне шестерых подарил. Тем более что заговорил с ними по-арабски. У них – восторг.

– Ты, дядя, кто? Ты откуда? Это твоя машина?

– Из Союза, – говорю, – советский.

Они ещё больше обрадовались, кричат тёткам:

– Рус! Рус!

Мы по всему миру насаждали, что мы советские, а нас чаще всего называли русскими: и братьев-хохлов, и грузин, и прибалтов, и евреев, и молдаван. Таджики у нас был, переводчик при советнике – и он в русских ходил. Ну, татары, они и так всегда русские.

Детишки вокруг меня – мелочь пузатая, пацанчики. Одеты бедно, но опрятно. А вот девчушки в сторонке стоят, не подходят – те разодеты. У них культ детей, особенно девочек. И побрякушки у них уже золотые, и платица, как на невесте, и бантики – куколки!

Вот, думаю, в этой куче и трое мелких, папу которых мы задавили. Поднял портфель повыше и потихоньку, чтобы не видели, переложил деньги в один конверт. Перебьёшься, начальник.

А в портфеле ещё и сволочная бумага лежит, что претензий у семьи нет.

Зовут в дом. Оказывается, пока я там детвору развлекал, они за пять минут столики с угощением для меня и для Али приготовили. Чайники, кофейники, сухофрукты, сладости всякие. У нескольких стариков напротив, что тоже уселись за столики, – только чай или кофе. Мужики помоложе стоят, за их спинами женщины поглядывают. А одна у стены сидит, понял – вдова. В чёрном вся, только глаза зарёванные видны, и три пацанёнка к ней жмутся.

Ну, думаю, правильно Бог надоумил в один конверт сложить. Для тогдашнего Йемена, жившего в условиях перманентной гражданской войны, это были большие деньги.

Дед по центру – главный. Чем-то на моего деда Кузьму похож: череп продолговатый, нос длинный, как с иконы. Вообще они внешне, горные арабы, от равнинных отличаются, чем-то на славян похожи, только брюнетистые.

Обменялись мы с дедом приветствиями, пожеланиями, мир вашему дому, и вашему не хворать, и начал я речь. Соболезнования, конечно, водитель

не виноват, полиция признала, свидетели видели, но мы его всё равно уволили, а в Союзе ещё и накажем... Дед перебивает:

— Не надо увольнять и наказывать водителя.

— Ладно, — говорю, — передадим руководству, — и дальше продолжаю про то, что мы, тем не менее, исходя из нашей дружбы, учитывая лишение семьи кормильца, детей надо поднимать... Но чувствую, что-то пошло не так, переглядываются, переговариваются они.

Добрался я со словесными выкрутасами до конверта, спрашиваю, могу ли я вручить его вдове или вам, уважаемый райс?

А дед отвечает:

— Нет, мы ваших денег не возьмём...

Стою по-дурацки с протянутой с конвертом рукой, гляжу на Али. Он пожимает плечами: я-то тут при чём?

Прихожу в себя, собрался и разворачиваю концепцию защиты на 180 градусов.

— Вы, — говорю, — о ней подумайте, о женщине, что вы за неё решаете...

— А ты полагаешь, ей этот конвертик заменит мужа? — отвечает дед.

— А дети, ребятам одеться, обуться, здесь надолго хватит...

— Ни детей, ни её никто никогда не бросит: она жена нашего сына и брата, и это мои внуки...

— Здесь две тысячи долларов, может быть, мало?..

— Нам неинтересно, русский, сколько у тебя денег, это не имеет значения. Мы не можем оценивать жизнь нашего сына и брата. Жизнь человека бесценна, Аллах её дал, Аллах её взял. И водитель ваш тут ни при чём. Не трогайте его, нет на нём вины...

Я не стал больше торговаться, сунул конверт в портфель, а там ещё этот грёбанный листок.

Али, умница Али, меня выручил: взял бумагу и, чтобы напоследок я не выглядел совсем идиотом, сам подошёл к старику и прошептал ему на ухо. Тот кивнул и поставил закорючку.

Обратно я попросил Али сесть за руль моей "Нивы" и смотрел в окно на космические пейзажи. Вот тебе и арабы-торгаши. Али словно влезает в мои мысли:

— Знаешь, — говорит, — что ещё интересно, у них практически нет преступности.

Как ты там теперь, мой друг Али, в своём растерзанном Йемене? Накопил ли ты тогда на калым папаше твоей невесты? Когда я улетал в Москву насовсем, он провожал меня и на мой вопрос грустно ответил: нет, ещё не собирал.

Тянет в места, где было тяжело. Очень хотелось бы побывать в Адене, на Хормаксаре, побродить по берегу Индийского океана, съездить в горы. Куда там! Там теперь устанавливается демократия в грязи, крови и пепле. Как и в Багдаде. Очень хотелось бы посетить Багдад, красавец-Багдад моей молодости, которого уже нет.

Да, о чукчах попозже расскажу, в другой раз. Хороший народ чукчи, они мне жизнь спасли. Один раз, но этого оказалось достаточно.

* * *

В Штаты я впервые попал в мае 1991 года, ещё до путча. Готовили мы в числе других актов закон о таможенном тарифе, и было решено показать его предварительно американцам. Вовсю шла война законов, и мы, союзные структуры, мерились с российскими, кто быстрее издаст что-то новое, рыночное. И бегали согласовывать и докладывать американцам: вот, мол, проверьте, правильным путём идём, как наш генсек вам и обещал. Дурдом, в общем, а страна разваливалась.

Перед командировкой в США вызывает меня начальник и говорит:

— Во Вьетнам слетаешь? Тут один наш крупный завод хочет с вьетнамцами СП сделать, просят специалиста в сопровождение, ты же у нас, в том числе, СП занимаешься.

Отчего же не слетать, слетаю. Во Вьетнаме я был в северном, а вот в южном — ни разу, да и 14 долларов суточных не помешают.

Встретились в Шереметьево с директором крупного завода, он и сам крупный, в дверь еле влезает. С ним два зама – по производству и по коммерции. Ничего, вроде, мужики.

Прилетаем в Хошимин, он же бывший Сайгон, перелёт тяжёлый, 17 часов с посадками. Разместили нас вьетнамцы – представители уже вьетнамского крупного завода. Все с севера, воевавшие. Один – без руки, другой – напалмом обожжённый, тяжело на него смотреть.

Вечером дали водителя, поехали посмотреть город. От Ханоя, конечно, отличается очень. Толпа велосипедистов, пробки из них, одинокие машины еле пробираются. Прижали нас у какого-то колониального отеля, от французов ещё остался. И к нам – несколько накрашенных девчонок. Одна из них лопочет по-английски. Давайте, мол, на часочек задержитесь. “Ночные бабочки”. Директор впереди сидит, замы со мной сзади, я у окна. Спутникам моим интересно, впервые видят, спрашивают, чего они хотят? Любви, говорю.

Сам в окно вьетнамке объясняю, как в кино:

– Мы – русо туристо, облик морале.

А она мне в ответ:

– Вы плохие.

– Чего так? – интересуюсь.

Она отвечает:

– При американцах было лучше. Нам семьи кормить надо, жить на что-то надо, а у вас – облик морале. Ехали бы отсюда в свою Москву.

Да, думаю, это не Ханой. Вьетнамец-водитель английского не знает, но напрягается, видно, что СБшник. Что-то девицам крикнул – их как ветром сдуло. На следующий день, после переговоров, довольно бестолковых, – капиталистического опыта ещё ни у нас, ни у них не было, – повезли нас за город, отдохнуть.

Посреди рисовых полей – какой-то хутор с претензией, типа загородного дома приёмов МИДа, только всё из бамбука и листьев. Наверняка раньше его американцы использовали.

Дал я своим спутникам установку, что если они будут есть предложенные нам на ужин яства, то пить надо только водку, виски или джин. Вино от последующих проблем не спасёт. Уговаривать их не пришлось, хотя зря, наверное, сказал.

Прислуживали нам за столом четыре девочки лет по 15-16 на вид, правда, они все маленькие, можно и ошибиться. Особенно одна была прелесть, как фарфоровая статуэтка. Мы спросили, как зовут, оказалось, в переводе с вьетнамского – Весна. Точно, Весна, так мы её и звали.

Часа через два понеслись над рисовыми полями “Подмосковные вечера”, “Катюша”, короче, по-нашему. Вьетнамцы, кстати, хорошо подпевали, вообще они наши песни любят.

Поели, попили, попели, пора спать расходиться. И тут вьетнамские товарищи говорят нам, показывая на девчонок:

– Они – ваши.

Директор заколыхался, замы цветут, делить начали. А на девчонках лица нет, всё понимают. У Весны слезинки в глазах, директор её уже себе определил. Я говорю вьетнамцам – нет. Забирайте ваших девчонок и идите спать. И директору говорю:

– Нет, не пойдёт так.

У него челюсть со слюнями отвисла:

– Ты чо? Ты кто? Ты – никто, шавка, нам в помощь приставленная! Ты чо, не слышал, что парткомы твои сдохли уже?..

Врезал я кулаком по столу так, что бутылки попадали, потом на следующий день кисть болела.

– Уложу всех троих под стол, устраивает?

Дошло до инженерно-технических работников, с кем выпало иметь дело, притихли. Вьетнамцы забрали девчонок и на выход из бунгало. Правильно, пусть русские сами разбираются, в таких случаях к ним лучше не лезть.

Разбрелись мы по лежанкам, а наутро пришёл автобусик – обратно в Сайгон. Директор с замами с похмелья, но улыбаются, ничего, мол, не было. Вьетнамские мужики прощаются, жмут руку, глаза отводят.

Подхожу я к автобусику последним, как водится, тыл прикрываю.

Вдруг из-под бамбукового навеса ко мне стайка бросилась, все четыре.

Повисли на мне, как лайки на медведе, лопочут что-то радостно. Чуть слезу не пустил.

* * *

Вылетал я в Вашингтон первым классом, уже полагалось. Первый класс в Ил-62 маленький, на несколько человек, со мной – ещё двое. Сажу у окна, слышу какое-то возбуждение у персонала. Заходит стюардесса:

– Товарищи, здесь должны разместиться депутаты Верховного совета РСФСР, нам поступила команда, перейдите в хвост самолёта.

Два мужика-соседа побухтели, но встали, пошли.

– Я, – говорю, – сажу на месте по билету, здесь и останусь.

Убежала. Слышу за занавеской голоса:

– Где он?

Заходят депутаты, пара лиц, знакомых по ящику. Сразу на “ты”:

– Ты кто? Ты чо? С кем ты связался? Как зовут, отвечай!

Где-то, думаю, я это уже недавно слышал.

– Зовут меня, – отвечаю, – пошёл ты на ... и никуда я отсюда не уйду.

Один опять завопил, а другой поступил подлее, не зря же он – политик.

Говорит стюардессе:

– Если вы сейчас не освободите это место, вы уволены.

Девчонка заплакала и – ко мне:

– Умоляю вас... Они меня действительно уволят, я на колени встану...

Её-то, думаю, точно уволят, боялись их тогда уже многие, наглых, отвя-
занных, лживых, входивших во вкус власти.

Встал я, пошёл в хвост. Молодая российская демократия пробивала себе
дорогу. До кончины великой страны оставалось три месяца.

Я думаю, что развитый природный интеллект, не обременённый мораль-
но-нравственными устоями и чувством социальной ответственности, – это не
только наша, это общемировая проблема.

Человечество в своё время поставило в рамки природную физическую
силу, поставит в рамки природный интеллект будет намного сложнее.
Но придётся.

Приняли меня в Вашингтоне хорошо. Особенно один мужик из Госдепа,
куратор мой на время командировки, как оказалось потом, ветеран войны во
Вьетнаме. Ветераны, они везде примерно одинаковы. Человечнее.

Узнав, что я первый раз, что хотел бы что-нибудь посмотреть, кроме Гос-
депа, что в Нью-Йорке у меня друг, Володя Седов, которого хотел бы навес-
тить, пошёл навстречу. Договорились, что по итогам обсуждения проекта он
что надо напишет, а я на несколько дней свободен.

В посольстве нашем тем более отнеслись хорошо. Нервничали они в по-
сольстве, всё теребили, что там, в Союзе, происходит. Дали машину до Нью-
Йорка, посетил я Володю, работавшего в Амторге. Посетил с ним Брайтон,
Манхэттен, впечатлений, конечно, масса. Удивило, что ковбоев из фильмов
что-то не видно, народ средненький, без затей. И женщин красивых что-то
мало. Володя говорит, они – в дорогих машинах.

Гулял по городу, пока он был на работе, один, иду по мосту через Гуд-
зон, ну, если точнее, он же Хадсон. Вижу – впереди блондинка, фигура –
Голливуд. Вот она, думаю, Америка. Догоняю просто так, без цели, шёл бы-
стрее, а у неё – телефон. Вынимает она его из обтянутых джинсов, и с ис-
пользованием специфичных слов, которые она выучила ещё в школе, где-ни-
будь в Вышнем Волочке, отвечает кому-то, что тот её достал и пусть ей он
больше не звонит.

Возвращаюсь в Вашингтон автобусом – так дешевле. Хоть суточные
в США тогда были не то, что во Вьетнаме, 25 долларов, конечно, сэкономили
на всём.

В автобусе – одни негры. Из белых только один я и молодая еврейская
семья: он, она и девчущка. Разговорились, тоже недавно приехали. Но, в от-
личие от меня, навсегда.

Пожелал я им на автовокзале в Вашингтоне удачи, трогательно попроща-
лись, я для них был словно последний островок Родины. Достал я карту Ва-
шингтона и, тоже в целях экономии, пошёл пешком в сторону посольства.

Вечереет, кругом у малоэтажных домов одни негры и ведут себя как-то странно: галдят, пальцами на меня показывают, пристраиваются сзади или сбоку, лопочут. Я в английском не так, как в немецком или, по молодости, в арабском, да и английский у них такой, что, думаю, не всякий англичанин поймет. Но, в целом, понимаю, что говорят они в мой адрес только нехорошее.

Добрался я до посольства, и знакомый сотрудник, узнав, что я от автовокзала шёл пешком, испугался и пальцем у виска крутит.

— Ты что, — говорит, — надо было такси брать, там бы они тебя и закопали, а мы бы потом расхлёбывали.

Узнал я тогда, что 80 процентов вашингтонцев — негры, и что белые, особенно вечером, в их районе не появляются. *Высокие отношения.*

Только почему-то я уверен, что узнали бы негры, что я русский — ничего бы не сделали. К нам в мире по-разному относятся, в основном — хорошо, но никогда — равнодушно. Пришёл утром в Госдеп к своему Джону, закруглили мы с ним по-быстрому отчёт, вижу у него в кабинете вымпелочек морпеховский. Оказалось — служил во Вьетнаме.

Пригласил меня вечером к себе, а я ему говорю, что у меня для него будет маленький сюрприз. Я из Вьетнама прилетел и — почти сразу — в Штаты: вынул из портфеля одни бумаги, положил другие. И уже в самолёте увидел, что в портфеле у меня остались две бело-голубые пачки сигарет “Сайгон” с джонской на этикетке. Вот их-то я и подумал принести ему в качестве сюрприза.

Сели у него вечером, они с женой живут вдвоём, дети уже взрослые. Угощают, конечно, не по-нашему: коктейли, чипсики, кренделёчки с солью. Потянули через соломинку, и я ему говорю: “Был несколько дней назад в Сайгоне, общался с такими же, как ты, ветеранами, только вьетнамскими. А вот тебе и сувенир”. Достая ему пачки, протягиваю. Я предполагал, что будет какая-то реакция, может, посмеётся, может, выбросит, сигареты-то паршивенькие. А у него по лицу, казалось, тень пробежала, как будто по земле скользнула тень самолёта, с которого они вьетнамцев бомбили. Как будто другой человек сидит.

— Это мне? Обе? Спасибо... Спасибо... Я одну другу дам. Мы их курили. Там. Понимаешь?

Теперь уже понимаю. Срывает ленточку, пальцы дрожат.

— Будешь?

— Нет, — говорю, — бросил.

Закуривает, и вижу у серьёзного, не слабого мужика в глазах слёзы.

— Давай, — говорю, — по-нормальному выпьем, без колы и соломинок.

— Конечно! Давай.

Это “давай” он сказал по-русски. Выпили по-нормальному.

— Как ты думаешь, они нас простят?

Задумался я, вопрос серьёзный. Вспомнил покалеченных вьетконговцев, девушек на рисовых полях.

— Знаешь, думаю, да. Должны. Нам на всей земле надо научиться друг друга прощать, иначе мы никогда не разорвём это проклятое кровавое кольцо. Когда я уходил, мы с ним обнялись. И не потому, что выпили, и не потому, что на дворе была эта долбаная перестройка.

Улетая домой и разглядывая из иллюминатора завитушки коттеджных посёлков под Вашингтоном, я размышлял примерно так же, как когда-то, глядя на финиковую пальму на берегу Шатт-Эль-Араб.

Не впечатлила меня первая поездка в страну Каина. Много улыбчивых, но мало счастливых. Сложная эта, вечно ускользающая категория — человеческое счастье. Подчёркиваю, имею в виду человеческое счастье.

Да, человек не должен быть униженно беден, это тоже влияет на счастье. Но, уж точно, не зависит оно от количества жратвы, бабла и секса (извините за сленг, но он лучше подходит по смыслу).

Вспомнилось, как, вернувшись осенью из Йемена, ехал я на электричке от матери в Москву. Примерно тогда написал я стихотворение “Похолодало на земле”. Семьи нет, никого нет, в душе — привёз пустыню. Зато разодет был из “Берёзки”, в карманах доллары и чеки “Внешпосылторга”.

На станции Быково подседа напротив парочка: муж и жена где-то моего возраста. Старенькие, штопаные студенческие курточки, нитяные перчатки, джинсы от “Большевички” за семь рублей и садовый инструмент, тряпочкой обмотанный. С дачи, значит. Это были не просто счастливые люди, они светились

счастьем. Любовью и счастьем. Позавидовал я им тогда, горько позавидовал. Хотя чувство это мне практически не присуще. Так, и что? Пыжащееся убожество Брайтона, это – счастье? Мне двенадцать лет спустя наш генконсул в Нью-Йорке говорил: едут с Брайтона-то в матушку-Россию, едут и не единицы, а в массовом порядке, особенно молодёжь. Только об этом уже не пишут – молчок! Да, глядя на Нью-Йорк, я восхищался инженерным гением человека, не был равнодушен к витринам, машинам, величественным зданиям. Посмотрел – интересно, не более. Улетаю.

Не обольщайтесь по жизни витринами, так же, как и открытками. Есть в Нью-Йорке магазин со всякой живностью, и на улицу выходит шикарная витрина. В лучах света там ползают, кувыркаются среди игрушек щенки-очаровашки, выставленные на продажу. Так вот, если они не выкупаются в течение трёх месяцев, то их усыпляют.

* * *

Я без пиетета отношусь к Ельцину. Работал в его Администрации в самые “весёлые” 1991-1992 годы. Помню, как потеряли “Особую папку”, которую хранили раньше, как зеницу ока. Помню, как персонажи из тогдашнего политического руководства, когда получали от нас серьёзную информацию, требовали сдать агентов и источники. Видел, слышал, знал и знаю многое. Но он – уже история. Какая есть. Историю вообще люблю, но в частности – давно не доверяю. Уже на моей памяти нагородили столько лжи о событиях и жизни, в которых я жил. И продолжают городить.

Я, тем не менее, благодарен Ельцину за два его судьбоносных решения, одно из которых – присяга. Его в начале 1990-х толкали под локоток и отдельные персонажи из генералитета, из демократического окружения, для которых слова и обещания были пустой звук, и американские советники... Ну, там понятно: чем хуже, тем лучше.

Мне дед Кузьма, когда я уходил в армию, говорил: “Служи, Мишка, не власти, а Отечеству”. Далеко глядел дед Кузьма. Я присяги никогда не поменял бы, но знаю, что для многих мужиков за пределами России это стало трагедией. Люди, конечно, разные. Для кого-то полюбить – это как выпить стакан воды, а кто-то за любовь, за други своя жизнь отдаст. Понимаю, что выглядит пафосно, но я отношусь ко вторым.

Скажу больше, в октябре 1991-го предоставили мне возможность почитать своё досье. Много узнал любопытного, в том числе и о человеческой подлости. Ну, речь не о ней, её хватает. В характеристике, данной мне одним из моих самых уважаемых учителей, он написал: “исключительно надёжен”. Эти слова старого полковника мне не менее дороги, чем госнаграды. Очень это непросто – им следовать в реальной жизни, но я старался.

Находятся по жизни и такие в погонах, кто присягу делит на две части: до 1991-го и после. До 1991-го, мол, никаких обязательств уже давно нет, мेलю, что хочу. Рассказывают налево-направо не только те секреты, которые, действительно, знали, но и, не будучи в то время даже не то, что винтиками, а шайбочками в системе безопасности великой страны, с экспертным видом, в том числе из ящика, обсуждают и сообщают её “тайны”, ничего или почти ничего общего не имеющие с действительностью. И здесь я придерживаюсь формулы деда Кузьмы.

Стихотворение “Купола” я написал после событий в Тбилиси 1989 года, суть которых мы уже тогда, несмотря на ложь многих СМИ, хорошо знали и понимали. В это не хотелось верить, но мы уже тогда понимали, что политическое руководство Союза сдаёт и подставляет армию и начинает сдавать страну, от которой оторвали фактически первую её часть.

При этом все, особенно Запад, а чуть позже – и в случае с Югославией наплевали на Хельсинский Акт 1975 года о нерушимости границ и т. д., и т. п. Ящик Пандоры опять открылся. Уверен, надолго.

Запад соблазнился, забыв о том, что часть территории США – это Мексика; Польши, Франции и Чехии – Германия; Италии – Австрия, Британии – Испания и т. д., и т. п., у всех есть скелеты в шкафах. Да и с Аляской некрасиво вышло, некорректно. Бесперспективная страсть к мировому господству, жажда наживы и власти – давние грехи человечества – победили в очередной раз.

В дни путча я мотался по Москве на своей “копейке”. Не только по работе, я понимал, что на моих глазах вершится история. Многократно бывал в “осаждённом” Белом доме, жалкую охрану проходил без проблем. Передавал несколько раз хорошему приятелю по его просьбе блоки сигарет. Потом, когда он резко стал большим начальником уже на Старой площади, а я работал в Администрации Президента, он предложил мне включить меня в список награждаемых медалью за оборону Белого дома. В то время за включением в этот список очередь стояла. Я поблагодарил Андрюшу и отказался. Позже носители этой медали, не все, конечно, прятали её подальше от греха. Я не был и не мог быть защитником Белого дома, но и захватчиком его я бы не был. Такова была позиция большинства людей в погонах.

На утро “победы” демократии, когда путч провалился, я ездил по великому городу и всматривался в лица людей. Удостоверяю, что у москвичей и гостей столицы не то, что не было радости, люди выходили из метро, шли по улицам с мрачными или просто будничными лицами. Как мы потом делились впечатлениями, так было в основном везде по России. Только у Белого дома были радость и веселье. К вопросу о народе, о народной воле, о демократии и т. д.

Вечером 22 августа пробрался сквозь толпу посмотреть, как будут сносить памятник Дзержинскому. Слышу у памятника спор, не вписывающийся в задорные речи и крики. Проталкиваюсь: две молодые женщины, девчонки, пытаются доказать толпе, что это варварство, при чём тут памятник, что толпа делает то же, что и в те годы, которые она теперь осуждает. Кто-то с ними дискутирует корректно, а кто-то уже пытается угрожать, тянут руки. Пьяных в толпе хватает. Протискиваюсь к ним: “Таня, Маша, пойдём!” Они не сразу, но понимают. Вслед — хамские крики, улюлюканье, нехорошие пожелания в мой адрес.

Заворачиваем за угол Детского мира, усаживаю их в “копейку”, трогаемся. За шторами Лубянки — редкий свет, кто-то осторожно выглядывает. Одна из девчонок машет в их сторону кулаком: “Сидят...” Другая утешает: “Ну, а что они сделают?..” И ко мне: “А откуда вы меня знаете?”

Чувствую запах алкоголя.

— Я вас первый раз вижу, как и вы меня. Надо было как-то вас назвать. Так кто вы, Таня или Маша?

— Маша...

— В России это имя угадать нетрудно. Куда отвезти?

— В Медведково.

По дороге узнаю, что это две секретчицы с Лубянки, выпили вечером для храбрости, пристыдили мужиков и пошли одни железного Феликса спасать.

Да, действительно, в тот момент в зданиях на Лубянке было много вооружённых или готовых в любой момент получить оружие профессионалов. И они ничего не сделали. Кто-то, как эти девчонки, их обвинит.

Считаю, уверен, что они, а также подавляющая часть армии поступали тогда абсолютно правильно. Кукловоды в стране и за рубежом тогда просто жаждали крови. И если бы она тогда по-серьёзному пролилась в Москве, она бы пролилась и дальше по стране. И даже России у нас вскоре могло бы уже не быть. А девчонки — всё равно молодцы! Где вы там сейчас, в вашем Медведково?

Вспоминаю я покойного Славку Пескаря и с сожалением думаю, что могло у него быть по-другому. Но, может быть, своей нескладной жизнью и смертью он показал другим, в том числе мне, как не надо? Может быть, в этом, к сожалению, и было его предназначение на этой земле?..

У меня в десантуре есть друг со схожей с ним на начальном этапе судьбой. Они даже внешне схожи, только Славка — брюнет, а Васька — блондин, а уж характеры — судьба постаралась. Ну, это для меня он Васька, а для большинства — Василий Михайлович, фамильярность с ним, особенно для незнакомца, может быть вредной для здоровья. Чтобы не путать его с моим старшим братом Василием, буду называть его по тексту уменьшительно: Васька,

Вася, Васятка, мне он разрешает. Родился Васятка в семье, где уже было восемь человек детворы, а мать умерла, когда исполнилось ему 3 года. Было это в посёлке торфозаготовителей и лесорубов Бакшеево, в медвежьем углу нашего замечательного Подмосковья. Примерно вскоре после того, как начал Васятка ходить, начал он и драться, поскольку был самый маленький, и надо было себя защищать. Отсюда, может, и появилась, и развилась у него пацанская страсть к справедливости, за которую лет до 10–12 бит бывал ватагами сверстников жестоко, а попозже оказалось, что бить-то его уже больше никому: даже группами сложно, а один в один – бесполезно. Наградили Господь, родители да Мещерские леса Васятку удивительной физической силой и бесстрашием духа.

И взрослым спуску не давал, только по-своему. Обидели его как-то, ещё дошкольника, сидевшие за столом взрослые, не драться же с ними. Вышел Васятка, как был, в малой одежонке на мороз, хватились его, когда он уже замерзал. Больше с ним не шутили.

В пьющей среде не миновать ему было этой участи, но Господь решил по-другому. Как-то забежал Васятка с улицы запыхавшийся и схватил со стола стакан. Думал, вода... С того момента и на всю жизнь не брал в рот спиртного. Уже в возрасте убедил я его не выпендриваться и не давать поводов для гипотез – протокольно пригубить бокал, когда это было надо.

Окончил Вася школу, пошёл в лесорубы, а уже перед армией решил посмотреть, как там Москва, устроился учеником слесаря на АЗЛК. Общежитие, лимита, первая получка. В комнате, кроме него, четверо здоровых мужиков.

– Давай, наливай... Как не пьёшь? Может, ты ещё и фраер? Давай проверим молодняка.

Проверили, двоих увезли на “скорой”, двое так отлежались. И – по-подлому – в милицию. Уголовное дело завели. Тут-то и подоспело родное ВДВ, возможный срок заменили призывом. Вот тут-то у Славки с Васей пути и разошлись. Стал Вася замкомвзвода, призером ВДВ по спецподготовке, получил две благодарности от самого Василия Филипповича, которыми гордится больше других наград, и в итоге стал полковником, но уже по другой линии.

Пересеклись мы с ним в Московском университете: я его окончил, а он – поступил – тоже по велению Родины. В бытность мою студентом я часто посещал общежитие МГУ. Настоящая студенческая жизнь протекает именно там. Хотя, как и всё в этой жизни, обстановка там была далека от идеала. “Шалили” ребята с юга. Интернационализм в их понимании означал полную безнаказанность, а если их цепляли, то был, например, такой случай. После ссоры со студентом с Кавказа прилетела оттуда бригада, избили всех, кто был в трёхкомнатном блоке, большинство вообще непричастных, и – улетела. Возбудили через пень-колоду уголовное дело, а через некоторое время прилетели уже аксакалы. То ли за деньги, то ли руководствуясь социинтернационализмом, дело замяли. Я приезжал к ребятам: как же так? Если девчонку затаскивают силой в комнату – ну, должен же быть у неё парень, друзья, земляки? Если вашего избил, как вы говорите, ни за что, давайте отпор, не можете – обращайтесь в милицию. Слушали, глаза отводили, сам, мол, давай, умный. Пять лет спустя я посетил в общежитии МГУ своего брата Колю. Стою внизу в холле “Крестов”. У турникета – группы весёлых южных ребят шуточки отпускают, комментируют. В холл заходят мой Коля и с ним белобрысый, среднего роста, кряжистый парень с резкими чертами лица и взглядом снайпера. Я уже слышал о нём от брата, понимаю – это Васька. Третий – тоже крепкий, лобастый – Шура Шатунов, его я уже знал. Южане почти хором: “Василий Михайлович, здравствуйте! Коля, Шура, привет!” И мне в лучах славы приветствие досталось, хотя до этого глядели на меня, как на урну в углу.

Нет, Васька не бил всех подряд. Не ходил с бригадой по комнатам бить несогласных, не оскорблял незнакомых, не грозил и ничего не обещал. Резаный, битый, никогда не сломленный бакшеевский пацан привнёс с собой жёсткую, но предельно честную пацанскую справедливость. Не унижай никого, не оскорбляй, не бей слабого, лежачего, дерись один в один, отвечай за свои слова, виноват – признавай. Поддай руку тому, кого ты свалил, поблагодари того, кто оказался сильнее тебя и т. д. Кто знает – тот знает. Всё это я понял и наблюдал уже позже, и не только и не столько из рассказов самой троицы.

Где-то год спустя мне одну из историй с Васькой рассказал студент-чеченец, знавший, что авторитетный для него Магомед Каратаев – мой однокурсник

и друг. Кто-то из молодых, как он сказал, ишак, не зная Василия Михайловича, цапанул его нехорошим словом, за которое на зоне могут жизни лишиться. Увидел реакцию, понял, что-то не то, и рванул к нам в блок. Нас там человек 15 сидело, залетаёт он и – за наши спины. Из наших одни, кто за стулья, кто руки в карманы – на пороге Василий Михайлович. Или, говорит, вы мне отдайте эту мразь, или, если кто хочет за него впрягаться, готов с любым один на один. Если все решите впрягаться – готов со всеми. Только после этого вы уже не сможете называться теми, кем вы себя считаете.

Ваха у нас старший был, всех остановил:

– Говори, Василий Михайлович.

Объяснил Василий Михайлович. Ваха ему отвечает:

– Соглашусь с тобой и по нему вижу, что ты правду говоришь. Но у нас традиция такая: мы своих сами наказываем.

– Слово?

– Слово.

Так и расстались. Молодые к Вахе, что, мол, за деятель, мы бы его повалили и в окно выкинули. А Ваха ответил: “Это – воин”. Все и замолчали.

Пересказал по истечении времени примерно, но по сути точно. К чему эти бытовые истории?

Есть у нас такая народная интеллектуальная забава: искать национальную идею. И я в своё время увлёкся. Размышлял, читал и Ильина, и Бердяева, и Фёдорова, не говоря уж о великих писателях земли русской. Пришёл со временем к то ли гениальному, то ли к примитивному выводу, скорее всего, второе, что могу сформулировать эту идею двумя словами.

Стал тестировать на близких и не очень, тех, конечно, кто склонен размышлять. На разных: от московского академика до проводниковского (посёлок такой под Коломной) тракториста эти два слова. По-разному реагировали, но большинство в итоге сходилось во мнении: что-то в этом есть.

Великое – в малом. К этому я и о Васье рассказал. Представьте, что на вашей улице или в вашем селе, где вы всех знаете, вам надо выбрать лидера. Кто у вас самый богатый? Вон, Иван Иваныч, дом какой отгрохал, три машины, тётки его разодеты... Выберем? Да нет, вор он! А Пётр Петрович, чиновник в управе, всех нужных знает... – Нет, вор и взяточник. А Федя – амбал, любого скрутит... – Нет! Мозгов бы ему побольше! А вот – хороший человек Сан Саныч, умница, мухи не обидит... – Нет! То-то и есть, что мухи не обидит, “ботаник”. Любой его задавит, не говоря уже о Феде-амбале...

Примерно так мы приходим к выводу, что человек нам нужен с морально-нравственными устоями, но и с силой, что не даст ни себя, ни нас в обиду. Пусть у него и дом будет не самый богатый и денег у него ненамного больше, чем у нас.

Назову эти два слова.

Быть первыми.

Эти слова в крови у нашего самого непокорного в мире народа, в его истории, в его судьбе.

Кто-то скажет, а как же США? Нет. Сколько бы миллиардов они ни вкладывали в мифы о себе – никогда они не были и в том виде, в каком они сейчас существуют, не будут морально-нравственными лидерами для человечества. По части Бреттон-Вудского и других видов мошенничества – да, первые.

В начале 1990-х один из лидеров сепаратистов, не буду его называть, призвал его подобных “прогнать пьяную русскую собаку от порога нашего дома”. Неприятное, обидное высказывание, а так ли оно несправедливо для того времени?

Не обижаться надо, а не быть той самой собакой, но быть сильным, справедливым медведем, тогда и чеченцы, и другие будут с нами, уже с нами.

Видел в сети такой подленький вброс: Кадыров, мол, боится Путина. Ты, мол, Рамзан, не бойся. Да не боится Рамзан Путина, он его уважает, он уважает в нём воина. Вот это, кстати, второе решение Ельцина, за которое я ему благодарен: Путин.

Будьте первыми, и к вам потянутся. И братья-хохлы засунут бандеровскую мразь туда, откуда она вылезла. И прибалты не безнадёжны.

Я говорил со старым латышом. Он, вспоминая молодость, сказал: если бы честный референдум проводился у нас вскоре после полёта Гагарина, подавляющее большинство латышей проголосовало бы за Союз.

Возвращаясь к Ваське, вспомнил ещё одну деталь, и к ней ещё вернусь. Заложили доброжелатели Васю парткому, и разбирали его некорректное отношение к студентам других национальностей. По жизни такого никогда не было, что Васька — националист, но ярлычок такой вешается легко в целях, прямо противоположных настоящему интернационализму. Дали срок коммунисту Федоркину на исправление. А у них на курсе был негр по имени Абу, сын какого-то африканского вождя. Парень забитый, и только ленивый им не помыкал. И сказал Василий Михайлович:

— Кто Абу обидит — будет иметь дело со мной.

Тут и началась для Абу новая жизнь. Ну, и в парткоме нашлись доброжелатели Василия, доложили: исправился. Шефствует он над представителем дружественного африканского континента.

Вопрос сняли. Абу, где только мог, бегал всюду за Васькой. Они действительно подружились.

* * *

В красавице Вене, как я уже упоминал, не написал ни строчки. Но благодарен ей и замечательной стране Австрии за тех людей, которые стали моими и учителями, и друзьями. Прежде всего, это Александр Васильевич Благов, мой мудрый наставник, человек исключительной порядочности, настоящий патриот нашей Родины. Это дорогие мне Вадим Степанов, Андриуша Чёрный, Серёжа Костенко, Коля Окатьев, Олег Дозорцев, Витя Косолапов, Миша Провоторов, Серёжа Долгов, Слава Ханин, Лёша Лютый.

Нет уже в живых задумчиво мудрого Коли Куплинова и большого нашего оригинала Валеры Корнеева. Царство им Небесное.

В самом начале пребывания в Вене ездил я по-московски, скажем так, чтобы не обидеть москвичей, дерзко. Утром в воскресенье поехал в аэропорт “Швехат”, встречать кого-то. На улицах — ни души и машин почти нет. Еду по Принцойгенштрассе, вижу, впереди к “зебре” ковыляет дедок на полусогнутых в тирольской шляпе. Мог бы я и проехать, он ещё не дошёл до “зебры”, но что-то меня остановило. Проходи, думаю, моего деда Кузьму под Смоленском выцеливал. Дед вступил на переход, приподнял над собой шляпу и так с приподнятой в знак благодарности шляпой и проковылял весь переход. Больше я в Вене по-московски не ездил, да и в Москве тоже, хотя там, у нас, это было сложнее.

Люблю Вену, люблю Австрию, люблю Германию, куда я мотался чуть не каждую неделю. Кто же их не любит, скажете. Да, кое-кто в очереди стоит.

Я люблю по-своему. Я помню, что в замечательных городах Германии всего лишь 75 лет назад — миг для истории — торговали на рынках людьми. Мне врезался в память рассказ старого, совестливого немца. Нам, говорил, в зоне наступления на Курской дуге дали приказ убрать население, во избежание партизан и доносчиков. Вывозить было некогда и хлопотно, и мы, не СС, а вермахт, забили там, в деревнях, колдцы трупами женщин, стариков и детей.

Знаю, что Гиммлер хвалил австрийцев за то, что у них не было практически успешных побегов из лагерей. Они же — прекрасные охотники, выходили с собачками, дудочками, охотились... Впрочем, успешный побег был в начале февраля 1945 года из блока смерти концлагеря Маутхаузен. Из 500 человек, совершивших побег, почти все были найдены и уничтожены частями СС и “хорошими охотниками”. Не нашли 10 человек. Немцам не могло прийти в голову, что кто-то из наших военнопленных ночью, при минус восьми может переплыть километровый Дунай, по которому шла ледяная шуга. Двоих из них спрятала, рискуя жизнью, австрийка Мария Лангалер, сыновья которой воевали на Восточном фронте. Благодаря ей они выжили. Вот так.

Много за шесть лет было любопытного, познавательного, пробежусь по двум-трём эпизодам. А то демонический профиль стал уже напоминать мне мою совесть: так же скребёт по душе.

Где-то в 1994-м в Вену с лекцией приехал Горбачёв. По приглашению банка “Кредитанштальт”. Я уже многих знал, был знакомый мужик и в этом банке. Пока ждали Горби, этот мужик довольно смело посетовал, что не было им печали, но вот навязали, и деньги придётся платить приличные.

– Ну-ка, ну-ка, – говорю, – поподробнее.

Оказалось, что есть разнарядка по банкам выше, выше австрийского руководства, приглашать Горби. Он читает одну и ту же никому не нужную галиматью, за что ему очень прилично платят. Параллельно читавший по той же схеме такую же галиматью Шеварднадзе хвастался перед журналистами: “Мне вот за лекцию 100 тысяч долларов платят, попробуйте, вы такую прочитайте”. Понятно, Иуда, что тебе не за содержание твоей галиматии платили, а за развал Союза, за отданный тихоокеанский шельф и на расходы по дальнейшему упрочению демократии. “Молодцы” американцы, они и воюют чужими руками, и своих иуд на чужие деньги содержат.

Прочитал Горби лекцию, был он ещё интересен, и к нему пошли за автографами, руку пожать, в большинстве – австрийцы. Наши посольские в стороне, в основном, стоят. Подошёл и я. Сидит он в метре от меня спиной, за столом, подписывает приглашения, собой доволен чрезвычайно, шуточкой косноязычные рассказывает и комплименты дамам отпускает. Доволен, срубил очередную “тридцатку”. Пронеслись у меня тут в голове мысли о никому не нужных и не вспоминаемых среди этой лощёной публики миллионах обездоленных, сотнях тысяч убитых, замученных, растерзанных моих сограждан, лежащих в руинах перестройки, в дымящейся пожарами моей стране. Может, и не надо было бы об этом неприятном для меня эпизоде вспоминать, но подумал – надо. Жуткое, неприятное воспоминание, но Бог уберёт.

Пришёл мне в голову страшный вопрос Достоевского: “Тварь ли я дрожащая, или право имею?” До него, как я сказал, метр: захват левой за шею, правой в замок, подтянуть тушу на грудь и жим вперёд корпусом. Мне на это надо одну-две секунды, его рыжий охранник метрах в пяти сучает. Летят у Иуды шейные позвонки, и никакая “скорая”, никакой реаниматор не помогут.

Бог уберёт. Отступил лукавый. Как бы хозяева его радовались: не только Иуду, но и мученика на все времена получили, да ещё и денег сколько сэкономили. Нашлись бы в будущем продажные клерикалы, и в святые бы его записали.

Живи, Михаил Сергеевич. Дали тебе полпроцента, да пощечину в Омске, да плевок на плешь от старушки – достаточно. На все времена. Радуйся жизни в своей Германии, получай там все необходимые для долголетия клизмы. Там ты и сдохнешь в тепле и неге среди тех, кто тебя содержит и считает одновременно дураком. Очень нужным дураком. Ведь возможные – а надеются именно на это – последователи-иуды должны знать, что будет им и Нобелевская премия, и кресло с Фондом, и вилочки, и счета в Германии, и омолаживающие клизмы в старости.

Жаль, конечно, что привезут тебя хоронить в ту страну, в ту землю, которую ты предал. С другой стороны, будет место, куда можно будет плюнуть.

Кто-то, может быть, после этих моих слов поёжится, не знакомы мы с ним, так, случайно по жизни встретились. Что ж, тоже позиция. Моя же позиция, на первый взгляд, проста: я был, есть и останусь верен присяге, данной мною моей стране и моему народу. А он, напоминая, наш и мой бывший главнокомандующий, который за деньги, за подачки изменил данной им присяге и предал и свою армию, и свою страну, и свой народ.

Вот так, примерно. Что есть, какой есть.

* * *

Были у меня в Вене две жизненные развилки, пробегусь по ним.

В начале 1996-го в Вену приезжает Чубайс, тоже лекцию прочитать и тоже по приглашению какого-то банка. Рейтинг Ельцина в России – 3%, Чубайса, мягко говоря, даже среди наших за рубежом, не любят.

Прочитал он, кстати, в отличие от пустой трескотни Горбачёва, интересно. По окончании к нему никто не подошёл, он встал в сторонке, перебирает бумаги. Я знал его по работе в 1991-1992-м, было и любопытно, и где-то сочувствие к нему, он смотрелся, как обычная “хромая утка”. Я всегда понимал его как врага, но как врага умного, волевого, не трусливого и, что важно, честного, не скрывающего, что он – враг той стране, которая его взрастила, обучила, дала окрепнуть и жить. Такие, правда, говорят, что они сами себя сделали. Ну-ну. Чего стоит услуга, уже оказанная.

Подошёл. Он меня узнал и назвал по фамилии, что неудивительно, память у него отменная. Вспомнил, что работал я у Шахрая, Котенкова, Орехова, посетовал, что дела у Шахрая сейчас (тогда) неважные, вместе вспомнили, как у него в Госкомитете по имуществу поцапались по одному документу, — в общем, идиллия. Не думаю, что я ему был интересен только потому, что спас его от неприятного одиночества. Он мне был интересен, я ему, видимо, тоже. В конце беседы он предложил мне идти к нему работать. Затеваются серьёзные дела, ему нужен опытный юрист с языком. Дал телефон, я обещал позвонить. Не позвонил.

Через пять месяцев “железный Толик”, по существу, выиграл президентские выборы Ельцина и стал руководителем его Администрации, вторым по влиянию лицом в государстве.

В конце этого же года в Вену приехал Путин, замуправляющего делами Президента по вопросам заграничности. Мне Филиппин поручил с ним работать, что я и делал с перерывами в течение девяти дней. Возил я его по Вене на новенькой вишнёвой “Опель-астре”, потом мой сменщик ее разбил в ДТП, жаль, была бы в торгпредстве реликвия. Осталась у меня только его тогдашняя визитка. Маленькая, но тоже реликвия.

Как моё впечатление? Оно формировалось постепенно с течением времени, опыта и знаний. Там, в Вене, — нормальный мужик. Пьёт пиво, укатил в служебной командировке в горы на лыжах покататься, молчун, из тех, кто говорит последним. На жёстком совещании по вопросам судьбы госзагрансобственности выступил последним и поддержал мою позицию. Было приятно. Перед отъездом увиделись в посольстве, переговорили. Думаю, что сложилась определённая симпатия, и он ко мне приглядывался. Я из Питера — он из Питера, он — юрист, я — тоже, он немецкоговорящий, уважающий Германию, я — тоже. И, разговаривая в машине, хотя и не во всём, но сходились. Он, правда, очень закрыт, разговорить его трудно. В общем, он предложил мне в итоге, почти теми же словами, что и Чубайс: возвращайся, в Москве будут серьёзные дела. Я поблагодарил, ответил уклончиво. В конце концов, не только я, даже не столько я решал вопросы моего пребывания где бы то ни было.

Впоследствии мне многократно приходилось участвовать в переговорах, форумах, выставках, открытиях чего-либо с его участием, но личного контакта больше не было. У меня, тем не менее, сложилось мнение о нём на основе собственного опыта и знаний и на основе знаний близких ему людей, с которыми мне довелось общаться и работать. Я поделюсь. Попозже.

Жалел ли я об этих “развилках” судьбы? Конечно, нет.

* * *

Да, а в тюрьму Васька всё-таки попал. В австрийскую. К тому времени он уже был очень серьёзный адвокат, в том числе Лондонской коллегии, а по факту разводил в стране и за рубежом интересы братков, происходивших в прошлом из спецслужб. Вот такая была интересная у него специализация. По отрывочным сведениям о нём того периода, думаю, что адвокат из “Бандитского Петербурга” был по сравнению с ним дилетантом.

Видимо, его элементарно оговорили клиенты или конкуренты, так как в итоге у австрийцев на него ничего не нашлось. Но европейским спецслужбам вообще и австрийским в частности достаточно впарить набор слов: русские, мафия, КГБ — они собирают всё, что можно: вертолёты, бронетехнику, спецназ и бегут очертя голову спасать демократию.

Брал Ваську на площади перед городской ратушей австрийский спецназ, полиции это дело не доверили. Он потом сказал, что сделал бы их, но зачем портить настроение хорошим людям в хорошем месте.

Посадили его сначала в одиночку, а потом, когда поняли, что ничего от него не добьются, перевели в общую. В камере, куда он попал, было около 25 человек, в основном бывшие “юги” и турки, да пара негров. Когда он зашёл, к новенькому потянулись не с самыми дружескими намерениями. Он не стал ничего объяснять, а сделал на полу в центре камеры “крокодила”. Делал он это блестяще: рука в сторону, как в полёте, тело в струнку парит параллельно земле. Мог держаться так несколько минут. Повисел он так посреди

камеры, потом занял свободную койку и до конца своего срока был Василий Михайлович среди местных сидельцев и паханом, и авторитетом, и смотрящим, и бугром в одном лице. Уважали и там нашу десантуру. А куда деваться...

Вытащили мы его через два месяца. Дал я ему вырезки из австрийских газет, из которых следовало, что в Вене был арестован глава русской мафии, полковник КГБ, за спиной которого остались сожжённые афганские кишлаки.

Посмеялись. Вася, конечно, бывал в разных местах, но в Афгане – никогда. Взял я с него тогда слово бросать эту его гнилую работу, пока его не грохнули. Слово своё, как и во всех иных случаях, он сдержал. Через год. Будучи моим замом, восстанавливал вместе со мной и Андреем Хрипуновым порушенную правовую службу нашего министерства. Подступали двухтысячные.

* * *

С Путиным судьба пыталась свести нас ещё раз, когда он только-только стал премьером. Саша Остромецкий, мой старый друг, бывший тогда помощником премьера и выжатый на этой каторге, как лимон, предложил к Путину вместо себя – меня. Поддержали меня мои друзья, авторитетные юристы Роберт Цвилев – увы, ныне покойный, Руслан Орехов и другие.

После ряда беседований принял меня финальным просмотром тогда никому ещё не известный чиновник Сечин. Было это в маленькой каморке-кабинетике в Белом доме. Хорошо поговорили, выяснились пересечения биографий, в общем – подхожу. Через некоторое время – отбой, отвели меня.

Как я узнал позже, при опросе по старым местам работы приятель, работавший со мной в Администрации, куда я его когда-то рекомендовал, нашептал, что у меня неполадки в семье, что я плохо развёлся, в общем, аморальный тип. Кроме того, что это была явная ложь, я этого человека по жизни дважды очень здорово поддержал. Ну, а Контора, там традиции известны: от греха, на всякий случай меня отвели. Бывает. Бывало у меня и хуже. Не судьба, значит.

* * *

Я виделся с отцом последний раз в конце августа 2001 года на станции Коломна, они с мамулей провожали меня в Штаты. Тогда он тихо прошептал мне, чтобы мать не услышала: “Больше не увидимся”. Так и вышло.

Отец мой был удивительно красив. Физическая красота сочеталась в нём с открытостью, светлостью облика. Он сразу располагал к себе, не прилагая внешне никаких усилий. Есть такие счастливики по жизни. Он не мог не нравиться женщинам, но никогда этим не пользовался, был однолюб, как Лёша Верный, или, скорее, Лёша, как он.

Мама рассказывала: лежала в роддоме с только что родившимся моим братом Колей, а женщины-соседки по палате, стоявшие у окна и глазевшие на улицу, стали звать её присоединиться:

– Римка, вставай, посмотри, какой мужик пришёл!

– Да некогда мне, видишь, я с ребёнком занята.

– Вставай, вставай, посмотри, может быть, такого мужика ты больше никогда в жизни не увидишь.

Уговорили, встала, подошла тоже к окну:

– Да это мой Витька...

Рукой махнула и вернулась к моему маленькому братику.

Я очень переживал в юности, что не был похож на отца. Потом, по мере взросления и погружения в реальную жизнь, понял, что для женщин это далеко не самое важное. Упреждая чьё-то хихиканье, скажу, что, на мой взгляд, для женщин, как я их понимаю, самое главное в мужчине надёжность и ответственность. Отец мой этими качествами обладал вполне.

Если бы не война, оставившая его, уже взрослого мужика, с четырьмя классами образования, да пять лет флота, да разруха и бедность, из которой ему с двумя детьми надо было выкарабкаться (он только в 40 лет получил высшее образование), быть бы ему на каком-то большом производстве талантливым инженером, конструктором.

Было у него ещё и другое качество, не способствовавшее этому, — он не был, в отличие, например, от меня, тщеславен, какая-либо карьера его абсолютно не интересовала. Он отказывался от предлагавшихся ему руководящих должностей в школе и на соседней, в Выропаевке, МТС, от предлагавшегося членства в партии, от нужных знакомств и т. д.

У него была врождённая, от Бога, любовь к всевозможной технике, и эта любовь была взаимной.

Земляки знают и помнят, что любые проблемы в машинах он читал на слух, чинил любую теле-радиотехнику. Появились цветные, импортные телевизоры, магнитофоны, комбайны — он и в них разбирался с лёгкостью. Когда я начал мотаться по чужим странам, старался привезти ему какую-то технически интересную мелочь: крошечный приёмник, ручку с лазером, электронные часы с всевозможными функциями — он радовался, как ребёнок, и всё норовил разобрать. А потом — собирал. Привёз я ему как-то прозрачную пластиковую карточку, на которой только цифры, и — всё. Калькулятор. Отец удивился, а потом расстроился: разобрать нельзя.

Простить себе не могу, что так и не успел купить ему персональный компьютер, они тогда только начали появляться, а отец уже смотрел в их сторону: что это такое, как бы с ними разобратся.

Служил он на Северном флоте, на крейсере “Чапаев”, и они на этом крейсере таскали через Баренцево море на ядерный полигон на Новой Земле “изделия”. Из полутора десятков человек из Подмосковья, с которыми он служил, большинство не дожили до 50–60-ти лет, у всех — онкология. В 60 лет у отца диагностировали рак. Лежал в “Мониках”, химия и т. д. — выкарабкался. Железный организм, заложенный в Андреевском на реке Коломенке, помог. Жил он ещё 12 лет до того самого, 2001-го.

Прибыл я в США за три недели до событий 11 сентября. Начал осваиваться в должности торгпреда и запланировал посетить Нью-Йорк, где у меня было отделение торгпредства, 11 сентября. Руководитель моего отделения звонил, готовился. Предложил посетить смотровую площадку башен-близнецов, заказать билеты. Согласился. На 9 утра 11 сентября. В последний момент встречаю в посольстве в Вашингтоне старого друга, военного атташе.

— Куда собрался? В Нью-Йорк? Завтра? Да ты что, у меня день рожденья! Не будешь — обижусь! Посылай всех..., завтра у меня.

Делать нечего, друг — это святое.

Звоню в Нью-Йорк, переносу визит на пару дней.

Утром 11 сентября началась эта знаменитая трагедия. Над Вашингтоном хорошо было видно самолёт, угнанный террористами, который потом рухнул в Пенсильвании. Над Пентагоном валил дым. Мы все тогда очень сопереживали американцам.

Вечером мне позвонили из Москвы: умер отец. Я звонил им почти каждый день, более того, они знали, я им говорил, что во вторник буду в Нью-Йорке, что буду на “близнецах”, что потом расскажу.

В Москве из-за разницы во времени страшные кадры из Нью-Йорка стали показывать во второй половине дня. Отец сел в большой комнате смотреть новости, мама возилась на кухне. Мама услышала крик отца:

— Мать, смотри иди, Нью-Йорк! Нью-Йорк! Нью-Йорк...

Когда мать подбежала, он уже не дышал. Не выдержало изношенное непростой жизнью сердце. Он был очень сопереживающим человеком, всем и во всём. Не думаю, зная его, что он переживал в тот момент обо мне. Он переживал об американцах.

На похороны меня не выпустили. Попытался помочь посол, попытался помочь Греф, звонил, сочувствовал, сказал, что подключал Касьянова, тогдашнего премьера — безрезультатно. Небо над Штатами и границы на несколько дней были закрыты. Я не увидел отца умершим, может, и к лучшему, он навсегда остался в памяти моей живой, улыбчивый, добрый, удивительно красивый человек. Я уверен, он умер за меня.

Мне рассказали потом, что таких похорон в наших местах больше не помнят. Отец больше 30 лет учительствовал, родился в поле на этой земле, пахал её, обустроивал, жил с ней и с жившими на ней. На кладбище пришли из всех соседних деревень и старики, и детвора, и из Коломны, из Щурова, из Городищ, где знали его.

Отец не верил в Бога, но его, как крещённого в детстве, отпевали в Андреевской церкви, где крестили его, где крестили, венчали, отпевали его деда,

прадеда, прапрадеда. Он по жизни, по делам своим был более верующий, чем те, кто разбивают об пол лбы, а потом, выйдя из храма, забывают о том, ради чего они там были. Вечером после похорон, как мне рассказывали мама, брат, старшие сыновья, Лида Чернова, налетела страшная гроза, шквал, ломало сучья, срывало шифер с крыш. Думали, что разметает по кладбищу гору венков и цветов на могиле отца. Приехали утром – всё стоит нетронутое, будто и не было ничего, а вокруг сучья наломанные валяются.

Похоронили его на горе, на красивом Андреевском погосте, откуда видна долина Коломенки и поля, которые мальчишкой он пахал на стареньком “Фордзоне”. Вот там, рядышком, в мой час похороните и меня.

* * *

Горькие и, наверное, не очень изящные строки стихотворения о “последнем солдате империи” были навеяны мне в исторических стенах авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Там неоднократно, в числе других руководителей российских представительств в США, мне приходилось, иногда по несколько часов, ждать прилёта из Москвы “руководящего рейса” с начальством на борту.

Сама обстановка располагала к тому, чтобы вспомнить о прилетавшем сюда в мае-июне 1990 года Горбачёве, о его переговорах здесь и в Вашингтоне. Говорили мне об этих событиях и наши старожилы-дипломаты, но для меня более важным оказалось знакомство с высокопоставленным американским чиновником.

Знаю прекрасно все его данные, но даже намекать не буду, чтобы не подставить человека. Он участвовал в тех переговорах в силу специфики своей работы и должности, знал всё или почти всё по этой теме. Назову его Джонсон. Были две вещи, к которым я относился осторожно, но потом поверил (и проверил).

Джонсон крайне негативно относился к американскому истеблишменту, хотя, по сути, к нему принадлежал, и симпатизировал России. И к тому, и к другому, как оказалось, у него были очень серьёзные основания, но их я тоже не назову. Если его поведение вначале я расценивал как классический вербовочный подход, то к концу моего трёхлетнего пребывания в Штатах сомнений в отношении Джонсона у меня не было.

По существовавшим в Союзе гласным и негласным жёстким правилам Горбачёв не мог оставаться с американцами наедине без сопровождения нашими сотрудниками. Горбачёв оставался, в том числе на базе Эндрюс. Что там происходило, наши не знали, словам Горбачёва уже тогда верить было абсолютно нельзя, а Джонсон – знал. Я запоминал и записывал потом эти сведения.

Если кратко, то именно тогда, на Эндрюс и в Вашингтоне, со слов Джонсона, были оговорены и подтверждены материальные гарантии под предательство Горбачёва и компенсации ему, если что-то пойдёт не так. Оттуда растут, со слов Джонсона, и Нобелевская премия и финансирование Горбачёв-фонда с численностью почти в тысячу человек, и лекционная карусель, и виллы, и лечение, и содержание. Параметры 30 сребреников были определены тогда и там, детали потом дорабатывались на более поздних встречах с лидерами Запада.

На мой взгляд, вопрос предательства Горбачёва, при всей его очевидности и исторической мерзости, не самое главное в тогдашней, да и нынешней исторической ситуации.

Умница Джонсон считал, что Запад, купившийся во многом фантастическим для него подарком в виде Иуды во главе государства – основного геополитического противника, – утратил способность по-настоящему стратегического мышления и пропустил исторический шанс построения нового, более справедливого, более безопасного, более отвечающего чаяниям человечества миропорядка.

Победили, как я уже говорил, неуёмная и бесперспективная жажда мирового господства, страсть к наживе, деление людей на сорта и многие другие родимые грехи человечества. За эту стратегическую ошибку Запад сейчас начинает расплачиваться. Они повесили друг на друга медали за победу в “холодной войне”, объявили себя особой нацией и стали править, не имея на это

ни морально-нравственного, ни формального права. Сотни тысяч, миллионы загубленных жизней на просторах бывшего Союза, на Ближнем Востоке, в Африке никто не считал и не принимал во внимание.

Я говорил американцам: “Победить в “холодной войне” — это то же, что обладать женщиной по телефону: те же “ой!”, “ай!”, но — по телефону”.

Кто-то злился, а кто-то, поразмыслив, соглашался. Джонсон же называл медаль за победу в “холодной войне” медалью дураков. Меченый тоже получил эту медальку. Заслуженно. Он ничем не гнушался: дают — беру. Называю его Меченый не из желания оскорбить или обидеть. Просто у преступников обычно бывают клички.

* * *

Похожим политическим интимом, но, думаю, в других целях, занимались часто приезжавшие в Вашингтон в начале 2000-х Кудрин и Греф.

Они пропадали у американцев без какого-либо дипломатического сопровождения, без нашего переводчика (оба не знали языка), никого не информируя: куда, к кому, на какой срок.

В любом случае, посол отвечал за них. Ушаков, жёсткий и властный профессионал, требовал от меня:

— Где твой министр? Ты должен это знать! Когда и где он будет, куда он пропал?!

— Сам в изумлении, Юрий Викторович, такие теперь вот манеры. Они же не сами по себе так себя ведут...

Я подозревал разное, думаю, что и Ушаков; а сейчас я полагаю, что Путин уже тогда вёл свою политическую шахматную партию. В частности, демонстрируя сверхлюбовность и доверительность.

Как-то, год спустя, после завершившегося в Бостоне экономического форума, мы провожали Грефа из Нью-Йорка в Москву. Самолёт задерживался, зашли в ресторанчик, взяли сухого и покушать. Были Греф, я, директор департамента Ашот (армянин), начальница пресс-службы (полячка) и ещё женщина молдавской национальности. Греф знал, что у меня есть родственники в Германии, что говорю свободно, да ещё по согласованию с ним я возил из Вены к его родителям в Германию Гарри Минха, который тоже, наверное, что-то сказал. Короче, посчитал Греф, что я тоже немец. Настроение у него прекрасное, шутит, женщины симпатичные, устриц подали, которых я терпеть не могу, и вдруг говорит: “Как хорошо, что среди нас нет русских!” Народ за столом подхихкивает. Что ж, думаю, тоже национальная идея, и говорю:

— Герман Оскарович, я — русский.

За столом — тишина, как в “Ревизоре”, с минуту. Умница Ашот прервал, стал какую-то ерунду рассказывать, но вечер уже был испорчен окончательно.

Не заладились у нас после этого случая отношения с Германом Оскаровичем. Да их, особенно, и не было. Он делал своё дело, а я — своё.

* * *

Очень краткая, но ещё одна, в какой-то степени, тоже личная встреча с Путиным у меня состоялась там же, в Вашингтоне. Мы, дипломаты, стояли в линейке встречающих Президента. По трапу спускается Президент, за ним Ушаков, Путин жмёт руки. Солнышко, лёгкий ветерок. Видно, что В. В. перед поездкой подстригся, но парикмахер или парикмахерша не доглядели на макушке один длинный светлый волосок. Ветерок его поднял, солнышко подсветило — ну, прям маленькая блестящая антенночка. Улыбаюсь и думаю: ну, Владимир Владимирович, раскрыл я вас, вы — инопланетянин. Он подошёл, протянул руку и тоже улыбнулся. Узнал, память у него шикарная. Чуть задержал рукопожатие, мы обменялись понимающими взглядами, как бы говоря: “Вот, видишь, я теперь президент... — Вижу, рад за вас, а я вот тут торгпредом подвизаюсь. — Да, да, Вену помню. Ну, пока...”

Встречал его потом уже только в составе каких-то делегаций, мероприятий, не лично. Тем не менее, я существенно расширил своё восприятие этого человека, мнение о нём за счёт дел, событий, людей, связанных с Путиным,

в которых мне довелось участвовать, присутствовать, работать бок о бок. Я никогда не был фанатиком чего-либо и кого-либо, мне импонирует еврейский подход: не брать ничего на веру. Моё мнение об этом человеке развивалось вместе со мной. Поделюсь в общих чертах.

Сразу расставляю точки над “і”: нам, России и народу нашему, с ним повезло. Тут, я думаю, последователи моды критиковать Путина среди определённой части определённой интеллигенции отвалятся. Не спешите, не всё для вас потеряно.

Следующий посыл, в котором я уверен на 99% (1% всегда оставляю Богу), Путин – очень редкий тип политика, который искренне любит свою страну и свой (российский) народ. Почему редкий? Да потому, что – политика.

Политика – это власть и деньги. И то, и другое – безнравственно, ибо власть в любой форме – насилие одного человека над себе подобными, а деньги – это основной инструмент того же насилия и изощёренного обмена себе подобными. И за деньгами, и за властью торчат уши лукавого, поэтому притягивают они к себе зачастую не лучших представителей рода человеческого. Сохранить в змеиных ходах – коридорах политики – человеческую сущность, человеческие качества – крайне сложно, это удел уникальных по гибкости ума, сложности характера, душевной организации личностей. Политика – одно из главных средоточий человеческих пороков. Среди них основной – ложь. Ложь в политике многослойна, многовекторна, обёрнута в правду, полуправду или в то, что от неё осталось. Невидимая, непрозрачная часть этого понятия значительна, кратно больше того, что представляется публике, обществу.

Поэтому, когда мы критикуем слева и справа лидера, с которым нам повезло и который искренне желает сделать нашу страну, нас с вами сильными, процветающими, справедливыми, попытаемся понять и представить себе эти змеиные ходы и эту кислотную среду, в которой ему приходится – нет, не жить – воевать. Сможем?

Я бы, без обиды, привёл такую маленькую притчу “восемнадцать плюс”.

Представьте, в средней группе детского сада сидят на горшках Маша, Петя и Вова и обсуждают, откуда берутся дети. Маша – в капустке находят, Петя – журавлик приносит, а Вовочка и говорит: дураки вы все, мамка с папкой трахаются, вот и дети рождаются. Машенька – в плач, на который заходит нянечка, тётя Валя, женщина с тремя детьми от разных мужиков и пятью абортми. Узнаёт, в чём дело, хлопает Вовку по попе – сам дурак, и подтверждает Машенькину версию о капусте. Успокаиваются детки, а тут за Машей приходит дедушка, доктор наук, профессор гинекологии, знания которого об обсуждаемом процессе несопоставимы с бурной практикой тёти Вали.

– Я, – говорит он Машеньке, – завтра тебя забирать не буду, заберёт мама, а я, внученка, улетаю на конгресс гинекологов в Женеву.

Машенька из этого поняла только первую часть и расстроилась: она любила дедушку. Ну, а дедушка улетел туда, где собрались дедушки ещё покрупче в его специализации, – в общем, смысл понятен. Так вот, большая часть человечества в вопросах, пружинах, механизмах большой политики и финансов сидит на горшках.

Предвижу, что материально заинтересованные – иных я не встречал – защитники Горбачёва определяют меня в самую массовую по этой притче категорию. Ну-ну. Вашего-то патрона уже с той самой поездки в США, в 1990-м, перестали информировать об определённых вещах, понимая, что сольёт на Запад. А что касается места, то мне, как говорит Шаманов, фиолетово, я на любом месте готов Родине послужить.

Так вот, мои сомнения в правильности действий В. В. с годами трансформировались в оценки прямо противоположные. Ругая вместе с армией Сердюкова, я теперь понимаю и знаю, какая блестящая была проведена операция прикрытия восстановления армии. Расстраиваясь по поводу прозападной элиты, я теперь понимаю десятилетней давности слова В. В. по поводу “замучаетесь пыль глотать” и его действия. Думаю, что подобно Васькиному Абу, Путин держал и пока ещё держит своих политических Абу, которых, когда нужно было, он мог демонстрировать вашингтонскому обкому: смотрите, вы меня ругаете, а у меня вот Абу сидят. Ваши, между прочим, Абу. Я сейчас совершенно по-иному вижу уже и Трампа, и Клинтоншу, и дело Скрипалей... Заговорился, а то предисловие “грифовать” придётся.

Для меня очевидно, что Путин — великий политический шахматист, и распиаренный Бжезинский с его шахматной доской, по сравнению с Путиным, — сельский любитель. Вот, кстати, что сказал о Бжезинском в своём интервью в 1992-м очень умный и интересный дядька Джордж Буш, разумеется, старший: “Вы про Бжезинского? Деревенский дурачок Джимми (Картер. — Б. М.) в политике не мог отличить яблока от коровьей лепешки, и поэтому слушал идиотов и клоунов”.

Буш, опять же, кстати, негативно оценивал крушение Союза, утрату исторического для Запада шанса и предвидел события на Украине. В том же интервью он сказал: “Те, кто меня победили (носители “медали дураков”. — Б. М.), хотят только грабить (как точно! — Б. М.). Русские этого не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счёт”.

Уже послали.

Что меня угнетает и настораживает. Не может быть, не должно быть так, что в богатейшей стране мира с работающим, умным, талантливым народом, получившим большую часть наследства ушедшего Союза, темпы экономического роста двадцать с лишним лет были самыми низкими, по сравнению с нашими бывшими соседями по Союзу.

У меня одна из профессий — экономист, но я жалкий дилетант в сравнении с теми специалистами, в том числе академиками, с которыми доводилось обсуждать эту тему. Многого говорилось, но особенно интересна и показательна фраза, сказанная в прошлом одним из “чикагских мальчиков”, человеком публичным, занимающим высокий пост (нет, это не Глазьев). Он сказал: “Наше правительство экономическими методами сдерживает экономическое развитие России”.

Или я чего-то ещё не понимаю, что, вполне возможно, или в моей шахматной формуле есть серьёзные изъяны. Время покажет.

* * *

Завершу по Америке (США), как же без “гегемона”. У них, жителей США, кстати, не только своего языка, но и названия своего нет, американцы — это не про них, не только про них, это и чилийцы, и мексиканцы, и аргентинцы и т. д. по списку. Называть их “штатники”? Как-то коряво. Остановимся всё-таки на том, что прижилось.

Я с уважением отношусь к американскому (США) народу, но не с большим или меньшим уважением, чем к тем же, например, чукчам или арабам горного Йемена. Я не считаю американский народ исключительным, но считаю идеологию и практику американской политической элиты на тему этой исключительности интеллектуально изощрённой, замаскированной, а потому особенно опасной формой фашизма.

Это идеология сверхнации, хозяев мира, идеология ранжирования стран и людей по сортам, это идеология пахана на зоне, который за своих порвёт глотку, а остальные — быдло, рабочий скот, призванные на него работать.

Я невысокого мнения об интеллектуальном, а особенно о морально-нравственном потенциале нынешней американской политической элиты.

Историческое испытание 1990-х годов было не только и не столько для России, сколько для Запада и, прежде всего, для США. Они это испытание не выдержали. Они, за редким исключением (тот же Буш-старший), не увидели и не оценили уникальный исторический шанс в построении более разумного, справедливого, безопасного миропорядка, а бросились добивать, как им казалось, уже не способного возродиться медведя. Попирая при этом своим пренебрежением к страданиям, горю, несправедливости, гибели миллионов “чужих” людей свои собственные декларируемые принципы, права и свободы. Считая, что эти права и свободы — только для своих, тем самым на годы, десятилетия убив у миллионов людей по всей планете веру в существование общечеловеческих ценностей.

Их уровень стратегического мышления — это уровень клоуна, прошедшего “парадом победы” по Красной площади, и бабушки Клинтон, носившейся с оформлением “медалей дураков”. Их умственный потенциал до последнего времени, точнее, потенциал их талантливых предшественников, был хорош для отжатия средств у соседей по планете, но и эта тема для них заканчивается.

Они сейчас, американская политическая элита, теряют власть над миром, да и, по большому счёту, её никогда и не было. Было воспалённое от предвкушений воображение “победителей в “холодной войне”” и их прикормленных вассалов. Но в этой иллюзии мирового господства они живут, верят в неё и будут цепляться за неё до последнего. Они, эта нынешняя элита, просто не способны мыслить по-другому.

Поэтому я уверен, что если начнётся ядерная война (не дай Бог!), то, за исключением случаев трагически фатальной техногенной ошибки, что маловероятно, но возможно, начнёт её фашиствующая американская политическая элита, которая ради своих претензий и иллюзий всегда была готова уничтожить менее ценную, на её взгляд, часть человечества. Тем более, в условиях, когда она теряет своё господство даже там, где раньше властвовала безраздельно. Тем более, питая иллюзорную надежду, что она отсидится за ПРО в своих бункерах и с любопытством посмотрит потом, что с нами, неполноценными, стало.

Пусть они думают, что они – охотники.

Мы на наших пространствах (спасибо предкам) выживем. Не все, но выживем. И уже не я, но такие, как я, как мой инструктор, как Васька, Санчо, Ильяс и другие, пройдут через Сибирь, переправятся на подручных средствах через Берингов пролив и доберутся до горла тех, кто это сделал. Никакие бункеры не помогут.

Я не последний солдат Империи. Это просто поэтическая метафора. Нас много. Достаточно.

* * *

С красавицей Веной и с моим любимым Андреевским у меня связан ещё один эпизод.

Среди многих, нажитых в Вене, друзей есть замечательная пара Алёнка и Роберт. Встретились они в Ленинграде в 1990-м.

Алёнка – красавица, никакому Роберту не устоять, молодость, любовь. Уехали они в Вену, где я с ними и познакомился, родили двоих замечательных детишек. Мотались между Питером и Веной и заехали, наконец, к нам.

Роберт называет себя австрийцем, но внешне – немец немцем. Я его подначивал:

– На тебя, – говорю, – известную каску М40 надеть – так точно персонаж из фильмов.

Обижался:

– Я, – говорит, – австриец.

Роберт полюбил Россию так же искренне и нежно, как свою Алёнку, и не всякий наш так относится к своей стране, как он к России. По миру я таких людей встречал немало, тянутся к нам, несмотря ни на что.

Показали мы им Москву, Коломну, приехали в последний день за экзотикой в Андреевское.

Лето, жара, июль, пошли на Коломенку купаться. Вода ледяная, но ребятня счастлива, не выгонишь, прыгают с местными на тарзанке, причём никто из детворы не обращает внимания, что двое из них говорят по-немецки...

Тут вспомнил я о Санчо, что, думаю, ему, если он в Лысцево, 3-4 километра сюда идти. Звоню: так и так, Вена, гости, загляни. Он дома, готов:

– Что, – говорит, – для бешеного пса семь верст? Буду.

Минут через 40 на гребне берега над нами появляется Санчо. Он в пластиковых шлёпанцах, в холщовых штанах на верёвочке и в майке с надписью типа: “Служил я в Красной армии”. Зато бицепсы видны, а бицепсы у него серьёзные.

– Вот, – говорю, – знакомьтесь, мой друг Саша, с горочки спустился.

Роберт по-европейски счастливо улыбается. Естественно, картавит и на ломанном русском приветствует Санчо:

– Здгавствуйте, гады вас видеть.

Ему в ответ на чистом хойдойче приветствие и, пока он ещё не опомнился, на том же чистом немецком шикарнейший комплимент его супруге с целованием ручки и с извинением в адрес моей жены за комплимент другой женщине. Но она также неотразима, как и все русские женщины, и наша гостья в том

числе, поэтому Роберт не прогадал, но с ними, русскими женщинами, надо всегда быть настороже.

Алёнка растерянно глядит на меня: на каком языке отвечать? У Роберта лёгкий ступор, а Санчо продолжает в том же духе:

— Как вам Россия вообще и Коломенка, в частности? Ах, какие детки, настоящие немчики, у нас в Лысцево тоже такие есть. А слышали вы там, в Вене, такой анекдот? — Идёт анекдот.

— А вот такой? — Идёт ещё один анекдот, но уже на грани фола.

— Ну, мне пора, хозяйство, знаете ли, корову подоить надо.

Опять идёт целование ручек. Моя Ксюша не знает немецкого, но знает Санчо, видит комичность поз и не сдерживает смех.

Говорю Санчо, конечно, на русском:

— Ты, брат, вечером часам к семи подгребай, Каштан приедет с Ниночкой и гитарой, посидим, ребята ночью уезжают в Москву, самолёт рано утром.

Санчо отвечает и из всего его прозвучавшего практически монолога на немецком языке только последнее слово он произносит по-русски:

— Яволь, майн хер.

Взлетел Санчо наверх, на берег, только его и видели.

Роберт приходит в себя:

— Миша, кто это быть? Ты это нарочно наделал?

— Да нет, — говорю, — ничего я специально не делал. Тут у нас по Коломенке такие мужики живут.

Вечером собрались за столом. Тосты, гитара, пока ещё русские песни. Каштан в ударе. Я кручусь вокруг стола, обслуживаю гостей, пить мне нельзя. Вижу, как Алёнка отодвигает от Роберта очередную рюмку и тихо, но строго говорит ему по-немецки: “Не пытайся пить с ними наравне. Бесполезно”. Алёнка не только красивая, но и мудрая.

К ночи над Коломенкой уже загремели немецкие песни, мы учили Роберта маршу немецких коммунистов “*Einheitsfrontlied*”.

Настала пора уезжать. Усадил я гостей в машину и не поехал сразу на шоссе, а поднялся на гору над озерами, где до сих пор есть родник деда Кузьмы. Андреевские знают. Одно из красивейших мест рядом с селом. Июльская тёплая ночь, как на картине Куинджи. Тонкий слой тумана над тремя озёрами и широкой речной долиной, уходящей вдаль. И над этим туманом плывут тёмные купола ив. Луговая трава по пояс, ночные запахи лета. Алёнка постояла-постояла, перекрестилась и встала на колени. Смотрю, слезинки и у неё, и у Роберта. И мне что-то грустно стало. Так до Москвы и молчали. Наговорились уже.

* * *

Не торопите жизнь. Впереди старость, страдания и забвение. А день нынешний, как бы он ни казался заурядным и неудачливым, великолепен самой возможностью жить, любить и творить.

Пробежал рукопись, написал вроде бы много, а вышло так, небольшие штрихи о большой, сложной и интересной жизни. Даст Бог, закончу ещё одну, давно теребимую, серьёзную и сложную вещь. Пока, похоже, получается. Ну, что будет, то будет. Ещё пару штрихов в завершение моего “предисловия”.

Одно из моих любимых занятий в этой жизни — бродяжить и размышлять. Так, хаживал я по коломенским полям и весям, по бережку Индийского океана, мимо манящего аромата венских кофеен, по клавишным тротуарам Вашингтона, по ванильным переулкам Замоскворечья.

Каждый более-менее думающий человек создаёт для себя картинку мира со своими собственными объяснениями происходящего. Я имею в виду не космические дали и физический мир, а общественно-политическое и экономическое устройство человеческого общества.

Как правило, такая картинка берёт за основу одну из существующих глобальных идей, и к ней наращивается своё “я”. Идя по жизни, меняемся мы, меняется наше отношение к миру и объяснение мира.

Живу я давно и пришёл к выводу, что, чем дольше живу и более владею информацией, тем меньше уверенности в понимании этого мира, места и роли в нём человека, его сущности и назначения. А старые схемы и идеи уже

кажутся наивными. Так и в мире: идей много, а идеи нет. Мы подошли к кризису глобальной идеи развития.

Капитализм — увольте! Социализм дискредитирован и, во многом, по делу. И продолжает дискредитироваться; что, в Китае социализм?! Теория конвергенции — в ней что-то есть, она опирается на эволюцию, а не на революцию, мне лично это импонирует. Но опираясь на то, что уже не ново, она сама становится днём вчерашним.

Видимо, придётся подождать, пока не родится какой-нибудь еврейский мальчик, который укажет новое направление глобальной идеи организации человеческого общества. Впрочем, это может быть и в шатре бедуина, и в украинской мазанке — неисповедимы пути Господни. И всё-таки — Бог.

Скажите: сдался. Нет. Я буду продолжать мыслить, пока это будет возможно. Кроме того, у меня по жизни есть два наставления от деда Николая, которыми я старался руководствоваться. Он высказывал это неоднократно мне, ещё пацану, поэтому запомнилось навсегда.

Первое: “Я понимаю, что не смогу знать всё, но я всегда буду говорить себе, что буду знать всё”.

И второе: “Каждый порядочный человек должен уметь делать всё, тем более русский интеллигент”.

Я бы в последней фразе поставил не русский, а российский.

* * *

Есть такая женщина: милая, добрая, обаятельная, порядочная. Трудно с ней бывает, очень трудно, но уж если вам так повезло, что она с вами, терпите, общение с ней бесценно. Вот только шутить, лукавить с ней не надо даже самым крутым мужикам, особенно политикам. Потеряете всё. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра имя ваше, которое вам нравится, которое вы холите и лелеете, надеясь передать потомкам, будет втоптанно в грязь. Справедливость её зовут.

В мире в целом и в России, в частности, а, скорее, в России в особенности слишком высок и продолжает возрастать уровень несправедливости. Имущие власть и деньги не могут остановиться. Моё поколение, уходящее поколение, не может с этим справиться, оставляя эту проблему идущим после нас.

У меня есть много молодых коллег и друзей. Назову некоторых из них, и, если кому-то моё упоминание не понравится, простите.

Это Серёжа Ходырев, Коля Платонов, Глеб и Катя Никитины, Миша и Наташа Куцик, Ильяс Ягофаров, Андрей Соколов, Настя Бондаренко, Серёжа Юров, Катя Башлыкова, Наташа Лютая, Илюша Казенкин, Ваня Блохин, Артём Гарибян, Паша Волков, Серёжа Казаков, Слава Ищенко и ещё многие другие, в том числе те, кого назвать не могу. Называю их по именам, они все мне в дети годятся. Им нет и сорока или чуть за сорок, для политики — юношеский возраст. Они умны, даже очень, вполне сложившиеся, самостоятельные, имеющие обо всём своё мнение, не нуждающиеся уже давно в моих советах, тем более, помощи.

Это они, точнее, их поколение прибирает к рукам во всех сферах управления нашей экспериментальной страной. Это они получают от нас проблемы, которые мы не решили, а решать им.

Мне нечего и незачем им что-то советовать в напутствие. Уже незачем. Впрочем, один совет дам. Не думайте, глядя на нас, что так можно. Вы понимаете, о чём я говорю.

И — просьба: берегите эту мистическую страну. Почему мистическую?

Да потому, что, по всем канонам — историческим, экономическим, политическим, этническим, военным, географическим и проч. — её не должно быть. А она — есть. И — будет.

* * *

Наверное, немного о личном.

Личная жизнь у меня была сложная... А у кого-то она бывает лёгкая? Потому, почему была? Быть мужем умной и красивой женщины — задача и сейчас не из лёгких.

Хотел упомянуть про какие-то ошибки и сам же вспомнил, что ни о чём и ни о ком не жалею, кроме авиации. Да и какие ошибки, если у меня два замечательных взрослых сына Иван и Дмитрий. С ними я никогда не расставался. И не расстанусь.

Я думаю, не бывает ошибок в жизни вообще и в личной, в частности. Есть трудности, за которыми стоит Божий промысел и Его любовь к нам. Оглянись и поразберишься в них честно. Окажется, что они помогли тебе.

Действительно прав был гений: всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. И счастливее в итоге.

Думаю, что настоящая любовь – это чувство от Бога, привлечь, создать её самим невозможно.

В жизни легко влюбиться. Сложнее, но никто этого не избежит, полюбить. Но очень сложно встретить и любовь, и человека, который составит часть твоей жизни, твоей души.

Мне не сразу, но повезло. Произошло это на излёте моего, XX века.

Встретил я свою половинку, чего и вам желаю, а если встретили уже – дорожите, берегите этот Божий поцелуй.

Зовут её у меня, конечно, Ксения.

Уважая и почитая Его заповеди, нажили мы с ней четверых сыновей. С ними, думаю, тоже повезло.

Никите, нашему с Ксюшей первенцу, чудесные 18 лет, и этим всё сказано. Ну, этот единственный недостаток быстро проходит.

Интересно, что младшая детвора удивительно похожа на своих крёстных.

Вовочке уже пять, это Шаманов-Шаманов, даже внешне такой же.

Серёженька, первоклассник, мы его зовём “профессор”, такой же умница и всезнайка, как Наташа Куцик и Серёжа Ходырев.

Витя – это Васька. Такой же, как бы это сказать помягче, спортивный характер. Десять лет, а уже на девочек поглядывает. Да... заложил я тебя, Василий Михайлович.

Венчались мы с Ксюшей, конечно, в Коломне, в Ново-Голутвином монастыре. Венчала нас ангел-хранитель нашей семьи, чудесная матушка Ксения, настоятельница монастыря. Она сама уже стала достопримечательностью Коломны (простите меня, матушка, за такое сравнение).

Свадьба наша с Ксюшей тоже была в Коломне, в Коломенском кремле. Жених я был уже не юный, и гости собрались соответствующие, солидные, начальники, генералы. Большинство – с жёнами. Не поленились из Москвы приехать по пробкам, спасибо этим добрым людям.

Свадьба в разгаре, произносит Санчо тост. Тост хороший, душевный и голосище у него отменный. А в завершение как рявкнет: “Женщины и гомосексуалисты пьют сидя!” Так все тётки тоже повскакивали. На всякий случай.

Ну, вот и всё.

Спасибо, мои дорогие, за то, что вы были в жизни.

Спасибо вам, живущим, и вам, кого уже нет с нами.

Увидимся.

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ

ОТ РАБОЧЕГО ДО УЧЁНОГО

К 80-летию В. Н. Семёнова

Его имя известно в России и во всём мире. На заводе НПО “Энергомаш”, которому он отдал более полувека своей жизни, его называют человеком-легендой. В городе Химки, ровесником которого он является, о нём говорят: “Наш Ньютон”. Перечень его заслуг велик: Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор, лауреат двух государственных премий, заслуженный металлург РФ, лауреат 15 премий, в том числе губернаторской “Наше Подмосковье”.

За последние десятилетия о Викторе Семёнове в СМИ было сказано немало, даже несмотря на секретность ряда его тем. Основной же темой его научных изысканий является двигатель, точнее – двигатели, их различные модификации с учётом всё возрастающих требований к космическим кораблям. И понятно: каждый корабль, отправляемый в космос, имеет своё предназначение; одни – для доставки спутников и грузов, другие – для отправки экипажей космонавтов; есть корабли легковесные, есть тяжёловесные, улетающие на различные дальности и возвращающиеся... Как в автомобилестроении, где для марки автомобиля требуется свой двигатель, начиная с его мощности, и заканчивая способностью работать в определённых климатических условиях.

Двигатели к космическим кораблям, в создании которых Виктор Семёнов участвует по сей день, считаются в мире самыми надёжными. Поэтому и американцы много лет закупают эти двигатели у нас, в России, и – тьфу-тьфу сплунем! – не жалуются; пока аварий с полётами космических кораблей “по вине” двигателей не было, и это факт. Бесспорный факт торжества наших учёных, в том числе и Виктора Семёнова.

И здесь стоит обратить внимание на публикацию “Лунная гонка: 50 лет спустя”, появившуюся в июле 2019 года в газете “Завтра”. Её автор, ракетчик-двигателю с более чем сорокалетним стажем работы Леонид Бацура, пишет дословно: “на обозримый период до 2040 года (теперь – уже до 2060 года) США не смогут создать технические средства для обеспечения безопасного полёта на Луну и возвращения людей с Луны на Землю”. Это заявление – лучшее признание (и, пожалуй, лучшая награда!) для наших учёных, в списке которых есть Семёнов.

Мне, автору этих строк, ещё в 90-е годы приходилось систематически бывать на “Энергомаше”, быть в курсе его проблем, встречаться с людьми, от рядовых тружеников до инженеров, находившимися в окружении талантливого Семёнова. В предыдущие годы посчастливилось бывать в кругу родственников

и близких Виктора Никоноровича. А последние наши встречи, в преддверии его юбилея, проходили у меня дома, при редких свидетелях. На моей территории было удобнее. Виктор Никонорович приглашал в гости к себе, но его предложения отклонял, знал: проживает он в квартире 34 метра квадратных, а у его жены со здоровьем не ладится. В этой связи он, мой старший товарищ, как-то высказался:

— Тесновато, конечно, у меня... Но привык. Последние десятилетия освоил угол на кухне, беру дощечку, кладу на колени и пишу.

В последние годы Семёнов, наряду с работой в Роскосмосе, занимается общественной деятельностью. Его приглашают в московские институты и школы, куда еженедельно, в определённые дни и часы он ездит и читает лекции, выступает с докладами, проводит открытые уроки... Четыре раза в неделю, вечерами, практикует занятия с детьми по изучению английского языка; на те занятия, проводимые на общественных началах, желающих предостаточно, но места время от времени освобождаются — если ребёнок не выполнил домашнее задание, значит, свободен... Семёнов таков: строг к себе и к другим.

Для родного города Химки Виктор Семёнов — находка. Ещё в послевоенное время, будучи руководителем отряда пионеров, высаживал хвойные деревья у посёлка Лобаново неподалёку от речки Химки и придумал новый способ посадки деревьев. Возглавлял народную дружину по охране правопорядка в городе. Во внерабочее время участвовал в строительстве дворца культуры “Родина”.

Более 15 лет по субботам читал лекции студентам вузов.

Был депутатом городского Совета, председателем экологической комиссии, одновременно — председателем научно-технического Совета города.

При его содействии впервые была создана карта экологического состояния Химок. Пять его патентов на проект установки для переработки промышленных и бытовых отходов и проект мини-завода по переработке отходов позволили улучшить ситуацию в области охраны окружающей среды городского округа. Подробному изучению данной тематики он посвятил более сорока лет жизни, а в 2014 году стал лауреатом губернаторской премии “Наше Подмосковье”.

Изобретения и открытия В. Н. Семёнова внесли существенный вклад в подготовку для присвоения городскому округу Химки статуса наукограда (в составлении проекта и документа принимал активное участие).

В Химках, в деревне Лобаново (теперь квартал города), Виктор Семёнов проживал с 1946-го (родился на Донбассе в 1939 году). Семья была большая — восемь детей, младшая сестра умерла от истощения во время Великой Отечественной войны.

— Отец вернулся с фронта весь израненный и контуженный, и вскоре мы его похоронили, — говорит Виктор Никонорович. — Матери было тяжело поставить всех на ноги. Жили в строении, которое и домом-то назвать нельзя. Скорее, это была землянка. Восемь квадратных метров на девять человек. Оконца — что смотровые щели. Стены из досок, дранки и глины. Вода зимой замерзала. А спали вповалку на полу, вместо подстилки — сено или солома. Из мебели — только лавка, на которой мы сидели, да стол, сколоченный из досок.

И, конечно, семье не хватало средств на жизнь. Перебивались чем придётся, одевались в латаное-перелатаное.

Когда одноклассники пошли в первый класс, Виктора не приняли в школу по медицинским показаниям. Выглядел он, как скелет, обтянутый кожей.

Не дали ему разрешения и на следующий учебный год. А так хотелось учиться! Однажды он не выдержал и самовольно пришёл в школу. На дворе стоял ноябрь 1947 года. Падал пушистый снежок, тут же таял, превращая землю в слякоть.

Увидев мальчугана (Виктор был босиком, грязным, да ещё в брезентовых трусах), учительница удивлённо воскликнула:

- Мальчик, как тут оказался?.. Здесь школа!
- Хочу учиться! Как все! — упрямо заявил он.
- Почему босиком, раздетый?
- У меня ничего нет.

Первую свою учительницу Семёнов запомнил на всю жизнь:

— Она посмотрела на меня как-то жалостливо, нежно, по-матерински, а глаза вдруг стали влажными... Потом, слышу, говорит, обращаясь к классу: “Ребята, давайте поможем одеть парня!”.

На следующий день дети принесли Виктору всё, что могли: обувь, телогрейку, шапку-ушанку с оторванным ухом и штаны-галифе, сшитые из разноцветных кусков материи. После войны люди жили бедно.

На вопрос учительницы, знает ли он буквы и умеет ли читать, Семёнов ответил утвердительно, хотя это было не так. Боялся, что его не примут в школу. Выручала хорошая память. Тексты, которые читали в классе, он тут же запоминал.

После окончания семилетки Виктор Семёнов поступил в Химкинский механический техникум. В 1958 году выпускников распределили на НПО “Энергомаш”. Здесь после войны работал его отец, а также старший брат. Этому предприятию более полувек своей жизни отдал и Виктор Никонорович. Прошёл все ступени роста — от рабочего до главного инженера завода.

Вначале был контролёром в цехе турбонасосных агрегатов, которые изготавливали для ракетных двигателей. Ещё молодым специалистом юноша проявлял творческий подход к делу. Как-то он заявил мастеру:

— А технология-то имеет пробел. Если упростить — можно ускорить сборку и повысить надёжность агрегата.

Мастер порадовался смекалке парня и, поразмыслив, вызвал технолога, объяснил суть дела.

— Юноша подал неплохую идею, — заключил тот. — Надо оформить это как рацпредложение.

Семёнову не исполнилось и девятнадцати, как пришла повестка из военкомата. С пороком сердца и язвой желудка его признали непригодным к строевой службе. В тот год весил он 47 килограммов, имея рост 1 метр 78 сантиметров.

— Я очень переживал, услышав такое заключение медицинской комиссии. Появилась даже мысль: для чего тогда жить? — рассказывает Виктор Никонорович. — Это сейчас некоторые призывники стараются “откосить”. А тогда военная служба считалась престижной и делом чести для каждого юноши.

Хорошо, что в ту трудную минуту рядом оказался брат:

— А ты начни делать физзарядку, поставь перед собой цель, попробуй её достичь. В этом большой смысл жизни...

И Виктор всерьёз начал заниматься собой. Распорядок занятий установил для себя строгий: после работы вечером — сон, в два часа ночи — физзарядка, упражнения на разминку, затем ходьба с постепенным её ускорением... Утром — обливание из ковша холодной водой.

Со временем комплекс физических упражнений он постоянно дополнял, совершенствовал. С помощью лекарственных трав, настоек из которых готовила мать, удалось залечить и язву желудка. Уже через год он регулярно бегал на дистанцию в один километр, а через два преодолевал десятикилометровый рубеж. Это была победа над собой!

Ещё одна победа — сдал экзамены и стал студентом Всесоюзного заочного машиностроительного института. Впоследствии он успешно окончил заочную аспирантуру.

Отслужил и в армии, в погранвойсках.

70-е годы, как считает сам Виктор Семёнов, были тем периодом времени, когда он, работая ведущим инженером в лаборатории пайки, начал делать в науке первые шаги.

В той лаборатории он с коллегами провёл большую наукоёмкую работу. Тогда началась новая эра в изготовлении паяно-сварных конструкций двигателей ЖРД и развивалась новая теория пайки медно-стальных конструкций. Но проектировщики не учли природу появления трещин при пайке и сварке конструкций. А институты от этой проблемы отошли, считая её решение невозможным. Что делать? Создавать новые материалы? Опять “раскручивать” проектировщиков, научные институты? Но время не ждёт. На кону — безопасность страны! И Семёнов отважился. Он спроектировал установку для испытания образцов. Затем, получив одобрение главного инженера завода, собственноручно собирал по крохам нужные детали, создавал новые и в течение месяца

при круглосуточной работе изготовил установку, которая позволила решать основную проблему: оценку стойкости металлов к образованию трещин.

В 1976 году Виктор Семёнов защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Исследования, разработка и внедрение технологии пайки форсуночной головки”. Впоследствии он по собственной инициативе (без всяких договоров) провёл в ряде передовых институтов страны разносторонние исследования. Те, которые помогли установить причины появления трещин и найти оригинальные способы защиты от воздействия расплава припоя при пайке. Комплекс проведённых работ позволил Семёнову защитить докторскую диссертацию, а по механизму разрушения металлов при пайке получить диплом за научное открытие.

Конец XX века – начало XXI-го в наиболее развитых странах мира проходили под флагом перехода на шестой технологический уклад. На крупных предприятиях шла борьба за освоение и внедрение новых технологий. Без них было немыслимо поступательное движение вперёд экономики любого государства. Опыт Китая в те времена доказал значение прорывных технологий, необходимость тесного слияния науки с производством.

Виктор Семёнов шёл в ногу со временем. Не довольствовался тем, что защитил докторскую на основе результатов деятельности родного завода, он ездил по другим предприятиям авиационной и космической отрасли, встречался с ведущими инженерами и конструкторами, а чаще, систематически, ездил в выходные дни в библиотеку имени Ленина, расположенную поблизости от Кремля. И там, в Библиотеке, где стал активнейшим читателем, поднимал горы научной литературы (российской и зарубежной) в поисках нужных для него “Энергомаша”, научных гипотез и открытий.

В 1986 году, спустя более 10 лет после начала изготовления ЖРД РД-171, случилась трагедия... Комиссия ВПК забраковала 20 двигателей, подготовленных для запуска космических кораблей. Причина: трещины в паяно-сварной конструкции тора (тор – название изделия). Генеральный директор “Энергомаша” Станислав Петрович Богдановский, по рассказу очевидцев, в этот момент готов был выпрыгнуть в окно. Ещё бы! Срывалась годовая программа. Строгие выговоры, а то и увольнение, неминуемы... Потому что наряду с двигателями было забраковано 50 тонн стали, поставленной на завод для изготовления, в том числе, конструкции тора.

О той трагедии Виктор Семёнов рассказывает:

– По сути, вины энергомашевцев не было. Химический состав стали был утверждён “наверху”. Нам поставляли сталь, и мы изготавливали из неё тор. И вдруг, в ходе расследования, обнаружили: содержание бора в стали составляет 0,05-0,06% при допустимых 0,035. Отсюда и пошли трещины...

Отступление для читателя: тор в диаметре около метра, толщина двойная (две стенки) порядка 20 мм, вес почти 200 килограммов; данную конструкцию энергомашевцы между собой называют “бубликом”.

– Новую партию стали, – продолжал Виктор Никонорович, – обещали поставить не ранее, чем через полгода. Но если бы и поставили, то на изготовление новых “бубликов” для двадцати двигателей потребовалось бы более семи месяцев. То есть годовая программа сорвана... со всеми вытекающими отсюда последствиями... Словом, сидим со Станиславом Петровичем и смотрим друг на друга, он – на меня, я – на него. Он: “Придумать что-то можно?”. “Попытаюсь”, – отвечаю ему. – “Время нужно”. Он: “Сколько?”. “Хотя бы пару дней, – отвечаю. – Тянуть время не буду”.

Через два дня Семёнов вновь зашёл к Богдановскому в кабинет. Зашёл осунувшийся (не спал двое суток). Положил лист бумаги на стол, стал показывать, как следует разрезать “бублик” на четыре части, в местах разрезов срезать бракованную сталь, а вместо неё приварить сталь из имеющейся годной... и соединить вновь “бублик”, вмонтировать в двигатель.

Учёным-академиком из комиссии ВПК и ВИАМа – разработчика этой стали, Виктор Семёнов представил объёмистый научный труд (не листок бумаги!), с формулами и расчётами, и доказал состоятельность своей идеи.

Идея... В руках не подержишь, на зуб не попробуешь. Идея, если по-научному, – это понятие (представление), отражающее действительность в сознании человека... Виктор Семёнов, ненасытный в науке, беспокойный, необыкновенно пылкий и безгранично любопытный, всю сознательную жизнь

сражается за идеи. Он упорно “вступает в бой” с мало кому понятными проблемами (конкретно – трещины в металлах), изучает их, бьётся над ними. И упорно что-то открывает, изобретает, изготавливает...

Неистребимая жажда знаний в Семёнове и позволила ему (возможно, первому в мире!) открыть тайны сплавов и определить соответствующие технологии. А это прорыв в науке!

... Мне, автору, всё же непонятно: кто есть Семёнов – физик, химик или математик? Непонятно отчасти потому, что в последние годы он привлекается, к примеру, к программе удешевления строительства наших космических кораблей. Он занят исследованиями и расчётами, и, по его словам, экономии здесь можно добиться в разы – определённые “бумаги” он давно положил на определённые столы.

Однако вернёмся к трагедии энергомашевцев в связи с поставкой им “не той” стали. После того, как Семёнов представил учёным-академикам свой научный труд, его спросили: сколько времени потребуется на изготовление нового “бублика”? “Дней семь!” – ответил он. Потребовалось, однако, всего четверо суток. Четверо суток непрерывной, круглосуточной работы, при которой Семёнов практически не покидал завода.

В тот год “Энергомаш” выполнил годовую программу.

... Через dieci десять после того, как Виктор Семёнов озвучил Богдановскому свою идею, тот пригласил его к себе в кабинет и спросил:

– Сколько заплатить за идею и труд? Готов выплатить любую сумму.

– Нисколько! – ответил Виктор Никонорович. – Эту тему не хочу и рассматривать, Станислав Петрович.

Богдановский принял самостоятельное решение. Он знал, что Семёнов не возьмёт никакие деньги, а потому распорядился купить ему в качестве поощрения машину.

Свеженькие “Жигули”, из числа машин, сделанных по спецзаказу, вручили Семёнову на заводе торжественно и прилюдно. А в придачу – букет цветов.

... Вспоминая сегодня ту историю, спрашиваю Виктора Никоноровича:

– Что помогло тогда? Секреты из Библиотеки им. Ленина?

– И они в том числе! – улыбался Виктор Никонорович. – Но больше всех мне помог Дмитрий Иванович Менделеев... Что мы знаем о нём и его трудах? Иные выпускники школ и даже вузов знают лишь его “Периодическую систему химических элементов”... Между тем, Менделеев, живший в XIX веке, оставил нам в наследство более 25 томов своих важнейших трудов... Таких, как “Растворы”, “Геофизика и гидродинамика”, “Газы”, “Нефть”, “Работы в области металлургии”, “Экономические работы”... 25 томов! И во всех работах столько подсказок для нынешних технологов и конструкторов!.. Только читай! Менделеев и о науке говорил, что она как всякий живой организм представляет диалектическое единство сосредоточения и развития, статики и динамики. Что наука состоит не только из добытых у природы точно установленных данных, “не только из совокупности общепринятых точных выводов, но и из ряда гипотез, объясняющих, выражающих и вызывающих ещё не точно известных отношения и явления”. Наука рациональна в динамической своей части – в гипотезах, в выборе проблем, в методах поиска...

А ещё Виктор Никонорович называл имена великих физиков, их труды... И, казалось, его ни остановить, ни перебить нельзя, настолько он вжился душой и сердцем в химию, физику и, вообще, в науку. И мне, его младшему товарищу, становились понятными его порой круглосуточные работы на “Энергомаше”, его бессонные ночи за научными трудами в поисках истин. Истин, нужных и ему самому, и обществу.

Меня откровенно удивляет, почему в прошедшие годы Семёнов, получив научные степени и добившись мирового признания, совершенно безразличен к получению звания академика? Мол, не дают – просить не стану. Гордый он! Довольствуется тем, что, бывая в научных кругах в стране и за рубежом (объездил полмира!), был окружён пристальным вниманием, и к нему относились и сегодня относятся с большим уважением и почтением. Но со временем хорошо знающие Виктора Никоноровича поняли, что, во-первых, высокоименным и титулам он предпочитает ежедневный труд, а во-вторых, его нежелание просить о себе и за себя в силу жёсткого и строгого отношения к самому себе ярче слов говорит о его духовном облике. Можно, например, привести

десятки случаев, когда ему предлагали деньги в качестве материального поощрения, а он говорил “нет” и отмахивался, как от назойливых мух. Но именно отсутствие у Семёнова какой-либо страсти к деньгам, как и к любой наживе, лучше всего свидетельствуют о его воспитанности и, конечно, о торжестве советского строя, при котором он вырос.

Пользуясь данным случаем, надо прямо сказать: Советский Союз и его школа воспитания до сих пор остаются уникальными как кузница формирования Человека будущего. Такие раздумья одолевают меня в связи с рассказом о Герое нашего времени – Викторе Семёнове.

А ко всему, в порядке справки, приведу стенограмму из архива Д. И. Менделеева, о которой у нас в Академии наук, очевидно, забыли. Дмитрий Иванович считал, что академиком может быть избран учёный, живущий в любом городе России. Он считал, что академия должна иметь свои лаборатории, обсерватории и мастерские, что её филиалами должны быть университеты и научные общества страны. Он считал, что в академию должно избирать не только учёных, но и крупных инженеров и конструкторов, которые предъявляют не опубликованные статьи, а воплощённые в металл мосты, здания и машины. Он считал, что академия должна не только заниматься научными исследованиями, но и быть консультантом государства по всем без исключения научным вопросам.

... В 2019-м мне, автору этих строк, имеющему доступ к личным архивам Виктора Семёнова, было вновь приятно подержать в руках награды, полученные старшим товарищем, и почитать хранящиеся им несчётные поздравления и телеграммы. Взял в руки телеграмму за подписью ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана академика РАН И. Б. Фёдорова и читаю: “Глубокоуважаемый Виктор Никонорович!.. От имени коллектива... и от меня лично примите самые искренние и тёплые поздравления... Вы внесли большой вклад в развитие отечественного двигателестроения для ракет, отдав более 50 лет своей инженерной и научной деятельности...”.

Кстати, с именем академика Фёдорова в жизни Семёнова связано примечательное... К 100-летию со дня рождения Андрея Николаевича Туполева бауманцы решили поместить его барельеф на фасаде главного корпуса – правее барельефа с изображением Сергея Павловича Королёва. Сделали проект и определили: барельеф следует выполнить из латуни. Стали искать подрядчика. Но из приглашённых никто не взялся за данную работу. У всех возникала загвоздка: как латунь соединить с камнем? А юбилейная дата Туполева поджимала по срокам. И Фёдоров позвонил Семёнову, попросил срочно подъехать.

– Прямо сегодня? – спросил Виктор Никонорович. – Может, завтра? У меня завтра плановая лекция в вашем институте...

– Лучше сегодня! – настаивал ректор.

Короче, Виктор Семёнов “полетел” в “Бауманку”. Ознакомился с проектом. И за четыре дня работа была выполнена.

На открытие барельефа собрались сотни бауманцев, подъехали многочисленные гости, в их числе – родственники Андрея Туполева (по телевидению показали торжественный момент и автора работы). Потом, за праздничным столом в кабинете Фёдорова, узким кругом, отмечали юбилей прославленного конструктора самолётов ТУ... Рядом с собой ректор института усадил Виктора Семёнова. Не успели и “разогреться” – в кабинет вошёл Юрий Михайлович Лужков, попросил прощения за опоздание. Ректор предложил мэру Москвы место возле Семёнова...

Праздник удался. Говорили за столом о многом. Беседуя с Юрием Михайловичем, Семёнов посвятил его в свой проект по утилизации бытового мусора и ликвидации в Подмоскovie мусорных свалок. Мэр внимательно выслушал изобретателя, заключил неожиданно:

– Деньги есть. Но... уважаемый Виктор Никонорович, мне проще закупить завод (мусоросжигающий. – **Д. Г.**) за рубежом, чем строить...

– Почему? – недоумевал Семёнов.

– За свой завод надо отвечать... Вдруг что-то не заладится. А тут... все претензии – к поставщику.

Семёнов попытался возразить мэру, высказал ему в глаза, что нельзя уподобляться гайдоровским реформаторам, полагавшим всё нужное купить за границей, что по этой причине в стране редкостные ряды рационализаторов и изобретателей, а российская наука погибает. Убедить Лужкова не удалось.

Финал того праздника был таков: Фёдоров, оставшись с Семёновым наедине, спросил:

– Сколько должен за работу (барельеф. – **Д. Г.**)?

– Нисколько! – отвечал Виктор Никонорович. – Имя Туполева для меня более чем дорого. Никаких денег не возьму!

Здесь, в порядке отступления, скажу: за лекции, читаемые Семёновым на протяжении многих лет в “Бауманке” (и в других московских институтах), он от денежного вознаграждения отказывался категорически. Однако “умудряются” периодически отправлять деньги лектору на его почтовый адрес (или на карточку). Он, Семёнов, при получении денежных переводов тут же отправляет деньги... детям, по конкретным выбранным им адресам. И этой благотворительностью он занимается очень давно, о чём свидетельствуют квитанции, хранящиеся у него дома.

Вернёмся всё же к ответу Семёнова Фёдорову “никаких денег не возьму!”. Вскоре, после юбилея Туполева, Семёнову позвонили из института и сообщили, что Фёдоров принял решение выпустить книгу с научными трудами Виктора Семёнова. Та книга стала в институте учебником, им до сих пор пользуются и преподаватели, и студенты.

– Такой вот подарок сделал мне Фёдоров! – сказал Виктор Никонорович в одной из последних наших бесед.

На одной из встреч с Семёновым он, крепко сложенный, моложавый и подтянутый, вспоминал о работе на “Энергомаше”. Рассказывал о друзьях и товарищах, о том, как, будучи главным инженером в 90-е, был вынужден заботиться не столько о технической стороне дела, сколько о хозяйственных нуждах завода и нуждах всей экономики, а также в буквальном смысле слова – о выживаемости предприятия.

– В стране, – говорил Виктор Никонорович, – царил хаос и неразбериха... Аукнулось и на заводе. Финансирование резко сократилось, зарплата рабочих снизилась, да и та выдавалась с опозданиями. В итоге пошёл отток кадров, особенно среди молодых специалистов. С уходящими беседовал почти с каждым. Иных уговаривал остаться. Но большинство молодых бежали. Они, молодые, как в те времена, так и сегодня, хотят зарабатывать много и сразу, переоценивая подчас свои способности и возможности. Их души разрил вирус рыночной экономики, идеология которой построена на материальной основе и с чисто потребительскими оттенками, когда на первом плане стоят одни удовольствия. При этом духовные ценности не берутся в расчёт. Отсюда у молодых и пошло нежелание учиться, покупка за деньги дипломов об образовании, а в вузах началось “перепроизводство” посредственных и даже просто плохих дипломированных специалистов.

В советское время молодой человек уже к 15 годам обретал социальную зрелость. А несколько месяцев ученичества на рабочем месте делали человека начинающим профессионалом почти любого профиля. Но время ельцинских реформ перевернуло всё вверх ногами, и к концу прошлого века, да и в начале 2000-х найти грамотного специалиста, а тем более инженера, было сложно.

Поэтому-то в тот период Виктор Семёнов львиную долю времени уделял комплексному подходу к решению всех проблем во всех звеньях экономики предприятия. При этом он определял путь стимулирования труда специалистов всех уровней, повышая их инициативу на каждом рабочем месте. Он организовал переход предприятия на схему “что заработаешь, то и поешь”, что позволило расширить звенность управления и способствовало сокращению инженерно-технического персонала и рабочего класса. “Старая гвардия” поддержала “новшества” Семёнова, а многие из них, преданные заводу, оставались трудиться и после пенсионного возраста.

Всякий честный труд, какой бы он ни был, достоин уважения. Грязного труда нет. Грязной может быть только совесть! Труд – единственный титул истинного благородства. Если бы все люди трудились, то все были бы богаты и счастливы. А рабочий человек всегда был на самом правом фланге всех работающих – ведь, прежде всего, его руками на земле созданы и создаются все блага. Вот почему Семёнов уделял особое внимание рабочему человеку – человеку труда, видя в нём главный успех любого предприятия.

Да и как было можно обойти вниманием рабочего человека, когда Виктор Никонорович пригласил работать на завод не одного, а десятки людей! В том числе своих братьев, сестёр и многочисленных племянников. Сегодня Виктор Никонорович с гордостью подмечает, что общий стаж работы его семьи на родном предприятии составляет более 300 лет.

В те лихие и суровые 90-е Семёнов не вылезал из производственных цехов завода и знал по имени практически каждого из работников, делал всё, что в его силах, для того, чтобы люди трудились с лёгкой душой, верой в способность предприятия выжить и в его будущее. О том времени он писал:

“Не секрет, что футболиста покупают за миллионы долларов за забитые мячи в ворота соперника. О нём говорят, пишут, трескотня идёт по многим каналам теле- и радиовещания. А престиж страны и защиту отечества своим трудом на предприятии, прокладывая дорожку в космос и повышая мощь государства Российского, создавали и создают рабочие, инженеры, конструкторы, прочисты, испытатели и другие специалисты совместно с руководителями. И вклад каждого из них есть исторический подвиг. А по жизни подвиги срока давности не имеют. . .

Что же произошло сегодня? Нет той заинтересованности у молодых специалистов работать на подобных предприятиях, в том числе и у нас. Нет места для науки, творчества и изобретательства. Профессионалам нет места в руководстве и в производстве. . . Такое впечатление, что производство чахнет — как в известной песне: “а нам всё равно”. Ну, а что будет дальше? Кто будет решать проблемы? Ведь они и в серийном производстве были, есть и будут! А кто будет поддерживать эстафету первенства, мощь и престиж страны? Кто будет создавать новые двигатели?

Конечно, не хочется на печальной ноте продолжать тему и задавать вопросы. Воспользуюсь зерном оптимизма и попробую отыскать его в производстве и посоветовать, как это сделать, чтобы получить хороший урожай. Думаю, что нам нужно вспомнить, что сегодня у молодёжи в основе их жизненного кредо — деньги. Я совсем их не осуждаю за это. Ведь жить-то нужно. А без денег, как говорится, жизнь плохая, не годится никуда. Но откуда их взять? Это крайне интересный вопрос, уместный. Полагаю, что для решения его нужна этапность действий, включая набор специалистов, в том числе молодых, их обучение в производственных условиях, создание общей исследовательской базы на предприятии с опытным производством наряду с серийным изготовлением ЖРД. Помимо этого следует иметь программу работы с молодёжью. Здесь чрезвычайно важным является их начальная зарплата, приемлемые условия их быта и дальнейшее непрерывное обучение и забота о них. При этом оплату труда нужно рассматривать по их вкладу в производство, а не по стажу работы и тарифам. Тогда будет стимул у них в работе. При таком отношении к молодёжи урожай, полагаю, будет неплохой. И мы увидим, что плоды совместных наших усилий найдут отражение в новых технологиях, разработанных ими, с воплощением в них инновационных решений. . .”

Здесь позволю себе сделать отступление и подчеркнуть: Виктор Никонорович Семёнов — член Союза журналистов России. Да и как было не принять его в этот творческий союз! У Семёнова более трёхсот авторских свидетельств, патентов и статей в нашей стране и за рубежом. Но главный его писательский труд, по его же мнению, — книга “Через трудности к победе!”, рассказывающая о работе на НПО “Энергомаш” и многих-многих сотрудниках. Книга богато иллюстрирована фотографиями, в ней названы лучшие рабочие, инженеры, медики, работники бухгалтерии, библиотекари, секретари. . .

Помимо научных проблем, заслуженный металлург и главный сварщик России поднимает в издании такие вопросы, которые многим могут показаться несущественными, — например, о быте. Но если у сотрудников нет жилья, и заработную плату они получают с задержкой, они разве смогут работать качественно?

Ещё в макете книга стала раритетом: её хотели иметь виднейшие российские профессоры, звонили даже из приёмной Президента.

Его книга “Через трудности к победе!” уникальна тем, что написана живым, образным языком. Автор специально сделал так, чтобы в ней не было ни одной цифровой выкладки, ни одной формулы! Так что книга интересна

всем – от семиклассника до академика. Для ребят она и познавательна, и увлекательна, а часть тиража Семёнов подарил библиотекам и учебным заведениям.

Писал он книгу тяжело, в чём и признался:

– Начинать и бросать несколько раз – слишком непосильную задачу поставил перед собой: хотел рассказать в ней и о научных процессах, и о людях, которые работали вместе со мной, а это значило дать портреты разных коллективов. Как было связать воедино, сделать органичным сплавом разных людей? Но, наконец, это получилось!

А ещё трудности состояли в том, что Семёнов писал книгу урывками, и на то ушло десять лет. Ведь для него не существует такого понятия, как “свободное время”, он работает даже в отпусках и в выходные. За всё время работы на предприятии ни разу не брал путёвку, не ездил отдыхать. Всё свободное время в те времена проводил на даче, за написанием статей, книг, авторских свидетельств, патентов.

Если говорить о книге Семёнова “Через трудности к победе!”, то основной в ней лейтмотив – как создать в Советском Союзе новый, надёжный и сверхмощный двигатель для запусков космических кораблей во Вселенную.

– Чтобы запустить космический корабль, – говорил Семёнов, – необходимо сделать сплавы самых различных материалов, а это трудно. Зачастую на месте их стыков образуются трещины. И я изучал процессы их появления, искал технологии плавки, которые позволят их избежать.

В сказанном выше – весь секрет многолетнего труда Виктора Никоноровича Семёнова. Этим он и прославился на весь мир. Поэтому его и приглашали неоднократно в США, в Китай и в другие страны. И Семёнов, по многочисленным приглашениям, ездил по зарубежью. Ездил особенно в 90-е годы, когда жизнь родного завода была на грани смерти, энергомашевцам не из чего было платить зарплату. Об одной из командировок в США он рассказывал с улыбкой:

– Был в Америке всего две недели. Привёз нужные по контракту бумаги, показал патенты, провёл конференцию... Поработал напряжённо. Особое удовлетворение получил после того, как они показали мне платёжный документ с перечислением на расчётный счёт завода 11 миллионов долларов.

Большие денежные вознаграждения (не себе в карман, а на счёт завода) Семёнов получал и в других командировках. В этой связи у меня возник вопрос к нему:

– А как же с нашими секретами? Не выдали их потенциальным противникам?

Виктор Никонорович улыбался по-прежнему. Только его широкая улыбка на крупном мужественном лице сопровождалась хитроватым взглядом светлых глаз – мол, не обижай меня:

– На базе обширных общих проблем, – отвечал он, – технологические проблемы того времени включали: создание технологий пайки; предотвращение появления трещин в материалах при пайке; повышение прочности паяных соединений в местах критического сечения и так далее... Без сомнения, одним из важнейших этапов в создании ЖРД являлась разработка и изготовление уникального кислородно-керосинового двигателя РД-170/171; он был и остаётся в настоящее время самым мощным ЖРД в мире... Так что в командировках я отвечал на все вопросы, которые мне задавались; давал конкретные советы... Но в некоторых технологических операциях, не связанных с пайкой, был далёк от истины...

Меня одолел тогда следующий вопрос:

– В ближайшее время США догонят нас в производстве двигателей для космических кораблей? Да, сегодня США закупают двигатели “Энергомаша”, потому и санкций на энергомашевцев нет. Что будет завтра?

Отвечал Семёнов уже с задумчивым и серьёзным лицом:

– Чтобы США нас догнать, им потребуются десятилетия. Мы ведь не стоим на месте. В космической отрасли Россия никогда не сдаст свои позиции.

Виктор Семёнов – человек прямой, за свои слова отвечает. Привык отвечать. В любой ситуации, какой бы сложной или драматичной она ни была. Приведу только один пример, подчёркнутый мною из его книги “Через трудности к победе!”.

В конце 80-х после запуска РН “Зенит” (на нём был установлен новый сверхмощный жидкостный ракетный двигатель РД-171) произошла авария. Специально созданная комиссия, на которую был приглашён Семёнов, причиной аварии объявила некачественную сварку в одном из агрегатов двигателя. Акт к его приходу был готов, подписан всеми членами комиссии – всеми академиками. Требовалась лишь подпись Виктора Никоноровича – что означало: подписать акт и признать себя виновным (со всеми вытекающими последствиями).

О том заседании комиссии Виктор Семёнов написал в книге так:

“Время, продолжительность которого исчислялась месяцами на стадии изучения причины аварии РН, для меня было исключительно тяжёлым. Выдвинутая комиссией версия на первых порах о виновности некачественного сварного шва обрастала доводами и всевозможными фактами. Обвинения в мой адрес усиливались с каждым днём. Тучи сгустились над моей головой... В моём кабинете раздался телефонный звонок по “кремлёвке” (так я называл прямой телефон с генеральным директором и генеральным конструктором Виталием Петровичем Радовским). Шеф приглашал срочно явиться к нему. Понимая значение этого звонка, дорогой к шефу в моей голове пролетела со скоростью звука вся моя жизнь на предприятии. Надежд на благополучный исход этот звонок не сулил. Тяжесть внутри сковывала всё тело. Моё душевное состояние при приближении к кабинету шефа падало в геометрической прогрессии. В приёмной замечаю некоторых членов комиссии. Беру себя в руки и с высоко поднятой головой открываю дверь в кабинет генерального. Тотчас слышу его голос: “Проходите, садитесь и прочитайте это заключение о причине аварии РН. Ручка для визирования заключения перед Вами”. Тут же он высказывается, как бы напоминая, что причиной аварии является некачественная сварка. Проглотив всё сказанное шефом и усевшись в кресло рядом с ним и председателем комиссии, внимательно изучаю документ. Сердце стучит, как молот по наковальне, как будто собирается покинуть моё тело. Закончив чтение, делаю паузу, затем, обращаясь к Виталию Петровичу, сообщаю, что изложенная причина не соответствует действительности и поэтому подписывать не буду. Моё возражение, видимо, шокировало Виталия Петровича и, думаю, смутило его. В кабинете был председатель комиссии... Да и к тому же никто и никогда не мог себе позволить подобного... возражающий мог быть уволен с предприятия предыдущим числом. Poleмика была длительной. Председатель комиссии генерал Борис Анатольевич Лящук молчал, слушая нас. Затем, когда я высказал своё сомнение в компетентности членов комиссии в области сварки, Виталий Петрович остановил меня и прокомментировал: среди комиссии есть членкоры и академики Академии наук СССР, доктора технических наук – крупные специалисты отраслевых и других институтов. Кроме того, в комиссии работали конструкторы, прочнисты и руководители нашего КБ – разработчики ЖРД, не доверять им – невысказано. Воспользовавшись паузой, я не выдержал и объявил, что я тоже учёный, доктор технических наук и профессор и к тому же не случайный человек на производстве. Мой стаж работы здесь уже 30 лет, и каждую субботу или воскресенье круглогодично являюсь читателем технической литературы в Библиотеке имени В. И. Ленина. А потом, Виталий Петрович, прошу меня понять: если на самом деле причина не соответствует действительности, то не будет надёжного двигателя и рухнет престиж СССР в области ракетостроения вследствие повторяющихся аварий. На этом полемику останавливает председатель комиссии Борис Анатольевич Лящук и тут же спрашивает меня: “А какая Ваша версия? И есть ли в наличии данные для её обоснования?”. “Да, есть, – ответил я. – Но она ещё не имеет конечного результата и, конечно, ещё требуется дополнительное время для проведения исследований и эксперимента”. Ссылка моя на другую версию вызвала желание Бориса Анатольевича и Виталия Петровича услышать от меня объяснение методического и экспериментального образа действий в подходе по установлению моей версии, отличающейся от изложенной комиссией. Нужно отдать должное, что в дискуссии ограничений по времени не было, и характер её не носил условностей”.

Семёнов тогда акт не подписал.

После того заседания комиссии Семёнов, совместно с коллегами по работе, трудились две недели круглосуточно. И нашли причину аварии, проведя

многочисленные огневые испытания на стенде. Выяснилось, что авария произошла не из-за трещин, а из-за попадания масла во внутреннюю полость узла качания хвостового отсека двигателя. Благодаря разумному решению, принятому председателем комиссии, удалось не только установить истинную причину аварии, но и скорректировать технологию, обеспечивающую работоспособность и надёжность непревзойдённого никем в мире по сей день ЖРД РД-171.

Впоследствии генерал Б. А. Лящук, бывший председатель комиссии, писал в СМИ: “Благодаря тому, что В. Н. Семёнов с его коллегами установили истинную причину аварии, удалось обеспечить надёжность работы двигателя и избежать многомиллионных убытков, грозивших нашему государству в случае повторения аварий при запуске ракет “Зенит”.

Бесспорная важность работ В. Н. Семёнова, как с чисто теоретической, так и прикладной точки зрения, проявились в производстве качественного изготовления и последующих многих поколений ЖРД, в том числе таких, как РД-180 и РД-191 (“Ангара” лёгкого, среднего и тяжёлого классов). Значимым в их создании была интеграция науки с производством”.

Поясню выше подчёркнутое как заслугу Виктора Семёнова. Дело в том, что учёный учёному – рознь. Есть среди них те, кто ограничиваются защитой диссертаций, чтобы занять чиновничье кресло. Есть те, кто занимаются фундаментальной наукой, которая работает за горизонтом, а её результаты в лучшем случае могут оказаться востребованными лет через 50. А есть те (к их числу относится Виктор Семёнов), кто занят прикладной наукой с горизонтом 5-10 лет, а на её основе 75% изобретений. Прикладная наука, разгромленная в 1990-е годы и требующая крупных высокотехнологичных предприятий, даёт более быстрый экономический эффект. Если суммировать экономической эффект от научно-изобретательской деятельности Семёнова только на “Энергомаше”, то он, по мнению специалистов, составляет сотни миллионов рублей. Можно посчитать и экономический эффект от вклада Семёнова в человеческий капитал – более 20 лет читает лекции не только студентам, но и профессорско-преподавательскому составу в престижных московских вузах, плюс масса его научных работ, используемая в учебных заведениях страны. А ко всему этому следует добавить: деятельность Семёнова на “Энергомаше” была связана с государственными задачами – космическими и ядерными проектами. То есть его научные идеи, его десятки изобретений и открытий, запатентованные по всем международным правилам, легли в государственные российские проекты, признанные мировым сообществом. И тут уместно высказывание Менделеева: “...Творцом научной идеи должно того считать, кто понял не только философскую, но и практическую сторону дела, сумел так его поставить, что в новой истине все могли убедиться и она стала всеобщим достоянием. Тогда только идея, как материя, не пропадает”.

О науке в целом Виктор Никонорович в нашей беседе сказал так:

– Государству нужна живая, прогрессивная, результативная и одухотворённая наука. А не её видимость. Важно, чтобы этой наукой руководили опытные высококвалифицированные учёные, а не “менеджеры от науки” со своими бюрократическими приёмами администрирования... Надо укреплять науку в НИИ, КБ и на производстве, поскольку это имеет принципиальное значение для инновационного развития страны.

Вспоминается эпизод, произошедший в стенах МАТИ. Этот институт, как, впрочем, и академия имени Жуковского, и МГТУ им. Баумана, любим Семёновым. Он выступает с лекциями и докладами, даёт “дорогу в жизнь” многим молодым учёным, является научным руководителем или оппонентом при защите докторских диссертаций. На одной из защит в МАТИ, как рассказывал Виктор Никонорович, члены учёного совета отказались дать “добро” молодому человеку Н. Семёнов вмешался... О том случае вспоминает:

– *Очень интересной была защита в МАТИ. Защищался молодой человек, который применил математику к сварочным процессам. Это было очень необычно, и его сначала члены совета не поняли: “Мы – сварщики. Зачем нам какие-то формулы, математика?”. А я его поддержал. И после моего выступления весь совет проголосовал “за”. Дело в том, что много лет назад мне самому был задан вопрос: “Как вы можете математически объяснить выводы, сделанные из своих работ, связанных с жидкометаллическим охрупчиванием?”.*

И я задумался над этим и понял, что сильная математическая база быть должна. Она помогает уменьшить количество экспериментов, а благодаря этому можно добиться качественного результата в сварке. Да и как мне не защищать молодых учёных, которые оперируют на защитах моими словами и заключениями, которые есть в учебной литературе, в том же известном “Справочнике машиностроения” МГУ. В том справочнике мне принадлежит, например, раздел, посвящённый пайке. Такой пайки, которой мы с коллегами занимаемся на заводе, больше нигде в мире нет. В другой книге – “Справочник по пайке” – мне принадлежит довольно объёмный раздел о физике твёрдого тела и механике разрушения. В нём говорится о проблемах, возникающих при разрушении твёрдых металлов в контакте с жидкометаллическими средами. В разделе представлены теоретические разработки, связанные с предотвращением появления и развития трещин. У этих работ больше практическое значение: они являются базой для студентов, инженеров и научных работников. Особенно интересна тема жидкометаллического охрупчивания.

У Виктора Семёнова имеется богатый домашний архив. Хранит в нём патенты на изобретения, переписку с известными российскими и зарубежными учёными, научные сообщения, касающиеся его трудов, отдельные письма и поздравления. . .

Просматривая однажды содержание архива, обнаружил необычное письмо, написанное его коллегой по работе Константином Дубровским. Читаю:

Ангел-хранитель

В те годы наше предприятие НПО “Энергомаш” активно сотрудничало с американской фирмой “Пратт-Уитни” в части ознакомления с технологией изготовления нашего ракетного двигателя РД-180 для их ракеты-носителя “Атлас”. Они приезжали к нам, мы – к ним. Съездить в Штаты, во Флориду, где находится эта фирма, была мечта каждого инженера НПО.

В очередную командировку изъявили желание поехать несколько человек из отдела главного металлурга, где я тогда работал. Но по каким-то причинам Семёнов Виктор Никонорович, бывший тогда главным инженером, остановил свой выбор на мне. Надо сказать, что я в тот год не очень рвался в дальние поездки; в прошлом году уже там побывал, две смены подряд. К тому же что-то стало пошаливать сердечко: прицепилась эта гадкая стенокардия, когда при ходьбе нужно было останавливаться через каждые сто метров и приходиться в себя. Короче, я был не прочь и не ехать. Но Семёнов сказал: “Надо”. Ну, надо, так надо.

И вот уже группа из четырёх человек от НПО в самолёте, парящем над Землёй на высоте десять тысяч метров. Настроение нормальное, рабочее. Ничто не предвещало чего-то из ряда вон выходящего.

Приземляемся в Нью-Йорке. Здесь надо было пересаживаться на другой самолёт, следующий в Атланту, а потом в Атланте ещё на один – курсом на Флориду.

Запаса времени нет, нужно идти быстрым шагом, а лучше бегом, из одной секции аэропорта в другую. Пошёл, но вдруг почувствовал, что дальше идти не могу: болит грудь и задыхаюсь. В бегущей толпе прислонился к стенке и слегка присел. . . Неожиданно откуда-то подбежали ко мне полицейские. Я и слова сказать не успел, как они подхватили меня на руки, и через несколько мгновений я оказался в “Скорой помощи”, которая, громко сигнализируя, мчала меня в ближайший госпиталь с красивым названием “Ямайка”.

Так же быстро я оказался в руках докторов, которые мгновенно определили, что у меня инфаркт и что мне нужна срочная операция на сердце, поскольку идущие к нему сосуды никуда не годятся. Через пару часов меня уже везли в другой госпиталь под названием “Ленокс”, где и должны были провести со мной дальнейшие манипуляции. Хирурги этого госпиталя определили, что нужно сделать АКШ, т. е. аортокоронарное шунтирование сердца и, кроме того, установить стент в сонную артерию.

Ровно через неделю, после всяких подготовительных процедур, это было, помню, 1 октября – день пожилого человека (тогда мне было 68), операция была успешно сделана. А ещё через неделю меня выписали из больницы. Тут уже было не до командировки. Но и возвратиться в Москву врачи запретили. Какое-то время должен был оставаться в Нью-Йорке под контролем докторов.

Никаких знакомых, естественно, у меня в этом городе не было, и тогда фирма, на которую я летел, устроила мне проживание на 6-й авеню в центре города в шикарном отеле под названием “Шератон”. В нём я со всеми удобствами и на полном пансионе (на содержании американской фирмы) прожил около месяца.

Ещё в госпитале “Ленокс” медперсонал просветил меня, что нахожусь в лучшем кардиологическом центре и что операцию мне делали самые лучшие хирурги Америки. Последними их словами были: “У вас есть ангел-хранитель!”.

Я подумал, что, безусловно, есть, и я даже знаю его имя. Это тот человек, который знал наверняка, что в ближайшие дни у меня будут проблемы со здоровьем, а потому срочно отправил на лечение в Америку. С удовольствием и благодарностью называю его имя: Виктор Никонорович Семёнов!

К. Дубровский

Конец 90-х, разрушительных для России, был “урожайным” для Семёнова. Он стал лауреатом конкурсов “Изобретатель и рационализатор” и “Техника – колесница прогресса России”, удостоился звания “Заслуженный металлург РФ”, его неоднократно приглашали работать в Китае, США, Бразилии, Венгрии и других странах. В командировки он выезжал (чтобы заработать для завода деньги), но не более.

Не обошли вниманием Виктора Семёнова и американские партнёры. Они выдали российскому учёному свои свидетельства и патенты, подтверждающие научные открытия в пайке, сварке, литье и металлах; опубликовали отдельные значимые научные работы; приняли членом общества сварщиков США. А уж на всемирных конференциях и симпозиумах со всех трибун восхваляли талант Семёнова, его гениальность.

На похвалу и открытую лесть зарубежных “друзей” Виктор Никонорович реагировал снисходительно, с затаённой усмешкой. Он отчётливо понимал, к чему все расшаркивания перед его персоной и к чему вся эта лестно-хвалебная прелюдия. На его глазах российский министр финансов Алексей Кудрин был признан Западом в 2004 году лучшим финансистом мира, обласкан зарубежными финансовыми воротилами, и в ответ Кудрин тут же поторопился создать Стабилизационный фонд с целью сохранения доходов России от нефти на Западе; и это в то время, когда российской инфраструктуре и российской промышленности не хватало денег для нормального функционирования. Негативные последствия кудринской политики Виктор Семёнов испытал, что называется, на собственной шкуре, когда, будучи главным инженером, вместе с огромным коллективом завода, являющегося флагманом российской промышленности, переживал острый дефицит денег; их не хватало на развитие производственных мощностей, на платежи с многочисленными партнёрами, на своевременную выдачу рабочему классу заработной платы.

Лесть и хвала в понимании Семёнова – это страшное разрушительное оружие, способное уничтожить в человеке всё человеческое, сделать его инертным и неподвижным улыбающимся манекеном; стоять стоит, но на большее не способен.

К тому же у Семёнова развито собственное житейское чутьё. Он во всех взаимоотношениях, особенно в поездках за рубеж, интуитивно чувствует “своих” и “чужих”. Чувствует в подходе к нему и приветствию, по тону разговора и взгляду глаз – все мелочи, на первый взгляд, относятся к новому собеседнику очень многое. У того же Семёнова чуть прищуренный искристый взгляд глаз, по-русски широкая улыбка и высокий лоб на открытом лице подчёркивают его действительную доброжелательность и неиссякаемое жизнелюбие. А когда он начинает с кем-то общаться, то уже по отдельным его лаконичным и весомым фразам, в которых нет ничего лишнего, просматриваются гибкий ум и сметливость; он, кажется, наперёд знает, о чём дальше ты будешь говорить и спрашивать.

В одной из зарубежных поездок к нему подошёл один из присутствующих на конференции и начал предлинно: “Вас, господин Семёнов, знает весь мир, вы один из лучших российских академиков...”. Семёнов прервал: “У вас вопрос ко мне?”. Незнакомец понял: Семёнову лесть не по душе и ни к чему, продолжил конкретнее: “Я знаю вашу скромность и как вы живёте... Мы предлагаем Вам работу, высокую оплату и самый современный коттедж...” “Кто “мы”?” – вновь прервал Семёнов незнакомца. Но едва тот произнёс слово

“Америка”, как Виктор Никонорович отрезал: “Извините, тороплюсь!”, и с этими словами покинул незнакомца.

Аналогичный диалог состоялся и на родном заводе, когда сюда приехали американские заказчики двигателей ЖРД. В тёплой и деловой обстановке, когда уже о делах было всё сказано и разговор под чай перешёл на мажорную и шутовскую ноту о способностях русских рабочих, один из заказчиков как бы вскользь заметил: “Вы, академик Семёнов, наверное, привыкли к простеньким костюмам... У нас в Америке вы могли бы выглядеть гораздо богаче...”. Виктор Никонорович парировал тут же: “Мой костюм мне нравится. И разве дело в нём? Ленин, как известно, ходил в заштопанном костюме. А мои учителя, тот же Сергей Павлович Королёв, вообще не были любителями костюмов и галстуков... разве только по официальным случаям”.

В задушевной беседе возникла пауза, затем заказчики заговорили о чём-то на своём языке. Но, как понял Виктор Никонорович, их разговор касался именно его — услышал в свой адрес сказанную на английском фразу: “Ох, уж этот Семёнов!.. Какой же он несговорчивый...”.

Конечно, Америка и Китай, куда Виктора Семёнова приглашали работать, далеко. А Европа? Она рядом. Два часа лёту, и вздремнуть не успеешь.

В Европе, находясь в командировках, Виктор Никонорович чувствовал себя поуютнее и поспокойнее. Особенно в Венгрии. Даже потому, что венгры — сродни славянским народам; они и ныне считают русских своими спасителями от фашистской чумы.

Однажды венгерские друзья командировку Семёнова начали с поездки на озеро Балатон (расположено на западе Венгрии). На озеро, которое является самым большим в стране и крупнейшим в Центральной Европе, которое по рейтингу среди посещаемых курортов Старого Света занимает одно из ведущих мест. Где климат напоминает средиземноморский. Где есть горы, плодовые сады и виноградники. Где воду из озера можно пить, а в водоёмах водится более 25 видов рыб. Где имеются минеральные и термальные лечебные источники...

У Балатона гостеприимные хозяева предложили перво-наперво возложить венки к памятнику погибшим советским воинам в марте 1945 года, когда танковая и полевая армии Вермахта оказывали яростное сопротивление войскам III Украинского фронта. А уж потом Семёнову показывали окружающие достопримечательности, расхваливая свой край. Обратили его внимание, как бы невзначай, на красивый двухэтажный особняк, вписавшийся в чудо-пейзаж возле озера, не более ста метров. Спросили гостя:

— Нравится?

— Получше моей дачи (на самом деле, дача Семёнова представляет собой деревянное строение около 100 м², которое он возводил в начале 2000-х своими руками много лет). А что?

На этом разговор об особняке закончился. Как будто его и не начинали. Вернулись к этому разговору позже. После того, как Семёнову показали одно современное и вполне технологичное крупное предприятие. Там он встретился с руководством, инженерами и рабочими, провёл в порядке обмена опытом беседы, высказал своё мнение и пожелания. После этого ему задали неожиданный вопрос:

— Смогли бы вы возглавить это предприятие?

— Смог бы! — отвечал Виктор Никонорович. — Знаний и опыта достаточно...

Вот тут ему и напомнили об особняке возле озера Балатон. И весь дальнейший разговор свели к тому, что, если он согласится стать генеральным директором предприятия, то этот вопрос будет решён на уровне правительств Венгрии и России, особняк отпишут в его личную собственность, подберут нужную прислугу, выделят достойную машину с водителем, гарантируют высокую зарплату и т. д. и т. п.

Семёнов, выслушав внимательно “дипломатов”, поблагодарил их за оценку его личности и доверие к нему, но ответил категорическим отказом, а в заключение сказал:

— Ещё в молодости пообещал сам себе: если выживу после всех болезней... — буду служить своей Родине вечно...

Что и говорить, у западных вербовщиков российских умов стиль работы никогда не менялся; они у себя на родине и в гостях пытались и пытаются до

сих пор переманить к себе любыми способами, честными и бесчестными, лучших учёных, инженеров, конструкторов, специалистов высшего класса во всех областях. Иные на их удочку клюют. И переезжают за рубеж, к новому месту службы, в надежде на лучшую жизнь, в погоне за большими деньгами. Но истинное счастье находят далеко не все. Потому что в чужой стране, нужны не просто специалисты, а таланты и гении; последние же, как правило, относящиеся к людям мудрым и дальновидным, предпочитают оставаться жить и трудиться на родной земле.

Семёнов и ныне трудится без остановки, каждый день. Только кроме забот и хлопот на родном предприятии ему прибавились ещё дела. Он участвует в объёмных и перспективных программах “Роскосмоса”, который своими нитями связан со многими научными институтами и лабораториями, а также с промышленными предприятиями. Он нужен русскому космосу, он востребован русской наукой, которой начал служить ещё в молодости. И хотя близкие, а в первую очередь жена, иногда делают ему упреки, что, мол, пора бы поумерить рабочий пыл, пора бы побольше внимания уделять семье, пора бы ему купить новый костюм... В ответ на упреки Семёнов одаряет всех щедрой улыбкой, отнекивается от всех “пора” и говорит одно слово: “Подумаем!..”

Однако главные думы Виктора Семёнова прежние: успеть сотворить ещё и ещё... А всё остальное для него, по его словам, есть вторичное, второстепенное.

А в прошедшие годы он “надумал-натворил” немало. После ухода с “Энергомаша” Семёнову предложили поработать в Государственном инженеринговом центре по технологическому перевооружению промышленных предприятий РФ, а с августа 2013-го – заместителем Генерального директора по науке и руководителем Института машиностроительных компетенций. И на новых должностях он также проявил себя успешно.

Но есть у Виктора Семёнова давняя мечта: улучшение экологии планеты. И этой мечте он посвятил более сорока лет жизни. Провёл многочисленные исследования, написал научные статьи (исходные данные позаимствовал у Менделеева, в его томах “Метрологические работы”, “Знания теоретические”, “Сельское хозяйство”, “Статьи и материалы по общим вопросам” и др.). Особое внимание уделил изучению экологии Подмосковья и всемирной проблеме – утилизации и переработке отходов жизнедеятельности человека. Он ещё в конце прошлого века сделал проекты мини-заводов по переработке бытовых отходов, запатентовал свои изобретения. Венгрия, Германия и другие страны приглашали его “поделиться” своими изобретениями. Спрос на Семёнова за рубежом по проблемам экологии был большой, и наши власти шли навстречу – отправляли человека-легенду на помощь в другие страны. И там, в той же Венгрии, в короткие сроки реализовывали его идеи.

И в этом научном направлении Семёнов не стоял на месте. Он предлагал всё новые, более совершенные, способы утилизации отходов. Разрабатывал, например, вариант установки, в которой учёл все недостатки применяемых, не требующих специальной подготовки (сортировки) отходов – предложил и запатентовал. Но этот вариант лежит и ждёт своего часа более 15 лет.

– Почему? – вырвалось у меня. – Где обещанный в “верхах” рывок в экономике?

Виктор Никонорович ответил сдержанно, по-научному:

– Технологические достижения прошлого сейчас нуждаются в срочном пересмотре. Несбалансированность заметно просматривается при создании новых материалов, технологий, конструкций, изделий; отмечается ослабление в проведении исследовательских и экспериментальных работ; наблюдается снижение связи между наукой и производством. Наука тоже хромает, особенно в прикладной сфере деятельности. Требуется усиление научного потенциала отраслевых институтов. Предприятия работают преимущественно на старом заделе, снижен темп в создании новых разработок, питаемых прогрессом и научными теориями...

Целую лекцию прочитал мне мой старший товарищ в тот вечер.

В последние годы график работы Виктора Семёнова по-прежнему насыщенный. Это систематические посещения родного завода, где его всегда рады видеть и загружают проблемными вопросами. Это участие в различных

мероприятиях, в основном научных, на предприятиях отрасли, например, в Роскосмосе. Это поездки во флагманские учебные заведения, где ему определены дни и часы для проведения открытых уроков, выступлений с лекциями, докладами...

Немало времени он потратил на написание книги “В здоровом теле – здоровый дух”. Эта книга родилась у него в голове давно, ещё в молодости. Как упоминалось выше, он вырос в годы войны в многодетной семье, в которой не имелось даже нормальных жилищных условий, а холод и голод были постоянными спутниками. Ещё тогда врачи предсказывали его матери, что шансы у ребёнка выжить и быть здоровым невелики. А он, дитя войны, не только выжил, но сумел и жизнь свою устроить, и стать полезным обществу и государству. И за это, в первую очередь, он, по его словам, обязан матери и старшему брату. Мать, не имея денежных средств, лечила его народными средствами, в основном – настоями трав (вылечила у сына язву). Старший брат разработал для него комплекс зарядки и физических упражнений, приучил его к ежедневным занятиям, а в армии пограничник Семёнов сумел ещё более укрепить своё здоровье. Он и ныне дня не может прожить без физической зарядки и спортивных занятий. В семидесятилетнем возрасте Виктор Никонорович принимал участие в марафонских забегах.

... У меня дома (не в его маломерной квартире!) предложил ему (в этом, 2019 году) сыграть в настольный теннис. Он, конечно, предупредил, что давно не брал в руки ракетку. Но, как начали с ним играть, так почувствовал силу его ударов и намётанный глаз. Бил (гасил) и слева, и справа с одинаковым остервенением. Свидетель нашей борьбы мой друг учёный Сергей Павлович Давыдов был восхищён подвижностью Виктора Никоноровича. Кстати, в ту встречу, после тенниса мы играли в шахматы; Виктор Никонорович и тут оказался сильным соперником.

Что касается книги Виктора Семёнова о здоровье, то, написав её, он дарит отпечатанный им текст друзьям и близким. Издать книгу, по его словам, сегодня проблематично: не каждое издательство возьмётся, не посмотрят, что ты известный, что твоё имя внесено в энциклопедии “Космонавтика и ракетостроение”, “Авиационная энциклопедия в лицах”, в инновационный справочник всемирного издания “Кто есть кто”... Семёнов всё же не врач, а создатель двигателей; предлагать издательству книгу о здоровье считает нецелесообразным и нескромным делом.

В ту нашу встречу говорили мы больше о том, что ожидать от нынешнего, 2019-го. В голове у Семёнова сегодня одно: будет ли в России ускорение технологического развития? Факты (а они – вещь упрямая), увы, не радуют. Составители российского бюджета демонстрируют откровенно наплевательское отношение к науке и поставленным президентом задачам развития высокотехнологических сфер производства. На инновации в целом выделяется не больше 9% от расходной части бюджета. На программу “Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности” в 2019 году отвели менее 300 миллиардов рублей – 1,6% от всех расходов. И всего лишь 2,3% средств, направляемых на реализацию этой программы, пойдёт на научные исследования и опытные разработки. А обратите внимание на бюджетный раздел “Национальная экономика”. Он предусматривает: за три года расходы на прикладные научные исследования снизятся на 60 миллиардов рублей! И это притом, что только отток капитала в 2018 году составляет почти 70 миллиардов долларов.

Похоже, в “верхах” не понимают значения науки. Когда (может, тогда?) нам явно не хватает глубины понимания многих явлений и идей, которые могли бы пролить свет на весь огромный комплекс современных технологий.

Правительство Медведева продолжает способствовать ослаблению влияния науки на отечественную промышленность. Рост экономики на современной инновационной основе, обещанный президентом, попросту перечёркивается. При этом власть предлагает поверить, что она готова реализовывать программу ускоренного развития экономики, не увеличивая расходы на неё. Но это только слова. А на деле лишь усугубляется тупиковый курс, провоцирующий деградацию экономики, а отсюда и народа.

Более всего Виктора Никоноровича беспокоит будущее молодого поколения. Тех, кому придётся в недалёком будущем трудиться на “Энергомаше” и ему подобных предприятиях.

— После распада СССР, — говорил он за столом, — в стране произошли большие изменения. Эта лавина изменений коснулась и образования и науки, но также не в лучшую сторону. Отсюда, как знаем, уровень подготовки студентов в технических вузах страны снижен. А ведь учёный мир растёт со студенческой скамьи... Масштабного всплеска в науке не предвидится...

В Советское время практиковалось обучение — были отраслевые институты повышения квалификации. Сегодня, из-за их отсутствия, представляется возможным повышение квалификации лишь при создании на предприятиях научно-технических школ, для повышения профессиональных знаний инженеров. Безусловно, это новая форма, но в целом интеллектуальное структурирование проблемы обучения является необходимым. Принципиальным в этом направлении будет возможность отделу кадров подбирать специалистов на руководящие научно-технические должности, такие как Главный инженер предприятия, Главный металлург и Главный сварщик из числа работающих на предприятии и окончивших здесь же трёхгодичную школу повышения профессиональных знаний. Именно технические руководители и инженеры формируют технологию — основу производства... Сегодня, к сожалению, на эти должности чаще всего назначают начальников цехов, исходя из того, что они имеют большой опыт в производстве. А где профессиональные знания? Да их просто нет. Поэтому имеют место сырые технологии, утверждённые ими. Отсюда появляются издержки производства, а в худшем случае — брак. В советское время практика выдвижения начальников цехов на указанные должности существовала. Однако в то время были институты (исследовательские), да и на предприятиях был излишек инженеров. Сейчас нет отраслевых институтов (условно существуют), а в ИТР предприятия испытывают большой недостаток. Так что прежний порядок выдвижения ИТР и начальников цехов без профессиональной их подготовки на научно-технические должности является неприемлемым...

Сергей Павлович Давыдов в какой-то момент не удержался и спросил Виктора Никоноровича:

— Вы не пытались пойти “наверх”, в правительство, и там высказать свои соображения?

— Зачем отнимать время своё и других?! — отвечал Семёнов. — Свои соображения высказал в научных работах, в книге “Через трудности к победе!”, которую подарил Владимиру Путину... Правда, в письменном ответе за подписью Суркова мне лишь сообщили: книга моя помещена в президентскую библиотеку... Читайте! Там всё сказано.

В тот момент мы с Сергеем Павловичем иронически усмехнулись. И рассказали своему собеседнику о том, как два года кряду “пахали” над одной работой, издали за свои средства научно-популярную книгу, нужную, на наш взгляд, в средних школах и в вузах... Как поехали в Министерство образования, желая попасть на приём к Ольге Васильевой, но с нами и разговаривать не стали... Как оставили в секретариате свою красочно изданную книгу с названием “Нам нужна только победа!” с приложением письма к министру в надежде на ответ... Но прошли месяцы, год, а про нас никто не вспомнил до сих пор.

Короче, в тот вечер пообщались прекрасно. Договорились, что встретимся в следующий раз по случаю дня рождения Юрия Гагарина. Для нас, да и многих людей России, имя первого в мире космонавта священо.

В настоящее время готовится к печати книга Виктора Семёнова “Космос — моя жизнь”. Уже в самом названии книги — отчёт автора о найденных им в молодости целях и пути в жизни, о том, что “жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...”. Подлинными героями в книге Семёнов называет Ломоносова и Менделеева, Циолковского и Королёва, Гагарина и Титова (а не Сахарова и Солженицына). О Юрии Гагарине автор вспоминает просто, но с гордостью... СССР повезло с Гагариным, и благодаря Гагарину Власти удалось нагрузить русский народ Общим Проектом — космосом; связать в сознании людей доступ в космос и судьбу человечества в целом, а плюс к этому и национальную безопасность, экономическое развитие и будущее нашей российской науки. Поколение гагариных и семёновых живёт великой Русской Мечтой освоить Вселенную на благо всего человечества.

ГЕОРГИЙ ПАНКРАТОВ

“ВДНХ: СКОЛЬКО СТОИТ ПОПАСТЬ В РАЙ?”

Исторический репортаж

1 августа 2019 года исполнилось 80 лет Выставке достижений народного хозяйства. Общего у нынешней ВДНХ и той, что существовала в советские годы, разве что территория, и та много раз перекраивалась, как и территория самой страны, где ВДНХ с 1960-х годов была провозглашена “главной выставкой”. Будучи маленькой моделью государства, выставка на протяжении всей своей истории переживала с ним торжественные и трагические моменты, а изучение особой жизни, которая царила здесь, — почти всегда повод поговорить о чём-то большем: чем жил человек в разные годы, что его занимало и было для него ценно, к чему он стремился, на что надеялся, как менялось отношение общества в разные годы к одним и тем же сферам жизни — отдыху, культуре, деньгам, алкоголю, потреблению, науке, религии, спорту, природе и даже любви и дружбе. Одна из самых знаковых и в то же время малоизвестных страниц в истории выставки — 1990–1991 годы, короткое время перед распадом СССР. О нём мы и поговорим.

В сентябре 1990 года Совет министров СССР постановил сохранить Выставку достижений народного хозяйства в общесоюзной собственности как единый выставочный комплекс. Хотя и столица, и РСФСР активно претендовали на перевод главного экспозиционного комплекса страны в их ведение. Этот эпизод в жизни выставки, показавшийся в смутные времена спасительным, на деле обернулся выходом на финишную прямую для той ВДНХ, какой она была задумана и построена во времена советского могущества. Никто не знал, что выставка доживает последние дни; и даже если целостность страны вызывала всё большие опасения, то для ВДНХ, с какими бы ни пришлось столкнуться трудностями сотрудникам, участникам мероприятий и обычным посетителям, никто не мог представить такого финала.

Смена идеологии и переход на “новые экономические рельсы” стали катастрофой для рядовых работников выставки, послужили снижению общей культуры её посетителей и удручающе сказались на облике павильонов, фонтанов и аллей. Но сама выставка как исторический и социальный объект, получив встряску, готовилась к сильнейшему рывку. Он оборвался в самом конце 1991 года, как обрывается песня, внезапно поставленная на паузу. Для ВДНХ эта пауза продлилась долгие 20 лет.

Именно распад Союза и последующие события показали, что новая модель существования, избранная выставкой, не принесла ей ничего, кроме дурной славы — ни успехов, ни процветания, ни яркой, насыщенной событиями жизни. Возможно, дело в том, что сохранить себя, отказавшись от самой своей сути, не может ни отдельный человек, ни такой огромный организм, созданный и управляемый людьми, как выставочный комплекс. А величественное название, от которого отказались сразу же, едва распался СССР, будет вспоминаться лишь как рифма из небезызвестной рекламы к слову “Меха”.

Спустя несколько лет — в 1999 году, срок не такой уж большой в масштабах выставки — её тогдашний директор Василий Шупыро сказал:

— К сожалению, мы окончательно утратили атмосферу, присущую ВСХВ–ВДНХ.

Сегодня мрачный постсоветский период истории выставки считают логичным завершением процессов, начавшихся в 1990 году. Но это не так. Те два года стали уникальным временем в её истории, временем страхов и надежд, проб и ошибок, временем, когда никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне, но многие были уверены в прекрасном будущем. Ведь мало кто догадывался, что впереди ждёт только большая пауза, в которой всё уже станет ясно, и не будет ни проб, ни надежд — ничего не будет.

Еще раньше, до решения Совмина, в январе 1990 года выставка была переведена на хозрасчёт.

— Перестройка непосредственным образом затронула и выставочное дело, потребовала кардинального пересмотра задач, функций, структуры, экономического механизма и стиля работы, — не устаёт объяснять заместитель генерального директора ВДНХ В. И. Сергеев.

Бюджетное финансирование подразделений выставки с 1990 года полностью отменено: крупные павильоны отпускались фактически в свободное плавание — отныне каждый должен зарабатывать, как может и чем может. Средняя ставка аренды выставочного помещения — 50 копеек за метр площади. Остальным павильонам рекомендовано самим вносить предложения по переводу на хозрасчёт, а если таких не находится — ликвидировать. Но порой не спасают даже предложения; так была закрыта знаменитая Круговая панорама и уволены все её сотрудники. Уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мире, находится в ведении кинодирекции Бабушкинского района, а спасти его пытаются обращением к начальнику московского “Киноvideопроката” — в служебной записке представлен проект самостоятельного функционирования в условиях рынка.

Судьбу сотрудников Круговой панорамы разделяют и многие работники выставки: за два года — с 1988-го по 1990-й — было уволено 450 “единиц”, и это известие в новых реалиях преподносится дирекцией скорее в позитивном ключе, причём только как первый этап сокращений. Действительно, к концу 1991 года число сотрудников выставки сократилось ещё на 2000 человек.

Одновременно с уменьшением штата резко увеличивается количество коммерческих услуг. Подразделения всю осваивают несвойственную им деятельность: производственно-оформительский отдел торгует заготовками из стекла и металла, выполняет заказы на конструкции для дома и садового участка, превращаясь фактически в “частную лавочку”, не имеющую отношения к задачам выставки, и даже — отдельной статьёй — “реализует отходы”. “Животноводство” занимается платным консультированием по разведению кроликов. Дом культуры ВДНХ организует платные кружки для работников и их семей вместо прежних бесплатных, таким образом создавая круговорот денег на выставке: работник получает от неё деньги и ей же отдаёт.

Со стороны большинства павильонов необходимость реформирования встречает молчаливое сопротивление: “К сожалению, перечень в основном сформирован по инициативе сверху”, — констатирует руководство.

Директор ВДНХ Вадим Саюшев сетует на то, что большинство крупных советских предприятий больше не хочет выставляться на ВДНХ — их продукцию “и так берут”. Крупные экспозиционные павильоны всё чаще выставляют иностранцев, небольшие павильоны остаются ни с чем. Территория, по мнению директора, используется неэффективно:

— У нас на ВДНХ достаточно прудов, а дохода от рыбы нет.

— Коровник пустует, можно использовать его не по назначению — пусть лучше будет склад, чем пустой коровник!

– Почему бы на газонах вместо ромашек не выращивать лекарственные травы?

Саюшев не отрицает, что в новой экономической реальности ВДНХ начинают теснить конкуренты, по его мнению, это только на пользу. Но кто конкуренты главной выставки Союза? Выставочный комплекс “Наука”, Торгово-промышленная палата – что и говорить, в золотые времена выставки о подобных конкурентах не могло быть и речи. Действительно ли это принесёт пользу?

В 2018 году ответ стал очевиден. Но попробуем окунуться в жизнь ВДНХ конца 1990–1991 годов – и мы поймём, что это время не только поставит вопросы “Как жить?” и “Что делать дальше?”, оно родит и смелые проекты их решений, которые так и не сбудутся. Возможно, дело в том, что проекты рождаются для истории, будущего, а вопросы ставятся перед людьми, живущими здесь и сейчас. Первым не хватит времени, вторым – знаний, сил и элементарно – денег.

“Лучше бы этого не было”

Запущенные в стране политические и экономические процессы ещё не привели ни к каким результатам, само их понимание, что называется, идёт “со скрипом”, но повседневно уже стала другой. Как отразились эти перемены на внешнем облике выставки, какой она предстаёт перед современниками? Что бы мы увидели, оказавшись на ВДНХ в девяностом и девяносто первом?

Одной из первых хозрасчёт оценила заведующая столовой в одном из строений – популярного общепитовского заведения “Русь”, кормившего и посетителей, и сотрудников. При входе в зал – самовар, пищевые котлы, стаканы, готовые блюда. Прямо на них с потолка льёт вода. Чтобы пробраться к кассе, предстоит идти по грязным лужам. “Весна”, – коротко объясняет заведующая.

– При нынешнем хозрасчёте мы не можем оплачивать ремонтные работы, вот и используем подручные средства. Лучше бы этого не было, – заключает она.

1990 год начинался на выставке с новостей, ещё недавно неслыханных, – об убийствах и грабежах. К руководству выставки обращаются дружинники: при возросшей преступности их перестали поддерживать, отменили льготы и поощрения, несмотря на опасность, которой они себя подвергают. Сотрудники прилегающего к территории выставки отдела милиции не справляются и выступают в роли помощников добровольной дружины ВДНХ. “Продолжается затянувшееся ожидание каких-то постановлений правительства, их не будет”, – уверены дружинники: необходимо защищать себя самим.

Смысл происходящих в стране изменений укладывается в голове не сразу. Большинство общественных организаций – партийные, профсоюзные, комсомольские – утратили позиции единства целей и не являются выразителями воли коллектива. Организованная пару лет назад добровольная дружина выставки, в которой была тысяча человек, каждую субботу и воскресенье обеспечивала порядок на выставке. . .

В 1991-м вопросом “о смысле происходящих изменений” уже не задаются – всё понятно. Вместо крика: “Помогите!” – ровная констатация: “Обвиняются в равнодушии”. Добровольная дружина существует в “мерцающем режиме”, силами самых стойких. Во время закрытого празднования дня рождения в одном из кафе на ВДНХ один из гостей шумной вечеринки решает забрать у другого куртку, вопрос решается ударом ножа. Протрезвев, компания понимает, что натворили – ведь все же свои! – и решает, что делать с окровавленным товарищем. Милицию вызывать нельзя, “скорую” – тоже. Персонал заведения молчит – бармены и официанты опасаются, что их уволят: ведь они продают алкоголь, а на ВДНХ это запрещено. В компании обнаруживается “медсестра”, которая объясняет: кровотечение несильное, можно пить дальше. Поняв, что товарищу становится всё хуже, компания вызывает знакомую машину, но проезд на территорию выставки запрещён, приходится тащить его до входа, объясняя странное поведение друга тем, что он напился. Не получив медицинской помощи, раненый умирает.

Торговля оружием – последнее, с чем ассоциируется нынешняя ВДНХ. Однако первый год девяностых добавил выставке и этого колорита. Некие

москвичи замечены были при продаже итальянских пистолетов прямо на Центральной аллее, их “покупателем” становится случайно оказавшийся поблизости инспектор отдела милиции. В ходе драки только чудом удаётся избежать перестрелки и ранения случайных прохожих – продавцы оружия настроены решительно, отбиваются до последнего.

Ноябрь 1990 года. Маленькому сыну посетительницы выставки становится плохо. Он падает прямо на площади, прохожие помогают поднять его, посадить на скамейку. Поскольку дело происходит возле буфета “Восток”, женщина обращается туда с просьбой дать ей воды и слышит в ответ от буфетчицы:

– Мне наплевать на вашего сына, пусть хоть подышает.

Она обращается к руководству ВДНХ, помня о том, что прежде такие вопросы обязательно “выносились на суд общественности” и довольно быстро решались. Однако теперь официальная ВДНХ может лишь развести руками: заведение не входит в структуру выставки. И хотя фраза, якобы брошенная буфетчицей, звучит слишком нереалистично, сама возможность такой ситуации на выставке в 1991 году не вызывает никаких сомнений. При этом официальная статистика ВДНХ этих лет гласит: 77% посетителей довольны работой выставки, 35% удовлетворены полностью, 20% совершенно недовольны.

Неизменна великолепная природа выставки.

– В солнечный день у какой-нибудь незамерзающей полыни можно услышать несложную, но очень жизнерадостную песенку: “Шик-шик-шик!” Подёргивая коротким хвостиком, её не поёт, а скорее вызывающе выкрикивает небольшая птичка величиной с дрозда – оляпка...

– В лесу тишина. Лишь изредка раздаётся сухое потрескивание замороженных сучьев, – рассказывают посетители.

Лес... Спасение от непонятных и порою жутковатых перемен, происшедших с выставкой, похоже, находят именно в нём. Совсем как в 1939-м, когда открывалась сельскохозяйственная выставка, и в 1959-м, когда она полностью изменила облик, так же и теперь – здесь поют птицы, светит солнце, распускаются редкие цветы.

– Конечно, и грязь, и мусор, и бесчисленные киоски, которые ломают всю инфраструктуру выставки – всё это нас не радует, – констатирует главный архитектор выставки. – ВДНХ сейчас больна, как, впрочем, и вся страна. Но думаю, что всё должно измениться, думаю, что года через два, я в это просто верю.

В декабре 1989 года официальная выставка, поздравляя сотрудников и посетителей с Новым годом, в последний раз обратилась к ним: “Дорогие товарищи!” С наступающим 1991 поздравят уже “друзей”, а кого поздравлять, и поздравлять ли вообще, с 1992-го станет и вовсе непонятно. Фестиваль “Русская зима”, проводившийся с Нового года до самой Масленицы аж с 1967 года, теперь практически незаметен и не сопровождается никакой рекламой, в отличие от прежних лет.

– Ты, уходящий год, ввёл прежде неизвестные понятия, такие как “развал экономики, тотальный дефицит, обесценивание денег”. Вряд ли за всё это тебя, уходящий год, вспомнят добром. Ты не сумел помирить народы нашей ранее дружной страны.

Эти слова – из новогоднего поздравления А. Глущенко, одной из самых ярких и талантливых сотрудниц. Она жёсткий и бескомпромиссный журналист, известна прекрасными сложными темами своих репортажей, которые помогали развивать выставку и решать её многие внутренние проблемы. Провожая 1990 год, она находит в нём и хорошее:

– Каждый день, как и прежде, случалось чудо – рождались дети, цвели сады, пели птицы, светило солнце. Ты уходишь, год, и никогда не повторяешься. Оставь лишь лучшее, оставь нам вечное: веру, надежду, любовь.

Эти слова, как и во множестве других статей и материалов выставки, буквально кричат о боли утраты, непонимании и неприятии новых реалий. Так происходит по всей стране, во многих газетах Москвы и Союза. Новые реалии, напротив, ни о чём не кричат. Они уверенно и твёрдо говорят словами Саюшева с соседних страниц того же издания:

– Я, конечно, против постоянных выставок – это дорого и неэффективно. По-моему, лучше так: выставил новое, провёл ярмарку, пригласил гостей, заключил соглашения и уехал. Просветительские мероприятия будут осуществляться в зависимости от наличия средств.

В декабре 1990 года от разговоров наконец переходят к делу. Павильон “Ветеринария” отдан во владение всесоюзному обществу “Элита”, благодаря чему зарабатывает 10 000 рублей. Первые шаги к рыночной экономике прокладывают собаки – частницы смотра вместе с представителями зарубежных фирм и ветеринарными врачами.

На сегодняшней выставке этого павильона нет. Он сгорел в 2006 году, пополнив список утрат эпохи ВВЦ.

“Эра” милосердия

1990 год запомнился “выставкой Америки” на Фрунзенской набережной, 30, в “строительном” филиале ВДНХ. Участники – обычные бизнесмены из Штатов, владельцы небольших фирм. Чемоданчики, краски, кухонная утварь – всё то, что выставлялось на ВДНХ и ранее, но только производства фирм из США. Выставка вызывает неоднозначную реакцию – от восторга качеством до недоумения: а почему всё то же самое не производят наши, а если и производят, то не выставляют? Гости из Штатов хвалят страну, несмотря на мороз.

– Что же вам так нравится? – спрашивают посетители. – У нас голод, все злые и дикие.

– Ну, что вы, русские совершенно замечательные люди! Нам очень хочется помочь России. Потому что мы просто любим вас.

У этих обычных людей – рядовых бизнесменов из другой страны, представлявшихся отчего-то супервлиятельными, – посетители выставки пытаются узнать ответы на все главные вопросы, волнующие общество.

– Поймите, – учат американцы. – Рассчитывать только на помощь нельзя. Нужно самостоятельно становиться на ноги!

Схожее впечатление – у московского школьника, которого фонд “Интеллект”, расположившийся на ВДНХ, отправил с дружеским визитом в США. Несколько дней он провёл в доме американцев с русской фамилией Демоновы, потомков выходцев из России. Больше всего ему запомнились доброжелательность, открытость и общительность американцев:

– Такое ощущение, что жизнь американцев – сплошной праздник, без проблем! Везде люди улыбаются, готовы заговорить с незнакомцем, помочь ему в любой ситуации.

Если вспомнить, ситуация с сыном посетительницы, упавшим возле павильона, вряд ли могла произойти в такой стране, в которой побывал мальчик.

Но так или иначе, выставка рассчитывает не на что иное, как на помощь. В 1990 году выпущена специальная методичка для работников и организаторов выставок: “ВДНХ выходит на международный рынок”. Зачастую этот выход сопровождается инцидентами, совсем не характерными для международного опыта, и больше похожими на гуманитарную помощь. Представитель финской фирмы “Лабсистемс”, участник выставки “Охрана матери и ребёнка”, рассказывает:

– 50 фирм из 14 стран участвовали в выставке. Более половины – постоянные участники. В прошлом году Советскому Союзу ими была продана партия оборудования, медикаментов и так далее. Тем не менее, ваша страна денег никому не уплатила. Однако все приехали на эту выставку и согласны подождать с уплатой долгов. Все инофирмы понимают вашу ситуацию – идёт перестройка, и задержка с деньгами неизбежна. Мы все хотим искренне помочь вам, и подобное отношение в делах, нетипичное для иностранцев, расцениваем с нашей стороны как акт милосердия.

Что планирует выставка на 1991 год? Требуется решения главный вопрос: какой уклон приобретёт ВДНХ? Руководство выставки поначалу ограничивается туманной формулировкой: “Обслуживание советской экономики в условиях рынка”. Это означает, что на ВДНХ, помимо выставочных павильонов, нужны банки, маркетинговые службы, биржи. Чтобы новый организм, рождающийся на основе прежней выставки, функционировал, все, кто имеет отношение к нему, – и организаторы мероприятий, и арендаторы, и сотрудники выставки, причём на любых должностях, – должны обрести новый навык – становиться менеджерами по продажам. Легко ли переучивать людей, особенно пожилых? “Сотрудников, не желающих работать в таком ритме, мы, естественно, отпускаем”, – заявляет администрация ВДНХ.

Может, среди прочего, и с этим связано открытие спустя 60 лет биржи труда. “Готовы ли мы к безработице?” – этот вопрос интересует каждого.

– При сохранении тенденции увеличения количества лишних людей, независимо от того, какую модель экономики мы выберем, увеличение армии потерявших работу неизбежно, – сообщает на ВДНХ начальник управления трудовых ресурсов и занятости.

Вслед за биржей труда на ВДНХ открываются и другие – товарная, закрытая также 60 лет назад, специалисты предрекают ей оборот 2-3 млрд рублей за 1990 и 1991 год, и Главснаб – биржа материальных ресурсов. Банки на выставку не спешат, но открывается Центр маркетинга с характерным для того времени названием “Эффект”.

Ещё в начале 1990 года на ВДНХ заговорили о необходимости создания некоего Единого коммерческого центра, который объединил бы все направления деятельности, имеющие платный характер, и работал как рекламная “биржа”, как центр экономической информации – проводил своеобразный ликбез. Такой центр, выражаясь языком XXI века, стал бы своеобразным роутером, распространяющим, будто *Wi-Fi*, самые инновационные экономические веяния по всей выставке, которая планировала стать лидером в стране по обучению маркетингу, экономике, менеджменту, экспертно-посредническим услугам. “Эффект” отчасти и становится такой структурой, но сосредотачивается на последнем аспекте. Его директор – человек категоричный:

– Сегодня никому не интересны фонтаны. На ВДНХ приходят деловые люди; у них может быть лишь одна цель – наладить связи с деловым партнёром, фирмой, узнать цены, найти посредника.

На последнем слове он делает акцент. Посреднические услуги – и есть то, чем занимается Центр маркетинга: найти нужный товар и помочь приобрести его. Другая специализация “Эффекта” – то, что впоследствии назовут PR: например, необходимо продвигать советские ЭВМ, которые крайне успешны в рамках нашей страны, но о них никто не знает на Западе. В речи директора маркетингового центра впервые звучит формула, которую вскоре возьмут на вооружение все, кто имеет отношение к выставке: “Продвижение вместо достижений”.

– Единственное, что от вас потребуется, – это доверие, – объясняет он. – Слово предпринимателя, данное партнёру или банкиру, должно цениться выше, чем контракт, составленный при участии лучших адвокатов.

Он апеллирует к русским купцам и вспоминает Зингеров, Морозовых, Елисеевых, оговаривая, правда, что они не только продавали, но и производили тоже. Однако в нынешних условиях важнее всего научиться продавать. По мнению директора “Эффекта”, выставка не потеряла привлекательности. С этим утверждением можно спорить, и с ним спорят, подразумевая под привлекательностью внешний вид выставки и экономические аспекты. Однако, – что не проговаривается, но подразумевается в 1990-1991 годах многими, если не всеми, кто выбирает сотрудничество с ВДНХ, и зачастую обуславливает этот выбор, – значение ВДНХ как символа только возрастает. И, возможно, с точки зрения эмоционального пика “символичности” выставка проживает самые яркие свои годы. Новый порядок не станет считаться с историей выставки, он примется безжалостно форматировать её под себя, но он в ней нуждается.

Масштабность новых задач не уступает прежним: благодаря маркетингу отечественный товар должен вытеснить заграничный, причём не только на советском рынке, но и на зарубежных – ксероксы из Серпухова ничуть не хуже заграничных; всё, что требуется, – сделать так, чтобы мир узнал об этом. Экономисты и “рыночники” ранней поры – люди иного ума и ценностей, отличных от тех, что утверждала прежняя выставка, они ничуть не уступают своим предшественникам в романтике. Эта романтика и двигает многими из них, приводя, в конечном счёте, на ВДНХ. Скорый крах государства, а с ним и выставки теперь ставят в вину именно этим романтикам, но ведь они и сами, в конечном счёте, проиграют. Проиграют тем, кто ни в какую романтику не верит.

В маркетинговом центре ВДНХ впервые говорят о трансформации выставки в ярмарку – дословно: крупный рынок товаров широкого потребления и оборудования, который действует в установленные сроки в течение ограниченного времени. Ориентиром служит знаменитая нижегородская ярмарка, которую так любят упоминать руководители 1990-х, проводя совсем не очевидную параллель с ВДНХ. Мол, она определяла конъюнктуру рынков, диктовала

мировые цены на многие товары и ресурсы, да и просто славилась прекрасной купеческой атмосферой.

На языке же народном, пусть и не отражающем всей сути, это означает просто базар — слово, которое долго ещё будет преследовать выставку. В 1991 году этот путь для ВДНХ был одним из возможных, но не единственным и главное — не исключавшим других. Но чем ближе к концу года, тем явственнее будет проявляться Ярмарка, которая, в конечном счёте, и поглотит всё. Даже корпоративная газета постсоветского ВВЦ, выродившаяся до каталога фирм-арендаторов, возьмёт именно это название: “Ярмарка”, хотя официального применения этого термина приблизительно к выставочному центру в целом будет избегать.

Парад конверсий

Однако даже в качестве ярмарки ВДНХ-91 имеет очевидные сложности. Научно-познавательный журнал “ВДНХ СССР”, который успешно распространялся по подписке во все регионы Союза и три десятилетия знакомил читателей с передовыми достижениями страны, вдруг переключается на “тайны психики”, “инопланетян среди нас”, не может устоять даже перед последователями Порфирия Иванова. Такая корректировка тематики не мешает ему сменить название на “Прогресс”. О “достижениях” теперь принято говорить только в кавычках, кем бы ни был говорящий — резидентом выставки, директором, корреспондентом, рядовым сотрудником. Следуя логике интервью и официальных заявлений, само название выставки пора начинать писать как В“Д”НХ, хотя более достойна заключения в кавычки в 1991 году была буква В — сама выставка. Выставочное дело называют тормозом на пути к бизнесу:

— Время звонких литавр и победных реляций наложило мрачный отпечаток на страну и её зеркало. (Здесь очевидная подмена: выставка, создававшаяся и функционировавшая с 1939 года именно для этих целей, не могла наложить какой-либо отпечаток на саму себя, на свою смыслообразующую функцию. — *Прим. авт.*) Достижения были на рапортах, достижения были в павильонах. Именно на этом призрачном фундаменте непоколебимо стояло советское выставочное дело. Именно это и стало главным “тормозом на пути к бизнесу”, — из типичного интервью.

ВДНХ отказывается от закрытых выставок. “Авиадвигателестроение-90” впервые позволяет продемонстрировать зарубежным и советским покупателям продукцию отрасли, прежде глубоко закрытой. На двигатели, превышающие качеством мировой уровень, сразу находится множество покупателей: 150 деловых контрактов с зарубежными фирмами, 800 — с нашими, и каждый пятый касался покупки авиадвигателей — вот итог выставки.

— Мы *прорубаем окно* на внутренний и внешний рынки, — с гордостью говорят организаторы. Договоры способствуют науке: совместно с немцами разработан первый двигатель на водороде и метане. Двоякость ситуации, однако, в том, что новый подход, действительно стимулирует развитие, оставляет ему единственную цель — конечную продажу за рубеж.

Совсем недавно “космос” и “коммерция” казались несовместимыми. Но вот советское предприятие “Энергия-Буран” демонстрирует все свои секреты в павильоне “Космос”. Однако и здесь всё непросто: ведь речь идёт о конверсии. Ещё одно модное слово означает перестроение отрасли на повседневные нужды, например, ракетно-космических технологий — в отрасли народного хозяйства. “Машиностроение-конверсия-рынок” — так называлась экспозиция; она и подобные ей, пожалуй, свидетельствуют и о конверсии самой ВДНХ. Новые принципы выставочного дела — свободный вход для любых предприятий (разумеется, для располагающих необходимыми финансовыми средствами), возможность выгодно продать и купить всё, что угодно, борьба с закрытостью и рыночными тайнами.

Однако далеко не все выставки производят такое идеальное впечатление.

— Мальчик, почему в павильоне нет народа? — спрашивают ребёнка на входе в павильон.

— Потому что не дают значков и пакетов!

При всей игривости подобного ответа, он отлично иллюстрирует проблемы многих выставок, особенно “второго ряда”. Отсутствие ярких рекламных плакатов, скромное оформление выставочных стендов: отечественная полиграфия

в кризисе, да и денег у большинства участников нет. Сотрудники компаний отработывают рабочее время и убегают из павильонов, у них нет личной заинтересованности, выставка для них — дополнительная нагрузка. Да и условия, в которых им приходится работать, более чем скромные — стол и стул. Даже зарубежные выставочники не задерживаются на своих стендах. Наиболее проблемно всё, что связано с сельскохозяйственной отраслью, которая с переходом страны “на рынок” и выставки на хозрасчёт становится самой убыточной. Сельхозтехника раскупается ещё до производства, продавать нечего, а следовательно, и в выставках в их новом понимании необходимости нет: выставляется лишь та продукция, что навязана предприятиям распоряжениями сверху. Чтобы “оживить” такие выставки, устраиваются аукционы — распродажи экспонатов по завершении выставочных дней: хотя бы какие-то деньги. Именно в 1991 году аукционы стали проводиться на ВДНХ впервые.

Так замыкается круг для ВДНХ, организованной когда-то, в первую очередь, как передовая сельскохозяйственная выставка. В поддержку сельского хозяйства издаются материалы, которые распространяются на специальных выставках, посвящённых приватизации агропромышленного комплекса. ВДНХ и здесь выступает “впереди планеты всей”, только на сей раз она призывает страну расстаться с тем, для популяризации чего и создавалась.

Раздел “Экспонаты” журнала “Прогресс” даёт возможность оценить, на что обращают внимание в 1990 и 1991 годах, как и в прежние времена. Отличий немного — любая информация из раздела теперь завершается словами “покупается” и “продаётся”, а в описании экспонатов всё чаще встречаются характеристики “магический”, “чудодейственный”, “волшебный”, даже если речь идёт о предметах, которые принято оценивать совсем по другим критериям, например, коммутаторах. Что же в 1990-м и 1991 годах экспонируется на выставке впервые?

Утюжок “Солнышко”, чудо-печь для блинов “Ускорение”, дистанционный градусник для измерения температуры в доменной печи, “гремучий газ” для протезирования в стоматологии, фильтры для воды из титана, чулочно-носочные автоматы и пр.

Многие стационарные павильоны, сохранив названия, отражающие формальную отраслевую направленность, при этом до неузнаваемости меняют её суть. Например, “Здоровье” оккупируют экстрасенсы, сомнительные психотерапевты, практикующие изучение “тайн психики”, транс и гипноз, китайские лекари с “горящей полыньёй”. Целительница Лаура, способности которой открыла в своё время сама Джуна, открывает в “Здоровье” собственный кабинет. Она лечит стресс, который объясняет как “потерю человеком жизненной энергии”.

— И ты передаёшь им свою?

— Да, но не надо забывать, что мы и сами можем контролировать это состояние. Необходимо “отдавать” досаду, раздражение, злость, всю “чёрную” энергию. Надо только постараться. Будет плохо — приходи ко мне, помогу.

По соседству — центр похудения Эйдимова.

— Нас трое: ты, я и болезнь, — встречают здесь посетителя. — Выздоровеешь ты или нет, зависит от того, кого возьмёшь в союзники.

Павильон “Радиоэлектроника”, под влиянием такого соседства, тоже решает сменить курс на “оздоровительное направление”: здесь и “гамак-лекарь”, и сердечные приборы, и различные устройства в помощь слепым и глухим. Конверсия в действии, однако реальные достижения радиоэлектроники вряд ли ограничиваются одним лишь этим направлением. Павильон в условиях хозрасчёта вынужден ими ограничиться.

В то же время на одной из выставок выступает главный подростковый психиатр Москвы: четверть подростков в Москве нуждаются в оздоровлении нервной системы, 3% — в срочном лечении. Но нет валюты, в городе 9 000 больных, а лекарств хватает только на месяц. С трибуны павильона на главной выставке страны он открыто обращается к присутствующим:

— Помогите нам!

Другие павильоны и вовсе отказываются от своего отраслевого наполнения, с одобрения, пусть и не задокументированного, а всего лишь высказанного в интервью гендиректора Саюшева:

— Предпринимаемые в последнее время попытки внедрения новых форм, создание совместных и малых предприятий в существующих управленческих

структурах не дают желаемых результатов. Осуществление коммерческой деятельности на отраслевом принципе не срабатывает.

Его слова реализуются на практике вполне в духе наступившего времени. Вот магазин “Хлеб” у Южного входа. В один из отделов выстраивается немаленькая очередь. Характерный вопрос времени: “Что дают?” Мармелад, предполагают посетители, печенье?

– Труссы, хлопчатобумажные! – с восторгом отвечают из очереди.

– Может, глюки, может, не расслышала? – рассказывает посетительница выставки. – Иду и думаю: а это веяние времени, когда большими буквами написано одно, а подразумевать надо совсем другое. Такая гимнастика ума: идёшь на выставку, заходишь в обувной отдел, чтобы мыла купить, в “Трикотаж”, чтобы без спичек не остаться. . .

Порой в павильонах “дают” и вовсе загадочные, доселе неизвестные продукты. Многие ли знают, что такое рудомелис? Слово, которого нет ни в одном словаре, а в гастрономе неподалёку от Дома культуры – есть.

– Теперь печенье так называется, которое раньше было овсяным, – растолковывают в магазине.

– А зачем же новое название?

– Так цены! Овсяное стоило 1 рубль 18 копеек, а это – 4-50, вот и новое название.

– Что может быть важнее в наше время придумывания новых названий! – сокрушаются покупатели.

Коснулся кризис даже павильона “Пчеловодство”. По осени здесь все традиционно запасались мёдом, но в 1991 году его впервые нет.

– Когда будет?

– Не знаем, – безразлично отвечали в павильоне.

Закупочная стоимость мёда в регионах стала слишком высокой, и теперь везти его в Москву невыгодно. Граждане по старинке обращаются к руководству выставки, но влиять на дела павильона ВДНХ уже не может.

“Охрану природы СССР” заселяют живые змеи, вараны, рептилии. Специалисты малого арендного предприятия увлечённо рассказывают “о живых экспонатах и больших перспективах их использования”. Выставка и вправду интересна детям и родителям, но всё-таки сложно представить, что из всех идей и проектов времени демонстрация рептилий и насекомых станет тем немногим, что сохранится на выставке в ближайшие 20 лет.

Павильон “Стандарты” может смело добавлять к названию уточнение: новые. Здесь открылся видеосалон, продаются кассеты, организуется доставка и отправка грузов, экскурсии и бронирование гостиниц, функционируют склад, лекционный зал, киоск технической литературы.

Впрочем, подобные процессы – смена назначения павильонов, переориентация их на другое тематическое наполнение – вовсе не являются “ноу-хау” ранних девяностых. Они сопровождали выставку всегда: в чём-то необходимость пропадала, в чём-то – возрастала. Выставка – это динамичный организм, перемены на ней не просто норма, они и есть жизнь организма, его естественное состояние. Другое дело – чему служат эти перемены и какие задачи их порождают? Развитие или просто необходимость выжить? Как мы видим, вопреки стереотипам, на ВДНХ в 1990-м и 1991-м присутствует и то, и другое.

Сложно представить, но в это непростое время здесь даже открывается новый павильон, причём – вопреки смене курса – именно отраслевой: “Оптика”. Происходит это в самые последние дни существования СССР. Несмотря на сильную коммерческую составляющую, это всё-таки выставка достижений: оптические приборы производственно-технического направления и народного потребления (медицина, фотография и т. д.) представляют 20 лучших предприятий отрасли. Впервые советскому зрителю демонстрируются художественные голограммы. И хотя сам павильон, в котором открывается выставка, не построен специально для неё, а уже существует, она позиционируется как постоянная оборудованная экспозиция.

С новым строительством дела обстоят хуже. Последний проект классической ВДНХ, павильон “Ресурсосбережение”, который начали строить ещё в середине 1980-х, в 1991 году окончательно заморожен. Металлический каркас павильона, невольно ставший памятником этому времени, демонтируют во время масштабной реконструкции 2017 года, и у этого действия тоже будет свой символизм: окончательный отказ от наследия девяностых.

Бармен Миша Ломоносов

– Ещё у нас есть детский городок, – говорит гендиректор выставки. – Будут деньги – будем содержать, нет – оставим до лучших времён.

Городок науки и техники для детей и юношества, открывшийся перед началом 1991 года, – пожалуй, первый интерактивный (и даже в чём-то иммерсивный) проект в истории ВДНХ. Объективно не способный принести прибыль, он существует благодаря спонсорским вложениям. Задумка организаторов выражается в простом и броском лозунге: “От пассивного созерцания – к активному действию”. Ребёнком движет психология пытливого первооткрывателя мира, считают они. Демонстрация опытов, аудиовизуальные средства привлекают и удивляют детей, пробуждая в них желание самостоятельно работать на макетах и моделях, использовать компьютеры и базы данных. Но всё же это не учебный центр, а, скорее, исследовательский; он даёт детям главное – страсть к поискам, осуществлению замыслов и решению неординарных задач.

Что представляет собою детский городок, кто его гости и “жители”?

– Наш городок для детей в возрасте от трёх до... тридцати трёх лет, – расширяет границы целевой аудитории его директор, неожиданно напоминая о сегодняшних подходах к научпопу и вниманию к “кидалтам”. Прежде, чем войти в городок, – небольшая разминка на надувных матрацах и подушках. Вводный зал помогает сориентироваться по “улицам” – экспозициям и разделам, сразу за ним – небольшая выставка изобразительных и декоративно-прикладных искусств и, наконец, – “Мир персональных компьютеров”. Здесь детей и их родителей встречает Гоша, старший методист.

Малыши играют на компьютерах в логические игры. Ребята постарше осваивают программы, правда, тридцатилетних среди них не видно. Самый большой ажиотаж – возле компьютерной изостудии: выслушав инструкции, вы подходите к телекамере, и тут же на экране появляется ваше изображение, а через минуту прибор распечатывает его на бумаге.

В зале физики и техники гостей встречают строгие восьмиклассники – завсегдаитаи городка, ученики московских школ, одного из которых зовут Миша Ломоносов. Они посвящают каждого входящего в тайное знание: физика – царица всех наук. Но этим сюрпризы не ограничиваются.

– На самом деле мы бармены, – представляется Миша и, переждав изумление на лицах публики, поясняет: – Только подаём не напитки, а физические эффекты. Кто какой желает?

И правда, часть раздела “Удивительного мира физики и техники” так и называется – физбар. Глаза юных посетителей блещут, они обступают стойку, а Миша Ломоносов с другом показывают им волшебные свойства люминесценции и рассказывают, как ими пользуются в мире: например, для обнаружения нефти или проверки подлинности денежных знаков.

Здесь же на стойке – волшебный фонарь, который мечет молнии. Заинтересовавшийся мальчик берёт его, вертит в руках и долго не может понять, в чём секрет. Наконец, “бармены” поясняют, что мы имеем дело с управляемым газовым разрядом.

В городке есть и свой “вечный двигатель” – барабан, на который намотана магнитная металлическая лента. Но стоит нагреть металл до определённой температуры, как его магнитные свойства теряются. Этим и объясняется принцип работы: ленту притягивает магнит, а лампочка, нагревая участок ленты, расположенный возле неё, “отключает” магнит на этом участке, отчего барабан начинает вращаться. Ребята ещё не знают, что спустя несколько лет здесь будет совсем другой барабан – именно в Центральном павильоне откроют знаменитый на всю страну музей капитал-шоу “Поле чудес”.

А пока здесь копят экспонаты для собственного музея. В мастерской технического авангарда готовят художественные произведения из светодиодов, консервных банок-расчёсок и вообще всего, что подвернётся под руку. Металлический цветок-ромашка демонстрирует изумлённым детям эффект памяти формы: раскрывается и закрывается при нагревании. В завершении перформанса не обходится без голограммы Михаила Ломоносова – на этот раз “того самого”.

В “Горизонтах математики”, подаренных французским спонсором, ребята в игре осваивают сложные математические законы, собирают невероятные фигуры из семи кусочков квадрата, строят кубы внутри куба и делают прочие

вещи, запредельные для ума обывателя, но вполне подвластные пытливому юношескому уму.

От математических игр движемся к “Играм на физических эффектах”. Здесь экспонаты “В мире зеркал”, “Бесконечный коридор” – подобные аттракционы работают в “Лабиринте иллюзий” внутри современного нам павильона “Электрификация”. Кажется, такие развлечения будут актуальны всегда, как и батут, стоящий тут же, в этом зале, на радость трёх-четырёхлеткам.

На “Стройке” – всё как у взрослых:

– Один катит тележку, двое идут рядом, – видимо, начальники, – шутиливо подмечает кто-то из родителей.

Повсюду снуют “строители” в касках, с настоящими тележками, здесь же – склад, шлагбаум. Кирпичи, конечно, легче настоящих, да и материалы яркие все, красочные, как и должно быть в счастливом детстве.

Ну, а на окраине развлекательно-образовательного города – более чем серьёзное, “взрослое” учреждение – центр профориентации. На ВДНХ-2018 готовится целая профессиональная зона – Парк Знаний, прообраз которой зарождается в детском городке 1991 года. Вместо огульной массовой профориентации, уверяют консультанты, теперь практикуется индивидуальная – с тестированием, консультациями психологов и выяснением способностей.

– Мы приоткрываем завесу в будущее, – так говорят здесь.

Но и настоящее детского городка, безусловно, уникально. Оказывается, гиды-“бармены” прошли несколько тестов и теперь работают вполне официально: за час дежурства получают рубль. Игрушки и поделки “технического авангарда” вполне успешно продаются. Весь доход направляется в фонд, за счёт которого здесь стажировются дети из регионов. В ближайших планах – открытие “лазерного ателье”.

Центр профориентации предлагает и совсем необычные обучающие форматы, например, мастер-классы (говоря языком современности) женского обаяния для старшеклассниц. На вопрос посетителей, как это, методист – “хозяйка” городка обаятельно улыбается:

– Очень тонкий и скрытый от глаз процесс.

Всем детям она оказывает максимум внимания: “Что такое, мой хороший? Что тебе рассказать?”

– Каждый ребёнок, пришедший сюда, уже заранее хороший, – говорит она и поясняет: – Хотя бы потому, что он ребёнок.

– У вас есть огорчения в жизни? – спрашивают “хозяйку”.

– У кого же их нет!

– Очереди, колбаса?

– Это конечно. Но ещё – старший сын галстук носить не хочет.

В проект вложились Госкомитет по науке, множество институтов, советских и западных фирм. Как и всё на ВДНХ, расположение городка именно здесь, в павильоне “Центральный”, наделено мощным символическим значением, о котором на выставке заговорят чуть позже. Павильон №1 – визитная карточка послевоенной выставки – становится точкой, где зарождается её юное, пылкое и творческое будущее. Спустя несколько лет оно должно было окрепнуть и распространиться на всю ВДНХ. Детский городок становится микромоделью грядущей выставки, и где ещё ей обосновываться, как не в главном павильоне? Не экспозиционные и не маркетинговые центры заложены в основу проекта перерождающейся ВДНХ, а юные создатели нового мира, для которых и задумывалось всё остальное, ради которых оно должно было работать.

От космоса к капусте

Если оценивать состояние ВДНХ в 1990-1991 годах исключительно по количеству и тематическому разбросу проводимых выставок, не вдаваясь в подробности, легко прийти к выводу, что никакого кризиса она не испытывала и жила вполне привычной, полноценной жизнью. Но, как и в случае с павильонами, многие выставки, сохранив тематику, существенно изменили суть. Со дня провозглашения Хрущёвым курса на научно-технические достижения в 1959 году, мейнстримовой темой ВДНХ всегда оставался космос. Но в новое время космическая тема оказалась в чести только в плане “развенчания тайн” и распродажи всего того, что раньше считалось “секретными разработками”.

Собственно, о том, что связано с реальным освоением космоса и движениях в этом направлении по всей стране, а не только на выставке, стало принято говорить исключительно в ироничном ключе. А то и вовсе использовать “космос” как повод к разговору о чём-то другом, приземлённом. Например, космическая тематика оказалась весьма востребована в выставочной карикатуре. “Взлёт разрешаем!” – сообщают генералы космонавту с головой-рублём на фоне ракеты с названием “Цены”.

И всё же две крупные экспозиции представлены в павильонах “Москва” (“Монреальский”) и “Космос”. Выставки наглядно демонстрируют, сколько средств и сил страна вкладывает в развитие космической отрасли.

– Но вот оправдано ли это? – задают себе вопрос участники и посетители.

И приходят к выводу: да, оправдано. Космическая отрасль способствует развитию таких наук, как кибернетика, вычислительная техника, химия и физика, и – как конечный продукт всей цепочки – приводит к повышению материального благосостояния людей.

– Более чем тридцатилетний опыт развития космонавтики и созданная в прошлом развитая космическая индустрия позволяют теперь осуществлять взаимовыгодное деловое сотрудничество, – рассуждают участники.

На выставках провозглашается немного сюрреалистический термин “космический рынок”. Информация о природных ресурсах земли, вывоз грузов на орбиту, аренда каналов связи – вот какие услуги этого нового рынка интересуют участников выставок в первую очередь. А главной целью использования космических средств и единственным объяснением того, почему ими вообще нужно заниматься, становится высокая рентабельность.

Сегодня в ходу другие термины, например, биткойны, блокчейны. Они звучат и на ВДНХ-2018, в павильоне “Умный город”; желание не отставать от современности невозможно осуществить без принятия её терминологии и активного использования в речи. То же происходит и на ВДНХ-1991. Но посреди не споров даже – ведь все здесь единомышленники, – а разговоров о выгодах рынка и частных обсуждениях сделок и контрактов вдруг внезапно чувствуешь себя как будто на семинаре научных фантастов прошлого, услышав что-нибудь вроде:

– Космические просторы со временем станут такой же наезженной дорогой, как, скажем, шоссе Москва – Симферополь.

Звучат и предложения “из области фантастики”: например, производить в космосе инсулин. Одной дозы такого препарата, в отличие от обычного, хватит на целый месяц, а для массового производства нужен завод в космосе. Проект такого завода уже готов – осталось собрать 500 миллионов рублей, расходы окупятся через 5 лет.

От знаковых космических дат, которые так любили на прежней ВДНХ, никуда не денешься, вот и выставка “К звездам-91” формально посвящена 30-летию полёта Юрия Гагарина, который и сам когда-то бывал гостем главной выставки Союза. Мини-экспозиция демонстрирует документы, приборы, предметы, которыми пользовался первый космонавт, воссоздаёт кабинет академика Королёва и рабочие места из Центра управления полётом. Чуть поодаль – стенды, посвящённые освоению дальнего космоса, образцы продукции советских и зарубежных фирм. На выставке представлены и экзотические направления отрасли, такие как космическая педагогика и космическая журналистика, филателистические коллекции. Прямо из павильона гости выставки отправляют воздушную почту в Калугу, на родину Циолковского, и космическую – по маршруту “Москва–Звёздный городок–Космодром–Орбитальный комплекс “Мир” – и обратно”.

Но главная “фишка” выставки – экспозиция “Космос – детям и юношеству”. Публике представлено всероссийское аэрокосмическое молодёжное общество “Союз”, состоящее из 200 коллективов и 35 000 человек. Учёба, конкурсы, летние лагеря, международная практика – это общество активных энтузиастов, интеллектуалов и практиков, в котором нет смысла состоять “для галочки”, может стать альтернативой общественным и политическим силам и имеет все шансы для развития. Миссия “Союза” выражена в чёткой, красивой и броской фразе в духе прошлого и с прицелом в будущее: помочь молодому человеку стать космонавтом.

Жизнь на ВДНХ не останавливается ни на минуту. Количество выставок становится больше, а их тематический разброс – даже шире, чем во многие

предшествующие годы. “Научно-технические достижения в строительстве”, “Компьютерные технологии”, “Машиностроение–конверсия–рынок”, наконец, просто “Конверсия”, “Иноватор” – эти крупные выставки с миллионным оборотом собирают сотни участников. На последней из них организуется аукцион военной техники – с молотка уходят оригинальные технические разработки на базе боевых машин. Например, мобильный кинотеатр на гусеничном ходу или покрасочное судно стоимостью 8 млн рублей, которое красит корабли, находясь в море, и автомобили, будучи пришвартованным. Ближе к концу года на ВДНХ проводится всё больше необычных аукционов – так, на торги выносятся товары, переданные в дар Москве во время визита делегации Моссовета в Японию.

В павильоне “Товары народного потребления” – громкая выставка “Человек и питание”. Перед глазами посетителей – изобилие готовой продукции из мяса, рыбы, овощей, фруктов, причём в таком ассортименте, который по-настоящему шокирует. Многие считают выставку издевательством: в стране нет продуктов, и забыть свои пустые прилавки, разглядывая изобилие чужих, никак не получается. Но это ещё не главное, ведь выставка пропагандирует принципиально иную культуру питания: вместо “быстренько перекусить” – “готовить быстро, кушать медленно”. Она объясняет, что здоровый образ жизни – это стиль, традиция и цель, и он не достигается запретами, а диета может быть вкусной и разнообразной, вот только соль и сахар нужно употреблять “с умом”. Даже такая, казалось бы, мелочь, как упаковка, должна не только использоваться для отличия от конкурентов, но и помогать сохранять продукцию. Всё это более чем в диковинку.

На этой же выставке зарубежные компании рассказывают о своём опыте работы в СССР. Любопытно, как реагируют на их откровения журналисты. Так, в статье о стандартах компании “Макдоналдс”, которые она пытается внедрить среди сотрудников – не хамить и не воровать, – они называются “заведомо невыполнимыми требованиями”.

Окончательно добивают посетителей автоматы для сохранения формы и выпечки рогаляков.

– Ну, а эти-то игрушки нам зачем? – недоумевают они и уходят.

Международная выставка “Бизнес-91” – ключевая в новых реалиях. Свыше 60 участников, секции: оборудование, товары народного потребления, компьютеры, искусство и культура. И всё же мероприятие с таким громким названием кажется странным: если любую выставку отныне понимают как собрание тех, кто занимается бизнесом, то на выставку “Бизнес” должны приехать, причём без всяких тематических ограничений, все, кто хотя бы чем-то занимается. Принцип, весьма схожий с популярными бесплатными газетами, наполненными рекламой всего подряд, на смену которым придут более профессиональные и успешные нишевые издания. Оказалось, объединяет участников выставки несколько семинаров-ликбезов по экономике и основам ведения своего дела. Схожие мероприятия проходят и на “Велении времени” – нечто вроде *speed dating* для зарубежных компаний, которые хотят “познакомиться” с нашими фирмами – и на самой крупной выставке “Мировой опыт и экономика СССР”, проведение которой обошлось в 20 млн рублей, однако вход на неё бесплатный: народ необходимо просвещать и ориентировать на новую жизнь.

Директор комплекса “Наука”, организатор нескольких крупных форумов в 1991 году, говорит предельно жёстко, хотя и далеко не все с ним согласятся:

– К сожалению, западные партнёры проявляют крайнюю осторожность в установлении деловых контактов с представителями нашей страны. Имидж советских предприятий в западном мире равен нулю.

В небольших павильонах – своя жизнь. “Содружество-91” – фактически недорогая распродажа польских товаров в маленьком павильоне “Гидрометеорология”. В “Геологию” приезжает религиозная общественная организация из Японии “Сока Гаккай”. Созвучное названию павильона мероприятие в “Судостроении” – здесь продаются парусные яхты, и здесь же организуется книжная лавка предпринимателя. ВАЗ отмечает на ВДНХ 25-летие, но праздник получается скромным: трудно организовать интересную выставку, когда её экспонаты миллионы раз проезжают по улицам. Маленькая выставка “Погреб на балконе” собирает конструкторов-самодельщиков, которые наряду с серьёзными фирмами представляют множество видов погребов. Интерес, как ни странно, высокий, ещё интереснее его объясняют организаторы:

– В последнее время свои закрома надёжнее государственных.

Сложно представить, каких только отраслей на выставке не представлено, и это при отказе от отраслевого деления! Впервые организаторами становятся не министерства и ведомства, а общественные объединения, фирмы, частные лица. Слова “креатив” ещё не существует, но названия некоторых выставок способны изумить неподготовленного обывателя: “Лошади для спорта и экспорта”, “Выставка поп-звёзд” (по факту концерт). Заставляют открывать рты от удивления и некоторые новые разделы на научных выставках; так, на солидном компьютерном “Новинтехе” рассказывают о необычном применении информационных технологий “в биолокации, полтергейсте, астрологии”:

– Чтобы составить добротный гороскоп, отражающий все движения небесных сфер, западные астрологи уже давно используют мощные ЭВМ.

Впрочем, эти приёмы отлично работают – завлекают людей на выставку.

На “Новых экологических видах транспорта” – удивительный для СССР монорельс, широкая разветвлённая сеть по всему городу как альтернатива трамваю. Другой “альтернативный” транспорт и вовсе без названия – некое “средство на воздухоопорных гусеницах”, рядом – подвесная дорога и тому подобные фантастические проекты, количество которых в транспортной отрасли традиционно выше, чем в любой другой. Куда ближе к реальности насущные вопросы – загрязнённости океанов, морей и рек, – требующие срочного решения.

Заметно и шумно проходит “Экологическая выставка”, на которой впервые говорят об обмелении и катастрофической загрязнённости Волги: на 30% за 3 года – цифры более чем серьёзные. Экологические активисты ранних девяностых – Комитет спасения Волги – ещё не поджигают “файеры” и не приковывают себя цепями. Они идут на приём к депутату, члену Верховного совета РСФСР:

– Выслушав нас, он заявил: закон об охране природы в СССР – готовится, специальных мер по Волге не будет. И предложил расходиться. Так что же, говорим: правительство нас не слушает, вы тоже. Куда идти с волжскими бедами, в ООН? Этот довод возымел действие.

Настоящей сенсацией становятся впервые представленные на выставке “Охрана труда” материалы о травматизме, трагических гибелях на производствах, профессиональных заболеваниях. От всех этих факторов умирает ежегодно 15 000 – столько погибло в Афганистане за все годы войны. Альтернативное название – “Выставка смерти в постоянной эксплуатации” – довольно скоро замещает официальное. Здесь проводится экспозиция на передовых технологий, а станков-убийц: так, от этого пресс-подборщика ПС-1,6 смертельно травмировано 144 человека, от ЦДК-5, 2 Тюменского завода – ещё около сотни человек... Из выборочно проанализированных образцов техники в разных отраслях тем или иным требованиям не соответствует 90% (!), причём речь идёт о новейшей технике последних двух лет.

– Такое разгильдяйством не назовёшь. Это настоящее преступление перед рабочим человеком.

Инспекция профсоюзов рассказывает о предотвращении тысячи несчастных случаев и задаёт один из самых популярных вопросов времени: куда смотрит государство?

Посетители ВДНХ находят на ней и другие преступления. Массу негодования вызвала выставка “Мебельный рай в Москве”.

– Сколько стоит попасть в рай? – возмущается посетительница.

Оказывается, целых 5 рублей. Наверное, на выставке – действительно рай на фоне дефицита, рассуждали гости ВДНХ, но ещё в недавние времена в обычном мебельном магазине стояли гарнитуры ничуть не хуже. Средняя цена новой мебели – 30–40 тысяч рублей – большинству кажется запредельной, и 5 рублей за вход в сравнении с нею – действительно немного. Но если идти семьёй, да еще и с детьми – набегаёт приличная сумма.

– Зачем платить просто за возможность поглазеть на... не спектакль со знаменитыми артистами, а так, скудную коллекцию явно недоступных товаров? – отзывается посетительница. – Закрывая миллионные сделки на данных выставках и проводя шикарные презентации, устроители этих мероприятий страдают всё же чувством убогости.

На ВДНХ–2018 порою проходят выставки стоимостью по 3 000 рублей за вход, да и в целом по стране закрытые мероприятия стали нормой. Высокая

планка входного билета позволяет отсеять зевак и ориентироваться только на свою аудиторию. “Мебельный рай”, похоже — один из первопроходцев такого подхода. В 1991-м он однозначно в новинку и вызывает у людей немалое раздражение.

— Для кого производят эту мебель? — вопрошает туляк, гость столицы. — Не думаю, что мебель — предмет роскоши. Она так же необходима каждому человеку, как мясо, хлеб, книги, театр и прочее.

12 июля на ВДНХ — традиционный День донора. У входа в поликлинику выставки собираются люди, чтобы сдать кровь. Кто-то приходит в первый раз, кто-то в двадцатый. Доноров мало стало, сетуют люди в очереди.

— Если раньше к нам приходило до трехсот человек, то сегодня нет и ста, — говорит медсестра. — Всё дело в питании: фруктов нет, овощей мало. Если раньше люди боялись СПИДа, то сейчас боятся, что организм не восстановит потерянное. Мужчины слабые пошли, в обморок падают.

— Безвозмездно я бы никогда не сдала, — рассуждает её коллега. — Ни к чему всё это.

Мотивация у доноров разная: “Людям помочь надо”, “Когда я родился, мне срочно нужна была кровь. Меня спасли”, “Просто пришёл и сдал”, “У нас дополнительные отгулы дают”, “Пришёл из корыстных целей — выпить хочу”.

Мероприятие, конечно, сложно отнести к рентабельным, и никакой конверсии в прямую выгоду здесь нет. Все расходы покрывает выставка, в них входят цветы, питание, чай с сахаром и печеньем. День донора на современной ВДНХ проводится и по сей день, правда, участвуют в нём, в основном, сотрудники.

Звёзды эстрады, кино, театра, в прошлые годы столь часто посещавшие ВДНХ, дававшие на выставке концерты, импровизации и интервью, в 1990-м и 1991 годах словно забывают о выставке. Разве что приезжает Александр Панкратов-Чёрный, да и то запрещает себя фотографировать.

— Контракт, — объясняет известный актёр. — С тех пор, как я снялся в хозрасчётном фильме “Десять лет без права переписки”, то дал подписку, что с обритой головой не имею права сниматься в течение пяти лет.

— Но это касается съёмки в кино, — возражают ему. — А на фото можно.

— Контракт есть контракт. Не хочу быть крупно оштрафованным.

Впрочем, звёздами на ВДНХ исторически считаются другие люди. Такие как заслуженный работник транспорта Латвийской ССР железнодорожник Леонид Левицкий. Его дед был соратником Ленина, отец — директором павильона “Латвия” на ВСХВ. Сам Леонид Витальевич ездил на выставку работать с материалами о железнодорожном транспорте, посещал отраслевые мероприятия.

— Первое посещение ВДНХ произвело неизгладимое впечатление, — рассказывает он. — Поразили своим величием павильоны, фонтаны...

Теперь, уйдя на пенсию, Леонид Витальевич приезжает сюда с фотоаппаратом и регулярно пополняет свой альбом, посвящённый выставке.

В 1991 году в последний раз вручаются знаменитые награды ВДНХ — золотые и серебряные медали. Но происходит это незаметно. Один из тех, кто представлен к некогда высокой награде, — Алексей Зель, мастер художественной стеклодувной техники, ставший известным сначала в среде зарубежных коллекционеров и только потом — в СССР. Корзины, фрегаты, целая серия животных — все они выдуты из стекла.

— Как стать Алексеем Зелем? — спрашивает мальчишка на экспозиции.

— Мои секреты доступны всем: наблюдательность, терпение, трудолюбие, зоркий глаз и твёрдая рука.

— Что вас больше всего вдохновляет?

— Зрители.

За 18 лет умелец создал сотни неповторимых художественных произведений и несколько признанных шедевров — “Шиповник”, “Бабье лето”, “Русское поле”.

Среди прочих изменений, в дирекции ВДНХ задумывают переформатировать и процесс награждения, разработать новые критерии, создать экспертный совет. Планируется возродить право изображения полученных наград на рекламах, деловых бумагах и изделиях предприятий и организаций, а также разработать высшую награду ВДНХ СССР, равнозначную понятию “Гран-при” за рубежом. Но для этих замыслов, к сожалению, не хватит времени.

– Сегодня медали ВДНХ не играют никакой роли в стимулировании развития промышленности в целом и не показывают достижения предприятий в частности. Целесообразно, изучив мировой опыт, разработать новую наградную систему ВДНХ СССР с тем, чтобы она была одним из рычагов воздействия на производительность, – объясняет член секции пропаганды Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры.

До предложений ввести медали за антидостижения и “худшую продукцию”, впрочем, не доходит. А вот посвящённая им выставка всё же состоится.

– Пора начинать показывать реальность на ВДНХ, – говорят экскурсоводы.

Вот как вспоминает это мероприятие под названием “Выставка некачественных товаров” американский журналист Дэвид Ремник:

Вереница посетителей медленно шла вдоль удивительного собрания антидостижений: гнилой капуста, дырявых башмаков, ржавых самоваров, облупленных кастрюль, воланов без перьев, сплюснутых рыбных консервов. “Гвоздём” экспозиции была бутылка минеральной воды, в которой плавалдохлый мышонок. В разделе одежды красные стрелки указывали на неровные рукава, вылинявшую краску, трещины в подошвах. На этикетке одного ювелирного украшения было прямо написано: “чудовищное”. Никто с этим не спорил.

“Чувство собственника в них достигло апогея”

Если и есть что-то неизменное на выставке – так это павильон “Цветоводство”. В нём растут живые цветы, создаются композиции, миниатюры, сувениры. Здесь всё красочное и яркое, и такое же настроение у людей, кто тут работает и кто приходит сюда. Павильон побеждает на международных конкурсах в разных частях света, здесь проводятся аукционы, лекции, и все уходят с ласковым советом:

– Дарите женщинам цветы!

Но проблемы не миновали и “Цветоводство”, а вернее, производственный участок павильона – теплицы. Две трети из них пустует, а на оставшемся участке работают бабушки, которые старше выставки и трудятся на ней с первого дня. Платить нечем, продавать цветы без разрешения руководства ВДНХ нельзя, техники нет. По соседству – несколько теплиц, арендуемых кооперативом, и ситуация в них разительно отличается: высаживают посадочный материал для садоводов – дело весьма прибыльное.

– Да какой тут секрет? – говорят молодые люди, арендаторы, показывая на землю. – Вы же по золоту ходите!

Исправлять ситуацию на территории, эксплуатируемой ВДНХ, планируют переходом на бригадный метод. Каждая работница должна выработать продукции на определённую сумму, что на практике значит одно: бабулям придётся гнуть спину в три раза чаще.

Из всех культур на ВДНХ-90/91 хуже всего с той, под которой мы подразумеваем воспитание, каждодневное поведение, взаимодействие с окружающим миром. У нас нет культуры обладания красотой, но ей можно научиться, считают оптимисты. Пессимисты полагают, что эта культура у нас была, но мы её утратили.

Озеленители – самая “верная” структура ВДНХ: она отличается удивительной стабильностью и неизменностью своих рядов. Кажется, люди приходят сюда навсегда. Некоторые работают с 1936 года (за три года до официального открытия!) и ещё полны сил. Каждый кустик здесь высажен руками этих людей, но сил, чтобы справиться с “вызовом времени”, у них явно нет.

После выходных на Центральной аллее – картина разгрома: убирать можно всю неделю. Весь ассортимент оберточной бумаги, упаковок и бутылок представлен на газонах ВДНХ. Каждому в жизни своё: кому-то красоту создавать, кому-то – уничтожать; арендаторы и кооператоры выставок, кажется, специализируются на втором. У аттракционов и общепита территория напминает городскую свалку, сорят не задумываясь, не только посетители, но и продавцы – “их” зона только в радиусе пяти метров от торговой точки, на остальной территории – хоть потоп. Такого здесь никогда не было, говорит старейшая работница ВДНХ:

– Может, Господь Бог видит, как я люблю свои цветы, свою ВДНХ, вот и держит меня на Земле.

Но её работа, как и четырёх её коллег, просто не позволяет восстанавливать всё с той же скоростью, с которой разрушают их труды. В фонтанах не просто купаются, а ещё и справляют нужду. Цветы вырывают с корнем, целыми кустами.

— Чувство собственника, о котором много говорят в последнее время, в этих людях развивать не придётся — оно давно достигло апогея. Результаты его — вот они.

Руководство выставки, занятое созданием нового имиджа ВДНХ, к сожалению, совсем не уделяет внимания помощи озеленителям.

— Здесь становится хуже, неуютнее, нет прежнего порядка и красоты, — говорят посетители.

— Здесь прошёл ураган? — спрашивает канадский бизнесмен, участник делового форума.

Скульптура “Рабочий и колхозница” неподалёку от Северного входа на ВДНХ почти разрушена, но обрастает не строительным, а настоящим лесом. В постаменте обживаются бездомные.

К слову сказать, ряды “бескультурщиков” порой пополняют и сотрудники ВДНХ, из новых. Фотограф ХОЗУ сорвал 60 пионов и сломал 30 веток сирени, но в его случае жадность привела к бедности — такие люди не задерживаются в коллективе выставки даже в этот непростой период.

Вспомнить о замках и злых собаках

Конечно, редкие работники выставки занимаются откровенным вредительством. Но общая атмосфера во взаимодействии между теми, кто некогда делал общее дело, создавая и развивая выставку, всё чаще кажется нездоровой.

В эфире программы “Время” директор крупного НПО, арендатора ВДНХ, вовсю поливает грязью выставку. И кого же в первую очередь? Детский городок. С ним его фирма не поделила павильон “Центральный”, а место выгодное. Предложение участвовать в жизни городка материально и оставаться с ним под одной крышей либо съехать в другое место его не устраивает, и не только по финансовым соображениям, ещё и по идейным: свою деятельность для выставки он считает важнее.

— Я сделаю всё возможное, чтобы убрать детский городок из павильона, — звучит в эфире прогрессивной программы “Взгляд”, собирающей у экранов всю страну.

Накаляются отношения и между разными отделами выставки: все теперь существовали автономно.

— Порохом гражданской войны в условиях надвигающегося рынка запахло и у нас, — сообщают журналисты ВДНХ.

Управление информации и рекламы публично ссорится с производственно-оформительским комитетом. Первым не заплатили деньги, а вторые утверждают, что так и надо, — сумма, мол, завышена. Такие случаи, немыслимые ранее, не единичны. Но что интересно: какой бы ни была суть претензий друг к другу самых разных сторон, пусть и все они стоят на прямо противоположных принципах, но все друг друга уязвляют и клеймят одинаково, одним и тем же аргументом. Более того, каждый стремится “укусить” и саму выставку: мол, не готовы мы к рынку, потому что ориентируемся на “печальное время достижений”. Клеймят приверженностью старому и невосприятию всего передового во вполне классической, годами отработанной советской стилистике, что и в 1939-м, и в 1950-х, и в 1970-х годах, в тех же словах, тех же оборотах. Пламенная борьба за новую жизнь упаковывается не просто в старую — в ветхую стилистическую обёртку.

Производственно-оформительский комитет, ставший одним из самых заметных на Выставке, — он занимается изготовлением плакатов, щитов, транспарантов, формирующих лицо выставки, и имеет несколько своих цехов, — а значит, и устойчив в условиях рынка, призывает скорее выработать единый стиль оформления ВДНХ. Слово его руководителю:

— Нужна новая концепция внутренней рекламы, отражающая особенности того делового организма, который будет развиваться на территории нынешней ВДНХ. Она должна стать частью генерального проекта возрождения выставки.

Задача, кажущаяся вполне посильной, будет решена только к 2014 году и уже совсем другой командой. Пока же пресс-центр ВДНХ открыто переходит на коммерческие рельсы, решив публиковать и выпускать от лица ВДНХ даже то, что к выставке не имеет ни малейшего отношения.

— Вам нужен деловой партнёр, спонсор? Вам нужна реклама ваших идей? Вам просто нужно выжить в условиях рынка? — привлекает пресс-центр. Пресловутое “выжить” читается очень во многих рекламах и “уникальных предложениях” на ВДНХ-90/91. Сложно скрыть истинную задачу плодами первых робких попыток осваивать PR и копирайтинг.

Для адаптации к новой жизни организуются бесчисленные курсы по переподготовке. Проверка министерства финансов выявляет многочисленные нарушения на ВДНХ, причины которых — элементарная экономическая безграмотность, да к тому же в стремительно меняющихся условиях. В первые годы девяностых ВДНХ впервые публикует данные: как и на что выставка тратит деньги.

Но, кажется, больше, чем что бы то ни было, всех заботит отказ от аббревиатуры ВДНХ. “Скорей, скорей!” — будто без этого прогресс не сдвинется с места. Так ребёнок, выросши из старых штанов, спешит отказываться от идеалов родителей — громко, надрывно, бескомпромиссно. Что есть ВДНХ ранних девяностых, как не подросток, лишившийся опеки и не знающий, куда теперь податься?

Новый подход к людям демонстрирует дирекция выставки. На конец года запланирована большая переаттестация, которая наверняка приведёт к масштабным сокращениям в начале нового, 1992 года. Повышение ставок, пересмотр функций и задач, оценка резервов и перспектив каждого — всё это называлось “уйти от уравниловки”. Если прежние аттестации проводились в духе социалистического воспитания — оценить работу, осудить, похвалить — то теперь человек мог быть сколь угодно положительным, ответственным, отзывчивым и сколь угодно долго работать на выставке, оценивалось лишь одно: какую прибыль он способен принести.

“Выставочный” детский сад около Хованского входа ещё продолжает работу, но возле него нет площадки, где дети могли бы играть. Помещение маленькое, на актовый зал, изостудию денег нет. Администрация ВДНХ пытается решить проблемы сада, например, оборудует тренажёрный зал, однако все и сразу не решишь, время не то. Медленно, но развивается база отдыха “Тучково” — здесь открывается новый корпус, 500 сотрудников проводят на базе отпуска. Но на работу с детьми едут энтузиасты — на педагогов уже нет средств. Для школьников созданы все условия — бегай, купайся, играй, отдыхай! Но вот обычный московский школьник приехал сюда в каникулы.

— Тебя как зовут?

— Серёжа.

— Ты почти весь день проводишь в компьютерном классе. Неужели ты в школе не устал от этих занятий?

— Нет...

В поликлинике ВДНХ — хвойные и жемчужные ванны, разные виды душа, массаж. Теперь не только для сотрудников, но и для посетителей — за умеренную плату. Колбасный заводик выставки, вежливо извиняясь в официальной документации, поднимает в несколько раз цены: закупочная стоимость мяса изменилась в 4 раза, а ещё ведь и транспортные, и прочие затраты!

Комсомол в глубоком кризисе и уже ни на что не влияет, даже не может распоряжаться собственными финансами. Попытку спасти его и вписать в новую реальность пытается предпринять новый руководитель. Она провозглашает главные задачи: защищённость молодёжи и трудоустройство, прямая работа с руководством выставки и отстаивание своей точки зрения. Как и везде, им требуются активные и энергичные ребята — сложно представить, чтобы в эти годы где-нибудь требовались другие.

22 апреля выставка скромно отмечает День рождения Ленина. Руководство праздник игнорирует, приходят энтузиасты из числа сотрудников — те, кто считает это важным для себя. Ветераны партии и молодёжь возлагают цветы у памятника вождю возле Центрального павильона. Не гремит оркестр, не выступают ораторы, своим присутствием здесь люди молчаливо высказывают свою нынешнюю позицию: конечно, сегодняшний день их беспокоит сильнее, чем Ленин. Роль Ленина переменялась, теперь он символизирует прошлое,

и Ильича не просто игнорируют, на него открыто нападают. Эти нападки приводят к распаду страны, считают собравшиеся. Они чувствуют себя “подпольщиками”, и не зря – в 1991-м этот праздник на ВДНХ проходит в последний раз.

В том же году проходят выборы в партийные организации выставки. Их значимость и влияние буквально рассыпаются на глазах. Активность в партийной идеологической работе снижается до нуля. Политическая учёба проводится в форме дискуссий и посвящена проблемам экономики и рынка. Все отмечают, что в партийных рядах нет единства, но объясняют это ошибками прошлого:

– Историческая однопартийная система привела к тому, что в партии оказались люди с разными взглядами. Это мы наблюдаем и в партийных ячейках выставки. Партии необходимо чётко определить свои цели.

Коммунисты, чувствуя крах, пытаются оседлать “новую волну”, возглавить её. Но сделать это сложно: интерес к идеологии стремительно падает, новые правила жизни не вписываются в прежние коммунистические рамки. 7 ноября 1991 года только 150 работников выставки выходят на торжественный митинг.

Профсоюз требует индексации цен и зарплат, выделяет желающим земли под огородные участки. 1 800 работников решают заняться выращиванием картофеля и овощей. Со вспашкой земли, борьбой с вредителями и транспортом обещает помочь выставка. Создаётся Фонд социальной защиты ВДНХ, полностью состоящий из добровольных пожертвований. Схема проста – все, кто не уверен в завтрашнем дне, скидываются на случай, если им потребуется помощь. Фонд обещает защиту работников от “независящих причин”: катастроф, аварий, невыполнений производственной программы из-за непреодолимых обстоятельств. Судя по всему, такие перспективы пугают сильнее, чем хулиганы на тёмных аллеях выставки. В отличие от дружинников, фонд почти сразу собирает внушительную сумму – 10 тысяч рублей.

Пресса всё чаще нападает на Главную выставку страны; теперь если и пишут о чём-то, связанном с ВДНХ, – так только о мусоре и бардаке, о преступлениях, о бесполезности и бессмысленности выставки, не замечая или не желая замечать крупных выставок, масштабных, порой авантюрных проектов будущего.

Восьмидесятые запомнились как время смелых идей по развитию и реконструкции выставки. Ни одна не реализовалась. На смену пришли девяностые с новым видением выставки – причём у каждого своим. Одним видится некое подобие луна-парка, другим – свободная экономическая зона, третьи просто мечтают распродать территорию иностранцам. Разговоры о будущем ВДНХ не утихают ни на минуту. Фонды изношены, павильоны давно не ремонтируются, некоторые, перешагнувшие полувековой возраст, разваливаются на глазах. Элементарный вопрос – выживет ли выставка – вроде бы решён: выживет. Роль выставок в мире стремительно возрастает, и Советский Союз вряд ли хочет стать исключением. Остаётся лишь не прогадать с форматом.

– Какой быть ВДНХ – производный вопрос от главного: какой рынок возобладает в стране. Мы исходим из того, что наш рынок будет советским, социалистическим, регулируемым, – говорит гендиректор Саюшев. – Если воцарится стихия, война всех против всех, последствия непредсказуемы.

Все предлагаемые идеи замыкаются так или иначе на рынок, ориентир на другие цели приведёт к немедленному краху, что очевидно всем. Споры на тему “что делать с выставкой” порой принимают неприглядные формы. То в одном, то в другом павильоне звучат призывы:

– Пора кончать с ВДНХ – местом, где встретились свинарка и пастух.

Теперь эту встречу наделяют иным смыслом, вместо гордости и счастья каждый подчёркивает желание дистанцироваться. На месте этой встречи будет новый мир, конечно же, не для свинарок – АО “Общесоюзный деловой выставочный центр”. Ещё недавно, в 1987 году выставка радовалась появлению “у себя в гостях” первого акционерного общества, а теперь и сама собирается стать АО.

Почему именно АО? Так легче устраивать экономические взаимоотношения. У выставки может появиться несколько владельцев. Неделимое и неделимое имущество становится мобильным и делимым, то есть может быть продано любому количеству участников. Этот последний пункт, который примут в одной стране, а реализовывать начнут в другой, и станет причиной

последующих трудных лет выставки, с их проблемами, многие из которых не решены до сих пор.

Какой же быть новой выставке? Ей предлагают придать международный статус, статус бизнес-центра и даже сделать отдельным районом Москвы! Звучат планы по созданию огромной кондитерской фабрики “выставочного качества”, вокруг которой и стоит выстраивать новый бренд, и даже создания как основополагающего проекта будущей ВДНХ животноводческого комплекса с аукционами лучших пород животных. Но более отчётливые формы приобретает проект создания на базе выставки технопарка-технополиса. Задача технопарка – создание климата, где человек трудится над своей идеей в конкурентной среде. Здесь же он находит производителя, который согласен эту идею реализовать.

В апреле 1991-го о проекте впервые говорят на официальном уровне как о совместном советско-итальянском предприятии под эгидой Госкомитета СССР по науке и технике. На территории бывшей ВДНХ планируется создать нечто подобное Дубне и Черноголовке, но в современном формате (ближайшая аналогия из XXI века, – конечно же, Сколково). Здесь научный мир должен тесно срастись с бизнесом, стать востребованным. Мозг технопарка – центр инновации с лабораториями, мотор – бизнес-центр, а вокруг этого ядра – гостиницы, торговые центры, рестораны, бары и казино. Причём эти заведения должны быть лучшими по Москве в категории доступных, заменив собой шашлычные уличного приготовления и “кафешки” без вилок. Здесь же должен расположиться один из самых вместительных в мире складов, заработают аттракционы мирового уровня, а по территории будет пущен сверхсовременный транспорт, включая монорельс, о котором ВДНХ грезил с начала 1980-х – и всё будет финансироваться от реализации тех идей, которые родятся в центре инноваций. В упрощённой модели всё это выглядит, как вселенная носовского “Незнайки”: Знайки придумывают, Винтики и Шпунтики делают, Пончики продают. Помимо этого, в лучшем из вариантов, технопарк будет “получать допинг” по модели парижских выставок – налоговые льготы и дотации от государства, которые в СССР-1991 для выставочной деятельности не предусмотрены.

Потенциальные участники будущего технопарка понимают его задачи каждый по-своему. В МТЦ “Инноватор”, прописавшемся на ВДНХ, задачу Технопарка объясняют коротко: выполнение западных заказов. Скачок от “достижений” советских отраслей в “продвижение” технических и инженерных возможностей страны. Недаром в проекте архитектора Виноградского одним из ключевых моментов становятся спутник связи и коммуникационная сеть, которые позволят осуществлять немедленную передачу информации с выставки на Запад.

Однако проектировщики технопарка, в противовес этому мнению, считают, что само по себе появление такой структуры, как технопарк, повлечёт за собой изменение законодательства. А значит, станет защитой от перекачки наших интеллектуальных идей за рубеж.

В мае 1991 года заложен символический камень технопарка. От настольного макета до воплощённого в стекле, стали и бетоне суперсовременного комплекса с 250-метровым небоскрёбом пройдёт два года, заявляет советская сторона на церемонии. Представители итальянской на вопрос, не боятся ли прогадать с этим масштабным замыслом, отвечают шуткой:

– Единственное, чего мы боимся, – это землетрясения в Москве, которого не выдержит наш небоскрёб. Но у вас же их не бывает.

Уже спустя месяц доска с памятного камня, посвящённого строительству технопарка, пропадает. Инцидент объясняют хулиганством мальчишек, – мол, кто же устоит перед такой красотой. Вполне возможно, что и перед стоимостью: доска оценивается в 300 рублей, почти месячную зарплату милиционера.

В сентябре ограждены территории у Совхозного въезда. Начинается строительство первого объекта технопарка – невзрачного офиса для размещения представителей зарубежных фирм.

– Часть заработанной валюты за счёт сдачи помещений в аренду будет использована для закупки дефицитных товаров ширпотреба, которые потом сотрудники выставки смогут приобрести за рубли, – изящно поясняет замдиректора ВДНХ Михаил Есенин.

Однако в октябре проходит “Биржа-91”, организованная пресс-центром выставки. На ней ВДНХ почему-то заявляется как биржевой центр. Бывшая выставка должна стать оазисом для бизнесменов, соединить природу с рынком, сохранив сложившуюся ландшафтно-архитектурную зону.

— Может ли быть для всего этого лучшая территория, чем ВДНХ? Представьте: товарные биржи, биржи ценных бумаг, торговые дома, финансовые центры — оазис всего лучшего в мировой торговле и бизнесе! — восхищается генеральный директор Саюшев: — Всё это в непосредственной близости от правительственного центра и принимающего решения органа страны. По мнению американских коллег, подобного сочетания нет больше нигде в мире!

“Подождать с распадом”

Политическая жизнь 1991 года — разговор особый. ВДНХ переживает трагические события вместе со всей страной. Уже в январе официальная выставка резко реагирует на литовские события, где националистические силы перешли к вооружённым методам борьбы против СССР и призывали расправляться с коммунистами. Сотрудники выставки обращаются к Горбачёву: ваше решение, товарищ президент?

В отличие от “рыночных” прений, позиция о целостности Советского Союза на ВДНХ едина — все так или иначе желают сохранения страны. На деловых и агитационных семинарах для работников обсуждается политическая обстановка, в периодических изданиях выставки с обсуждением рыночных вопросов и перспектив ВДНХ соседствуют познавательные материалы о случаях распада стран в мировой истории, например, о разделе Индии в 1947 году, когда Великобритания сыграла на религиозных противоречиях между различными группами населения, и его катастрофических последствиях. Рядом со статьей — карикатура: курица-наседка и птенчик, проклюнувшийся из яйца, с большим плакатом “Суверенитет!”

*Лишь только он проклюнулся чуть свет,
Как сразу пискнул: “Суверенитет!”
И чтоб его скорее получить,
Усердно начал курицу учить.*

Когда приходит главная беда, все внутривыставочные проблемы отходят на второй план. “Нужен ли Союз с международной точки зрения?” “К чему приведёт ликвидация?” “Какие последствия для отношений с другими странами?”, “Как повлияет на обороноспособность?” — вот какие вопросы тревожат ВДНХ.

Необходимо подождать с распадом, потому что он неизбежно пройдёт “по плохому сценарию”. Предотвратить войны, катастрофы. Цивилизации гибнут не потому, что не могут пережить какого-то кризиса, а потому что несколько кризисов накладываются один на другой и вступают в разрушительный резонанс. Нужно сделать всё возможное, чтобы разделить кризисы во времени и пережить их один за другим. Не допустить, чтобы терпимость, добродушие и солидарность, которые создавали уникальную возможность совместного проживания множества народов, сменились озлобленностью и агрессивностью. Начнётся необратимая цепная реакция конфликтов, в которой сгорит вся страна.

Все болезненные точки советского общества находят своё отражение, преломляются на ВДНХ. Ведь выставка — это, в первую очередь, люди. СМИ нагнетают враждебное отношение к армии, милиции. Сотрудница выставки, чей муж служил в Афганистане, рассказывает, как постоянно слышит разговоры: “Военные — убийцы и садисты, у них руки в крови. Нет, муж твой замечательный парень, но армию давно пора разогнать. Бездельники!”

— Эта пощечина до сих пор горит на моих щеках, — рассказывает она.

И всё бы ничего, но эти пощечины — не только в трамвайных склоках, а в газетах, на радио, в Верховном совете. Выросшая в семье офицера, она не может с этим смириться: “Для меня армия — близкие родные люди, люди долга и чести”.

— Мы клеймим афганскую войну, а заодно и воинов-афганцев, забыв о том, что посылали их на кровавую бойню именем Родины, и мы, прозревшие

позже, благословляли эту войну своим молчанием. Мы знаем имена героев-пожарных, первыми шагнувших в пламя Чернобыля. У меня перед глазами – бывший вертолётчик, “схвативший” своё над четвёртым блоком. Жена кормит его с ложечки, считая отпущенные врачами дни. У меня сжимается сердце при мысли о том, что однажды и ей скажут, что военные – убийцы.

Когда приходит пора голосовать по вопросу сохранения Союза, выставка единогласно выступает “за”. Обращения напоминают современные петиции на *change.org*, – как окажется, в том числе и эффективностью.

– Не представляем, что, отделившись, кто-то станет жить хорошо. Но и формулировка “обновлённый Союз” не совсем понятна – никто не объясняет, чем этот обновлённый Союз будет отличаться от нынешнего, – говорит директор Детского городка, ему вторит главврач поликлиники.

– Это типа вопроса “а что такое любовь?”. Вроде и все знают, но каждый как-то по-своему, – наклейщица производственно-оформительского комбината.

– Нам нужно, чтобы, когда мы трудимся вместе, ты радовался моему успеху, а я твоей удаче, – хранитель экспонатов музея ВДНХ.

– Никак не время сейчас устраивать бракоразводные процессы, – главный энергетик выставки.

Принято и коллективное, официальное обращение работников ВДНХ СССР:

Пусть Москва останется столицей равноправных суверенных республик, а наша Выставка – местом взаимодействия всех народов страны, центром всесоюзного общения.

Сказав “да”, мы останемся честными перед историей.

“Громыхнёт” в августе девяносто первого. В газете выставки – минимум слов. Одни фотографии, которые ярче всех слов, и строки малоизвестного военного-поэта:

*На землю России ступите, дожди,
Умойте её, легкокрылые воды,
Нам долго не видеть лазурной погоды,
Ты быстрого счастья, Россия, не жди.*

События путча выставка встречает болезненно, но по их поводу единогласия в коллективе нет. Каждый отстаивает своё, и каждый чувствует угрозу – своей свободе и своей правде. Слишком они оказываются разные, эти свободы и правды. Взаимоисключающие. И кажется, договориться не получится: можно только победить. Но что же станет решающим, определяющим всё?

Много лет спустя в развлекательной серии популярной “сталкерской” литературы выйдет книга “ВДНХ-2222”. Этот факт не стоило бы упоминать вообще, если бы, при незначительных художественных достоинствах книги, в ней не содержалась одна антиутопическая фантазия. В альтернативной реальности будущего, где давно не существует Москвы, герой попадает в параллельную реальность, созданную чьей-то большой фантазией на основе воспоминаний о ВДНХ. Но разумеется, такая “выставка” представлена в апокалиптическом ключе. Среди прочего встречается и фонтан с шестнадцатью фигурами. Они в противогазах и с автоматами в руках, направленными на “соседа”. Сам фонтан наполнен кровью и гнилью, и называется он не “Дружбы народов”, а “Вражды всех против всех”. Знаменитый на весь мир фонтан был задуман как символ, и теперь ему никогда не избежать символических трактовок, какое бы ни наступало время. И можно быть уверенными, что в те страшные или как минимум тяжёлые последние дни 1991 года многим, особенно людям с богатой фантазией, представлялось что-нибудь вроде этого “страшилища” из ещё не написанной книги. И дело вовсе не в самом фонтане.

Прощание получится пронзительным – и со страной, и с выставкой. Вместо привычных весёлых новогодних открыток – вот этот текст, юмореска, подписанная “ночным посетителем”. Но вряд ли его сочинил посетитель, да и мало кто станет смеяться, читая её даже теперь, спустя годы. Можно принять любую позицию, поддерживать тех, кто ближе, радоваться или сокрушаться по поводу фактов истории, которые уже не изменить. Но нужно понимать, как это видели здесь, в центре прежнего мира. Перед нами документ, застывший в вечности, свидетельство того, что перед историей – как того и хотела – ВДНХ осталась честна.

Когда над ВДНХ опускается тёмная зимняя ночь и часы бьют 12, становится как-то жутковато. А в эту памятную ночь стоило мне приблизиться к знаменитому фонтану ДН, как возникла настоящая чертовщина. Даже дух захватило: грациозные, одетые в золото славные представительницы Союза ССР, мастерски созданные художниками, вдруг зашевелились, словно очнулись от многолетней спячки под выставочным небом, и завели оживлённую беседу.

— Ну, милые мои подруженьки, — сказала одна из них, наверное, россиянка. — Что-то не нравится мне предстоящий год Обезьяны. Как бы он не стал для нас последним. Вполне могут выдворить отсюда и переместить в какой-нибудь сарай или на склад.

— Это почему же? — раздалась сразу тревожные голоса. — Кому мы мешаем?

— Посетители привыкли к нам, им нравится наш чудо-фонтан. Где ещё можно увидеть такой?

— Всё верно, мои хорошие, золотые, но не забывайте о том, что происходит в этой несчастной стране. Союз нерушимый, который вы здесь олицетворяете, приказал долго жить. Даже президент уже подумывает: пора сматывать удочки. А вы тем более кому будете нужны? Чего доброго, чуткие посетители начнут плакать возле вас, а может быть, и бросать тухлые яйца.

— Такой красивый фонтан просто не сможет обойтись без нас. Да и где начальство найдёт ему достойную замену?

— Наивная ты, сестричка. Возьмут да и поставят на наше место элегантно одетые скульптуры современных бизнесменов. Ведь теперь они в большой моде.

— Я надеюсь, что найдутся умные головы и придумают что-нибудь лучше, более возвышенное...

— Прошу выслушать и меня, — ещё один приятный голосок вступил в беседу. — Считаю, надо действовать смело и не отставать от москвичей. Давайте немедленно приватизируем фонтан — и баста! Никуда не уйдём отсюда!

Послышались горячие аплодисменты...

Использованные материалы:

- Газеты 1990-1991 года “За передовой опыт” (издавалась на ВДНХ еженедельно).
- Вестник “Новости ВДНХ СССР” (19 выпусков в 1990 году, 6 — в 1991 году. В прежние годы издавался еженедельно).
- Журнал “ВДНХ СССР” (1990), “Прогресс-ВДНХ СССР” (1991), “Прогресс” (1992).
- Методичка для выставочных работников “Новые рекомендации к организации выставок”, издана на ВДНХ.

МАРК ЛЮБОМУДРОВ

DRANG NACH RUSSLAND

В начале XXI века Россия переживает еще один этап агрессивной русофобии – на всех направлениях – в политике, экономике, общественной жизни, в культуре и искусстве.

Чтобы картина стала отчетливее, обратимся к общественно-политическому контексту, в котором разворачиваются события. Историческое развитие страны характеризуется нарастанием антирусских сил. Направляет и реализует такую политику существующая в государстве властная вертикаль. В обиходе нередко употребляют термин “пятая колонна”, как синоним внутренних врагов. Сегодня это понятие как обозначение силы, существующей якобы отдельно от государственного официоза, требует пересмотра. Ибо именно властная вертикаль, ее административный аппарат и являются “пятой”, а точнее “первой” и не колонной, а многосоставной, но единой силой, под фальшивую риторику разрушающей потенциалы страны и сокращающей русский народ. Реализуется доктрина американского идеолога Збигнева Бжезинского, который на вопрос, что такое “русский народ”, отвечал – “лишний народ”.

Покорные “Вашингтонскому обкому” его порученцы-исполнители для начала (следуя традиции еще советского времени) стали зачищать само название “русские”. Такого народа нет в действующей Конституции, нет в наших паспортах, запрещено называть по этнической принадлежности политические партии и т. п. За минувшие десятилетия не помню, чтобы в речах первых лиц хотя бы единожды прозвучало словосочетание “русский народ”, напомним – государствообразующий народ!

Но если бы дело было только в словах. В реальности происходит неуклонное убывание самого русского народа. Он уменьшился с 1992 г. на 17 миллионов человек. По прогнозу Всемирного Банка, русские вскоре исчезнут с лица планеты как титульная нация. Россия стала колониальным придатком Запада. Опытными политехнологами запущен механизм самоистребления русского населения (об этом еще в 1990-е годы писал Вл. Максимов в книге, так и называющейся, – “Самоистребление”). Цель международного иудомасонства и конспиративная стратегия его кремлевских сателлитов: Россия без русских! Врагам нужна территория, природные богатства и – меньше коренного населения.

Сегодня известные политические деятели открыто говорят и пишут, что в стране установлен “людоедский режим” (Г. А. Зюганов), осуществляется политика геноцида (С. Ю. Глазьев), “правительство недостойно России... главы министерств работают... на западные, а не российские интересы” (Л. Г. Ивашов). О “прямой национальной измене с циничным использованием служебного положения” напоминает экономист В. Авагян. Вымаривают

народ нищетой и грабежом: за 2000–2015 гг. доходы от экспорта сырья составили около шести триллионов долларов, приводя эти цифры, аналитик Л. Сироткин (Волгоград) пишет: “Очень хочется спросить Владимира Путина – куда девалась такая прорва народных денег, если у этого народа денег на самые насущные нужды не хватает?”.

Граждане из провинции пишут: “Правители России, захватившие власть с помощью западных спецслужб, продолжают убавлять население страны, ведя ее к нищете. Создается впечатление, что элита специально увеличивает смертность народа” (“Сов. Россия”, 2019, 29.03). О том, что “народ брошен на растерзание олигархам... элиты вживляют в общественный организм чуждые теории и действуют по сути антинационально”, пишет публицист Лидия Сычева. Режим уже давно называют криминально-олигархическим.

Как очевидно, геноцид направлен прежде всего против русского народа. “РИА новости” со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщают: самый высокий уровень смертности в 2018 году зафиксирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Вымаривают центральную Русь.

Таким образом, на коренных русских территориях осуществляется тотальная – этнически-физическая, экономическая, политическая дерусификация. В стране установлен режим, ставший частью “сионистско-масонского глобального проекта”; в его “социалистско-коммунистическо-демократическо-либеральном формате и строится жизнедеятельность Росфедерации и многих других стран”, – так определяет современную политическую специфику научный руководитель Института Русской геополитики, философ, полковник В. Л. Петров (в кн. “Русская геополитика”, М., 2016). Главным политическим “оппонентом” русского народа он называет “организованный, международный, иудеосионистско-еврейский субъект”. А его “цель” определяет как “уничтожение Русской цивилизации и устранение, как такового, русского народа” (там же).

Не очевидно ли, что порученцы этого “субъекта”, утвердившиеся в правящей властной вертикали современной РФ, и призваны исполнять волю обозначенного “субъекта”? В мировой истории уже бывали случаи, когда органы государственной власти являлись исполнительными органами внешних (и, разумеется, внутренних тоже) врагов. Русофобы внутри страны опираются на весьма разветвленный слой либерально-космополитической “интеллигенции”, которая никогда не стеснялась показывать свое агрессивное антирусское лицо. Нельзя, к примеру, забыть печально знаменитое письмо 42-х писателей (октябрь 1993 г.), требовавших беспощадно расправиться с русской “оппозицией” – его подписали существующие в фейковом благородном ореоле Гранин, Ахмадулина, поэт Андрей Дементьев, провозглашенный русофилом и “совестью нации” академик Дм. Лихачев, критик Оскоцкий и даже писатель В. Астафьев.

Были и еще “письма”, а точнее доносы – например, в администрацию президента обращались девять литераторов, в частности: И. Золотусский, Ю. Нагибин, А. Приставкин, Р. Солнцев, А. Анфиногенов и др. – требовали запретить Союз писателей России, всю русскую национально ориентированную прессу, в том числе журнал “Наш современник”, газеты “Литературная Россия”, “Московский литератор” и другие. Полагают, что это случилось якобы в силу свойственной либералам “продажности”. Однако не сомневаюсь, что они были вполне искренними, когда требовали расправы над чуждой и ненавистной им русскостью. Вспоминается бессмертная басня Крылова о змее: “Хоть ты и в новой коже, но сердце у тебя всё то же”. Разве не был несомненно искренним политик Г. Явлинский, который в ночь перед расстрелом Дома Советов в октябре 1993 г. требовал от Ельцина использования “регулярных вооруженных сил” и необходимо проявить “максимальную жестокость” и насилие против депутатов Верховного Совета.

Прошло четверть века, но жив курилка! Можно привести немало “свежих” примеров. Актер Алексей Серебряков в публичном интервью (февраль 2018) заявил, что “национальная идея России – сила, хамство и наглость”. С ним поспешили согласиться его коллеги, известные лицедеи Михаил Ефремов и Лия Ахеджакова.

Подытоживая характеристику “контекста” недавних десятилетий, легко заметить, что атака на русские ценности развивалась и нарастала. События

убеждают, что в начале нулевых годов XXI века стала формироваться стратегия комплексного удара по основным русским центрам. Для “правового” подкрепления этой стратегии была придумана ставшая знаменитой статья УК РФ 282 – наказывающая за “разжигание розни” (принята в 2002 г.). Тогда же прозвучало мнение, что статья направлена не столько на борьбу с ксенофобией, сколько на защиту властей от оппозиции, то есть против критикующих власть. По мнению ряда юристов, 282-я статья юридически несостоятельна, т. к. предоставляет огромные возможности для расширительного толкования (точнее – произвола).

Статью 282 сразу энергично пустили в работу. Как и предполагалось, ее использовали в основном против этнически русских людей. За ней закрепилось название “русской статьи” или “гильотины для русского народа”. Вскоре начались судебные процессы. Как свидетельствуют наблюдатели, их взрывной рост пошел с 2011 г. В 2015 г. было вынесено 370 приговоров, в 2016-м – 421 приговор, в 2017-м – 481, за неполный 2018 год было заведено 762 уголовных дела.

К концу десятых годов XXI века антирусское наступление достигло больших успехов – в сфере экономики, образования, медицины, пенсионного обеспечения. Отдельные очаги сопротивления имели место в сфере культуры и искусства. Поэтому враги русского народа стали осуществлять “выравнивание фронта” и сосредоточили свои удары на этом направлении.

Нельзя забывать, что русские за последние годы понесли серьезные потери среди своих лидеров. Ушли из жизни писатели и мыслители В. Г. Распутин, И. Р. Шафаревич, В. В. Кожин, В. И. Белов, Л. И. Бородин, С. Н. Семанов. Невосполнимой утратой стала кончина композитора Г. В. Свиридова, художника И. С. Глазунова. При неясных обстоятельствах смерть наступила таких выдающихся аналитиков режима, как В. Илюхин, таких историков и философов, как Панарин, Козенков, Петухов, Шиманов. Как сегодня нам их не хватает!

Культура, литература, искусство (театр, музыка, кино), иные гуманитарные направления являются цивилизационным фундаментом России. Это еще и идеология, формирующая национальное и историческое сознание народа, помогающая ему сохранять мировоззренческие основы, традиционный менталитет, сопротивляться разрушительным духовным воздействиям, противостоять чужеродным вторжениям.

Критерии в анализе культуры и искусства заключены в оценке того, насколько плодотворно они служат воплощению главных нравственных ценностей – справедливости, истины, добра, совестливости, красоты, способности противостоять злу, силам тьмы. Существует великое русское искусство – правдивое, национально самобытное, основанное на канонах реализма, эстетической гармонии. И есть его враги – разрушители, проповедники антикультуры, создатели искусства, искажающего мир, обезбоженного и человеконенавистнического, апологеты эстетизации зла, извращения, капризного формотворчества, третирующие русскую самобытность. Они отрицают мудрость лучших представителей Русской Культуры, которые утверждали: “Все великое в искусстве исходит из недр глубоко национальных” (основатель МХТ Вл. И. Немирович-Данченко).

На недавнем этапе наша цивилизация испытала тяжелейшие удары: разгром Академии наук, разрушение системы образования (школьного и высшего; как известно, пресловутое ЕГЭ было создано для тестирования умственно отсталых детей), растущая “заместительная миграция”, повальная семитизация СМИ и административных органов, постоянный отток за границу специалистов высокой квалификации. И конечно же, значительно сократившиеся (даже по сравнению с советским периодом) бюджетные ассигнования на науку и культуру, нынче они одни из самых низких в мире.

На наших глазах развертывались репрессии против авторитетных представителей русского национального мира. Преследовали С. Н. Бабурина, О. А. Платонова, Т. В. Доронину, А. Полетаева (руководитель оркестра “Боян”), С. Крылова (главный редактор журнала “Вопросы национализма”). Сместили с поста главного редактора “Литературной газеты” Ю. Полякова. Утеснительная по отношению к русским началам политика коснулась и церкви: без достаточных оснований отправили “на покой” некоторых видных иерархов с активной русской позицией, пользовавшихся большим уважением и любовью паствы.

В этом же ряду и “поощрительное” отношение к авангардизму русофобского разлива. На театральном направлении это относится к режиссерам Фокину, Могучему, Серебренникову и ряду других. На них обрушен водопад орден, наград, премий и дифирамбов репильной прессы.

Очередной этап наступления на русских обозначился изгнанием (2012) с поста ректора выдающегося деятеля русского национального движения С. Н. Бабурина, председателя Российского общенародного союза. Он возглавлял Российский государственный торгово-экономический университет. Многие годы Бабурин успешно руководил им, при нем университет стал одним из центров консолидации русских сил. Это, видимо, и вызвало последовавшие сверху репрессивные меры. В декабре 2012 г. Министерство образования и науки – без убедительных доказательств – признало РГТЭУ “неэффективным вузом”. Приказом министра Д. В. Ливанова С. Н. Бабурин был уволен со своего поста. Энергичные протесты преподавателей и студентов против несправедливости результатов, разумеется, не дали. Русофобы праздновали победу.

Бабурина беспощадно вытеснили и с политического поприща, на котором он обладал большим авторитетом. Подтверждение тому – история с выдвижением его в кандидаты в президенты (март 2018). Подловатая интрига была хорошо срежиссирована. Как известно, шесть кандидатов, конкурентов главного лица, использовали как группу миманса в грубовато сляпанном политическом спектакле. В итоге последнее место “нарисовали” Бабурину – всего 00,65% голосов. Обозначили результат с назиданием – в политику не суйся, ибо тебя никто не поддерживает и никогда не поддержит.

Закономерно, что Бабурин одним из первых выступил с критикой погромного нападения (13.09.2017) на Институт Русской Цивилизации и преследования его руководителя О. А. Платонова: “Российский общенародный союз решительно осуждает очередную силовую акцию русофобов... мы требуем прекратить гонение русских за то, что они русские” (19.09.2017). Напомним, что этот Институт является крупнейшей в русской истории научно-исследовательской и издательской организацией, которая поставила своей целью (и достигла ее!) – собрать и опубликовать, то есть вернуть нашему народу его грандиозное духовное наследие, созданное великими русскими мыслителями, учеными, писателями, государственными и общественными деятелями, чьими усилиями было создано Русское государство – образец державы, строившейся на началах добра, правды и справедливости.

Институт русской цивилизации (ИРЦ) объединил усилия более 150 современных ученых и специалистов, занятых изучением русской истории, идеологии, культуры. За 25 лет Институт опубликовал 25 энциклопедий и исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских мыслителей и ученых, отразивших развитие русского национального мировоззрения и борьбу народа с силами мирового зла, с русофобией. Издано около 170 монографий и научных трудов по малоизученным проблемам истории и идеологии. В культурный оборот, читателям были возвращены огромные духовные ценности, ранее находившиеся под запретом или вытесненные на обочину общественной жизни.

Конечно, эти книжные сокровища повлияли на пробуждение и развитие национального и исторического сознания русского народа, а значит, могли стать обновленным толчком к его самоорганизации и сопротивлению той колониальной зависимости, в которой он оказался на рубеже XX–XXI вв.

Такое положение вещей было нетерпимым для антирусских сил, влиявших на политику властной вертикали, высшей администрации и различных кремлевских структур. Началась планомерная агрессивная осада ИРЦ, в которой невероятную ретивость проявили (по признанию Платонова) “еврейские экстремисты-сионисты”. Множились доносы и вызовы директора в прокуратуру. Поводом явились некоторые просветительского характера книги ИРЦ, которые русофобскими функционерами были истолкованы как якобы антисемитские и “разжигающие” межнациональную рознь (со ссылкой на статью 282 УК РФ).

Чудовищному по суровости и вандализму разгрому подвергся ИРЦ 13 (! – М. Л.) сентября 2017 г. В отсутствие сотрудников в помещении ворвалась группа из Следственного комитета. Взломали замки, порушили мебель, сбросили с полок книги, рукописи, документы, конфисковали компьютеры, испортили иную электронную технику. Действовали нагло, громили с неистовством – с расчетом на устрашение и будучи уверенными в абсолютной безнаказанности. Одновременно были проведены обыски в квартире и на даче Платонова.

По чьей же команде действовал Следственный комитет, вроде бы состоящий из русских людей и возглавляемый уважаемым А. И. Бастрыкиным, имевшим когда-то репутацию русского патриота-националиста? Досточтимый Александр Иванович! Помните ли вы те уже давние благословенные питерские времена, когда происходили наши вполне дружеские встречи-посиделки? Кто же понуждает сегодня Следственный комитет нападать на своих же, природно русских граждан, “виновных” разве что в том, что они беззаветно трудятся на благо России?

Инициаторами преследований Платонова и ИРЦ явились общественные организации, укоренившиеся в РФ. Это Федерация еврейских общин (ФЕОР), возглавляемая раввином Берлом Лазаром (принадлежит к ультра-ортодоксальному хасидскому движению, штаб-квартира которого находится в Бруклине, имеет двойное гражданство – РФ и США); это и Московский антифашистский центр (МАЦ), считающий себя наследником т. н. Еврейского антифашистского комитета. Платонов предполагает также, что одним из главных врагов ИРЦ является первый заместитель главы Администрации Президента РФ С. Кириенко.

Поощряемый “сверху” Следственный комитет, по словам О. А. Платонова, “выделил не менее 20 человек, включая экспертов, которые состряпали 14 толстых томов уголовного дела (! – М. Л.), совершая постоянную прослушку и слежку за мной, многократно отвлекали меня от важной работы, запрещали мне зарубежные командировки”.

Драма Русского Мира сегодня в том, что властная вертикаль России не только не защитила выдающегося русского патриота, но по команде всемогущего антирусского лобби государство, как сказал Олег Анатольевич, “стало его орудием в расправе со мной” (слава Богу, Платонов, кажется, избавился от наивных иллюзий насчет возможной поддержки “сверху”). И вывод руководителя Института вполне трезвый и адекватный – массированная, беспощадная атака на ИРЦ исходит от “высших эшелонов” и совершена представителями госаппарата, “выполняющими волю сионистского лобби” (“Слово”, 2018, № 22).

Насколько велико было давление сверху, видно и потому, что следователь (нашелся честный человек) три раза выносил решение об отказе в возбуждении уголовного дела против Платонова, и три раза вышестоящие органы (вероятно, выше уже некуда, может быть, Вашингтонский обком?) вынуждали его нарушить закон и продолжать “расследование”. В результате дело было сфабриковано. В этом же ряду – преследования финансовых спонсоров ИРЦ, один из них – банкир, председатель московского Профбанка Александр Петров был убит.

События этих лет неопровержимо свидетельствовали – что отмечено и журналистами – погром ИРЦ, стремление посадить Платонова в тюрьму входят в общую систему натиска на русские организации и национальных общественных деятелей. Атака на ИРЦ рассчитана на то, чтобы парализовать и разрушить главный мозговой центр Русского народа. С надеждой на то, что с “гильотинизированной головой” русские быстрее потеряют способность (и без того сильно подорванную) сопротивляться своему истреблению, окончательно утратят чувство хозяина своей земли.

Стратегия русофобов проверена всем XX веком: в первую очередь надо уничтожать лучших – мудрых и негибаемых. Уверенные в своем всемогуществе, ненавистники России плевать хотели на многочисленные протесты против расправы над Платоновым и выступления в его поддержку русских патриотов (Ивашов, Проханов, Куняев, Линник, Делягин, В. Н. Осипов, Катасонов, И. Я. Фроянов, Ю. П. Савельев, О. Г. Каратаев).

А теперь, уважаемый читатель, задаю вам вопрос, имеющий отношение к следующему разделу нашей статьи. Допускаете ли вы возможность того, чтобы советское правительство в свое время уволило из Московского Художественного театра его основателей – К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко? Руководитель страны при этом бы отмолчался. А из его Канцелярии в ответ на возмущение зрителей пришла бы отписка, смысл которой – вы ошиблись адресом. . .

Однако в 2018 году подобное оказалось возможным. Продолжательницу традиций основателей МХТ, успешно руководившую – на протяжении тридцати лет – МХАТ им. Горького великую русскую артистку Татьяну Васильевну Доронинову унижительно и грубо уволили из театра.

Запомнились вехи событий предшествующего времени, разрушительных для Художественного театра: 1970, 1978, теперь еще одна, быть может, завершающая – 2018.

Отлучение Дорониной от театра (4 декабря 2018) произошло явочным порядком, в середине сезона (весьма успешного), с досрочным разрывом контракта, действие которого истекло в июне 2019 г. Приказом Минкульта объявили, что назначено новое руководство в лице триумvirата: Э. В. Бояков, С. В. Пускепалис, Захар Прилепин. Начиная работу, троица витиеватой риторикой поклялась хранить “патриотическое направление” МХАТ. А как же иначе...

Но было очевидно: отныне театр станет совсем другим и вскоре утратит свое русское национальное лицо. А для чего же еще и затевалась эта хирургическая “операция”? Для того, чтобы нанести мощный удар по русской культуре, показательно расправиться с выдающимся деятелем современного театра. Как показательно отметила в своем отклике почитательница МХАТ им. Горького Лидия Нестерук, в этом проявился “беспредел власти, цель которой уничтожить нацию через уничтожение культуры” (“Слово”, 2019, № 3).

Не напоминают ли вам, читатель, события во МХАТ – обстоятельства погрома ИРЦ О. А. Платонова? В обоих случаях видим, как русофобская атака сопровождается эксцессами kloкочущей ненависти, бесстыдного вандализма. Врагам мало сокрушить жертву – надо еще садистски поглумиться над нею. Да, таково истинное отношение властной вертикали к Русскому Миру.

Сложная многоходовая “операция” по уничтожению МХАТ завершена в 2018 году, через 120 лет после его основания. Наследие Станиславского и Немировича-Данченко опустили в могилу.

Прелюдия состоялась в 1970 г., когда на пост художественного руководителя МХАТ был назначен режиссер и актер О. Н. Ефремов. Новый худрук – как было очевидно еще и по его работе в театре “Современник” – являлся приверженцем иной идейно-художественной ориентации, далекой от магистрального мхатовского направления. По его собственному признанию, он никогда не был склонен к русофильству, к уважению традиционных основ русской национальной культуры. Не случайно тогда многие ветераны труппы (в первую очередь – Борис Ливанов) выступили против этого назначения. Ефремов был типичным представителем либерально-космополитической россиянской полунинтеллигенции, для которой Россия всегда была “эта страна”.

Выбор в пользу Ефремова сделала тогдашний министр культуры Ек. Фурцева. Бытует мнение, что ее впечатлили чары обаятельного, сексапильного артиста, что и предрешило это, мягко говоря, странноватое (но истинно женское) решение.

Потом был раскол 1987 г., когда Ефремов объявил о размежевании труппы на “своих” и ненужных, конечно, предварительно заручившись соответствующим приказом министра культуры Захарова (весьма далекого от культуры). Половина состава была уволена. Как свидетельствовала состоявшая тогда в труппе Т. В. Дорониная, “было выброшено большое количество одаренных людей. Это было сделано достаточно жестоко, несправедливо... на расстоянии от этого насильственного разделения всем становится ясно (нам-то было ясно с самого начала), что так или иначе это было акцией на уничтожение отечественного реалистического театра”.

К этому мнению в наше время присоединился и известный русский публицист В. Кожемяко: “Употребляемое зачастую слово “раздел” слишком спокойно и весьма неточно. В разгар горбачевской “катастрофы”, когда крушилось всё и вся, это была целенаправленная акция по ликвидации классического русского театра – одного из ведущих театров Советской страны. Вместо него должно было появиться нечто иное. Отмена имени М. Горького вместе со званием академического в той части коллектива, которой предуготовано было жить, совсем не случайна. В нее демонстративно вкладывался (Ефремовым. – М. Л.) конъюнктурный политический посыл”.

Труппа Ефремова стала именоваться МХТ им. Чехова. Ее идейно-эстетическая ориентация обозначилась сразу и весьма рельефно. Предпочтения руководителя оказались бескомпромиссными: на афише Чехова и Горького сменили А. Гельман и М. Шатров (Маршак), которые стали главными репертуарными авторами ефремовской труппы. К работе стали привлекаться режиссеры авангардистского направления – с разрушительными подходами к наследию, с капризно-субъективистским отношением к творчеству, в кото-

ром преобладали волонтаризм, сценическое эсперанто и инфернальные подтексты.

На прозвучавший при “расколе” труппы вопрос “а как же остальные?”, то есть уволенные, Ефремов ответил: “Пусть идут куда хотят, хоть в клуб “Каучук”. В этот драматический момент отсеченная часть актеров не ушла в небытие, проявила волю к самоорганизации и под руководством Дорониной выбрала самостоятельный путь, стала основой МХАТа им. М. Горького.

Так началась героическая борьба этого коллектива за русскость театра, за традиции Станиславского и Немировича-Данченко, за реализм, идейность и национальную самобытность сценического искусства. Подвиг протяженностью в 30 лет. Опорой стал традиционный мхатовский репертуар: Чехов, Горький, Островский. Из авторов советского времени – М. Булгаков, В. Белов, В. Распутин, А. Твардовский. . .

В те годы русская национально-ориентированная писательская общественность вела себя граждански активно и наступательно. Мы сознавали, как трудно Дорониной делать первые шаги на новом для нее поприще. И стремились ей помогать. Предполагалось создание идейно-творческой платформы, публикация статьи-манифеста, разъясняющего позиции коллектива. В своем архиве я нашел копию письма к Дорониной, где я попытался сформулировать ключевые тезисы такого манифеста. Он должен включать в себя (цитирую текст письма): “1. Отношение к наследию, к классическим традициям русского театра, и в особенности МХАТ (это все сейчас в страшном упадке). 2. Репертуарная линия: сочетание высокой русской классики и современные пьесы, затрагивающие болевые точки народной жизни (по-прежнему убежден, что Проханов с его Афганистаном – затея более чем сомнительная и проигрешная во всех смыслах). 3. Сценическая эстетика. Необходимость восстановления русской школы игры и русской школы режиссуры (реализм, переживание, живой человек на сцене, народность). 4. Отчетливость отмежевания от ефремовской “банды” (так в XVIII веке называли на Руси труппы иностранных гастролеров) лицедеев – обязательно подчеркнуть идейно-эстетический характер расхождения”.

Далее я писал: “Чтобы всколыхнуть интерес к этим темам в труппе и среди патриотической общественности, было бы полезно провести (на базе Вашего МХАТа) творческую конференцию, приурочив ее к 125-летию со дня рождения К. С. Станиславского (17 января)... Мне кажется, что наступает момент, когда надо развернуть все знамена – чтобы собрать союзников (врагов это не прибавит, ибо они и так все поняли и знают, что куда клонится)... С сердечностью и горячим пожеланием успеха (я непреклонно в него верю) Ваш М. Любомудров. 1987, 12 октября”.

Напомню, что время было чрезвычайно бурным – наступила вакханалия глупости, предательства, измен, подлого разрушения России и ее устоев. В такой атмосфере пришлось работать театру, исповедовавшему русский идеал. Коллектив во главе с Дорониной трудился в кольце врагов. И несмотря ни на что создавал шедевры сценического творчества.

Дорониная стремилась восстановить преемственность искусства, истоки которого уходят в наследие основателей театра Станиславского и Немировича-Данченко. Одним из первых показали “На дне”. Став его режиссером, Дорониная указала в афише: “Спектакль поставлен в 1902 г. К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Возобновлен в 1987 г.” Определение “возобновлен” театр ввел из уважения к памяти основателей театра и как знак своего с ними преемства.

“На дне” 1987 года ничего общего не имело с музейной реставрацией. Это был живой, талантливый и очень современный спектакль с прекрасными актерскими работами В. Гатаева (Сатин), Н. Пенькова (Клещ), М. Зимина (Бубнов), С. Колесникова (Пепел) и других исполнителей.

“На дне” Т. Дорониной без сомнения, был спектаклем этапным, прозвучавшем как гражданский и эстетический манифест.

Живые, рельефные, узнаваемые русские характеры снова явились на мхатовскую сцену. В спектакле обозначилось не декларативное, а сущностное возвращение к истокам Художественного театра, содержательным центром спектаклей которого была жизнь человеческого духа, драма, боль и страдания русских людей. И сила этого “возвращения” заключалась как раз в движении вперед – в смысле духовном, в постижении душ современников.

Текст Горького звучал крупно, значительно, без намека на модную в ту пору искусственную модернизацию классики. В центре спектакля был Сатин, его мучительные раздумья над бытием, его боль о падшем человеке. Артист В. Гатаев сыграл и русский стыд, и муки совести: знаменитую реплику “человек – вот правда” он произносил стоя на коленях, закрыв лицо руками...

“Человек выше сытости” – в том, как исполнялся на сцене этот монолог, ощущался скорбный опыт XX века. Впервые прозвучав с подмостков в начале XX столетия, текст на его склоне звучал стократ трагичнее, поскольку выявилась невероятная трудность убедить в этом человечество, рвущееся к сытости с еще большим, может быть, небывалым остервенением.

Да, Доронина творчески искала и нашла живые пути сближения со Станиславским. Не формальный повтор, а верность призыву корифея “расширять сценическую картину до картины эпохи”.

В проникновенно звучащей в спектакле реплике одного из персонажей – “езде люди” – чувствовалась и нравственная установка театра, стремившегося продолжить русскую традицию поисков путей “восстановить погибшего человека”. На сцене предстали обитатели дна, но ужасная жизнь не сделала их подонками... Трактовка имела принципиальное значение в подходе к человеку, к русским характерам и типам.

“Везде люди” знаменовало решительное размежевание театра с господствовавшей на многих сценах тенденцией – утвердить мысль, будто “езде не люди”. Люди! Ибо не утратили стремления к свободе и мечты об идеале. В этот обезбоженный мрак вдруг проник луч света – в мхатовских спектаклях явились персонажи как бы из иного мира. И какой пронзительной болью за утраты отозвалось в очерстневших сердцах зрителей полузабытое, но вечно обязывающее чеховское: “Вся Россия – наш сад”. Так говорит Петр Трофимов из поставленной следом пьесы Чехова. Театр напоминал, что не потеряли свою учительность и злободневность слова, продолжающие этот монолог: “Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычным, непрерывным трудом”. В исполнении артиста М. Кабанова бессмертный текст был пронизан светом добротолюбия и совестливости, овеян романтикой русского идеализма.

МХАТ имени М. Горького начал с пафосом отстаивать просветительскую миссию искусства. Разве не общая наша забота – чтобы не рубили на многострадальной русской земле вишневых садов, чтобы не заросла она “сыр-дремучим бором”, не покрылась непроходимым буреломом? С этой сверхзадачей была поставлена на сцене театра еще одна знаменитая классическая пьеса – “Лес” А. Н. Островского (режиссер Т. В. Доронина). Как стон, исторгнутый из глубин души, звучал финальный монолог провинциального актера-трагика Геннадия Несчастливцева (артист В. В. Клементьев). Это действительно благородный, “шиллеровский” голос, а не копейные, блудливые интонации “подьячих”, пленников “леса” и его душевной тьмы, которых обличал Несчастливцев: “Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты – вы. Мы, коли любим, так уж любим... коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы”.

Словно вчера написанные строки... Не о нынешних ли лицемерах – Гурмыжских, Милоновых, Булановых, заседающих (под другими фамилиями) в правительственных палатах и дворцах! Об этом заставлял думать театр.

Русская ностальгия – один из важных мотивов спектакля “Вишневый сад”. У одних – по безвозвратно ушедшему времени, когда “мужики при господах, господа при мужиках” были (Фирс) и, по замечанию Лопухина, вообще “прежде очень хорошо было, по крайней мере, драли”. У других (Петя, Аня) – по будущему, когда наступит долгожданное “счастье” и восторжествует свобода.

И прошлое, и будущее окрашивались в мечтательные тона. В этих настроениях не только неудовлетворенность настоящим, но и мечта о братском, солидарном существовании людей, которые “теперь все враздробь”, и тоска по идеалу.

Мхатовский “Вишневый сад” был поставлен в лучших традициях психологического реализма, с тщательно разработанными “вторыми планами”,

неповторимой чеховской атмосферой, в гармонии всех сценических средств (режиссер С. В. Данченко, художник В. Г. Серебровский). Воспроизводя приметы чеховского времени, добросовестно следуя тексту и ремаркам автора, спектакль не стал, однако, архаической ретроспекцией (как не раз бывало с Чеховым), лишен признаков холодной созерцательности. Напротив – в нем пульсирует напряженная духовная жизнь, властно притягивающая ваше внимание.

Рядом с взыскующей человеческой тоской по справедливости и правде в спектакле ощутима острая, незримая скорбь – от несбывшегося, от подспудно излучаемой тревоги, от какой-то неясной героям (и так понятной нам) опасности, о которой Раневская говорит: “Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом”. Канон классической пьесы театр пронизал своим напряженным взглядом – взглядом художника-гражданина, знающего, что произошло в дальнейшем. Ведь Чехова играли свидетели страшной, длящейся почти столетие, небывалой русской катастрофы. Ее отсветы – в трактовках персонажей, чьи сценические судьбы прерываются на самом пороге трагедии.

Тоска по идеалу. Было ли время, когда бы она не бередила русские сердца? И вместе с этим чувством – почти органическая неспособность осуществить свой идеал. Это отчетливо прослеживается у Чехова. Трудно объяснить бессилие спасти, защитить “вишневый сад”, спасти Россию. Внутренний драматизм, противоречия, многозначность нравственно-психологического пространства чеховской пьесы тонко, человечно, с пронзительной правдой передавал спектакль МХТа. “Вишневый сад” один из лучших его спектаклей. Не случайно он и по сей день остается в афише театра и пользуется большим успехом у публики.

Всем своим дальнейшим творчеством Доронина подтверждала верность главному мхатовскому канону – ставить в центр театрального искусства артиста, то есть человека, исследовать самое важное и интересное в нем – жизнь его духа, муки сердца и совести.

И тем очевиднее: то, что произошло в декабре 2018 г., явилось злодейским преступлением, стало кульминацией огромного давления на МХТ им. Горького, завершением его штурма и подлой осады, в которой находился доронинский коллектив минувшие тридцать лет. Нападки и клевета обозначились вскоре после его возникновения. Война, объявленная врагами русского народа Дорониной и ее театру, – это часть беспощадной борьбы с нашей культурой.

Но Доронина стояла, не сгибаясь, и от своих убеждений не отступала: “Я живу в России. Я люблю Россию и свое дело тоже. Я не приемлю понятия “эта страна” – так может говорить только мерзавец. Я не понимаю тех, кто говорит: “Этот народ”. Так выражаться может только безумец. Есть и будет всегда Святая Русь – моя страна, и всегда будет мой народ”.

Деятельность Дорониной никогда не замыкалась в узко-эстетических, оранжерейно-театральных границах. Актриса, режиссер, театральный организатор, общественный деятель – все грани ее творческой личности пронизаны мощной гражданской энергией, подчинены ее призванию. Вслед за Станиславским она могла бы повторить: “МХТ – мое гражданское служение России”. Доронина стремилась создать подлинно национальный театр, который бы явился школой нравственного просвещения, выразителем народной боли, проповедником чистых идеалов, трибуной общественной мысли.

Каково было коллективу, поставленному в условия полной (!) информационной блокады? Сведения о нем исключали даже из еженедельника “Театры Москвы”, не было упоминаний в уличных рекламных афишах с перечнем всех театров. Нагнеталась атмосфера травли. Если и появлялись публикации, то, как правило, разное и часто оскорбительного характера. К примеру, некий Р. Должанский писал в газете “Коммерсант”: “Театр госпожи Дорониной – не национальное достояние, а просто бесполезное ископаемое, отвал театральной традиции, плод прискорбного одичания”. Его коллега (и видимо одноплеменник) А. Красовский в “Независимой газете” витийствовал, сожалея, что все еще не случились “проводы на пенсию” этой “барыни и режиссера” и цинично прибавлял: “Она прекрасно знает, что конец недалече”. Вездесущая армия желтых борзописцев следовала установке – разрушить, оболгать, утопить в потоках клеветы и брани, уничтожить.

Не отстают от газетных борзописцев и некоторые коллеги по профессии. К слову, директор Театра им. Вахтангова К. Крок издевательски назвал творчество МХАТ им. Горького “нафталинным”. Охотно допускаю, что запах серы ему гораздо милее. Телевизионные версии некоторых вахтанговских спектаклей, которые довелось увидеть, не оставляют сомнений в инфернальных подходах.

Что ж, сегодня враги Дорониной могут торжествовать. Красноречивы все обстоятельства ее увольнения. Кого же властная вертикаль приготовила ей на смену? Новым художественным руководителем назначили Э. В. Боякова. Он известен – по замечанию всезнающего Вл. Бушина – как многообразный продюсер иноплеменных режиссеров (“Правда”, 2019, № 14). Уроженец Кизил-юрта. Окончил факультет журналистики Воронежского университета. Прославился тем, что в начале 1990-х провел первую в России негосударственную внешнеторговую сделку с нефтью.

Театрального образования не имеет. К сцене приобщился, став организатором фестиваля “Золотая маска”, которая как “премия” часто присуждалась авангардистским кочевряжествам, нередко с русофобскими смыслами. Бояков хвастался тем, что учился у петербургского тюзовского режиссера Э. Я. Корогодского. Однако припоминается, что среди “заслуг” последнего имело место еще и привлечение его к уголовной ответственности за гомосексуализм и совращение юношества (в советские времена содомия была уголовно наказуемой).

Постоянный и успешный автор пьес для доронинского театра известный писатель Ю. Поляков сообщил, что события в МХАТ для него “как гром среди не очень ясного неба”. И прежде всего потому, что в общественном сознании до последнего времени Бояков олицетворял “альтернативную ветвь отечественного театра” (“Вечерняя Москва”, 2019, 5 марта). В моем диалоге с одним высокопоставленным чиновником (знающим проблему) тот высказался похожим образом – Бояков был западником и вдруг переключился в русского патриота. Как очевидно, новый худрук МХАТ им. Горького сформировался как деятель либерально-космополитического направления, чего и сам не отрицал: “Ну конечно, я был, существовал в либеральном поле, безусловно я там был”. В качестве помощников к нему прикрепили мультиэтнического происхождения режиссера С. В. Пускепалиса и прозаика Захара Прилепина. Позднее Пускепалису подобрали место руководителя Ярославского театра им. Ф. Г. Волкова. Каково влияние Прилепина на МХАТ им. Горького, остается не вполне ясным.

В марте 2019 г. состоялась встреча Боякова со зрителями. С его слов, интрига против Дорониной плелась “достаточно давно”, как и решение о “смене руководства”, хотя и обсуждались “различные варианты”. При этом могли случиться такие “развороты”, при которых неизвестно “где мог бы оказаться МХАТ им. Горького... сколько было вариантов”. Выяснилось также, что “решение принималось на достаточно высоком уровне”. Не означает ли это, что министр Мединский и советник президента по культуре Вл. И. Толстой (именно они объявили увольнительный вердикт Дорониной) явились лишь исполнителями высочайшей воли?

Бояков сообщил также, что был доверенным лицом Путина на последних выборах президента, и признался, что все трое – он, Прилепин и Пускепалис “совпадали в каких-то установках с властью”. Разве не характеризует художественную позицию его дифирамб театральным деятелям Захарову, Табакову, Райкину, которых он назвал “непререкаемыми авторитетами”? Почитал О. Ефремова, потом с Табаковым “делали первую Новую Драму”. Но ведь МХТ Ефремова–Табакова – абсолютный антипод творчеству Дорониной.

Атакуемый вопросами зрителей, полагавшими, что произошедшее – это “унижение и уничтожение” Татьяны Васильевны, Бояков пустился в казуистику и демагогию, и договорился до того, что МХАТ им. Горького “это детище Станиславского, Немировича-Данченко и Саввы Морозова”. Следовательно, он защищает великие имена от необоснованных “посягательств” Дорониной...

Как особую заслугу себе Бояков назвал обещание избегать ненормативной лексики. Хотя тут же оговорился: “И у меня в театре были спектакли с ненормативной лексикой, – а у кого их не было?” По его мнению, отсутствие в репертуаре пьес с матом не является “гарантией”, что “театр хороший”. Наш

герой будто забыл, что в доронинском МХАТ мата никогда не было и не могло быть! О, досточтимые Константин Сергеевич и Владимир Иванович! Сколько раз вы перевернулись в своих гробах, узнавая новейшую историю своего “детища”?!

А разве не красноречив выбор новым худруком премьеры, означившей начало нового этапа МХАТ? Бояков уточнял: “Я сознательно пошел на то, чтобы это был первый спектакль”. Тем самым “Сцены из супружеской жизни” Бергмана-Кончаловского были заявлены как манифестное произведение.

О чем же сей манифест? Отвлечемся от того, что в нем не задействован ни один представитель мхатовского коллектива. В сущности, “Сцены...” явились классическим антрепризным спектаклем. Продюсерские дарования Боякова, как говорится, налицо.

Премьера спектакля состоялась в марте 2019 г. В его основе сценарий того же названия шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана (1973). И в фильме, и в его сценическом переложении постановщика Андрона Кончаловского развернута семейно-бытовая драма мужа и жены, в русском варианте именуемых Иваном и Мариной.

Следуя тексту пьесы, Кончаловский разработал подробную сценическую партитуру взаимодействий семейного дуэта. В отношениях персонажей нарастает разлад, утрачивается доверие друг к другу, довлеет атмосфера недовольства, умножаются конфликты и начинают преобладать разрушительные для семьи импульсы. Супруги бесконечно выясняют отношения. Они ссорятся и мирятся, обрушивают каскад встречных обвинений, даже вступают в драку. В их переживаниях чередуются истеричность, взрывы строптивости и холодная бесчувственность. Эти смены сближений и отторжений проистекают из взаимной разочарованности, которая воцаряется в психологическом климате данной семьи. Детей нет, и почти ничто не связывает пару.

Засасывающая тина приземленной бытовой повседневности поглотила души Марины и Ивана. На сцене они умываются, чистят зубы, пьют чай или кефир, многократно переодеваются, смотрят телевизор, иногда подходят к окну, интересуясь уличной суетой. Марина делает макияж и педикюр, Иван сибаритствует на диване.

Однако бытовую монотонность все чаще пререзают всплески иных чувств. Марина выкрикивает накопившееся — “я не знаю, чего я хочу... нет никакой любви, нет ничего... мне скучно с тобой спать”. Иван мог бы бумерангом вернуть супруге эти жесткие слова. Беда в том, что оба не знают, отчего так все сложилось. Их обывательское жизнеощущение лишено духовных скреп и опор, а значит и прозрений, способности понять друг друга. Иван уходит из семьи к любовнице, Марина тоже находит себе партнера.

Современные аналитики называют Скандинавию духовной пустыней. Термин “шведская семья” стал многозначным синонимом полигамности, распада и перерождения традиционно, христиански понимаемой семьи. Являются все новые свидетельства скандинавского (разрушительного!) толкования категорий пола, брака, отношений с детьми. Они обнаруживают гендерную извращенность, например концепция шести полов (а не двух), процветание трансгендерства (т. е смены пола), замена союза по любви партнерством по контракту, главенство педократических законов и т. п. Торжествует болезненная толерантность и едва ли не культовое почитание содомии.

Как очевидно, в спектакле плотские мотивы явились определяющими. В отношениях сценических персонажей преобладали вибрации инстинктов и не слишком глубоких чувственных переживаний. С них начинается сюжет и с усиленьями похожих акцентов завершается.

Финальные реплики фильма Бергмана — “мы любим друг друга — тогда быстрее под одеяло” — достаточно красноречивы. Кончаловский смягчает прямолинейность шведского режиссера. Воссоединившиеся в очередной раз персонажи сплетаются в спазматически гротескном танце, создавая свою “прелюдию”. Приглашающе раскрытая постель-тахта рядом. Режиссер даже выдвинул ее на авансцену, во избежание сомнений... Он стремится быть верным правде обстоятельству даже и в том, что сопровождает танец Марины и Ивана популярной песенкой “Сиреневый туман”: “Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда”. Финал открытый — не исчерпана череда встреч-расставаний героев сюжета?

Всепобеждающая биологизация венчает спектакль, его сквозное действие с протуберанцами постельных радостей обретает полноту завершения. Все заканчивается в духе обыденности и даже фатальности. Так бывает. И нынче — все чаще... В шведском менталитете тема, возможно, имеет доминантный характер. А в русском? Что несет она нашему уму и сердцу?

Предваряя спектакль, выйдя на сцену перед знаменитым занавесом с эмблемой чайки, Кончаловский говорил об обязывающих условиях мхатовской системы. Он напомнил о том, что К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко заложили образцы, на которые должен ориентироваться “русский театр”. Но вот не запомнил ли он их главный завет: сцена призвана раскрывать, прежде всего, “жизнь человеческого духа”...

Комментируя премьеру, Бояков заверял: “Мы должны быть ближе к самым главным вещам в жизни... это вопросы совести, чести, семейных ценностей”. Но не странно ли, что это “приближение” руководитель театра предпочел вернуть в духе европейского либертинства, в сюжете, где семейные ценности толкуются весьма экстравагантно, а их уровень опущен до центров, которые обычно стесняются называть. Неужели в этом пространстве могут быть плодотворно решены “вопросы совести и чести”? Чаемые высокие русские смыслы разве не заглохли в горизонтальных шведских жизнеощущениях?

Вспомним, как начинался Московский Художественный общедоступный (таким был задуман) театр, впервые распахнувший свой занавес в 1898 году. Для премьеры выбрали пьесу А. К. Толстого “Царь Федор Иоаннович”. На сцене раскрывалась судьба русской государственности, выяснялось качество центральной власти. Начиная чеховский цикл спектаклем “Чайка”, театр вместе с автором развивал тему призвания и ответственности таланта.

Попробуем сопоставить. Исполнины национальной русской классики — и začínающая новый этап альковского уровня мелодрама Бергмана-Кончаловского. Как предьявленный нам “выбор” соотносится с действительностью (во многом трагедийной) современной России?

Однако подлинной премьерой при новом худруке надо считать постановку пьесы И. Крепостного (псевдоним Тимофея Зиновьевича Ильевского) “Последний герой”, а вовсе не гастрольное выступление Кончаловского и Ко. Доверимся мнению известного критика Татьяны Москвиной: сочинений “такого низкого уровня в афише МХАТа не было никогда... бездарное нагромождение невнятных эпизодов с беспрестанно ругающимися карикатурными персонажами — пьесой не является”. Постоянные зрители доронинского МХАТа, по их признанию, были “в ужасе и негодовании от этого произведения”. Один из них пояснил: “На мхатовской сцене никогда не было такого, чтобы, допустим, молодой артист шел по сцене и говорил, что обоссался несколько раз; чтобы ходила актриса и каждые пять минут повторяла, что у нее месячные; чтобы старуха постоянно упрекала деда в выкидышах”.

Таков первый “театральный корабль”, который Бояков привел к причалу МХАТ. Таково новое “лицо” театра на Тверском. Как определила Г. Ореханова (многолетний руководитель литературно-драматической части МХАТ им. Горького), “Последним героем” Бояков хотел “покуражиться! Испытать удовольствие, унизив русских! Ему нужен иезуитски извращенный образ русского народа” (“Слово”, 2019, № 3).

Одним из поводов к смещению Дорониной — как полагают некоторые — мог быть возраст. Попробуем сопоставить судьбы других театральных деятелей руководящего уровня, стоящих во главе именитых театров. Ровесниками Дорониной, к примеру, являются Г. Б. Волчек — худрук театра “Современник”, А. А. Ширвиндт — худрук Театра Сатиры, Ю. М. Соломин — худрук Малого театра, М. А. Захаров — худрук театра Ленком. Их преклонный возраст не мешает Минкульту оставлять их на руководящей работе. Остается и Г. Б. Волчек, которая настолько одряхла, что может передвигаться лишь в инвалидной коляске. А Соломину даже вручили бессрочный контракт на руководство своим театром.

Значит, возрастные претензии в оценке увольнения Дорониной отпадают. Не подвергается сомнению и высочайший профессионализм, творческие достижения, богатый опыт. Чем же отличается руководительница МХАТ им. Максима Горького от ее коллег?

Отличия, конечно, есть. И немалые. Прежде всего, в отчетливой и последовательной верности Дорониной отечественной театральной школе,

приверженности художественным принципам Станиславского и Немировича-Данченко. Уважение к наследию, к национальной самобытности искусства – не декларативные, а практически реализованные.

Возникают и вопросы, которые академик Шафаревич связывал с позицией “малого народа”. Тема, которую тщательно обходят русофобы. По своей родословной Дорониной – из центральной России, из глубин великорусского племени. В его недрах сформировался ее геном, ее миропонимание, ее талант.

Наконец, не обойти и проблем отношений с властью. Универсальная тема на все времена. Не возникает сомнений по поводу лояльности. Но вот уровень того, что принято называть сервильностью – различный. При сопоставлении с упомянутыми уже именами членов корпорации бросается в глаза их приближенные отношения с первым чином. Кроме Дорониной все они были его “доверенными лицами” на выборах. Впереди всех здесь Соломин. Он – в “инициативной группе” по выдвижению в президенты, он – член Общественного совета при Следственном комитете РФ, украшен множеством орденов. Предполагаю, что этим не исчерпываются его влияние и “заслуги” перед Отечеством. Тут и европейский размах возможностей, к примеру, дочь Соломина Дарья живет и преподает в Лондоне.

И награждение Соломина “бессрочностью”, и с невероятной помпой проведенные на главных каналах ТВ юбилейные вечера Ширвиндта, Захарова, Волчек – разве не проявления того, что принято называть фаворитизмом? О его разрушающем воздействии на культуру и искусство с возмущением и болью писал (не столь уж давно) великий русский композитор и мыслитель Г. В. Свиридов.

Но вернемся к важнейшему. На задаваемые многими обескураженными гражданами вопрос “кому нужно уничтожение Дорониной” – сами граждане нашли и ответы. Например, зрительница Лидия Нестерук пишет: “Я против беспредела власти, цель которой уничтожить нацию через уничтожение культуры!” (“Слово”, 2019, № 3). Не менее жестко высказалась и журналистка Ел. Рыбина-Косова: “В театр пришли бездарные хапуги, у которых одна цель: захватить выделенные государством деньги и разрушить театр – МХТ им. Горького” (там же). Педагог Ел. Шпилова убеждена, что “уничтожение настоящего искусства, подлинной культуры – это планомерная операция, дабы “отупить” народ, чтобы слишком много о себе не мнил” (“Правда”, 2019, № 8). Примеры подобных откликов легко умножить.

Гибель МХАТ им. Горького имела предысторию в московской театральной жизни. “Репетицией” к нему был погром Театра им. Гоголя, который стал называться “Гоголь-центром” и его возглавил режиссер К. Серебренников, “певец Содомы”, по выражению одного из критиков. Его обвиняли в крупном мошенничестве и даже посадили под домашний арест. Однако никто не посмел отстранить нашего “героя” от должности руководителя. Теперь на Тверском бульваре замаячили очертания “Горький-центра”...

В сфере искусства политика кадровой заместительности (своего рода “заместительная миграция”) достигла впечатляющих масштабов. Снятие Дорониной – едва ли не ключевое событие, завершающий акт в дерусификации русской сцены, по крайней мере, в столичных городах. Поставлена рубежная точка в кадровых замещениях русских национально мыслящих деятелей сцены. Последнему русскому театру всероссийского масштаба – МХАТ им. Горького – приказано умереть.

Трезво мыслящие критики, диагностируя обстановку, видят причину в “мафии, засевшей внутри государства” (Игорь Старков. – “Завтра”, 2019, № 14). В. С. Кожемяко готов отнести русский театр к “реликтовым” явлениям (“Правда”, 2019, № 14). Негодует и патриарх нашей публицистики Вл. Бушин: “Нагляя расправа с Татьяной Дорониной, любимой русской дочерью Мельпомены – это целенаправленная акция на истребление нашей национальной культуры и чести... оскорбление всего народа... русофобская подлость... глумление над Родиной” (“Правда”, 2019, № 14). С осуждением русофобской кадровой политики государства неоднократно выступал Г. А. Зюганов: “Русских продолжают изгонять из многих структур управления и средств массовой информации”.

Уместно вспомнить и о судьбе двух самых известных театров Санкт-Петербурга – Александринского (старейшего, ведущего свою историю от ярославской труппы Федора Волкова) и Большого Драматического. С назначением их

руководителями режиссеров Фокина и Могучего они совершенно утратили русское лицо. Замечу — наш уважаемый министр культуры Мединский не устает их нахваливать.

Вернемся к Москве. Уже упоминавшийся МХТ им. Чехова обильно финансировался и финансируется российским государством. Однако разве его физиономия не имеет (выразимся деликатно) типично космополитические очертания и модернистский “приклад”? Кредо театра, его эстетика, репертуар и идеология формировались чуждым русской национальной культуре руководством — Ефремовым и Табаковым.

Надо ли удивляться тому, что предложенная Минкультом РФ концепция нового закона “О культуре” позволит — по авторитетному выводу выдающегося артиста и режиссера Н. П. Бурляева — “вновь расцвести русофобии”, — ибо тезисы закона “позволят и впредь расцвести сорнякам, русофобии, антиисторизму и патологической нетрадиционности”. Увы, концепция была принята Общественным советом при Госдуме РФ без изменений. Видимо, в Совете заседают люди, которые не только “понижают уровень нашего народа” (Бурляев), но и потворствуют русофобии.

С театральной культурой разобрались, но наши враги не унимаются. В феврале 2019 г. нанесли сокрушительный удар по еще одной организации Русского Мира — произошел силовой захват Международного фонда славянской письменности и культуры, его сотрудников насильственно изгнали из помещений особняка в Черниговском переулке (д.9), где размещался Фонд. Судебные приставы, полицейские и некие третьи лица опечатали здание, шурупами завили все его двери. Лишенный своего дома, Фонд будет вынужден прекратить свое существование. Повод? Задолженность по уплате за аренду.

Международный фонд славянской письменности и культуры создали в марте 1989 г. по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и при поддержке видных деятелей культуры — В. Г. Распутина, В. И. Белова, В. Н. Крупина, Н. И. Толстого, О. Н. Трубачева и многих других. Президентом Фонда долгие годы был великий русский скульптор и пламенный патриот В. М. Клыков.

Фонд успешно действовал в укреплении духовно-нравственных основ русской цивилизации, энергично помогал укреплять единение и дружбу славянских народов. Вся его деятельность была подчинена — по словам его нынешнего руководителя А. Н. Крутова — основной задаче: отстаивать “национальные духовные ценности России, Русского мира, славянства”. Осуществлялась большая благотворительная программа, помогали детским домам. Проводились конференции, концерты русской классической и народной музыки. Регулярными были славянские книжные ярмарки, паломнические поездки и миссионерские миссии.

Однако главное — другого культурного центра в Москве у русских патриотов-почвенников нет! Особняк в Черниговском со временем (русское пространство неуклонно сужалось) стал единственным местом, где могли собираться русские люди, где обсуждались насущные проблемы, связанные с нашей национальной судьбой. Что и предрешило его участь.

Руководство Фонда безуспешно пыталось добиться права на безвозмездную аренду особняка. Здание находится в собственности у Росимущества, которое высказалось за целесообразность такого решения. Но подчиненное ему “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры” (АУИПИК) оказало противодействие этому указанию. Как выяснилось, это самое АУИПИК находится еще и в “ведении” Министерства культуры. И теперь Минкульт стремится навязать Фонду (некоммерческой организации!) неподъемную аренду — 16 миллионов в год.

Генеральный директор Фонда А. Бочкарев обратил внимание на то, что “иные культурные организации и “центры” имеют право на безвозмездное пользование и финансирование, а наш фонд стараются растоптать”. Русских и не растоптать, — как можно лишить себя такого удовольствия, тем более совсем безнаказанно?! Требуют уплатить штраф, в три раза превышающий основной “долг” Фонда. И это при том, что за 30 лет работы Фонд не взял ни рубля из государственных денег.

Кроме долгов Фонду вменили еще и “нецелевое” использование помещений. В частности, и. о. руководителя АУИПИК некая Ирина Кравец предъявила

свое обвинение: “Без согласия собственника в здании незаконно размещались книжное издательство, клуб-ресторан, ярмарка-продажа, паломническая служба и другие учреждения” (какой ужас, однако!). Как и следовало ожидать, состоявшийся суд вынес решение о расторжении договора, выселении арендатора и взыскании образовавшейся задолженности. Так – в который уже раз! – Россию выселяют из России. Как не вспомнить эпизод из не очень давнего прошлого, когда из глубин души вырвались и прозвучали на всю страну резанувшие слух русских людей слова – “только придурки могут думать, что Россия для русских”... А вот почитаемый народом царь Александр Третий думал иначе.

Вы не ошибетесь, уважаемый читатель, в своем предположении: обращения за помощью в правительство, в администрацию президента успеха не имели. Разве не позором для страны является само возникновение этих пресловутых “финансовых трудностей” (несколько миллионов на общественные нужды) – при том, что ежегодно вывозятся за рубеж сотни миллиардов, заметим, “народных” (а чьих же еще?) денег в личные карманы олигархов.

Как наблюдательно заметил автор одного из “живых журналов” в интернете, “проблема у фонда только одна! Если бы он назывался фондом еврейской или чеченской письменности, то у него не было бы проблем, имеющий разум, да радуется!”

Справедливо ли такое суждение? Для сравнения сопоставим возможность русского Фонда и существующего в столице “Московского еврейского общинного центра”. Центр называют крупнейшим в Европе. Он расположен в Марьиной роще и занимает едва ли не целый квартал. Его открытие состоялось в 2000 г. при участии В. В. Путина и главного раввина страны Берла Лазара.

На территории центра размещены административные помещения общей площадью 7200 квадратных метров, возведено восьмизэтажное здание. И чего только не располагается здесь – “целевого” и “нецелевого”! Вот куда бы заглянуть бдительным инспекторам, ревнителям “целевого”. Имеется концертный зал, где проводятся выставки и концерты, кафе (для простых) и кошерный ресторан, книжный магазин, спортивные залы, детские клубы. Есть даже специальный бассейн-миква для ритуальных женских омовений. Пожелаем удачи еврейским женщинам – любые омовения полезны еще и в санитарно-гигиеническом отношении.

Центр проводит огромную работу по пропаганде еврейской культуры, по внедрению ее ценностей в окружающее пространство. Свое служение осуществляет и синагога. У нее свои памятные события, здесь президент Путин (во имя толерантности) зажигал ханукальные свечи в честь праздника Хануки. Можно только порадоваться за еврейское население, обладающее таким покровительством и такими возможностями... Но радость, к сожалению, омрачает память о судьбе русских и, в частности, русского Фонда.

Еврейская диаспора роскошествует, русская диаспора (я не оговорился – в Москве разве не так?) угнетена и нищенствует. Таков вектор политики властной вертикали. А кроме того русские как обычно – великодушны, жертвенны, чужды ксенофобии и заражены сентиментальным толстовством. К сожалению, в XX веке и в начале XXI-го – почти всегда так...

К каким выводам могут подталкивать нас случившиеся события? Платонов, Доронина, кляковский Центр... Процесс, как говорится, пошел и идет. Недавно ликвидирован выдающийся коллектив (с 50-летней традицией) – государственный академический русский концертный оркестр “Боян” – приказом Минкультуры. Его руководитель, обладатель золотой медали имени Г. В. Свиридова, народный артист СССР, профессор А. И. Полетаев уволен.

Не забывается и многое другое. В том числе – разгром мастерской легендарного Саввы Ямщикова.

В панорамную картину художественной жизни закономерно вписалась и “триумфально” прошедшая премьера балета “Нуреев” в Большом театре (постановщик К. Серебренников). В центре спектакля судьба сбежавшего из России, известного танцовщика (и содомита!) Рудольфа Нуреева. Помнится, после окончания балета ему аплодировали и первые из чинов государства.

Не удивителен подбор авангардного Боякова на замену традиционалистки Дорониной. Именно Бояков в свое время обвинил противников гей-пропаганды

в “неготовности принять новое современное искусство, неотъемлемой частью которого являются нетрадиционные сексуальные отношения и нецензурная лексика”. Пожалуй, можно согласиться с теми язвительными аналитиками, которые полагают, что начался новый, “голубой” период русской цивилизации. Кстати, о его неизбежности предупреждал еще в 1996 г. выдающийся аналитик А. Н. Севастьянов в статье “Агрессивное меньшинство или заговор педерастов” (в кн. “Национал-демократия”, М., 1996). Со ссылкой на научные данные он характеризовал гомосексуализм как “опасную, вредную мутацию, к тому же заразную для окружающих”.

Многие обратили внимание на встречу президента с министром культуры 26 июля 2019 г. Она была посвящена музейному делу. Без сомнения, это важная проблема, определяющая уровень культуры в стране. Странно, однако, что в беседе не была затронута ни одна из “горячих тем” современной художественной жизни в стране. Ведь не столь уже часто встречаются руководители государства и министр культуры. Ни намек на скандальное увольнение из МХАТ им. Горького Т. В. Дорониной. А ведь 2019-й год сам президент провозгласил “годом театра”, следовательно, театральные темы – приоритетны!

Ни словом не обмолвился Мединский о поступившем ему предложении организовать музей памяти выдающегося скульптора В. М. Клыкова, его можно было бы учредить с участием (и в помещении) Международного фонда славянской письменности и культуры. С этой инициативой выступили президент ассоциации ветеранов “Альфа”, член Общественной палаты РФ С. А. Гончаров и лидер КПРФ Г. А. Зюганов. И в свое время была наложена резолюция – “Мединскому В. Р., проработать. В. Путин”. Но инициатива, видимо, чуждая министру, и при его безразличии и уверенности в необязательности полученных указаний неприметно “рассосалась”.

В этой связи полезно сослаться на опубликованное в еженедельнике “Слово” (2019, № 12) коллективное письмо народного артиста РСФСР В. Ливанова, композитора Г. Гладкова и писателя В. Линника. Авторы указывают на неприглядную роль Мединского, постоянно конфликтующего с национальной мыслью творческой русской интеллигенцией, из чего сделан вывод: “В. Р. Мединский своей деятельностью создает безусловные угрозы национальной безопасности России”. Комментируя эту публикацию, Вл. Н. Осипов пишет: “Теперь четко прослеживается его органическое неприятие русского национального самосознания, русской национальной культуры”. Г. А. Зюганов разглядел природу министра раньше других, назвав Мединского злобным русофобом и антисоветчиком. Знаменитый И. А. Ильин в таких случаях выражался великодушнее и деликатнее: полурусский, полунинтеллигент.

Однако наш герой не так прост, как могло бы показаться. И дело не только в том, что он еще и очень богатый чиновник. К примеру, задекларированный доход министра в 2014 г. составил 15,8 млн рублей, его супруги – 82,39 млн рублей. Кроме того в декларациях Мединских указаны квартиры и два жилых дома, дачный участок; совместно с родной сестрой Мединского его супруга владеет трехэтажным домом на Дубининской улице и обширными площадями в разных бизнес-центрах. В квалификационном смысле Мединский – типичный буржуазный рантье.

Но важнее коммерческих обретений Мединского иное: у него прочный, эшелонированный “тыл”. Судите сами. Назовем лишь некоторые из его “наград”: орден Почета (2014) – “за большие заслуги...”, три благодарности президента РФ (2006, 2010, 2017), почетная грамота президента (2015). От РПЦ – ордена Сергия Радонежского, Даниила Московского (2014, 2017), министр – “Человек года” (2016) и т. п.

Кто из деятелей русской культуры сможет предъявить подобный перечень? Здесь просматривается всеохватная и всевластная сила, на которую и опираются господа Мединские и иже с ними. Не отсюда ли и очевидная системность русофобии?..

Однако пора к эпилогу. Признаюсь, мучительно больно быть свидетелем описываемых событий. Еще тяжелее и горше, когда оглядываешься на весь ХХ век (о прелюдии ХХI-го уже и не говорю). В его начале (1911) великий М. О. Меньшиков с пронзительной тревогой писал о судьбе России: “Орудующей гигантской шайке, экспроприрующей всеми способами все, чем Россия была могуча, должен быть положен предел. У нас, у потомства великого народа, отнимают постепенно все виды труда народного, все капиталы, земли,

промышленность, торговлю, свободные профессии, школу, литературу, печатать, искусство. Нас делают неплатными должниками иностранных евреев в качестве плательщиков все растущего государственного долга. У нас постепенно путем внушений и подлогов отнимают древнее, нажитое тысячелетием христианства мирозерцание. У нас системой нравственного соблазна и террора отнимают веру и патриотизм, отнимают совесть и здравый смысл. Наконец, систематическими убийствами отнимают лучших людей России, наиболее отважных ее вождей (статья является откликом на убийство Столыпина. — М. Л.). Мне кажется, дольше нельзя медлить с обороной”. Позвольте, это разве не цитата из недавнего выступления кого-нибудь из “несистемных” оппозиционных деятелей? Уверяю вас, уважаемый читатель — чтобы понять XX и XXI века, чаще читайте Меншикова! И других великих наших национальных прозорливцев, включая и мыслителей конца недавнего века.

Миновало столетие. История повторяется? Остался прежний катастрофизм Русского Пути. Стали писать о “наваждении” как движущей силе исторического процесса. Рассеются ли темные силы (и массовое помрачение!), накрывшие народ? Наша Русскость, залог нашего единства, самое драгоценное в нас — остается под нарастающей угрозой. Прорвемся ли сквозь плотный, свинцовый туман, которым закрыто будущее Родины?

И всё же, всё же, вопреки всему — так уже бывало — убежден в рождении и умножении Русских сил для одоления наших врагов, всех тех, кто считает нас “лишними”. Их нашествию — “должен быть положен предел”. Так и будет. Не станем сомневаться — русские обязаны победить.

ВИТАЛИЙ АВЕРЬЯНОВ

“РОК” В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

(Мировоззрение контркультуры на примере песен Гребенщикова)

Мысль художника должна быть не то чтобы проста, она должна быть открыта, не зашифрована. Иной раз огромные усилия надобно применить, чтобы разгрызть орех, внутри которого ничего нет или гнилая паутина. Чем глубже мысль, тем естественнее стремление творца выразить её яснее, доступнее для людей. И наоборот, чем мельче мысль художника, тем естественнее желание украсить её эстетическими завитушками.

Георгий Свиридов

Замысел этого очерка вызревал довольно давно, и он никак не связан с некоторой “линией разлома” 2013–2014 гг. В эти годы и Гребенщиков выдал вместо обычного тенора низковатый почти рычащий “хрип”, демонстрируя озабоченность наступлением “новой зимы”, дескать, ему кто-то наступил на его “хрустальный колокольчик”.

Мой замысел исходит из других наблюдений. В годы нашей юности (поколения родившихся в начале 70-х плюс минус 10 лет) удельный вес присутствия “Аквариума” в быту был довольно высок. Сам я уже давно испытывал потребность понять, почему многие искренне уважаемые мной люди так и не разобрались в духе Гребенщикова, оставаясь под его обаянием. Таких я знаю немало. Из широко известных назову, к примеру, талантливейшего рок-поэта и музыканта Сергея Калугина, сверхпопулярного актера и режиссера Ивана

АВЕРЬЯНОВ Виталий Владимирович родился в 1973 году, с отличием окончил факультет журналистики МГУ и поступил в аспирантуру философского факультета МГУ. Был главным редактором газеты “Православное книжное обозрение”. Работал доцентом в московских вузах. Специализировался на создании интернет-проектов. Разработал целый ряд издательских, информационных и сетевых проектов, среди которых Православие.Ru. В 2002—2006 годах — научный сотрудник Института философии РАН. Один из учредителей, заместитель председателя Изборского клуба. Доктор философских наук. Директор Института динамического консерватизма. Член Союза писателей России. Поэт и исполнитель своих песен.

Охлобыстина, знаменитого писателя Захара Прилепина и т. д., список можно продолжать. Правда, Прилепин высказался по поводу Гребенщикова нелицеприятно, но это была как раз реакция разочарования в связи с украинскими жестами “рок-гуру”, которые Захар не мог не воспринимать болезненно.

Вкусы и предпочтения нашего поколения давно сложились. И главное, конечно же — это те, кто идет за нами, кто нуждается в том, чтобы разобраться, из чего складывалась духовная природа так называемого “русского рока”. В конце концов, русский рок почти не дал крупных поэтов. Исключение, пожалуй, один только Александр Башлачёв, ушедший слишком рано и не успевший развернуть свой талант. Где-то на подходе к большой поэзии Илья Кормильцев, но он все-таки вошел в рок-музыку как автор “текстов” для песен. Жанр поэзии, пусть и песенной, и жанр “текста” для песни — разные вещи. У них разная природа. Хороший поэт может, осмыслив задачу, написать текст под музыку, это похоже на либретто в опере. Хороший автор “текстов” редко способен на обратное — создать большие стихи. Песни в рок-н-ролле в основном получают специфические, текстковые. Гребенщиков как раз всегда был автором подобных “текстов”, а не полноценных стихов. Но логоцентризма русской культуры и русского самосознания никто не отменял. И потому значение слова в русском роке трудно переоценить.

СОБЛАЗН РЕЛАКСАЦИИ

Не будучи большим поэтом, лидер группы “Аквариум” сумел создать некую рабочую и весьма живучую эстетическую модель. Оговорюсь сразу — дело не во вкусах. “Нравится — не нравится” слишком легковесный критерий, когда речь идет о культурных процессах. Размышляя над вопросом, на чем держится обаяние и своего рода цепкость Гребенщикова, я пришел к выводу, что для моего поколения он стал великим соблазнителем в плане релаксации, смакования “вечного праздника” безответственной жизни, противопоставленной “серым будням”, труду, бытовым сложностям и т. д. И эта релаксация была спрятана, упакована в обертку какой-то “духовности”, в которой, впрочем, не было и тени подвига и преодоления себя. Контркультура никогда не призывает человека по-настоящему работать над собой, она внушает юности самомнение, искушает статусом сверхчеловека. Так работают соблазнители.

Ранний “Аквариум” — это в первую очередь богемный пикник, хипстерские каникулы и вечная молодость: “Я где-то читал // О людях, что спят по ночам. // Ты можешь смеяться...”; “Праздновать ночь без конца”; “В подобную ночь мое любимое слово — “налей”...”; “Будь один, если хочешь быть молодым...” и т. д. и т. д. Само по себе такое мироощущение могло бы привлечь только совсем недалеких людей, но повторю: оно было скрытым мотивом. Ведь отпуска и праздника хочется всем, о чем в своем время афористично сказал Шукшин: “праздник душе нужен!” И вот “Аквариум” выдал некую иллюзию беззаботности и при том избранности, никак не связанной с важнейшей потребностью человеческой души — в созидании. Сущность раннего “Аквариума” — **в стране атеизма выглядеть как нечто религиозное, при этом подменяя серьезную сакральность рок-н-ролльным суррогатом. С отстаиванием права быть и оставаться балбесом.**

Кульм молодости, столь важный, как потом многие поняли, для потребительского общества, явился к нам впервые именно через контркультуру. Христос учил: будьте как дети. А здесь нечто противоположное — что мог бы подсказать древний дух, скорбящий об утраченных возможностях молодости? Вечную погоню за недостижимым, имитацию свежести “стареющим юношей в поисках кайфа”, выражаясь словами самого Гребенщикова (иногда он бывает самозвитель). Тем не менее, и до сих пор он упорно продолжает петь то же самое, маня слушателей перспективой “омолаживания”: “А на берегу ждет родник с водой, // Смотри, какой ты стал молодой (...) Значит, это было совсем неспроста // И наша природа нежна и пуста” (“Паленое виски и толченый мел”, 2012).

Молодящийся дух в данном случае — это приятная “деперсонализация”, воспеваемая контркультурщиками. Праздник утверждался даже посреди полунищенского существования. Впрочем, наш рок-герой всегда имел уютный тыл в лице бабушки и мамы, которые поддерживали его долгое время (“за спиной

всегда был дом”). И поэтому ему было не так уж трудно переносить суровые годы, когда после тбилисского рок-фестиваля он был изгнан из комсомола и с работы, оставлен первой женой, числился сторожем в банях, а потом руководителем самодеятельности на ТЭЦ № 6. Но травма, конечно, дала о себе знать.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ

В России понятие “рок-музыка” стало псевдонимом контркультуры, протестной и деструктивной по отношению к строю. Попса отличалась от рока лишь тем, что была конформистской. А всякий нонконформизм пытались втиснуть в понятие “рок-музыки”. Было это, конечно, не совсем точно. Но по существу верно – потому что нонконформизм проявлялся не только в политизированных, но и в совершенно аполитичных песнях и высказываниях. Это была эстетическая альтернатива, а если точнее – идиосинкразия. Здесь объяснение столь болезненного противопоставления попсы и рока.

Каков же их музыкальный стиль? Чистой воды эклектика, постмодернизм. В искреннем письме Артемию Троицкому 1980 года Гребенщиков пишет, что у “Аквариума” нет стиля, нет эстетики – это “абсолютно всеядное животное”, и приводит список, что и откуда им позаимствовано*. Этот стиль все время течет, и он все время вторичен, подражателен – то Боб Дилан, то регги (которое в музыкальном плане у “Аквариума” было довольно беспомощным), то пресловутая “новая волна”, то нечто фолковое и готическое, то митьковский примитивизм. Что-то интересное появлялось время от времени – благодаря Курёхину, затем Сакмарову. (“Русский альбом” родился как некий гребенщиковский гибрид, сложенный из Башлачёва, Летова и в музыкальном плане – Сакмарова с его необычными инструментами, такими как русская волынка.) На концертах в середине 80-х звук был порою просто отвратительным: какая-то сверлящая мозг какофония, создаваемая двумя скрипками, которую поклонники невесть как выдерживали.

Гениальных мелодий за “Бобом” не числится. Самые популярные его вещи (такие как “Город золотой” или “Десять стрел”) ему не принадлежат. В большинстве песен постоянно используются чужие мотивы, гармонии. В целом, если говорить о таланте композитора, **мы имеем дело с посредственностью**. Другое дело аранжировка – не сразу, но постепенно, с годами здесь возникло мастерство, развился вкус. И главное: появилась возможность приглашать высококлассных музыкантов и записываться в американских и британских студиях.

В песнях “Аквариума” культовой поры число случаев заимствования чужих музыкальных решений и плагиата чьих-то строк, в основном переведенных с английского, зашкаливает. Есть целый ряд публикаций, этому посвященных**. Кроме Дилана, это Элвис Костелло, Патти Смит, Fairport Convention, The Byrds, Grateful Dead, the Blackhearts, Брайан Ино, Лу Рид и многие другие. В музыке очень часто идут заимствования и прямые цитаты из Rolling Stones (например, *Rocks Off* – “И был день первый”, *Ventilator Blues* – “Дуй, с севера”, риф из *On with the Show* – “Отец яблок” и др.). То же и тексты – в них огромное количество выражений и метафор Боба Дилана и Дэвида Боуи. К примеру, образ “живого провода” из “*Rebel, Rebel*” (1974) Боуи. Только на одном этом образе построена куча текстов: “кто мог знать, что он провод, пока не включили ток?”; “чтобы был свет, ток должен идти по нам”; “я под током, пять тысяч вольт – товарищ, не тронь проводов...”; “Положите меня между двух контактов, // Чтобы в сердце шел ток” и т. д. Непонятно, что бы делал Гребенщиков без Боуи!

С годами эклектика становится более утонченной, но как бы то ни было это все же заимствованные стили. Даже и каждый поздний альбом – это в первую очередь надергиванье цитат, несамостоятельность музыки, постмодерная многожанровость, создающая эффект разнообразия. Сам Гребенщиков упивается западной музыкой и музыкантами и все время норовит противопоставить их чему-то самобытно-русскому: “*Меня клюнул в темя Божественный Гусь //*

* Правдивая автобиография “Аквариума” // Аквариум, 1972–1992: сборник материалов / сост. и ред. О. Сагарева. – М., 1992.

** Одна из самых ярких – Александр Горбачев. Дилан, Боуи, Talking Heads и другие источники “Аквариума” // Афиша Daily 27.11.2013.

И заставил петь там, где положено выть” (“Крем и карамель”, 2004). Да, это так, конечно, нам здесь свойственно выть. Но если честно — у автора процитированных строк скорее фирменное блеяние, чем пение, особенно когда есть нажим, экспрессия, волнение. Очевидно, самому ему нравится, как это звучит. Кроме блеяния есть еще своеобразное поскуливание (пример — финал песни “Пески Петербурга” в “Кунсткамере”). В альбоме “Навигатор” блеяние соединилось с придыханием — и получилось вроде как душевно... Но в целом для слушателей, не привыкших к манере рок-звезды, черты это скорее отталкивающие.

О КОПИРАЙТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В одном достаточно свежем интервью “Известиям” Гребенщиков с чувством собственного достоинства заявил: “Песни за нас пишет сам русский язык. Что времени нужно, то он нами и пишет; использует нас как транспортное средство. Что Высоцкого, что Окуджаву, что меня или Васильева, Макаревича, Юру Шевчука...” Хорошо, что в списке не оказалось Пушкина и Тютчева. А ведь могли бы и они затесаться...

Дело же в том, что у Гребенщикова довольно серьезные проблемы с “великим и могучим”. Правда, он заранее отсекает все претензии такого рода в одной из песен: “А если не нравится, как я излагаю, // Купи себе у Бога копирайт на русский язык” (“Феечка”, 2003). Абсолютно обезоруживающее требование!

Суть, конечно, не в том, “как” излагаешь, а в точности поэтического слова. Откуда у них, этих контркультурщиков и апологетов глобальной благодати, такой “юридизм” в отношении к слову? Чуть что — обращайтесь в суд. Если не нравится — не смотрите, не слушайте. Теперь вот еще и копирайт требуют выкупать.

Тексты ранних песен зачастую выглядели как кальки с английского (да они в огромной мере таковыми и были, почти что подстрочники!). Например, “Мой бог, как я рад гостям // А завтрашний день есть завтрашний день // И пошли они все к чертям!” (“В подобную ночь”, 1980). Это то, что называется нелитературный перевод, по всей видимости, из песни “On A Night Like This” (1974) Дилана. Встречаются жуткие ошибки, канонизированные Гребенщиковым, — ведь по-русски говорят — в противовес *не топора, а топору*. Или: вопреки *не всех правил, а всем правилам*. Как будто специально делаются ошибки в ударениях, странные для человека из интеллигентной ленинградской семьи: “пока не начался джаз”; “здесь развито искусство”, “если ты невидим”, “в новых мехах”. Потом эти бесконечные проглатывания звуков в слове “сторона”: “движение в сторну весны”, “всех по эту сторну стекла” или смена ударения: “окно на твою сторну...”. В интервью Познеру (2010) на вопрос, в чем ваша главная слабость, Гребенщиков пробормотал: неряшливость в формулировке мыслей. Мой диагноз страшнее: это отсутствие органического восприятия языка, абстрактное чувство языка, можно сказать, антитургеневское. Гребенщиков мыслит понятиями, а не изнутри языковой парадигмы. А для поэта это убийственно — хоть в эпоху классицизма, хоть постмодернизма!

Еще один свежий пример из альбома 2018 года: “Тело мое клеть, душа пленница”. Слово “клеть” употребляется нашим “подследственным” в таком значении не в первый раз. Кроме того, у него есть регулярный гностический мотив “клетка крови”, “клетка тела”. Гностицизм гностицизмом, но клеть — это убежище, место, где можно уединиться, что-то хранить. У крестьян это холодная часть избы. В церковнославянском языке — комната, келья, кладовая*. Ее никто и никогда не воспринимал как синоним клетки, темницы, тюрьмы. Напротив, там чаще, чем в теплой части избы, обычно ловили воров, если судить по пословице: “Злые люди доброго человека в чужой клети поймали”. Вот таким “добрым человеком” и является БГ “с бородой по пояс”, далеко не виртуозным образом шарящий в клети живаго великорусского языка...

* Святого Симеона Нового Богослова так переводили на русский: “Ум не может скрыться нигде среди творений! Ты можешь и в пустыню уйти, и в скалах спрятаться, можешь уйти куда угодно, но не можешь спрятать его в творениях. Самое глубое место, где ты можешь сокрыть ум от мира, это его клеть — сердце!”

Поэт должен заботиться о том, чтобы быть понятным. Для поэта это сверхзадача. Наплевать по принципу “Как хочу – так и ворочу! Чем меньше поняли, тем лучше!” – для поэта приговор. Иначе это не поэт, а словесный эквилибрист.

СОБЛАЗН ШАРАДАМИ

Здесь мы подошли ко второму крючку, за счет которого слабая поэзия и довольно-таки посредственная музыка могли оказывать большое влияние на молодые умы и даже порождать “культ”. Этим вторым крючком стало мастерство “головоломки”, “шарады”, которые людям пытливым захотелось бы разгадывать. Нелюбопытные, как правило, “Аквариум” не слушали.

Шарады, сопряженные с темой “духовности” – это уже само по себе почти эзотерика, конструирование собственного мифа. Гребенщиков часто отрицал искусственное кодирование смысла в своих текстах. Однако трудно оспаривать очевидное. О. Сакмаров, прочитав одно объемное исследование о библейских мотивах в творчестве БГ (а исследований о гребенщиковщине филологами и культурологами уже издано немало), написал: “Думаю, что БГ как автор будет в полном восторге, потому что такое количество зашифрованных ребусов разгадано здесь!”

Без “загадочности”, “закодированности” песни “Аквариума” потеряли бы львиную долю привлекательности. Поэтому Гребенщиков не просто кодирует, но еще и сбивает с толку. Когда от варианта к варианту идет шлифовка, оттачивание той или иной вещи – никогда не происходит прояснения, не растет уровень “великой простоты”, как это было бы у великих классиков – напротив, происходит еще большее “запутывание”. (Есть такой термин в психологии и психиатрии.)

Это своего рода “комплекс Эзопа”. Данная черта была очень заметна уже и в раннем “Аквариуме”: “*Вы слушайте меня, // В ушах у вас свинья. // Вы не поймете, для чего // Пою вам это я; // Но есть цветок, // И есть песок. // А для чего цветок в песке, // Вам не понять до гробовых досок...*” (“Блюз свиньи в ушах”, 1976, в соавторстве с Гуницким). Но это еще во многом юношеский панк-абсурдизм. Дальше больше. Мы видим насмешку над интерпретатором: “мозг критика”, изучающего их песни, должен “сгореть как автомобильная свеча” (“Ода критику”). “Но вот я пою, попадешь ли ты в такт?” – поддразнивает своего слушателя Гребенщиков в “Железнодорожной воде”. “Сегодня твой мозг жужжит как фреза...” – это вероятно из-за большого напряжения по разгадыванию головоломок и стремлению попасть в такт. Однако любой владеющий русским языком фрезеровщик за это “жужжание” поднял бы автора на смех!

Но когда язык неточен, легче всего списать это на “загадочность”, дескать, вы меня неправильно поняли. Надо сказать, что сначала Гребенщикова обвиняли в искусственном усложнении текстов, от чего тот постоянно откешивался. Но истина всплывает. Так, например, режиссер Сергей Соловьев свидетельствовал: когда у них зашел разговор о непонятности песен, Борис стал отстаивать мысль, что люди соскучились по таинственному, непонятному, и что это нужно использовать. В одном интервью конца 90-х Гребенщиков еще подробнее затрагивает эту тему и утверждает, что, в конечном счете, почти все его ребусы разгадывают: “Люди – удивительно умные существа. Они связывают нитки воедино...”

Однако между искусственной, самодовлеющей головоломкой, шифром ради шифра и настоящей загадкой (анафорой, притчей) большая разница. После традиционной притчи, инициатической загадки происходит изменение сознания, что-то остается в сердце и памяти. А в данном случае мы имеем дело не со смысловым эффектом, а скорее с созданием театральной атмосферы чего-то “мистериального”, “запретного”, “непролазного”. Какой-то бурелом в партизанском лесу – и это наводит на мысль о скрытой войне против большой культуры.

В свое время Эбби Хофман, лидер йиппи (политического крыла хипповского движения) заявил: “Ясность – вовсе не наша цель. Наша цель вот какая: сбить всех с толку. Беспорядок и кутерьма, сумятица и сумбур разят “цивилов” наповал. Нас не понимают – и это замечательно: понимая нас, они бы нашли способ нас контролировать... Нами нельзя манипулировать – ведь мы

миф, который сам себя создал... Мы взрываем динамитом клетки головного мозга. (...) Наш враг – человек в униформе. Без нее все они – славные люди. Голые все как братья...”*

Другой источник мастерства шарады – Боб Дилан. Интересно, что Гребенщикову в Дилане близка главным образом именно его метода – коллажность, аппликация, соединение в одной строфе фрагментов, внутренне не связанных между собой. В народном куплете (например, частушке) подобный прием создает нарочитый комический эффект, как правило, подчеркнутый параллелизмом формы и рифмой. Но у Дилана и Гребенщикова этот же прием порождает “многозначительность”. Можно сказать, здесь открывается какая-то “глубина”, высосанная из ничего. Боб Дилан был одним из пионеров создания рок-текста именно как текста, не стихов. И вот буквально год назад он получил **за это** нобелевскую по литературе. Поистине знаковое событие нашего времени: режиссерам “общества спектакля” трудно было придумать более разрушительный для литературы и поэзии ход!

Как выразился Гребенщиков в интервью журналу FUZZ, его “веселит это до крайности”, когда удается загадать образ, который в принципе не поддается дешифровке. Имелась в виду песня “Крем и Карамель”. А разгадка в общем-то незамысловата и, конечно, ничего не дает тем, кому о ней рассказать! (Крем и Карамель, как раскрылся Гребенщиков, это каменные китайские собаки Фу, которые симметрично лежат у ворот храма, напоминая аналогичных сфинксов и львов у мостов Петербурга.)

В русской поэзии был Велимир Хлебников, в ткани образов которого лежали трудные загадки, однако Хлебников делал это не “из вредности”, он работал со “сверхконтекстом”. И необходимо признать, что у него это получалось на высоком художественном и философском уровне, когда образ аккумулировал в себе целые пласты судьбы и мифа. За Хлебниковым следовали в этом ряду и другие поэты русского авангарда, включая обэриутов. Можно ли называть Гребенщикова их продолжателем? Нет, это нечто иное: он уже не авангардист, а постмодернист, и его загадки нагружены не столько смыслом судьбы, сколько цитатами. Высказывание теперь является “цитатой”, даже когда оно не цитирует кого-то другого, – сама реальность воспроизводится по принципу цитаты. Это культурологические игры, апофеоз пустотности, когда своего ничего нет. “Я возьму свое там, где я увижу свое. // Белый растафари, прозрачный цыган, // Серебряный зверь...” (“Капитан Африка”, 1983). “Песни без цели, песни без стыда (...) Что нам подвластно? Гранитные поля, // Птицы из пепла, шары из хрусталя...” (“Шары из хрусталя”, 1985). В этих строках нагромождения цитат и скрытых цитат из регги, Болана, Борхеса, кинофильмов и т. п. От автора только компоновка и констатация собственного бесстыдства.

Своего рода шарада уже в самом сценическом имени рок-идола – БГ. В юности мне довелось слышать множество интерпретаций этой аббревиатуры. Учитывая фразу из фильма “Асса” “Гребенщиков бог, от него сияние исходит”, – самую любопытную из расшифровок предложил мой одноклассник, спустя несколько лет эмигрировавший с семьей в Израиль. Его тоже звали Борей, и он был страстным поклонником “Аквариума”. Боря объяснил мне, что псевдоним БГ нужно толковать как иудейское написание “Б-г”, русский эквивалент тетраграмматона с непроизносимой гласной во избежание осквернения святого имени. Сам бы я в конце 80-х годов, конечно, до такого не додумался.

АНГЛОЗАВИСИМОСТЬ

Прежде чем контркультурщик начинает замораживать сознание юного поколения, он и сам бывает юным и сначала кто-то замораживает его. Этот период “метафизической интоксикации”, чреватой либо провалом и темными страданиями от неудач, неразделенной любви, недостижимости смысла жизни, либо, напротив, творческим просветлением – закладывает основы будущего, зрелой личности. У Гребенщикова эта пора пришлась на начало 70-х. И здесь, надо сказать, немалую роль сыграл вуз, в котором он учился.

* Хоффман Э. Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране полицейской демократии. – М., 2003. – С. 19-20.

Факультет прикладной математики ЛГУ благодаря его основателю академику Зубову и его гуманитарным исканиям стал одним из рассадников альтернативной духовности, в которой большую роль играли увлечения востоком и славянским неоязычеством. Одной из учившихся с Гребенщиковым “жертв” этой среды стал и знаменитый йог-сектант Анатолий Иванов, неоднократно судимый, в том числе, насколько мне известно, за довольно жуткие преступления, связанные с деятельностью синкретического культа. Сам Зубов был создателем своеобразной “теории управления”. Поговаривают, именно он заложил основы для крупнейшей интеллектуальной секты постсоветского периода – движения КОБ (Концепция общественной безопасности) “Мертвая вода”.

Думается, именно там, среди старшекурсников факультета, в их общаге и вокруг нее и вываривалась та самая среда, где молодой Боря прошел свою “контринициацию”. Во всяком случае, он начал черпать из нескольких тусовок: студенческой, богемной, музыкальной, из общения с публикой, проводившей досуг в кафе под кодовым именем “Сайгон”. В этой тусовке, где хватало членов семей дипломатов, внешторговцев, моряков, достаточно свободно обращалась в качестве духовной контрабанды англоязычная музыка и литература. *“Я полный продукт развития советского общества. Я ничьей помощью посторонней не заручался. – утверждал Гребенщиков в интервью А. Матвееву, опубликованном в 1986 году. – Все, что у меня есть, мне дала советская Россия, в том числе и то, что я знаю английский язык...”*

Еще тогда Гребенщиков впал в чрезвычайную зависимость от англосаксонской контркультуры, и эта зависимость навсегда определила его лицо. Основными источниками знаний о рок-н-ролле стали журналы New Musical Express, Melody Maker, которые ему регулярно доставляли заботливые друзья и покровители. Но самое главное происходило в устных разговорах. Надо отдать должное Борису, солженицынщину, диссидентство он не принял. Однако странным образом, пропитываясь западной популярной культурой, он себя от “инакомыслящих” не отделял, более того – готовился воспользоваться плодами их деятельности: *“Пусть кто-то рубит лес, // Я соберу дрова; // Пусть мне дадут один, я заберу все два; // Возьму верхки и корешки – // Бери себе слова”* (“Блюз простого человека”, 1978). В этом смысле стратегия Гребенщикова противоположна стратегии Пушкина, аллюзией на которого (стихотворение “Не дорого ценю я громкие права...”) данная песня является.

Спусковым крючком рок-н-рольной лихорадки для членов “Аквариума” стала, конечно же, битломания. *“Большой мистики, чем получить песней “Битлз” по голове в 12 лет, я до сих пор представить не могу... – говорил Гребенщиков в интервью 1998 года. – После этого хождение по воде, оживление мертвых и летание по воздуху представляются второстепенными развлечениями...”* Отметим сразу – характерное сравнение с Христом и с левитирующими магами.

Можно спорить или не спорить о вкусах, о масштабе достоинств группы “Битлз” на фоне вершин мировой музыки. Однако трудно оспорить две вещи: битломания была пронизана каким-то “ослиным” началом, вихлянием, похотливым полуживотным духом. И это связано с самой природой их музыки, создаваемой с цинизмом прожженных парней, которые после нескольких лет игры в стрип-барах вдруг начали воспевать романтическую дружбу с целью соблазнения глупеньких старшеклассниц из колледжей. Что тут скажешь, хорошая религия на замену христианству! Не буду здесь говорить про убожество текстов западных рок-групп, понятно, что брали они эстетическим бунтом, хотя сам упрощенный подход англосаксов “к песенкам” тоже подкупал: уж у нас-то, думали русские эпигоны, уровень и культурный запас будут не хуже! (В песнях Харрисона, особо любимого Гребенщиковым, форма музыки полностью подавляет текст, растворяет его в себе, превращая в “подпорку” для музыкальной интонации – отсюда рок-мотив “есть то, чего никогда не доверить словам”).

В стремлении подражать западной контркультуре было нечто болезненное. Как вспоминал виолончелист группы Всеволод Гаккель по поводу просмотра какого-то видео, *“нам казалось, что человек, не видевший The Beatles, терял единственное из того, что вообще в жизни имело смысл посмотреть, исключая второе пришествие. Но вот оно-то как раз неизбежно, а прозевать The Beatles – можно...”* Обезьянничали как могли: мечтали повторить

в Ленинграде Вудсток-фестиваль, собирая толпу хиппи на ступенях Михайловского замка, употребляли внутрь пятновыводитель “Сополс” (на слэнге — “банка”). “Боб говорил, — вспоминает Гаккель, — что это сильнейшее психотропное средство, полный аналог заморского ЛСД”. Летом на берегу Финского залива в дикой зоне устраивали постоянный пикник, который соприкасался с находящейся по соседству колонией нудистов. Нудизм тогда входил в моду. Место это называли между собой “остров Сент-Джорджа”. По всей видимости, именно вокруг этой атмосферы родились такие песни, как “Пьет из реки”, “Четырнадцать”, “Наблюдатель”, “Музыка серебряных спиц” с их гипертрофированной загадочностью и пляжным эротизмом. Впоследствии фотографии этого периода с ню-натурой использовались в оформлении альбома “Радио Африка”. В общем, как верно заметил Гребенщиков в своей отповеди Кире Серебренникову по поводу фильма “Лето”, жизнь у них была гораздо интереснее, чем он показал. . .

В довольно жестком интервью 2008 года про христианство и вообще традиционные религии Гребенщиков как будто с некоторым вызовом заявил, что еще с середины 70-х годов он “изучал книжку Грейвза “Белая богиня” и в общем был достаточно в курсе всего, что в Европе происходило”. Иными словами, “врубился” рано и весьма глубоко. Грейвз — знаковое имя для Гребенщикова и его мифологии. Но кроме Грейвза в середине 70-х были уже в круге их чтения Ричард Бах, Толкиен, Урсула Ле Гуин, “Хроники Нарнии” Льюиса, Томас Вулф, Карлос Кастанеда — в общем, неплохой джентльменский набор постсоветского интеллигента. Из Питера Бигла были почерпнуты Гребенщиковым сведения о единорогах, из Муркока и других фэнтези всевозможные вымыслы и домыслы по теме Гипербореи. Здесь, кстати говоря, хорошо виден один из пороков контркультуры вообще и “Аквариума” в частности — они питались суррогатами, и сведения о всевозможных таинственных вещах получали через третьи руки, да еще и с изрядной долей художественного “фейка”. Поэтический миф строился не на строгом знании истории и религии, а на “альтернативной истории” контркультурного пошиба. Даже к концу 90-х, когда, казалось бы, уже стали широко известны многие источники по теме Гипербореи, Гребенщиков продолжает воспринимать ее через призму фэнтези (об этом свидетельствует его интервью “Огоньку” 1997 г.).

Да и Грейвз — это по сути такое же фэнтези, только облеченное в форму “исследования”. Стиль “Золотой ветви” Фрейзера, но далеко не Фрейзер. Чудак, фантазер, сказочник, предтеча викканства и пророк феминизма, Грейвз избирательно пересказывал и реконструировал на свой страх и риск мифы древности и средневековья, при этом старался перетянуть одеяло на англосаксов и кельтов, в первую очередь валлийско-ирландскую традицию бардов.

Отсюда претензия Гребенщикова на “средневековый” флёр, на своеобразный “традиционализм”, но изначально не христианский, а ведьмовской, уходящий корнями в культы Гекаты и Кибелы. В уже цитированном интервью Матвееву Гребенщиков полон желания представить себя как наследника глубинного традиционализма. Но закваской его поэтики стала гремучая смесь Толкиена, Кастанеды и Грейвза. А поскольку в 80-е годы в СССР они были мало кому известны, то получалось очень эффектно и эзотерично. Добавлю, что изложенная Грейвзом гипотеза о тайнописи раннесредневековых бардов, вынужденных шифроваться, чтобы церковь не обвинила их в ереси (католики называли их “певцами неправды”) — стала еще одним источником шарадного стиля “Аквариума”.

Фэнтези привлекали своей безответственностью и вымышленным, виртуальным идеализмом, за который не надо ничем платить. “Толстого мне читать ну ни с какой стороны неинтересно, — “рубит” свою правду рок-светило в еще одном интервью (2012 г.). — А когда я читаю “Властелин колец”, я учусь. Практически у всех героев есть достоинство. (...) Я люблю Тургенева, но я никак не могу найти там кого-нибудь, кем я мог бы восхититься. И когда я читаю Толстого. И даже Достоевского. Когда я читаю фэнтези — я нахожу, кем я могу восхититься!”

Казалось бы, инфантилизм чистой воды. Однако все не так просто. Оказывается, миф о бардах и традиции — это всего лишь строительный материал для контркультуры. “Общаясь с реальностью, мы имеем дело не с миром, а с определенным описанием этого мира, которому научены с детства

и которое постоянно в себе поддерживаем, – говорит Гребенщиков, повторяя мотивы битников, а также мысли идеологов контркультуры вроде Роберта Уилсона и Чарльза Тарта. – Чтение фэнтези – один из методов смены этого описания, так же как рок-н-ролл – другой метод подобной смены. Вероятно, описание полезно не только менять, но и расширять до тех пор, пока оно не будет включать в себя все известные описания”. Здесь заветнейшие мысли новой революции, которая воюет с репрессивной Большой культурой и очень хотела бы выдать ее за злонамеренный гипноз. Фактически это довольно радикальный антитрадиционализм. У “традиции”, которой присягнул Гребенщиков, совсем другой бог – бог пацифистов, наркоманов, бог, выращенный в лабораториях Института Эсален, бог Кастанеды, Тройственная Богиня виккан и феминисток, а вовсе не Божество Средневековья, от которого, казалось бы, “Аквариум” плясал в своей символике, если смотреть на нее “наивными” глазами (“Король Артур”, “Десять стрел”, “Город золотой”, “Орел, Телес и Лев” и т. п.).

“В ХРАМЕ МОЕМ БАРДАК”

Невозможно оценивать духовный опыт исходя сразу из многих религиозных традиций. В этом очерке критерием выступает православие, в первую очередь в лице его подвижников, духовидцев, носителей высшего мистического опыта, собранного в трудах святых отцов, “Добротолубии”, “Цветниках”, “Апофегмах”, патериках. Это опыт реального традиционализма, не искусственно зауженный или расширенный, но единственно здравый, поскольку только такой опыт, организованный по законам единой “картины мира”, может вмещать в себя весь мир. В то же время в такой фокусировке может быть сколь угодно глубоко представлен и переработан опыт сравнительного религиоведения, европейского традиционализма в его учении о символах как точках пересечения разных традиций (пересечения – но не слияния и не смешения!).

Здесь коренное отличие нашего подхода от гребенщиковского, для которого высказывания необуддистов о равнозначности всех религий стали не символом веры, но своего рода символом безверия, пребывания “промеж вер” и “поверх вер”. При всей претенциозности это напоминает досужие разглагольствования про “бога в душе”. Поэтому обращение апостола Павла к “неведому Богу”*, которым тот покорил афинян, в пространстве “Аквариума” вырождается в диковинную формулу: “Я пью за верность всем (!) богам без имен” (“Платан”, 1983). Конечно же, такой верности быть просто не может.

Этот подход означает только одно – следование собственным прихотям. “И все хотят знать: // Так о чем я пою? // А я хожу и пою, // И все вокруг Бог; // Я сам себе суфий // И сам себе йог” (“Туман над Янцзы”, 2003). В шутильной песне “Скорбец” (1998) дается объяснение, почему автор ушел в свободное религиозное плавание: он долго мучился задачей избавления от “скорбеца”, но после того как херувим объяснил ему, что “без скорбеца ты здесь не будешь своим” – “С тех пор я стал цыганом, // Сам себе пастух и сам дверь...” Иными словами, перед нами странник, блудная овца, шаман-фрилансер. В поздних песнях чуть иначе звучит мотив выбора: “Я, признаться, совсем не заметил, как время ушло, унося с собой всё, что я выбрал святым” (“Прикуривать от пустоты”, 2016). Но можно ли выбрать себе “святое”? Подлинное святое выше человека, поэтому оно само отбирает для себя людей и поэтому его никакое время не способно “смыть”.

Путь православия труден, сопряжен со строгой дисциплиной и многолетними усилиями – в отличие от него модернисты обещают достаточно быстрый и эффективный духовный рост. Более родными для Гребенщикова оказались восточные гуру, такие как необуддист Оле Нидал (датчанин по происхождению), неоиндуисты Шри Чинмой и Саи Баба. Обращает на себя внимание, что все трое являются модернистами в религии, создателями своих финансовых империй, не стоят на пути исконной традиции буддизма или индуизма. То есть это те, кого в просторечии именуют сектантами или “кока-кола-гуру”.

* Существует версия, что надпись на алтаре этого храма гласила: “Богам Азии, Европы и Африки, богам неизвестным и чужим”. Таким образом, это был храм для иноплеменников, чтобы те могли справлять свои религиозные нужды. Но апостол Павел успешно обратил идею уважения к иным верам в миссионерскую.

В православии даны четкие критерии различения духов в том, что касается ощущений благодатного присутствия высших энергий. Эти критерии при наличии тренировки очень полезны и плодотворны для соприкасающихся с мистическими материями (а поэты, музыканты по определению относятся к таковым – хотя наш секулярный век, с выродившейся традицией, готов представить их как какую-то службу для увеселения публики). **Критерии истинной благодати у святых отцов: влечение к небесному, устроение помыслов, духовный покой, радость, мир, смирение. Критерии ложной благодати (называемой “прелестью”): тревога, душевный зуд, раздвоение, сомнение, страх.**

Читатель может судить сам, что доминирует в следующих строках и песнях, где так или иначе изображаются встречи с потусторонним: покой-радость, духовная ясность или мутное состояние тревоги-сомнения. *“Каждый в душе сомневается в том, что он прав, // И это тема новой войны”. “Я знаю твой голос лучше, чем свой, // Но я хочу знать, кто говорит со мной”. “Я открываю дверь, и там стоит ночь. // Кто говорит со мной? // Кто говорит со мной здесь?”* (Дальше в этой композиции начинаются мистериальные, оргиастические мотивы, которые должны напоминать напевы и наигрыши друидов.) Совсем параноидальной является песня “Выстрелы с той стороны” (1983) – про мистика как “ходячую битву”: *“Малейшая оплошность – и не дожить до весны. // Отсюда величие в каждом движении струны...”*

В песне “Ей не нравится то, что принимаю я” (1993) разворачивается противопоставление между традицией Большой русской культуры и тем набором “выборов”, который Гребенщиков совершает в своих бесконечных духовных мытарствах. Собственно, наш очерк и призван показать эти мытарства в их реальном, неприукрашенном виде. Почти все эти “выборы” в духовной сфере – всевозможные “экспортные варианты” необуддизма, неоиндуизма, синкретических сект, шаманизма и оккультизма, в том числе и разнообразные практики “расширения сознания”. Отсюда и шараханье из крайности в крайность, характерное для интеллигенции... Именно это и значит по-гребенщически “держаться корней”.

Яркая иллюстрация этого феномена – буддистские аллюзии и мотивы у Гребенщикова. Например, в песне “Фигус религиозный” (1994) накладываются друг на друга два пласта: буддистский (дерево просветления, связанное с Гаутамой Буддой) и русский эзотерический (две райские птицы с именами из православных святцев). Какая связь между этим деревом и птицами, с какой стати наши святые берегут именно “дерево Бо” – сам Гребенщиков вряд ли смог бы объяснить. Проще говоря, связи никакой нет – зато таким образом манифестируется трансрелигиозный выбор автора. Впрочем, слушатели скорее всего и не чувствуют в песне никакого буддизма. И когда человек узнает, что подразумевается в текстах, где идут отсылки, скажем, к даосизму или гностицизму, ему остается только удивляться, ведь музыка ни на что подобное не намекает. Не знаю кому как, а мне подобная поэтика кажется неорганичной и искусственной, построенной на случайных, произвольных сочетаниях (коллажность, не имеющая реальной опоры в том, о чем поется, но зато очень подходящая для усиления эффекта шарады).

Другой, более существенный пример, поскольку в нем Гребенщиков претендует на диагноз всему русскому народу, – творческое применение идей **чжэн-буддизма**, в котором учение о сансаре сочетается с западными представлениями о вечной жизни. Круговорот сансары, цепь перерождений трактуется как путешествие между мирами, реинкарнации, выбор которых предопределен кармой. Буддистская песня о йогине, кормящем своим телом голодных духов, вдруг превращается в песнь о лихом времени на Руси: *“Ох, мы тоже трубим в трубы, // У нас много трубачей; // И свою кровь кормим // Сытых хамов-сволочей; // Сколько лет – а им все мало. // Неужель мы так грешны?..”* (“Кладбище”, 1995). Оказывается, можно простроить связь и здесь: кто-то из гуру поведал Гребенщикову, что человек рождается в той или иной культуре не случайно, а для извлечения специальных уроков. Так вот, в России рождаются “существа, которые раньше были демонами. (...) Мы видим огромную страну, наполненную людьми, из которых девяносто процентов большую часть времени думают только о себе. Поэтому в России рождаются, чтобы научиться думать о других и любить друг друга” (интервью для “ДеИллюзиониста”, 2006).

Сам Гребенщиков, по всей видимости, уже близок к тому, чтобы исчерпать свою карму и стать “невозвращающимся” в этот мир. Это очень частый мотив в его песнях, правда, он и здесь сомневается и непостоянен, то обещает больше сюда не возвращаться, то обязательно вернуться, то комментирует письма отсюда, полученные его лирическим героем там – в “хрустальном захолустье” пакибытия (еще одно сновидческое перенесение в иное метафизическое пространство).

Что это, прелесть, или богоискательство, или достойный путь человека, обретшего новую веру, – хорошо видно на материале нашего очерка. Тем более что буддизмом и индуизмом дело, конечно, не ограничивается. Буддизм прозрачен для Гребенщикова едва ли не по отношению ко всем возможным духовным практикам. В этом смысле парадигма “Аквариума” идеально вписывается в плюралистический мир “Нью Эйджа”, который неотделим от астрологического представления о смене эр. Наверное, существует и связь между самым названием “Аквариум” и понятием “Водолей” (по латыни Aquarius). В одной из передач “Аэростат” (vol. 149), которые ведет с 2005 года Гребенщиков на “Радио России”, он подтвердил, что ощущение наступающей эры ему ближе, чем надоевшая христианская эсхатология: “... Сатья-Водолей-Юга меня устраивает значительно больше, чем простой банальный конец света”. Хорошо здесь словечко “устраивает”.

Но как же православные песни “Аквариума”, могут спросить читатели. Весь вопрос в том, что считать православными песнями. Обычно называют “Серебро Господа Моего” (1986), в которой содержится прозрачный намек на свидетельство о собственном мистическом опыте. В песне есть библейские цитаты, но достаточно ли этого для христианства? Ведь Библию цитируют все, – и весь оккультизм на Западе строится в том числе на цитатах из Библии, иногда перевернутых, а иногда и точных.

Собственно, мы в очередной раз видим исповедание в словесном бессилии: “Разве я знаю слова, чтобы сказать о Тебе?” Слова Господни, “чистые как серебро” (здесь отсылка к Псалтыри), ставятся рок-песнетворцем “выше слов” – то есть на лицо оксюморон. Так же они выше звезд и “вровень с нашей тоской” (довольно сомнительное наблюдение о высоте тоски). Вот собственно и вся песня, как обычно мутная и туманно-расплывчатая, если не считать одной детали: нарциссизма автора (“туда, куда я, за мной не уйдет никто...”). Конечно, куда уж всем остальным, включая святых и пророков, угнаться за Борисом Борисычем. Да, и евангелист Иоанн, наверное, очень огорчился – прииграв индуистам в маркетинговой битве за такого молодца...

Но вот спустя несколько лет в “Государыне” (1991) мы видим уже более откровенное реальное отношение к “серебру”, оказывается его недостаточно, и необходимо проверить: “Зато теперь // Мы знаем, каково с серебром; // Посмотрим, каково с кислотой...”. О какой кислоте говорит нам рок-богоискатель, о наркотической или о кислоте из буддистских притч – не стоит ломать голову. В этой многозначности “кислота” как хипповское название ЛСД, конечно же, присутствует. Тем более что в этот период много песен Гребенщикова посвящено делам наркотическим. Эти годы – заря массовой наркотизации России. Гребенщиков имеет большие заслуги в этом деле, поскольку прочно ассоциирует свои трипы с приближением к “райским” областям сверхсознательного. Он в этом плане прямой, последовательный и несгибаемый посол не только рок-н-ролла в “неритмичной стране”, но и психоделической революции в стране до того невинной, не тронутой ничем, кроме табака и алкоголя (не берем в расчет наркотический бум эпохи революции и гражданской войны)*. Миллионы абортов, миллионы погибших от наркотиков, миллионы погибших от шока смертности в начале 90-х – все это не в счет для “птичек божиих”, вырвавшихся на волю. Никакой ответственности за все это лидер “Аквариума” не осознает и не признает. В одном из интервью 2007 года он сравнивает наркотики с аспирином и даже бифштексом: “Чем, собственно, бифштекс отличается от наркотиков? Да ничем – ты съедаешь его, и он на тебя действует”. Таково же легкое, непринужденное отношение к ним в его песнях (“Летчик”, “Нью-йоркские страдания”, “Снесла мне крышу кислота...”, “Таможенный блюз”, “Гарсон № 2”, где гашиш, отчасти иронично, уподобляется церковному ладану и проч.).

* На мой взгляд, в истории России пики наркомании совпадают со Смутными временами. И наша эпоха здесь не исключение.

ЭЗОТЕРИКА ПОТУСТОРОННЕГО: “БОГ НА МОЕЙ СТОРОНЕ”

Тема той и этой стороны, разделенных стеклом, первоначально отсылала к “Зеркалу” Тарковского, вышедшему в 1974 году. Были и другие источники, точно нельзя сказать какие, однако они могли проистекать и из оккультной литературы, и из фантастики или фэнтези. Так или иначе, название альбома “С той стороны зеркального стекла” (1976) – это строчка из стихотворения отца режиссера “Зеркала” поэта Арсения Тарковского. Первые стихи Гребенщикова на тему “той стороны” выглядели как блеклое эпигонство. Но постепенно образная система обрастает мистическими подробностями: ночь превращается в экран невидимого, потустороннего, через стекла (или зеркала) ведется подглядывание за ангелами, демонами, жителями мира “по другую сторону”, как будто приоткрывается щель в реальность, где иначе течет время. Мир делится на два неравноценных лагеря. Жизнь обычных людей, у которых “зеркала из глины” либо вообще нет зеркал, и в глазах невозможно различить с утра “снов о чем-то большем”. *“Я был вчера в домах, // Где все живут за непрозрачным стеклом (...) чтобы забыть про свой дом”* (“Белое регги”, 1981, своего рода гимн раннего “Аквариума”). Другой лагерь – зазеркальный мир, населенный двойниками, куда можно пробраться в лучшем случае в вещих снах, либо в мистическом транссе, видении. (Тематика, безусловно, интересная, если сопоставить ее с древними мифами о многомерности человеческой души, например, представление о Ка, Ху и Ба у древних египтян.)

Мотив дома без зеркал – довольно неточен по отношению к советской действительности. Более точно сказано в песне “Стучаться в двери травы” (1979) – там “все зеркала кривы”, но, что интересно, в разных редакциях обыграны реалии не только Востока, но и Запада: в ранней версии “отец считает свои ордена”, а в поздней “отец считает свои дела”, то есть подсчитывает бизнес. Но исход из этого кривого зазеркалья в любом случае один – хипстерски-растаманский.

Во второй половине 80-х созревают мотивы пребывания самого лирического героя “Аквариума” в двух планах (зазеркальный Господь), постоянное мистическое присутствие высшей реальности, когда “каждый день проходит словно дважды” (“Орел, Телец и Лев”). Наконец, дело доходит до того, что Гребенщиков вступает в контакт с неким летчиком, перелетающим из одной реальности в другую – этот летчик несет *“письмо из святая святых, письмо сквозь огонь, // Мне от меня...”* (“Летчик”, 1991). Песня пронизана мотивами наркотического транса (амфетаминовой эйфории – Speed, либо ЛСД и экстази – “кислая изба”, то есть acid-house), что и объясняет суть замысловатого мистического сюжета. Более того, мотив написания письма самому себе, который мог бы звучать и у великих мистиков прошлого, в данном случае – всего лишь стандартный опыт трипа, в который теперь пускаются сотни тысяч психонавтов, воображающих себя визионерами с уникальным внутренним миром. Все это происходит с легкой руки пророков контркультуры, таких как Олдос Хаксли, Тимоти Лири, Теренс Маккена. А Гребенщиков в этом ряду – опять же вторичный персонаж, подражатель, потребитель плодов психоделической революции...

Тексты его перенасыщены понятиями трансценденции как транса: та и эта сторона, наша и ваша сторона – чем-то напоминающими судебные термины (невольное опять вспоминается, что он правнук адвоката). При этом движение в ту или иную сторону является предметом предельной оценки. *“Вечные сумерки времени с одной стороны, // Великое утро с другой”* (“Великий дворник”, 1987). *“Там, где я родился, основной цвет был серый; // Солнце было не отличить от луны. // Куда бы я ни шел, я всегда шел на север – // Потому что там нет и не было придумано другой стороны”* (“Брод”, 2001). Но вот и другая предельная оценка: *“Дела Твои, Господи, бессмертны // И пути Твои неисповедимы – // И все ведут в одну сторону...”* (“Голубиное слово”, 2014). Гребенщиков постоянно примеряет на себя роль смотрящего с той стороны, то есть ангела либо умершего человека (ушедшего, “разбив зеркала”, “вернувшегося домой”). Ему кажется, что “эта сторона” достойна смеха: *“Кто-то смеется, глядя с той стороны”* (“Двигаться дальше”). И даже Самому Христу он дает совет: *“Но будь я тобой, я б отправил их всех // На съемки сцены про первый бал, // А сам бы смеялся с той стороны стекла // Комнаты, лишенной зеркал”*. (“Комната, Лишенная Зеркал”, 1983). Для христианина

этот “совет” звучит не просто вызывающе, а разоблачительно в отношении автора. Но Гребенщиков – христианин ли он? (Подробнее мы затронем эту тему в конце нашего очерка.)

Он чувствует себя в этом мифическом пространстве едва ли не хозяином положения: *“Я знаю – во всем, что было со мной, Бог на моей стороне, // И все упреки в том, что я глух, относятся не ко мне”* (“Лети, мой ангел, лети”, 1979). Заметим: не он на стороне Бога (там, где иное время или вообще уже нет времени), а – Бог на его стороне. Такое мироощущение гностическое избранного, пневматика, стоящего неизмеримо выше обычных смертных, многое объясняет в гребенщиковском контркультурном мифе. *“Все равно все, что сделано нами, останется светлым”* (“Молодые львы”, 1986). В каббале есть понятие *“sitra ahra”*, то есть “другая сторона”. Избранные произошли от божественных сефирот, все остальные – от сефирот зла. И мир делится на две стороны – сторону Бога и сторону “мира клипот”, то есть скорлуп, шелухи, отходов. Каббала была важным элементом в большинстве контринициатических групп и течений, христианских ересей, тайных обществ и движений. Как мы показали в своем докладе Изборскому клубу, контркультура XX века и контринициация не только два слова с похожим звучанием, это два аспекта единого процесса**. А русский “рок” в свою очередь был важнейшим звеном контркультурной революции в СССР. Впрочем, я не стал бы мазать всех рокеров одним миром. Но Гребенщиков в этом русле вполне сознателен и последователен. Так или иначе, в “Ласточке” (1991) он описывает российское бытие в терминах: *“С одной стороны свет; другой стороны нет”*, как будто дезавуируя саму тему зла. Далее он иронизирует над этой темой: *“На битву со злом // Взвейся, сокол, козлом”* – тем самым внося свой вклад в дело полной демобилизации на поле духовной брани.

ПОЛИТИДИОТИЗМ И “СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ”

Демонстративная аполитичность “Аквариума”, его отстраненность от диссидентства, от текущей политики была его фирменным стилем. Своеобразный эскапизм, отгораживание себя от советского официоза никогда не означали для самого лидера группы желания эмигрировать. На концерте 1982 года, комментируя песню “Станный вопрос”, Гребенщиков замечает: эта песня не в пользу отъездов. Этот же мотив звучит в “Песне о несостоявшемся отъезде” (1979): *“И если б я был чуть тверже умом, // Я был бы в пути, но мне все равно, // Там я, или я здесь”*. А также в “Героях” (1980): *“И кто-то едет, а кто-то в отказе, а мне – // Мне все равно”*.

Другое дело – страдание англомана, что он заперт в “закрытом обществе”, не может посетить страны Запада, вырваться подышать “воздухом свободного мира”, как это в ретроспективе сформулировал Гребенщиков в интервью “Newsweek”. В других интервью он прямо сравнивает СССР с тюрьмой, где удобно было лишь надзирателям. И сила сопротивления “Аквариума” окружающей обстановке определялась вовсе не прямыми вызовами и манифестами. Он оказал не менее эффективное сопротивление советским реалиям в условиях их разложения, чем это смогло сделать прямое политическое диссидентство. Отклик в душах людей контркультурщики находили даже больший, чем правозащитники и разносчики политического самиздата.

Это были краткие отцеубийцы, пришедшие в “овечьих шкурах”: *“Я не знаю, при чем здесь законы войны, // Но я никогда не встречал настолько веселых времен. // При встрече с медвежьим капканом // Пойди объясни, что ты не медведь. // Господи, помилуй меня; все, что я хотел, // Все, что я хотел, – я хотел петь”* (“Я хотел петь”, 1984). Данная мысль лукава, и уже в интервью журналу “Семья” (1989) Гребенщиков признал: *“Слова сами по себе, в какую бы совершенную с литературной точки зрения логическую связь они ни были поставлены, ничего не значат. Определенные сочетания звуков имеют гораздо большую эмоциональную силу, магическую силу. (...) Песни*

* Видимо, понимая это и сообразуясь с тем, где он живет, Гребенщиков постарался где возможно отредактировать строку “Но будь я Тобой...” Однако прежний вариант попал и в поэтические сборники, а на концертах он поет это место так же, как и раньше.

** На пути к “покорному обществу”. Доклад Изборскому клубу под ред. В. Аверьянова // Изборский клуб, 2019, № 5-6.

могут действовать, как молитва, как заклинание, можно это называть как угодно. У меня есть несколько идей в области “секретного оружия”, скажем так”. На гребне перестройки можно было уже и хвастливо показать краешек “оружия”, ибо раньше был еще велик страх.

В интервью и комментариях Гребенщиков иногда сбрасывал свои маскирующие покрывала. Эту невоздержанность на язык, своего рода политэкономический идиотизм сам он остро переживал и не раз зарекался говорить на такие темы с журналистами. Придумывались даже специальные объяснения: “Боб Дилан однажды сказал: “Важны только песни, а я почтальон, их доставляющий”. С этой точкой зрения я полностью согласен. Мнение почтальона никого не должно интересовать. Чтобы не мутить воду впустую, я и перестал полтора года назад давать интервью” (журнал “Сноб”). Или другой вариант, с юморком: “Фонд защиты дикой природы просил меня, дабы не наносить вред экологии, не высказывать никаких своих политических мнений” (газета “Известия”). Но все эти обеты быстро нарушались, — нарциссу очень хотелось показать себя.

Апофеозом политологического идиотизма Гребенщикова можно считать его признание в интервью “Коммерсанту”: “Я продолжаю считать, что любые конфликты должны решаться торговцами, купцами, а не военными”. Эту мысль, совершенно великолепную по своей как будто наивности, он иногда повторял с теми или иными вариациями, приправляя ее либеральными штампами типа “Мы эту власть нанимаем. Это нанятые работники”. Не будем здесь вдаваться в разъяснения того, что все крупные войны XX века развязывались именно капиталом, а не военными — для разрешения накопившихся экономических противоречий и списывания издержек. Правда, в интервью К. Собчак Гребенщиков без связи с темой войн вдруг замечает: “Все правительства кукольные. Существует власть значительно более серьезная. — Собчак: Вы верите в некий масонский заговор? — Гребенщиков: Я говорю не о масонстве, а о власти денег”. Но даже в этом признании Гребенщиков скорее циничен, чем мудр.

Однако и благоглупости, искренние они или притворные, в критической ситуации оборачиваются отвратительными злонамеренностями. Собственно, так и произошло с “Аквариумом” в конце 80-х, когда в противостоянии двух цивилизаций они выступили на стороне противника, не прямо призывая к демонтажу СССР, но всячески пропагандируя дезертирство, разоружение перед неприятелем, который вовсе и не враждебен нам, а потом и полную капитуляцию перед дружественными партнерами, посылающими нам гуманитарную помощь: “Полковник Васин создал свой полк // И сказал им — пойдем домой”. “Я видел исполкомы, которых здесь нет” (эвфемизм ругательства в адрес власти). Затем уколы в адрес начальника с плетью, которые, однако, завершаются не столь уж невинным образом: “Мы будем только петь. // Но мы откроем дверь...” (“Партизаны полной луны”, 1986). Можно наводить тень на плетень и фантазировать на тему куполов Варды и метафизической битвы. Но для нас очевидно: откроют дверь врагу. Иначе какие же это партизаны?

Можно найти и более прямолинейные доказательства воспевания капитуляции в войне и ниспровержения советской власти (“Поколение дворников”, “Комиссар”, “Бабушки”) и нового исторического оптимизма (“Лебединая сталь”, “Мир, как мы его знали”, “Капитан Воронин” и т. д.). Не случайно в финале “Поколения дворников” дается имитация марша с волынкой, который недвусмысленно демонстрирует, перед кем именно капитулирует страна “наших отцов”, которые “не умеют лгать, как волки не умеют есть мяса”. Эти песни периода альбома “Равноденствия” стали фанфарами последовавшего вскоре переворота и начала того, что Сергей Переслегин называет “англо-саксонским игом”^{*}.

Тема Белой Богини как покровительницы перестройки и разрушения СССР лежит на поверхности. При этом фраза “Смотри ей в глаза, ты увидишь, как в них отражается свет” — заклинание, обращенное к “комиссару” Горба-

^{*} Кстати, кельтско-ирландские мотивы нередко используются Гребенщиковым как антитеза русскому началу. В “Русско-абиссинском оркестре” есть композиция под названием “Пленение И. В. Сталина ирландским народным героем Фер Диадом”. Но несмотря на митьковский стёб, этот народный герой, пусть даже по сценарию Оруэлла, наверняка нашел бы с “отцом народов” общий язык. А вот стал бы он живьем брать в плен “барда и друида БГ” — это еще вопрос.

чеву — звучит в высшей степени комично, если вспомнить про такую ипостась Лунной богини, как Раиса Максимова. В параллель к Гребенщикову с его метафизическим феминизмом, народ очень быстро раскусил “Райку” и увидел в ней важнейший фактор деградации государства. Однако зоркость народа не спасла его от катастрофы. Подвел монархический принцип, который никуда из России не уходил.

Высшей точкой демобилизации стал 1991 год, в котором Гребенщиков добрался со своими лозунгами до генералов: “Ахуедемте лучше на дачу!” Отправляя генерала на пенсию, он предлагает ему спасти Россию нетрадиционным способом: кислотой “из сосновой хвои”, которая откроет им “суть Поднебесной”. Тем более что “нам никак уже не различить, где враги, где свои...” Это прямое развитие мотивов из “Полковника Васина” (видимо, Васин дослужился—таки до генерала, успешно организовав дезертирство с фронта).

“ПРИЗНАКИ ВЕЛИКОЙ ВЕСНЫ”

В начале 80-х “Аквариум” был той группой, которая недвусмысленно пророчествовала о скорой весне. Это было не просто ожидание — это была молитва, заклинание, выкликание, а также шаманские “танцы на грани весны”: “Ты знаешь сам, мне нужно немного — // Хотя бы увидеть весну” (“Все, что я хотел”, 1983). “Все, мне надоело петь, / Я начинаю движение в сторону весны...” (“Движение в сторону весны”, 1983). В ранних версиях песни “Как движется лед” (1982) Гребенщиков готов “спустить в сортир фотографии всех, кто не понял, как движется лед”. Не удивительно раздражение их, особенно Макаревича (под которого когда-то “прогнулся” целый мир, советский мир), когда вектор движения начинает слегка крениться в другую сторону... Но и Гребенщиков демонстрирует сокрушенную интонацию во время другой “весны” — “Русской весны” 2014-2015 гг. (альбомы “Соль” и “Песни нелюбимых”).

Трактовать весну и движение льда можно было и как духовное, метафизическое откровение, и как реальную социальную перемену. Более того, между ними прямая связь, о чем поется в более поздней вещи: “И лед на реке, текущей снаружи, // Тает в точности так, как лед, что внутри” (“Песнь весеннего восстановления”, 2013).

В 1981 году у Гребенщикова была песня “Кто ты такой”, навеянная визитами высокопоставленных людей, якобы желающих помочь: “Видит бог, я устал быть подпольным певцом. // И боги спускаются к нам, дыша дорогами коньяком, // чтобы все рассмотреть, отнестись с пониманием // и выяснить, кто я такой”. Гребенщиков пел о них с нескрываемой ненавистью. Но чего он, видимо, так и не понял — так это того, что весна, которую он столь страстно выкликал, — была именно их весной, весной первоначального накопления и распродажи советского наследства.

Среди современников и коллег Гребенщикова не все были столь беспардонны. Многие задумывались, к чему может привести эта начинающаяся “весна”. Тот же Башлачёв, по воспоминаниям Сергея Смирнова, усомнился в подоплеке открывающихся для русского рока шлюзов: “Начало 1986 года. Сергей вспоминает: “Он пришел ко мне как-то вечером и говорит: слушай, а у тебя было что-то о масонах. Да, говорю, у однокурсника библиотека хороша, у него есть дореволюционное издание. Мы пошли туда, на улицу Дзержинского. Был снег, было холодно. Книгу мы не нашли. — Ну и бог с ней, — сказал он. Я тогда спросил у него, откуда интерес такой. Он ответил: “Ты знаешь, вроде дают зеленый свет, “зеленую улицу”, а вот стоит ли по ней идти?...”* Башлачёв был не умнее и не глупее Гребенщикова, просто он был цельной натурой.

Кто-то, подобно Егору Летову, довольно быстро выработал в себе противоядие против навязываемых России перспектив и остался неконформистом. Кто-то не хотел смиряться с простыми ответами, как какое-то время близкий Гребенщикову Сергей Курёхин. В начале 90-х они разошлись как раз на идейной почве. Гребенщиков, похоже, так и не понял, что для Курёхина его сближение с радикалом-эклектиком Лимоновым и радикалом-традиционалистом Дугиным было актом идейного и метафизического поиска. В этом

* Наумов Л. Александр Башлачёв: Человек поющий. — Спб., 2010.

смысле Курёхин был человеком честным перед самим собой, а Гребенщиков не ощущал этого и видел в его “заигрывании” с политической идеологией не более чем художественную провокацию. Тем временем сам Гребенщиков осваивал западные страны, наслаждался запахом “буржуазной весны”. По свидетельствам друзей, он приезжал полный впечатлений и необычных, в пробковом шлеме, ковбойских сапогах, с фонариком из чайна-тауна. В общем, был невероятно пошел в своем “низкопоклонстве”, как это называли в эпоху Иосифа Виссарионовича.

Ну вот, историческая “весна” пришла. Она оказалась совсем не такой, как ожидалось. 90-е годы неприятно поразили “великого сторожа” сначала хаосом, а потом разложением всех основ. Весна не воцарилась, а как-то проблеснула в момент 1991 года – и скрылась за новыми скорбями и бедами, обратившись “ночью с голодными духами” (“Кладбище”, 1995). “Мне просто хотелось вечного лета, а лето стало зимой. // То ли это рок, то ли законы природы висят надо мной” (“Тяжелый рок”, 1997). В общем, с историческим временем у рок-менестреля что-то не в порядке. А в песнях 10-х годов в пику “русской весне” вновь выплывает “бесконечная зима”, зима возвращается (“Ветка”, “Любовь во время войны” и др.)

“НАПРАСНО НАМ ШЬЮТ АМОРАЛКУ”

Гребенщиков очень много говорит и поет о любви. Однако, как признается однажды его лирический герой, “все хотел по любви, да в прицеле – мир дотла” (“Истребитель”). Слово “любовь” в рок-н-ролле превратилось в заклинание, в идола. Насколько эта “любовь” связана с подлинной любовью, жертвенной и подвижнической – можно судить только по плодам. Песни БГ о любви скучны и некрасивы – начиная с таких как “Кто это красит стены рано утром. . .” до “Любовь – это все что мы есть” и т. д. Даже не важно, идет ли речь о небесном Эросе или о его земной проекции. Суть этих песен в том, что они исполняются “без помощи слов”. Это попытка телепатически передавать какую-то энергию, в данном случае душевное тепло, радость, благодать. Но сердце и уста “партизана подпольной луны” при этом бессильны родить Настоящее Слово.

Гораздо убедительнее получались “жестокие” вещи, или, к примеру, “Мочалкин блюз” с его саркастической “похотливостью”. У Гребенщикова есть талант сатирика. Вещи насмешливые, издевательские выходят яркими. Начиная с коллодоевского цикла, затем так называемых “недобрых песен”, в которых “обличаются” разные встречные персонажи, далее “портвейного цикла”, в значительной мере подпитанного самоиронией автора, и т. д. Элемент самоиронии есть едва ли не во всех этих песнях, даже в “Мочалкин блюзе”, где пародируется не что иное как рок-н-рольное мироощущение “крутого мэна”, который “любую соблазнит”. Весь рок-н-ролл, откровенно говорил Гребенщиков одному из собеседников, “кричит: “Женщину мне в постель! Немедленно! И желательна несколько!” Бивис и Батхед – вот вся политика, что есть в рок-н-ролле” (беседа в журнале “Город”). А в другой раз уже о себе лично сказано в журнале “Esquire”: “Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин – я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует – близкие друзья не в счет”.

Еще одна сатирическая песня “Любишь ли ты меня. . .” по своей тональности звучит как пародия на рок-н-ролл, хотя по тексту – это пародия на страсть к очередной “комсомольской богине”, совсем другой, чем у Окуджавы, родом уже из 80-х годов, с сексом на сталепрокатном станке: “Напрасно нам шьют аморалку // За нашу большую любовь. . .” Опять вылезает “любовь”, но уже чисто рок-н-ролльная, без примесей.

Когда Гребенщиков иронизирует над себе подобными и своими увлечениями – он прекрасен и целостен. Таков “Электрический пес” (“поэты торчат на чужих номерах” – ну это же явно про себя!), таковы “Козлы” (“Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. . . Я тоже такой, только хуже. . .”). Таковы многие мотивы в более поздних песнях о русской трансрелигиозности, которые звучат как пародии на собственные духовные поиски (“Русская нирвана”, “Инцидент в Настасьино”, “Великая железнодорожная симфония”, “Магистраль”, “Диагностика кармы”, “Афанасий Никитин буги” и т. д.).

Когда Гребенщиков выражает гнев и презрение всерьез — это некрасиво. Особенно пошлым стал его гнев в поздние годы. Взять хотя бы примитивнейший “Собачий вальс” (2015) — насколько плоски, одномерны и по существу неточны все эти обличительные неолиберальные стоны: *“Их мир катится в пропасть // На фоне нашего роста; // Ещё бы сжечь эти книги — // Как все было бы просто. // Собачий Вальс, // Зашторить окна и дверь и не впускать сюда свет”*. Удивительно примитивная риторика, искусственная, навязанная газетами и телевизором морализация, высокомерная безвкусица. Излишне говорить, что это никого не способно ни переубедить, ни поколебать.

Очень часто мы видим противопоставление эротики (“дара любви”) и политики (политической озабоченности). Такова, к примеру, пружина песни “Географическая”, где Беринг узрел Бонапарта в “северо-западном проходе”. Но наиболее выпукло эти приключения отражены в “Московской Октябрьской”, злом гимне концу советской власти, написанном прямо в ходе осенних событий 1993 года. Песня эта сильно отличается от других аналогичных повествований, к примеру, от Шевчука с его “Правдой на правду”, не говоря уже о “харкающих кровью” репортажах защитников расстрелянного Дома Советов.

Гребенщиков однозначен в своем выборе. Он против засевших в Белом доме, он не приемлет амбиций и идеалов советских патриотов, а также Руцкого, Анпилова, Макашова и иже с ними. Однако это не спор идей, это отрицание целых поколений, которые названы в песне “плешивыми стадами”, “детьми полка и внуками саркофага”. *“Я не хотел бы оскорблять ничьих чувств, особенно чувств пенсионеров... — кротким задумчивым голоском, слегка потупив взор, объяснялся Гребенщиков во время презентации песни на телепередаче Д. Диброва. — Но почему-то получается так, что в политики, особенно в России, идут люди очень неудовлетворенные сексуально. Большая часть крови льется потому, что у кого-то в детстве, в юности, в зрелости что-то не получилось, и их мало любили женщины или мужчины, кого как. (...) У них злость на все человечество, что ему или ей не досталось. Где бы взять нормальных людей, чтобы они нами управляли?”* Дальше звучал ехидный хохот Диброва и самого Гребенщикова. Потом все это издевательство с летающими “голыми бабами” усугубляется в клипе, в котором революционные массы 1917 года изображаются как саранча и термиты, а их наследники в дни госпереворота 1993 года — как воинственные скелеты. Однако будь Гребенщиков не в 1993-м, а в 1917 году — он так же по умолчанию поддержал бы победителей тогда, как он поддержал их сейчас. И в том, и в другом случае это означало разрушение России...

Но откуда взялось это “мудрое” психоаналитическое обличение политиков? Это идеи Вильгельма Райха о том, что фашизм, национализм и традиционализм связаны с подавлением сексуальной энергии, осуществляемым авторитарной семьей и церковью (в советском случае на месте церкви, конечно же, оказывается “тоталитарное государство”). Неофрейдисты, такие как Норман Браун, Вильгельм Райх, Герберт Маркузе и прочие авторитеты контркультурной революции 1968 года, обещали, что наш мир, когда произойдет “сексуальная революция”, волшебным образом превратится в социум, основанный на любви. Этот пункт — не что иное, как пуповина контркультуры, из нее выросли и хиппи, и рок-н-ролл, и наркотическое безумие конца XX века. Таковы источки “глубочайшей мудрости” Бориса Борисовича Гребенщикова. Этот псевдонаучный бред и стал руководством к действию для открытия “дверей подсознания”, пропаганды “свободной любви”, полного отрицания того, что называется целомудрием.

Чтобы поставить точку в вопросе об однозначном выборе нашего “аполитичного” певца любви — отметим, что в 1996 году он не отказался от участия в ельцинской президентской кампании “Голосуй или проиграешь”.

“ЭТО ПЕПЕЛ ИМПЕРИЙ”

Неоднократно повторяя перестроечные мантры про ужасы сталинизма, рок-певец не рассказывает о том факте, что его дед, начальник управления Балттехфлота Александр Сергеевич Гребенщиков, именем которого названо одно из тихоокеанских судов, сделал свою карьеру в госбезопасности. В 1932 году он получил знак почетного работника ВЧК — ОГПУ, а в 1938 — орден Красного Знамени. Как раз в 1937-38 годах он в званиях старшего

лейтенанта и капитана был начальником мурманского окружного отдела НКВД*. Вероятно, друзья и сослуживцы деда могли бы просветить Бориса по поводу ужасов тоталитарной системы гораздо лучше, чем “Огонек” Коротича и прочие перестроечные издания. К сожалению, воспитанием его в основном занималась мать, которая пронесла через всю жизнь страх перед большим террором, хотя сама от него и не пострадала, но свое настроение сыну передала.

Поздний Гребенщиков приоткрывает то, каким видится ему собственная роль в истории. *“Но тяжелое время сомнений пришло и ушло, // Рука славы сгорела, и пепел рассыпан, и смесь // Вылита”* (“Тайный Узбек”, 2010). Образ руки славы, отрезанной кисти висельника, магического инструмента воров, с помощью которого они усыпляют бдительность обкрадываемых хозяев дома – проливает свет на многое. Да, “Аквариум” тоже усыплял бдительность великой страны. Это был не спор, не гнев, не переубеждение, а скорее седативный (успокаивающий, обезболивающий) эффект воздействия психоделического рока на население в преддверии шокотерапии. Мама Бориса в уже цитированных мемуарах приводит одну из надписей в подъезде их дома, которая ей особенно понравилась: “Советская урла, ты еще поймешь, как тебя на..ал Гребенщиков своей философией!”

Однако, в сущности, никакого фундаментального различия между СССР и исторической Россией в картине мира “Аквариума” нет. Поэтому ненависть к советскому незаметно переходит в русофобию, и наоборот. Это ненависть не только к эпохе железного занавеса и брежневского застоя, а к гораздо более продолжительным реалиям: *“На много сотен лет – темная вода”*. *“Мы знаем, что машина вконец неисправна. // Мы знаем, что дороги нет и не была здесь никогда”*.

Отсюда не просто высокомерие, но порою и глумление над “большим народом”, носителем большой культуры, которая в России всегда имперская, государственническая. Эти мотивы звучат в таких программных вещах, как “Царь сна”, где под образом Рамзеса IV скрывается обитатель мавзолея на Красной площади, или как “Юрьев день”, песня, адресованная чему-то вроде русской соборной души, – в мифологии Даниила Андреева эта сущность называлась бы Навной. Интересно, что в последнем случае выстраивается связка с “недобрыми песнями” начала 80-х – на этот раз под прицел иронизатора попадает уже не кто-то из встретившихся людей, но высшая женская ипостась России. Печально то, что и здесь, воспевая Россию, пусть и неоднозначно, Гребенщиков все еще следует в фарватере Дилана, повторяя многие его мотивы из песни “It Ain’t Me, Babe”. Оттуда же взята и парадоксальная мысль: когда наступит катастрофа и большая беда – *“Я вспомню тех, кто красивей тебя, // Умнее тебя, лучше тебя; // Но кто из них шел по битым стеклам // Так же грациозно, как ты?”* Здесь смешивается злорадство и сострадание, странная смесь! Эти битые и резаные стекла тоже дилановские. И скорее всего Гребенщиков даже не догадывается, что такие слова могли бы быть спеты про святую праведную Иулианию Лазаревскую, ходившую в сапогах на босу ногу, подкладывая в них битые черепки и скорлупу орехов. Такая ассоциация могла бы и спасти эту песню.

Еще один яркий пример холодного отстранения от родины – уже упоминавшаяся песня “Ей не нравится то, что принимаю я...”. Если сравнивать ранние (1994) и поздние версии, видно, как постепенно камуфлирует Гребенщиков свою русофобию. Там у него были и “спиленные приклады”, которыми сироты вытирают слезу, и хамоватая формула “ее ноги как радуга в небе кончаются там, где звезда”. Но в итоге – лишь холодная внутренняя отстраненность от России: *“Ей нравится пожар Карфагена, нравится запах огня. // Но ей не нравится то, что принимаю я”*. Что принимает Гребенщиков и что неприемлемо для русской культуры – мы уже разбирали. Но в 90-е и в нулевые годы, когда, казалось бы, и контркультурная, и сексуально-порнократическая, и нарко-психоделическая революции у нас победили – он все еще чем-то недоволен: *“Был бы я весел, если бы не ты – // Если бы не ты, моя родина-мать”, “Моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей”, “Отечество щедро на причины сойти с ума”* и т. д. и т. п.

* Кадровый состав органов государственной безопасности // https://nkvd.memo.ru/index.php/Гребенщиков_Александр_Сергеевич.

Что касается православия – Гребенщиков действует более тонко. Он уже давно, с конца 80-х годов прекратил попытки своего воцерковления (наиболее серьезными эти попытки были, возможно, в начале 80-х) и предпочел буддизм. Однако заигрывание с православием, постоянная работа с библейским и евангельским образным рядом для него крайне важны. Нужно занимать **позицию между**, чтобы быть услышанным, быть воспринятым, продолжать игру.

Тем не менее, постепенно он нагнетает мотивы презрительного отношения к православной массе, ключевое слово здесь “стадо”: “А все равно Владимир гонит стадо к реке, // А стаду все одно, его съели с говном”, “Как по райскому саду ходят злые стада”, “Только стыдно всем стадом прямо в царство Отца...”, “Но в воскресенье утром нам опять идти в стаю, // И нас благословят размножаться во мгле”. Так есть ли принципиальное отличие “православных стад” от советского “плешивого стада”, оскорбленно-го рок-кумиром в 1993 году?

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

Вызов в адрес православных обычно сопряжен с их поддразниванием, с отрицанием их полноценности: “Хэй, кто-нибудь помнит, кто висит на кресте? // Праведников колбасит, как братву на кислоте...”, “А голос лапши звучит, как звон; // Голос лапши жжет горячечный бред. // Волхвам никогда не войти в этот загон. // Но закон есть закон...”. Очевидно, речь здесь идет не о рождественских волхвах, а о каких-то новых. Не о тех ли, которые в песне “Государыня” собираются проверить, “каково с кислотой”?

В своих интервью Гребенщиков часто шарахается из крайности в крайность. Иногда он православный: “Нужно оставаться в той религии, которая слилась с энергией земли, в которой мы родились. А потом, если будет возможность, изучать другие религиозные культуры. Я православный человек” (газета “Премьер – новости за неделю”, 2009). Иногда нет: “Меня мои православные основы привели за ручку к Ваджраяне и передали с рук на руки, как ребенка. “Он хороший, но возьмите-ка его, потому что похоже, что он ваш”. Я продолжаю испытывать глубочайшую любовь к православию, но знаю, что это не та система, которая может мне позволить выразить себя целиком. (...) Если человек занимается чем-то и при этом способен быть и светлым, и добрым, и энергичным, отчего всем вокруг него светло и хорошо, значит, эта практика работает, как бы она ни называлась, – хоть Вуду” (“Путь к себе”, 1994). Здесь мы видим довольно распространённую сегодня “потребительскую духовность”, когда критерием выступает человек с его самомнением и оценивает духовные “товары” по их потребительским качествам.

Весьма откровенно высказался Гребенщиков в интервью с кричащим названием “Большинство населения должно быть неграмотным!” (“Новый студент”, 2008). В нем он убежденно заявил, что ученики Христа не поняли Его учения: они “по слухам, имели сорок дней эксклюзивного факультатива, но я бы вообще хотел увидеть плоды этого факультатива. Потому что они язычников сбивали с небес, но знаете, для этого можно камень достать и так же сбить, для этого большая вера не нужна. И то, что они на языках говорили. И то, что тот парень, который деньги им не до конца отдал в общину, упал мертвый вместе с женой... Конечно, замечательные вещи. Только какое отношение они к Христу имеют, не очень понятно”. Здесь речь зашла об Анании и Сапфире и о Симоне Волхве, персонажах новозаветных “Деяний”, поплатившихся жизнью за свои кощунства и противления Богу (но нужно быть точнее: Симон погиб не потому, что его “сбили” во время левитации, а потому, что он приказал закопать себя заживо и через три дня выкопать – в соревновании с Христом, воскресшим на третий день; этот эксперимент волхва окончился неудачно).

В своих духовных страданиях Гребенщиков, несмотря на всю продвинутость и современность, остался советским “богоискателем”, остановившимся на тезисе, который кажется ему неоспоримым: дескать, религии только разделяют людей, тогда как Бог их соединяет. Очень спорный тезис. Почему, собственно, истинная вера должна всех соединять? Как раз Христос сказал, что принес “не мир, но меч”. А вот в неразличимую серую массу ложной духовности людей может собрать как раз Антихрист, Противобог, мастер иллюзий и пиара.

Гребенщиков умудряется до сих пор балансировать на тонкой грани между православием и духовным номадизмом. Его приглашали выступить с концертом в Московской духовной академии (там, видимо, есть его поклонники), и он выступил. Но в ответах на вопросы был зажат, скован, несмотря на благостную улыбку. Так же зажат, насторожен он был в свое время на одном из первых своих телевыступлений — на “Музыкальном ринге” 1986 года. Когда синодальный хор Московского Патриархата исполнил ораторию “7 песен о Боге”, состоящую из его творений, — Гребенщиков опять же отвечал очень скользко-уклончиво, полностью открещивался от участия в проекте и сводил все к либеральным штампам: “каждый все видит по-своему, и каждый имеет право на свою интерпретацию чужих песен; я не имею права судить”. Видимо, недаром рок-критик Артемий Троицкий, очень хорошо лично знающий Бориса Борисыча, назвал его “чемпионом мира по лукавству”. Лукавство, увертливость, хитрость, способность в разных аудиториях и с разными людьми менять окраску, подобно хамелеону, — это тоже талант. Но, так или иначе, Гребенщиков таит в себе нечто чуждое той культуре, в которой он волею судеб вынужден работать (в другой бы и хотел, да не может, востребован он только в России). Отсюда максима: “Мне не вытравить из себя чужака...”

БЕЛАЯ ДАМА И “МАЛАЯ ТРАДИЦИЯ”

Идеи “Белой Богини” Грейвза и западных постмодернистов, которые всячески поддерживали феминизм и феминистскую критику (в том числе деконструкцию “мужской цивилизации”) помогли Гребенщикову сформулировать одно из своих кредо — стать новым пророком Вечной Женственности, повторяя отчасти опыты В. Соловьева и русских символистов. В конце 80-х на волне успеха Гребенщиков повсюду говорит о новом женском веке, в том числе когда попадает на телевидение, радио и т. д. В интервью для “Программы “А” он увязывает тему пробуждения ритма с “открытием нижних чакр” и пророчествует, что такую культуру “Россия ждёт с нетерпением уже много сотен лет. В первую очередь проснутся женщины, потому что женщины слушают музыку телом”.

Это было не что иное, как заявка на магическую технологию, впрочем, уже давно открытую на Западе (ведь джаз, ритм-н-блюз и ранний рок-н-ролл как раз били ниже пояса и стали музыкой преимущественно девочек-подростков, которым нравилось под нее “беситься”). По сравнению с Чаком Берри и Элвисом Пресли музыка “Аквариума” слишком уж инертна и невыразительна, чтобы претендовать на что-то хотя бы отдаленно напоминающее музыкальную революцию конца 50-х годов. Максимум, что они смогли создать — банальные рок-н-роллы вроде “Она может двигать собой” (попытка вызвать резонанс между радужной квази-религией феминизма и зеленым культом экологизма).

Гребенщиков, конечно, не мог не осознавать своего бессилия как творец музыкального стиля, и он продолжил прокладывать то же феминистско-мистико-эротическое русло на уровне смысловых посылов и символов своих песен. 90% его поклонниц (да и поклонников тоже) упорно не хотели воспринимать женские образы в текстах “Аквариума” как какую-то мистику и апелляцию к древним богиням. Но как раз хитрость метода и состояла в том, что песни о Белой Даме всегда могли интерпретироваться как привычная идеализация поэтом своей влюбленности в обычную земную даму. И Борис всегда подыгрывал этой амбивалентности.

У позднего Гребенщикова его стремление оставаться в тренде породило и такие забавные мотивы, как поддержка развернувшегося на Западе движения #MeToo, знаменующего новый этап развития феминизма и программы “нулевого роста” белого постхристианского населения. Песня “Бой-баба” (2018) вызвана не чем иным, как казусом Харви Вайнштейна, продюсера, на которого вдруг посыпались многочисленные обвинения от голливудских актрис — “подстилок”, ранее почему-то отмалчивавшихся. Однако Гребенщиков, чуя конъюнктуру, воспекает величие восставшей против домогательств женщины и доводит свою феминистскую линию до гротеска: “Мужчинам могут доверить функцию прораба, // Но движением материи правит бой-баба”.

Но из оставшихся 10% поклонниц, которые вчитывались в тексты, произошел целый ряд филологических работ об “Аквариуме”, и там они довольно по-

дробно разобрали и “Белую Богиню”, и коллизию христианства и гностицизма. К примеру, Ольга Сущинская создавала апологетические работы по поводу мотивов альбома “Лилит” (опубликованную на сайте planetaaquarium.com), а Екатерина Дайс дала изощренную и язвительную трактовку “малой традиции” в русском роке, к которой она отнесла помимо Гребенщикова также Майка Науменко, группы “Наутилус Помпилиус”, “Алиса”, “Центр” (Екатерина Дайс. Поиски Софии в русском роке: Майк и БГ // Нева, 8, 2007). Добротный разбор неоднозначности темы “Белой Богини” сделала Ольга Никитина (Никитина О. Э. Белая Богиня Бориса Гребенщикова // Русская рок-поэзия. Текст и контекст, 5, . Тверь, 2001).

Все-таки Россия все еще страна интеллектуалов. И в сущности, эти работы, как и ряд других исследований, избавляют меня от необходимости пускаться в длительные реконструкции. Многие “ребусы” Гребенщикова ими разгаданы и даже истолкованы в нескольких противоположных смыслах. Мой вывод достаточно прост: в отличие от Науменко, Кормильцева и Кинчева Гребенщиков в полной мере может быть назван лжепророком “малой традиции”, то есть одним из главных ее манифестантов в России. Термин “малая традиция”, предложенный Е. Дайс, крайне удачен. Он, с одной стороны, отсылает нас к тому, что О. Кошен в применении к Французской революции называл “малым народом”, а с другой стороны, не тождественен этому слегка дискредитированному в полемике вокруг книг И. Шафаревича термину. (Критики Шафаревича усмотрели в этом понятии антисемитизм, хотя Шафаревич не был виноват в том, что многие персонажи “малого народа” как в революции 1917 года, так и в эпоху перестройки и разрушения СССР ассоциируются с еврейством. Что касается “малого народа” у Кошена – то там всё чисто, и о евреях практически ничего не говорится.)

Гребенщиков в полной мере принадлежит и к “малой традиции”, и к “малому народу” (по Кошену). Он бесконечно имитирует свою глубинную связь с большой традицией, демонстрирует почтение к величию русского духа и культуры – однако, как только этот дух начинает хоть как-то проявлять себя и хоть в чем-то отвоевывать утраченное в ходе катастрофы 90-х годов, это объявляется скверной. В этом типичнейший признак антисистемы и паразитической “малой традиции” как ее части.

Процитируем Е. Дайс: *“Ключевым элементом, связующим тексты малой традиции, является образ Лилит – царицы Савской – Марии Магдалины – Черной Деи – гностической Софии – Елены (спутницы Симона Мага), в символическом смысле превращающийся в Ковчег Завета – Чашу Грааля – Золотое Руно – Философский Камень”*. Сравнивая образ “Навигатора” у Гребенщикова и мотивы Каина и Авеля у Кормильцева (“Наутилус Помпилиус”), Дайс справедливо отмечает у рокеров *“проявление манихейского сознания, характерного для представителей малой культурной традиции, когда хорошие объявляются только свои убийцы”*.

Гребенщikovская Лилит не слишком похожа на тот образ, который нарисован в основном источнике сведений о ней – иудейском трактате “Алфавит Бен-Сиры”. В образе Лилит Гребенщикова заметно явное сходство с сочинениями Алистера Кроули, главы “Ордена Восточных Тамплиеров”. В учении Кроули о Телеме нет различения между волей Бога, человека и дьявола, человек понимается как ипостась Бога, а дьявола – вообще нет. Верховным Божеством в кроулианстве является богиня Нюит, символ бесконечно расширяющейся вселенной. Под нею располагаются несколько мужских божественных сущностей (Хадит, Гор, Гарпократ), есть в пантеоне Телемы и другие божества, в том числе соответствующие Вавилонской Блуднице и восседающему на ней Зверю из Апокалипсиса. При желании в песнях Гребенщикова можно найти многое из этой мифологии, которую он, безусловно, с большим интересом изучал. Но для нас важна здесь именно Нюит.

Она представляет собой высшую форму женственности и символ “небесного эротизма” и оказывается тесно связанной с гностическими Барбелло и Пистис-Софией, индуистской Шакти, иудейской Шехиной и т. д. Кроули попытался создать продуктивный и убедительный синтез из различных еретических, герметических и гностических учений, увязывая мифы в новый узел. Влияние Кроули на рок-музыку, контркультурную мысль (в частности, любимого Гребенщikovым Дэвида Боуи, а также Дэвида Тибета, Пи-Ориджа и др.) весьма велико.

Прототипом Нюит является древнеегипетская богиня неба Нут — единственный случай в мировой мифологии, где небо символизировано женским божеством*. В орфических культах была богиня ночи Нюкта (Никта), и это прямая параллель учению Кроули. Предположение, что Гребенщиков является телемитом, косвенно подтверждается тем, что его гнозис несет в себе черты неизбывного оптимизма. Это очень роднит его с Кроули и делает непохожим на большинство гностиков, полагающих, что мир является плодом какого-то сбоя, ошибки Творца. Впрочем, мотивы “тюрьмы”, “клетки” тела и крови, отделенности от истинного дома, куда предстоит вернуться — все это чисто гностические мотивы.

Кроулинская трактовка Вечной Женственности как основы мира и бытия весьма близка Роберту Грейвзу в его реконструкции древних культов “Белой Богини”. Грейвз в своем труде (Robert Graves. The White Goddess. — Faber and Faber, 1961) считал, что эти культы процветали в Элевсине, Коринфе и Самосфракии, а после христианского “погрома” — им обучались в поэтических школах Ирландии и Уэльса и на шабашах ведьм в Западной Европе. Суть этой мифологии — поэзия как искусство медиумов (вдохновенных), однако не теряющих чувство самосознания в своих трансax. Для них Великая Лунная Богиня ведьм, ассоциирующаяся с Гекатой, это муза, и у каждого поэта есть двойник-соперник, его второе “Я”, так называемый “бог Убывающего Года”. (В песнях “Аквариума”, как читатель, наверное, уже догадался, — это зеркальный двойник.) Грейвз всячески подчеркивал, что для поэта земная женщина — это всегда временная “стоянка” Лунной Госпожи, сама же Богиня — “всегда “другая женщина”, и играть ее роль более нескольких лет мало кто в силах”.

Грейвз не просто разворачивает мифологию “подлинной поэзии”, но и подвергает радикальной ревизии иудаизм и христианство. Например, он утверждает, что в первоначальном мифе вместо Иеговы была Мать Всего Сущего, она-то и изгнала Адама из рая. Змей же — это не кто иной, как двойник-соперник Адама, его близнец, с которым они борются за благосклонность Богини. Этим двум соперникам соответствовали образы Барана и Козла, но в позднейших иудейских источниках они были табуированы, а козел так вообще демонизирован. Древняя мифология, которую пытается восстановить Грейвз, называлась в раннем Средневековье “аркейской ересью” и представляла собой версию древних кельтских преданий**. Что же касается христианства, то аркейская ересь выступила преемницей ереси офитов (змеепоклонников), считающих Мессию-Слово самозванцем.

Что же в итоге делает Гребенщиков? В своих песнях, пронизанных темой Белой Богини, он, как правило, совмещает несколько мифологических плоскостей, склеивая детали из Телемы Кроули, аркейской ереси Грейвза, ряда гностических и древнееврейских легенд, а также безбрежной литературы о мифах народов мира. Христианская канва у него не единственная — но она, как правило, служит базовой плоскостью, на которую проецируются все остальные фигуры. Отсюда возникает эффект “смешивания”, соединения несоместимого — и данный эффект для рок-экспериментатора представляет собой **“высший пилотаж” в создании ребусов и шарад**. Но, как я писал в начале, остается под большим вопросом, какую пользу и мораль способен извлечь из этих мифологических шарад тот, кто их разгадывает.

Приведу ряд примеров. В альбоме “Лилит” песня “Тень” эксплуатирует мотивы предательства Христа Иудой — но, в сущности, она благодаря спроецированным на данный сюжет иным мифам выводит нас прочь из христианства. Если это и взгляд на евангельские события — то с точки зрения нехристианских традиций, а именно: обмен “местью” со стороны Адама и Змея (Христа как “Нового Адама” и Иуды как “нового Самаэля”). Замечу, что этот

* Мирча Элиаде в “Очерках сравнительного религиоведения” сводит эту особенность к языковой, однако это неправдоподобно, хотя бы потому, что в Египте была еще и богиня Мут — а это означает, что женская манифестация Неба для древнеегипетской религии концептуальна. (Не исключено, что здесь сохранилось наследие той традиции, которую принято связывать с Атлантидой, допотопным человечеством.)

** Кельты, в отличие от большинства других народов, верили в западный рай, землю блаженных, что породило у многих средневековых авторов путаницу в идентификации месторасположения Гипербореи, а также смешение мифов о Гиперборее и Атлантиде (это смешение дошло до XX века и проявилось, к примеру, в концепциях Германа Вирта, первого руководителя “Анненербе”).

циклический процесс борьбы вокруг “Белой Дамы” уже хорошо разработан в масонской традиции (“Легенда об Адонираме”), в которой в качестве представительницы Богини выступает Царица Савская, а в качестве соперников – царь Соломон и мастер Хирам (прототип всех масонов и тамплиеров). Финал этой песни: “А где-то ключ повернулся в замке, / Где-то открылась дверь...” – самое настоящее гностическое пробуждение, подобное финалам نابковского “Приглашения на казнь” или майринковского “Зеленого лика”.

Другой пример, еще более обостренный – песня “День первый”, которую на первый взгляд можно было бы принять за сюжет взаимоотношений Христа и Богоматери, однако на поверку на эту плоскость наслоены еще Таммуз и Иштар, Исида и Осирис, Лилит и Адам – и все эти слои напоминают каббалистические половые диады. Но за каждой парой маячит еще и третий, бог-антагонист.

Думаю, что читателю уже понятно, стоит ли тратить время на расшифровку этих шарад и загадок. Из всех этих головоломок можно извлечь, в сущности, одну и ту же хорошо известную нам от масонов и “научных атеистов” мысль: мифы и религии построены по единой схеме и представляют собой версии и вариации некоего первоначального мифа, для которого и иудаизм, и христианство, и ислам – лишь блеклые и слабые подобию. Возможно, исключение Гребенщиков сделал бы для буддизма по той причине, что там в принципе нет богов, а вся духовная наука сосредоточена вокруг техники работы над собой и приближения к пустоте (нирване).

ИГРЫ С ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ

Однако и буддизм, в частности учение о перерождении душ, использует Гребенщиковым в его коллажах. Ведь что такое перерождения – по сути это не что иное, как странствия носителей архетипов по разным культурам. Иными словами, мифологические пары и триады бесконечно встречаются в своих новых перерождениях, пока им это не надоест или они не сумеют освободиться от тяжелой кармы прошлого. Эта фэнтезийная мысль прямо высказана в песне “Мальчик Золотое Кольцо” (2000): “Тебя распыл в кладовых Эрмитажа, меня, как всегда, на Рю Сен-Дени // Армагеддон дот ком – лицом в монитор, как лицом к стене. // Хей, хей, хей, хей, хей, увидимся на той стороне...” Обращает на себя внимание девальвация здесь понятия “распятие”.

Падшие ангелы, “сыны Божии” из Книги Еноха, обитатели высших миров, пришедшие в наш мир и не сумевшие удержать высокий дух – еще один сюжет, очень близкий кроулианству и черно-магическому культу. Уже в песне “Никита Рязанский” (1991) Гребенщиков играет с темой Софии, русской легендой о граде Китеже и гностической символикой ухода небесных существ под воду: “Прими, Господи, этот хлеб и вино, // Смотри, Господи, – вот мы уходим на дно; // Научи нас дышать под водой”. В поздней композиции “Stella Maris” это уже другая игра: демонические существа, падшие ангелы, став на путь “обратной эволюции”, ушли в океан и молятся оттуда то ли Богоматери, то ли Лунной Богине: “Раньше у нас были крылья, но мы ушли в воду // И наше дыхание стало прибой. // Только ночью, когда небо становится выше // И неосторожному сердцу // Хочется вверх – // Напомни о нас Той, что слышит: // Etoile de la Mer”. Далее в песне звучит на латыни католический гимн Деве Марии, и, казалось бы, это должно избавить от сомнений. Однако, если смотреть на эту вещь не с позиций нормального христианина, а с позиций алхимиков-розенкрейцеров или средневековых катаров, то и сам католический гимн может быть трактован как эзотерический, непонятный простым христианам (“гиликам” гностицизма), но понятный им, избранным, ключ, ведущий к “Звезде Моря”, Сириусу, египетской Изиде, Великой Белой Богине. Подводная жизнь падших существ, монстров пучины становится гностической метафорой всей брэнной земной жизни.

Если перейти здесь от Богородицы, которую Гребенщиков старается не очень трогать, к Сыну Божию, то здесь мы можем увидеть парадоксальную стратегию, которая, в конечном счете, расставляет все по местам. Мы уже не раз могли убедиться, что философия “Аквариума” довольно-таки буквально и даже некритично воспроизводит главные послы западной контркультуры. Многие суперзвезды всерьез примеряли на себя образ Христа и играли с ним (самый яркий пример – Джон Леннон). Масштаб рок-н-рольной и психоде-

лической революции казался им настолько большим, что они ничтоже сумняшея убедили себя в **наступлении конца христианского зона**. В этом смысле для них, героев порогового времени, Христос скорее конкурент, которого нужно “похоронить”. Но для этого нужно стать выше Его, преодолеть Его в себе, превзойти. Контркультура — это стиль Контр-Мессии.

В этом и состоит скрытый пафос “малой традиции”, живущей внутри остаточной христианской цивилизации (конечно же, подорванной решительным наступлением контринициации на Западе в лице капитала, у нас — госатеизма). В интервью 1986 года Гребенщиков говорил: *“Религии мы с детства были лишены. Рок-н-ролл являлся для нас единственной формой жизни духа”*. А двумя годами позже в беседе “рок-дилетанта” он добавит: *“Когда наркотики подвели рок к самому порогу, все начали искать Бога. Все сразу нашли шаманов, Тибет, Шамбалу, гуру — кого угодно. Только потому, что рок-н-ролл будит в человеке дух. Мы многие годы оторваны от корней, лишены связи с корнями, с могучей и вечно живой народной традицией (...) возник такой могучий голод, такая жажда, что люди взвыли волками. Но, вместо того чтобы жрать друг друга, они пошли назад и начали расти снова, используя все подсобные средства...”*

Похоже, что интуиция завершения христианского зона и прихода ему на смену Эры Водолея (Аквариуса), пришла к Гребенщикову довольно рано. Уже в песне “Вавилон” (1981), написанной под влиянием Боба Марли, он задается вопросом: *“Вавилон — это состоянье ума; понял ты, или нет, // Отчего мы жили так странно две тысячи лет?”* Христианские две тысячи лет уподоблены “язычеству” времен вавилонского пленения. В советском контексте, где в этот момент нет ни капитализма, ни сколько-нибудь влиятельного христианства, такие мотивы растаманов звучат странновато. Но очевидно одно: “в этом городе” все мертвые и трудно найти живого. Состояние ума Вавилона христианство не смогло изменить, значит, должно прийти что-то новое, чтобы мы перестали жить “так странно”.

Теперь, возможно, не составит труда объяснить, почему так запанибрата обращался лидер “Аквариума” к “Сыну Человеческому” в песне “Комната, лишенная зеркал”. Он уже в 80-е годы вовсю “играл с терновым венцом”, рассматривая христианство как материал для своих коллажей. В паре Луны как воплощения Белой богини и Солнца как воплощения Христа (символика бардов) он выбрал в качестве покровителя Луну. Да и сам Христос для рок-мистика не является ли аналогом буддистского бодхисатвы, и не более того?

Поэту позволено и переворачивать слова Христа: *“А я не знаю, откуда я, я не знаю, куда я иду”* (“Зимняя роза”, 2003, здесь перевернуты слова из Евангелия от Иоанна (8, 14)), поэтому в той же песне пародируется евхаристия в перевернутом виде (*“они до сих пор пьют твою кровь // И называют её вином”*). Позволено и прямая пародия на евхаристию (“Дело мастера Бо”, 1984 и “Стерегающий баржу”, 1994). Поэтому и Лазарь в “Дарье-Дарье” (1997) свысока обращается к только что воскресившему его Спасителю: *“Я видел это в гробу. // Это не жизнь, это цирк Марabu. // А ты у них фокусник-клоун, лучше двигай со мной!”*

Мы убеждаемся по всем этим примерам, что Гребенщиков охотно, с полной готовностью и даже услужливостью перед контркультурным соцзаказом на переворачивание традиции и профанацию христианства “увяз” в имитации и стал ее яростным проводником: *“Я все равно не сверну, я никогда не сверну // И посмотрим, что произойдет...”* (“Мой друг доктор”, 1997). Это тем более удивительно, что он не мог рассчитывать на большую паству в СССР и России. Но оказалось, что так называемые “аквариумисты” — в массе своей люди, не понимавшие и до сих пор не понимающие, о чем и зачем он поет.

Безусловно, ту огромную энергию, которую затратил создатель “Аквариума” на шифрование и кодирование своего мифа (и ведь нельзя не кодировать столь нигилистическую “малую традицию”!), можно было бы потратить не на постмодернистские игры, а на восстановление настоящей сакральности. Но для этого пришлось бы пробиваться к подлинным символам, к энергии духа и святости, сокрытых в сокровищницах традиции, пробиваться сквозь обманные слои масонских, теософских, неоспиритуалистических подделок, зорко распознавая их.

Однако, похоже, выбор сделан, и пути назад нет, и рок-звезда играет в трансгуманистические имитации традиции, такие как лозунг “Назад к девст-

венности” (“вперед к истокам”). Гребенщиков “выше” поэзии, “выше” русского языка, в котором, оказывается, “недостаточно слов сказать о тебе и сказать обо мне”.

Но быть нудистом или активистом движения “Долой стыд!”, мягко говоря, не то же самое, что восстановить райскую невинность, целостность души, которая была “до осознания наготы”. Райское состояние до стыда и контркультурное бесстыдство – это два полюса, две противоположности.

Образ “мальчика Золотое Кольцо”, продавшего душу любви, мог бы работать как образ Христа, и в этом был бы шанс. Но это не Христос, в песне два распинаемых героя, причем сам “мальчик Золотое Кольцо” распят на улице проституток в Париже. И когда он в мессианском облике придет “вернуть ваше яблоко в сад”, это будет напоминать скорее еще одного контрмессию Джона Леннона, “отца яблок” (лэйбла Apple Records), признававшегося друзьям: “Я – Иисус Христос. Я снова вернулся”^{*}.

Лжемессий должно явиться много, ты не первый и не последний. Но Ангел с мечом, стоящий у дверей Эдема, посмотрев на тебя, ответит, что у тебя в руках уже давно не яблоко, а грызок.

Но закончить свой очерк я хочу на иной ноте, словами Г. В. Свиридова, говорившего: “Я глубоко убежден, что XXI век даст нам расцвет именно песенного искусства, подобно тому, как тысячу лет назад началось после 1000 года, после Крестовых походов искусство трубадуров, труверов, мейстерзингеров, которые составили целую эпоху великого искусства средневекового”.

^{*} Есть более пространное высказывание в газете Evening Standard Леннона, который для Гребенщикова, безусловно, является авторитетом, не меньше Харрисона: “Христианство уйдёт. Оно исчезнет и усохнет. Не хочу об этом спорить; я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство. Иисус был приемлемым, но его последователи были глупы и заурядны. Их искажения погубили для меня христианство”.

ЕВГЕНИЙ НОВИЧИХИН

“Я ВЫБРАЛСЯ В НОВЫЕ СЛОИ ВОЗДУХА И ОБЛАКОВ...”

Письма и автографы Виктора Бокова

Нет пока в нашей стране почётного звания “Народный поэт России”. Если бы оно было, то одним из первых его обладателем, безусловно, стал бы Виктор Фёдорович Боков. Уверен, что никто из коллег по литературе, увенчанных самыми высокими, самыми престижными государственными и литературными наградами, оспаривать бы этого не стал. Да Бокова и безо всякого звания называли Народным. Его песни “На побывку едет молодой моряк”, “Оренбургский пуховый платок”, “Я назову тебя зоренькой” и многие, многие другие произведения принесли поэту такую народную славу, которую никакие почётные звания дать не могут.

С Виктором Боковым я познакомился осенью 1987 года. Традиционные Кольцовско-Никитинские Дни литературы и искусства проходили тогда в Воронеже, не в пример нынешнему времени, очень широко. Именно в 1987-м они были объявлены Всесоюзным литературным праздником. Для их организации и проведения секретариат правления Союза писателей СССР создал Кольцовско-Никитинский комитет, в который вошёл и В. Ф. Боков. На этот праздник поэт и приехал. Мы как-то сразу с ним сдружились, несмотря на небольшую разницу в возрасте. К этому располагала не только непринуждённая обстановка праздника, но и привлекательные для меня человеческие качества Виктора Фёдоровича. Признаться, я люблю людей, которые всегда остаются самими собой. Их не смогут изменить ни взлёты, ни падения. Такого человека я и увидел в Викторе Фёдоровиче. Вероятно, и он во мне нашёл нечто подобное.

Он много и откровенно рассказывал о своей судьбе. Вспоминая о годах, проведённых в лагерях, Боков считал, что эти годы его закалили. Запомнился его рассказ о работе на сплаве леса.

Было это ранней весной. Вода в реке ледяная, а он, некстати, встал на бревно, поскользнулся и упал. Река накрыла его с головой и понесла по бурному течению. Казалось, всё – утонул. Но удалось как-то выбраться. Снял с себя всю одежду, выжал и снова оделся. Еле-еле добрался до зоны и лежал целые сутки в этой же одежде на нарах – сушился. Думал, что пропадёт. Но даже простуды избежал. В этот раз случилось или в какой-то другой, но заходит к нему в камеру охранница Сиблага и гонит на работу. “Огромная бабища”, – так охарактеризовал её Боков в нашем разговоре. “Байрон разрешил мне не выходить”, – сказал ей поэт. “А это кто ещё такой – Байрон

твой?” – удивилась она. “Охранник из соседнего лагеря”, – ответил он. “Взяла она огромный навесной замок, – рассказывал Виктор Федорович, – да как врезала им по моей голове! Долго потом в себя приходиться пришлось!”

Конечно, читали друг другу стихи. Запомнилась боковская “Биография”:

*Жизнь угощала меня шоколадом
и шомполами,
Мёдом и горечью,
Порядочными людьми
и сволочью.
Истиной и заблуждением
И проволочным заграждением!
Это меня тюремный кощей
Держал на порции хлеба и щей —
Выстоял.
Выдержал,
Переварил,
Через такие годы перевалил,
Каких не знала ещё география —
Вот моя биография!*

... Праздник был сравнительно коротким: несколько встреч с читателями в Воронеже, поездка в Рамонь, которая Бокову очень полюбилась... Договорились переписываться, перезваниваться. Обменялись книгами. Я подарил ему вышедший годом раньше сборник литературных пародий “Душа в ремонте”, в котором опубликована и пародия на стихи Виктора Фёдоровича. Книгу вручал ему не без опаски, я уже знал, что некоторые авторы обижаются, прочитав пародию на себя. Правда, не раз и замечал: чем меньше талант, тем больше обид. Боков, увидев в книге пародию “Стихопрогнозы”, откровенно порадовался, назвав мой опус удачным. Тут же подарил мне свою книгу стихов “Стёжки-дорожки” (Москва, Советский писатель, 1985), оставив на ней автограф:

*“Жене Новичихину.
Пародируй, сколько хошь,
Как захочешь,
так и трожь!
Виктор Боков.
6 ноября 87 г.”*

Тогда же, в ноябре, 26-го или 27-го числа, виделись мы в Москве, куда я приехал на заседание секретариата правления Союза писателей России. Но эта встреча была мимолётной. В Воронеж же Боков приехал в очередной раз осенью 1989-го. Он полюбил наши Кольцовско-Никитинские дни. “Пока здоровье позволяет, буду к вам приезжать”, – обещал он.

Провожая Бокова в Москву, я, в ту пору главный редактор журнала “Подъём”, попросил поэта прислать для нас подборку стихов. Ответ не заставил себя ждать:

“Дорогой Женя!

Душа вздохнула свободно – я выполнил обещанное. Это было трудно сделать, надо было брать рукопись новой книги “День за днём” в издательстве, ехать с дачи в Москву, а я бирюк, езжу в Москву крайне редко, жаль времени (столько задумок и дел – не рассказать!)

Я отобрал самое лучшее из новой книги и прошу печатать весь этот цикл. Одно стихотворение – “Воронеж” – я написал сегодня, оно вырвалось, и очень кстати. Думаю, что воронежским читателям это будет по душе, да к тому же это не тема, а моя биография и правда. Воронеж на самом деле сыграл очень большую роль в моём становлении и творческом поведении. Моя народность во многом определена пристрастием к песням Кисляя, к воронежским припевкам. Ведь я ещё до Воронежского хора пел в 1937 году на даче у Всеволода Иванова в Переделкине “Летят утки”, слышали это Конст.

Федин, Ольга Форш, Алексей Югов, Пётр Павленко. Я пел страданья чуть ли не всю ночь, пел воронежские песни в домах Москвы, у профессоров Литинститута. Написал я большую статью “Воронежские песни”, которую очень высоко ценил Андрей Платонов. Статья осталась в рукописи.

Если вы отклоните стихи, сразу сообщите, я заберу, чтобы реализовать.

Ещё одна просьба. Мой близкий друг, поэт-пародист, просил меня послать свои стихи и эпиграммы, чтобы они появились в “Подъёме”. Тебе и карты в руки. Я слышал некоторые эпиграммы, это остро и талантливо. Вяч. Орлов очень нуждается сейчас в помощи. Его отягивает А. Иванов, злодей и гримасник. В. Орлов не улюлюкает на поэтов, а любит их, и это очень важно. А. Иванов ненавидит поэтов, особенно русских. Поддержи, пожалуйста, Вяч. Орлова.

Засим приветы – В. Гордейчеву, В. Панкратову, В. Самойлову. Поездкой в Воронеж я очень доволен, она меня завела на работу. Обнимаю!

Твой кореш, надеюсь, ты это не оспоришь?!

1 ноября 89 г. Виктор Боков.

Переделкино, град писучих людей”.

Цикл стихов Виктора Бокова появился в “Подъёме” в следующем, 1990 году, в 10-м номере. Появился, кажется, не полностью, как просил поэт. Дело в том, что в ту пору, с подачи управления по охране государственных тайн в печати, обком КПСС запрещал нам публиковать иногородних авторов – даже таких именитых, как Боков. Конечно, они у нас появлялись, но с большим трудом и после долгих споров, даже скандалов, с работниками упомянутого управления и обкома. Иногда, чтобы опубликовать такого автора, приходилось идти и на какие-то компромиссы.

Несколько позднее мы опубликовали и сатирические стихи Вячеслава Орлова, о котором просил Виктор Фёдорович.

15 ноября 1989 года мы встречались в Москве. Главная редакция литературно-драматических программ Центрального телевидения организовала в этот день в актовом зале Государственной библиотеки имени В. И. Ленина вечер журнала “Подъём”. Я пригласил для участия в нём членов редколлегии, ряд наших авторов из Воронежа, Липецка, Белгорода, а также из Москвы и Ленинграда. Разумеется, не забыл и о Викторе Фёдоровиче. 3 февраля следующего года вечер этот был довольно подробно показан по телевидению. Видеозапись этой передачи у меня сохранилась. По ней и цитирую я выступление В. Ф. Бокова перед москвичами – читателями “Подъёма”. “Для меня Воронеж, – сказал Виктор Фёдорович, – святое место нашей Родины. Больше полувека тому назад я студентом Литературного института приехал в Воронеж и целый месяц ездил по селам. Я был счастливейшим человеком, потому что в то время в воронежских селах потрясающе пели народные песни, которые я знаю, которые могу спеть – я все их запомнил. Я не видел до этого такой высоты в народном пении – ни у хора Пятницкого, ни у любого другого хора, в том числе и Воронежского. Так удивительно высоко, красиво, прекрасно пели женщины, простые крестьянки! С этих пор я не бросаю этой земли, этого города. Это мой родной город”.

Затем Боков читал стихи. В телевизионную запись вошло только одно: “Все стены у меня в календарях...” Поэт, испытавший нечеловеческие муки в лагерях, уважительно говорит в этом стихотворении о прошлом:

*Ведь, что ни говори, — оно моё,
И я его не выброшу, как мусор!*

Прочитав стихи, Виктор Фёдорович воскликнул: “Давайте помогать Воронежу, давайте помогать “Подъёму”!”.

Следующая наша встреча с Виктором Фёдоровичем состоялась в апреле 1990 года. Воронежское бюро пропаганды художественной литературы, которым руководил тогда поэт Александр Лисняк, решило провести в городском Дворце имени 50-летия Октября большой литературный вечер “О Русь, взмахни крылами!” Пригласили Бокова. Он с радостью откликнулся. Приехал вместе с молодым московским поэтом Юрием Дудиным (ныне тоже покойным). Дудин работал в ту пору в секретариате правления Союза писателей СССР помощником у нашего земляка Егора Исаева (тот был одним из секретарей

правления). По делам службы Юрий частенько наведывался в Воронеж, и здесь у него было немало друзей.

Вести вечер попросили меня. В нём участвовали Боков, Дудин, Лисняк, а также поэты-воронежцы Анатолий Ионкин и Николай Белянский. Вышли мы на сцену — и, что называется, обомлели: огромный зал был переполнен, люди стояли даже во всех проходах. Это было удивительно, потому что никакой афиши вечера бюро пропаганды не выпускало: собрать зрителей нам помогла одна из молодёжных организаций. Естественно, никто не знал о том, что для участия в вечере приехал Боков. Когда я, представляя поэтов, назвал его имя, зал не просто взорвался аплодисментами — он взревел. Все мы читали произведения, посвящённые России, русской природе, русской матери. Не помню, какие именно стихи читал Виктор Фёдорович. Но среди них было, как утверждает Александр Лисняк, живущий ныне в Беларуси (да и я это припоминаю), стихотворение, в котором звучали моё имя, имена самого Лисняка и Ионкина. Рукописный экземпляр этого стихотворения Лисняк забрал с собой. Говорит, что в связи с переездами с квартиры на квартиру боковские строчки до сих пор хранятся в одной из не распакованных ещё связок книг. Мне же вечер больше запомнился тем, что с таким единением выступавших и зала мне не приходилось до этого встречаться. И Боков, конечно, был в центре вечера. Встреча завершилась овацией и дружными возгласами зала: “Слава России!”

Виктор Фёдорович запомнился мне как великолепный мастер обыгрывать слова. Причём не только в стихах, в выступлениях, но и просто в общении. Всевозможные экспромты, каламбуры можно было записывать за ним без конца. Вспоминается, к примеру, как после драматических событий 1991 года, когда проходил чрезвычайный съезд писателей России, он, увидев меня издали, крикнул через весь зал:

— Женя, я люблю тебя путче прежнего!

Во время одной из встреч с ним Виктор Фёдорович передал мне ещё одно своё стихотворение, посвящённое Воронежу. Я немедленно предложил его областной газете “Коммуна”, где оно вскоре и появилось.

Будучи в очередной раз в Москве, мы с Владимиром Григорьевичем Гордейчевым позвонили Бокову и договорились о встрече в редакции “Литературной России”. Здесь я и собирался вручить ему газету со стихами. Но встреча эта не состоялась. Газету пришлось оставить в правлении, где Виктор Фёдорович и забрал её. Вскоре я получил от него письмо.

“5. II. 93.

Дорогой Женя!

Спасибо за газету и публикацию стихов о Воронеже. Я тебе послал (и В. Гордейчеву) новую книгу “Стою на своём” по старому адресу, указанному в книге чл. СП. Не знаю, передадут ли тебе, во всяком случае, справься, второй у меня нет. Книга очень стоящая, там впервые все стихи о Сибири.

Я вас с Володей ждал в “Литроссии” у Аршака Тер-Маркарьяна, но вы не зашли. Я сидел с двумя подписанными для вас книгами. Так хотелось увидеть вас, но увы.

Черти вы!

Я в зените, много пишу, в форме. В газете “Федерация”, № 4 за 1993 г. (или раньше?) напечатал цикл из 13 стихотворений. Если эта газета есть в Воронеже — глянь!

Привет, привет!

Ищи! Книгу!

Твой Виктор Боков”.

Книга стихов “Стою на своём” с автографом В. Бокова не затерялась. Виктор Фёдорович действительно отправил её по моему старому адресу. Но в прежней моей квартире обосновалась семья поэта Георгия Георгиевича Воловика, супруга которого и передала мне бандероль. Дарственная надпись на книге гласит:

“Евг. Новичихину. Да здравствует “Подъём” в мужском и общечеловеческом смысле слова! Виктор Боков.

21. I. 93 г.

Москва.

Черти! Я вас ждал с Володей в “Литроссии” 21. I. 93 г.
Обманули! Vi”.

По поводу нашей несостоявшейся встречи Боков сокрушался и в следующем письме, которое я получил буквально через десяток дней.

“Женек! Милый!

Что же вы с Володей не зашли к Аршаку? А я-то томился, я-то ждал. У меня был карман денег, и я хотел с вами роскошно пообедать. Да вот не сулил Бог. Вот вы Борю Примерова увидели, а меня не захотели. Так я жалел!

Я хотел вам почитать. За два месяца я написал небывалую книгу “В гостях у жаворонка”. Вы бы порадовались, ей-богу. И стихами, и словами, и музыкой, и мыслью, и чисто русской рубахой, в которую вошла, как в обложку, вся книга. Эта книга продолжается и теперь. Вчера написал стихи “Задумка” и посвятил их Володе, а сегодня написал стихи “Пальмы надоели, море утомило...” и посвятил его (так в тексте письма. — Е. Н.) тебе. Живу полной мощью духа и творчества. А сделал я это так — гипнозом внушил себе, что Россия та же, что была, и её враги повергнуты, и территория чиста, и жаворонки русские поют над пашней, и трибуны с болтунами пусты, и графины с водой на заседаниях — пусты, и языки болтунов отсохли.

Я выбрался в новые слои воздуха и облаков, и лазурь моя, как никогда, чиста и вся пронизана вольным полётом стрижей. Бывает, что начинает звенеть голова от непрерывного рождения строк, остановить не могу, единственное спасенье — беру лопату и часа два откидываю снег.

Шлю тебе полосу стихов из газеты “Федерация”. Я стал лауреатом года (первым) и получил премию в 10 000 р. Это не капитал, но угостить вас с Володиёй хватило бы. Эх, вы!

Дай почитать полосу Володе. У меня нет для него, всё раздал.

Засим, Женя! Лобызаю, убегаю на почту, чтобы отправить это письмо.

Помните, что Боков любит Воронеж со студенческих лет.

И если что будет интересное и вы пригласите, я примчусь, как молодой Алексей Кольцов. Привет И. С. Никитину. До безумства люблю “Звёзды гаснут...”, это лучший умиротворённый пейзаж, поднявшийся на уровень молитвы русского пахаря.

Крепко тискаю. Будь.

Твой Виктор Боков.

16 февраля 93 г.

Переделкино”.

Цикл стихов Виктора Фёдоровича в газете “Федерация” (№ 4, 1993 г.), о котором он упоминает в своём письме, занимает всю газетную полосу. Цикл называется “Лёгкой жизни нет”. На полосе есть подпись автора:

“Евгению Новичихину. Виктор Боков. 16. II. 93 г.”

К письму приложен и рукописный текст посвящённого мне стихотворения под названием “Возвращение к себе”. На нём есть надпись автора:

“Женя! С пылу, с жару, прямо с верстака. Тебе моя строка!

16. II. 93 г. В. Б.”

Позднее стихотворение “Возвращение к себе” было опубликовано в сборнике стихов В. Бокова “В гостях у жаворонка”. Интересно, что книга эта вышла в Грозном в 1994 году — прямо накануне чеченской войны. В телефонном разговоре Виктор Фёдорович рассказывал мне: “Это просто удача, что авторские экземпляры дошли до меня. Выйди книга хотя бы днём позднее, вряд ли я подержал бы её в своих руках”. Несмотря на двухтысячный тираж сборника, после чеченских событий он, я думаю, стал поистине раритетным.

Между присланным мне рукописным вариантом стихотворения и тем, который опубликован в книге, есть существенная разница. Во-первых (видимо, в результате просмотра корректора), в четвёртой строфе вместо слова “потокую” напечатано “потолкую”. Речь идёт о тетереве, который “Окликнет, вы-

гнув брови: / – Иди-ко, гость столичный, / Потокуем, что ли?!” Внимательный читатель эту опечатку, конечно, заметит. Но самое главное, в книжном варианте исчезла целая строфа – последняя (вероятно, этого требовали условия вёрстки сборника, его формат). Вот она:

*Идёшь, поёшь, ликуешь,
Откинут ворот влево.
А ты зачем кукуешь?
Пушкай услышит дева!*

На 27-й странице книги, на которой напечатано стихотворение, Виктор Фёдорович сделал дарственную приписку в виде четверостишия:

*Ты живёшь в скиту Никитина,
За тобой стоит Воронеж.
Музыка твоя испытана.
Ноты эти не уронишь!*

Под четверостишием стоит дата и подпись:

23. XI. 94 г. Виктор Боков.

На предыдущей странице книги опубликовано и стихотворение “Задумка”, посвящённое Владимиру Гордейчеву.

Но я немного забежал вперёд – возвращусь к письмам Виктора Фёдоровича. В начале 1994 года я отправил ему своё послание, приложив к нему только что вышедший библиографический указатель литературы, посвящённый моему творчеству. Указатель открывается небольшим очерком, написанным А. М. Аббасовым. В издании опубликовано и стихотворение В. Бокова “Возвращение к себе”. Имя Бокова упомянуто также в именном указателе – в связи с публикациями моей пародии. На этот мой “сувенир” Боков откликнулся, как всегда, быстро.

“26. 3. 94 г.

Я очень рад твоему подарку. Сразу стал читать, написан очерк хорошо – ясно, толково, нерастянато. Просмотрел библиографию, ну, и перелопатил ты зерна из своих сусеков – тонны тонн! Молодец! Дремать нельзя! Ум и душа должны, как провод, нести свою энергию и светить людям. Очень мило, что ты и меня включил в свою книжицу. Спасибо! Я не знал, что ты писал для детей. Хотел бы прочесть, ибо и сам я издал детскую книжку “Про тех, кто летает” в Детгизе. К сожалению, всё раздарил, а в магазинах нет, хотя тираж был 300 000. Две книжки детских лежат без движения. “Селезень да утка, да тёлка Анютка” была в типографии, да вот не вышла. Я сейчас много работаю, написана новая книга, жду выхода новой книги “В гостях у жаворонка”, книга будет печататься в Грозном. Посылаю тебе небольшую книжицу “Около дома”, она вся из новых стихов. Вот пока и всё. Всяческих тебе попутных ветров, машин, изданий, начинаний, встреч.

Привет В. Гордейчеву.

Виктор Боков.

P. S. :

Женя! Передай Вале Лутковой моё соболезнование. Генка, не спросясь меня, откинул копыта. Остаётся погоревать. Вроде бы парень был крепкий. Впрочем, ещё Пушкин заметил: “Цвёл юноша ввечер, а нонче умер...” У нас в Переделкине столько поумирало: А. Чаковский, Ю. Воронов и т. д. Столбик большой.

Ты пишешь, что хотел бы повидаться. В чём же дело? Садись в поезд, приезжай в Переделкино, ко мне, и повидайся – за чаем, за сахаром, за блинами. Я тебе и в балалайку сыграю, сыграю и в гармошку, и стихов прочитаю новых, и по городку походим.

Не смог я приехать в Воронеж, а как рвался, как хотелось увидеть всех вас, на баб-с посмотреть, послушать пение, спеть самому.

Частушка:

*Не женитесь-ко, робята,
До годов до сорока.
Я женился, взял без титек.
И сижу без молока!*

Обнимаю! Виктор Боков”.

“Книжица” “Около дома”, о которой говорится в письме, — это восьмистраничный рекламный выпуск стихов Бокова. На обложке с портретом автора — его автограф:

*“Евгению Новичихину, доброму молодцу, несущему улыбку стиха, воронежскому соловью — от московского Соловья-Разбойника Виктора Бокова.
Почеломкались, Женя, и в путь! Vi”.*

На последней странице сборника его рукой начертано: “(см. об)”. Так Виктор Фёдорович хотел обратить моё внимание на публикацию дарственных надписей, оставленных ему Борисом Пастернаком. Книга “Около дома” вышла таким маленьким тиражом (повторяю, это было рекламное издание), что, на мой взгляд, стоит привести здесь тексты автографов Б. Пастернака. Первый оставлен на книге “Земной простор” (Москва, “Советский писатель”, 1945):

*“Дорогому Виктору Фёдоровичу Бокову.
Меня всегда радует ясно выступающая очевидность Вашего дарования.
Причём Ваш талант именно того рода, какой по ежедневным уверениям кругом сейчас так требуется.
Борис Пастернак.
28 ноября 1955 г.
Переделкино”.*

Думаю, что “очевидность дарования”, о которой написал Пастернак, — это пронзительная народность творчества Бокова. Она была присуща его стихам с самых первых творческих шагов.

Второй автограф — на однотомнике Бориса Пастернака “Стихотворения” (Ленинград, “Художественная литература”, 1935):

*“Виктору Бокову, любимцу моему, горячему, живому поэту, в непрестанном действии, завидном, счастливом...
Борис Пастернак.
19 августа 1956 г.
Переделкино”.*

Следующая наша встреча с Виктором Фёдоровичем состоялась только в середине июня 1994-го. В Москве проходил IX съезд писателей России. В его заседаниях участвовало, как мне помнится, немало воронежцев — кто в качестве делегатов, кто в качестве гостей. Боков сам разыскал нас и изъявил желание сфотографироваться на память. “Вы же для меня — родные!” — сказал он. Подозвал знаменитого фотомастера Николая Кочнева (тот практически всю творческую жизнь специализировался на фотографировании писателей) и попросил сделать снимок. Вышли на улицу, и Кочнев нас сфотографировал. Своё обещание прислать снимки в Воронеж мастер выполнил, этот снимок хранится у меня, как ценная реликвия. Вместе с Виктором Фёдоровичем на нём запечатлены Владимир Гордейчев, Иван Евсеенко, Александр Голубев, Николай Белянский и я.

После этого я несколько лет бывал в Москве лишь “наскоками”. В конце 1995-го я выпустил сборник избранных переводов “Берега”. И решил выслать книгу Виктору Фёдоровичу. Вскоре получил от него письмо.

*“31 янв. 96 г.
Милый Женя!
Спасибо тебе за книгу “Берега”. Я и не знал, что ты переводишь. А ты ещё и лауреат, я рад. Я оценил обложку, очень хорошо, что чёрная, и хорошо,*

что — и спереди, и сзади — обложка. Рефрен. Платьце простое, а милое. Голь на выдумки!

Просмотрел, почитал. Это серьёзно. Где-то и у меня лежит книга моих переводов (5 листов), искал, не нашёл, хотел издать. Переводы — что ты сам, как бы ты ни старался быть другим! Бумажка подкачала и печать, но дело сделано. И всё тут! Прочту все.

Я сдал в “Современный писатель” книгу лирики, 9 листов. Нашёл спонсора. Обещают издать быстро. “Боковская осень” — так называется эта книга. Много работаю, пишется, смело и бесстрашно. Хрен бы с ним, что бы за это ни было!

Очень грущу по Володе Гордейчеву, жаль, жаль. Ведь я вашенский, воронежский с 1937 года, со времени поездки в Кисляй, к бабам. Полюбил эту землю навсегда. За песни, за красоту баб-с, за энергию воронежских мужиков.

Будь здоров. Обнимаю.

Твой Виктор Боков.

Спасибо!”

В дальнейшем в Москве мне приходилось бывать довольно часто, особенно начиная с конца 1997 года, когда я стал руководителем комитета по культуре администрации Воронежской области. Для переписки времени, прямо скажем, не оставалось, а вот в министерство культуры приходилось заглядывать нередко. В этот период я несколько раз приезжал к Бокову в Переделкино, на дачу. “Здесь мне сама природа сочинять стихи помогает”, — говорил Виктор Фёдорович. Обстановка у него на даче, в самом деле, была благоприятной для творчества. Его супруга, Алевтина Ивановна, любовно растила здесь и тюльпаны, и пионы, и Бог знает ещё какие цветы. Правда, в одном из интервью Боков сказал: “. . . я не восторгаюсь этими цветами. Они пленники-невольники, которых выстроили в ряд. Нет, я не восторгаюсь ими. Я люблю цветы, которые сами растут, как в лесу, как на лугу, — одуванчики, ромашки, медуницу. . . И простую траву. Такую, как сныть, её здесь много. Я даже в свои стихи её вставляю. “Люблю траву сныть, а за что, не могу объяснить”.

А вот Алевтина Ивановна его вдохновляла всегда. В том же интервью Виктор Фёдорович отозвался о ней так: “У меня идеальная жена. Мы живём с ней вместе уже больше сорока лет. Она заботится обо мне, жалеет и лелеет меня, оберегает от людей, которые чем-то раздражают меня. Она хорошо ведёт хозяйство. Поддерживает образцовый порядок в доме. Принимает гостей. Она занимается спортом, чтобы быть всегда в хорошей физической форме. Она ходит в бассейн, она катается на лыжах. Она не делает себе ни пластических операций, ни подтяжек, из-за которых лицо превращается в гипсовую маску, так что страшно смотреть, она почти не красится, я не люблю слишком накрашенных женщин, она вся натуральная. Мне повезло с женой”.

В Переделкине приходилось слушать мне и его новые стихи, и частушки — под балалайку, под гармонь. Частушки он очень любил. Собирал их всю жизнь. В книге Николая Белянского “Суди царя по бытию поэта. . .” (Воронеж, 2009) есть небольшой очерк “Как Виктор Боков пел частушки на бюро райкома партии”. Было и такое, причём в воронежской Рамони. Боков составил прекрасный сборник частушек из своего собрания, а также собраний Нины Красновой, Николая Старшинова, Татьяны Смертиной, Виктора Коротаяева, Александра Боброва. Эта книга под названием “Самоцветная частушка” вышла в издательстве “Советский писатель” в 1992 году. Сборник открывается любопытной исследовательской статьей Бокова, рассказывающей об истории частушки в России. На экземпляре, подаренном мне, Виктор Фёдорович поставил такой (довольно лестный для меня) автограф, ещё раз подтверждающий, что он был неравнодушен к Воронежскому краю:

“Жене Новичихину,
милому,
светлому,
воронежскому,
самому моему.
Виктор Боков. 4. VI. 92 г.”

Разумеется, любовь к частушке не могла не привлечь внимания Бокова к творчеству Марии Николаевны Мордасовой. Он очень ценил его. Был знаком хорошо и с Мордасовой, и с её мужем Иваном Михайловичем Руденко, и с братом Ивана Михайловича – Владимиром Михайловичем. В. М. Руденко, композитор, заслуженный артист России, написал, кстати, две песни на стихи Виктора Бокова. Как вспоминал Владимир Михайлович, они часто встречались с Боковым в Москве, как правило, на концертах Воронежского хора.

В. М. Руденко любезно предоставил мне для этой публикации письмо Виктора Бокова, которое он прислал ему вскоре после кончины М. Н. Мордасовой. Вот оно:

“30 окт. 97 г.

Дорогой Владимир Михайлович!

Получил сегодня твой пакет с “Коммуной” и с известием о смерти Марии Николаевны! Потрясён! Это большая потеря для нас, русских!

Я не буду писать ничего в московские газеты, что толку от них, это так далеко! Я сделал больше, я написал стихи о Марии сразу же вслед за твоим письмом. Стихи эти прочти 3 ноября, когда соберётесь на вечер памяти. Стихи эти надо опубликовать в “Коммуне”, я же включаю в новую книгу стихов, которую сейчас готовлю к печати.

Это уже будет надолго.

Привет от меня Шабанову (В. Боков имеет в виду тогдашнего главу администрации Воронежской области Ивана Михайловича Шабанова. – Е. Н.). Что касается мужа Ивана Михайловича (речь идёт об И. М. Руденко. – Е. Н.), дай Боже, чтоб он поборол свой инсульт.

Вечных людей не бывает.

Хорошо, что была Л. Г. Зыкина.

Печалюсь вместе с Воронежским хором. Да, будем помнить нашу Марию. Надеюсь, воронежское руководство отнесётся серьёзно к увековечению памяти горячо любимой в народе частушечницы.

Привет всем, кто помнит меня.

Будь здоров. Обнимаю. Мой телефон (далее Боков указал свой телефонный номер. – Е. Н.).

Это моя дача в Переделкине.

Твой Виктор Боков”.

К письму Виктор Фёдорович приложил стихотворение “Памяти Марии Мордасовой”. Прочесть его на вечере памяти Владимир Михайлович Руденко попросил меня. Через несколько дней стихотворение было опубликовано в “Коммуне”. Прочитую здесь его заключительные строки:

*Так вечная память тебе, Николаевна!
От всех россиян и по всем расстояниям.
Останется в нас твоя песня-пылание,
И твой оптимизм, и твоё обаяние!*

Под рукописью стихотворения Боков написал:

30 окт. 97 г. На даче в Переделкино.

... Да, вечных людей не бывает. Ушёл из жизни и Виктор Фёдорович Боков. О его кончине я узнал слишком поздно и попрощаться с ним уже не успел.

Вечная память тебе, Народный поэт...

Прости, незабываемый друг...



Всё меньше их, тех, кто пропитал кровью не только свои гимнастёрки, но и страницы написанных книг. Ах, как хотелось, чтобы дошёл до своего 100-летия наш любимый и постоянный автор, самый внимательный читатель “Нашего современника”, Михаил Матвеевич Годенко! Не дожил всего-то 12 дней! Мы готовили на октябрьский номер поздравления со 100-летним юбилеем, а приходится печатать некролог. Как написал бессмертный Исаковский: “Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой”.

Михаил Матвеевич Годенко родился в Запорожье, служил на флоте, в августе 1941 года участвовал в переходе советских кораблей из Эстонии по Финскому заливу в Кронштадт, раненный в шею, тонул на затопленном корабле, но остался жив и сражался за Ленинград, до конца войны – на передовой.

Демобилизованный в 1946 году, мобилизовался на литературный фронт и до конца дней своих на этих рубежах защищал Отечество от врагов. Выходили романы “Минное поле”, “Зазимок”, “Потаённое судно”, “Каменная баба”, “Вечный огонь”, повести, рассказы, поэмы, сборники стихов. К военным орденам и медалям прибавлялись многочисленные писательские награды.

До последних дней Михаил Матвеевич с жадностью и нетерпением встречал каждый новый номер нашего журнала. Сколько их ещё, таких читателей?..

Царствие Небесное и низкий поклон солдату Родины и Литературы!